

ИРВИН ШОУ



Вечер в Византии

СЕВЕРО-ЗАПАД

ИРВИН
ШОУ

Вечер в Византии





ИРВИН ШОУ

*Вечер
в Византии*

Санкт-Петербург
«СЕВЕРО-ЗАПАД»
1993

Перевод с английского

Ш 81 **Шоу И.**
Вечер в Византии: Романы / Пер. с англ. —
СПб.: Северо-Запад, 1993.—608 с.
ISBN 5-8352-0130-3

Ирвин Шоу (1913—1984) — американский прозаик и драматург. Получил мировую известность благодаря лучшему своему роману «Вечер в Византии».

Прочитав этот роман, читатель не только узнает подробности частной жизни американской богемы, но и впервые ощутит и горечь, и сладость атмосферы, царящей на Каннском фестивале.

На теплых берегах Адриатики вас ждет жесткий, не верящий слезам мир американского кино.

Помимо этого произведения в книгу включен еще и роман «Ночной портье», написанный в начале 70-х годов и получивший на родине писателя неоднозначную оценку критики.

© К. Чугунов, перевод, 1993

© Г. Лев, А. Санин, перевод, 1993

© «Северо-Запад», составление, оформление,
1993

© СЕРВРО-ЗАПАД. Зарегистрированная
торговая марка. Охраняется законом.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
САЛКЕ ВИРТЕЛЬ

*Вечер
в Византии*

ВСТУПЛЕНИЕ

Отжившие свой век динозавры, вялые и бессильные, в спортивных рубашках от Салки и Кардена, они сидели друг против друга за столиками в просторных залах, вознесенных над изменчивым морем, и сдавали, и брали карты, как это делали в славные времена в сыром от дождя лесу на Западном побережье, когда во все времена года их слово было законом и в банках, и в правлениях компаний, и в мавританских особняках, и во французских виллах, и в английских замках, и в георгианских домах Южной Калифорнии.

Время от времени звонили телефоны, и из Осло, Дели, Парижа, Берлина, Нью-Йорка доносились энергичные, почтительные голоса; игроки брали трубки и резко отдавали распоряжения, которые в другое время имели бы смысл и, несомненно, были бы выполнены.

Изгнанные короли в ежегодном паломничестве, Лирь поневоле с небольшими свитами неизменивших вассалов, они жили в помпезной — не по чину — роскоши, они бросали отрывисто: «Джину» или «Ваших тридцать», и чеки на тысячи долларов переходили из рук в руки. Иногда они вспоминали доледниковый период. «Первую работу

дал ей я. Семьдесят пять в неделю. Она тогда спала с преподавателем дикции в Долине».

Или: «Он превысил смету на два с половиной миллиона, а фильм не продержался и трех дней, пришлось снимать его с экранов Чикаго. А теперь эти болваны в Нью-Йорке говорят, что он гений. Бред!»

И они говорили: «Будущее — в кассетах», а самый молодой из них — ему было пятьдесят восемь — спросил: «Какое будущее?»

И они говорили: «Пики. Удаиваю».

Внизу, в семи футах над уровнем моря, на террасе, открытой солнцу и ветру, упражнялись в беседах мужчины похудошавее и не такие сытые с виду. Знаками подзывали носившихся взад и вперед официантов и требовали черный кофе и таблетку аспирина и говорили: «Русские в этом году не приедут. Японцы тоже». И: «Венеции — конец».

Под юркими облаками, которые то заслоняли, то открывали солнце, сновали юркие молодые люди, держа под мышками маленьких львят, а в руках фотоаппараты «Полароид», и с улыбкой, какой улыбаются все зазывалы мира, выискивали клиентов. Но на второй день уже никто, кроме туристов, не интересовался львятами, а беседа текла, и они говорили: «Плохи дела у „Фокс“. Очень плохи». И: «Хотя у кого они лучше?»

«Здесьний приз стоит миллиона», — говорили они.

«В Европе», — говорили они.

«А чем плоха Европа?» — говорили они.

«Это же типично фестивальныи фильм, — говорили они. — На широком экране он сбора не даст».

И они говорили: «Что ты пьешь?» И: «Пойдешь вечером на прием?»

Они говорили на английском, французском, испанском, немецком, иврите, арабском, португальском, румынском, польском, голландском, шведском языках, говорили о сексе, деньгах, успехе, неудачах, обещаниях выполненных и обещаниях нарушенных. Среди них были честные люди и жулики, сводники и сплетники, а также люди порядочные. Одни были талантливы, даже очень талантливы, другие — прохвосты и просто ничтожества. Там были красивые женщины и прелестные девушки, интересные мужчины и мужчины со свиным рылом. Непрестанно щелкали фотоаппараты, и все притворялись, будто не замечают, что их фотографируют.

Там были люди знаменитые в прошлом и уже незнаменитые теперь: люди, которые станут знамениты на будущей неделе или в будущем году, и люди, которым суждено умереть в неизвестности. Люди, идущие вверх, и люди, скользящие вниз; люди, которым успех удастся легко, и люди, несправедливо оттесненные в сторону.

Все они были участниками азартной игры без правил, кто-то делал ставки весело и беззаботно, кто-то потел от страха.

В других местах, на других сборищах ученые предсказывали, что через пятьдесят лет море, плещущееся у берега перед террасой, станет мертвым, что нынешние обитатели нашей планеты — вполне возможно, последние, кто ест омаров и сест незараженные семена.

А были еще и другие места, где бросали бомбы, целились по мишени, теряли и снова брали высоты; где происходили наводнения и извержения вулканов; где воевали или готовились к войне, свергали правительства,

двигались в похоронных процессиях и шагали в маршах. Но здесь, на террасе, в весенней Франции, вся жизнь человечества на две недели сводилась к перфорированным лентам, пропускаемым через кинопроекторы со скоростью девяносто футов в минуту; и надежды и отчаяние, красоту и смерть — все это возили по городу в плоских круглых блестящих жестяных коробках.

1

Самолет дергался, пробиваясь сквозь черные толщи туч. На западе сверкала молния. Таблички с надписью «Пристегните ремни» на английском и французском языках продолжали светиться. Стюардессы не разносили напитков. Тональность рева моторов изменилась. Пассажиры молчали.

Высокий мужчина, зажатый в кресле у окна, открыл было журнал и тотчас закрыл его. Дождевые капли оставляли на плексигласе прозрачные, словно пальцы призрака, следы.

Раздался приглушенный взрыв, что-то треснуло. Вдоль корпуса самолета медленно прокатилась шаровая молния и разорвалась над крылом. Самолет швырнуло в сторону. Двигатели натужно завывали.

«Как бы хорошо все устроилось, если бы мы сейчас разбились, — подумал высокий человек. — Окончательно и бесповоротно».

Но самолет выравнился, вырвался из облаков к солнцу. Дама, сидевшая через проход, сказала: «Это уже второй раз в моей жизни. Можно подумать, что меня преследует злой рок». Табло на спинках кресел погасли. Стюардессы повезли по проходу столик с напитками. Высокий человек попросил виски с перрье. Он пил с видимым удовольствием, прислушиваясь к тихому рокоту самолета, летевшего на юг высоко над облаками, над самым сердцем Франции.

Чтобы прогнать сон, Крейг принял холодный душ. Хотя он выпил вчера, кажется, не так уж много, у него было такое ощущение, точно глаза его не поспевают за движениями головы. Как обычно в таких случаях, он дал себе слово не прикасаться больше к спиртному.

Печатается по изданию: Ирвин Шоу. «Вечер в Византии». М., Прогресс, 1980.

Он вытерся полотенцем, но волосы не стал сушить. Прохладная влага освежала голову. Он накинул просторный белый гостиничный купальный халат из грубой махровой ткани и, пройдя в гостиную своего «люкса», заказал по телефону завтрак. Вчера он пил без конца, даже когда раздевался, тянул виски, и побросал одежду где попало, так что теперь его смокинг, крахмальная рубашка и галстук грудой лежали на стуле. стакан с недопитым виски запотел. Бутылка, стоявшая рядом, была не закупорена.

Он открыл почтовый ящик на двери с внутренней стороны. В нем лежали «Нис-матэн» и пакет с письмами, пересланный его секретаршей из Нью-Йорка. Письмо от бухгалтера. От адвоката. Конверт из маклерской конторы — в нем месячная биржевая сводка. Он бросил письма на стол не распечатывая. Судя по состоянию дел на бирже, ничего, кроме панических воплей, в сводке маклера сейчас не найдешь. Бухгалтер, наверно, прислал дурные вести о его, Крейга, нескончаемой битве с Управлением налогов и сборов, а письмо адвоката касается жены. Эти могут подождать. Сейчас еще утро, рано думать о маклере, бухгалтере, адвокате и жене.

Он взглянул на первую страницу «Нис-матэн». Телеграфное агентство сообщает о переброске дополнительных войск в Камбоджу. Рядом с этим сообщением — фотография улыбающейся итальянской актрисы на террасе отеля «Карлтон». Несколько лет назад она получила в Канне приз, но в этом году, судя по улыбке, никаких иллюзий не питает. Фотография президента Франции Помпиду в Оверне. Цитируют его обращение к молчаливому большинству французского народа. Президент заверяет, что Франции не грозит революция.

Крейг бросил «Нис-матэн» на пол и босиком прошелся по белой с высоким потолком комнате, устланной коврами и обставленной во вкусе бывшей русской аристократии. Выйдя на балкон, он посмотрел вниз, на Средиземное море, простирающееся за бульваром Круазетт. Три американских десантных судна, стоявшие вчера в заливе, ночью ушли. Дул ветер, серое море пенилось и бурлило — все в барашках. Уборщики уже разровняли на пляже песок, вытащили надувные матрасы и воткнули в песок зонты. Их так и не раскрыли, и они вздрагивали от ветра. На берег с шипением набегал прибой. Какая-то отважная толстуха купалась прямо напротив отеля. «В

последний раз, когда я был здесь, — подумал он, — погода была не такая».

В последний раз была осень, сезон уже кончился. На побережье стояло индейское лето, а индейцев-то здесь никогда и не бывало. Золотистая дымка, неяркие осенние цветы. Канн он помнил другим — тогда вдоль берега среди зелени садов стояли розовые и янтарно-желтые особняки, а теперь взморье обезображивали крикливые многоквартирные дома с оранжевыми и ярко-синими навесами, прикрывающими балконы. Города одержимы страстью к самоуничтожению.

В дверь постучали.

— Entrez¹, — сказал он, не поворачивая головы и не отрывая глаз от моря. Нет нужды говорить официанту, где поставить столик. Крейг прожил здесь уже три дня, и официант знает его привычки.

Но когда он вернулся в комнату, там оказался не официант, а девушка. Невысокого роста — пять футов и три, может быть, четыре дюйма, по привычке прикинул он. На ней была серая трикотажная спортивная рубашка, слишком длинная и непомерно широкая. Рукава, рассчитанные, очевидно, на руки баскетболиста, она вздернула, обнажив тонкие, бронзовые от загара запястья. Рубашка, доходившая ей почти до колен, висела поверх измятых, выцветших джинсов. Она была в сандалиях. Длинные каштановые волосы, неровно высветленные солнцем и морем, спутанной гривой падали ей на плечи. У нее было узкое, с острым подбородком, лицо; огромные солнечные очки, за которыми не видно глаз, придавали ему таинственное, совиное выражение. На плече у девушки висела итальянская кожаная сумка с медными пряжками, слишком элегантная для нее. Увидев его, она ссутулилась. У него возникло подозрение, что если он взглянет на ее голые ноги, то обнаружит, что она давно их не мыла — во всяком случае, с мылом.

«Американка, не иначе», — подумал он. В нем говорил сейчас шовинизм наизнанку.

Он запахнул полы халата. Пояса не было: халат не предназначался для приема гостей. При малейшем движении полы разлетались.

— Я думал, это официант, — сказал он.

— Я боялась упустить вас, — сказала девушка. Вы-

¹ Войдите (франц.).

говор у нее был американский, только непонятно, из какой части страны.

Его раздражало, что в комнате такой беспорядок. Раздражало и то, что эта девица ворвалась к нему, когда он ждал официанта.

— Вообще-то полагается сначала звонить по телефону, а потом уж подниматься, — пробурчал он.

— Я боялась, что вы не захотите меня принять, поэтому и не позвонила.

«О господи, — подумал он. — Из тех самых».

— А может, вы все же попробуете, мисс? Спуститесь вниз, назовите портье свою фамилию, он мне позвонит и...

— Но ведь я уже здесь. — Она была явно не из числа робких, застенчивых девиц, что благоговеют перед великими мира сего. — Я сама представляюсь вам. Моя фамилия Маккиннон. Гейл Маккиннон.

— Я должен вас знать? — В Канне ведь все возможно.

— Нет, — сказала она.

— Вы всегда вот так вторгаетесь к людям, когда они не одеты и ждут завтрака? — Ему было неловко: халат все время распахивается в самом неподходящем месте, с волос капает, на груди видны седеющие волосы, в комнате не прибрано.

— Я пришла по делу, — сказала девушка. Она не сделала к нему ни шагу, но и не отступила. Просто стояла, шевеля большими пальцами босых ног в сандалиях.

— У меня тоже есть дела, мисс, — сказал он, чувствуя, как с мокрых волос на лоб потекла струйка воды. — Я хотел бы позавтракать, просмотреть газету и в тишине и одиночестве подготовиться к тяготам дня.

— Не будьте занудой, мистер Крейг. Ничего дурного я против вас не замышляю. Вы действительно одни? — Она многозначительно посмотрела на неплотно прикрытую дверь спальни.

— Милая мисс... — «Тон у меня как у девяностолетнего старика», — подумал он с досадой.

— Я три дня за вами слежу, — сказала она. — Никого с вами не было. То есть никого из женщин. — Пока она говорила, ее темные очки шарили по комнате. Он заметил, что взгляд ее скользнул по рукописи, лежавшей на письменном столе.

— Кто вы? — спросил он. — Сыщица?

Девушка улыбнулась. Во всяком случае, зубы ее сверкнули. Что при этом выражали глаза — определить было невозможно.

Не бойтесь. Я в своем роде журналистка.

— Ничего нового в этом сезоне у Джесса Крейга не предвидится, мисс. Так что мое почтение. — Он шагнул к двери, но девушка не двигалась.

Раздался стук. Вошел официант, неся на подносе апельсиновый сок, кофе, рогастики и тосты. В другой руке у него был складной столик.

— *Bonjour, m'sieur et dame*¹, — сказал он, бросив косой взгляд на девушку. Крейг подумал: «Умеют они, французы, одним взглядом раздеть женщину и при этом даже не изменить выражения лица». Понимая, какое впечатление мог произвести на официанта костюм девушки, он с трудом подавил в себе желание отчитать его за этот косой взгляд. Сказать бы ему без лишних церемоний: «Черт побери, неужели ты думаешь, что я не смог бы подыскать себе что-нибудь получше?»

— Я думал, голько один завтрак, — сказал официант на плохом английском языке.

— Да, только один, — подтвердил Крейг.

— А вы бы раздобрились, мистер Крейг, и велели ему принести вторую чашку! — попросила девушка.

Крейг вздохнул.

— Вторую чашку, пожалуйста. — Всю жизнь он подчинялся правилам этикета, которым учила его мать.

Официант накрыл столик и поставил возле него два стула.

— Момент, — сказал он и пошел за второй чашкой.

— Садитесь, пожалуйста, мисс Маккиннон, — предложил Крейг, надеясь, что девушка поймет иронию, скрытую в его подчеркнутой корректности. Одной рукой он отодвинул для нее стул, а другой придерживал халат.

Все это явно забавляло ее. По крайней мере насколько он мог судить по выражению ее лица от носа и ниже. Она опустилась на стул, а сумку поставила на пол рядом с собой.

— А теперь, если позволите, я пойду надену что-нибудь более подходящее.

Он взял со стола рукопись, сунул ее в ящик (смокинг и рубашку он решил не убирать) и, пройдя в спальню,

¹ Добрый день, мосье и мадам (франц.).

плотно закрыл за собой дверь. Выгтер голову, зачесал волосы назад, провел рукой по подбородку. Побриться? Нет, сойдет и так. Надел белую тенниску, синие бумажные брюки и сунул ноги в мокасины. Мельком взглянул на себя в зеркало. Плохо дело: белки глаз тусклые, цвета слоновой кости.

Когда он вернулся в гостиную, девушка разливала кофе.

Он молча выпил апельсиновый сок. Девушка вела себя так, словно и не собиралась уходить. «Со сколькими женщинами садился я завтракать в надежде, что они будут молчать», — подумал он.

— Рогалик? — предложил Крейг.

— Нет, спасибо. Я уже ела сегодня.

Он занялся тостом, радуясь, что все зубы у него целы

— Как мило, не правда ли? — сказала девушка. — Гейл Маккиннон и мистер Джесс Крейг в минуту за-тишья в бешеном каннском водовороте.

— Итак... — начал он.

— Вы хотите сказать, что теперь я могу задавать вам вопросы?

— Нет. Я хочу сказать, что сам намерен задавать вам вопросы. Какого рода журналистикой вы занимаетесь?

— Я радиожурналистка. Между делом, — пояснила девушка, поднеся чашку ко рту. — Делаю пятиминутные репортажи для одного агентства, которое продает их частным радиостанциям в Америке. Пользуясь магнитофоном.

— О чем репортажи?

— Об интересных людях. По крайней мере о тех, кого мое агентство считает интересными. — Она говорила быстро, монотонно, словно ей надоели вопросы. — О кинозвездах, режиссерах, художниках, политических деятелях, уголовниках, атлетах, гонщиках, дипломатах, дезертирах, о тех, кто считает, что надо узаконить гомосексуализм и марихуану, о сыщиках, президентах колледжей... Продолжать?

— Нет. — Крейг наблюдал, как она с видом хозяйки дома подливает ему кофе. — Вы сказали между делом А что же у вас за дело?

— Потрошу души для больших журналов Отчего вы сморщились?

— Потрошите души? — повторил он.

— Вы правы. Ужасный жаргон. С языка сорвалось. Больше не буду.

— Значит, утро у вас не пропало даром, — заметил Крейг.

— Интервью вроде тех, что в «Плейбое» печатают. Или как у этой Фалаччи, в которую стреляли солдаты в Мексике.

— Я читал кое-что. Это она разнесла Феллини. И Хичкока тоже.

— А может, они сами себя разнесли?

— Это что — предостережение?

— Если хотите.

Было в этой девушке что-то настораживающее. Ему стало казаться, что она ждет от него не просто интервью, а чего-то большего.

— Этот город, — сказал он, — наводнен сейчас ордами жаждущих рекламы людей, которым до смерти хочется дать интервью. И как раз о них ваши читатели, кто бы они ни были, мечтают что-нибудь узнать. Я же молчу уже не первый год. Почему вы пришли именно ко мне?

— Я объясню вам это как-нибудь в другой раз, мистер Крейг, — сказала она. — Когда мы лучше узнаем друг друга.

— Пять лет назад, — заметил он, — я давно бы уж вышвырнул вас из номера.

— Поэтому-то я и не пыталась бы интервьюировать вас пять лет тому назад.

Она улыбнулась и опять стала похожа на сову.

— Знаете что? Покажите-ка мне несколько ваших журнальных статей. Я посмотрю их и решу, стоит ли иметь с вами дело.

— Статей я вам дать не могу, — сказала девушка.

— Почему?

— Ни одного интервью я еще не опубликовала.

Она весело фыркнула, словно была этим очень довольна. — Ваше будет первым в моей жизни

— Ради бога, мисс, не задерживайте меня больше — Он встал.

Она продолжала сидеть.

— Я буду задавать вам очаровательные вопросы, а вы дадите на них такие очаровательные ответы, что редакторы передерутся из-за моей статьи.

— Интервью окончено, мисс Маккиннон. Надеюсь, вам понравится на Лазурном берегу.

Она по-прежнему не двигалась.

— Это же будет вам только на пользу, мистер Крейг. Я могу вам помочь.

— Почему вы думаете, что я нуждаюсь в помощи?

— Вы ни разу за все эти годы не были на Каннском фестивале, — сказала девушка, — но выпускали одну картину за другой. А теперь, когда ваше имя с шестьдесят пятого года не появлялось на экране, вы приехали, поселились в шикарном «люксе», вас каждый вечер видят в Главном зале, на террасе, на званых вечерах. Значит, в этом году вам что-то понадобилось. И что бы это ни было, большая, заметная статья о вас могла бы явиться именно тем, что вам нужно, чтобы добиться цели.

— Откуда вы знаете, что я впервые приехал на фестиваль?

— Я многое о вас знаю, мистер Крейг. Я основательно готовилась.

— Напрасно вы тратите время, мисс. Боюсь, что мне придется попросить вас выйти. У меня сегодня очень занятой день.

— Чем же вы будете так заняты? — Она с вызовом взяла рогалик и надкусила его.

— Буду валяться на пляже и слушать шум волн, что катятся к нам из Африки. Вот вам один из тех очаровательных ответов, какие вы от меня ожидали.

Девушка вздохнула, так вздыхает мать, выполняющая прихоть капризного ребенка.

— Ну, хорошо. Хоть это и не в моих правилах, но я дам вам кое-что почитать. — Она открыла сумку и вынула пачку желтой бумаги с машинописным текстом. — Вот, — сказала она, протягивая ему листки.

Он стоял, заложив руки за спину.

— Да перестаньте ребячиться, мистер Крейг, — резко сказала она. — Почитайте. Это о вас.

— Терпеть не могу читать что-нибудь о себе.

— Не лгите, мистер Крейг, — сказала она все так же резко.

— У вас оригинальный способ завоевывать симпатии тех, кого вы собираетесь интервьюировать, мисс. — Однако он взял листы, подошел к окну, к свету, — иначе ему пришлось бы надеть очки.

— Если я буду делать интервью для «Плейбоя», —

сказала девушка, — то текст, который у вас в руках, пойдет как вступление, а потом уже вопросы и ответы

«Но девицы из „Плейбоя“ хотя бы причесываются перед визитом», — подумал он.

— Не возражаете, если я налью себе еще кофе? — спросила она.

— Пожалуйста.

Послышалось тихое звяканье фарфора. Крейг начал читать.

«Для широкой публики, — прочитал он, — слово „продюсер“ означает обычно нечто малоинтересное. В ее представлении типичный кинопродюсер — это чаще всего полный джентльмен еврейской национальности с сигарой в зубах, странным лексиконом и неприятным пристрастием к молоденьким актрисам. Некоторые — таких незначительное меньшинство — под влиянием романтически-идеализированного образа покойного Ирвинга Талберга из незаконченного романа Ф. Скотта Фицджеральда „Последний магнат“ представляют его себе как необыкновенно одаренную, загадочную личность, этаким великодушным Свенгали — полумагом-полуполитиком, удивительно напоминающим самого Ф. Скотта Фицджеральда в наиболее привлекательные моменты его жизни.

Бытующий образ театрального продюсера несколько менее красочен. Его реже представляют себе евреем или вульгарным человеком, но он не вызывает и всеобщего восхищения. Если он добивается успеха, то ему завидуют как счастливчику, который, случайно взяв в руки пьесу, валявшуюся у него на письменном столе, сначала рыщет в поисках чужих денег для финансирования постановки, потом легко и свободно движется к славе и богатству, пользуясь талантом актеров и художников, чью работу он чаще всего портит, пытаясь приспособиться к интересам бродвейского рынка.

Как ни странно, в родственной сфере искусства, в балете, те, кто заслуживает почета, им и пользуются. Дягилев, который, насколько известно, сам не танцевал, не был хореографом и не писал декораций, всюду признается великим новатором современного балета. Но хотя Голдвина (еврей, худой как щепка, сигар не курит), Завнука (не еврей, курит сигареты, стройный), Селзника (еврей, крупный, курит сигареты) и Понти (итальянец, полный, сигар не курит) нельзя, наверно, отнести к

разряду тех, кого журналы вроде „Комментари“ и „Партизан ревью“ называют зачинателями в искусстве, которому они служат, тем не менее в выпущенных ими фильмах четко выражена их индивидуальность, они воздействуют на образ мыслей и сознание зрителей всего мира и, безусловно, доказывают, что, посвящая себя данному роду деятельности, эти люди имели на вооружении нечто большее, чем удачу, деньги или покровительство влиятельных родственников».

«Что ж, — подумал он без особого восторга, — с грамматикой у нее все в порядке. Училась же она где-нибудь». Он еще не справился с раздражением, вызванным бесцеремонностью, с какой Гейл Маккиннон выбила его из утренней колеи, и тем более — с ее спокойной уверенностью в том, что он все равно подчинится. Крейга так и подмывало положить эти желтые листочки и попросить ее выйти, но его тщеславие было задето, к тому же ему любопытно было узнать, какое место в списке этих героев занимает имя Джесса Крейга. Ему хотелось обернуться и приглядеться к ней повнимательней, но он сдержался и стал читать дальше:

«Сказанное выше находит еще большее подтверждение в американском театре. В двадцатые годы Лоуренс Лэнгнер и Терри Хелбёрн, основавшие „Гилд-театр“, открыли новые горизонты драмы и в сороковые годы, продолжая выступать в роли продюсеров, а не режиссеров или драматургов, создали „Оклахому“ — спектакль, преобразивший музыкальную комедию, эту наиболее американскую из театральных форм. Клэрмен, Страсберг и Кроуфорд, возглавлявшие „Групп-театр“, по праву считались режиссерами-постановщиками, однако главная их заслуга состояла в выборе острых проблемных пьес и системе обучения актеров искусству ансамблевой игры».

«А ведь она правду сказала, — подумал Крейг. — (Она действительно хорошо подготовилась. Когда все это было, она еще и на свет не родилась». Он поднял голову

— Можно задать вам вопрос?

— Конечно.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два, — сказала она. — Разве это имеет значение?

— Это всегда имеет значение. — Он с невольным уважением стал читать дальше:

«Нетрудно вспомнить и более свежие имена, но нет

нужды искать новые подтверждения. Почти всегда находились люди, как бы они не назывались, бравшие на себя роль собирателей талантов и устраивавшие фестивали, на которых Эсхил соперничал с Софоклом. Бэрбедж, например, возглавлял театр „Глобус“, когда Шекспир принес ему почитать своего „Гамлета“, и не упустил его.

В этом длинном почетном списке стоит и имя Джесса Крейга.

«Ну, брат, держись, — подумал он. — Сейчас начнется»

«Джесс Крейг, — читал он, — впервые привлек к себе внимание в 1946 году — ему было тогда 24 года, — представив на суд зрителей „Пехотинца“, одно из немногих драматических произведений о второй мировой войне, выдержавших испытание временем. В период с 1946 по 1965 год Крейг был продюсером еще десяти пьес и двенадцати фильмов, значительная часть которых имела и кассовый успех, и успех у критики. После 1965 года ни на сцене, ни на экране не появилось ни одной его новой работы».

Зазвонил телефон.

— Извините, — сказал он и взял трубку. ~ Крейг слушает.

— Я тебя разбудила?

— Нет. — Он с беспокойством взглянул на девушку. Та сгорбилась на стуле, нелепая в своей мешковатой рубашке.

— Как ты провел эту ужасную ночь? Снилось я тебе в соблазнительных позах?

— Что-то не помню.

— Свинья. Развлекаешься там?

— Да.

— Свинья вдвойне, — сказала Констанс — Ты один?

— Нет

— Ага.

— Не то, что ты думаешь.

— Но разговаривать со мной ты все же не можешь

— Не обо всем Как Париж?

— Духота. И французы по обыкновению несносны

— Откуда ты звонишь?

— Из конторы.

Он представил себе ее контору — маленькую, тесную комнатку на улице Марбёф, где всегда толкутся мо-

лодые люди и девушки, похожие скорее на гребцов, пересекающих Атлантический океан в лодках, чем на студентов-туристов, прибывших сюда на грузовых и пассажирских пароходах или на самолетах. Ее обязанностью было устраивать для них поездки по стране. Казалось бы, каждый посетитель моложе тридцати лет мог рассчитывать здесь на доброжелательную встречу, в каком бы виде он ни появился, но стоило Констанс почуять пусть еле уловимый запах марихуаны, как она театрально вставала из-за стола и грозно показывала на дверь.

— Ты не боишься, что тебя подслушивают? — спросил он.

Временами на Констанс нападала подозрительность: ей чудилось, что к ее телефону подключаются то французские налоговые агенты, то американская служба по борьбе с наркотиками, то бывшие любовники — высокопоставленные дипломаты.

— Я же не говорю ничего такого, чего французы сами не знают. Они гордятся своей несносностью.

— Как твои дети?

— Нормально. Удачное сочетание — у одной характер ангельский, другой — совершенный чертенок.

Констанс была замужем дважды: один раз — за итальянцем, другой — за англичанином. Мальчик родился от итальянца; к одиннадцати годам его уже четыре раза выгоняли из школы.

— Джанни вчера опять отправили домой, — равнодушно сообщила Констанс. — Хотел устроить побоище на уроке рисования.

— Ты уж скажешь, Констанс. — Крейг знал, что она склонна к преувеличениям.

— Ну, может, не побоище. Кажется, он хотел выбросить из окна какую-то девочку в очках. Чего, говорит, она на меня все смотрит. В общем, ничего особенного. Через два дня вернется в школу. А Филиппу, кажется, собираются премировать по окончании семестра «Критикой чистого разума». Они проверили ее «ай-кью»¹ и говорят, что она, наверно, станет президентом корпорации, выпускающей ЭВМ.

— Передай, что я привезу ей матросскую тельняшку.

— Прихвати заодно и парня, на которого она могла

¹ Intelligence quotient (сокращенно IQ) — коэффициент умственного развития.

бы эту тельняшку надеть, — сказала Констанс. Она была убеждена, что ее дети, как и она сама, помешаны на сексе. Филиппе было девять лет. Крейгу казалось, что в этом возрасте его собственные дочери не сильно отличались от нее. Если не считать того, что она продолжает сидеть, когда входят взрослые, и употребляет иногда заимствованные из лексикона матери выражения, которых он предпочел бы не слышать.

— Как дела в Канне?

— Нормально.

Гейл Маккиннон предупредительно встала и вышла на балкон, но он был уверен, что она слышит все и оттуда.

— Да, вот что, — сказала Констанс. — Вчера вечером я замолвила за тебя словечко одному твоему старому знакомому.

— Спасибо. Это кому же?

— Я ужинала с Дэвидом Тейчменом. Он мне звонит всякий раз, когда заезжает в Париж.

— Как и тысячи других людей, которые звонят тебе всякий раз, когда заезжают в Париж.

— Не хочешь же ты, чтобы женщина ужинала одна, правда?

— Ни в коем случае.

— К тому же ему, наверно, лет сто уже. Едет в Канн. Говорит, что собирается основать новую компанию. Я сказала ему, что у тебя, возможно, что-нибудь для него найдется. Он будет тебе звонить. Не возражаешь? В худшем случае он безвреден.

— Если бы ты сказала это при нем, он умер бы от оскорбления.

Дэвид Тейчмен более двадцати лет терроризировал Голливуд.

— Да я и при нем не молчала. — Она вздохнула в трубку. — Скверное утро было у меня сегодня. Проснулась, протянула руку и сказала: «Черт бы его побрал».

— Почему?

— Потому что тебя не было рядом. Скучаешь по мне?

— Да.

— Ты говоришь таким тоном, словно сидишь в полицейском участке.

— Что-то в этом роде.

— Не клади трубку. Мне скучно. Вчера ты ел на ужин рыбу в белом вине?

- Нет.
- Ты по мне скучаешь?
- На это я уже ответил.
- Любая женщина скажет, что это очень сухой ответ.
- Я не хотел, чтобы это было воспринято именно так.
- Ты жалеешь, что я не с тобой?
- Да.
- Назови меня по имени.
- Сейчас я предпочел бы этого не делать.
- Как только положу трубку, меня начнут мучить

подозрения.

— Пусть они тебя не мучают.

— Напрасно я трачу деньги на этот разговор. Со страхом жду следующего утра.

— Почему?

— Потому что, когда я проснусь и протяну руку, тебя опять не будет рядом.

— Не будь такой жадной.

— Да, я жадная женщина. Ну, ладно. Не знаю, кто там с тобой сейчас в номере, но ты мне позвони, когда освободишься.

— Идет.

— Назови меня по имени.

— Несносная.

В трубке раздался смех, потом щелчок. Телефон умолк, Крейг положил трубку. Девушка вернулась с балкона.

— Надеюсь, мое присутствие не скомкало ваш разговор?

— Нисколько.

— Вы заметно повеселели после этого звонка, — сказала девушка.

— Да? Я этого не чувствую.

— Вы всегда так отвечаете по телефону?

— То есть?

— «Крейг слушает».

Он задумался.

— Кажется, да. А что?

— Это звучит так... казенно. Вашим друзьям это нравится?

— Возможно, и нет, — сказал он, — только они ничего мне не говорили.

— Терпеть не могу официального тона, — сказала она. — Если бы мне пришлось работать в какой-нибудь

конторе, я бы... — Она передернула плечами и села в кресло у столика. — Как вам понравилось то, что вы успели прочесть?

— С самого начала своей работы в кино я взял за правило не делать выводов о работе, которая еще не закончена, — сказал он.

— Вы хотите читать дальше?

— Да.

— Я буду тиха, как звездная ночь. — Она села, откинулась на спинку стула и положила ногу на ногу. Ступни у нее оказались чистыми. Он вспомнил, сколько раз ему приходилось говорить своим дочерям, чтобы они сидели прямо, но они все равно не сидели прямо. Такое поколение. Он взял желтые листки, которые отложил, перед тем как подойти к телефону, и возобновил чтение:

«Это интервью Крейг дал Г. М. в своем „люксе“ (сто долларов в сутки) в отеле „Карлтон“ — розоватом, помпезном здании, где разместились знаменитости, приехавшие на Каннский кинофестиваль. Крейг — высокий, стройный, сухопарый, медлительный в движениях. Густые седеющие волосы небрежно зачесаны назад, на лбу — глубокие морщины. Глаза светло-серые, холодные, глубоко посаженные. Ему сорок восемь лет, и выглядит он не моложе. Бесстрастный взгляд, обычно полуопущенные веки. Похож на часового, смотрящего вниз на поле битвы сквозь отверстие в крепостной стене. Голос хриловатый, речь замедленная, следы его родного нью-йоркского выговора еще не окончательно стерлись. В обращении старомоден, сдержан, вежлив. Манера одеваться в сравнении с крикливо разодетой публикой этого городка — сдержанная. Его можно принять за гарвардского профессора литературы, проводящего летний отпуск в штате Мэн. Красивым его не назовешь — для этого у него слишком плоское и жесткое лицо, слишком тонкие и строгие губы. Среди знаменитостей, собравшихся в Канне, есть люди, которые когда-то работали либо у него, либо с ним; его тепло встречают всюду, где он появляется, и у него, по-видимому, много знакомых, но не друзей. В первые два вечера из трех, проведенных на фестивале, он ужинал в одиночестве. В каждом случае он выпивал три „мартини“ до еды и целую бутылку вина во время еды без каких-либо видимых признаков опьянения».

Крейг покачал головой и положил желтые листки на

полку у окна. Три-четыре страницы текста остались непочитанными.

— В чем дело? — спросила девушка. Она внимательно за ним наблюдала. Он чувствовал на себе ее пристальный взгляд сквозь темные очки и, читая, старался сохранить равнодушный вид. — Нашли какой-нибудь ляп?

— Нет, — ответил он. — Нашел, что очень не симпатичный портрет вы нарисовали.

— Прочтите до конца. Дальше будет лучше. — Она встала и ссутулилась. — Я оставляю вам текст. Знаю, как трудно читать в присутствии автора.

— Лучше возьмите это с собой. — Крейг показал рукой на листки. — Я славлюсь тем, что теряю рукописи.

— Это не страшно, — сказала девушка. — У меня есть копия.

Снова зазвонил телефон. Он взял трубку.

— Крейг слушает. — Он взглянул на девушку и пожалел, что опять произнес эту фразу.

— Дружище, — сказал голос в трубке.

— Привет, Мэрф. Откуда звонишь?

— Из Лондона.

— Ну, как там?

— Выдыхаются, — сказал Мэрфи. — Не пройдет и полгода, как они начнут превращать местные студии в откормочные пункты для черных ангусских быков. А у вас там как?

— Холодно и ветрено.

— Но все же лучше, наверно, чем здесь. — Мэрфи по обыкновению громко кричал, его было слышно во всех концах комнаты. — Мы передумали и летим завтра, а не на следующей неделе. Остановимся в отеле «Намысу». Приходи завтра к нам на ленч, ладно?

— С удовольствием.

— Прекрасно, — сказал Мэрфи. — Соня тебе кланяется.

— А я ей, — сказал Крейг.

— О моем приезде никому не говори, — сказал Мэрфи. — Хочу несколько дней отдохнуть. Не для того я тороплюсь в Канн, чтобы с утра до вечера болтать с этими слюнявыми итальяшками.

— На меня ты можешь положиться, — сказал Крейг.

— Я позвоню в гостиницу, — сказал Мэрфи, — и велю поставить вино на лед.

— А я сегодня дал зарок не пить, — сказал Крейг.

— Ну, это ты зря, старик. Значит, до завтра.

— До завтра, — сказал Крейг, кладя трубку.

— Я невольно подслушала, — сказала девушка. — Это был ваш агент? Брайан Мэрфи?

— Откуда вы все знаете? — спросил Крейг. Голос его прозвучал резче, чем ему хотелось.

— Да все знают, кто такой Брайан Мэрфи, — сказала девушка. — Как вы думаете, он согласится поговорить со мной?

— Об этом вы его сами спросите, мисс, — сказал Крейг. — Не я его агент, а он — мой.

— Я думаю, согласится, — сказала она. — Разговаривал же он со всеми другими. Впрочем, не будем забегать вперед. Посмотрим, как все сложится. Хорошо бы мне часок-другой послушать ваш разговор с ним. В сущности, лучший способ сделать это интервью, — продолжала она, — это дать мне возможность потереться возле вас несколько дней. Побывать в роли молчаливой поклонницы. Вы можете представить меня как племянницу, секретаршу или как свою любовницу. Я надену платье. У меня прекрасная память, и, чтобы не смущать вас, я ничего не буду записывать. Буду только наблюдать и слушать.

— Прошу вас, мисс Маккиннон, не будьте так настойчивы, — сказал Крейг. — Я плохо спал ночью.

— Хорошо, — сказала она. — Больше я не буду вас сегодня беспокоить. Ухожу. Прочтите все, что я о вас написала и подумайте. — Она повесила сумку на плечо. Движения ее были резкими, не девическими. Она уже не горбилась. — Я буду рядом. Везде. Куда бы вы ни пришли, вы увидите Гейл Маккиннон. Благодарю за кофе. Можете меня не провожать.

Прежде чем он успел воспротивиться, она уже ушла.

2

Он медленно прошелся по комнате. Нет, это не для него. Такие номера предназначены для людей праздных, у которых по утрам только и забот что решать, пойти выкупаться или нет и в каком

ресторане сегодня пообедать. Он закупорил бутылку и поставил в шкафчик. Собрал в охапку свои вещи, прихватил недопитый запотевший стакан с виски, пошел в спальню и бросил одежду на кровать. Простыни и одеяла сбились — он беспокойно спит ночью. Вторая постель осталась нетронутой. Кто бы ни была та дама, для которой готовила ее горничная, дама эта провела ночь в другом месте. От этого в спальне было тоскливо и не уютно. Он прошел в ванную, вылил виски в раковину и смыл водой. Имитация порядка.

Потом он возвратился в гостиную, вынес столик с остатками завтрака в коридор и, войдя обратно в номер, запер за собой дверь.

На письменном столе лежала в беспорядке груда буклетов и кинореклам. Он сгреб их и отправил в корзину для бумаг. Чьи-то надежды, ложь, таланты, алчность.

Письма, брошенные на столе, лежали рядом с рукописью мисс Маккиннон. Он решил заняться сначала письмами. Что поделаешь, прочесть-то их все равно надо и ответить — тоже. Он вскрыл конверт с письмом от бухгалтера. Начнем с самого неотложного. Главное — подходящий налог.

«Дорогой Джесс, — писал бухгалтер, — боюсь, что ревизия за 1966 год не пройдет гладко. Ваш налоговый инспектор, сволочь, пять раз заходил в контору. Это письмо пишу дома и печатаю на собственной машинке, дабы никто не снял с него копии, а Вам советую по прочтении сжечь.

Как Вы знаете, нам пришлось уклониться от проверки Ваших доходов за 1966 год в установленный срок, в этом году Вы в последний раз заработали крупную сумму, и Брайан Мэрфи провел ее по книгам европейской компании, поскольку большая часть картины снималась во Франции. Все считали такую операцию правомерной, потому что деньги, которые Ваша компания занимала под будущие прибыли, я провел как основной капитал. Так вот, Управление налогов и сборов оспаривает законность этой операции, а инспектор — настоящая ищейка.

Но дело в том (только пусть это останется между нами), что этот человек, по-моему, взяточник. Он дал мне понять, что если Вы свяжетесь с ним, то он оформит декларацию в лучшем виде. За вознаграждение. Намекнул, что восемь тысяч его бы устроили.

Вы знаете, что подобные сделки вообще не по мне.

Да и Вы, как мне известно, никогда такими фокусами не занимались. Но я все же решил сообщить Вам, как складывается обстановка. Если хотите предпринять что-либо, то скорее приезжайте сюда и переговорите с этим прохвостом сами. И не посвящайте меня в этот разговор.

Мы могли бы обратиться в судебные инстанции и наверняка бы выиграли дело, ибо все тут честно и открыто, никакой суд не придерется. Но должен предупредить, что Ваши судебные издержки составили бы около 100 000 долларов. Кроме того, газеты, учитывая Вашу известность и Вашу репутацию, подняли бы шум и представили дело так, будто Вас судят за уклонение от уплаты налогов.

Мне кажется, мы сможем договориться с этим ублюдком и тогда отделаемся налогом в 60—75 тысяч. Так что мой Вам совет — пойти на переговоры и быстро все уладить. А убытки можно будет годика за два возместить.

Когда будете отвечать, пишите по моему домашнему адресу. Людей у меня в конторе много, и неизвестно, кому можно доверять. Не говоря уже о том, что и правительство не гнушается теперь вскрывать почту. С наилучшими пожеланиями — *Лестер*.

«Годика за два возместить, — подумал Крейг. — Видно, над Калифорнией сейчас сияет солнце».

Он разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в корзину. Жечь его, как советовал бухгалтер, он не стал — слишком мелодраматично. Вряд ли Управление налогов и сборов пойдет на подкуп горничных Лазурного берега, чтобы они склеивали найденные в мусорных корзинах обрывки писем.

Патриот, участник войны, законопослушный налогоплательщик, он не желал думать, на что мистер Никсон, Пентагон, ФБР, конгресс употребят его шестьдесят-семьдесят тысяч долларов. Есть же какой-то предел нравственным мукам, которым может подвергать себя человек, находящийся, хотя бы теоретически, в отпуске. «Не отдать ли эту почту Гейл Маккиннон, — подумал он. — Пусть ознакомится. А читатели „Плейбоя“ будут в восторге. Дягилев во власти почтовой марки».

Он потянулся было за письмом адвоката, но передумал. Взял со стола стопку листов, взвесил на руке, нерешительно подержал над корзиной, потом стал наугад перевертывать страницы. «*Ему сорок восемь лет, и выглядит он не молодоже*», — прочитал он. Сорокавосемь-

летний мужчина в глазах двадцатидвухлетней девушки. Наверное, для нее он развалина. Стены Помпеи. Окопы Вердена. Хиросима.

Он сел за стол и стал читать с того места, на котором остановился, когда девушка вышла из номера. Посмотрим, каким тебя видят люди.

«Известно, что он не привык щадить ни себя, ни других, — читал он. — Поэтому в некоторых кругах за ним укрепилась репутация жестокого человека. У него много врагов, среди его бывших сотрудников есть люди, обвиняющие его в неверности. В подтверждение этого они указывают, что он никогда, за единственным исключением, не ставил более одной пьесы одного автора и, в отличие от других продюсеров, не имеет списка любимых актеров. Примечательно, что, когда два его последних фильма провалились (общий убыток оценивается в восемь с лишним миллионов долларов), его коллеги по кинематографу, можно сказать, не выразили ему никакого сочувствия».

«Вот бестия, — подумал он. — Откуда она все это узнала?» В отличие от большинства журналистов, которые приходили к нему брать интервью, не прочитав предварительно ничего, кроме рекламных материалов, распространяемых студией, эта особа оказалась хорошо осведомленной. И недоброжелательной. Он пропустил две страницы, бросил их на пол и стал читать дальше.

«Однажды ему предложили высший пост в одной из известнейших киностудий. Говорят, что он ответил отказом, послав лаконичную телеграмму: „С тонущего корабля уже сбежал. Крейг“.

Такое поведение объясняется, очевидно, тем, что он богат, — во всяком случае, он должен быть богат, если разумно распорядился заработанными деньгами. Один режиссер, с которым Крейг сотрудничал, объяснял это по-своему: „Просто он упрямый сукин сын, вот и все“. А актриса Моника Браунинг в интервью заявила: „Ничего тут странного нет. Просто Джесс Крейг — этаким милый, обаятельный, доморощенный мегаломаньяк“.

«Неплохо бы все же выпить», — подумал Крейг. Он взглянул на часы: двадцать пять минут одиннадцатого. «Всего-то двадцать пять минут одиннадцатого», — подумал он. Он достал бутылку, сходил в ванную, налил в стакан виски, добавил из крана воды и, сделав глоток, вернулся в гостиную.

Держа стакан в руке, он стал читать дальше:

«Крейга дважды приглашали в Канн членом жюри. Оба раза он отклонял приглашение. Когда стало известно, что в этом году он заказал себе абонемент на весь период фестиваля, то многих это удивило. В течение пяти лет, с тех пор как провалился его последний фильм, он держался в стороне от Голливуда и лишь изредка появлялся в Нью-Йорке. Контору свою он не закрыл, однако о своих планах ничего не сообщает. В последние годы значительную часть времени проводит в поездках по Европе. Причины его самоустранения неясны. Недоволен собой? Разочарован? Устал? Решил, что поработал достаточно и пришло время насладиться плодами трудов своих в спокойной обстановке, там, где нет ни друзей, ни врагов? Или просто сдали нервы? А может быть, этот человек приехал в Канн морально опустошенным, может быть, его привела сюда ностальгия и ему захотелось погрузиться в атмосферу, где все напоминало бы ему о прошлом. когда и он был полон энергии? Или, собравшись с силами, решил предпринять еще одну попытку добиться успеха?»

Но может ли и сам Крейг, поселившийся в дорогом „люксе“ с видом на Средиземное море, ответить на эти вопросы?»

Текст оборвался на середине страницы. Крейг положил листки на полку и снова отпил из стакана. «Черт побери, — подумал он, — ей всего двадцать два года».

Он вышел на балкон. Выглянуло солнце, но ветер дул по-прежнему сильный. Никто уже не купался. Толстая дама исчезла. Или в море унесло, или отправилась в парикмахерскую делать себе прическу. Внизу, на террасе, за столиками уже сидели посетители. Крейг заметил спутанную шевелюру Гейл Маккиннон, ее свободно болтающуюся рубашку и джинсы. Она читала газету, перед ней стояла бутылочка кока-колы. Он видел, как к столику подошел мужчина и сел напротив нее. Она отложила газету. Крейг стоял слишком высоко над ними и не слышал, что она сказала.

— Я была у него, — сказала она мужчине. — Он клюнет. Попался, старый прохвост.

Он сел. Зрительный зал быстро заполнялся. Публика была молодая: длинноволосые бородатые парни с индейской повязкой на голове и сопровождающие их босоногие девицы в кожаных куртках с бахромой и длинных пестрых юбках. Вот такие же толкуются у Констанс в конторе. В то утро в программе был «Вудсток» — американский документальный фильм о фестивале рок-музыки, поэтому город был наводнен поклонниками рока, одетыми соответственно случаю. Крейг спросил себя: как бы они оделись, будь они в его возрасте? Сам он в их возрасте радовался тому, что мог сменить военную форму на серый костюм.

Он надел очки и развернул «Нис-матэн». Фильм шел три с половиной часа, поэтому сеанс начинался в девять утра, и Крейг не успел ни позавтракать, ни просмотреть газету.

В неяром розоватом свете ламп он взглянул на первую страницу газеты. В Кенте, штат Огайо, солдаты национальной гвардии застрелили четырех студентов. В зоне Суэцкого канала все еще продолжают убивать. Положение в Камбодже неясно. Ракета, запущенная с французского корабля, вышла из-под контроля, повернула в сторону суши и взорвалась в районе Лаванду, на побережье, разрушив несколько вилл. Мэры близлежащих городов протестуют, указывая с достаточным основанием, что подобные просчеты военных наносят ущерб *le tourisme*¹. Французский кинорежиссер объяснял в интервью, почему он не желает представлять свои фильмы на фестиваль.

Кто-то сказал «parдон», и Крейг встал, не отрывая глаз от газеты. Мимо него проскользнула, шурша длинной юбкой, какая-то фигура и опустилась в свободное кресло. На него повеяло легким запахом мыла, в котором было что-то детское.

— Доброе утро, — сказала девушка.

Он узнал темные очки, закрывавшие большую часть ее лица. Голова девушки была повязана узорчатым шелковым платком. Он пожалел, что не успел побриться.

¹ Туризму (франц.).

— Все время мы оказываемся вместе, — засмеялась девушка. — Удивительно, правда?

— Удивительно, — согласился он. Сегодня у нее не только наряд, но и голос другой — мягче, без нажима.

— Я и вчера была там же, где вы.

— Я вас не заметил.

— Обычная отговорка. — Девушка посмотрела на программу. — Хотелось ли вам когда-нибудь снять документальный фильм?

— Может быть.

— Говорят, сегодня будет чудовищный фильм.

— Кто говорит?

— Вообще говорят. — Она разжала пальцы, и программа упала на пол. — Вы видели материал, который я вам послала?

— Я даже завтрак не успел себе заказать.

— Люблю ходить в кино в девять часов утра, — сказала она. — В этом есть что-то извращенное. В большом манильском конверте — дальнейшие размышления о Джессе Крейге. Взгляните, когда будет время. — Она захлопала в ладоши. В проходе, перед сценой, стоял рослый бородатый молодой человек. Он поднял руку, требуя тишины. — Это режиссер, — сообщила она.

— Вы видели его другие фильмы?

— Нет. — Она энергично аплодировала. — Я всегда болею за режиссеров.

У режиссера на руке была черная повязка. Он начал свою речь с того, что призвал присутствующих надеть траур по четверым студентам, убитым в Кенте, а в конце объявил, что посвящает свой фильм памяти погибших.

Крейг не сомневался в искренности молодого человека, но речь его, как и эта траурная повязка, вызвала у него смутное чувство неловкости. Возможно, где-нибудь в другом месте он и был бы растроган. Конечно, гибель четверых юношей опечалила его не меньше, чем всех остальных. В конце концов, он сам отец двоих детей, которые могли бы стать жертвами такого же побоища. Но здесь, в роскошном позолоченном зале, где праздная публика собралась посмотреть развлекательный фильм... Крейг не мог избавиться от ощущения, что жест этот продиктован не скорбью, а желанием продать товар подороже.

— Вы наденете траур? — прошептала девушка.

— Вряд ли.

— Я тоже. Не воздаю почестей смерти. — Она выпрямилась в кресле и сидела в настороженной позе, довольная собой. Он сделал вид, что не замечает ее близкого соседства.

Когда в зале погасли огни и начался фильм, Крейг постарался подавить в себе предубеждение. Он понимал, что его неприязнь к бородам и длинным волосам смешна, она вызвана лишь тем, что он рос и воспитывался в иное время и привык к другому стилю. В худшем случае эта манера отращивать волосы негигиенична, мода же приходит и уходит. Достаточно полистать какой-нибудь старый семейный альбом, чтобы убедиться, сколь нелепыми представляются взору современного человека наряды, некогда считавшиеся самыми что ни на есть скромными. Отец Крейга — он хорошо помнит это — в выходные дни появлялся на пляже в гольфах.

Ему сказали, что в картине «Вудсток» слово принадлежит молодежи. Что же, если так, то он готов слушать.

Он смотрел с интересом. Ему сразу стало ясно, что человек, сделавший фильм, обладает незаурядным талантом. Будучи сам профессионалом, Крейг ценил профессионализм в других. Фильм был снят и смонтирован без тени дилетантства или пустой развлекательности. Во всем чувствовалась серьезная работа мысли, на всем — следы кропотливого труда. И в то же время зрелище четырехсот тысяч людей, собравшихся в одном месте, кто бы они ни были, где и для какой бы цели ни собрались, вызывало в нем неприятное чувство. Чем дальше, тем больше его удручало упорное и бесконечное повторение кадров, изображавших дикие оргии. И музыка, и исполнение, не считая двух песен, спетых Джоан Бааз, показались ему грубыми, монотонными и невыносимо громкими, как будто шепот или даже нормальная человеческая речь выпали из голосового диапазона молодых американцев. Он воспринимал этот фильм как непрекращающуюся вакханалию звуков без кульминации. Когда в кадре появились парень и девушка, которые занимались любовью, не обращая внимания на объектив кинокамеры, он отвел глаза в сторону.

Не веря своим ушам, он слушал, как один из исполнителей, подобно заводиле в группе болельщиков на футбольном матче, выкрикивал: «Скажите: „эф“!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «Эф!» «Скажите: „ю“!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «Ю!» «Скажите:

„кей“!» Четыреста тысяч глоток отвечали: «Кей!» «Скажите... Что получилось?» — спросил человек голосом, многократно усиленным микрофоном.

В ответ прозвучало похабное слово — хрипло и раскатисто, как на каком-нибудь нюрнбергском сборище. И дикие одобрительные возгласы. Зрители, сидевшие в зале, заплодировали. Крейг покосился на соседку — та спокойно сидела, руки ее неподвижно лежали на коленях. Она оказалась лучше, чем он думал.

Он смирно сидел в кресле, но на экран уже почти не смотрел. Что призвано означать это гомерически произнесенное ругательство? Слово как слово, он, случается, тоже употребляет его, правда, не часто. Само по себе оно не безобразно и не красиво и от столь частого употребления почти утратило первоначальный смысл. Теперь оно обрело так много новых значений, что уже не вызывает прежних ассоциаций. Выкрикнутое этим гигантским хором молодых, оно прозвучало как простое хулиганство, как лозунг, оно было оружием, знаменем, под которым пойдут полчища разрушителей. «Надеюсь, — подумал Крейг, — что отцы четверых убитых кентских студентов никогда не увидят „Вудсток“ и никогда не узнают, что в произведении искусства, посвященном их покойным детям, есть эпизод, в котором около полумиллиона юношей и девушек почтили память своих сверстников похабным словом».

До конца фильма оставалось около часа, но Крейг уже покинул зал. Девушка, казалось, не заметила его ухода.

Над синим морем светило солнце, перед фасадом кинотеатра плескались на мачтах яркие флаги стран — участниц фестиваля. Даже поток машин на шоссе вдоль набережной и толпы людей на тротуарах и на бульваре Круазетт не нарушали благословенной тишины. Пусть хоть сегодня Канн помнит, что он должен быть похожим на одно из полотен Дюфи.

Крейг спустился вниз, к пляжу, и зашагал у самой кромки воды — одинокий человек, сам по себе.

Он вернулся в номер побриться. В почтовом ящике лежал большой манильский конверт, на котором косым четким женским почерком было начертано его имя,

и письмо от дочери Энн, проштемпелеванное в Сан-Франциско.

Он бросил конверты на стол, прошел в ванную и тщательно побрился. Чувствуя приятное пощипывание после лосьона, он вернулся в гостиную и вскрыл конверт Гейл Маккиннон.

Поверх желтых листков с машинописным текстом лежала записка.

«Уважаемый мистер Крейг, — прочитал он, — пишу Вам поздно ночью в своем номере и все думаю: за что вы меня так невзлюбили? В моей жизни еще не было случая, чтобы кто-то не хотел встретиться со мной, но весь сегодняшний день, стоило мне взглянуть в Вашу сторону — на пляже или на ленче, в фойе фестивального зала, в баре или на приеме, — я готова была взорваться и разнести этот город. Циклон „Гейл“. За свою жизнь Вы, конечно, дали сотни интервью, причем людям, которые, я уверена, гораздо глупее меня, к тому же среди них было немало Ваших врагов. Почему же мне Вы отказываете?»

Ну что ж. Если Вы не желаете рассказать мне о себе, расскажут другие, только слушай, и времени даром я не теряла. Если я не смогу нарисовать портрет человека с натуры, я нарисую его таким, каким его видят десятки других людей. И если этот портрет не доставит ему большого удовольствия, то пусть он пеняет на себя, а не на меня».

«Обычный репортерский прием, — подумал Крейг. — Если ты не скажешь мне правды, то пусть твой враг скажет мне ложь. Вероятно, этому учат уже на первых курсах всех школ журналистики».

«Очень может быть, — читал он дальше, — что я напишу статью по-другому. Я уподоблюсь ученому, который наблюдает за диким животным в естественных условиях. Издали, незаметно, с помощью оптических приборов. У этого животного хорошо развито чувство дистанции, оно остерегается людей, употребляет крепкие напитки, инстинкт самосохранения незначителен, спаривается часто, причем с самыми привлекательными самками стада».

Он засмеялся. С такой женщиной бороться трудно.

«Я выжидаю, — заканчивалась записка. — И не отчаиваюсь. Прилагаю еще кое-какие бредни на ту же тему. Старалась печатать аккуратно. Уже четыре часа утра, я

понесу эти листки по опасным темным улицам приморской Гоморры в Ваш отель, посеребряю ручку портъе, так что первое, что Вы увидите, проснувшись утром, будет имя Гейл Маккиннон».

Он отложил записку и, не взглянув на желтые листки, взял письмо дочери. Всякий раз, беря в руки письмо одной из своих дочерей, он вспоминал ужасное признание дочери Скотта Фицджеральда: где-то она написала, что в бытность свою студенткой, получив от отца письмо, вскрывала конверт и трясла его в надежде, что на стол выпадет чек; само же письмо совала непрочитанным в ящик стола.

Он распечатал письмо. Уж это-то отец может осилить.

«Дорогой папа! — прочел он. Энн писала неразборчивым ученическим почерком. — Сан-Франциско — Город Уныния. Наш колледж почти закрылся, можно подумать, что война началась. Везде одни гуанны. По обе стороны. Здесь весна — идут прения в дискуссионных клубах. Каждый назойливо твердит, что прав только он. Насколько я понимаю, наши чернокожие друзья хотят, чтобы я изучала не поэтов-романтиков, а танцы африканских племен и обряд обрезания молодых леди. Потому что, видишь ли, поэты-романтики не созвучны эпохе. И профессора ничуть не отличаются от всех тут, чью бы сторону они не принимали. В общем, образование — первый класс! Я уже не разгуливаю по кампусу. Придешь, а тебя там обступят двадцать человек, и у каждого своя причина требовать, чтобы ты возложила свое невинное белое тело на алтарь Джагернатха¹. Что бы ты ни делала, ты предаешь свое поколение. Если ты не считаешь Джерри Рубина лучшим представителем мужской половины американской молодежи, значит, твой отец — либо президент банка, либо тайный агент ЦРУ, либо, упаси Бог, Ричард Никсон. А я вот возьму да запишусь сразу и в „Черные пантеры“, и в общество Джона Берча! Пусть тогда знают. Перефразируя известного писателя: ни студент, ни полицейский.

Знаю, я сама хотела ехать учиться в Сан-Франциско, потому что после того, как я столько лет училась в швейцарской школе, один ненормальный сверхпатриот

¹ Одно из воплощений индусского бога-хранителя Вишну. Здесь и далее примечания переводчика.

убедил меня в том, что я теряю свой „американизм“, — хоть я и не поняла: как это? — а вот в Сан-Франциско, мол, занимаются настоящим делом. Этим летом я собиралась работать официанткой на озере Тахо — посмотреть, как живут другие. Но теперь мне уже наплевать, как они там живут, хотя понимаю, что это ненадолго. стыдно признаться, сколь недолговечны почти все мои идеи — не дотягивают и до ленча. А американкой я с божьей помощью останусь, проживи я хоть до ста лет. Чего бы я хотела (если это не слишком тебя обременит), так это — сесть в самолет и махнуть на лето в Европу: пусть они без меня наводят порядок в колледже к началу осеннего семестра.

Если я действительно приеду в Европу, то мне хотелось бы по возможности избежать встречи с матерью. Полагаю, ты знаешь, что она сейчас в Женеве. Она пишет мне ужасные письма. Говорит, что ты невозможный человек, что хочешь погубить ее, что ведешь распутную жизнь, что у тебя климакс, и уж не помню, что еще. С тех пор как она узнала, что я употребляю пилюли, она относится ко мне так, словно я — Фэнни Хилл или одна из героинь маркиза де Сада, и если я поеду к ней, то вечера на берегах Женевского озера будут для меня очень тягостными.

Твоя любимая дочь Марша изредка пишет мне из Аризоны. Говорит, что ей там очень хорошо, только похудеть никак не может. Никакие веяния до Аризонского университета явно не доходят, жизнь там до сих пор похожа на те старые мюзиклы про студентов с их детскими забавами и драками подушками, что показывают по телевизору в „Программах для полуночников“. А полнеет она будто бы оттого, что вынуждена много есть, поскольку разбит наш счастливый семейный очаг. И здесь Фрейд — он проник даже в кафе-мороженое.

Вижу, что письмо получилось очень веселое, но мне, папа, совсем не смешно. Целую. Энн».

Крейг вздохнул и положил письмо на стол. «Уеду куда-нибудь, где нет ни адреса, ни почты, ни телефона», — подумал он. Интересно, какими показались бы ему сейчас письма, которые он посылал во время войны своим родителям. Но он их все сжег после смерти матери, когда обнаружил аккуратно связанными в ее шкатулке.

Он взял желтые листки Гейл Маккиннон. Уж читать, так читать все сразу, пока не начался день.

Он вышел на балкон, на солнце, и уселся в кресло. Даже если его каннская вылазка окажется бесполезной, загар-то все равно останется. Он начал читать:

«Далее: держится официально, не терпит фамильярности. Несколько старомодный смокинг, в котором он появился после вечернего просмотра в бальном зале возле Зимнего казино, придавал ему чопорный, отчужденный вид. В размягченной атмосфере зала, где преувеличенное выражение дружеских чувств является правилом игры, где мужчины обнимают, а женщины целуют людей, с которыми едва знакомы, его корректность может произвести неприятное впечатление. Он ни с кем не разговаривал больше пяти минут и непрерывно ходил по залу, но не суетливо, а с холодным достоинством. На приеме было много красивых женщин и среди них — по крайней мере две, с которыми когда-то было связано его имя. Обе эти дамы, великолепно одетые и дивно причесанные, очень хотели (так по крайней мере показалось автору этих строк) удержать его при себе, но он и им уделил только по пять минут и отошел».

«Связано, — сердито подумал он. — С которыми когда-то было связано его имя. Кто-то снабжает ее сведениями. Из тех, кто хорошо меня знает и не относится к числу моих друзей». Крейг видел Гейл Маккиннон на приеме в другом конце зала и кивнул ей. Но он не заметил, что она ходила за ним по пятам.

«То, что он не поступил в колледж, объяснялось не материальным положением семьи Крейгов, ибо обеспечена она была сравнительно неплохо. Отец Крейга, Филип, до самой смерти, то есть до 1946 года, был казначеем в бродвейских театрах, и, хотя кризис 1929—1930 годов, несомненно, неблагоприятно сказался на его финансовом положении, он тем не менее имел возможность послать своего единственного сына в колледж. Но Крейг вскоре после Пирл-Харбора предпочел пойти на военную службу. В армии он прослужил почти пять лет, дойдя до чина техника-сержанта, однако никаких наград, кроме нашивок участника войны, не удостоился».

В этом месте стояла звездочка, обозначающая сноску. Внизу, подле другой звездочки, он прочитал: «Уважаемый мистер Крейг, все это ужасно скучно, но, поскольку Вы еще не раскрылись, мне остается только одно —

накапливать факты. Когда придет время свести их воедино, я подвергну материал беспощадной обработке, чтобы читатель не заснул».

Крейг снова обратился к основному тексту:

«Ему повезло: с войны он вернулся невредимый; более того, у него в вещевом мешке лежала рукопись пьесы молодого солдата Эдварда Бреннера, которую он через год после демобилизации представил на суд зрителей, дав спектаклю название „Пехотинец“. Театральные связи Крейга-старшего, разумеется, немало помогли этому очень молодому и совершенно никому не известному тогда новичку успешно справиться с такой трудной задачей».

В последующие годы на Бродвее были поставлены еще две пьесы Бреннера, и обе они с треском провалились. Продюсером одной из них был Крейг. С тех пор Бреннер совершенно исчез из поля зрения».

«Из твоего, барышня, поля зрения, возможно, — подумал Крейг. — Но не из его собственного и не из моего. Если бывший молодой солдат прочтет все это, то напомнит мне о себе».

«По поводу того, что он редко сотрудничает с писателями больше одного раза, говорят, что как-то он в доверительной беседе сказал: „В литературных кругах распространено мнение, что любой человек несет в себе по крайней мере один роман. Сомневаюсь. Я знаю несколько мужчин и женщин, которые действительно несут в себе роман, но громадное большинство людей, которых я встречал, носят в себе, может быть, только одну фразу или, в лучшем случае, рассказ».

«Где это она слыхала, черт побери?» — подумал он с раздражением. Кажется, что-то в этом роде он действительно сказал (это была язвительная шутка, рассчитанная на то, чтобы отбрызнуть надоевшего собеседника), хотя и не мог вспомнить, где и когда. Но, пусть даже сам он только наполовину верил тому, что сказал, слова эти, будь они опубликованы, отнюдь не укрепили бы за ним репутацию благожелательного человека».

«Она меня подстрекает, — подумал он, — эта сучка хочет вынудить меня на разговор, на сделку, хочет получить взятку за то, чтобы не взорвалась противопехотная мина».

«Интересно было бы, — говорилось далее в тексте, — попросить Джесса Крейга составить список людей, с

которыми он работал, и разбить их сообразно указанным выше категориям. Вот эти — стоят романа. Эти — рассказа. Эти — абзаца. Эти — фразы. Эти — запятой. Если мне доведется побеседовать с ним еще раз, я попробую уговорить его дать мне такой список».

«Она жаждет крови, — подумал он. — Моей крови».

Нижняя половина страницы была написана от руки.

«Уважаемый м-р К., время позднее, я падаю от усталости. Материала на несколько томов, но на сегодня хватает. Если пожелаете прокомментировать то, что уже прочли, я в Вашем полном распоряжении. Ждите очередного выпуска. Ваша Г. М.»

Первым его побуждением было скомкать листки и бросить их с балкона на улицу. Но он благоразумно сдержался. Она же сказала, что оставила себе копию. Следующий выпуск тоже будет с копией. И так далее.

В заливе снимался с якоря пассажирский пароход. Крейгу вдруг захотелось собрать вещи и уплыть на нем все равно куда. Нет, и это не поможет. В ближайшем порту она наверняка снова появится — с пишущей машинкой в руке.

Он вошел в гостиную и бросил желтые листки на стол. Посмотрел на часы. На ленч к Мэрфи еще рано. Вспомнил, что вчера обещал позвонить Констанс. Та говорила, что хочет знать о каждом его шаге. Он и в Канн-то приехал отчасти благодаря ей. «Съезди туда, — сказала она. — Попробуй, может, что и выгорит. Лучше узнать сейчас, чем откладывать». Она не из тех женщин, что любят откладывать дела в долгий ящик.

Он прошел в спальню и заказал разговор с Парижем. Прилег на незастеленную кровать и, пока не зазвонил телефон, попробовал задремать. Он много выпил вчера и ночью плохо спал.

Он закрыл глаза, но сон не шел к нему. Тысячекратно усиленные звуки электрогитар, которые он только что слышал в кино, отдавались эхом в ушах, перед глазами в экстазе извивались тела. «Если она у себя, — подумал он, — то я скажу ей, что сегодня же, к концу дня, прилечу к ней в Париж».

Они познакомились на приеме, устроенном для сбора средств в фонд Бобби Кеннеди, когда тот приезжал в 1968 году в Париж. Джесс числился в списках избирателей в Нью-Йорке, но его прихватил с собой один парижский знакомый. На приеме собралась солидная

публика, задавали умные вопросы двум красноречивым высокопоставленным джентльменам, прилетевшим из Соединенных Штатов просить американцев, живущих за границей и поэтому лишенных возможности голосовать, оказать кандидату финансовую и моральную поддержку. Крейг не разделял восторженных чувств присутствующих в зале, но все же выписал чек на пятьсот долларов. Его немного забавляло то, что он помогает деньгами одному из членов семейства Кеннеди. Пока в просторном красивом салоне, увешанном темными абстрактными полотнами, которые — скорее всего — будут потом распроданы со значительным убытком для хозяев дома, шла оживленная дискуссия, он отправился в пустую столовую, где были выставлены напитки.

Он наливал себе виски, когда к бару следом за ним подошла Констанс. Он почувствовал на себе ее пристальные взгляды еще в зале, когда там произносили речи. Это была женщина поразительной внешности — с очень бледным лицом, широко поставленными зеленоватыми глазами и блестящими черными волосами, не по моде коротко стриженными. Впрочем, слова «не по моде» можно было отнести к кому угодно, только не к ней. Она была в коротком желтовато-зеленом платье, и ноги у нее были потрясающие.

— Вы не дадите мне выпить? — попросила она. — Меня зовут Констанс Добсон. Я вас знаю. Джина с тоником. И льда побольше.

Она говорила быстро, отрывисто, сипловатым голосом. Он приготовил то, что она просила.

— А что вы тут делаете? — спросила она, отпивая из стакана. — Вы больше похожи на республиканца, чем на демократа.

— Я всегда за границей стараюсь быть похожим на республиканца. На местных жителей это действует успокаивающе.

Она засмеялась. Смех у нее был громкий и до вульгарности грубый, так не шедший к ее изящной, стройной фигуре. Разговаривая с ним, она играла длинной золотой цепочкой, свисавшей до самого пояса. Грудь у нее была крепкая, высокая, это он заметил. Трудно было сказать, сколько ей лет.

— Вы, по-моему, не так восторгаетесь этим кандидатом, как все остальные, — сказала она.

— Я заметил в нем черты жестокости, — ответил

Крейг. — Не могу относиться с симпатией к жестоким лидерам.

— Но я видела, как вы подписывали чек.

— Говорят, что политика — это умение использовать ситуацию. Вы тоже, я заметил, подписывали чек.

— Бравата, — сказала она. — Вообще-то я едва свожу концы с концами. Дело в том, что он популярен среди молодежи. Может, им виднее?

— Возможно, так оно и есть, — согласился он.

— Вы живете не в Париже?

— В Нью-Йорке, — сказал он, — если вообще где-то живу. Я здесь проездом.

— Надолго? — Она пристально смотрела на него из-за стакана.

Он пожал плечами.

— Еще не знаю.

— А я ведь пошла сюда за вами.

— Да?

— Вы же знаете, что за вами.

— Да. — Он с удивлением почувствовал, что слегка краснеет.

— У вас задумчивое лицо. Скрытый огонь. — Она засмеялась, в ее удивительно низком голосе звучали призывные нотки. — И красивые широкие худые плечи. Кроме вас, я знаю тут всех. Случалось ли вам, войдя в какой-нибудь зал и осмотревшись вокруг, подумать: «Господи, да я же всех тут знаю!» Понимаете?

— Кажется, да.

Она стояла совсем близко. От нее сильно пахло духами, но запах был свежий, терпкий.

— Хотите поцеловать меня сейчас или будете ждать другого случая? — спросила она.

Он поцеловал ее. Уже более двух лет он не целовал женщин. Ощущение было приятное.

— Мой телефон узнаешь у Сэма, — сказала она. Сэм был приятелем Крейга, который привел его на прием. — Позвони, когда снова будешь в Париже. Если будет охота. Сейчас я занята. Но скоро я с этим типом развяжусь. Ну, мне пора. У меня ребенок болен.

Зеленое платье исчезло в комнате, где лежали сваленные в кучу пальто.

Оставшись один у бара, он налил себе еще виски. На губах оставалось ощущение ее поцелуя, в воздухе витал терпкий запах духов.

Возвращаясь со своим приятелем Сэмом домой, Крейг взял у него телефон Констанс и осторожно поинтересовался, что она за женщина. Об эпизоде в столовой он не стал рассказывать в подробностях.

«Смерть мужчинам, — сказал Сэм. — Но не лишена великодушия. Самая роскошная американка в Париже. Работа у нее непонятная, возится с какими-то юнцами. Видел ли ты у кого-нибудь еще такие ноги?» Сэм — адвокат, человек основательный — не был склонен к преувеличениям.

В следующий свой приезд в Париж — это было после убийства Бобби Кеннеди и окончания выборов — он позвонил по телефону, который дал ему Сэм.

«Помню, помню, — сказала она. — С тем типом я уже развязалась».

Вечером он пригласил ее ужинать и с тех пор ужинал с ней каждый вечер, когда бывал в Париже.

Эта красавица была родом из Техаса. Высокая, стройная, своенравная, с темными волосами и гордо вскинутой маленькой головкой, она покорила сначала Нью-Йорк, потом Париж. Ну что вы тут подделываете, милые мужчины? — казалось, самым своим присутствием спрашивала она, появляясь в комнате. — Стоит ли на вас тратить время?

Она помогла ему увидеть Париж во всем его блеске. Это был ее город, она ходила по нему радостная, гордая, озорная, ее прелестные ноги придавали парижским мостовым еще более праздничный вид. Вспыльчивая, несдержанная, она умела показать и коготки. От нее нельзя было так просто отмахнуться. В том, что касалось работы — своей и чужой, — она была пуританкой. Яростно отстаивая собственную независимость, она ненавидела бездеятельность и паразитизм других. В Париж она приехала манекенщицей; это произошло, как она пояснила, «во второй половине царствования Карла Великого». Хоть она и не имела образования, но была удивительно начитанна. Никто не знал, сколько ей лет. Она была змужем дважды. «Приблизительно дважды», — шутила она. Как мужья, так и сожители уходили, оставляя ее без гроша. Но она не помнила зла. Устав работать манекенщицей, она учредила вместе с бывшим профессором Мэнского университета бюро обмена студентами. «Ребята должны лучше знать друг друга, — говорила она. — Может, тогда их уже нельзя будет заставить

убивать друг друга». Ее любимый брат, гораздо старше ее, погиб в Аахене, и она была страстной противницей войны. Читая сообщения из Вьетнама — а они были хуже некуда, — она разражалась солдатской бранью и грозила уехать с сыном куда-нибудь на край земли.

В первый же вечер знакомства с Крейгом она сказала, что едва сводит концы с концами, и это была правда; тем не менее одевалась она шикарно. Парижские портные давали ей напрокат платья, зная, что там, куда ее приглашают, ни она, ни ее наряды не останутся незамеченными. Где бы она ни провела ночь, ровно в семь утра она вставала, ехала домой, кормила детей завтраком и отправляла их в школу. А ровно в девять сидела за рабочим столом. Хотя Крейг и снимал «люкс» в отеле, его настоящим парижским адресом была широкая кровать в ее комнате с видом на сад на Левом берегу. Ее дети полюбили его. «Они привыкли к мужчинам», — объясняла она. Какие бы нравственные нормы ни прививали ей в Техасе, она их переросла и пренебрегала условностями парижского общества или обществ, которые украшала своим присутствием.

Прямая, смешливая, требовательная, непоследовательная, восхитительно чувственная, ласковая, нетерпеливая и предприимчивая, она становилась серьезной лишь тогда, когда этого требовала обстановка. До встречи с ней он пребывал словно в забытьи. Теперь это сонное состояние прошло.

Если раньше он имел дурную привычку не замечать или не ценить в женщинах женственность, то теперь моментально реагировал и на их красоту, и на чувственную улыбку, и на походку; его глаза будто помолодели, они вновь научились с юношеским вожделением следить за мельканием юбки, изгибом шеи, женской грацией. Увлечшись всерьез одной из представительниц прекрасного пола, он снова обрел вкус к обществу женщин вообще. И это было едва ли не главное, хотя далеко не единственное, чем одарила его Констанс.

Она откровенно рассказывала ему о мужчинах, которых знала до него. Не сомневаясь в том, что такие же встречи у нее будут и после него, он подавил в себе ревность. Лишь сойдясь с нею, он понял, что страдал от глубоких душевных ран. Теперь эти раны начали заживать.

В тиши комнаты, нарушаемой только слабым шумом

моря за окном, он с нетерпением ждал телефонного звонка и ее отрывистого хрипловатого голоса. Он приготовился сказать: «Первым же самолетом вылетаю в Париж», будучи уверен, что если даже она кому-то назначила на этот вечер свидание, то отменит его.

Наконец раздался звонок.

— А, это ты, — сказала она. Тон у нее был неприветливый.

— Дорогая... — начал он.

— Я тебе не дорогая, продюсер. Не какая-нибудь актрисенка, которая две недели елозит своим тощим задом по дивану... — Он слышал приглушенный гул голосов: по-видимому, в конторе, как обычно, полно народа, но Констанс не привыкла сдерживать свой гнев.

— Послушай, Конни...

— А, иди ты к черту... Ты же вчера обещал позвонить. И не ври, что пытался дозвониться. Я это уже слышала.

— Да я и не пытался.

— Ну, вот. Даже соврать и то не хочешь. Сукин ты сын.

— Конни... — Крейг перешел на умоляющий тон.

— Единственный честный человек в Канне. И везет же мне, черт побери. Отчего же не пытался?

— Я был...

— Оставь эти объяснения при себе. И не трать время на звонки. Незачем мне сидеть и ждать, когда зазвонит этот чертов телефон. Надеюсь, ты в Канне найдешь себе кого-нибудь, чтобы водили тебя за ручку. В Париже твое время истекло.

— Конни, будь же благоразумна, черт побери!

— Вот я и буду благоразумна. С этой самой минуты я просто само благоразумие. Считай, что этого телефона для тебя, мой мальчик, не существует. И не пробуй дозвониться. Никогда.

Сердитый щелчок, донесшийся с другого конца шестисотметрового провода, подтвердил, что она бросила трубку. Крейг удрученно покачал головой, потом с улыбкой представил себе лица притихших молодых людей, находящихся, должно быть, сейчас в конторе Констанс, и гомерический хохот сидящего в соседней комнате партнера-профессора, выведенного этой тирадой из своего обычного дремотного состояния. Она уже не первый раз на него так кричала. И не последний. Отныне он

будет звонить ей тогда, когда обещал, даже если для этого придется провисеть на телефоне весь день.

Он сходил на террасу, сфотографировался там вместе со львенком, написал на карточке: «Нашел тебе дружка под статью» — и, вложив снимок в конверт, отправил Констанс. Срочным авиа.

Пора было ехать на ленч к Мэрфи. Он вышел к подъезду и спросил швейцара, где его автомобиль. Швейцар был занят с сидевшим в «бентли» облезлым, лысым стариком и не обращал на Крейга внимания. На стоянке перед гостиницей было полно машин, лучшие места занимали «феррари», «мазерати» и «роллс-ройсы». «Симку», взятую Крейгом напрокат, швейцар отгонял подальше, чтобы она не торчала на виду. Случалось (когда наплыв дорогих лимузинов бывал особенно велик), Крейг находил свой автомобиль где-нибудь в переулке, на расстоянии целого квартала от гостиницы. Когда-то он увлекался «альфами» и «ланчиями», но те времена давно прошли. Теперь ему все равно, какая у него машина, лишь бы были колеса, но сегодня, когда швейцар наконец сказал ему, что его автомобиль стоит где-то позади гостиницы, и когда он пошел вдоль теннисных кортов по направлению к перекрестку, где вечером околачивались проститутки, он почувствовал себя оскорбленным. Как будто служащие гостиницы что-то такое о нем прознали и, загоняя его скромную прокатную машину бог знает куда, дают ему понять, что не считают его достойным жить во дворце, стены которого они охраняют.

«Ну ладно, дождетесь вы от меня чаевых», — со злостью подумал Крейг. Он включил зажигание и поехал на Антибский мыс, где ему предстоял ленч с Брайаном Мэрфи.

4

Портье сказал Крейгу, что мистер и миссис Мэрфи ждут его в пляжном домике.

Он прошел по парку, напоенному запахом сосны, к морю. Слышны были только его собственные шаги по тенистой дорожке да стрекот прятавшихся в зелени цикад.

Не дойдя до домика, он остановился. Мэрфи был не один. В маленьком патио сидела молодая женщина. Она была в розовом купальном костюме, едва прикрывавшем наготу, по спине ее струились, блестя на солнце, длинные волосы. Она чуть повернула голову, и он увидел знакомые темные очки.

Мэрфи в цветастых плавках что-то ей говорил. Соня Мэрфи лежала в шезлонге.

Крейг решил вернуться в гостиницу, вызвать оттуда Мэрфи по телефону и объяснить, что ему не нравится эта компания, но в этот миг Мэрфи увидел его.

— Эй, Джесс! — крикнул Мэрфи, вставая. — Мы здесь!

Гейл Маккиннон не обернулась. Впрочем, она встала, когда он подошел.

— Привет, Мэрфи, — сказал Джесс и пожал Мэрфи руку.

— Здравствуй, дружище.

Крейг наклонился и поцеловал Соню Мэрфи в щеку. Ей было пятьдесят, но выглядела она не старше тридцати пяти — ее молодили подтянутая фигура и не испорченное частым употреблением грима нежное, без морщин, лицо. Предохраняясь от солнца, она накинула на плечи купальное полотенце и надела широкополую соломенную шляпу.

— Давно мы не виделись, Джессо, — сказала она.

— Очень давно, — согласился Крейг.

— А эта девушка, — Мэрфи указал на Гейл Маккиннон, — говорит, что знает тебя.

— Да, мы знакомы, — подтвердил Крейг. — Здравствуйте, мисс Маккиннон.

— Здравствуйте. — Девушка сняла очки нарочитым движением, точно опускала карнавальную маску. Ее большие голубые, как алмазы, глаза были широко раскрыты, но взгляд их показался Крейгу каким-то ускользающим, неопределенным, настороженным. На вид ей можно было дать лет шестнадцать-семнадцать: серьезное, открытое лицо, не совсем еще развитые формы, шелковистая кожа. У него было странное ощущение, будто лучи солнца сосредоточились только на ней, заливая ее потоками света, он же стоял где-то поодаль, затененный темной дождевой тучей. В эту минуту она была великолепна, она стояла на фоне моря, и оно блестело и

искрилось, радуясь ее молодости, свежести ее кожи, ее чуть угловатой стройности.

В нем шевельнулась неясная тревога: где-то он уже это видел — само совершенство, озаренное солнцем на фоне моря. Огорчило его это умозаключение или обрадовало, он не понял.

Она нагнулась к стоявшему у ее ног магнитофону — не столь уж грациозно, длинные волосы заслонили лицо, и он невольно обратил внимание на мягкую округлость ее живота над розовой полоской бикини и на широкие чуть костлявые, как у подростков, бедра. «Непонятно, — подумал он, — зачем ей вчера утром понадобилось уродовать себя дурацкой, широченной рубашкой и этими огромными, во все лицо, темными очками».

— Она меня интервьюировала, — сообщил Мэрфи. — Против моей воли.

— Ну, разумеется, — усмехнулся Крейг. Мэрфи славился как раз тем, что давал интервью кому угодно и отвечал на любые вопросы. Это был рослый, грузный, крепкого сложения шестидесятилетний человек с копной черных крашенных волос, одутловатым от виски лицом и живыми, хитрыми глазами. В общении он по-ирландски прост и грубовато-добродушен. Среди кинодельцов Мэрфи имел репутацию одного из самых неуступчивых посредников, и, обогащая своих клиентов, он преуспевал и сам. Контракта с Крейгом он не подписывал — их соглашение было скреплено только рукопожатием, — но представлял его интересы на протяжении двадцати с лишним лет. С тех пор как Крейг перестал выпускать фильмы, они встречались очень редко. Они были друзья. «Но уже не такие близкие, как когда-то, — с горечью подумал Крейг, — как в те времена, когда дела у меня шли хорошо».

— Как твои дочери, Джесс? — спросила Соня.

— По последним сведениям, вроде бы в порядке. Насколько могут быть в порядке девушки в их возрасте. Марша, говорят, пополнила.

— Если они не попали под суд за распространение или хранение наркотиков, считай, что тебе как отцу повезло, — пошутил Мэрфи.

— Я и считаю, что мне повезло, — сказал Крейг.

— Ты что-то бледноват, — сказал Мэрфи. — Надевай плавки и побудь немного на солнце.

Крейг покосился на стройное загорелое тело Гейл Маккиннон.

— Нет, благодарю. Мой купальный сезон еще не начался. Соня, пойдем прогуляемся, пусть они спокойно заканчивают свое интервью.

— Уже все, — сказала Гейл Маккиннон. — Он говорил полчаса.

— Сообщил что-нибудь интересное? — спросил Крейг.

— Ты имеешь в виду, говорил ли я какие-нибудь сальности? Нет, не говорил.

— Мистер Мэрфи дал мне очень содержательное интервью, — сказала Гейл Маккиннон. — Он сказал, что киноиндустрия обанкротилась. Нет ни денег, ни талантов, ни дерзания.

— Такое заявление здорово поможет тебе при заключении очередного контракта, — сказал Крейг.

— А мне наплевать, — махнул рукой Мэрфи. — Свое я уже заработал. Чего мне бояться? Могу, когда есть настроение, позволить себе удовольствие говорить правду. Вот, например, собираются снимать фильм, который финансируют индейцы племени апачей. Разве это дело — чтобы какие-то индейцы диктовали нам, что писать. На ленч мы заказали омаров. Ты не против?

— Нет.

— А вы? — обратился он к девушке.

— Я люблю омаров, — ответила она.

«Стало быть, она остается на ленч». Крейг сел на складной брезентовый стул лицом к ней.

— Она, — Мэрфи ткнул пальцем в сторону девушки, — все про тебя расспрашивала. И знаешь, что я ей сказал? Я сказал ей, что одним из пороков киноиндустрии сегодня является то, что она выбивает из колен таких людей, как ты.

— Впервые слышу, что я выбит из колен.

— Ты же понимаешь, Джесс, что я хотел этим сказать. Кино перестало привлекать тебя. А как сказал какая разница?

— Он очень хвалил вас, — сказала Гейл Маккиннон. — Я бы от таких похвал смутилась.

— Он же мой агент, — сказал Крейг — Разве вы ждали от него чего-нибудь другого? Если бы вы послушали, что моя мать обо мне говорила, когда была жива, вам бы тоже понравилось.

— Я в этом уверена. — Девушка нагнулась к магнитофону. — Включать?

— Не сейчас. — Он заметил на ее губах легкую усмешку. Она опять надела темные очки. И тут же снова показалась ему враждебной.

— Гейл говорит, что у тебя каменное сердце, — сказал Мэрфи. У него была привычка называть девушек по имени, даже если он только что с ними познакомился. — Почему ты не хочешь дать ей шанс?

— Когда у меня будет что сказать, она услышит это первой.

— Будем считать это обещанием, мистер Крейг, — сказала девушка.

— Ты правильно делаешь, Джесс, оставляя свои мысли при себе, — сказала Соня. — Я целых полчаса слушала здесь разглагольствования мужа и, если бы могла, заставила бы его замолчать.

— Уж эти мне жены, — проворчал Мэрфи. Но в тоне его звучала нежность. Они были женаты двенадцать лет и если ссорились когда-нибудь, то не на людях.

«Вот в чем преимущество поздних браков», — подумал Крейг.

— Слишком уж много задают люди вопросов, — сказала Соня. Она говорила спокойным, материнским тоном. — И слишком часто им отвечают. Что до меня, то если бы эта милая девушка спросила меня сейчас, где я покупаю губную помаду, я ей и этого бы не сказала.

— Миссис Мэрфи, где вы покупаете губную помаду? — спросила Гейл Маккиннон.

Все засмеялись.

— Слушай, Джесс, — сказал Мэрфи. — Может, нам пойти с тобой в бар, а женщин оставить одних? Пусть позлословят немного на досуге перед ленчем. — Он встал, Крейг тоже.

— И мне хочется выпить чего-нибудь, — сказала Соня.

— Скажу официанту, чтобы принес. А вы, Гейл? Что вы хотите?

— Я днем не пью, — ответила девушка.

— В мое время журналисты были не такие, — сказал Мэрфи. — И в купальных костюмах они выглядели иначе.

— Перестань флиртовать, Мэрфи, — сказала Соня.

— Чудище с зелеными глазами. — Мэрфи поцеловал жену в лоб. — Пошли, Джесс. Время аперитива.

— Не больше двух, — напомнила Соня. — Не забудь, что ты в тропиках.

— Как только я собираюсь выпить, моей жене кажется, что тропики начинаются от самого Лабрадора, — сказал Мэрфи. Он взял Крейга под руку и повел его по дорожке между флагштоками к бару.

Перед одним из пляжных домиков на матрасе ничком лежала полная женщина. Она бесстыдно раскинула ноги, подставляя их солнцу.

— Ну и ну, — пробормотал Мэрфи, уставившись на женщину. — Опасный берег, дружище.

— Я тоже об этом подумал, — сказал Крейг.

— Эта девица нацелилась на тебя. Эх, мне бы твои сорок восемь!

— Она не за тем на меня нацелилась.

— А ты выяснил зачем?

— Нет.

— Послушайся совета старика. Выясни.

Каким образом она у тебя оказалась? — спросил Крейг, которого всегда коробили откровенные разговоры Мэрфи о женщинах.

— Очень просто. Позвонила мне сегодня утром по телефону, и я сказал: приходите. Я ведь не то что некоторые мои приятели. Ложной скромностью не страдаю. А когда увидел, какая она из себя, то спросил, не прихватила ли она с собой купального костюма.

— А она как раз прихватила.

— Совершенно случайно. — Мэрфи засмеялся. — Я не юбочник — Соня это знает, — но мне нравится бывать в обществе смазливых девчонок. Невинная стариковская слабость.

Они подошли к маленькому павильону. Официант при их приближении встал

*Bonjour, messieurs!*¹

— *Une gin fizz per la donna cabana numero quarantedue, per fevore*², — сказал Мэрфи. В годы войны он был в Италии и научился немного говорить по-итальянски.

¹ Добрый день, господа (франц.)

² Джин с шипучкой для дамы в кабину сорок два, пожалуйста (искривл. итал.)

Это был единственный иностранный язык, который он знал, и, покидая пределы Америки, он в любой стране обрушивал на местных жителей свой итальянский. Крейг восхищался спокойной самонадеянностью, с какой Мэрфи навязывал чужим людям свои привычки.

— Si, si, signore¹, — проговорил официант с улыбкой, вызванной то ли произношением Мэрфи, то ли предвкушением щедрых чаевых, которые оставит ему этот клиент.

По дороге в бар они проходили мимо плавательного бассейна в скале над морем. На краю бассейна стояла молодая светловолосая женщина и наблюдала за маленькой девочкой, учившейся плавать. Волосы у ребенка были того же цвета, что у женщины, не ошибешься, что это мать и дочка. Мать давала девочке советы на каком-то незнакомом Крейгу языке: ласково, ободряюще, со смешинкой в голосе. Кожа у нее только-только начинала розоветь от солнца.

— Датчанки, — сказал Мэрфи. — Слышал за завтраком. Надо как-нибудь съездить в Данию.

В стороне от лестницы, ведущей к морю, растянувшись на надувных матрасах, нежились на солнце две девушки. Они сбросили с себя бюстгалтеры, чтобы на их красивых загорелых юных спинах не остались белые полосы. Смуглые спины, длинные, стройные ноги, аппетитный загар. Бикини — не более чем символическая уступка общественной благопристойности. Будто две свежеспеченные булочки — теплые, вкусные, сытные. Между ними сидел молодой человек — Крейг узнал в нем актера, которого видел в двух-трех итальянских фильмах. Актер, такой же загорелый, в узеньких плавках, был худощав, но мускулист, на его безволосой груди висела ладанка на золотой цепочке. Черноволосый красавец, великолепно животное с белоснежными зубами, которые он обнажил в хищной, как у леопарда, улыбке.

Крейг заметил, что Мэрфи не сводит с этого трио глаз.

— С такой внешностью, как у него, я бы тоже улыбался, — сказал Крейг

Мэрфи громко вздохнул.

¹ Да, да, синьор (итал.)

В баре Мэрфи заказал себе «мартини», что бы там жена ни говорила о тропиках. Крейг попросил пива.

— Ну... — Мэрфи поднял стакан. — За тебя, дружисе. — Он отпил треть своего коктейля. — Как замечательно, что мы встретились наконец. В письмах-то ты не очень щедр на информацию, а?

— Да не о чем, собственно, было и писать. Не стану же я докучать тебе рассказами о своих бракоразводных делах.

— После стольких лет. — Мэрфи грустно покачал головой. — Кто бы мог подумать? Ну, что ж, если не было другого выхода... Говорят, в Париже у тебя новая женщина?

— Не такая уж она новая.

— Счастлив?

— Не настолько ты молод, Мэрфи, чтобы задавать такие вопросы.

— Удивительно, я чувствую себя не старше, чем после демобилизации. Глупее, но не старше. Ну ладно, не будем касаться этой темы. Грустно становится. Ну, как ты? Что тут поделяваешь?

— Да так. Бью баклуши.

— Эта девчонка, Гейл Маккиннон, все добивалась у меня, зачем ты приехал в Канн. Хочешь снова работать? — Мэрфи смотрел на него испытующе.

— Не исключено, — сказал Крейг. — Если подвернется что-нибудь подходящее. И если найдется дурак, который даст мне денег.

— Не ты один этого хочешь. Но сейчас, чтобы всаживать деньги в фильм, почти в любой, надо и впрямь быть дураком.

— Иными словами, никто в твою дверь не ломится и не просит уговорить меня идти к нему работать.

— Видишь ли, — уклончиво ответил Мэрфи, — согласись, что ты давно уже не у дел. Если ты серьезно думаешь работать, то я хочу пробить один фильм... Может, что и выйдет. Я думал о тебе, только не хотел зря беспокоить письмами, пока не выясню более конкретно. К тому же и денег это больших не сулит. И сценарий дрянной. И снимать надо в Греции, а ведь я знаю тебя и твои политические взгляды...

Крейг засмеялся, слушая эти бесконечные оговорки

— Одним словом, во всех отношениях — блестящие перспективы.

— Ну, сказал Мэрфи, — я же помню, как ты в свой первый приезд в Европу не захотел ехать в Испанию из-за того, что тебя не устраивала тамошняя политическая обстановка, так что...

— Тогда я был моложе, — прервал его Крейг, подливая себе пива. — Теперь стало модно снимать фильмы в странах, политика которых тебя не устраивает, иначе мало шансов попасть на экран. Ведь не станешь же ты снимать картину в Америке, правда?

— Не знаю, — ответил Мэрфи. — Моя политика — схватил деньги и давай бог ноги. — Он жестом показал официанту, что хочет еще «мартини».

— Ну, так как же? Звонить тебе, если эта греческая штука сдвинется с места?

— Нет, — ответил Крейг, взбалтывая в стакане пиво.

— Не то сейчас время, чтобы зазнаваться, Джесс. — Мэрфи нахмурился. — Ты давно уже в этом соку не варился, так что тебе, наверно, не понять. Кинематограф — зона бедствия. Те, кто раньше огребал по семьсот пятьдесят тысяч за одну картину, теперь готовы работать за пятьдесят. И получают отказ.

— Почему же не понять.

— Если тебе за тридцать, то тебе не говорят: «Позвоните нам», а говорят: «Мы вам позвоним». — Мэрфи отпил из стакана. — Все ищут какого-нибудь никому не известного патлатого мальчишку, который сделал бы для них еще одного «Беспечного ездока» меньше чем за сто тысяч. Прямо напасть какая-то.

— Это всего лишь кино, Мэрф, — сказал Крейг. — Твое любимое развлечение. Не принимай так близко к сердцу.

— Ничего себе развлечение, — мрачно сказал Мэрфи. — Но я за тебя тревожусь. Не люблю говорить на неприятные темы, особенно во время отдыха, но ведь денежный вопрос именно сейчас тебя и беспокоит...

— Именно сейчас, — сказал Крейг.

— Адвокаты твоей жены рыщут по всей стране, двое из них были у меня с судебным распоряжением, просматривали бухгалтерские документы. Хотели проверить, не передаю ли я тебе тайком какие-нибудь суммы, на которые она еще не наложила лапу. Я знаю, что она претендует на половину твоего капитала плюс дом. А твои ценные бумаги... — Мэрфи пожал плечами. — Ты же знаешь положение дел на бирже. Уже пять лет, как

ты не получаешь никаких доходов. Черт побери, Джесс, если мне удастся пробить этот греческий фильм, я хочу, чтобы его делал ты. Заработал бы пока на текущие расходы, а там, может, что и подвернется. Ты меня слушаешь?

— Конечно.

— Но тебе это как об стенку горох, — мрачно сказал Мэрфи. — Слишком тяжело ты все воспринял, Джесс. Ну, были у тебя неудачи. Что из того? У кого их не было? Когда я узнал, что ты едешь в Канн, то обрадовался. «Наконец-то, — думаю, — он перестанет хандрить». Спроси Соню, она подтвердит. А ты вот стоишь здесь и смотришь на меня тусклыми глазами, хотя я стараюсь говорить дело. — Он допил «мартини» и заказал еще. — В прежние времена, потерпев неудачу, ты на другое же утро приходил с кучей новых идей.

— Так то — в прежние времена, — сказал Крейг.

— А по нынешним временам знаешь, что надо делать? — спросил Мэрфи. — Пусть ты талантлив, и опытен, и благовоспитан, но не можешь же ты сидеть сложа руки и ждать, когда к тебе придут люди и станут умолять взять у них десять миллионов долларов, лишь бы ты сделал им картину. Нет, у тебя должна быть своя идея. Умей отстоять ее и разработать. Найди сценарий. Чтоб это был чертовски хороший сценарий. И режиссера. И актера. Такого, которого кто-то еще хочет видеть на экране. Таких актеров осталось раз-два и обчелся. И не меньше миллиона долларов. Вот тогда я смогу начать с тобой деловой разговор. Не раньше. Таковы факты, Джесс. Они неприятны, но что делать. И лучше тебе посмотреть им в лицо.

— Ладно, Мэрф, — сказал Крейг. — Я, пожалуй, готов посмотреть им в лицо.

— Так-то лучше. Эта девчонка говорит, что видела у тебя на столе рукопись.

— Надо полагать, в отеле «Карлтон» на сотне столов лежат сейчас рукописи, — сказал Крейг.

— Давай поговорим о той, что на твоём столе, — настаивал Мэрфи. — Что это — сценарий?

— Ага. Сценарий.

— Она спрашивала, знаю ли я что-нибудь про эту рукопись.

— Что ты ей ответил?

— Какого дьявола мог я ей ответить? — с досадой

пробурчал Мэрфи. — Ничего я не знаю. Ты заинтересовался каким-то сценарием?

— Можно сказать и так. Да.

— Чей он? — недоверчиво спросил Мэрфи. — Если какая-то студия уже отклонила его, то не связывайся. Пустая трата времени. Информацию нынче на лазерных лучах передают.

— Этот сценарий никем еще не отклонялся. И никто его, кроме меня, не читал.

— Автор кто?

— Один парень. Ты его не знаешь. И никто не знает.

— Как его зовут?

— Пока не скажу.

— Даже мне?

— Тебе в особенности. Ты тут же растрезвонишь. Сам это знаешь. Я не хочу никого к нему подпускать.

— Ну, что ж, — с сожалением согласился Мэрфи. — В этом есть резон. Он тебе принадлежит? Я имею в виду сценарий.

— Я приобрел на него права. На шесть месяцев.

— Сколько ты за него заплатил?

— Пустяки.

— Его герои — моложе тридцати и много откровенных сцен?

— Нет.

Мэрфи тяжело вздохнул.

— О господи. Уже два очка не в твою пользу. Ну ладно, дай мне почитать, потом подумаем, что можно сделать.

— Подожди несколько дней, — сказал Крейг. — Хочу еще раз пройтись по текст, чтобы уж подготовить его как следует.

Мэрфи долго смотрел на него, не говоря ни слова, и Крейг был убежден, что он ему не верит.

— Хорошо, — сказал наконец Мэрфи. — Когда я тебе понадобится, я тут. А пока, если у тебя есть на плечах голова, поговори с этой девчонкой. Подробнее. И вообще — не упускай ни одного газетчика. Пусть люди знают, что ты жив еще, черт побери. — Он прикончил свой «мартини». — А теперь пошли обедать.

Ленч им привезли к пляжному домику. Холодные омары оказались весьма удачными. Мэрфи заказал две бутылки белого вина, большую часть которого сам же и выпил. Говорил он тоже больше всех. Грубовато, но

добродушно — по крайней мере вначале — подшучивал над Гейл Маккиннот: «Я хочу выяснить, чего добивается это чертово молодое поколение, пока оно еще не перерезало мне горло».

Гейл Маккиннот отвечала на его вопросы прямо, без обиняков. Уж в чем, в чем, а в застенчивости упрекнуть ее было нельзя. Выросла она в Филадельфии. Ее отец живет по-прежнему там. Она — единственный ребенок в семье. Родители в разводе. Отец женат вторично. Он адвокат. Она училась в Брин-Море, но ушла со второго курса. Пошла работать на филадельфийское радио и вот уже полтора года в Европе. Их корреспондентский пункт — в Лондоне, но условия работы позволяют ей много путешествовать. В Европе ей нравится, но она все равно будет жить в Штатах. Предпочтительно в Нью-Йорке.

Такая же, как сотни других американских девушек, встречавшихся Крейгу в Европе, — полных надежд, энтузиазма и обреченных на неудачу.

— А мальчик у вас есть? — спросил Мэрфи.

— Настоящего — нет, — ответила она.

— Любовники?

Девушка засмеялась.

— Мэрф, — укоризненно сказала Соня.

— Не я же изобрел общество вседозволенности, а они, — сказал Мэрфи. — Молоды, черт их дерит. — Он снова повернулся к девушке: — А мужики все к вам пристают, когда вы их интервьюируете?

— Не все, — с улыбкой ответила она. — Забавнее всех был старый раввин из Кливленда, он летел через Лондон в Иерусалим. Я едва от него отбилась в отеле «Беркли». К счастью, через час у него улетал самолет. Борода у него была шелковистая.

Слушая этот разговор, Крейг испытывал неловкость. Слишком напоминала эта девушка его дочь Энн. Ему претила мысль, что и Энн может вот так разговаривать со взрослыми мужчинами, когда его нет рядом.

Мэрфи заговорил об упадке кинопромышленности.

— Возьмите, к примеру, фирму «Уорнер». Знаете, кто ее купил? Похоронная компания. Как вам нравится черный креп на эмблеме? А уж эта возрастная проблема! Болтают о революциях, которые пожирают молодых. А у нас там — тоже революция, только она пожирает

старых. Вы-то, конечно, считаете это правильным, мисс Умница. — От вина он делался агрессивным.

— Отчасти, — спокойно сказала Гейл Маккиннон.

— Едите моего омара и говорите «отчасти».

— Смотрите, до чего довели нас старшие, — сказала она. — Хуже того, что они сделали, молодым не сделать.

— Знаю я эту песню, — сказал Мэрфи. — У меня-то, слава Богу, нет детей, а вот у моих друзей есть, и я послушал, что они говорят. Молодым нас не переплюнуть? Если хотите знать, умница Гейл, переплюнут. Да еще как. Включайте магнитофон, я хочу сказать про это.

— Да ешь ты, Мэрф, — вмешалась Соня. — Бедная девочка и так уже наслушалась твоей болтовни.

— Я замолкаю, — проворчал Мэрфи. — Присутствую, но молчу. Таков мой девиз. Теперь они все решают. Рушатся основы.

Когда ленч закончился, Крейг облегченно вздохнул.

— Ну, что ж, — сказал он вставая. — Спасибо за угощение. Мне надо ехать.

— Джесс, ты не можешь подвезти мисс Маккиннон в Канн? — спросила Соня. — Если она у нас побудет еще немного, то Мэрф договорится до того, что иммиграционные власти не пустят его, когда он надумает вернуться в Соединенные Штаты.

Гейл Маккиннон смотрела на Крейга угрюмо, и ему вспомнились собственные дочери. Они вот так же ждали, когда он повезет их после детского утренника домой.

— А как вы сюда добирались? — невежливо спросил он.

— Один знакомый подбросил. Если вы против, я такси возьму.

— Такси ужасно дорого. Грешно тратить такие деньги, когда можно доехать с Джессом. Пойдите оденьтесь, дитя мое, — решительно сказала Соня. — Джесс пождет.

Гейл Маккиннон вопросительно взглянула на Крейга.

— Разумеется, подожду, — сказал он.

Она встала.

— Я быстро, — сказала она и пошла в домик переодеваться.

— Умная девочка, — сказал Мэрфи, выливая остатки

вина в стакан. — Нравится она мне. Я ей не доверяю, но она мне нравится.

— Говори тише, Мэрф, — прошептала Соня.

— Пусть знают, что я чувствую, — сказал Мэрфи. — Пусть все знают, на чем стою. — Он допил вино. — Дай мне почитать этот сценарий, Джесс. Чем скорее, тем лучше. Если он годится, я тебе все устрою. Один-другой телефонный звонок — и дело в шляпе.

«Один-другой телефонный звонок», — подумал Крейг. Несмотря на все его рассуждения, после ленча и двух бутылок вина Мэрф забыл, что сейчас уже не 1960 год и что Брайан Мэрфи не тот Брайан Мэрфи, а Джесс Крейг не тот Джесс Крейг. Он с опаской посмотрел на тонкую деревянную дверь домика, за которой одевалась девушка.

— Возможно, дня через два, Мэрф, — сказал он. — До этого никому ничего не говори, прошу тебя.

— Могила, дружок. Фирма «Уорнер». — Мэрфи засмеялся, шутка показалась ему удачной. — Сегодня я хорошо провел время. Старые друзья, новые девушки, омар на ленч и голубое Средиземное море. Неужели богатые живут лучше нас, Джесс?

— Да, лучше, — ответил Крейг.

Гейл Маккиннон вышла, на плече у нее висела сумка. На ней были белые, сидящие низко на бедрах джинсы и синяя спортивная рубашка. Бюстгалтера она не носила, и Крейг отметил ее небольшие круглые груди, упруго выпиравшие под синей бумажной тканью. Очки она сняла; свежая, чистая и неопасная — будто вышла из пены морской. Она скромно и вежливо поблагодарила хозяев и хотела было поднять с земли магнитофон, но Крейг опередил.

— Это понесу я, — сказал он.

Они пошли вверх по дорожке к бассейну и стоянке автомобилей, а Мэрфи растянулся в шезлонге — время сиесты. Толстуха, мимо которой Крейг и Мэрфи проходили по дороге в бар, все еще лежала на животе под палящим солнцем, широко и зазывно раскинув ноги. Но вот она тяжело, страдальчески вздохнула, перевернулась на спину и уставилась с кислым видом на Крейга и девушку, нарушивших ее уединение. Лицо у нее было толстое, грубое, по нему стекала синяя тушь, смешиваясь с потом. Женщина была уже немолода, черты ее лица были отмечены эгоизмом, похотью, алчностью, развра-

щенной суетностью и разительно контрастировали со здоровой крестьянской полнотой ее тела. Крейгу стало противно, и он отвел от нее глаза. Заговори она сейчас, он бы не выдержал.

Он пропустил Гейл Маккиннон вперед и пошел сзади, как бы охраняя ее. Она бесшумно ступала по гладким камням. Ее длинные чистые волосы развевались на морском ветру. Теперь он понял, что встревожило его в патио у Мэрфи, когда он увидел ее на берегу в лучах солнца. Она напомнила ему его жену Пенелопу — такой же юной и розовой он увидел ее однажды июньским днем на Лонг-Айленде во время прилива, когда она стояла на дюне, вырисовываясь четким силуэтом на фоне набегающих волн.

Мать-датчанка читала у бассейна, привалившись спиной к скале, девочка сидела рядом, прислонив к ее плечу белокурую головку.

Опасный континент.

Послушайся совета старика. Выясни.

Подходя к машине, Гейл Маккиннон опять надела свои нелепые темные очки.

5

Выехав за ворота отеля, он повернул не в сторону Жюан-ле-Пена и Канна, а по старой памяти в сторону Антиба. На следующий год после женитьбы он снимал летом виллу на берегу моря между мысом и городом, и привычка поворачивать в ту сторону, с грустью отметил он про себя, сохранилась до сих пор.

— Надеюсь, вы никуда не торопитесь, — сказал он. — Я хочу поехать длинным путем.

— Сегодня у меня нет лучшего занятия, чем ехать длинным путем с Джессом Крейгом, — сказала Гейл Маккиннон.

— В этих местах я жил когда-то. Тогда здесь было лучше.

— Здесь и сейчас хорошо.

— Да, пожалуй. Только домов прибавилось.

Он ехал медленно. Дорога вилась по самому берегу

моря. Вдали, на голубой воде, поблескивали паруса регаты. У берега среди камней стоял старик в полосатой рубашке и удил рыбу. Над головой пролетела, снижаясь для посадки в Ницце, «каравелла».

— В каком году вы здесь были? — спросила Гейл Маккиннон.

— Я был здесь не один раз. Впервые — еще в сорок четвертом году, во время войны...

— Что вы тогда здесь делали? — с удивлением спросила она.

— Вы же сказали, что хорошо подготовились, — поддразнил он. — Я думал, что мое прошлое для вас — открытая книга.

— Ну, не совсем.

— Я ездил тогда на джипе в группе военных кинооператоров. Седьмая армия высадилась на юге Франции, и нас послали сюда из Парижа снять небольшой документальный фильм. Линия фронта проходила близ Ментоны, всего в нескольких милях отсюда. С той стороны Ниццы была слышна оружейная пальба...

«Разболтался, старый солдат», — подумал он и замолчал. Древняя история. *Цезарь приказал разбить лагерь на холмах, возвышающихся над рекой. Боевые порядки гельветов расположились на другом берегу.* Для девушки, сидевшей рядом с ним, линия фронта молодых американцев под Ментоной так же терялась во мгле веков, как и линия фронта Цезаря. Да и обучают ли их теперь латыни?

Он искоса посмотрел на нее. Его раздражали ее очки — сквозь них она могла разглядывать его, а он ее нет. Раздражала ее молодость. Раздражало ее простодушное невежество, причиной которого была все та же молодость. Слишком уже много на ее стороне преимуществ.

— Зачем вы носите эту дурацкую штуку? — спросил он.

— Вы имеете в виду защитные стекла?

— Да. Очки.

— Они вам не нравятся?

— Нет.

Она сорвала очки, выбросила их в окно и улыбнулась.

— Так лучше?

— Намного.

Они засмеялись. Он уже не жалел, что Соня Мэрфи заставила его взять эту девушку с собой в Канн.

— А зачем вам понадобилась вчера эта ужасная рубашка? — спросил он.

— Для эксперимента. Я нарочно меняю обличья.

— Какое же обличье вам хотелось принять сегодня? — Разговор этот начал его забавлять.

— Я хотела казаться привлекательной, умытой, невинно-кокетливой в духе современной эмансипированности, — ответила она. — Все это предназначалось для мистера Мэрфи и его жены. — Она раскинула руки, точно хотела обнять и море, и скалы, и сосны, затеняющие дорогу, и весь чудесный средиземноморский простор. — Я никогда в этих местах не была, но мне кажется, что я знаю их с детства. — Она взобралась на сиденье с ногами и повернулась к нему лицом. — Я буду приезжать сюда много-много раз, пока не стану старухой в большой широкополой шляпе и с тростью в руке. Думали вы во время войны, что когда-нибудь вернетесь сюда?

— Когда я был здесь во время войны, то думал лишь о том, как бы живым вернуться домой.

— Вы знали тогда, что будете работать в театре и в кино?

— По правде говоря, не помню. — Он попробовал восстановить в памяти тот давний сентябрьский день, когда четыре солдата в касках, гремя кинокамерами и карабинами, мчались в джипе на звуки орудийных выстрелов по живописному безлюдному берегу, которого ни один из них прежде не видел, мимо взорванных досов¹ и замаскированных вилок. Как звали трех солдат, что ехали с ним в джипе? Фамилия водителя была Харт. Это он помнил. Малколм Харт. Его убили два месяца спустя в Люксембурге. Имена двух других он не мог вспомнить. Их не убили.

— Кажется, — сказал он, — у меня действительно была мысль после войны пойти работать в кино. Тем более что у меня в руках уже была кинокамера. В армии меня научили снимать. В войсках связи было полно людей, которые до этого работали в Голливуде. Но оператор я был не бог весть какой. Просто меня им сделали на время войны. Я знал, что после войны уже не смогу этим заниматься. — С чувством сладкой грусти ворошил он в памяти далекое прошлое, когда он был

¹ ДОС — долговременное огневое сооружение.

молодым человеком в американской военной форме, которому не угрожала пуля — по крайней мере не угрожала в тот день. — В сущности, — продолжал он, — в театр я попал случайно. Возвращаясь на военном транспорте из Гавра в Штаты, я познакомился с Эдвардом Бреннером — играли в покер. Мы подружились, и он сказал мне, что, пока их часть готовили в Реймсе к отправке на родину, сочинил пьесу. Благодаря отцу, который водил меня на спектакли с девятилетнего возраста, я смыслил кое-что в театре и попросил Бреннера дать мне почитать ее.

— Та партия в покер оказалась счастливой, — сказала девушка.

— Пожалуй, да, — ответил Крейг.

Но по-настоящему они подружились не во время покера, а потом, когда встретились в один из солнечных дней на палубе. Крейг нашел местечко, защищенное от ветра, и сел читать сборник «Лучшие американские пьесы 1944 года», который прислал ему отец. (Какой был у него номер полевой почты? Когда-то Крейг думал, что этот номер останется у него в голове на всю жизнь.) Бреннер дважды прошел мимо Крейга, косясь на книгу в его руках, наконец остановился, присел перед ним по-крестьянски на корточки и спросил:

— нравятся? Пьесы, я имею в виду.

— Так себе, — ответил Крейг.

Они разговорились. Выяснилось, что Бреннер родом из Циттсбурга, где до призыва в армию — он был старше, чем выглядел, — учился в Технологическом институте Карнеги и, прослушав курс истории драмы, заинтересовался театром. На следующий день он показал Крейгу свою пьесу.

Бреннер был неказист — худой, болезненный с виду парень с печальными темными глазами. Говорил он сдержанно, слегка заикаясь. В толпе ликующих горластых людей, возвращавшихся на родину, ему было не по себе, плохо пригнанная форма придавала ему вид невоенный и какой-то неуверенный, словно он удивлялся, как это ему посчастливилось уцелеть после трех кампаний, и, уж конечно, твердо знал, что не уцелел бы после четвертой. Крейг брался за чтение пьесы не без опаски, он наперед придумывал смягчающие слова, ко-

торые не задели бы самолюбие Бреннера. Он никак не думал, что в первом драматическом произведении рядового пехотинца обнаружит столько эмоциональной силы при полном отсутствии всякой сентиментальности и такую композиционную строгость. Хотя сам он не был причастен к театральному искусству, но посмотрел в своей жизни достаточно спектаклей, чтобы возомнить себя, как это свойственно молодым людям, обладателем тонкого художественного вкуса. Делясь с Бреннером своими впечатлениями, он не скупился на похвалы; к тому времени, как их транспорт миновал статую Свободы, они сделались близкими друзьями, и Крейг обещал Бреннеру через отца познакомить с пьесой нью-йоркских продюсеров.

Бреннер должен был ехать в Пенсильванию, чтобы демобилизоваться и возобновить занятия в Технологическом институте Карнеги, Крейг же остался в Нью-Йорке и делал вид, что ищет работу. Связь с Бреннером он поддерживал только по почте. Сообщать особенно было нечего. Отец Крейга добросовестно обошел всех знакомых продюсеров, но ни один из них пьесу не взял.

«Никто, говорят они, и слышать не хочет о войне, — писал Крейг в Питтсбург. — Все они идиоты. Не отчаивайся. Так или иначе пьеса пойдет».

В конце концов Крейг оказался прав. Когда у него умер отец, оставив ему в наследство двадцать пять тысяч долларов, он написал Бреннеру: «Я знаю, что это безумная затея. Я ничего не смыслю в театральном деле, но думаю, что в пьесах разбираюсь лучше, чем те болваны, которые отклонили „Пехотинца“. А его-то я изучил теперь досконально. Если ты готов поставить на карту свой талант, то я готов поставить свои деньги».

Через два дня Бреннер приехал в Нью-Йорк — и там остался. Не имея ни гроша, он поселился у Крейга в номере гостиницы «Линкольн», так что в течение пяти месяцев, пока ставилась пьеса, они были неразлучны. После года переписки, в процессе которой Крейг и Бреннер постоянно возвращались к рукописи, выверяли и взвешивали каждую строчку, пьеса стала их общим достоянием, поэтому оба удивлялись, когда в ходе работы над спектаклем их мнения изредка в чем-то не совпадали.

Режиссер, молодой человек по фамилии Баранис, имевший некоторый опыт работы в театре и рассчитыв-

вавший на уважительное отношение со стороны этих новичков, как-то воскликнул: «Господи, да вы, наверно, и сны одни и те же видите!» Они в тот день без предварительного обсуждения спокойно отвергли какое-то его мелкое замечание.

Но однажды они все же поспорили серьезно, причем любопытно отметить, что предметом их спора явилась Пенелопа Грегори, впоследствии ставшая Пенелопой Крейг. Один агент-посредник рекомендовал ее для исполнения маленькой роли, и она произвела на Бараниса и Крейга хорошее впечатление: красивая, мягкий грудной голос. Но Бреннер был непреклонен. «Верно, она красива, — соглашался он. — Верно, у нее сильный голос. Но есть в ней что-то не внушающее доверия. А что — я не знаю».

Они попросили Пенелопу снова прочесть текст, но Бреннер стоял на своем, и в конце концов им пришлось взять девушку попроще.

На репетициях Бреннер так волновался, что терял аппетит, поэтому Крейгу приходилось не только пререкаться с художником, вести переговоры с профсоюзом рабочих сцены и следить, чтобы исполнитель главной роли не запил, но еще заманивать Бреннера в рестораны и запихивать в него какую-то еду, иначе он не дотянул бы до премьеры.

В день, когда у входа в театр расклеили афиши, Крейг увидел Бреннера на тротуаре. В грязном плаще — пальто у него не было — он стоял и с удивлением смотрел на надпись: Эдвард Бреннер «Пехотинец», и дрожал, как в приступе малярии. Увидев Крейга, он дико захохотал. «Слушай, это невероятно! Просто невероятно! Мне кажется, что кто-то вот-вот тронет меня за плечо и я проснусь и опять окажусь в Питтсбурге».

Не переставая дрожать, он позволил Крейгу увести себя в ближайшую закусочную и заказать молочный коктейль. «У меня раздвоение личности, — признался он, стоя со стаканом в руке. — Жду не дожусь премьеры и в то же время не хочу ее. И не только потому, что боюсь провала. Мне просто жаль, что ничего этого уже не будет. — Он сделал неопределенный жест в сторону автомата с газированной водой. — Ни репетиций. Ни номера в гостинице „Линкольн“. Ни Бараниса. Не уелышу я больше твоего храпа в четыре часа утра. Все

ито никогда уже не вернется. Ты меня понимаешь?» — «Вроде бы, — ответил Крейг. — Допивай свой коктейль».

Когда вечером после премьеры по телефону стали сообщать первые отклики прессы, Бреннера начало рвать. Он испачкал в номере весь пол, потом извинился и сказал: «Я буду любить тебя до самой смерти». Он выпил восемь порций виски и погрузился в небытие. Крейг разбудил его, только когда принесли вечерние газеты.

— Какой он был тогда? — спросила Гейл Маккин-нон. — Когда вы впервые встретились с ним.

— Обыкновенный солдат, переживший тяжелую войну, — ответил Крейг. Он сбавил газ и показал налево, на стоявшую среди сосен белую виллу. — Вот где я жил. Летом сорок девятого года.

Девушка внимательно посмотрела на широкое низкое здание с террасой под оранжевым навесом, защищавшим садовую мебель от яркого солнца.

— Сколько лет вам тогда было?

— Двадцать семь.

— Неплохо пожить в таком доме в двадцать семь лет, — сказала она.

— Да, — сказал Крейг. — Неплохо.

Что осталось у него в памяти от того лета?

Только отдельные эпизоды.

...Пенелопа на водных лыжах в заливе Ла-Гаруп — тонкая, загорелая, с развевающимися волосами, подчеркнуто грациозная в своем черном купальном костюме — мчится в кильватере быстроходного катера. В катере рядом с ним — Бреннер, он снимает Пенелопу любительской камерой, а та отважно дурачится, выделывая антраша, и машет рукой кинокамере.

...Бреннер пытается научиться воднолыжному спорту, упрямо снова и снова встает на лыжи, но все падает, видны лишь его худой, некрасивый, из одних костей и сухожилий торс, длинный унылый нос и исхудалые, чуть не до мяса опаленные солнцем плечи; в конце концов его, порядком нахлебавшегося воды, втаскивают на борт, и он говорит: «Ни на что я, проклятый интеллигент, не годен». Пенелопа смеется, покачиваясь вместе с катером, и наводит на него кинокамеру, будто огнестрельное оружие.

...Бархатный вечер на открытой площадке города

О-де-Кань, обнесенного крепостной стеной, под дребезжащую французскую музыку танцуют пары, двигаясь то в полумраке, то при свете фонарей, висящих вдоль старых каменных стен; Пенелопа, маленькая, стройная, невесомая в его руках, целует его ниже уха — от нее пахнет морем и жасмином — и шепчет: «Давай останемся здесь навсегда». А Бреннер сидит за столиком, он стесняется танцевать, наливает в бокал вино и пытается объясниться с некрасивой француженкой, которую подцепил накануне вечером в казино Жюан-ле-Пена, с трудом выговаривая одну из десяти заученных после приезда фраз. «Je suis un fameux écrivain à New York»¹.

...Предрассветная зеленая мгла, они едут в маленькой машине с открытым верхом домой из Монте-Карло, где вместе выиграли в рулетку сто тысяч франков (доллар стоил 650 франков). Крейг за рулем, с ним рядом Пенелопа, она между двумя мужчинами, ее голова на плече Крейга. Бреннер выкрикивает своим каркающим голосом навстречу ветру: «Вот и мы, Скотт²!» Потом они вместе пробуют спеть песню «Опавшие листья», впервые услышанную накануне вечером.

...Ленч на террасе белой виллы под огромным оранжевым навесом, все трое только что освежились утренним купанием, нарядная Пенелопа в белых бумажных брюках и ярко-синей трикотажной блузке с мокрыми, зачесанными кверху волосами, нежная и неотразимо чувственная, перебирает цветы в вазе на столе, накрытом для ленча, ее мягкие загорелые руки прикасаются к бутылке в ведерке со льдом, проверяя, охладилось ли вино, а в это время старуха, постоянно работающая при доме кухаркой, входит, шаркая ногами, с холодной рыбой и салатом на большом глиняном блюде, купленном по соседству в Валлорисе. Как звали эту старуху? Элен? Всегда в черном в знак траура по десяти поколениям родных, умерших в стенах Антиба, она любовно о них заботилась и называла «Mes trois beaux jeunes Américains»³, а из них никто никогда прежде не имел прислуги, и Четвертого июля и в день взятия Бастилии украсила их стол красными, белыми и синими цветами.

¹ Я известный в Нью-Йорке писатель (франц.).

² Очевидно, имеется в виду Скотт Фицджеральд, живший во Франции в 20-е годы.

³ Трое моих молодых американских красавцев (франц.).

...Острый, крепкий запах размороженного солнцем соснового бора.

...Послепуденные сиесты, Пенелопа в его объятиях на огромной кровати в полутемной спальне с высоким поголовьем, исчерченной там и сям узкими полосками от жалюзи, опущенных, чтобы не проникал зной. Ежедневные любовные утехи, неудержимые, страстные, нежные, — два сплетенных благодарных молодых тела, чистых и просоленных, радость взаимного обладания, фруктовый аромат вина на губах в поцелуе, тихие смешки и перешептывание в благоуханном сумраке спальни, коварное, возбуждающее прикосновение длинных ногтей Пенелопы, когда она поглаживает рукой по его упругому животу.

...Августовским вечером после ужина они сидели с Пенелопой на террасе, внизу — спокойное, освещенное луной море, сзади — притихший сосновый бор, Бреннера не было, он ушел куда-то с одной из своих девушек, и Пенелопа сказала ему, Крейгу, что она беременна.

— Рад или огорчен? — спросила она низким встревоженным голосом. Он нагнулся, поцеловал ее. — Я принимаю это как ответ, — сказала она.

Он пошел на кухню, взял со льда бутылку шампанского, они выпили в лунном свете и решили, вернувшись в Нью-Йорк, купить дом: после прибавления семейства им уже будет тесно в их теперешней квартире в Гринич-Вилледже¹.

— Только ты Эду не говори, — попросила она.

— Почему?

— Он завидовать будет. Никому не говори. Все будут завидовать.

...Обычный распорядок дня: после завтрака они с Бреннером усаживаются в плавках на солнце, раскладывают на столе рукопись новой пьесы Бреннера, и тот говорит:

— А что, если так: в начале второго акта, когда поднимается занавес, на сцене темно. Она входит, направляется к бару — мы видим только ее силуэт, — наливает себе виски, всхлипывает, потом залпом выпивает...

¹ Гринич-Вилледж — район Нью-Йорка, где обычно живут люди искусства.

Они шуряют на яркое море, представляя себе актрису на темной сцене перед притихшим полным залом в холодный зимний вечер в приветливом городе за океаном... Они перерабатывали тогда вторую пьесу Бреннера, премьеру которой Крейг уже объявил на ноябрь.

После «Пехотинца» Крейг поставил еще два спектакля, и оба имели успех. Один из них все еще не сходил со сцены, так что он решил наградить себя курортным сезоном во Франции — пусть это будет для него и Пенелопы запоздалым медовым месяцем. Бреннер уже истратил большую часть своего гонорара за «Пехотинца» — гонорар оказался скромнее, чем ожидалось, — и опять сидел без гроша, но они возлагали много надежд на новую пьесу. Впрочем, в тот год у Крейга было достаточно денег на всех троих, и он понемногу начинал привыкать к роскоши.

Из дома доносится приглушенный голос Пенелопы, которая для практики говорит по-французски с кухаркой, и время от времени — телефонные звонки друзей или очередной подружки Бреннера; Пенелопа неизменно отвечает: мужчины работают, им нельзя мешать. Удивительно, как много друзей узнало, где они проводят лето, и скольким девицам известен телефон Бреннера.

В полдень выходит в купальном костюме Пенелопа и объявляет:

— Пора купаться.

Оникупаются, ныряя со скал перед домом, в глубокой прохладной прозрачной воде, обдают друг друга брызгами; Пенелопа и Крейг, отличные пловцы, держатся ближе к Бреннеру, который однажды совсем было начал тонуть: он вскидывал руки и отчаянно отфыркивался, делая вид, что дурачится, хотя, в сущности, его надо было спасать. Когда они вытащили его, розового и скользкого, на берег, он полежал немного на камнях, потом сказал:

— Это вы, аристократы, все умеете и никогда не утонете.

Приятные картины.

Разумеется, память, если дать ей волю, обманчива. Никакой отрезок времени — даже месяц или неделя, о которой вспоминаешь потом как о самом счастливом периоде своей жизни, — не может состоять из одних лишь удовольствий.

Была, например, ссора с Пенелопой поздним вечером недели через две-три после того, как они поселились в вилле. Из-за Бреннера. Они сидели в своей спальне с опущенными жалюзи и говорили шепотом, боясь, как бы Бреннер их не услышал, хотя комната его находилась по другую сторону холла, и стены были толстые.

— Он когда-нибудь от нас уедет? — спросила Пенелопа. — Надоело мне это длинное унылое лицо. Все время он торчит рядом с тобой.

— Тише, прошу тебя.

— Все тише да тише. Почему мы должны шептаться? — Она сидела нагая на краю кровати и расчесывала свои белокурые волосы. — Словно я не у себя дома.

— А я думал, он тебе нравится, — удивленно сказал Крейг. Он почти спал уже и только ждал, когда она кончит возиться с волосами и, погасив свет, ляжет рядом. — Думал, вы с ним друзья.

— Он мне нравится. — Пенелопа яростно расчесывала щеткой волосы. — И я его друг. Но не круглые сутки. Я замужняя женщина, и никто не предупреждал меня, что я выхожу за целую команду.

— Ну, какие там круглые сутки, — возразил Крейг, но тут же понял, что сказал глупость. — Во всяком случае, он, вероятно, уедет, как только будет готова пьеса.

— Эта пьеса не будет готова до истечения срока аренды, — в сердцах сказала она. — Я все вижу.

— Не очень-то дружески ты к нему относишься, Пенни.

— Да и не такой уж он мне друг. Думаешь, я не знаю, по чьей вине мне не дали тогда роль в его пьесе?

— Тогда он даже не был с тобой знаком.

— Ну так теперь знаком. — Пенелопа продолжала энергично работать щеткой. — Но не станешь же ты утверждать, что теперь он считает меня величайшей актрисой в Нью-Йорке после Этель Бэрримор.

— На эту тему мы с ним не говорили, — смущенно сказал он. — Только не надо так кричать.

— Разумеется, не говорили. Вы много о чем не говорили. И вообще вы игнорируете меня, когда разговариваете о чем-нибудь серьезном. Будто меня тут и нет.

— Неправда, Пенни.

— Нет, правда, и ты это знаешь. Два великих ума сливаются воедино и решают судьбы мира, и что будет с планом Маршалла, с очередными выборами, с атомной бомбой и с системой Станиславского... — Щетка замелькала в руке Пенелопы, как поршень в цилиндре. — А когда я заговариваю, то слушают меня снисходительно, точно слабоумного ребенка...

— Ты совершенно иррациональна, Пенни.

— Я иррационально рациональна, Джесс Крейг, и ты это знаешь.

Он невольно рассмеялся, она — тоже. Он сказал:

— Да брось ты эту чертову щетку и ложись наконец.

Она моментально подчинилась, выключила свет и легла.

— Не заставляй меня ревновать, Джесс, — прошептала она, прижимаясь к нему. — Не отстраняй от своих дел. Ни от каких.

Дни, как и прежде, шли своей чередой, словно и не было того ночного разговора в спальне. Пенелопа по-прежнему относилась к Бреннеру нежно, как сестра, заставляла его есть, «чтобы кости обросли мясом», вела себя тихо и скромно, не вмешиваясь в разговоры мужчин, незаметно вытряхивала пепельницы, подливала в стаканы, осторожно подшучивала над Бреннером и его девицами, которые навещали его и иногда оставались ночевать, а наутро выходили к завтраку и просили одолжить им купальный костюм, чтобы выкупаться перед отъездом в город.

— Что поделывать, любят меня женщины Лазурного берега, — смущенно говорил Бреннер, польщенный подшучиванием. — Не то что в Пенсильвании или в форте Брэгг — там они на меня и не смотрели.

Потом — неприятный вечер в конце августа, когда Крейг складывал вещи и собирался отправиться ночным поездом в Париж, где ему предстояло встретиться с руководителем киностудии и договориться об условиях продажи прав на пьесу, которая все еще шла в нью-йоркском театре. Пенелопа, только что из ванной, куталась в халат, ее карие глаза, обычно добрые, сделались вдруг жесткими и угрожающими. Она смотрела, как он бросает в чемодан рубашки.

— Надолго уезжаешь?

— Дня на три, не больше.

— Возьми этого сукина сына с собой.

- О чем ты говоришь?
- Знаешь, о чем. О ком.
- Шш-ш.

— Нечего на меня шипеть — я у себя дома. Не хочу три дня нянчить этого гениального автора единственной стоящей пьесы, этого... донжуана из города металлургов, пока ты развлекаешься в ночных барах Парижа...

— Я не собираюсь нигде развлекаться, — возразил Крейг, стараясь говорить спокойно. — Ты прекрасно это знаешь. А он занят третьим актом, и я не хочу отрывать его...

— Хорошо бы ты к жене своей относился так же внимательно, как к этому святому другу-приживальщику. За все время, что он здесь живет, пригласил он нас куда-нибудь поужинать? Хотя бы один раз?

— Что толку, если бы и пригласил. Ты же знаешь, что он без денег.

— Разумеется, знаю. Он только и делает, что старается нас в этом убедить. А где он берет деньги на гулянки с девками по пять раз в неделю? Или ты оплачиваешь и эти его расходы? Тебе что доставляют удовольствие его жалкие победы?

— У меня грандиозная идея, — невозмутимо сказал Крейг. — Почему бы тебе не поехать со мной в Париж?

— Бежать из собственного дома из-за какой-то наглой похотливой твари вроде Эдварда Бреннера? — Пенелопа говорила громко, не обращая внимания на предостерегающие жесты мужа. — Нет уж. Я не позволю ему устроить тут дом терпимости с его дешевыми шлюхами. Они совсем стыд потеряли, ходят чуть не голые. Ты должен предупредить его: пусть он ведет себя как полагается. Хватит с меня разыгрывать роль хозяйки его персонального борделя, записывать номера телефонов и говорить: «Мистер Бреннер сейчас занят, Иветта-Одилия мисс Большое Вымя. Может ли он вам позвонить?»

«А ведь она ревнует, — с удивлением подумал Крейг. — Вот и пойми этих женщин». Но он сказал только:

— Это же буржуазные взгляды, Пенни. Они канули в прошлое вместе с первой мировой войной.

— Пусть буржуазные. Пусть. — Она заплакала. — Теперь ты в этом убедился. Иди жалуйся своему благо-

родному другу. Он посочувствует. Великий богемный художник, который никогда ни за что не платит, выразит свои соболезнования.

Она бросилась в ванную, заперла за собой дверь и не выходила так долго, что Крейг уже начал опасаться, как бы не опоздать на поезд. Но как только он услышал автомобильный гудок, поданный Бреннером от подъезда, дверь ванной открылась и появилась Пенелопа — веселая, улыбающаяся и уже одетая. Она сжала Крейгу руку выше локтя и сказала:

— Прости мне эту вспышку. Что-то я нервная стала в последние дни.

Поезд тронулся со станции в Антибе, и Крейг, высунувшись из окна спального вагона, видел, как Пенелопа и Бреннер стояли бок о бок на платформе и в сумраке махали ему рукой.

Когда Крейг вернулся из Парижа, Бреннер отдал ему законченную рукопись пьесы и заявил, что должен уехать в Нью-Йорк. Они договорились встретиться в Нью-Йорке в конце сентября и устроили прощальный ужин. Крейг и Пенелопа посадили его в поезд, он сказал, что провел время прекрасно, как никогда в жизни.

После отъезда Бреннера Крейг сел читать окончательный вариант пьесы. Перелистывая знакомые страницы, он испытывал растущее беспокойство, перешедшее в конце концов в ощущение какой-то безбрежной гулкой пустоты. То, что в процессе работы казалось смешным, живым, волнующим, теперь выглядело на бумаге мертвым и безнадежно плохим. Он понял, что заблуждался, что его обмануло чудесное лето, восхищение другом — ведь он был одарен талантом, радостная увлеченность работой. И вот сейчас, трезво оценив пьесу, он увидел, что она мертва и спасти ее невозможно. Дело не только в том, что пьесу не ждал коммерческий успех. В конце концов, если бы она нашла пусть немногочисленный круг истинных ценителей, то и это принесло бы автору какое-то удовлетворение. Беда заключалась в том, что пьесу — он был в этом уверен — ждал полный провал. Напиши ее кто-то другой, Крейг отказался бы от нее не раздумывая. Бреннер... Дружба дружбой, однако, если пьеса пойдет, Бреннеру придется худо. Очень худо.

Ничего не говоря, он дал рукопись Пенелопе. Та, разумеется, слышала их бесконечные разговоры, имела представление о содержании пьесы, но читать не читала. Посредственная актриса, Пенелопа тем не менее, когда речь заходила о театре, могла быть проникательным, зорким и беспощадным судьей. Кончив читать, она сказала:

— Не пойдет. Верно?

— Да.

— Его уничтожат. И тебя тоже.

— Я-то выживу.

— Что будешь делать?

Он тяжело вздохнул.

— Буду ставить.

Больше на эту тему она с ним не заговаривала, и он ценил ее такт. Но он не сказал ей, что не собирается рисковать чужими деньгами и все расходы берет на себя.

Репетиции были для него сплошным кошмаром. Он не сумел привлечь ни актеров, которых хотел, ни режиссера, ни даже художника, потому что пьеса никому не понравилась. В результате пришлось брать либо мало уже на что годных стариков, либо неопытных новичков, а по ночам в муках придумывать для Бреннера, во спасение его самолюбия, одну ложь за другой, чтобы как-то объяснить эти бесчисленные отказы: такому-то пьеса понравилась, но он уже подписал контракт с Голливудом, такой-то связал себя обещанием дожидаться новой пьесы Уильямса, такой-то занят на телевидении. Бреннер же был спокоен: он не сомневался в успехе. После удачного дебюта он считал себя застрахованным от провала. Он даже вздумал жениться в самый разгар репетиций. На тихой, простой женщине по имени Сьюзен Локридж, с прямыми черными волосами, собранными в тугий пучок, что придавало ей сходство с учительницей. В театре она ничего не смыслила, на репетициях сидела как зачарованная, полагая, что так же репетируют и все другие спектакли. На свадьбе Крейг был шафером, он устроил банкет и в поте лица старался, изображая веселого, уверенного в себе хозяина, снова и снова поднимая бокал за здоровье новобрачных и за успех спектакля. Пенелопа на свадьбу не пришла. Она

была на четвертом месяце, ее часто тошнило, так что причина у нее была вполне уважительная.

За неделю до премьеры Крейг отвел Сьюзен Бреннер в сторону и сказал ей, что провал неминуем и что единственно разумный выход — отменить спектакль.

— Если я все скажу Эдди, как он это воспримет? — спросил Крейг.

— Он умрет, — ответила она не раздумывая.

— Не может быть!

— Я вам ответила.

— Ладно, — вяло сказал Крейг. — Будь что будет. Остается надеяться на чудо.

Но чуда не произошло. Когда занавес после первого спектакля опустился, зал был полупустым. В ресторане «У Сарди», где они решили подождать первых откликов прессы, Бреннер сказал Крейгу:

— Сволочь ты. Нарочно вредил. Сьюзен ведь передала мне, что ты ей говорил. Ты с самого начала не верил в успех и все делал кое-как. И вот результат...

— Зачем же мне было вредить? — спросил Крейг.

— Сам знаешь зачем, дружок. — Бреннер встал. — Пошли отсюда, Сьюзен.

Лишь много лет спустя, когда у них росли уже и Энн и Марша, Крейг догадался, на что намекал в тот вечер Бреннер. Во время одной из ссор с Пенеловой — у них уже больше года были плохие отношения — после вечеринки, когда она обвиняла его в том, что он обхаживал смазливую молодую актрису, пользующуюся дурной славой, она «проговорилась». Тем летом, когда они жили на Антибе, она воспользовалась его трехдневной поездкой в Париж и переспала с Эдвардом Бреннером. Она хотела причинить ему боль и добилась этого.

Он вел машину. Яркое светило послеполуденное солнце, внизу, справа от него, синело море, белая вилла осталась позади. Он оглянулся, чтобы посмотреть на нее в последний раз.

Неплохо пожить в таком доме в двадцать семь лет. В нем они зачали Энн. На большой кровати в прохладной спальне с высоким потолком и видом на море — той самой спальне, в которой они блаженствовали три чудесных, как сон, месяца. Он не рассказал Гейл Мак-

киннон ни об Энн, ни о Бреннере, ни об этих трех месяцах, ни о том, как кончилась дружба и погибла любовь. Что случилось с любительскими фильмами, которые они снимали в то лето? Он понятия не имел, куда девались катушки старой хрупкой пленки. Валяются где-нибудь в груде старых театральных программ, журналов, сломанных теннисных ракеток в подвале дома на Семьдесят восьмой улице, который он купил в связи с предстоящим рождением Энн, дома, где он ни разу не был с тех пор, как объявил Пенелопе о решении развестись с ней; дома, по которому он, наверно, до конца дней своих мог бы пройти с закрытыми глазами.

Он прибавил газ, и вилла исчезла за поворотом шоссе. *Вот тебе урок: держись подальше от мест, где ты был счастлив.*

Девушка, помолчав немного, сказала:

— Мэрфи говорит, что жена у вас очень красивая.

Можно было подумать, что она прочла мысли Крейга.

— Была, — ответил Крейг. — Наверно, и сейчас еще. Да, и сейчас.

— Вы расстаетесь мирно?

— Развод есть развод.

— Мои родители расстались тихо и вежливо, сказала Гейл Маккиннон. — Мерзость какая-то. Мать взяла и ушла. Мне тогда было шестнадцать. Она и до этого уходила. Только на этот раз уже не вернулась. Когда мне исполнилось восемнадцать, я спросила отца, в чем дело. Он сказал: «Она что-то ищет. Не меня». — Девушка вздохнула. — Раз в год, на Рождество, она присылает мне открытки. Из разных частей света. Когда-нибудь попробую разыскать ее. — Она вдруг умолкла и откинулась на спинку сиденья. Потом спросила: — Мэрфи не похож на голливудского посредника, какими их обычно представляешь, правда?

— Вы имеете в виду, что он не низкого роста, не толстый, не еврей и не картавит?

Девушка засмеялась.

— Я рада, что вы так внимательно прочли меня. А то, что я оставила вам сегодня утром, видели?

— Да.

— Есть замечания?

— Нет.

Она снова немного помолчала.

— Он очень неглуп, этот мистер Мэрфи, — сказала она. — Перед вашим приходом он сказал мне, что, если бы вы выпустили вашу последнюю картину сегодня, она имела бы большой успех. Она опередила время, так он считает.

Крейг внимательно следил за дорогой и притормозил, давая перейти через шоссе целому семейству в купальных костюмах.

— Я согласилась с ним, — продолжала девушка. — Боевиком она, возможно; и не стала бы, по крайней мере в том смысле, какой придает этому слову мистер Мэрфи, но зрители, во всяком случае, оценили бы ее оригинальность.

— Вы ее видели? — Крейг не мог скрыть удивления.

— Да. Мистер Мэрфи говорит, что вы допустили большую ошибку, не став режиссером. Говорит, что режиссер сегодня — главная фигура в кино.

— Возможно, он прав.

— Мистер Мэрфи сказал, что до шестьдесят пятого года вам как режиссеру было бы очень легко найти работу.

— Может быть.

— Было у вас такое желание?

— Нет.

— Почему?

— Вероятно, потому, что ленился.

— Вы же знаете, что это неправда. — Девушка была явно раздосадована его нежеланием говорить откровенно.

— Ну, если вам это так уж интересно, — сказал Крейг, — я думал, что мне не хватит таланта. Самое большее из меня получился бы сносный режиссер. Нашлось бы с полсотни режиссеров лучше меня.

— А среди продюсеров не найдется полсотни лучше вас? — В голосе девушки послышался вызов.

— Может, найдется пятеро. Но и эти, если повезет, перемрут, или сопьются, или в струю не попадут.

— Если бы вам пришлось начинать все сначала, выбрали бы вы себе другое занятие?

— Никому не приходится начинать все сначала, — сказал Крейг. — А теперь любуйтесь, пожалуйста, пейзажами.

— Ну, что ж, — спокойно сказала девушка. — Ленч, во всяком случае, был приятный.

После этого она уже не задавала вопросов и молчала всю дорогу, пока они ехали по берегу моря, через сонный, залитый солнцем Антиб и возвращались в Канн по оживленному шоссе.

Он предложил довезти ее до гостиницы, но она сказала, что в этом нет надобности, потому что от «Карлтона» всего две минуты ходьбы, к тому же она любит ходить пешком.

Перед «Карлтоном», между «ягуаром» и «альфой», было свободное место. Он поставил свою «симку» и выключил мотор. Когда ему снова понадобится машина, на этом месте он ее, конечно, уже не найдет.

— Благодарю вас за прогулку, — сказала девушка, вылезая из машины. — Ваши друзья Мэрфи мне нравятся. Уверена, что и вы понравитесь, если у меня будет возможность узнать вас поближе.

В ответ на любезность он улыбнулся.

— Мы же соседи, — уклончиво ответил он.

Он смотрел, как она идет по набережной, неся в руке магнитофон с записью Мэрфи. Ее длинные каштановые волосы блестели на фоне синей спортивной блузы. Он стоял под ярким солнцем, чувствуя себя покинутым. Сегодня ему не хотелось оставаться одному и вспоминать о тех днях, когда ему было двадцать семь. Догнать бы ее сейчас, тронуть за руку, пойти рядом. Но он подавил в себе этот порыв. Он зашел в бар, выпил анисовой водки, потом нехотя поплелся на Антибскую улицу и посмотрел половину порнографического фильма. Фильм был снят в Германии, действующие лица — грудастые лесбиянки в высоких кожаных сапогах. Снимали их за городом, среди солнечных полей и водопадов. В зале было полно народа. Он вышел и отправился к себе в отель.

Две проститутки с грубыми лицами, стоявшие на углу близ теннисных кортов, вызывающе уставились на него. «Подойти?» — подумал он. Может, это как раз ему и нужно?

Но он лишь вежливо им улыбнулся и прошел мимо. С теннисных кортов донеслись аплодисменты, и он заглянул туда. Шли соревнования среди юношей. Ребята играли бестолково, но бегали с фантастической быстротой. Он наблюдал за ними несколько минут, пытаясь вспомнить время, когда бегал так же.

Выйдя с кортов, он повернул за угол и пошел прямо

в гостиницу, минуя террасу, где уже начали собираться любители выпить.

Когда он брал ключ от номера, портье передал ему несколько оставленных для него записок. Было также заказное письмо от жены, пересланное администрацией его парижского отеля. Он расписался в получении и, не читая, сунул записки и письмо в карман.

В лифте какой-то пузан в оранжевой рубашке сказал хорошенькой молоденькой девчонке:

— Худший фестиваль за все годы.

Девчонка эта могла быть и секретаршей, и киноактрисой, и шлюхой, и дочерью этого мужчины.

Поднявшись к себе в номер, Крейг вышел на балкон, сел и немного полюбовался морем. Затем достал из кармана записки и стал читать. Письмо жены он оставил напоследок. На десерт.

Мистер Б. Томас с супругой приглашают мистера Крейга сегодня поужинать. Не будет ли мистер Крейг любезен позвонить? Они остановились в отеле «Мартинес» и будут ждать до семи.

Брюса Томаса он знал не очень хорошо, но относился к нему с симпатией. Томас — режиссер, у него вышло подряд три боевика. Ему около сорока лет. Это его, в частности, имел в виду Крейг, когда объяснял Гейл Маккиннон, почему не соблазнился карьерой режиссера. Завтра он скажет Томасу, что не смог ему позвонить, так как слишком поздно вернулся в гостиницу. Сегодня у него нет настроения ужинать с человеком, у которого вышло подряд три боевика.

Звонил Сидней Грин и приглашал мистера Крейга выпить сегодня вечером перед ужином. В восемь часов он будет в баре. Сидней Грин — тоже режиссер, он снял три или четыре фильма и имел контракт с одной независимой компанией еще на несколько картин. Месяц назад эта независимая компания прекратила все съемки, и Грин поехал в Канн искать работу, умоляя каждого встречного замолвить за него словечко. Сегодня ему придется пить одному.

Звонила мисс Натали Сорель и просила мистера Крейга позвонить ей. Натали Сорель — одна из тех двух великолепно одетых дам, что привлекли внимание Гейл Маккиннон накануне вечером на приеме. Довольно известная актриса родом из Венгрии, она исполняет роли на трех-четырёх языках. Лет пять-шесть назад в течение

нескольких месяцев она была его любовницей — он тогда снимал в Париже фильм, — потом он потерял ее из виду. Хотя теперь ей уже под сорок, она по-прежнему выглядит роскошной красавицей; когда Крейг увидел ее на приеме, он удивился, что порвал с ней. Однажды — это было уже после курортного сезона — он провел с ней субботу и воскресенье в Болье, и воспоминание об этих днях было одним из самых приятных в его жизни. На приеме она объявила ему, что собирается замуж. «Значит, — решил он, — с именем мисс Натали Сорель связано сейчас слишком много сложностей». Звонить ей не будет.

Была еще записка от Йена Уодли. Когда-то они провели вместе несколько пьяных вечеров в Нью-Йорке и Голливуде. Уодли написал роман, получивший в начале пятидесятых годов широкое признание. Он был шумлив, остроумен и любил спорить с незнакомыми людьми в баре. С тех пор он написал несколько неудачных романов и участвовал в работе над множеством киносценариев, трижды женился и разводился и стал пьяницей. Крейг уже много лет не встречал имени Уодли ни в газетах, ни на экране и удивился, увидев на записке его подпись.

«Дорогой Джесс, — гласили каракули, — я узнал, что ты здесь, и подумал, что неплохо бы в память старой дружбы тяпнуть нам с тобой по стаканчику. Я снимаю берлогу недалеко от старого порта, где влачат свою недолгую, мерзкую, скотскую жизнь бедняки, но они неплохо справляются с поручениями. Звони, когда будет время. Йен».

«Зачем Уодли приехал в Канн? Впрочем, не так уж это интересно», — подумал Крейг и не стал звонить по телефону, указанному в записке.

Он вскрыл заказное письмо жены, напечатанное на машинке — как видно, отпечатала сама. Она сообщила, что срок получения от него ежемесячного чека истек два дня назад, о чем она собирается известить своего и его адвокатов. Если через день она не получит чека, то даст указание адвокату принять соответствующие меры.

Он скомкал все записки, сунул их в карман и откинулся на спинку кресла.

Небо заволочу тучами, море посерело, заморосил дождь. Поднялся ветер, листья пальм на берегу зашеве-

лились, дробно, металлически зазвенели. Белая яхта с зажженными ходовыми огнями, качаясь на волнах, спешила в старую гавань.

Он ушел с балкона в гостиную и повернул выключатель. Лампы загорелись бледным, водянистым светом. При желтоватом освещении комната казалась убогой и неудобной. Он достал чековую книжку и выписал чек на имя жены. Он уже много недель не подсчитывал остатка, не стал этого делать и сейчас. Вложил чек в конверт и надписал адрес. Адрес чужого дома, хотя в нем полно его книг, бумаг и мебели, накопившихся за многие годы жизни.

Он выдвинул ящик стола и достал рукопись — один из шести лежавших там экземпляров. Рукопись была без обложки, на первой странице стояло название: «Три горизонта». Имени автора не было. Крейг взял авторучку и склонился над столом. Подумав немного, написал: «Малкольм Харт». Имя как имя, не хуже любого другого. Пусть оценивают произведение неизвестного автора по его достоинству. Лучше, когда судят о вещи в чистом виде. Другим не придется тогда придумывать снисходительные отзывы, у врагов же не будет лишнего повода позлословить. В этом есть, конечно, элемент малодушия, но есть и здравый смысл, расчет на точность суждений.

Он достал остальные пять экземпляров и на каждом сделал такую же надпись. Затем вложил один из них в манильский конверт и написал на нем имя Брайана Мэрфи.

Он подумал, не позвонить ли Констанс. Сейчас она должна быть дома. И после утренней вспышки, наверно, успокоилась. Но если окажется, что ее нет дома, то это огорчит его, и он решил не звонить.

Он спустился в переполненный холл, рассеянно улыбнулся двоим знакомым и прошел мимо — ему не хотелось ни с кем разговаривать. Подойдя к стойке портье, он велел отправить конверт с чеком для жены почтой, а рукопись немедленно доставить с курьером Брайану Мэрфи в отель «На мысу». Затем послал Энн телеграмму, в которой предлагал вылететь первым же самолетом в Ниццу. Уж если и жертвовать ради кого-то своими удобствами, пусть это будет его собственная плоть и кровь.

Ужинал он в небольшом ресторане в старом порту. Один. За день он и так уж достаточно наговорился с людьми. Ресторан — один из лучших в городе, дорогой и обычно многолюдный. Но в этот вечер в зале были только он да две шумные компании англичан — розовощекие мужчины с модными стрижками и безвкусно одетые, увешанные драгоценностями женщины. Они не имели отношения к фестивалю и в Канн приехали только развлекаться. Крейг видел их всех накануне вечером в казино: женщины, как и мужчины, играли по крупной. Женщины рассказывали звонкими, визгливыми голосами о других курортах — Сардинии, Монте (как они сокращенно называли Монте-Карло), Капри, Сен-Морисе — непереманных обиталищах богачей. Мужчины жаловались на лейбористское правительство, валютные ограничения, курс фунта, девальвацию — их голоса гудели, покрывая трели жен.

«Англия всегда будет Англией», — подумал Крейг, принимаясь за салат по-нищцки.

Вошел Пабло Пикассо с компанией из пяти человек, и хозяйка ресторана, красивая женщина, засуетилась, усаживая их за столик у противоположной стены. Крейг посмотрел на него, с восхищением подумал о том, какую бычью энергию излучает его невысокая плотная фигура, большая лысая голова, темные глаза, мягкие и жесткие одновременно, и тут же отвел взгляд. Пикассо, конечно, наслаждается своей славой, но имеет же он право съесть суп без того, чтобы за каждым его движением следил какой-то немолодой американец, чья претензия на внимание художника обусловлена только тем, что у него в доме, который, в сущности, уже и не его дом, висит литография с изображением голубя.

Англичане лишь мельком, без любопытства взглянули на Пикассо и его компанию, когда те входили в ресторан, и опять занялись своими бифштексами и шампанским.

Позже хозяйка подошла к столику Крейга и тихо спросила:

— Вы ведь знаете, кто это, да?

— Конечно.

— А вот они... — Она язвительно улыбнулась, слегка

кивнув головой на своих английских клиентов. — Они не знают.

— Искусство вечно, признание — быстротечно.

— Comment¹? — озадаченно посмотрела на него хозяйка.

— Американская шутка, — пояснил Крейг.

Когда он закончил ужин, хозяйка подала ему к кофе коньяку. За счет ресторана. Если бы англичане узнали Пикассо, то ему пришлось бы платить за этот коньяк самому.

Выходя из ресторана, Крейг посмотрел на Пикассо, их глаза встретились. Он подумал: «Каким увидел меня этот старик? Как абстракцию, угловатый, безобразный продукт американской системы? Убийцу, склонившегося над умерщвленным азиатским крестьянином и подсчитывающего трупы? Скорбного, бесприютного клоуна на печальном чужом карнавале? Одинокое человеческое существо, с трудом передвигающееся по пустому холсту?» Он с грустью подумал об условностях, которым подчинено его поведение. Как хорошо было бы сейчас подойти к этому старику и сказать: «Вы сделали мою жизнь богаче».

Выйдя из ресторана, он пересек улицу и пошел по набережной, где у причалов стояли яхты, покачиваясь на тихой черной воде. «Почему вы не в море?» — мысленно спросил он.

Уже почти дойдя до поворота гавани, он увидел при свете фонарей двигавшуюся ему навстречу знакомую фигуру. Это был Йен Уодли, он шел, опустив голову, развинченной, усталой походкой. В последнюю секунду Уодли заметил его, встрепенулся, и на лице его появилась улыбка. Он располнел и, как видно, с трудом втискивался в свой давно не глаженный костюм. ворот рубашки он расстегнул, чтобы не сдавливать толстую дряблую шею; наполовину развязанный галстук сбился набок и свисал на измятую рубашку. И постричься ему тоже не мешало бы — густые нечесанные волосы торчали в разные стороны, открывая высокий выпуклый лоб. Он был похож на пророка-отшельника.

— Вот с кем я хотел повидаться, — громко сказал Уодли. — Мой друг — вундеркинд. — Уодли познакомился с Крейгом, когда тому только что исполнилось

¹ Что? (франц.)

тридцать лет. В эту фразу он вкладывал обидный смысл, и Крейг так именно ее и воспринял.

— Привет, Йен. — Крейг пожал потную ладонь Уодли.

— Я же записку тебе оставил, — сказал Уодли тоном упрека.

— Я собирался звонить тебе завтра.

— Кто знает, где я буду завтра. — Голос у Уодли немного сел. Он был под хмельком. Как обычно. Пить он стал с тех пор, как начались неудачи с его книгами. Или, наоборот, неудачи начались с тех пор, как он стал пить. Причина или следствие — все переплелось.

— Разве ты здесь не на весь период фестиваля? — спросил Крейг.

— Я нигде ни на какой период. — Уодли был пьянее, чем Крейгу вначале показалось. — Что ты делаешь?

— Когда?

— Сейчас.

— Гуляю.

— Один? — Уодли недоверчиво осмотрелся вокруг, словно подозревая, что на темной набережной среди перевернутых плоскодонок и рыбачьих снастей Крейг прячет какую-нибудь сомнительную личность.

— Один, — подтвердил Крейг.

— Одинокий продюсер. Ну так я погуляю с тобой. Пойдем, как два ветерана, товарища по отступлению с бульвара Заходящего Солнца.

— Ты всегда изъясняешься титрами, Йен? — спросил Крейг, раздраженный тем, что этот писатель считает его товарищем по несчастью.

— Что делать, кино — искусство сегодняшнего дня, — сказал Уодли. — Печатное слово мертво. Почитай лю-бого канадского философа. Отведи меня в ближайший бар, вундеркинд.

— Я уже достаточно выпил сегодня.

— Счастливчик. Что ж, пройдусь с тобой и так. Твоя-то дорогая вернее моей.

Они пошли рядом. Уодли держался подчеркнуто прямо, шагал пружинящей походкой. Его некогда красивое, открытое, худое лицо теперь заплывло жиром. Это было лицо алкоголика, сокрушающегося от жалости к самому себе.

— Расскажи мне, вундеркинд, что ты делаешь в этом нужнике, — сказал он.

— Да вот, решил посмотреть несколько фильмов, — ответил Крейг.

— А я в Лондоне живу. Ты это знал? — Он спросил резким тоном, явно намекая, что Крейг потерял всякий интерес к судьбе своего бывшего приятеля.

— Да, — сказал Крейг. — Ну, что Лондон?

— Город Шекспира и Марло, королевы Елизаветы и Диккенса, Твигги и Йена Уодли. Еще один нужник. Вообще-то я приехал написать статью о фестивале для журнала английских гомиков. Никакой гарантии, они оплачивают мне только гостиницу. Если возьмут что-нибудь — подкинут пару фунтов. Хотят украсить свою обложку волшебным именем Йена Уодли. Когда увидят статью, то их, наверно, стошнит. Все, что я здесь видел, — дерьмо. Так и напишу. Вот уж начнут возмущаться! Редактор отдела кино и театра у них вообще полуграмотный, поэтому он убежден, что кино — это божественное творение наших дней. Думает, что Годар ежегодно накручивает по четыре новых Сикстинских капеллы. Господи, да он и антониониевский «Крупным планом» считает шедевром! Ты сам-то что думаешь обо всей этой ерунде, что здесь показывают?

— Есть фильмы хорошие, есть и плохие, — ответил Крейг. — Думаю, что до конца фестиваля штук шесть хороших наберется.

— Шесть! — фыркнул Уодли. — Когда составишь список, пришли мне. Я упомяну их в своей статье. Что хочу, то и пишу. «Великий в прошлом деятель кино назвал шесть лучших фильмов».

— Шел бы лучше домой, Йен. Ты меня раздражаешь.

— Извини. — В голосе Уодли прозвучало искреннее раскаяние. — Разучился я вести себя, как люди. Да и все у меня скверно. А в гостиницу я не хочу. Ничто там меня не ждет, кроме сборища блох и недописанной рукописи книги, которую я, наверно, так и не кончу. Я зол, я это знаю, но зачем изливать свою желчь на старых друзей? Прости меня. Простишь, а? — В голосе Уодли слышалась мольба.

— Конечно.

— Мы ведь были друзьями, правда? Были у нас с тобой веселые денечки. Немало мы с тобой покутили. Что-нибудь да осталось у нас с тобой от той дружбы, а, Джесс?

— Конечно, осталось, Йен, — сказал Крейг, хотя это была неправда.

— Меня что убивает? — сказал Уодли. — Меня убивает теперешняя манера писать. Особенно для кино. Все ноют, брюзжат и говорят: «Ага», «Похоже, что так», «Ты мне годишься, малышка» и «Давай переспим». И это называется диалог, так, мол, и должно благородное животное, именуемое человеком, обращаться к себе подобным перед оком господним. Люди, которые так пишут, зарабатывают по сто тысяч за картину, получают Оскаров и имеют столько девочек, сколько душе угодно. Мне же вот приходится писать грошовую статейку для журнала английских гомиков, да и неизвестно еще, напечатают ли ее.

— Брось хандрить, Йен. У всякого художника бывают свои взлеты и падения. Почти у каждого писателя так: то он в моде, то нет. И так всю жизнь. Если, конечно, он достаточно долго протянет.

— Я буду снова в моде через пятьдесят лет после своей смерти, — сказал Уодли. — Любимец потомков Йен Уодли. Ну, а ты как? Давненько я не видел в воскресных газетах статей о твоих замечательных успехах.

— Я в академическом отпуске, — пошутил Крейг. — Отдыхаю от славы.

— Что-то затянулся твой академический отпуск, черт побери.

— Верно.

— Кстати, вспомнил. Есть тут одна девица, Гейл Маккиннон, она вроде корреспондентки. Все о тебе допытывается. Задает мне разные вопросы. О женщинах. О девушках. О твоих друзьях. О твоих врагах. Кажется, она знает о тебе больше, чем я. Ты с ней говорил?

— Немного.

— Поостерегись ее. Больно у нее глаза горят.

— Хорошо, поостерегусь.

У поворота их догнал «фиат», в котором сидели две девицы. Машина замедлила ход, девица, сидевшая ближе, высунулась из окна и сказала:

— Bonsoir¹.

— Катись ко всем чертям, — буркнул Уодли.

¹ Добрый вечер (франц.).

— Sal juif, — сказала женщина. Машина рванулась с места и ушла.

— «Грязный еврей», — повторил Уодли. — Неужели я выгляжу грязным?

Крейг засмеялся.

— С французскими дамами повежливей надо обращаться. Они все в монастырях воспитываются.

— Шлюхи, — сказал Уодли. — Всюду шлюхи. В зрительном зале, на экране, на улице, в зале заседаний жюри. Правда, Джесс, это же — всемирная столица проституции! Каждый год на две недели. Раздвинь ноги и получай деньги. Эти слова, как девиз, надо напечатать на каждом бланке под гербом города Канна. Или вот, взгляни. Вон туда. — Он показал рукой через бульвар: четыре молодых парня красноречиво улыбались прохожим. Мужчинам. — Как тебе это нравится?

— Не очень, — ответил Крейг.

— Теперь без программы не скажешь, что за актеры играют в картине. Вот погоди, увидишь мою статью.

— Я не могу ждать, — сказал Крейг.

— Да, лучше я пришлю тебе рукопись. Не напечатают ее мои гомики. Или и мне стать проституткой и написать то, что редактору понравится? Если я ничего не заработаю, то не знаю, на что буду жить.

— Может, то же самое говорят себе и эти девицы в автомобиле, и эти парни на углу: «Если я ничего не заработаю, то не знаю, на что буду жить».

Уодли выругался.

— Слишком уж много в тебе христианского смирения, Джесс. Не думай, что это добродетель. Из-за этого смирения мир и так летит к чертям собачьим. Грязные фильмы, грязный бизнес, грязная политика. Все допустимо. Все прощается. Всему найдется десяток оправданий.

— Что тебе надо, Йен, так это хорошо выспаться, — сказал Крейг.

Уодли остановился на тротуаре.

— Что мне надо, так это пять тысяч долларов. Можешь ты мне дать пять тысяч долларов?

— Нет, — сказал Крейг. — Зачем тебе пять тысяч долларов?

— В Мадриде снимают фильм. Сценарий, разумеется, скверный, и им нужно, чтобы его кто-то срочно пере-

делал. Если бы я мог сейчас туда поехать, эта работа почти наверняка досталась бы мне.

— Билет до Мадрида стоит долларов сто, не больше, Йен.

— А за гостиницу чем платить? А есть мне надо? Не сразу же они подпишут со мной контракт и выплатят аванс. А что послать моей сволочной третьей жене? За неуплату алиментов она собирается наложить арест на книги и пишущую машинку, которые я сдал на хранение в Нью-Йорке.

— Вот здесь ты нащупал мою слабую струнку, дружище, — сказал Крейг.

— Если ты хочешь заключить сделку, а эти мерзавцы знают, что у тебя нет ни гроша, так они в порошок тебя сотрут. Имея же деньги, ты можешь встать и сказать: дело ваше, друзья. И уйти. Ты сам знаешь, как это бывает. Нет, пять тысяч — это, я считаю, минимум.

— Увы, Йен, извини.

— Ну, ладно, триста долларов ты можешь мне дать? За триста я могу доехать до Мадрида и прожить там дня два. — Его жирный подбородок задрожал.

Крейг стоял в нерешительности, машинально ощупывая боковой карман пиджака, где у него лежал бумажник. Так было пятьсот долларов в американской валюте и около двух тысяч франков. Память о временах бедности сделала его суеверным, поэтому он постоянно носил с собой крупные суммы денег. Ему всегда бывало мучительно трудно, почти невозможно отказывать в деньгах даже незнакомым людям, и это свойство своего характера он справедливо считал проявлением слабости. Он часто вспоминал «Войну и мир»: обретенную Пьером Безуховым способность отказывать таким просителям Толстой изображал как признак зрелости и умудренности.

— Хорошо, Йен, я дам тебе триста.

— Пять тысяч было бы лучше.

— Я сказал: триста. — Крейг достал бумажник, вынул три сотенные бумажки и протянул Уодли.

Уодли небрежно сунул деньги в карман.

— Ты ведь знаешь, что я никогда их тебе не верну?

— Знаю.

— И не извинюсь, — со злостью сказал Уодли.

— Я и не требую от тебя извинений.

— Знаешь, почему я не извинюсь? Потому что ты

должен мне эти деньги. Знаешь, почему должен? Потому что когда-то мы были на равных. А сейчас ты что-то значишь, я же — ничего.

— Желая тебе приятно провести время в Мадриде, — устало сказал Крейг. — Ну, я иду спать. Спокойной ночи.

Уодли продолжал стоять у фонарного столба, около него крутились проститутки. Он долго смотрел вслед удалявшемуся Крейгу.

Подходя к отелю, Крейг почувствовал, что озяб. Его слегка знобило. Он зашел в бар. Там, как всегда между ужином и окончанием вечернего сеанса, было почти безлюдно. Он сел у стойки и заказал себе горячий грог — с лечебной целью. Пока он пил, бармен показал ему фотографию своего сына. Сын был в старинной форме французской кавалерийской школы в Сомюре — Escadron noir¹. Молодой человек на снимке сидел верхом на красивом вороном коне и готовился к прыжку через препятствие. Великолепная посадка, уверенная рука. Крейг, чтобы доставить удовольствие отцу, полюбовался фотографией, размышляя о том, как хорошо было бы посвятить свою жизнь чему-нибудь такому же приятному и бесполезному, как служба во французском кавалерийском эскадроне в 1970 году.

Его все еще знобило. Чувствуя, что заболевает, он расплатился за грог, попрощался с отцом кавалериста и пошел в холл за ключом от номера. В его ящике лежал конверт. Почерк Гейл Маккиннон. Теперь он пожалел, что не пригласил ее ужинать. Если бы она была рядом, то Уодли не разговаривал бы с ним таким тоном. Уодли вывел-таки его из равновесия, хотя он в этом себе не признавался. Да и богаче он был бы на триста долларов: при свидетеле Уодли не решился бы просить денег. Рассудку вопреки он и озноб и простуду склонен был приписать этой встрече. Холодному дыханию каннской бездны.

Поднявшись в номер, он надел свитер и налил себе виски — опять-таки с лечебной целью. Ложиться спать было еще рано, несмотря на простуду. Он вскрыл конверт Гейл Маккиннон и при желтоватом свете люстры стал читать ее письмо:

«Уважаемый мистер Крейг! Я все о том же. Не теряю надежды. Сегодня днем, на ленче и в машине, я почув-

¹ Черный эскадрон (франц.).

отивала, что Вы становитесь дружелюбней. В сущности, Вы не такой неприступный, каким хотите казаться. Когда мы проезжали мимо дома на Антибском мысе, где, по Вашим словам, Вы провели одно лето, мне показалось, что Вы хотели сказать больше того, что позволили себе сказать. Вероятно, из осторожности, из боязни сказать под влиянием момента что-нибудь лишнее, о чем потом, когда это появится в печати, Вы будете сожалеть. Так вот: я составила вопросник. Прочтите его на досуге и напишите ответы на вопросы по Вашему выбору и в такой форме, какая Вам угодна. Можете потом отредактировать их так, как Вам хочется, чтобы полностью гарантировать себя от использования каким-нибудь бессовестным газетчиком или газетчицей случайно обретенной фразы. Вот эти вопросы...»

Крейг прочел первый вопрос и задумался. Вопрос простой: «Почему вы в Канне?» «Что ж, — подумал он, — хорошее начало. И хороший конец. Неглупая девочка». Вполне законный вопрос. Почему вы вообще где-нибудь? *Ответить на этот вопрос — значит изложить самую суть, сказать фактически все. На обдумывание ответа — тридцать минут, двадцать четыре часа или сорок восемь лет.*

Почему ты в этом городе, а не в другом? Почему спишь в этой постели, с этой женщиной, а не с какой-нибудь другой? Почему здесь ты один, а там — в толпе людей? Как получилось, что ты стоишь на коленях перед этим алтарем в этот час? Что побудило тебя отказаться поехать в один город и ехать в другой, туда, где ты находишься сейчас? Какие обстоятельства заставили тебя пересечь вчера ту реку, утром сесть на этот самолет, вечером поцеловать этого ребенка? Что привело тебя в эти широты? Какие друзья, враги, успехи, неудачи, ложь, правда, расчеты времени, географические карты, маршруты и шоссе послужили причиной того, что ты оказался в этой вот комнате в этот вечерний час?

Прямой вопрос требует прямого ответа.

Он сел за стол, взял лист бумаги и ручку. «Почему я в Канне?» — медленно вывел он и задумался. Затем, не отдавая себе, в сущности, отчета в том, что он делает, написал почти автоматически: «Я в Канне, чтобы спасти свою жизнь».

Он долго смотрел на то, что написал. «Это же не мой почерк», — подумал он. Он положил руку на стол. Он знал, что ничего больше сегодня уже не напишет. *Все, что ты ни скажешь, может быть использовано против тебя.* Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза.

В лицо больно ударил яркий свет, где-то раздался пронзительный вой. Он открыл глаза. Прямо на него сквозь влажные полукружья в ветровом стекле неслись две расплывчатые луны. Руки его бессильно лежали на рулевом колесе. Он резко свернул в сторону — совсем близко от него, всего в нескольких дюймах, промчалась по черной сверкающей дороге встречная машина. Вой ее гудка замер за спиной, как погребальный плач. Он был спокоен, вел машину осторожно, не останавливаясь, зорко всматриваясь сквозь разрисованное прожилками дождя стекло в извилистую ленту шоссе.

Когда он проехал несколько миль, у него затряслись руки, тело забила мелкая неудержимая дрожь. Он свернул на обочину шоссе, остановил машину и стал ждать, когда отпустит спазм. Он не мог сказать, как долго еще тряслись у него руки, чувствовал только холодный пот на лбу и ледяные ручейки, стекавшие под мышками. Он вынул платок, вытер лоб, сделал четыре глубоких вдоха. В машине пахло болотной сыростью. Куда он попал? Ряды черных деревьев вдоль шоссе ничего ему не говорили. Он вспомнил, что не так давно пересек границу Франции. Значит, он где-нибудь между рекой Бидасоса и Сан-Себастьяном. Из Парижа он выехал утром и ехал весь день, останавливаясь только для того, чтобы заправиться бензином и выпить чашку кофе. *Я едва не погиб в солнечной Испании.* Он намеревался ехать так до самого Мадрида, переночевать там и на следующий день двинуться дальше на юг, в Малагу. На следующий день в Малаге должен был выступать один матадор, его знакомый, пожалуй, даже приятель, а точнее — приятель его приятеля. Они познакомились год назад в Аликанте во

время трехдневной feria¹. Яркое средиземноморское солнце, марширующие оркестры, фейерверки, южноиспанские наряды, попойки, длительное, тяжелое похмелье, бесшабашная веселость чужого праздника, мужчины и женщины, с которыми приятно было провести праздничные дни — он знал их достаточно близко, — но которые, в общем, ничего для него не значили, ибо встречался он с ними всего по четыре-пять раз в году, когда ездил на корриду.

Матадор этот был слишком стар для быков. Он и сам это знал. Он был богат. Какой ему смысл выходить на арену к животным, назначение которых — убить его? «А что мне еще делать? — спрашивал матадор. — Только это развлечение у меня и осталось. Моя единственная площадка для игры. Я счастливчик, у меня есть своя площадка для игры. У большинства людей ее нет. Поэтому я не могу допустить, чтоб меня лишили ее».

В Испании можно погибнуть от разных причин. От бычьих рогов, от того, что заснешь за рулем.

В тот год Крейг уже третий раз засыпал ночью в машине. Первый раз это было под Зальцбургом. Второй — на автостраде недалеко от Флоренции. Третий — сегодня. Ему везет. Или наоборот? Во всяком случае, он вовремя проснулся и открыл глаза. В последние годы он проезжал без остановки по девятьсот-тысяче миль. Что ему надо было в Зальцбурге, что он собирался смотреть во Флоренции? В течение года его приятель матадор выступает в тридцати разных местах. Какой необходимостью вызывалась поездка в Малагу? Он уже забыл. Ему нравилось ездить ночью; одиночество, цепенящий гипноз мчащихся навстречу огней, чувство удовлетворения от того, что покидаешь город, где пробыл, кажется, уже слишком долго, радость, когда въезжаешь в новый город, едешь по его пустынным темным улицам, ощущение проделанного пути.

Самоубийством чреват каждый гараж. Крейг достаточно ясно отдавал себе в этом отчет.

Он тронул машину, медленно въехал в Сан-Себастьян, нашел гостиницу. До Мадрида он этой ночью не доедет.

Рядом с гостиницей работал бар. Он заказал коньяку,

¹ Ярмарка (исп.).

потом еще. Есть не хотелось. За столиком сидели какие-то люди. Они оживленно разговаривали по-испански. Он прислушался. Их головы склонились над столом, голоса заговорщицки приглушены. Замышляют убить Франко, освободить какого-нибудь священника, бросить бомбу в полицейский участок или попытаться счастья в лотерее? Он не понимал испанского, и это действовало на него успокаивающе.

В гостинице он заказал разговор с Парижем. Пока его соединяли, прошло много времени, он разделся, лег в постель и стал ждать звонка. У телефона была Констанс. Он уехал от нее рано утром. На рассвете они предавались любви. Она была сонная и теплая. Страсть ее, как обычно, была пылкой и щедрой. Она отдавалась самозабвенно и сама брала все, так что не требовалось никаких милостей ни с той, ни с другой стороны, никто не сводил счетов в постели. Она никогда не спрашивала, зачем он уезжает, когда он вдруг заявлял, что отправляется в Цюрих, на баскское побережье или в Нью-Йорк. Если бы она спросила, он не смог бы ей точно ответить, куда и зачем он едет.

Иногда они ездили вместе, но то было совсем другое дело. Когда она брала отпуск, это был праздник. С ней он вел машину медленно, они все время болтали, шутили, любовались видами, часто останавливались у баров. Она любила сидеть за рулем. Водила она рассеянно, но ей везло. Хвасталась, что обошлось без единой аварии, хотя их могло быть десятки. Однажды она на крутом повороте выехала на встречную полосу движения, и он засмеялся. Она не терпела, когда над ней смеялись. Остановила машину, вышла и, заявив, что больше никогда с ним не поедет, пошла пешком обратно в Париж. Он решил подождать. Через полчаса она вернулась, безуспешно пытаясь придать своему лицу надменное выражение, и он разрешил ей снова сесть за руль. Она остановила машину у первого же кафе, и они пошли выпить по рюмке коньяку.

В то утро, выйдя из ее дома, он поехал к себе в гостиницу, уложил вещи и отправился по не загруженной еще трассе на юг. Как-то она спросила его, зачем он оставляет за собой номер в гостинице, если почти каждую ночь, пока живет в Париже, проводит у нее. Он ответил: «Я привык к гостиницам». Больше она его уже не спрашивала.

На столике рядом с постелью зазвонил телефон. Комната у него была огромная, обставленная темной высокой мебелью. Он всегда останавливался в лучших гостиницах города, избегая общения с другими постояльцами. Не любил обычного для дорогих гостиниц парада-алле, в каком бы городе это ни было.

— Ты уже в Мадриде? — спросила она. Наверно, он разбудил ее, хотя по голосу никогда не скажешь — это же Констанс. Едва проснувшись, она говорила уже так, словно только что вышла из-под прохладного душа — освежившаяся, полная жизни.

— Нет, — ответил он. — Заночевал в Сан-Себастьяне.

— Как там в Сан-Себастьяне?

— Говорят по-испански.

— Удивительно. — Она засмеялась. — Чего это тебе вздумалось там останавливаться?

Если бы он был честен, он бы сказал: «Умирать не хотелось». Вместо этого он ответил:

— Дождь пошел.

Вот еще год. Пять лет назад. Он стоял в фойе кинотеатра в Пасадене. Закончился предварительный просмотр последней выпущенной им картины. Фильм снимался во Франции, его герой — молодой лейтенант американской армии, находившийся со своей частью в Германии, — дезертировал и перед тем, как сдать властям, завел на свою погибель роман с французской женщиной. Вместе с Крейгом в фойе стоял, утонув в просторном пальто, режиссер Фрэнк Баранис; он был расстроен: публика без конца кашляла, фильм смотрела невнимательно. Они дружили уже почти двадцать лет, с тех пор, как Баранис поставил пьесу Эдварда Бреннера. На свадьбе Крейга Баранис был шафером. Во время съемок этого фильма Крейг получил анонимное письмо, написанное женской рукой, в котором сообщалось, что Баранис спал с Пенелопой до свадьбы, в самый канун свадьбы и, вероятно, после свадьбы тоже. Крейг не придавал этому письму значения и не сказал о нем ни Пенелопе, ни Баранису. Нельзя же на основании анонимного письма, написанного, очевидно, какой-нибудь обманутой и мстительной женщиной, спрашивать у человека, твоего друга, почти круглые сутки занятого вместе с тобой сложным и ответственным делом, переспал

ли он с твоей женой в канун вашей свадьбы семнадцать лет назад. Крейг вдруг обратил внимание, какой Баранис старый, как он похож на испуганную высохшую обезьяну. Лицо рябоватое, но зато — большие влажные глаза и та пренебрежительная бесцеремонность в обращении с женщинами, которая, как слышал Крейг, очень их привлекает.

— Ну вот мы и отбомбились, — сказал Баранис. — Что теперь?

— Ничего, — ответил Крейг. — Мы хотели сделать эту картину, и мы сделали ее.

Мимо них проходил какой-то мужчина с женой — вместе с толпой из зрительного зала. Женщина была низкого роста, в крикливом наряде. Если бы она пошла, как вещь, в продажу, то валялась бы где-нибудь на прилавке универмага в куче уцененных товаров. Мужчина был толстый, в тесном костюме. У него был вид футбольного тренера, команда которого только что проиграла матч: его красное лицо пылало гневом, глаза за неоправленными стеклами очков сверкали.

— Ну и фильм! Дерьмо дерьмом, — сказал он. — Они думают, что нынче все можно сбыть с рук.

— Гарри, — с укоризной сказала женщина. Голос у нее был такой же крикливый, как и наряд. — Как ты выражаешься!

— Повторяю: дерьмо дерьмом.

Крейг и Баранис молча переглянулись. Они работали над фильмом два года. Баранис сказал:

— Видимо, эта картина не для Пасадены. В Нью-Йорке, я думаю, к ней отнесутся иначе.

— Возможно, — согласился Крейг. Затем, раз уж такой выдался вечер, сказал: — Фрэнк. Месяца два назад я получил анонимку. В ней сообщалось, что у тебя была связь с Пенелопой до того, как мы поженились. Что ты спал с ней даже в канун нашей свадьбы. Правда?

— Да, — ответил Баранис. — Такой уж выдался вечер.

— Почему ты мне не сказал тогда?

— Ты же не спрашивал. Когда у нас это началось, я не знал, что ты хочешь на ней жениться. — Баранис обмотал шею шарфом и спрятал в нем половину лица. Это придавало ему сходство с маленьким зверьком, погибающим в ловушке. — Но даже если бы я и сказал тебе, ты бы все равно на ней женился. Бе бы простил,

а меня возненавидел. И разговаривать перестал бы со мной на всю жизнь.

— Пожалуй, да, — сказал Крейг.

— Возьми, к примеру, свои отношения с Эдом Бреннером, — сердито сказал Баранис. — С ним-то ты уж больше не общаешься?

— Нет.

— Вот видишь.

— Ты знал о Бреннере и Пенни? — вяло спросил Крейг.

— Все знали. — Баранис нетерпеливо передернул плечами. — Какая польза была бы, если бы я стал хвастать перед тобой? — Баранис еще глубже вобрал голову в плечи.

— Никакой, — благоразумно согласился Крейг. — Ладно, пошли отсюда. Я подвезу тебя домой.

В Нью-Йорке картина была встречена ненамного лучше. В то время фильмы о солдатах, разочаровавшихся в американской армии, еще не отвечали вкусам публики.

Он сидел у себя в конторе за исцарапанным столом из поддельного красного дерева и подписывал чеки. Контора маленькая, обшарпанная, из двух комнат: одна для него, другая для секретарши. Белинда Юэн работала у него со дня первой постановки. Мебель в конторе тоже не менялась с 1946 года. От времени ни Белинда, ни мебель не стали лучше. Белинда, когда он брал ее на работу, была маленькой, темноволосой, очень живой, почти хорошенькой молодой женщиной. С годами она так и осталась маленькой, темноволосой и живой, но миловидность ее исчезла. Годы избородили ее лицо резкими линиями, очертания губ стали неровными, словно их вырезали тупым ножом. Письменный стол, как и в 1946 году, был из того же поддельного красного дерева, только теперь это стало еще более заметно.

Пенелопа уговаривала его подыскать для конторы более просторное помещение и сама бралась выбрать мебель. Он отказался. Он не любил, когда в конторе мужчины хозяйничает жена: покупает мебель, толстые ковры, вешает на стены хорошие картины. За годы супружеской жизни Пенелопа неоднократно, по крайней мере раз в год, пыталась заставить его уволить Белинду. «Она ведет себя так, будто в конторе она хозяйка, а не

ты, — твердила Пенелопа. — И меня ни во что не ставит». Не нравилась ей и манера Белинды одеваться. «И наряды нелепыс. Такой вид, словно на Кони-Айленд собралась с каким-нибудь матросом. Представляешь, что о тебе думают люди, когда впервые приходят в контору и видят женщину в платье всех цветов радуги?» Он мог бы ответить ей, что люди приходят в контору работать с ним, Джессом Крейгом, а не обсуждать туалеты его секретарши, но вместо этого он сказал:

— Когда она выйдет замуж, я возьму другую секретаршу, и та будет ходить только в черном.

— Замуж! — фыркнула Пенелопа. — Пока ты жив, она не выйдет замуж.

— Надеюсь, это так и будет, — сказал он.

Разговор этот происходил дома в один из наименее приятных вечеров. И все же несовместимость зеленых и багровых тонов в новых нарядах Белинды так резко бросалась в глаза, что он иногда от удивления только качал головой. Разумеется, закрыв за собой дверь кабинета.

Иногда Пенелопа в припадке гнева обвиняла мужа в любовной связи с секретаршей. Но он никогда к Белинде не притрагивался. Ему казалось, что стоит погладить ее по щеке, как она с криком бросится вон. Он не понимал также, почему женщина, превосходно справляющаяся с возложенными на нее обязанностями, должна еще уважать жену своего хозяина.

В довершение всего он был суеверен. В этом крохотном, обшарпанном помещении и с этой непривлекательной, нелепо одевавшейся секретаршей он преуспевал; с тех пор, как он арендовал это помещение за восемьдесят долларов в месяц, дела у него пошли хорошо — лучше, чем он когда-либо рассчитывал и мечтал. Какой же смысл искушать судьбу ненужным стремлением к роскоши? Впрочем, сейчас, в предвечерние часы осеннего нью-Йоркского дня, после неудачного предварительного просмотра его картины в Пасадене и столь же неудачной премьеры в Нью-Йорке, когда он сидит за этим вот старым письменным столом и подписывает бесчисленные чеки, вряд ли можно утверждать, что счастье окончательно поселилось в этой комнате с голыми стенами, где он столько лет трудился.

Большинство лежащих перед ним счетов относились к его личным расходам, не деловым: содержание дома,

продукты, напитки, отопление, телефон, жалование двум горничным, цветы; счет на две тысячи долларов за диван, который Пенелопа отыскала в антикварном магазине на Мэдисон-авеню; счета от «Сакса» с Пятой авеню и «Бергдорфа Гудмена» за платье, купленные Пенелопой; очередной ежемесячный счет на двести долларов от «Чарльза из Рица», где Пенелопа причесывается. Другие счета: за обучение Энн в школе в Лозанне, за обучение Марши в школе в Мериленде; страховка и аренда гаража для машины Пенелопы; счет на сто семьдесят долларов от массажистки, посещающей Пенелопу три раза в неделю; дикий счет от голливудского доктора за лечение матери Пенелопы, приехавшей навестить дочь вскоре после их свадьбы, когда Крейг работал в Голливуде над своим первым фильмом, и сразу же заболевшей какой-то таинственной болезнью, от которой все никак не умрет (и придумала же где умирать — в самом дорогом месте в мире).

Крейг попробовал было поручить оплату домашних счетов Пенелопе, но та постоянно опаздывала, а то и вовсе не платила за телефон, так что его вдруг отключали: или платила два раза по одному счету, а потом в течение нескольких месяцев не находила времени для хозяйственных дел вообще. В результате на столе у него появлялись письма, назойливо напоминающие о долгах. Тогда он поручил заниматься счетами Белинде и раз в месяц, кипя бессильным бешенством, подписывал чеки сам. Ему было интересно, о чем думает Белинда, заполняя чеки в уплату за одежду на суммы, превышающие ее годовое жалование. Должно быть, задумывалась она и над тем, что же это такое проделывается с женскими волосами за двести долларов в месяц.

Подписав последний чек, он бросил ручку, откинулся на спинку кресла и посмотрел в грязное, давно не мытое окно. На противоположной стороне улицы светились окна, там при свете неоновых ламп работали клерки и секретарши. Он подумал, если бы они знали, чем он только что занимался битый час, то имели бы полное право примчаться к нему в контору и разорвать его чековую книжку в клочья. Как минимум чековую книжку.

Время от времени он заводил с Пенелопой разговор по поводу растущих счетов, пытался увещевать ее, но она при каждом упоминании о деньгах раздражалась слезами. Ссоры из-за денег были унижительны. Выходя

за него замуж, она не предполагала, что связывает себя на всю жизнь с человеком, который только и думает что о долларах и центах. В ее отчем доме в Чикаго, где она провела детство и юность, о деньгах вообще никогда не говорили. Послушать ее, так можно подумать, что она из семьи потомственных аристократов-землевладельцев, разбогатевших еще в те достославные времена, когда такими плебейскими делами, как долги и векселя, занимались в тесных комнатухах скромные служащие. На самом же деле отец ее был коммивояжером галантерейной фирмы и умер в нужде. Его даже хоронили за счет Крейга.

С каждым разом споры становились все возбужденнее, и Пенелопа клялась, что она бережет каждый цент, перечисляла имена других жен, которые за один месяц тратят на наряды больше, чем она за целый год (что было правдой), и призывала бога в свидетели, что все ее старания и затраты преследуют одну лишь цель — создать для него приличный дом, следить за собой, чтобы ему не стыдно было появляться с женой на людях, и дать хорошее воспитание детям. Крейг не выносил семейных сцен, особенно из-за денег. В глубине души он понимал, что большие суммы, которые он зарабатывал, были, в сущности, не его, они доставались ему по воле случая, удачи, ибо он делал лишь то, что с удовольствием делал бы и за мизерное вознаграждение. Он не мог спорить о деньгах. Даже в таких делах, как заключение контрактов, он всегда действовал не напрямую, а либо через Брайана Мэрфи в Голливуде, либо через своего бродвейского агента. Не умея торговаться с норовистыми актерами о проценте с прибыли от спектакля или фильма, он тем более не выносил слез жены, когда речь заходила о счете за телефон на шестьсот долларов или о стоимости нового пальто. И все же, вспоминая первые годы, когда он снимал номера в дешевых гостиницах, Крейг спрашивал себя: каким это чудом он выдает теперь жалование двум горничным, работающим в доме, где он и обедает-то не более двух раз в неделю и где не бывает по пять-шесть месяцев в году?

Крейг уже привык к тому, что всякий раз, когда Белинда приносит ему на подпись чеки, лицо ее принимает непроницаемое выражение; и тем не менее ему было трудно встречаться с ней взглядом. Он делал вид, что занят, и, не поднимая головы, грубовато ронял:

«Спасибо, Белинда. Положите на стол. Я подпишу, когда будет время».

Когда они познакомились, Пенелопа была миленькой молодой актрисой средних способностей, умевшей красиво одеваться. Она снимала уютную квартиру в Гринич-Вилледже и жила на девяносто долларов в неделю. Что же с ней случилось? Из бережливой молодой женщины, которая сама стирала себе каждый вечер чулки и белье, она вдруг превратилась в мотовку, стала совершать набеги на галереи и антикварные магазины и рыскать, как мародер, по Пятой авеню; наняла для своих детей двух няnek и заявляет, что жить можно только между 60-й и 81-й улицами в восточной части Нью-Йорка. «Американки с такой же легкостью транжирят деньги, — думал он, — как дельфины прыгают на волнах».

Впрочем, и сам он во всем этом повинен не меньше жены, он это понимал, но от понимания не становилось легче, когда он подписывал чеки.

Он подытожил расходы, аккуратно записал сумму в чековую книжку. Девять тысяч триста двадцать шесть долларов сорок семь центов. Ничего себе! Подходящие расходы для человека, потерпевшего две неудачи.

Когда он работал с Бреннером над его первой пьесой, тот как-то сказал: «Не понимаю, какие серьезные заботы могут быть у человека, зарабатывающего больше пятидесяти долларов в неделю». Тогда Бреннер был молод и впадал в крайности, но все же интересно, что подумал бы он сейчас, если бы забрел в контору своего старого товарища и увидел на захламленном столе все эти подписанные чеки.

Поддавшись внезапному порыву, он заполнил — собственной рукой — еще один чек на девять тысяч триста двадцать шесть долларов сорок семь центов. Имя получателя пока не значилось. Затем Крейг вписал название родильного дома. Это был родильный дом, где появились на свет его дочери.

Он написал записку комитету родильного дома по сбору средств, вложил ее вместе с чеком в конверт, надписал адрес и заклеил конверт.

Он еще раз подвел итог. Позвал Белинду. Звонка в конторе не было: когда-то он собирался провести его, но решил, что это глупо. Он вручил Белинде чеки и запечатанный конверт и сказал:

— На сегодня все. Благодарю вас.

Затем он спустился вниз, зашел в соседний бар и выпил столько, сколько требовалось, чтобы скрасить предстоящий вечер.

Когда он пришел домой, Пенелопа спросила:

— Как ты думаешь, доживу я когда-нибудь до того дня, когда ты явишься к ужину трезвым?

Только что ушли последние гости. В гостиной повсюду стояли пустые стаканы. Пенелопа на кухне вытряхивала пепельницы. Он посмотрел на часы. Половина второго ночи. Засиделись гости. Он опустился в кресло и скинул ботинки. Ужинало четырнадцать человек. Стол был отличный. Компания скучная. Он выпил слишком много вина.

Теоретически все двенадцать гостей — его друзья. Но настоящими он считал только Роберта и Элис Пейн. Роберт Пейн — вице-президент издательства по коммерческой части, представительный, солидный, высокообразованный человек, неторопливый, вдумчивый собеседник, не любитель праздной болтовни. Крейг познакомился с ним в издательстве, где его просили составить сборник пьес, и сразу же проникся к нему симпатией. Его жена Элис — детский психиатр, крупная симпатичная женщина с седеющей, по-мужски остриженной шевелюрой, обрамлявшей спокойное овальное лицо. Пенелопа считала их нудными, и Крейг знал, что пригласила она их ради него, чтобы он не слишком жаловался на плохую компанию.

Никто из сидевших за столом не работал в театре или кино, но были двое, иногда вкладывавшие деньги в его спектакли. Как обычно, был Берти Фолсом. С тех пор как у него умерла жена, он не пропускал ни одного званого ужина. По обыкновению, он рассказывал о биржевых делах. Подробно. Фолсом на несколько лет старше Крейга. Маленького роста, остролицый, лысеющий, заурядной наружности, безукоризненно одетый, с круглым аккуратным брюшком, он возглавлял крупную маклерскую фирму на Уолл-стрите. «Чем ниже спускается Берти Фолсом в деловую часть города, — размышлял Крейг, — тем больше растет его влияние». Время от времени он давал Крейгу советы насчет акций, и тот время от времени ими пользовал-

ни. Иногда советы оказывались полезными. С тех пор как он овдовел, его приглашали в дом Крейга постоянно. Часто он сам звонил в шесть часов и спрашивал, что они сегодня делают. Если ничего особенного у них не намечалось, они приглашали его поужинать вместе с ними в узком семейном кругу. Фолсом всегда помнил, у кого когда день рождения, и приносил подарки для Лин и Марши. Пенелопа говорила, что жалеет его. Капитал Фолсома составляет, по подсчетам Крейга, не меньше двух миллионов долларов. Видимо, надо отдать должное душевной доброте Пенелопы, если она находит время жалеть человека с капиталом в два миллиона. Когда у них званые вечера вроде сегодняшнего, Пенелопа приглашает разных дам — для Фолсома. Дамы эти — обычно разведенные — относятся к тому сорту женщин, что всегда свободны и могут прийти ужинать в любой дом. Когда Крейг занят на работе или выезжает из города, Фолсом сопровождает Пенелопу в театр и в гости. Кто-то однажды сказал, что Фолсом — полезный человек. Вдовец в кругу друзей никогда не помещает.

Берти Фолсом рассказал о биржевых делах. Помимо этого, говорили о прислуге, о том, какие скверные в этом году спектакли на Бродвее, о спортивных автомобилях — «феррари», «порше» и «мазерати», о бедах нынешней молодежи, о любовных похождениях — открытых и тайных — отсутствующих друзей, о том, как невозможно стало найти приличное место для отдыха на Карибском море, и о сравнительных достоинствах различных курортов с точки зрения условий для катания на лыжах. Оказалось, что все присутствующие каждый год катаются на лыжах. Все, кроме Крейга. Пенелопа ежегодно проводила месяц в Солнечной Долине и Аспене. Одна. Крейг, сидя за столом в своем нью-йоркском доме, почувствовал, что становится специалистом по лыжному спорту. В сущности, он ничего не имеет против лыж и жалеет, что в молодости у него не было для них времени, но спортом надо заниматься, а не болтать о нем. Никто не упомянул о его последнем фильме и вообще ни об одном из его фильмов. Никто, кроме Пейнов, которые приехали немного раньше, чтобы поговорить с ним за бокалом вина, пока не явились остальные гости. Им понравилась его последняя картина, хотя буйная сцена в парижском ночном ресторане, где

герой ввязался в драку, показалась Элис слишком уж дикой. На это Роберт Пейн дружелюбно заметил: «Элис еще не научилась забывать о том, что она психиатр, когда идет в кино».

Впрочем, была одна интерлюдия, вызвавшая у Крейга некоторый интерес. Заговорили о женском освободительном движении, и Пенелопа, обычно неразговорчивая в компании, активно включилась в беседу. Она была за движение, Крейг поддержал ее. Все женщины, сидевшие за столом, — тоже. Не будь они так заняты примерками, устройством званых ужинов, регулярным посещением парикмахерских и поездками на Карибское побережье и в Солнечную Долину, они, несомненно, оказали бы на движение большое влияние.

Крейг не утруждал себя подбором гостей. Хотя бы потому, что слишком был занят другими делами. Иногда он знакомился с людьми, которые казались ему интересными, и советовал Пенелопе пригласить их, но она почти всегда отвечала ему, что этот мужчина, эта женщина или супружеская пара по той или иной причине, обычно веской, не подходит для компании, которую она в этот день собирает.

Он вздохнул, сам не зная почему, поднялся с кресла и, пройдя в одних носках по толстому светлому ковру к серванту, где стояли бутылки, налил себе виски. Пенелопа вернулась из кухни, взглянула на стакан в его руке. Когда она бросала такие взгляды, он чувствовал себя виноватым. Он опять взял бутылку, добавил виски, плеснул в стакан немного содовой и вернулся к своему креслу. Он наблюдал, как движется Пенелопа по просторной уютной комнате при мягком свете ламп, бросавших неяркие кремовые круги на полированное дерево приставных столиков, на парчовую обивку кресел, на медные вазы, полные цветов. Пенелопа не выносит яркого света. В любом их жилище, даже если это снятый на лето домик, трудно найти место, где можно почитать.

На ней длинное платье из красного бархата, оно соблазнительно облегает ее стройную, все еще молодую фигуру, когда Пенелопа склоняется, чтобы поправить цветы, положить на место журнал, закрыть крышку серебряной сигаретницы. У нее хороший вкус. От ее прикосновений вещи становятся красивей. Правда, в ее доме нет ничего особенно изысканного и эффектного, зато

жить в нем хорошо, думал Крейг; он любил этот дом. Он сидел со стаканом виски в руке и, наблюдая, как его жена движется по теплой, уютной комнате, забыл о только что разъехавшихся скучных гостях. В эту минуту, восхищенно глядя на нее в ночной тиши, он чувствовал, что любит ее и несколько не жалеет, что женат. Он знает ее недостатки. Она лжива, расточительна, коварна, часто претенциозна; ее дом заполняют люди второго сорта, потому что она боится соперничества блестящих, красивых, умных людей; она изменяла ему и в то же время мучила его своею ревностью; когда случаются неприятности, она неизменно перекладывает ответственность на других, обычно на него; нередко она надоедает ему. И все-таки он любит ее. В конце концов, нет браков без изъяна. Каждый из партнеров должен чем-то поступаться. Он и сам небезупречен. Он был уверен, что в глубине души у Пенелопы к нему гораздо больше претензий, чем может предъявить ей он.

Он поставил стакан, встал, подошел к ней сзади и поцеловал в шею. Она напряглась, точно он испугал ее.

— Пошли спать, — сказал он.

Она отстранилась от него.

— Иди спи. Я еще не все кончила.

— Я с тобой хочу.

Она быстро прошла в другой конец комнаты и, как бы защищаясь, поставила перед собой стул.

— Я полагаю, что с этим кончено.

— Как видишь, нет.

— Для меня — да.

— Что ты сказала?

— Я сказала, что для меня кончено. Навсегда. Я не хочу спать ни с тобой, ни с кем другим. — Она говорила тихим, ровным, спокойным голосом.

— На что ты теперь злишься? — Он старался не показать раздражения.

— На тебя. На все. Оставь меня в покое.

Он вернулся к своему креслу, взял стакан и отпил большой глоток виски.

— Утром, когда протрезвишься, — сказала она, — обнаружишь, что твоя страсть находится в самой глубине сейфа. Вместе со многими прочими вещами.

— Я не пьян.

— Пьян каждый вечер.

— Ты серьезно?

— Да, серьезно.

— Что это вдруг?

— Не так уж и вдруг. — Пенелопа все еще отгоразивалась от него стулом. — Я давно тебе надоела. И ты этого не скрываешь. Сегодня, например, ты только что не зевал в присутствии моих друзей.

— Но согласишься, Пенни, что сегодняшняя компания была скучная.

— И не подумаю соглашаться.

— Этот чертов Берти Фолсом, например...

— Многие считают его очень умным, интересным человеком.

— Многие и Гитлера считали умным и интересным человеком.

Он шагнул в ее сторону, но тут заметил, как побелели суставы ее пальцев, сжимавших спинку стула, и остановился.

— Ну, будет, Пенни, — ласково проговорил он. — Не поддавайся мимолетному настроению и не говори того, о чем потом сама будешь жалеть.

— Это не мимолетное настроение. — Она сурово сжала губы. Даже слабое освещение не скрывало теперь ее лет. — Я уже давно об этом думаю.

Он допил виски, сел, посмотрел на нее испытующе. Она выдержала его взгляд, в глазах ее была только неприязнь.

— Ну что ж, — сказал он. — Значит, развод. Выпьем по этому поводу. — Он встал со стаканом в руке и пошел к серванту.

— Можно и не разводиться, — сказала она. — Ты ведь не собираешься опять жениться?

Он усмехнулся и налил себе виски.

— И я тоже не собираюсь замуж.

— Значит, что же: жить вместе, будто ничего не произошло? — спросил он.

— Да. Хотя бы ради Марши и Энн. Не так уж это трудно. Ничего между нами нет, уже давно. Лишь изредка, когда ты не доводишь себя до полного изнеможения, или страдаешь бессонницей, или когда нет под рукой никого из твоих девочек, ты вспоминаешь, что у тебя есть жена, и тогда начинаешь пресмыкаться.

— Это слово я запомню, Пенни. «Пресмыкаться».

Она не обратила на его угрозу внимания.

— Четыре-пять ночей в году — вот и все твои супружеские утехы. Не так уж много. Оба как-нибудь обойдемся и без них.

— Мне сорок четыре года, Пенни. Не могу же я всю жизнь оставаться холостяком.

— Холостяком! — Она хрипло засмеялась. — Самое подходящее для тебя слово! Можешь поступать как тебе вздумается. Тебе не привыкать.

— Вот и хорошо, — спокойно проговорил он. — Завтра я отправлюсь в долгое и приятное путешествие. Европа — вот что мне сейчас нужно.

— На Рождество приезжают девочки, — сказала она. — Дождись хотя бы их приезда. Не вымещай на них свою злость.

— Ладно, — согласился он. — До Рождества Европа подождет.

Он услышал, как зазвонил телефон. Еще не окончательно очнувшись, он чуть было не сказал: «Пенни, возьми, пожалуйста, трубку». Потом встряхнулся, осмотрелся вокруг и увидел, что сидит за столом, затейливо отделанным под старину, в номере гостиницы с окнами на море. Он протянул руку к телефону.

— Крейг слушает.

В трубке отдаленно гудели провода и слышался американский говор — голоса такие невнятные, что нельзя было разобрать ни одного слова, — неведомо откуда прорвался фортепьянный аккорд, потом щелчок и — тишина. Он нахмурился, положил трубку, посмотрел на часы. Начало первого ночи, на Американском континенте — от трех до шести вечера. Он ждал еще звонка, но его не было.

Он встал и налил себе виски. Ему показалось, что у него мокрые щеки. Он в недоумении посмотрел на себя в зеркало. На щеках были слезы. Он стер их тыльной стороной ладони, отпил половину виски, бросил злой взгляд на телефон. Кто пытался дозвониться до него, чей голос затерялся в океане?

Может быть, этот голос мог все прояснить — на чем он стоит, какой у него актив и пассив, сколько он должен, сколько ему должны, как отнестись с точки зрения религиозной морали к его браку, его дочерям, его карьере. Сказать ему раз и навсегда, кто он: мораль-

ный банкрот или этически состоятельный человек, не растратил ли он свою любовь впустую, и ответить, не обесчестил ли себя тем, что в век войн и неисчислимых бедствий погрузился в мир вымыслов и теней.

Но телефон молчал. Голос из Америки не пробились. Крейг допил виски.

Прежде, когда он бывал в отъезде, Пенелопа имела привычку звонить ему почти каждый вечер перед тем, как лечь спать. «Я плохо сплю, — объясняла она, — если не услышу твоего голоса и не узнаю, что ты здоров».

Счета за телефон были огромные.

Порой ее звонки раздражали его, иногда же, наоборот, он проникался супружеской нежностью от ее такого знакомого низкого, музыкального голоса, доносившегося из далекого города, с другого континента. Его раздражало, что жена следит за ним, проверяет его верность, хотя после того, что произошло между ними, он считал, что в определенном смысле вовсе не обязан блюсти верность. Время от времени он изменял ей. Изменял, не чувствуя за собой вины, внушал он себе. И нельзя сказать, чтобы он не испытывал удовольствия, потакая своим слабостям. Но он никогда не позволял себе увлечься серьезно другой женщиной. В этом, как ему казалось, проявлялось его желание сохранить брак. По той же причине он не считал нужным интересоваться отношениями жены с другими мужчинами. Он никогда за ней не следил. Жена — это он знал — тайно рылась в его бумагах, выискивая имена женщин, а он никогда не перехватывал адресованных ей писем и не расспрашивал, с кем она встречается и куда ходит. Не слишком вдумываясь в мотивы своего поведения, он тем не менее считал, что любопытство такого рода унижительно для него, самолюбие не позволяло ему проверять ее. В ночных телефонных звонках Пенелопы он видел проявление женской хитрости, но относился к ним в большинстве случаев терпимо, они даже забавляли его и льстили ему. Теперь он понял, что заблуждался. И он и жена избегали смотреть в глаза правде: у обоих не осталось никакого супружеского чувства.

В то утро он рассердился, получив от нее письмо с требованием денег. Выписывая очередной чек, он осуждал ее за жадность и отсутствие благородства. Но сейчас, в одинокие ночные часы, когда душа его была охвачена

вспоминаниями, пробужденными дневной поездкой по Антибскому мысу мимо их прежнего дома, а в ушах еще отзвывались эхом невнятные голоса, услышанные им в телефонной трубке, он невольно унесся мыслью к лучшим временам, к былым нежным встречам.

Больше всего Крейг ценил свой дом, семью в минуты крайней усталости, когда возвращался поздно вечером из театра после bestолковой многочасовой суеты на репетициях и яростных столкновений характеров и темпераментов, которые ему, как продюсеру, приходилось смягчать и улаживать. Дома в красиво обставленной гостиной его всегда ждала Пенелопа, она охотно готовила ему выпить и выслушивала его рассказ о делах, о трудностях, о маленьких трагедиях и нелепых комических происшествиях дня, об опасениях за завтрашний день, о не решенных еще спорах. Слушала она заинтересованно, спокойно и с пониманием. Он мог положиться на ее интуицию и на ее ум. Она была ему неизменной помощницей, самым надежным товарищем, самым полезным советчиком, всегда принимавшим его сторону. Из всех счастливых воспоминаний их супружеской жизни — лето в Антибе, минуты, проведенные с дочерьми, даже радости долго не увядавшей взаимной страсти — самыми дорогими были воспоминания именно об этих бесчисленных тихих ночных беседах, во время которых они делились друг с другом лучшим, что в них было, и которые составляли в конечном счете истинную основу их брака.

Вот и сегодня проблем накопилось столько, что ему нужен советчик. Да, он, несмотря ни на что, скучал по ее голосу. Когда он написал ей, что подает на развод, она ответила ему длинным письмом, умоляя не расторгать брака во имя сохранения семьи, взывая к его чувству и разуму. Он лишь мельком пробежал письмо, боясь, очевидно, как бы оно не поколебало его решимости, и холодно написал ей, чтобы она искала себе адвоката.

И вот — это было почти неизбежно — она в руках адвоката и жаждет денег, выгод, сведения счетов. Он пожалел, что не прочел тогда ее письмо более внимательно.

Поддавшись внезапному порыву, он снял трубку, назвал номер телефона в Нью-Йорке и вдруг вспомнил,

что Пенелопа сейчас в Женеве — об этом сообщала в письме дочь.

«Глупая женщина, — подумал он. — Как раз сегодня ей следовало быть дома». Он опять снял трубку и отменил заказ.

8

Он снова налил себе виски и зашагал со стаканом в руке по комнате, сердясь на себя за то, что предался воспоминаниям о прошлом, разбередил старые раны. Не для того он приехал в Канн. Это Гейл Маккиннон виновата. «Ну что ж, — подумал он, — раз уж начал вспоминать, то надо вспоминать до конца. Вспомнить все ошибки, все просчеты, все измены. Если уж предался мазохизму — наслаждайся им сполна. Слушай, что говорят призраки, вспоминай, какая была погода в другие времена...»

Он отхлебнул виски, сел за стол и вновь погрузился в прошлое.

Он у себя в конторе после трехмесячного пребывания в Европе. Поездка была ни удачной, ни неудачной. Он жил — не без удовольствия — как бы вне времени и откладывал все решения.

На столе — куча рукописей. Он перелистал их без всякого интереса. До разрыва или полуразрыва с Пенелопой он завел обычай читать в небольшом кабинете, который устроил себе наверху, под самой крышей; там не было телефона и никто ему не мешал. Но по возвращении из Европы он снял неподалеку от конторы номер в гостинице и домой заходил нечасто. Он не вывез ни своей одежды, ни книг, поэтому, когда приезжали дочери, что случалось редко, он оставался с ними. Он не знал, насколько они осведомлены о размолвке родителей; во всяком случае, не было никаких признаков того, что они заметили перемену. Они так были заняты собственными заботами — свидания, занятия, диета, — что, казалось Крейгу, едва ли обратили бы внимание на своих родителей, даже если бы те разыграли у них на глазах, прямо в гостиной, сцену из «Макбета», употребив настоящий кинжал и пролив настоящую кровь. Ему казалось, что внешне они с Пенелопой ведут себя почти

так же, как всегда, только относятся друг к другу чутьочку нежливей прежнего. Ни скандалов, ни пререканий в доме больше не было. Они не спрашивали друг друга, куда кто уходит. Это был период, когда он чувствовал себя странно умиротворенным, как это бывает с больным, который медленно поправляется после длительной болезни и понимает, что его не заставят выполнять тяжелую работу.

Время от времени они выезжали вместе. В день его сорокачетырёхлетия Пенелопа сделала ему подарок. Они съездили в Мериленд посмотреть школьный спектакль, в котором Марша исполняла небольшую роль. Ночевали они в одном номере городской гостиницы.

Ни одна из предложенных ему пьес, по его мнению, не заслуживала внимания, хотя он был уверен, что некоторые из них пользовались бы успехом у публики. Но когда за такие пьесы брались другие и спектакли шли с аншлагами, он не испытывал огорчения и не сожалел об упущенной возможности.

Он уже не читал больше театральную хронику и не подписывался на специальную периодику. Избегал ресторанов типа «У Сарди» и «Дауни», которые когда-то любил посещать и в которых всегда полно людей из мира кино и театра — большинство их он знал в лицо.

После просмотра в Пасадене он ни разу не был в Голливуде. Время от времени звонил Брайан Мэрфи и сообщал, что посылает ему рукопись или книгу, которая, возможно, заинтересует его. Крейг добросовестно прочитывал то, что ему присылали, и по телефону отвечал Мэрфи, что его это не интересует. В последний год Мэрфи стал звонить лишь для того, чтобы справиться о его здоровье. Крейг всегда отвечал, что чувствует себя хорошо.

В дверь постучали, и вошла Белинда с рукописью пьесы и подколотым к ней запечатанным конвертом. У нее было какое-то странное, настороженное выражение лица.

— Только что принесли, — сказала она. — Лично вам. — Она положила рукопись на стол. — Новая пьеса Эдди Бреннера.

— Кто принес? — Крейг старался говорить спокойно.

— Миссис Бреннер.

— Что же она не зашла поздороваться?

— Я приглашала. Но она не захотела.

— Благодарю, — сказал он и вскрыл конверт.

Белинда вышла, тихо закрыв за собой дверь.

Письмо было от Сьюзен Бреннер. Она ему нравилась, и он жалел, что обстоятельства не позволяли ему больше встречаться с ней. Он прочел письмо.

«Дорогой Джесс! — писала Сьюзен Бреннер. — Эд не знает, что я повезла его пьесу к Вам, и, если узнает, целых полчаса будет меня упрекать. Ну и пусть. Что бы там у Вас с ним ни произошло, это кануло в прошлое, я же хочу только одного: чтобы его пьеса попала в надежные руки. В последние годы он связывал себя с людьми заурядными, оказавшими на его работу дурное влияние, так что приходится что-то предпринимать, чтобы вырвать его наконец из этого окружения.

Мне кажется, эта вещь — лучшее из всего, что он написал после „Пехотинца“. В какой-то степени они сходны по настроению. Прочтете — увидите сами. Единственно, когда пьесы Эда находили достойное сценическое воплощение, — это в период его сотрудничества с Вами и Фрэнком Баранисом, и я надеюсь, что вы трое сойдетесь опять. Возможно, настало именно то время, когда вы снова окажетесь нужны друг другу.

Я верю в Ваш талант, в Вашу честность и в Ваше стремление показать в театре лишь то, что достойно внимания. Убеждена, что Вы — слишком благоразумный и благородный человек, чтобы позволить горькому воспоминанию встать на пути Вашей любви к настоящему искусству.

Когда прочтете пьесу, пожалуйста, позвоните мне. Звоните утром, часов в десять. Эд снимает неподалеку кабинетик и к этому времени уже уходит. Как всегда, Ваша Сью».

«Преданная, наивная, полная оптимизма жена, — подумал Крейг. — Как всегда». Жаль, что в то лето ее не было с ними в Антибе. Он долго смотрел на рукопись. Текст напечатан непрофессиональной рукой. И переплет неумелый. Наверно, печатала самоотверженная жена — Сьюзен Бреннер. Вряд ли Бреннер в состоянии оплатить машинистку. «Горькое воспоминание», — пишет Сьюзен Бреннер. Какое там воспоминание. Оно погребено под таким множеством других — горьких и сладких — воспоминаний, что теперь это всего лишь анекдот о ком-то, до кого ему, Крейгу, и дела нет.

Он встал и открыл дверь. Белинда сидела за столом и читала роман.

— Белинда, ни с кем меня не соединяйте, пока я сам не попрошу.

Она кивнула. В действительности в последнее время в контору звонили редко. Эти слова вырвались у него по старой привычке.

Он сел за стол и прочел неумело отпечатанный текст. Это заняло у него меньше часа. Он хотел, чтобы пьеса ему понравилась, однако, кончив чтение, понял, что браться за нее не станет. Как и первая пьеса Бреннера, она была о войне. Но не о боевых действиях, а о войсковом подразделении, которое, отвоевавшись в Африке, было переброшено в Англию и готовилось к высадке в Европе. Замысел был серьезный, но получилось жидковато. Действующие лица — с одной стороны, ожесточенные или надломленные войной ветераны, а с другой — свежее пополнение из новичков, которых муштровали и держали в страхе перед старшими и которые не знали, хватит ли им мужества и как они поведут себя, когда настанет время идти в огонь. Конфликты, возникавшие между ветеранами и новичками, дополнялись эпизодами с участием англичан — девушек, английских солдат, их родственников. На основе этого Бреннер попытался проанализировать различия между двумя обществами, представителей которых война свела на несколько месяцев в одном лагере. Стилистически Бреннер переходил от трагедии к мелодраме, а то и к грубому фарсу. Первая пьеса Бреннера была простая и цельная, беспощадно реалистичная, она прямо подводила героев к неизбежному кровавому концу. Новая пьеса блуждала, морализировала, настроения и место действия в ней менялись почти случайно. «Если нынешний период в жизни Бреннера называется зрелостью, то эта зрелость не пошла ему на пользу, — думал Крейг. — Она лишила его неповторимой юношеской непосредственности. Да, разговор со Сьюзен Бреннер по телефону будет не из приятных». Он снял было трубку, но раздумал. Нет, лучше перечитать пьесу и сообщить свое мнение завтра. Надо еще подумать.

Но, прочитав пьесу на следующий день еще раз, он не стал о ней лучшего мнения. Откладывать разговор уже не было смысла.

— Сьюзен, — сказал он, услышав в трубке ее голос, — боюсь, что не смогу за нее взяться. Хотите знать почему?

— Нет, — ответила она. — Оставьте рукопись у своей секретарши. Я возьму ее по дороге.

— Я очень сожалею, Сью.

— Я тоже. Я думала, вы — и вправду хороший человек.

Он медленно положил трубку. Начал было читать другую пьесу, но в голову ничего не лезло. Поддавшись внезапному порыву, он снял опять трубку и попросил Белинду соединить его с Брайаном Мэрфи, который находился в это время на Западном побережье.

После того как они обменялись приветствиями и Крейг узнал, что Мэрфи чувствует себя превосходно и уезжает на субботу и воскресенье в Палм-Спринг, Мэрфи спросил:

— Чему обязан?

— Я насчет Эда Бреннера, Мэрф. Не можешь ли ты подыскать ему работу? Дела у него неважно складываются.

— С каких это пор ты стал добрым приятелем Эда Бреннера?

— Не в том дело. Я даже не хочу, чтобы он знал, что я тебе звонил. Устрой ему работу.

— Я слышал, он пьесу заканчивает, — сказал Мэрфи.

— Все равно дела у него неважные.

— Ты читал ее?

Крейг замялся.

— Нет, — сказал он наконец.

— Значит, читал. И она тебе не понравилась.

— Говори тише, Мэрф. И пожалуйста, никому ничего не рассказывай. Ну, так сделаешь что-нибудь?

— Попытаюсь, — сказал Мэрфи. — Но ничего не обещаю. И так дел полным-полно. Может, тебе самому что нужно?

— Нет.

— Чудесно. Считай, что вопрос мой — риторический. Передай привет Пенни.

— Хорошо, передам.

— Знаешь что, Джесс?

— Что?

— Люблю, когда ты мне звонишь. Единственный клиент, который не относит телефонные звонки на мой счет.

— Значит, я расточительный человек, — сказал Крейг

и положил трубку. Он был уверен: сто против одного шанса, что никакой работы для Эда Бреннера на Западном побережье Мэрфи не подыщет.

Он не пошел на премьеру пьесы Бреннера, хотя и купил билет, потому что утром того дня ему позвонили из Бостона. Его приятель, режиссер Джек Лотон, поставивший там музыкальную комедию, сообщил по телефону, что спектакль не получился, и просил приехать и посоветовать, что делать.

Крейг отдал билет на премьеру Белинде, а сам вылетел в тот же день в Бостон. До начала спектакля ни с Лотоном, ни с другими людьми, причастными к постановке, он не стал встречаться — лучше посмотреть сперва самому, свежим глазом. Да и не хотелось погружаться в обычную жестокую грызню из-за того, что не получается спектакль: продюсеры жалуются на режиссера, режиссер — на продюсеров и ведущих актеров, а актеры — на тех и других.

То, что он увидел на сцене, вызвало в нем чувство жалости. Жаль было авторов, композитора, певцов и танцоров, актеров, музыкантов, зрителей и тех, кто вложил свои деньги в это зрелище, стоившее триста пятьдесят тысяч долларов. Несколько лет трудились талантливые люди, и вот спектакль увидел свет. Танцоры показывали чудеса виртуозности, певцы, которые и в других спектаклях пользовались неизменным успехом, превзошли самих себя. И никакого эффекта. На сцене появлялись и исчезали оригинальные декорации, оркестр извергал вакханалии звуков, актеры отважно и безнадежно улыбались, произнося остроты, над которыми никто не смеялся, в глубине зала с потерянными лицами сидели продюсеры. Лотон, сидя в последнем ряду, диктовал что-то измученным, охрипшим голосом секретарше, а та записывала в отрывной блокнот карандашом, в который был вделан электрический фонарик. И все-таки ничего не получалось.

Крейг ерзал на стуле, предчувствуя неизбежный провал. Ему хотелось встать и уйти, он со страхом думал о той минуте, когда все соберутся в номере гостиницы и обратятся к нему с вопросом: «Ну, что вы скажете?»

Занавес опустился. Жиденькие аплодисменты прозвучали как пощечина всем, кто причастен к его профессии,

а застывшие улыбки кланяющихся исполнителей были похожи на гримасы измученных пытками людей.

Крейг не пошел за кулисы, а отправился прямо в гостиницу и, подкрепившись у себя в номере двумя стаканами виски, поднялся наверх, где его ждали тонкие, как листки бумаги, сэндвичи с курицей, стол, уставленный бутылками, и злые, одутловатые физиономии мужчин, уже три месяца не выходявших на свежий воздух.

Крейг не стал откровенничать в присутствии продюсеров, автора, композитора и художника. Он не питал к ним симпатии и не был связан с ними никакими обязательствами. Не они, а Лотон просил его сюда приехать, так что пусть эти люди сначала уйдут, а потом уж он честно выскажет свое мнение. А пока он ограничился несколькими успокоительными пожеланиями: сократить танец, слегка изменить песенный номер, иначе осветить любовную сцену. Все поняли, что ничего существенного он им не скажет, и разошлись по домам.

Последними ушли продюсеры. Оба небольшого роста, злые, вспыльчивые, наигранно энергичные, они грубили Лотону и почти не скрывали неприязни к Крейгу, который также не оправдал их надежд.

Когда дверь за продюсерами, приехавшими в **Бостон** с расчетом на блестящий успех, закрылась, Лотон сказал:

— Наверно, сейчас начнут называть сразу десятэрым режиссерам, чтобы ехали сюда на мое место. — Лотон был высокий, болезненного вида, в очках с толстыми стеклами. Всякий раз, когда он ставил пьесу, у него начиналось обострение язвы желудка независимо от того, хорошо или плохо шло дело. Он беспрестанно потягивал из стакана молоко и то и дело принимал микстуру «Маалокс». — Ну, что скажешь, Джесс?

— Думаю, надо свертывать дело.

— Так плохо?

... Так плохо.

— Но ведь есть еще время доработать, — возразил Лотон, словно оправдываясь.

— Не поможет, Джек. Не пытайся оживить дохлую лошадь.

— Боже ты мой, — пробормотал Лотон. ... Удивительно, сколько неприятностей может сразу обрушиться на голову. — Он был уже немолод, поставил более тридцати спектаклей, получивших весьма лестные отзывы. У него сказочно богатая жена, а он сидит здесь, скорчив-

шись от боли, и трясет головой, точно генерал, бросивший в бой последние резервы и потерявший их за один вечер. — Господи, хоть бы в животе отпустило.

— Брось ты это дело, Джек.

— Ты имеешь в виду спектакль?

— Нет, вообще. Так ты и в больницу угодишь. Ничто же тебя не вынуждает проходить через все это.

— Верно, — сказал Лотон. — Пожалуй, так. — Кажется, он удивился своему открытию.

— Ну?

— Чем же мне тогда заниматься? Сидеть со стариками в Аризоне и греться на солнышке? — Лицо его искривилось от нового приступа боли, и он прижал руку к животу. — Это единственное, что я умею. Единственное, чем я хочу заниматься. Пусть вот хоть этим дурацким, пустым спектаклем.

— Ты спрашивал мое мнение, — сказал Крейг.

— И ты его высказал. Спасибо.

Крейг встал.

— Иду спать. И тебе советую.

— Да, да, конечно, — почти с нетерпением сказал Лотон. — Вот только запишу кое-какие соображения, пока из головы не вылетело. На одиннадцать я назначил репетицию.

Не успел Крейг выйти, как тот склонился над текстом пьесы и лихорадочно застрочил ручкой, как будто от этого все вдруг переменится и к началу утренней репетиции остроты станут смешными, музыка — живой, танцы — зажигательными, аплодисменты — оглушительными, и даже Бостон его стараниями и муками к вечеру следующего дня станет другим городом.

Наутро, когда Крейг пришел к себе в контору, Белинда положила ему на стол рецензии на пьесу Бреннера. Он мог и не читать их. По выражению ее лица было видно, что дела плохи. Прочитав же рецензии, он понял, что спектакль безнадежно провалился и в субботу его, наверно, снимут. Даже в Бостоне было лучше.

В субботу он пошел на последнее представление. Зал был заполнен только наполовину, да и то, как Крейг догадался, в основном контромарочниками. Бреннера, к счастью, в зале не было.

Когда занавес поднялся и прозвучали первые слова

диалога, он испытал странное чувство, что находится в преддверии чего-то прекрасного. Актеры играли сосредоточенно, с увлечением, заражая верой в ценность и важность слов, которые Бреннер заставлял их говорить. Казалось, никого из них не удручало, что всего лишь три дня назад критики разругали пьесу, назвав ее скучной и путаной, и что, как только опустится занавес, все будет кончено: декорации разберут, театр погрузится во мрак, а сами они окажутся на улице, без работы. В их верности своей профессии было внутреннее благородство, и это заставило Крейга прослезиться, хотя он видел ошибки и в подборе исполнителей, и в режиссуре, и в трактовке, скрывшей от зрителя тонкий, сложный замысел пьесы, — ошибки, которые и навлекли на голову Бреннера гнев критиков.

Сидя в темном зале с зияющими пустотой рядами кресел и смотря этот бесспорно слабый, несостоявшийся спектакль, Крейг понял, что его первая оценка пьесы Бреннера была, видимо, ошибочной. И тут вдруг в нем снова пробудился интерес к театру. В голове у него сам собой начал складываться план, как улучшить пьесу, выявить ее достоинства и устранить недостатки.

Когда спектакль кончился, в зале раздались редкие аплодисменты, но Крейг, тронутый и взволнованный, поспешил за кулисы, чтобы найти Бреннера и сказать ему хвалебные, ободряющие слова.

Старик, дежуривший в служебном подъезде, узнал Крейга и мрачно сказал:

— Какой позор, мистер Крейг.

Они обменялись рукопожатием. Старик сказал, что Бреннер на сцене, прощается с актерами и благодарит их, и Крейг подождал в кулисе, пока тот не закончил свою короткую речь и актеры не начали, громко переговариваясь, расходиться по своим уборным в тусклом полусвете кулис.

С минуту Крейг не шевелился, наблюдая за Бреннером, одиноко стоявшим среди декораций, которые изображали угол временной обшарпанной казармы в Англии военных лет. Лицо у него было в густой тени, и Крейг не мог его разглядеть. Бреннер сильно похудел с тех пор, как они виделись в последний раз. На нем был мешковатый твидовый пиджак, шея обмотана длинным шерстяным шарфом. Он походил на немощного

старика, который, боясь упасть, вынужден следить за каждым своим шагом. Волосы у него поредели, на темени блестела плешина.

Медленно поднялся занавес. Бреннер выпрямился и посмотрел в пустой темный зал. Рядом с Крейгом слышался шорох — мимо прошла Сьюзен Бреннер. Она подошла к мужу, взяла его руку в свою и поцеловала. Он обнял ее за плечи, и так они стояли, не произнося ни слова. Крейг вышел из кулисы.

— Привет, — сказал он.

Те взглянули на него, но не ответили.

— Я смотрел сегодня спектакль, — продолжал Крейг. — Сознаюсь, я ошибся, когда читал пьесу.

Бреннеры по-прежнему молчали.

— Прекрасная пьеса. Лучшая из всего, что ты написал.

Бреннер засмеялся каким-то странным, сдавленным смехом.

— Вы были правы, Сьюзен. За эту пьесу надо было браться мне и Баранису.

— Спасибо, что хоть вспомнили, — сказала Сьюзен. В скудном свете ламп она выглядела худой и изможденной, ненакрашенное лицо было бледно.

— Выслушай меня, пожалуйста, — горячо заговорил Крейг. — Твою пьесу неправильно поставили. В таком виде она не дошла до зрителя. Но это вовсе не конец. Отложи ее на год, поработай еще, подбери подходящих исполнителей. Нечего было и надеяться на успех с такими затейливыми, пышными декорациями и с таким актером, который слишком стар для героя и слишком многозначителен. Через год мы сможем поставить ее где-нибудь в центре, не на Бродвее — для Бродвея она все равно не подходит, — заменим актеров, дадим больше света, упростим декорации, добавим музыку — пьеса требует музыки, — достанем записи речей политических деятелей, генералов, радиодикторов и будем крутить их между сценами, рассчитав по времени... — Он замолчал, чувствуя, что говорит слишком быстро, что Бреннер в его теперешнем состоянии вряд ли уследит за ходом его мыслей. — Ты понял меня? — спросил он, запнувшись.

Бреннеры тупо уставились на него. Потом Бреннер издал тот же сдавленный смешок.

— Через год, — проговорил он наконец. В голосе его звучала ирония.

Крейг понял, о чем думал Бреннер.

— Я выдам тебе аванс. Достаточно, чтобы прожить. Я...

— Значит, Эд получит еще одну возможность переспать с вашей женой, мистер Крейг? — сказала Сюзен. — Это входит в аванс?

— Подожди, Сью, — устало сказал Бреннер. — Наверно, ты прав, Джесс. Наверно, мы наделали кучу ошибок, готовя эту постановку, и многие — по моей вине. Согласен — пьесу надо было ставить не в бродвейском театре. Наверно, Баранис лучше понял бы мой замысел. Думаю, у нас получилось бы... — Он глубоко вздохнул. ... И я думаю также, что лучше тебе уйти отсюда, Джесс. Не лезь ты больше в мою жизнь. Пошли, Сью. — Он взял жену за руку. — Я оставил в уборной портфель. Сюда мы уже не вернемся, так что давай захватим его с собой.

Взявшись за руки, Бреннеры сошли со сцены. Крейг только сейчас заметил, что на чулке Сюзен низко спустилась петля.

Элис Пейн ждала его в полупустом баре. Он удивился, когда она позвонила ему и, сказав, что находится поблизости от его конторы, спросила, есть ли у него время выпить с ней. Прежде они никогда не встречались в отсутствие ее мужа, разве только случайно. Кроме того, он ни разу не видел, чтоб она выпивала больше рюмки спиртного за вечер. Она была не из тех женщин, которых можно встретить в баре в три часа дня.

Когда он подходил к ее столику, она допивала «мартини». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Элис подняла на него глаза и улыбнулась. Крейгу показалось, что она немного волнуется. Он сел рядом с ней на диванчик и подозвал официанта.

— Виски с содовой, пожалуйста. А вам, Элис?

— Пожалуйста, еще «мартини».

Крейгу вдруг пришла мысль, что Элис что-то скрывала все эти годы от него и от остальных своих друзей. В руках у нее были перчатки, ее сильные, без маникюра пальцы беспокойно теребили их.

— Надеюсь, я не отвлекла вас от какого-нибудь важного дела, — сказала она.

— Нет. Ничего важного в конторе сейчас не происходит.

Она положила руки на колени.

— Со дня моей свадьбы не было случая, чтоб я пила в дневное время.

— Жаль, что я не могу сказать этого же о себе.

Она быстро взглянула на него и спросила:

— Не слишком ли вы много пьете в последнее время, Джесс?

— Не больше обычного. А вообще — много.

— Смотрите, как бы вас кто не назвал алкоголиком. — В ее речи появилась какая-то торопливость, голос чуть подражал.

— Почему? Вам кто-нибудь говорил, что я алкоголик?

— В сущности, нет, — ответила она. — Только вот Пенелопа... Она иногда говорит таким тоном, что...

— Жены есть жены.

Официант принес виски и «мартини». Они подняли стаканы.

— Ваше здоровье, — сказал Крейг.

Элис отпила немного и поморщилась.

— Я, наверно, никогда не пойму, что люди в этом находят.

— Мужество. Успокоение, — сказал Крейг. Теперь уж он окончательно понял, что Элис вызвала его сюда неспроста. — Что случилось, Элис?

— Уф! — вздохнула она, вертя в руках стакан. — Не знаю даже, с чего начать.

Он был уверен, что и этот вздох — первый со дня ее свадьбы. Не такая она женщина. И не из тех, кто не знает, с чего начать.

— А вы начните с середины, — посоветовал он. — Потом разберемся. — Ее волнение передалось и ему.

— Вы верите, что мы ваши друзья? Мы с Робертом?

— Конечно.

— Это важно, — сказала она. — Я не хочу, чтобы вы считали меня навязчивой или злой женщиной.

— Вы даже и при желании не могли бы быть навязчивой или злой. — Он уже жалел, что ее звонок застал его в конторе.

— Вчера мы ужинали в вашем доме, — резко сказала она. — Роберт и я.

— Надеюсь, вас хорошо покормили.

— Превосходно. Как обычно. Только вот вас там не было.

— В последнее время я нечасто бываю дома.

— Я так и поняла.

— Что за компания собралась?

— Не самая лучшая.

— Как обычно, — сказал Крейг.

— Был Берти Фолсом.

— Тоже как обычно.

Она бросила на него быстрый взгляд.

— Люди разное начинают болтать, Джесс.

— Люди всегда болтают разное, — сказал он.

— Не знаю характера ваших отношений с Пенелопой, — сказала Элис, — но их всегда видят вместе.

— Я и сам не знаю характера наших отношений. Я думаю, вы можете считать, что у нас вообще нет никаких отношений. Вы это пришли мне сказать? Что видели Пенелопу и Берти вместе?

— Нет, — ответила она, — не только. Прежде всего я хочу сказать вам, что мы с Робертом больше в ваш дом не пойдем.

— Жаль. Почему?

— Это старая история. Точнее, ей уже четыре года.

— Четыре года? — Он нахмурился. — А что было четыре года назад?

— Можно мне еще «мартини»? — спросила она тоном девочки, которой захотелось еще порцию мороженого.

— Конечно. — Он помахал рукой официанту и заказал еще виски и «мартини».

— Вы были тогда в отъезде, — сказала Элис. — А мы с Робертом устраивали небольшой ужин. Ну и пригласили Пенелопу. Для стола не хватало одного мужчины, и этим мужчиной почему-то оказался Берти Фолсом. Как всегда.

— Что еще? — равнодушно спросил Крейг.

— Беда таких рослых людей, как вы, — сурово заметила Элис, — что они никогда не принимают маленьких людей всерьез.

— Это верно, — согласился Крейг. — Он действительно человек очень маленький. Итак, он сидел за столом рядом с Пенелопой.

— Потом проводил ее домой.

— Черт возьми! Он проводил ее домой.

— Вы считаете меня глупой сплетницей...

— Нет, Элис, — ласково возразил он. — Просто я...

— Тише, — прервала она его и кивнула на официанта, подходившего к ним с подносом в руках.

Они молчали до тех пор, пока тот не вернулся к себе за стойку.

— Ну хорошо, — сказала Элис. — Вот что произошло потом. На следующее утро я получила дюжину красных роз. Анонимно. Без визитной карточки.

— Это могло означать что угодно, — сказал Крейг, хотя теперь он был убежден, что это не могло означать что угодно.

— И с тех пор каждый год пятого октября я получаю дюжину красных роз. Анонимно. Разумеется, он знает, что я знаю, кто их шлет. Он хочет, чтобы я знала. Это так противно. Всякий раз, когда я прихожу в ваш дом и вижу, как он ест ваши закуски и пьет ваши вина, я чувствую себя запачканной, точно я его сообщница. Мне было стыдно своего малодушия: почему я ничего не сказала ему и не сказала вам? И вчера вечером, увидев, как он сидит во главе стола, наливает вино и вообще ведет себя по-хозяйски, как он проводил всех гостей, а сам остался, я поговорила с Робертом. И он со мной согласился: я не могу больше молчать.

— Приятно было увидеться с вами. — Он поцеловал ее в щеку и встал.

— Я не знаю, каким моральным кодексом мы сейчас руководствуемся, — сказала Элис. — Может, нам и не надо так уж серьезно относиться к адюльтеру — мы смеемся, когда узнаем, что кто-то из наших друзей завел любовную интрижку. Я и про вас кое-что слышала.

— Ну конечно, слышали, — согласился Крейг. — И разумеется, в этом много правды. Мой брак — давно уже не образец супружеского счастья.

— Но то, что делает она, ни с чем не сравнимо, — сказала она прерывающимся голосом. — Вы замечательный человек. Настоящий друг. А этого ужасного коротышку я терпеть не могу. Сказать по правде, мне и Пенелопа перестала нравиться. При всем ее очаровательном гостеприимстве есть в ней что-то фальшивое и грубое. Уж если говорить о каком-то моральном кодексе, то для меня, например, он состоит в том, чтобы прийти

на помощь другу, если он незаслуженно страдает. Вы недовольны, Джесс, что я все это вам рассказала?

— Еще не знаю, — в раздумье сказал он. — Во всяком случае, теперь я позабочусь о том, чтобы розами вам больше не докучали.

На следующий день он известил жену письмом, что возбуждает дело о разводе.

Другой бар. На этот раз — в Париже. В отеле «Крийон», совсем рядом с посольством. Он усвоил привычку встречаться с Констанс в этом баре — после окончания ее рабочего дня. Здесь было его постоянное пристанище. Все остальное время от бродил по городу, осматривал картинные галереи, толкался на рынках и среди молодежи Латинского квартала, заходил в магазины попрактиковаться в языке, сидел в кафе, читая газеты, иногда обедал с кем-нибудь из тех, кто работал с ним над фильмом, снимавшимся во Франции, и проявлял достаточно такта, чтобы не спрашивать, чем он занимается теперь.

Он любил этот бар, где собирались у стойки оживленные, шумные группы английских и американских журналистов, любил наблюдать непрерывный поток сменяющих друг друга вежливых, элегантно одетых пожилых американцев, которые еще до войны останавливались в этом отеле. Нравились ему и восхищенные взгляды, которые бросали на Констанс другие посетители, когда она, войдя в бар, шла к нему торопливым шагом.

Он встал ей навстречу и поцеловал в щеку. Несмотря на то что она просиживала целые дни в прокуренной конторе, от нее всегда веяло свежестью, словно она только что гуляла в лесу.

Она заказала себе шампанского, «чтобы удалить изо рта привкус молодости», как она поясняла.

— Всегда удивляюсь, — заметила она, потягивая шампанское, — когда вхожу и вижу, что ты здесь.

— Я же сказал, что приду.

— Да. И все равно удивляюсь. Каждое утро, расставаясь с тобой, я думаю: ну вот, уж сегодня-то он наверняка встретит какую-нибудь неотразимую красавицу или вдруг вспомнит, что вечером ему непременно надо

быть в Лондоне, Загребе или Афинах, где выступает знаменитый актер или актриса.

— Ни в Лондоне, ни в Загребе, ни в Афинах нет никого, с кем я хотел бы встретиться, и единственная неотразимая красавица — это ты. Других я нынче не встречал.

— Какой ты милый. — Констанс сияла. Она по-детски любила комплименты. — Ну, рассказывай, чем ты сегодня занимался.

— Три раза я занимался любовью с женой перуанского оловянного магната...

— Вот как. — Она засмеялась. Ей нравилось, когда ее дразнили. Но не слишком.

— Постригся. Обедал в итальянском ресторанчике на улице Гренель, читал «Монд», зашел в три галереи и чуть было не купил три картины, выпил стакан пива в кафе «Флора», потом вернулся в гостиницу и... — Он замолчал, видя, что она не слушает. Констанс не сводила глаз с молодой американской четы, проходившей в глубь зала мимо их столика. Мужчина был высок ростом и с таким приятным и открытым лицом, что казалось, будто он никогда ни в чем не сомневался, не знал никаких огорчений и не представлял себе, что могут существовать люди, которые желали бы ему зла. Девушка, бледная высокая красавица с черными как смоль волосами, с темными, широко поставленными глазами, выдававшими ирландское или испанское происхождение, передвигалась с неторопливой грациозностью, ее темная соболья шуба ниспадала мягкими складками. Она улыбнулась каким-то словам мужа, взяла его под руку, и они пошли между стойкой и столиками, расположенными вдоль окон. Казалось, они никого в зале не замечали. Но не из-за неумения вести себя. Они просто были так заняты собой, что даже небрежный, мимолетный взгляд, когда можешь увидеть, а может быть, и узнать чье-то лицо, был бы для них расточительством, потерей драгоценного мига общения друг с другом.

Констанс смотрела им вслед до тех пор, пока они не скрылись в ресторане.

— Прости меня, — сказала она, повернувшись к Крейгу. — Кажется, я тебя не слушала. С этими людьми я была когда-то знакома.

— Прекрасная пара.

— О да.

— Сколько лет этой девушке?

— Двадцать четыре. По ее вине умер один мой знакомый.

— Что, что? — удивился Крейг. В баре отеля «Крийон» ее реплика прозвучала довольно неожиданно.

— Не пугайся, — сказала Констанс. — Люди все время оказываются виновниками смерти других людей.

— Но эта-то мало похожа на рядового убийцу.

Констанс засмеялась.

— Да никакая она не убийца. Тот мой знакомый был влюблен в нее. Однажды он прочитал в газете, что она вышла замуж, и через три дня скончался.

— Что за старомодная история, — сказал Крейг.

— Он и сам был старомоден. Восемьдесят два года.

— Как оказался восьмидесятидвухлетний старик твоим знакомым? — спросил Крейг. — Я, конечно, знаю, что тебе нравятся мужчины в возрасте, но не в таком же все-таки.

— Этого старика звали Кеннет Джарвис.

— Железные дороги.

— Железные дороги, — кивнула она. — В том числе. Среди многого другого. У меня был поклонник, работавший с внуком Джарвиса. Не смотри так сердито, милый. Это было до того, как мы с тобой встретились, задолго до того. Старик любил окружать себя молодежью. У него в Нормандии был огромный дом. Одно время он владел конюшнями скаковых лошадей. На субботу и воскресенье к нему съезжались гости, по двадцать-тридцать человек. Обычные развлечения: теннис, плавание, парусные лодки, выпивка, флирт и тому подобное. Всегда было весело. Только не со стариком. Когда я познакомилась с ним, он был уже дряхлый. Ел неряшливо, забывал застегнуть брюки, за столом дремал и даже храпел, по несколько раз рассказывал одну и ту же историю.

— Это была плата за развлечения, — сказал Крейг.

— Те, кто знал его раньше, казалось, не обращали внимания на его немощь. Когда-то он был обаятельным, щедрым, воспитанным человеком. Большой любитель книг, картин, хорошеньких женщин. Его жена умерла, когда они оба были еще молоды, и с тех пор он уже не женился. Человек, с которым я туда ездила, говорил, что надо же чем-то платить за удовольствия, которыми этот человек всю жизнь одаривал людей. В конце концов,

не такая уж это дорогая цена — смотреть, как у него течет слюна на галстук, или слушать по нескольку раз одну и ту же историю. Особенно если учесть, что в этом доме тебя, как всегда, и накормят, и напоят, и предоставят всевозможные удовольствия. А посмеивались над ним втихомолку только дураки.

— Избави меня боже дожить до восьмидесятилетия, — сказал Крейг.

— А ты дослушай до конца. Однажды к нему пришла бывшая любовница. И с ней дочь. Вот эта самая девушка, которую ты только что видел с мужем.

— Избави меня боже дожить до семидесятилетия.

— И он в нее влюбился, — сказала Констанс. — Это была настоящая, старомодная любовь. Каждый день письма, цветы, приглашения матери и дочери на яхту и прочее.

— Зачем это нужно было матери? И дочери? Из-за денег?

— Нет. Они были достаточно хорошо обеспечены. По-моему, их интересовало общение с людьми, которых в другом кругу не встретишь. Мать никаких вольностей девушке не позволяла. Ее единственный козырь. Когда я с ней познакомилась, ей было девятнадцать лет, а держалась она как пятнадцатилетняя. Когда ей кого-нибудь представляли, то казалось, что она вот-вот сделает книксен. Джарвис помог ей повзрослеть. Да и лестно к тому же выступать хозяйкой на больших званых ужинах, быть в центре внимания, уйти из-под власти матери. Быть предметом обожания человека, который в свое время всех знал, обо всех рассказывал анекдоты, распоряжался жизнями тысяч людей и крутил романы со всеми знаменитыми красавицами. Ей нравился этот старик — возможно, она по-своему его даже любила, власть над ним доставляла ей удовольствие. И вот он как-то вдруг переменялся, помолодел, ожил. Ничего не забывал, при ходьбе держался прямо, не шаркал ногами, голос его окреп и перестал хрипеть, он стал безупречно одеваться, мог всю ночь напролет бодрствовать, а утром был подтянут и полон энергии.

Ну разумеется, кое-кто посмеивался. Восьмидесятидвухлетний старик, ослепленный любовью к девятнадцатилетней девушке, словно это его первая любовь и он пригласил ее на первый в ее жизни бал... Но я не так часто видела его, и меня это тронуло. Казалось, про-

изошло чудо и время для него пошло вспять. Он снова стал молодым. Не совсем, конечно, не двадцати- или тридцатилетним, но лет пятьдесят — шестьдесят ему можно было дать.

— Ты же сказала, что он умер, — сказал Крейг.

— Да. Она познакомилась с молодым человеком, которого ты только что видел, и перестала встречаться с Джарвисом. Об их свадьбе он узнал из газеты. Прочтя эту новость, он уронил газету на пол, лег на кровать лицом к стене и через три дня скончался.

— Красивая, трогательная история, — сказал Крейг.

— По-моему, да. На похоронах один его друг сказал: «Но ведь это прекрасно — в наш век, в наше время быть способным в восемьдесят два года умереть от любви».

— В наш век, в наше время...

— Мог ли этот старик желать чего-нибудь лучшего? — спросила Констанс. — Месяцев восемь восхитительной, легкомысленной, веселой жизни — и такой благородный уход. Ни кислородной палатки, ни возни врачей, ни трубок и искусственных почек, ни переливания крови. Только любовь. Никто, конечно, девушку не обвинял. Только мужу ее завидовали. И старику. Обоим. У тебя как-то странно засветились глаза.

— Я думаю.

— О чем?

— Если бы кто-нибудь принес мне пьесу или кино-сценарий, основанный на истории этого старика, я бы, наверно, взялся за него. Только никто не несет.

Констанс допила свое шампанское.

— А почему бы тебе самому не написать? — спросила она.

Это был первый случай, когда она попыталась подсказать ему, что делать, и первый случай, когда он понял: она знает, что ему уже нельзя дальше жить так, как он жил.

— Надо подумать, — ответил он и заказал еще шампанского.

Утром он прошелся по набережной Сан-Себастьяна. Дождь перестал. Дул сильный ветер, воздух был чист, вдали, в заливе, маячила высокая скала, об нее бились волны, она была похожа на осажденную крепость. Про-

ходя по мосту, он видел, как бурлит и пенится река: здесь, у ворот земли, океан сталкивался с сушей.

Вспоминая места, знакомые ему по предыдущим поездкам, Крейг побрел в сторону большой арены для боя быков. Огромная, пустая — сезон еще не начался, — она походила на заброшенный храм какого-то забытого кровожадного божества. Ворота были отперты. Где-то стучали молотки, их удары гулко отдавались в темных углах под трибунами.

Он поднялся по проходу, облокотился на *barra*. Песок на арене был не золотистого, как в других местах, а пепельного цвета. Цвета смерти. Он вспомнил слова матадора: «Только это развлечение у меня и осталось. Моя единственная площадка для игры». Сегодня вечером на несколько сот миль южнее этот человек, приятель Крейга, слишком старый для быков, со шпагой в руке, со следами крови на ярком костюме, с застывшей восторженной улыбкой на красивом молодом — и старом — изрубцованном лице, выйдет навстречу рогам. Придется послать ему телеграмму: «Желаю много ушей. *Abgazo*¹».

Телеграммы по случаю премьеры. У каждой культуры свои клише.

Послать бы еще телеграммы Джеку Лотону, страдающему в Бостоне от язвы желудка, Эдварду Бреннеру, стоящему в обнимку с женой на темной сцене в Нью-Йорке, Кеннету Джарвису, покупающему девятнадцатилетней девушке цветы, — каждый на своей арене, у каждого свои быки, свое единственное поле для игры.

На противоположной стороне арены появился сторож, одетый в какое-то подобие формы. Он угрожающе замахал руками, поднял над головой кулак и стал кричать что-то тоном приказания, словно боялся, как бы Крейг, этот полоумный пожилой *espontaneo*², не перепрыгнул через загородку, не нарушил призрачного порядка и не вздумал вызывать на арену быка, которого здесь нет и не будет еще два месяца.

Крейг приветливо помахал ему рукой — перед тобой, мол, любитель *fiesta brava*³, который уважает правила игры и совершает паломничество по святым местам, — повернулся и вышел из-под трибун на солнце.

¹ Обнимаю (*исп.*).

² Чудак (*исп.*).

³ Шумных празднеств (*исп.*).

Пока он шел в гостиницу, в голове у него созрело решение.

Возвращаясь во Францию, он вел машину медленно, осторожно и не стал останавливаться на том месте, где накануне вечером едва не разбился. Прибыв в Сен-Жан-де-Люз, тихий в этот межсезонный период, он снял номер в небольшой гостинице, вышел на улицу и купил пачку бумаги. «Теперь я вооружен, — подумал он, неся бумагу в гостиницу. — Возвращаюсь на свое поле для игры. Через другие ворота».

Он прожил в Сен-Жан-де-Люзе два месяца, работая медленно и трудно, пытаясь воссоздать историю Кеннета Джарвиса, который умер в восемьдесят два года через три дня после того, как прочитал в газете, что девятнадцатилетняя девушка, которую он любил, вышла замуж за другого. Сначала он хотел сочинить пьесу, но постепенно эта история обрела иную форму, так что ему пришлось начать все заново. Он решил написать киносценарий. В театре ему с самых первых дней пришлось работать с писателями, предлагать изменения, перерабатывать целые сцены, добавлять новые сюжетные линии, но одно дело — работать над чужим сочинением и совсем другое — сидеть над листом чистой бумаги, в который только ты способен вдохнуть жизнь.

Два раза приезжала к нему на субботу и воскресенье Констанс, все же остальное время он провел один, просиживая долгие часы в гостинице за письменным столом, гуляя по пляжу и по набережной, обедая в ресторане, где он никогда не искал компании.

Он рассказал Констанс о своей работе. Та не высказала ни одобрения, ни неодобрения. Он не показывал ей написанного. Даже после двух месяцев труда показать было, в сущности, еще нечего — разрозненные сцены, голые мысли, наброски последовательного ряда кадров, заметки по отдельным ролям.

К концу второго месяца он понял, что рассказать историю о старике и молоденькой девушке — это еще не все. Не все, потому что в этой истории не остается места для него, Джесса Крейга. Не Джесса Крейга во плоти, не обстоятельств, которые заставили его сидеть

ию дня в день за столом в тихом гостиничном номере, и его убеждений, его характера, его надежд, его суждений о времени, в которое он жил. Без этого все, что бы он в конце концов ни создал, окажется незавершенным, бесполезным.

Тогда он придумал несколько новых действующих лиц, новых любовных пар, которых поселил на лето в большом доме на северном побережье Лонг-Айленда, где и должно было развернуться действие фильма. Он не хотел, чтобы местом действия была Нормандия, потому что плохо знал ее. А Лонг-Айленд знал хорошо. В число персонажей он включил также девятнадцатилетнего внука, одержимого первой любовью к неразборчивой девице на три-четыре года старше его. Обогащенный опытом более поздних лет, он добавил в сценарий сорокалетних мужа и жену, для которых супружеская верность — устаревшее понятие.

Опираясь на знания, накопленные в процессе чтения и обработки чужих пьес и сценариев, используя собственные наблюдения над друзьями, врагами, знакомыми, он старался показать своих героев в естественной драматической взаимосвязи так, чтобы к концу фильма они, без видимого авторского участия, своими словами и поступками раскрыли перед зрителем его, Джесса Крейга, представление о том, что значит для американцев второй половины двадцатого века — молодого мужчины и молодой женщины, мужчины и женщины средних лет и старика, стоящего на пороге смерти, — что значит для них любовь со всеми интригами, компромиссами и унижениями, на которые человека толкают деньги, моральные принципы, власть, положение, принадлежность к определенному классу, красота и отсутствие красоты, честь и бесчестие, иллюзии и разочарования.

Два месяца спустя в городке стало многолюднее, и он решил, что пора уезжать. Дорога на север, в Париж, была дальняя. Сидя за рулем, он раздумывал о работе, проделанной за эти два месяца, и пришел к выводу: счастье, если он закончит сценарий хотя бы через год. Если вообще когда-нибудь закончит.

Сценарий отнял у него полных двенадцать месяцев. Крейг писал его по частям то в Париже, то в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. Всякий раз, когда он достигал

точки, с которой никак не мог сдвинуться, он складывал вещи и, словно его преследовали, мчался куда глаза глядят. Но за все это время он ни разу не заснул за рулем.

Даже закончив рукопись, он никому ее не показывал. Ему, решавшему судьбу произведений сотен других авторов, невыносимо было даже думать о том, что кто-то посторонний прочтет его писания. А посторонним он считал любого читателя. Посылая рукопись машинистке, он не поставил на титульном листе имени автора. Только надпись: «Собственность Джесса Крейга». Джесса Крейга, когда-то считавшегося вундеркиндом Бродвея и Голливуда и тонким ценителем театра и кино. Джесса Крейга, который не знает, достойны ли плоды его годовичного труда чьего-нибудь двухчасового внимания, и который боится услышать «да» или «нет».

Когда он, собираясь лететь в Канн, укладывал в чемодан шесть экземпляров сценария под названием «Три горизонта», имя автора на титульном листе все еще не значилось.

Зазвонил телефон. Он ошалело тряхнул головой, точно его вдруг пробудили от тяжелого сна. Опять ему пришлось вспоминать, где он находится и где стоит телефон. «Я в своем номере в отеле „Карлтон“, а телефон на столике, по ту сторону кресла». Телефон опять зазвонил. Он взглянул на часы: тридцать пять минут второго. Он помедлил, думая, надо ли брать трубку. Ему не хотелось больше слушать бессвязное бормотание из Америки. Но он все же решил взять.

— Крейг слушает.

— Привет, Джесс. — Это был Мэрфи. — Надеюсь, я не разбудил тебя.

— Нет, не разбудил.

— Только что прочел твой сценарий.

— Ну как?

— Этот парень Харт умеет писать. Только слишком уж он насмотрелся старых французских фильмов. Кому, черт возьми, нужен восьмидесятидвухлетний старик? Ничего из этого не получится, Джесс. Брось. Не советую никому и показывать. Поверь, что это тебе только повредит. Откажись от прав на рукопись и забудь про нее. Лучше я устрою тебе тот греческий

фильм. А там, глядишь, подвернется что-нибудь и по-лучше.

— Спасибо, что прочел, Мэрф, — сказал Крейг. — Завтра я тебе позвоню.

Он положил трубку и долго смотрел на телефон, потом вернулся к письменному столу, за которым только что сидел. Посмотрел на вопросник, присланный Гейл Маккиннон, и еще раз прочел первый вопрос: «Почему вы в Канне?» Он усмехнулся, взял со стола листки и, разорвав их на мелкие кусочки, бросил в корзину. Снял с себя свитер, надел пиджак и вышел. Взял такси и поехал в казино, где бар не закрывался всю ночь. Купил себе фишек, подсел к столу, за которым играли в *chemin de fer*¹, и заказал двойную порцию виски. Он пил и играл до шести утра и выиграл тридцать тысяч франков, то есть почти шесть тысяч долларов. Большая часть денег перешла к нему от тех двух англичан, которых он видел вечером в ресторане, где был Пикассо. Йену Уодли не повезло — он не прогуливался по бульвару Круазетт, когда Крейг, окутанный предрассветной мглой, возвращался, почти не шатаясь, в свой отель. В тот час Уодли получил бы пять тысяч долларов, нужные ему для поездки в Мадрид.

9

Полицейские с электрическими фонариками в руках указывали автомобилям дорогу к открытой площадке, где уже стояло много машин. Было сыро и холодно. Крейг выключил зажигание, открыл дверцу и ступил на траву. Под ногами хлюпала вода. Выбравшись на дорожку, он зашагал к большому, похожему на замок дому, откуда доносились звуки оркестра. Дом стоял на холме за Мужэном и возвышался, точно маленькая крепость, над окружающей местностью.

Он пожалел, что Энн еще не приехала. Ей было бы приятно пройтись вот так вместе с отцом под звуки французской песенки, в сопровождении полицейских, которые охотно освещают вам дорогу под старыми тем-

¹ Азартная карточная игра.

выми деревьями, радуясь, что им не надо швырять бомбы со слезоточивым газом перед зданием правительства. Телеграмма Энн лежала у него в кармане. Он был несколько удивлен — она все же решила сначала навестить в Женеве мать и только на следующий день приехать в Канн.

Уолтер Клейн, хозяин, встречал гостей. Он арендовал этот дом на один месяц, выбрав его потому, что он достаточно велик для балов. Клейн был крепкий, коренастый человек с моложавым и обманчиво беспечным лицом. В последние годы многие посреднические фирмы прекращали существование и сливались с другими фирмами; одну из таких распадающихся организаций Клейн своевременно оставил, уведя за собой ряд известных актеров и режиссеров, так что, пока другие посреднические фирмы и компании горели, он ловко приспособивался к новым условиям. Это позволило ему сохранить за собой значительную долю участия в фильмах, готовившихся или снятых в Америке и Англии; во всех ключевых точках у него были клиенты или должники, чьи картины он либо финансировал, либо распространял. В то время как другие впадали в панику, он говорил: «Ребята, дела у нас идут лучше, чем когда-либо». В отличие от Мэрфи, разбогатевшего в менее трудные времена и высокомерно державшегося в течение этих двух недель в стороне от фестивальной нервозности, Клейн не чурался людей. Его всегда можно было увидеть сосредоточенно беседующим где-нибудь в уголке с продюсерами, режиссерами, актерами и обсуждающим всевозможные финансовые сделки, что-то обещающим, что-то подписывающим. Себе в помощники он выбрал спокойных, представительных молодых людей, не избалованных легкой жизнью в старые времена, алчных и честолюбивых, как их хозяин, и умевших, подобно хозяину, под внешним обаянием скрывать свои хищные повадки.

Некоторое время назад Клейн встретил Крейга в Нью-Йорке и полушутя спросил: «Джесс, когда же вы оставите этого старого динозавра Мэрфи и заглянете ко мне в контору?» — «Наверно, никогда, Уолт, — ответил Крейг. — Наша дружба скреплена кровью». Клейн засмеялся. «Ваша верность делает вам честь, Джесс. Только жаль, что давно я уже не встречаю вашего имени на

серебристом экране. Если все же решите заняться настоящим делом, заходите».

Клейн стоял в мраморном холле и разговаривал с кем-то из только что прибывших гостей. На нем был черный бархатный пиджак, рубашка в оборочках и ярко-красный галстук-бабочка. Рядом с ним стояла, заметно волнуясь, женщина, ведавшая в его фирме отделом рекламы и информации. Это она рассылала приглашения на прием. Вид Крейга, одетого в синий фланелевый спортивный костюм, ей явно не понравился. Многие гости, хотя и не все, пришли в вечерних костюмах, и по лицу этой женщины Крейг понял, что в его небрежении к одежде она усматривает некоторую нарочитость.

Клейн крепко пожал ему руку и улыбнулся.

— А вот и наша знаменитость. Я боялся, что вы не придете. — Он не объяснил, почему боялся, что Крейг не придет, и представил его гостям, с которыми только что разговаривал. — Тонио Корелли. Вы его, конечно, знаете, Джесс?

— Только визуально. — Корелли был тот самый молодой красавец — итальянский актер, которого Крейг видел у плавательного бассейна отеля «На мысу». На нем был великолепный черный смокинг от дорогого портного. Они обменялись рукопожатием.

— Может, вы познакомите его со своими дамами, *carino*¹? — предложил Клейн. — Я не разобрал ваших имен, душеньки, — добавил он извиняющимся тоном.

— Это Николь, — сказал Корелли, — а это Айрин.

Николь и Айрин покорно улыбнулись. Такие же хорошенькие, загорелые и стройные, каких Крейг видел с Корелли у бассейна, только это были уже не те девушки, а другие. «У него каждая пара подобрана под статью, — подумал Крейг, — и каждой — свое время». Он чувствовал, что завидует. Да и кто не позавидует?

— Дорогая, — сказал Клейн, обращаясь к своей помощнице, — проводите их в дом и дайте чего-нибудь выпить. Захочется танцевать, — обратился он к девушкам, — смотрите не простудитесь. Оркестр играет на открытом воздухе. Погода мне не подвластна, и вот — зима к нам вернулась. Веселый месяц май.

— Трио, сопровождаемое помощницей Клейна, грациозно удалилось.

¹ Милый (*итал.*).

— Все, что требуется, — это родиться итальянцем, — с улыбкой сказал Клейн.

— Пожалуй, — сказал Крейг. — Только вы и так неплохо живете. — Он показал на роскошное убранство дома, за аренду которого на один месяц, как он слышал, с Клейна взяли пять тысяч долларов.

— Да я не жалуясь. Плыву себе по течению, — сказал, ухмыляясь, Клейн. Он не скрывал, что гордится своим богатством. — Берлога довольно уютная. Ну вот, Джесс, мы и снова встретились. Я очень рад. Как дела?

— Прекрасно, — ответил Крейг. — Просто прекрасно.

— Я пригласил Мэрфи и его фрау, — сказал Клейн, — но они, поблагодарив, отказались. С мелкой сошкой не знают.

— Они отдыхать сюда приехали, — солгал за своего друга Крейг. — Предупреждали меня, что всю эту неделю будут рано ложиться спать.

— Великий был человек этот Мэрфи. В свое время. Вы, конечно, с ним еще не порвали?

— Конечно.

— Я уже как-то говорил, что ваша верность делает вам честь. Вы с ним сейчас чем-нибудь связаны? — Клейн задал этот вопрос как бы невзначай, глядя в сторону, на гостей, проходивших под аркой в большую гостиную.

— Насколько я знаю, нет, — ответил Крейг.

— А у вас у самого есть какие-нибудь планы? — Клейн повернулся к Крейгу.

Крейг помолчал.

— Возможно. — Он никому еще, кроме Констанс и Мэрфи, не говорил, что у него зародилась мысль о новой картине. Но Мэрфи ясно — более чем ясно — определил свою позицию. Так что слово «возможно» Крейг обронил не случайно. Из тех, кто приехал на фестиваль, самым полезным мог быть Клейн с его энергией и обширными связями. — Есть у меня одна идея.

— Вот это новость! — Восторг, прозвучавший в голосе Клейна, казался почти естественным. — Слишком уж надолго вы оторвались от дел, Джесс. Если вам нужна будет помощь, вы ведь знаете, к кому за ней обратиться? — Клейн ласково коснулся его плеча. — Для друга ничего не жалко. Мы сейчас такие дела делаем, что даже у меня голова кружится.

— Слышал. Может быть, я позвоню вам на этих днях, тогда поговорим.

Вот уж обиделся бы Мэрфи, услышав это обещание. Он гордился своей проницательностью и сердился, если его клиенты или друзья не слушались его совета. К Клейну он относился с презрением: «Этот несчастный маленький пройдоха, — говорил он о нем, — через три года от него и следа не останется». Но Мэрфи теперь не делает ничего такого, от чего кружилась бы голова.

— Здесь в саду есть плавательный бассейн, — сказал Клейн. — Приходите в любое время. Даже без предварительного звонка. В этом доме вам всегда будут рады. — Клейн снова ласково потрепал Крейга по плечу и повернулся к вновь прибывшим гостям. А Крейг отправился в гостиную.

Там было полно народу: в сад, где играл оркестр, из-за холода никто не хотел идти. Крейгу пришлось несколько раз извиниться, прежде чем он протиснулся к бару между креслами и диванами, вокруг которых теснились гости. Он попросил шампанского. Возвращаться в Канн надо было в машине, и если весь вечер пить виски, то ехать потом по темным извилистым дорогам между холмами рискованно.

Корелли и две его девицы стояли у бара.

— Лучше бы нам сегодня пойти к французам, — сказала одна из них, судя по выговору — англичанка. — Здесь одни старики. Средний возраст — сорок пять.

Корелли улыбнулся, осветив зал блеском своих зубов. Крейг отвернулся от бара и стал смотреть на публику. Вот Натали Сорель сидит в дальнем углу и увлеченно беседует о чем-то с мужчиной, присевшим на подлокотник ее кресла. Крейг знал, что она близорука, поэтому на расстоянии не увидит его. Но сам-то он видит достаточно хорошо, и, что бы там ни говорила английская девушка, никак не назовешь Натали Сорель старухой.

— Мне рассказывали, что каннские балы не такие, — продолжала англичанка. — Буйные. Бьют посуду, пляшут голяшом на столах и устраивают оргии в плавательных бассейнах. Римская империя периода упадка.

— Так было в прежние времена, сага¹, — сказал Корелли. Он говорил с сильным акцентом. Крейг видел его в нескольких английских фильмах и теперь

¹ Дорогая (итал.).

понял, что Корелли озвучивают другие актеры. Не исключено, что у него и зубы не свои. От этой мысли ему стало легче.

— Да уж буйство — дальше некуда! Как на чаепитии у священника, — сказала девушка. — Может быть, сделаем реверанс и исчезнем?

— Это невежливо, *carissima*, — возразил Корелли. — Кроме того, здесь полно влиятельных людей, которых молодые актеры не должны обижать.

— Как это скучно, милый.

Крейг окинул гостиную взглядом, высматривая друзей, врагов, нейтралов. Кроме Натали, здесь была французская актриса Люсьен Дюллен; она расположилась в самом центре зала — словно безошибочный инстинкт довел ее именно до этого места, — в кругу постоянно сменявшегося почетного караула молодых людей. Красивейшая из женщин, каких Крейг когда-либо встречал. На ней простое открытое белое платье, волосы, стянутые на затылке тугим узлом, выгодно подчеркивали тонкие черты лица и изящные длинные линии шеи, нисходящие к прелестным плечам. Неплохая актриса, но для женщины с ее внешностью этого мало. Она должна быть второй Гарбо. Крейг не был с ней знаком и не хотел знакомиться, но ему доставляло огромное удовольствие смотреть на нее.

Вон огромный толстый англичанин. Молодой еще, ему чуть больше тридцати. Его, как и Корелли, сопровождают две молодые женщины. Истерически смеются какой-то его шутке. Крейгу показывали этого англичанина на пляже. Он банкир. Рассказывали, будто всего месяц назад в своем собственном банке в Лондоне он лично вручил Уолту Клейну чек на три с половиной миллиона долларов. Теперь понятно, почему эти две дамочки вьются около него и почему так смеются его островам.

Возле камина Брюс Томас разговаривает с тучным лысым мужчиной. В нем Крейг узнал Хеннеси, режиссера фильма, намеченного к показу на фестивале в конце недели. Томас снял картину, которая уже полгода идет на экранах Нью-Йорка, а фильм Хеннеси, его первый боевик, пользуется небывалым успехом в кинотеатре на Третьей авеню. На фестивале ему уже сейчас прочат премию.

Йен Уодли — он так и не уехал в Мадрид — стоит

и беседует с Элиотом Стейнхардтом и каким-то еще человеком — статным мужчиной в темном костюме, с бронзовым от загара лицом и копной черных с проседью волос. Человек этот показался Крейгу знакомым, но он никак не мог вспомнить его имени. Уодли выпирает из своего смокинга — сразу видно, что он покупал его в лучшие и более молодые годы. Он еще не пьян, но раскраснелся и говорит быстро. Элиот Стейнхардт благосклонно слушает, губы его изогнулись в легкой усмешке. Ему около шестидесяти пяти лет, он небольшого роста, насмешливый, с резкими, лисьими чертами лица и ехидными глазами. У него на счету десятка два фильмов, имевших огромный успех еще в середине тридцатых годов, и, хотя нынешние критики высокомерно называют его старомодным, он спокойно продолжает выпускать один боевик за другим, как будто успех сделал его неуязвимым для поношений и смерти. Крейг относился к нему с симпатией и уважением. Если бы не присутствие Уодли, он подошел бы к нему и поздоровался. «Подойду после, когда он будет один».

На большом диване сидит Мэррей Слоун, критик, пишущий для рекламной киногазеты. Как ни странно, придерживается авангардистских взглядов. Волнуется, только когда сидит в темном просмотровом зале. Сейчас он беседует с каким-то незнакомцем. Круглолицый, коричневатый от загара, улыбчивый, Слоун так влюблен в свою профессию, что порвал (он сам признался в этом Крейгу) с женщиной, с которой сошелся на Венецианском фестивале, из-за того, что она не слишком ценила талант Бунюэля.

«Что ж, — подумал Крейг, оглядывая зал. — Не знаю, умна или не умна эта английская красотка, но она права в том отношении, что ничто на этом балу не говорит об упадке. Богатая, пристойная, приятная публика. Какие бы встречные течения ни сталкивались в этом зале, какие бы пороки ни скрывались под элегантными нарядами, все тщательно прикрыто. Любимые и нелюбимые, состоятельные и несостоятельные — все соблюдают вечернее перемирие. Честолюбие вежливо соседствует с безысходностью.

В старое время в Голливуде званые вечера были не такие. Те, кто зарабатывал по пять тысяч долларов в неделю, не приглашали к себе тех, кто зарабатывал меньше. Нувориши, поднявшиеся из пепла старого об-

щества. Движение пролетариата к „Мозэту“, „Шандону“ и к блюду с икрой».

Он заметил, что статный мужчина, разговаривавший с Уодли и Элиотом Стейнхардтом, посмотрел в его сторону, улыбнулся, помахал рукой и пошел к нему. Крейг на всякий случай улыбнулся в ответ, стараясь вспомнить, где же он встречал этого человека и как его зовут.

— Здравствуй, Джесс, — сказал тот, протягивая руку.

— Привет, Дэвид, — ответил Крейг. Они обменялись рукопожатием. — Хочешь верь, хочешь нет, а я тебя не сразу узнал.

Мужчина засмеялся.

— Это из-за шевелюры. Меня никто не узнает.

— Да и неудивительно, — сказал Крейг.

Дэвид Тейчмен, один из первых знакомых Крейга по Голливуду, в те годы был лыс.

— Это парик, — объяснил Тейчмен, самодовольно поглаживая себя по волосам. — В нем я выгляжу лет на двадцать моложе. Чтоб женщины любили. По второму кругу. Кстати, о женщинах: в Париже я ужинал с твоей приятельницей. Это она сказала мне, что ты здесь, и я решил разыскать тебя. Я приехал только сегодня утром и весь день играл в карты. Подружка у тебя — ого! Поздравляю.

— Спасибо, — сказал Крейг. — Ты не сердись, когда люди спрашивают, зачем тебе понадобилась эта грива?

— Нисколько. Мне сделали на кумполе маленькую операцию, и док на память о себе оставил в нем две дырки. Так что пришлось их прикрыть. Что и говорить, хорошего в этой косметике мало, однако не пугать же мне, старику, малых детей и юных девиц. Наш парикмахерский цех расстарался как мог, выдали мне лучшую шевелюру. Единственное, что эта чертова студия создала стоящего за последние пять лет.

При упоминании студии Тейчмен крепко стиснул свои вставные зубы. Его уже более года тому назад отстранили от руководства ею, но он все еще говорил о студии как о своей вотчине. Двадцать пять лет он безнаказанно тиранствовал там, и примириться с мыслью, что это уже не его вотчина, было нелегко. Лысая голова придавала ему весьма внушительный вид, она чем-то напоминала пушечное ядро. Лицо мясистое, грубое —

то ли римский император, то ли скипер торговой шхуны, — с глубокими морщинами на дубленой коже, как у человека, который круглый год проводит с солдатами в походах или с матросами на палубе судна. Голос у него был под стать внешности — грубый и властный. В счастливую пору расцвета его студия выпускала фильмы изящные, грустно-комические — еще одна неожиданность в этом удивительном городе. В парике же он выглядел совсем иначе — ласковым, беззлобным, и голос его, как бы приспособившись к его новому облику, стал тихим и грустным.

Тейчмен огляделся вокруг и, тронув Крейга за рукав, сказал:

— Ой, Джесс, не нравится мне здесь. Будто стая стервятников на скелетах гигантов. Во что превратился нынче кинематограф, Джесс! Громадные старые скелеты с уцелевшими кусочками мяса и эти хищники, рвущие остатки. Что они снимают в погоне за Всемогущим Долларом? Варьете с голыми девками. Порнографию и кровопролитие. Ехали бы в Данию и смотрели бы все это там. И театр не лучше. Мерзость. Что такое сегодня Бродвей? Сводники, проститутки, торговцы наркотиками, фигляры. Я понимаю, почему ты от всего этого сбежал.

— Ты, как обычно, преувеличиваешь, Дэвид, — сказал Крейг. Он работал на студии Тейчмена в пятидесятые годы и еще тогда заметил в нем склонность к риторике, проявлявшуюся обычно, когда он хотел переспорить какого-нибудь умного оппонента. — И теперь делают неплохие картины, а на Бродвее и вне Бродвее есть немало способных молодых драматургов.

— Назови хотя бы одну. Одну хорошую картину.

— Почему одну, я две назову. И даже три, — весело сказал Крейг. — Причем их авторы здесь, в этом зале. Возьмем Стейнхардта, Томаса и вон того новенького, который разговаривает сейчас с Томасом, — Хеннесси.

— Стейнхардт не в счет, — возразил Тейчмен. — Он из старой гвардии. Скала, оставшаяся стоять после ухода ледника. Что касается этих двоих... — Тейчмен презрительно фыркнул. — Пустоцветы. Гении на час. Да, конечно, время от времени кто-то добивается успеха. Бывает. Они и сами не всегда могут понять, как это выходит: просыпаются и видят, что им счастье привалило. Я не об этом говорю, дружище, а о настоящем

профессионализме. Чаплин, Форд, Стивенс, Уайлер, Капра, Хоукс, Уайлдер, ты, если угодно. Хотя ты, пожалуй, стоишь особняком, выпадаешь из ряда. Надеюсь, ты не в претензии.

— Не в претензии, — сказал Крейг. — Обо мне говорят кое-что и похуже.

— О нас о всех говорят. Живые мишени. Ну ладно, я наснимал много дряни. Готов это признать. Четыреста-пятьсот фильмов в год. Шедевры пачками не рождаются, спору нет. Но пусть дрянь, пусть массовое производство — свою службу это все равно сослужило. Теперь к услугам крупных воротил — налаженный механизм: актеры, рабочие ателье, декораторы, публика. Сыграло наше кино свою роль и в другом отношении: оно завоевало для Америки мир. Ты смотришь на меня как на помешанного, но это не так. Что бы ни говорили о нас разные модные критики-интеллектуалы, но и им было приятно сознавать, что нас любит все человечество, что мы его возлюбленные, его герои. Ты думаешь, мне из-за того стыдно, что я был причастен к этому делу? Ничего подобного. Я скажу тебе, из-за чего мне стыдно. Мне стыдно, что мы все это потеряли. И, если хочешь, я скажу тебе, когда именно это случилось. Даже если не хочешь — скажу. — Он ткнул Крейга пальцем в плечо. — В тот самый день, когда мы подчинились этим тупицам в Конгрессе, когда сказали: «Слушаюсь, сэр, мистер Конгрессмен, мистер ФБР-мен, я сделаю все, что угодно; вам не нравятся политические взгляды этого писателя, или поведение этой актрисы, или темы десятка моих будущих фильмов? Слушаюсь, сэр, ну разумеется, сэр, мы всех уволим, все отменим. Вы только мизинцем пошевелите, и я перережу горло своему собственному другу». До этого мы были счастливы, красавцы двадцатого века, мы острили, и весь мир смеялся нашим остротам, мы любили так, что весь мир завидовал нашему умению любить, мы закатывали пиры, на которых все хотели присутствовать. А после этого превратились в жалкую кучку хныкающих евреев и мечтали лишь о том, чтобы во время очередного погрома убили не нас, а соседа. Публика увлеклась телевидением — и правильно сделала. Телевизионщики по крайней мере не скрывают, что хотят продать тебе какой-нибудь товар.

— Дэвид, — сказал Крейг, — у тебя покраснело лицо.

— Еще бы. Успокой меня, Джесс, успокой. Мой док-

тор тебе спасибо скажет. Я жалею, что пришел сюда. Впрочем, нет. Я рад случаю поговорить с тобой. Я еще не конченный человек, каким бы конченным ни казался. У меня план один созревает — большое дело, — Тейчмен заговорщицки подмигнул. — Мне нужны талантливые люди. Старой формации. И дисциплины. Капитаны, а не капралы. Такие, как ты, например. Конни сказала, что у тебя есть какая-то идеяка. Советовала поговорить с тобой. Или это болтовня?

— Не совсем, — ответил Крейг. — Есть кое-что.

— Да уж пора бы. Позвони мне утром. Потолкуем. Тут не в деньгах дело. Дэвид Тейчмен не из тех, кто делает второсортные фильмы. А теперь извини, Джесс, мне надо уходить. Трудно стало дышать, когда волнуюсь. Меня и доктор постоянно просит не волноваться. Не забудь, что я сказал. Утром. Я остановился в «Карлтоне». — Он пригладил свою роскошную седеющую шевелюру и зашагал прочь подчеркнуто твердой походкой.

Крейг посмотрел вслед одеревенелой, негнущейся фигуре, проталкивавшейся к выходу, и покачал головой. Приверженец дела, которое проиграно, историк эпохи распада. И все же он решил утром позвонить ему.

Крейг заметил, что мужчина, разговаривавший с Натали Сорель, встал и, взяв ее бокал, начал пробираться сквозь толпу к бару. Крейг решил воспользоваться этим и шагнул было в сторону Натали, но как раз в это время дверь из патио открылась и вошла Гейл Маккиннон вместе с каким-то низеньким, болезненного вида мужчиной, лицо которого показалось Крейгу знакомым. Лет за тридцать, редкие спутанные волосы, под глазами нездоровые желтоватые мешки. Он был в смокинге, Гейл Маккиннон — в дешевом коротком, выше колен, ситцевом платье. Но на ней оно не выглядело дешевым. Она улыбнулась Крейгу, и уклониться от встречи с ней было уже нельзя. По необъяснимой причине ему не хотелось, чтобы она видела его беседующим с Натали Сорель. Они не виделись с тех пор, как расстались после ленча у Мэрфи, но это и не удивительно, поскольку он не вылезал из своего номера — лечился от простуды.

— Добрый вечер, мистер Крейг, — сказала Гейл Маккиннон. — Опять мы встретились!

— Да.

— Позвольте вам представить... — начала было она, повернувшись к своему спутнику.

— Мы уже знакомы, — объявил мужчина неприязненным тоном. — Давно. По Голливуду.

— Боюсь, что память изменяет мне, — сказал Крейг.

— Моя фамилия Рейнолдс.

— Ах да. — Крейг вспомнил фамилию, но не мог сказать, действительно ли он когда-нибудь встречался с этим человеком. Рейнолдс писал рецензии на кинофильмы для одной лос-анджелесской газеты. — Ну конечно. — Он протянул руку. Рейнолдс с видимой неохотой протянул ему свою.

— Пошли, Гейл, — сказал Рейнолдс. — Мне выпить хочется.

— Иди выпей, Джо, — сказала Гейл Маккиннон. — А я пока поговорю с мистером Крейгом.

Рейнолдс проворчал что-то и стал пробираться к бару.

— Что с ним? — спросил Крейг, озадаченный неприкрытой враждебностью Рейнолдса.

— Так, выпил лишнего.

— Эпитафия всем нам, — сказал Крейг и сделал глоток шампанского. — Чем он занимается так далеко от Лос-Анджелеса?

— Он уже два года представляет в Европе одно телеграфное агентство, — сказала девушка. — И очень мне помогает. — Крейгу показалось, что она как бы защищает Рейнолдса. Неужели у них роман? Он такой невзрачный, угрюмый. Но кто знает, в Канне от девушки всего можно ожидать. Теперь Крейг вспомнил, почему лицо этого человека показалось ему знакомым: это он подсел тогда на террасе отеля «Карлтон» к столику Гейл Маккиннон.

— Он помешан на кино, — продолжала девушка. — Помнит все картины, даже старые. Он для меня — кладёзь информации. Видел все ваши фильмы...

— Возможно, поэтому он такой грубый, — сказал Крейг.

— Нет, что вы! Они ему нравятся. Некоторые из них. Крейг засмеялся.

— Временами ваша молодость проявляется не только во внешности.

— Вон та дама машет вам рукой, — сказала девушка.

Крейг перевел взгляд туда, где сидела Натали Сорель. Та жестами подзывала его к себе. Все-таки разглядела его, несмотря на близорукость. Он поднял руку в знак приветствия.

— Это старая приятельница, — сказал он. — Прошу прощения...

— Вы получили вопросы, которые я оставила вам в отеле?

— Да.

— И что?

— Я порвал их.

— О, какой вы злой, — сказала девушка. — Таких злых людей я еще не встречала. Много слышала о вас плохого, но никто еще не говорил, что вы злой.

— Меняюсь с каждым днем, — ответил он. — Иногда даже быстрее.

— Джо Рейнолдс предупреждал меня насчет вас. Я не хотела вам этого говорить, но теперь уж все равно. У вас есть враги, мистер Крейг, и пусть это будет вам известно. Знаете, почему Рейнолдс так груб с вами?

— Не имею понятия. Я и видел-то этого человека всего один раз — в то утро, когда вы приходили ко мне.

— Возможно. Хотя он говорит, что вы встречались. И однажды вы кое-что про него сказали.

— Что именно?

— Он написал очень хвалебную рецензию на одну из ваших картин, а вы сказали: «Этот человек так плохо пишет. Я злюсь на него, даже когда он меня хвалит».

— Когда я это сказал?

— Восемь лет назад.

Крейг засмеялся.

— Ни одно живое существо так не обидчиво, как критик.

— Нельзя сказать, чтоб вы очень уж старались показать себя с приятной стороны, — сказала она. — Вам, пожалуй, надо идти. Как бы эта хорошенькая дамочка не вывихнула себе руку — так сильно она вам машет. — Гейл Маккиннон повернулась и начала бесцеремонно проталкиваться сквозь толпу к бару. Крейг заметил, что Рейнолдс наблюдает оттуда за ними.

«Вот как легко может человек возненавидеть тебя на всю жизнь. Из-за какой-то одной твоей фразы».

Он выбросил Рейнолдса из головы и подошел к Натали. Та встала ему навстречу. Светловолосая, голубоглазая, с роскошной фигурой и удивительно красивыми ногами, она была похожа на любовно сделанную куклу — такая розовая, изящная, не поверишь, что жи-

вая. Однако, несмотря на ее внешность и мягкий звонкий голосок, она была женщиной смелой, решительной и страстной.

— Уведи меня в другую комнату, Джесс, — сказала она, протягивая ему руку. — Этот ужасно скучный человек сейчас вернется. — Она говорила по-английски хорошо, с едва уловимым акцентом, и люди, не знавшие, что она родом из Венгрии, не могли определить, кто она по национальности. Так же свободно она владела немецким, французским и итальянским. Со дня их последней встречи она совсем не постарела. Расстались они, может быть, просто из-за случайного стечения обстоятельств, без взаимных обид. Ей надо было сниматься в двух фильмах в Англии. Ему — возвращаться в Америку. Этих картин, снятых в Англии, он не видел. Он слышал, что она сошлась с каким-то испанским графом. Ни Крейг, ни Натали не ждали друг от друга ничего, кроме ласк, — так по крайней мере казалось ему. Потому, наверно, они легко и расстались. Она ни разу не сказала, что любит его, — еще одна черта ее характера, которой он восхищался.

Она взяла его за руку, и они начали пробираться в библиотеку. На пальце у нее был большой бриллиантовый перстень. Крейг вспомнил, что прежде, когда они встречались, она закладывала свои драгоценности, да и он ссужал ее деньгами.

— А ты, как обычно, блистаешь, — сказал он.

— Если бы я знала, что здесь Люсьен Дюллен, то ни за что бы не пришла. Когда такие красавицы появляются среди более зрелых женщин, им надо мешки на голову надевать.

— Тебе-то нечего бояться. Ты еще постоишь за себя.

Они сели рядом на кожаный диван. Никого, кроме них, в комнате не было, шум званого вечера — музыка и голоса гостей сюда почти не проникали.

— Дай мне глоток твоего шампанского, — попросила она.

Он протянул ей свой бокал, и она сразу его осушила. Он вспомнил, что она всегда алчно пила и ела.

Она поставила бокал на столик и с укором посмотрела на него.

— Ты не позвонил мне, как я просила.

— Я поздно вернулся домой.

— Мне надо было поговорить с тобой, — сказала

она. — А в тот вечер на коктейле было слишком много народу. Как ты живешь?

— Живу пока.

— Ничего о тебе не слышно. Я спрашивала.

— Прозябаю.

— Что-то непохоже на Джесса Крейга, каким я его знала.

— Слишком уж все деятельны. Если бы мы давали себе передышку каждый год месяцев на шесть, то всем было бы гораздо лучше. Вот я и слез пока с карусели.

— Мне тревожно, когда я о тебе думаю.

— И часто ты обо мне думаешь?

— Нет. — Она засмеялась. У нее были маленькие белые зубы и маленький розовый язычок. — Только когда дурь лезет в голову. — Она сильно сжала его руку. — Сколько времени прошло с тех пор — пять лет?

— Больше. Лет шесть или семь.

— Ой, как летит время. А ты неисправим.

— Как это понимать?

— Я видела, как ты разговаривал с юной красоткой.

Что-то она все возле тебя околачивается.

— Она журналистка.

— Нынче все женщины опасны, — вздохнула Натали. — Даже журналистки.

— Это было бы неприлично, — возразил он. Подразнивание Натали вызывало у него чувство неловкости. — Она же мне в дочери годится. Ну, а ты как? Где твой муж?

— Пока что он не муж. Все пытаюсь его оседлать.

— Ты же сказала в тот вечер, что выходишь замуж.

— Пока он не наденет мне обручальное кольцо, до тех пор не поверю. И тогда уж мне не надо будет вставать в пять утра, чтобы сделать прическу и привести в порядок лицо. Не надо будет выслушивать брань чересчур горячих режиссеров. Не надо любезничать с продюсерами.

— Я ведь тоже был продюсером, и ты любезничала со мной.

— Не потому, что ты был продюсером, милый. — Она снова сжала ему руку.

— Ну, ладно. Где же все-таки твой нареченный? Если

бы я собирался на тебе жениться, то не пустил бы тебя одну в такое место в самый канун свадьбы.

— Но ведь ты и не собираешься на мне жениться, правда? — впервые за этот вечер она заговорила серьезно.

— Кажется, нет, — ответил он.

— Вот так же и другие. — Она вздохнула. — Ну что ж, повеселилась Натали. Пришло время стать паинькой. А может, согрешить напоследок, махнуть куда-нибудь, а? Может, та комната в Болье, с видом на море, сейчас не занята?

— Никогда еще не был в Болье, — сказал Крейг. Лицо его было бесстрастно.

— Какое совпадение. И я не была. Да и стоит ли туда ехать. Завтра он приезжает.

— Кто приезжает?

— Мой нареченный. Филип. Он хотел ехать вместе со мной, но в последнюю минуту пришлось задержаться в Нью-Йорке.

— Так он американец?

— Говорят, что из американцев получаются хорошие мужья.

— Вот уж не знаю, — сказал Крейг. — А чем он занимается?

— Зарабатывает деньги. Разве это не очаровательно?

— Очаровательно. Каким способом он зарабатывает деньги?

— Производит товары.

— Сколько ему лет?

Натали задумалась и высунула кончик языка. Он вспомнил эту ужимку.

— Только не ври, — предупредил он.

Она засмеялась.

— Ты проницательный. Как всегда. Скажем так: он старше тебя.

— На сколько?

— Значительно старше. — Она говорила тихо. — О тебе он ничего не знает.

— Надеюсь, что не знает. Объявлений в газетах мы, кажется, не давали. — Они действительно держали свою связь в тайне. В то время у нее был официальный любовник, который частично содержал ее, а Крейг старался избегать сцен ревности со стороны своей жены. —

А что, если он про меня узнает? Или он думает, что женится на девственнице?

— Ну, это вряд ли. — На лице ее появилась грустная улыбка. — Но он не знает всего. — Она надула губы, как капризная девочка. Даже половины не знает. Даже четверти.

— А кто знает все?

— Надеюсь никто, — ответила она.

— Скажи мне ради статистики: сколько их в соседней комнате?

Натали поморщилась.

— Пятеро. Устроит?

— Он улыбнулся и покачал головой.

— Ну, тогда шестеро, — сказала она. — А что ты хочешь? Твоя маленькая Натали достаточно пожила в этом мире. Работать в кино — это все равно что годами горчить на каком-нибудь острове в компании все тех же отверженных. Женщине приходится приспособливаться. Да и мужчинам тоже, мой друг. — Она прикоснулась кончиками пальцев к его губам.

— *Nolo contendere*¹, — сказал Крейг.

Натали засмеялась, сверкнув маленькими белыми зубами.

— Удивительно, правда? Я никогда не врала тебе.

— А своему нареченному — будешь?

Она опять засмеялась.

— Ему-то я вряд ли буду говорить правду. — И серьезно добавила: — Он солидный гражданин. Очень консервативный. Баптист из Техаса. Такой пуританин, что даже ни разу еще не переспал со мной.

— О Господи, — сказал Крейг.

— Именно: о Господи. Когда он приедет сюда, мне придется делать вид, что мы с тобой почти не знакомы. Не удивляйся, если я при встрече буду называть тебя мистер Крейг. Если он узнает, что я из тех женщин, что проводят время с женатыми мужчинами, то не представляю, что он сделает.

— А что он может сделать в худшем случае?

— Может не жениться на мне. Будь осторожен, ладно, Джесс? — В голосе ее прозвучали умоляющие нотки — раньше он их никогда не слышал. Он вдруг подумал, что ей, наверное, уже за сорок.

¹ Не стану оспаривать (*лат.*).

— Если он что-нибудь и узнает, то, во всяком случае, не от меня, — сказал Крейг. — Но советую тебе поскорее увезти его из Канна.

— Он пробудет здесь всего несколько дней. Потом мы полетим в Венецию.

— Мы с тобой вдвоем были когда-нибудь в Венеции?

— А ты не помнишь?

— Нет.

— Значит, мы не были в Венеции. — Она подняла голову и улыбнулась. Мужчина, с которым она разговаривала в гостиной, стоял с двумя бокалами в руках в дверях библиотеки.

— Ах, вот вы где, — сказал он. — А я-то вас искал, искал.

Крейг встал, Натали нехотя представила их друг другу. Имя мужчины не было знакомо Крейгу. Маленькое, озабоченное, не застревающее в памяти лицо. «Наверно, из отдела проката какой-нибудь крупной кинокомпании», — решил про себя Крейг. Мужчина отдал Натали бокал и с важностью пожал Крейгу руку.

— Ну что ж, друзья, — сказал Крейг, — я вас, пожалуй, оставлю. Глядя на вас, я вспомнил, что тоже хочу выпить. — Он дружески коснулся плеча Натали, вышел из библиотеки и направился к бару, стараясь не попасться на глаза Йену Уодли.

В столовой, где была приготовлена выпивка, Крейг мельком увидел Гейл Маккиннон и Рейнолдса, ожидавших, когда их обслужат.

Мэррей Слоун — круглолицый, энергичный — стоял у стола и наблюдал за гостями. Он добродушно улыбался, но глаза его походили на маленькие темные компьютеры.

— Привет, Джесс, — сказал он. — Присоединяйтесь к прессе, пейте на дармовщинку.

— Здравствуйте, Мэррей. — Крейг попросил шампанского.

— Не по вас публика-то, Джесс? — Слоун неторопливо жевал взятый с подноса сэндвич с огурцом.

— Трудно даже сказать, что это такое. То ли вавилонское столпотворение, то ли Ноев ковчег, а может, сборище мафии или бал в женской гимназии.

— Я скажу вам, что это такое, — сказал Слоун. — Это бал в Версале при дворе Людовика Шестнадцатого

тринадцатого июля тысяча семьсот восемьдесят девятого года, в ночь перед штурмом Бастилии.

Крейг засмеялся.

— Смейтесь, смейтесь. Но попомните мои слова. Вы видели фильм «Лед», что показывали в режиссерском зале?

— Да, — ответил Крейг. Эту картину снимала группа молодых революционеров, снимала всерьез, а речь там шла о вооруженном восстании, которое должно произойти в ближайшем будущем в Нью-Йорке. Ужасающие сцены кастрации, убийства представителей власти, уличные драки, бомбежки. Все эпизоды сняты в стиле *cinéma vérité*¹, что всегда производит сильное впечатление.

— И что вы о нем думаете? — с вызовом спросил Слоун.

— Самому-то мне трудно судить. Не знаю, насколько это соответствует истине. Ребята такого сорта мне незнакомы. Допускаю, что это — всего лишь плод их фантазии.

— Нет, это не пустая фантазия. Именно так и случится в Америке. Скоро. — Слоун показал рукой на толпу гостей. — А все эти жирные коты окажутся в повозках для осужденных на казнь.

— А где вы окажетесь, Мэррей?

— Тоже на свалке, — угрюмо сказал Слоун. — Для этих ребят мы все на одно лицо.

К бару подошел Уолтер Клейн.

— Привет, друзья. Ну как, довольны вечером?

Крейг промолчал, предоставив Слоуну ответить на этот вопрос.

— Очень приятный вечер, — вежливо, как подобает гостю, сказал Слоун.

— А вы, Джесс?

— Огромное получаю удовольствие.

— Да, вечерок неплохой, — самодовольно сказал Клейн. — Удачное сочетание красоты, таланта и шулерства. — Он засмеялся. — Взгляните вон на тех двоих. — Он показал на Хеннесси и Томаса, оживленно разговаривавших у камина. — Видите, как увлеклись, никого не замечают вокруг. Оба — мои клиенты.

¹ Киноправда (франц.) — течение во французском кино, возникшее в конце 50-х годов под влиянием идей Д. Вертова.

— Ну разумеется, — кивнул Крейг и взял у официанта бокал с шампанским.

— Пойдите поболтайте с этими гениями, — предложил Клейн. Его неизменным правилом было знакомить друг с другом всех и каждого. Он и своих помощников учил не пренебрегать никакими знакомствами. — И вы, Мэррей.

— Нет, я останусь на своем посту, — сказал Слоун. — У бара.

— Вы не хотите познакомиться с ними? — удивился Клейн.

— Нет. Я собираюсь критиковать их фильмы и не хочу подпадать под влияние ложного чувства дружбы.

— Разве вы уже видели их фильмы?

— Нет, — ответил Слоун, — но я знаю их манеру.

— Подумать только, какой честный человек! — насмешливо воскликнул Клейн. — Пошли, Джесс. — Он взял Крейга под руку и повел к камину.

Крейг пожал руку Хеннесси и извинился перед Томасом за то, что не позвонил ему. Томас был худой, кроткий на вид человек, известный своей требовательностью и упорством на съемочной площадке.

— Что вы тут обсуждаете? — спросил Клейн. — Сравниваете свои доходы?

— Льем слезы друг другу в пиво, — сказал Хеннесси.

— По какому поводу?

— По поводу коррупции в низших слоях общества, — сказал Хеннесси. — И по поводу того, как трудно оставаться честным в нечестном мире.

— Хеннесси еще новичок в этом деле, — сказал Томас. — Никак не может смириться с тем, что ему пришлось давать взятки шерифу и его помощнику, когда он вел съемки в каком-то техасском городишке.

— Я не против того, чтобы отблагодарить человека, — возразил Хеннесси. — Я только хочу, чтобы соблюдались хоть какие-то приличия. Хотя бы для порядка признали, что нехорошо подкупать представителей власти. А ведь они что: расселись у меня в номере, пьют мое виски и заявляют: «Каждому по три тысячи, иначе не трудись и камеру открывать». — Он печально покачал головой. — И никаких там подходов, что, мол, такая большая и богатая компания, как твоя, могла бы сделать небольшое пожертвование в Фонд помощи полицейским и т. д. Куда там. Выкладывай, мистер, денежки, и все тут. Легко ли

парню, бывшему когда-то первым учеником в воскресной школе, отдавать шесть тысяч долларов наличными двум полицейским, которые пришли к нему в номер мотеля, а потом проводить эту сумму по статье побочных расходов?

— Вы еще дешево отделались, — сказал Клейн. Он был практичный человек. — Так что не жалуйтесь.

— А потом, — продолжал Хеннесси, — у них еще хватило нахальства арестовать главного героя за курение марихуаны. Ушло еще две тысячи долларов на то, чтобы освободить его. Верно сказал вице-президент, что нашей стране нужны закон и порядок.

— Не забывайте, что сейчас вы во Франции, — сказал Клейн.

— Что ж, что во Франции. Я работаю в кино, а это главное. Меня бесит, когда я подумаю, какую уйму денег надо потратить, прежде чем увидишь на экране свой фильм.

— Как нажито, так и прожито, — сказал Клейн. Легко говорить так человеку, который только что получил чек на три с половиной миллиона долларов.

— С осени я буду руководить семинаром по искусству кино в Калифорнийском университете, — сказал Хеннесси. Слово «кино» он произнес насмешливым тоном. — Все, что я здесь сказал, войдет в мою первую лекцию. (Слушайте, Крейг, не хотите ли выступить в качестве моего гостя на семинаре и рассказать ребятам о том, что происходит в восхитительном мире целлулоида?)

— Я могу отпугнуть их от кино на всю жизнь, — сказал Крейг.

— Вот и отлично, — улыбнулся Хеннесси. — По крайней мере поменьше будет конкурентов. Но я серьезно говорю. Вам действительно есть о чем рассказать.

— Если будет время и если я буду в Штатах...

— Где я вас найду?

— Через меня, — быстро вмешался Клейн. — Мы уже разговаривали с Джессом о том, что он, возможно, скоро вернется в кинематограф, и тогда я буду знать, где найти его.

«А Клейн, пожалуй, не очень-то врет, — подумал Крейг. — Он просто ускоряет события для своей и, может быть, моей выгоды».

Оба режиссера бросили на Крейга пыливый взгляд. Томас спросил:

— Что-нибудь конкретное, Джесс? Или вы не хотите сказать?

— Предпочел бы пока не говорить. Да и реального ничего еще нет. — «Только мечта, как у Мэрфи», — подумал он.

В дверях произошло небольшое замешательство, и в гостиную вошли Фрэнк Гарленд с женой и еще какая-то супружеская пара. Гарленд снимался в главной роли в одном из первых фильмов Крейга. Несколькими годами старше Крейга, но выглядит молодо — лет на тридцать пять, не больше. Темные волосы, высокий рост, атлетическое сложение, красивое волевое лицо. Отличный актер и предприимчивый деловой человек, он основал собственную компанию, которая выпускает не только его фильмы, но и чужие. Пышущий здоровьем, веселый, открытый человек и муж хорошенькой жены, с которой живет уже больше двадцати лет. В фильме Крейга он был великолепен. Когда-то они дружили, но сегодня Крейгу не хотелось с ним встречаться — неприятны ему были и это удивительное здоровье, и это здравомыслие, и постоянное везение, и неподдельная, щедрая доброта.

— Я вас покидаю, друзья, — сказал он Клейну и режиссерам. — Пойду подышу свежим воздухом. — Он вышел в патио и направился по мокрой лужайке к освещенному плавательному бассейну. Оркестр играл «В ясный день».

Крейг посмотрел на прозрачную воду. Бассейн подогревали, и над водой стлался легкий туман. Оргии в плавательном бассейне, вспомнил он слова англичанки. Не сегодня, Николь.

— Привет, Джесс, — услышал он чей-то голос.

Крейг обернулся. Из тени кустов, с другого конца бассейна, к нему направлялся какой-то человек. Когда человек подошел ближе, Крейг узнал его. Это был Сидней Грин. Крейгу пришло в голову, что Грин ищет уединения в этом холодном мокром саду по той же причине, что и он. Проигравшие, пожалуйста вон. Скоро и Йен Уодли сюда явится.

— Здравствуй, Сид. Что ты тут делаешь?

— Душновато там стало для моих сосудов. — Голос у Грина был печальный, тихий — голос человека, привыкшего к тому, что его постоянно третируют. — Вышел вот и помочился на дорожную зеленую лужайку Уолтера Клейна. Каждый находит удовлетворение в том, что ему

доступно. — Он тихо засмеялся и попросил извиняющимся тоном: — Только не говори Уолту, ладно? Пусть не подумает, что я неблагодарный. Он оказал мне честь, пригласив меня. Вместе со всеми этими людьми. Солидная публика, много богачей. — Грин медленно покачал головой, как бы подчеркивая свое уважение к могуществу тех, кто собрался в этот вечер у Уолта Клейна. — Знаешь, Джесс, среди них есть люди, которым достаточно пальцем шевельнуть, и завтра же начнут снимать любой фильм, даже если он обойдется в десять миллионов долларов. Выглядят они так же, как я, может быть, даже хуже, носят такие же смокинги — допускаю, что наши костюмы и шьет-то один и тот же портной, — но, господи, какая между нами разница! Ну, а ты как, Джесс? О тебе тут разговоры ходят, все гадают, зачем ты приехал. Говорят, у тебя сценарий готов и ты приехал сюда заключать контракт.

— Пока еще нет ничего определенного, — сказал Крейг. С точки зрения Мэрфи все уже достаточно определено, но говорить об этом Грину не было никакого расчета.

— Я видел, ты разговаривал с Дэвидом Тейчменом. — сказал Грин. — В свое время он кое-что значил, верно?

— Безусловно.

— Конченный человек.

Крейг не любил этого выражения.

— А я не очень в этом уверен.

— Он не выпустит больше ни одной картины. — Грин произнес эти слова тоном приговора.

— У него, Сид, могут быть планы, в которые он тебя не посвящал.

— Если думаешь сотрудничать с ним, то напрасно. Он умрет еще до конца этого года.

— Что ты болтаешь? — резко спросил Крейг.

— Я думал, что все знают, — сказал Грин. — У него в мозгу опухоль. Его мой двоюродный брат оперировал. Странно, что он вообще еще ходит.

— Бедный старик, — покачал головой Крейг. — А еще сказал, что парик сделал его на двадцать лет моложе.

— Я не стал бы уж очень его жалеть. Он достаточно пожил, и неплохо. Дай бог мне прожить такую жизнь, пусть даже и с опухолью напоследок. По крайней мере все его хлопоты будут позади. А как ты, Джесс? — С мертвыми и умирающими в арендованном саду Уолтера Клейна было покончено. — Возвращаешься в кино?

— Все может быть.

— Когда окончательно решишь, не забудь про меня. Ладно, Джесс?

— Конечно.

— Меня, как режиссера, недооценивают. Сильно недооценивают, — убежденно заговорил Грин. — И не я один так считаю. Я там встретил одного журналиста из «Кайе дю синема». Он познакомился со мной специально для того, чтобы сказать, что, по его мнению, моя последняя картина, снятая для фирмы «Колумбия», — шедевр. Тебе не довелось ее посмотреть?

— К сожалению, нет, — ответил Крейг. — Редко я стал ходить в кино.

— «Фанфара и барабаны», — сказал Грин. — Так она называлась. Ты уверен, что не видел?

— Абсолютно.

— Если хочешь, я познакомлю тебя с этим парнем. Ну, с тем, из «Кайе дю синема». Он очень неглуп. Большинство тех, кто пришел сюда сегодня, вызывает у него только презрение. Презрение.

— Как-нибудь в другой раз, Сид. Сегодня я хочу пораньше уехать.

— Ну, тогда скажешь. У меня есть его адрес. Вот незадача, — с грустью продолжал он. — А я-то думал, что этот год в Канне будет для меня счастливым. У меня ведь уже было соглашение с «Апекс энд Истерн» на две картины с правом выбора или замены. Это — одно из крупных, известных объединений. Три месяца назад казалось, что фирма процветает. Я думал, что у меня все в порядке. Снял новую квартиру в Шестнадцатом округе, и теперь там делают *boiserie*¹. Это обошлось мне в пятнадцать тысяч долларов, которых я еще не заплатил. К тому же мы с женой решили, что можем позволить себе второго ребенка, и в декабре она рождает. И вдруг — все к черту. «Апекс энд Истерн» обанкротилась, и теперь я даже апельсинового сока не могу выпить за завтраком. Если в течение ближайших двух недель я не получу в Канне контракта, то считай, что Сиднею Грину конец.

— Что-нибудь да подвернется, — сказал Крейг.

— Надеюсь. Очень надеюсь.

Когда Крейг уходил, Грин все еще понуро стоял у

¹ Деревянные панели (франц.).

бассейна и глядел на туман, поднимавшийся от подогретой зеленой воды. Входя в дом, Крейг думал: «Я-то по крайней мере не должен пятнадцать тысяч долларов на boiserie, и моя жена не беременна».

Весь остаток вечера он пил. Разговаривал со множеством людей, но к тому времени, когда почувствовал, что пора возвращаться к себе в отель, уже ничего не помнил. Помнил только, что хотел взять с собой Натали Сорель, но не нашел ее и что обещал Уолту Клейну показать свою рукопись, и тот сказал, что утром прийдет к ней в отель одного из своих помощников.

Он стоял у бара и допивал свой последний бокал, когда увидел в дверях гостиной запыхавшуюся Гейл Маккиннон в плаще, накинутом на плечи. Он не заметил, когда она уходила. Она постояла немного, оглядывая комнату, и, увидев Крейга, подошла к нему.

— Я так и думала, что вы еще здесь.

— Выпьем на сон грядущий. — Шампанское размягчило его.

— Мне нужна помощь, — сказала она. — Надо отвезти Джо Рейнолдса домой. Он сильно расшибся. И пьяный, Упал с лестницы.

— С хорошим человеком этого бы не случилось, — весело сказал Крейг. — Выпьем.

— Полицейский не дает ему сесть за руль, — сказала Гейл.

— Коварный. Коварная французская полиция. Ищутки закона. Выпьем за благородную жандармерию Приморских Альп.

— Вы тоже пьяны? — резко спросила она.

— Не особенно. А вы? Почему вы сами не отвезете нашего критика домой?

— У меня нет водительских прав.

— В этом есть что-то антиамериканское. Смотрите не проговоритесь какому-нибудь конгрессмену, если он нас спросит. Выпьем.

— Поехали, Джесс, — взмолилась она. Впервые — он обратил на это внимание — она назвала его по имени. — Поздно уже. Одна я не справлюсь. Он там весь в крови, орет и угрожает полицейскому, и, если мы не увезем его сейчас, его заберут в участок. Я знаю, что надоела вам, но будьте же милосердны. — Она огляделась кру-

гом. Гостиная почти опустела. — И вечер уже кончился. Ну пожалуйста, отвезите нас в Канн.

Крейг осушил бокал и улыбнулся.

— Так и быть, доставлю тело в сохранности. — Он церемонно взял ее под руку и, перед тем как выйти в морозящую тьму, подвел к Уолтеру Клейну — пожелать ему спокойной ночи.

Рейнолдс уже не кричал на полицейского. Он сидел на нижней ступеньке каменной лестницы, с которой свалился, на лбу его зияла рваная рана, и один глаз начал опухать. Он прижимал к носу окровавленный платок. Когда Гейл Маккиннон и Крейг подошли к нему, он бросил на них мутный взгляд и хрипло выругался:

— Чертовы лягушатники! И все Уолтер Клейн с его головорезами.

— Все в порядке, мосье, — сказал Крейг по-французски полицейскому, спокойно стоявшему возле Рейнолдса. — Я его друг. Я отвезу его домой.

— Ему нельзя садиться за руль, — сказал полицейский. — Это же очевидно, что бы этот джентльмен ни говорил.

— Совершенно с вами согласен, — кивнул Крейг, стараясь держаться подальше от полицейского. Он боялся, как бы тот не учуял его собственное дыхание. — Ну, Джо... оп-ля! — Он подхватил Рейнолдса под мышки и поднял на ноги. Рейнолдс отнял от носа платок, и на брюки Крейгу брызнула кровь. От Рейнолдса пахло так, словно его несколько дней одетого вымачивали в виски.

С помощью Гейл он погрузил Рейнолдса за заднее сиденье своей машины, где тот сразу же и уснул. Крейг с преувеличенной осторожностью, чтобы не вызвать подозрений у наблюдавшего за ним полицейского, вывел машину с места стоянки и поехал под мокрыми от дождя деревьями.

Всю дорогу до Канна они молчали, слышен был лишь булькающий храп Рейнолдса. Крейг сосредоточенно смотрел вперед и ехал медленно, стараясь не потерять из виду обочину, — на поворотах дорога блестела в свете фар. Ему было стыдно, что он выпил так много в этот вечер, и он пообещал себе в будущем не пить вовсе, если будет заранее знать, что придется вести машину.

Когда они достигли предместий Канна, Гейл назвала Крейгу гостиницу Рейнолдса — примерно в шести кварталах от «Карлтона», подальше от моря, за железной дорогой. Когда они туда приехали, проснувшийся Рейнолдс хрипло сказал:

— Благодарю вас обоих. Не трудитесь меня провожать. Я в полном порядке. Доброй ночи.

Они смотрели, как он, держась очень прямо, неуклюже идет на негнущихся ногах в темный подъезд гостиницы.

— Он-то сегодня уже набрался, — сказал Крейг, — я же не прочь бы выпить еще.

— Я тоже, — сказала Гейл Маккиннон.

— Разве вы живете не здесь?

— Нет.

Он почувствовал странное облегчение.

Все бары, мимо которых они проезжали, были закрыты. Он и не представлял себе, что уже так поздно. Да и хорошо, что закрыты: что бы подумали ночные посетители бара, увидев их, вымазанных в крови Рейнолдса?

Крейг остановил машину перед «Карлтоном». Мотор продолжал работать.

— У меня дома найдется бутылка виски, — сказал он. — Хотите подняться?

— Да, благодарю вас.

Он отвел машину на стоянку, и они вошли в отель. К счастью, в холле никого не было. Портье, у которого Крейг взял ключ от своего номера, был с детства приучен не менять выражения лица, что бы ни происходило в холле.

Поднявшись в номер, Гейл Маккиннон сняла плащ и прошла в ванную, Крейг же стал разливать в стаканы виски и содовую. В ванной уютно, по-домашнему, шумела вода, напоминая о присутствии второго человека, рассеивая чувство одиночества.

В гостиную она вернулась причесанной, лицо ее было свежим и чистым, словно и не случилось в эту ночь никаких происшествий. Они подняли стаканы и выпили. В отеле стояла тишина, город спал. Они сидели друг против друга в больших креслах, обитых парчой.

— Вот вам урок: не ездите с пьяницами, — сказал он. — Если бы его не угораздило свалиться с лест-

ницы, то вы, возможно, висели бы сейчас где-нибудь на дереве.

— Вероятно. — Она поежилась. — Причуды машинного века.

— Вы могли бы попросить меня отвезти вас домой еще до того, как он упал. — Крейг забыл, что и сам был пьян не меньше Рейнолдса.

— Я решила было ни о чем вас больше не просить.

— Ясно.

— Ух, как он вас ругал и вдруг нырнул вниз головой. — Девушка засмеялась.

— И все из-за какой-то ничтожной колкости, брошенной восемь лет назад? — Крейг покачал головой, удивляясь злопамятности людей.

— Из-за нее и многого другого.

— Например?

— Однажды вы отбили у него в Голливуде девушку.

— Я? Ну, если и отбил, то не нарочно.

— Это еще хуже. С точки зрения таких, как Рейнолдс.

Он ударил ее, и она назло ему стала рассказывать, какой вы замечательный человек и что говорили ей о вас другие женщины. Какой вы умный, чуткий и как с вами весело. Как же после этого ему к вам относиться? Тем более что вы были знаменитость, а он — прыщавый мальчишка, совсем еще новичок.

— Ну, теперь-то он станет относиться ко мне лучше.

— Может быть, чуть лучше. Но не совсем. Он сообщил мне о вас много сведений, которые я включила в статью. И предложил заглавие.

— Какое? — с любопытством спросил Крейг.

— «Человек с несостоявшимся будущим».

Крейг кивнул.

— Грубо, но броско. Так вы и озаглавите свою статью?

— Еще не знаю.

— От чего это зависит?

— От вас. От того, что я о вас буду думать, когда по-настоящему узнаю. Если вообще узнаю. От того, сколько, на мой взгляд, в вас осталось мужества. Или воли. Или таланта. Моя задача была бы легче, если бы вы дали мне почитать рукопись, которую отправите завтра Уолту Клейну.

— Как вы об этом узнали?

— Сэм Бойд — мой приятель. — Крейг вспомнил,

что Сэм Бойд — один из способных молодых людей Клейна. — Он сказал мне, что утром придет к вам за сценарием. Мы с ним завтракаем вместе.

— Скажите ему, чтобы он зашел за сценарием после завтрака.

— Хорошо. — Она протянула ему стакан. — Пусто.

Он встал, подошел к столу, где стояла бутылка, налил в оба стакана и вернулся назад.

— Спасибо. — Она спокойно посмотрела ему в глаза. Он нагнулся и нежно поцеловал ее в губы. Губы у нее были мягкие, манящие. Она отвела лицо. Он выпрямился, давая ей возможность встать. — Ну, хватит, — сказала она. — Иду к себе.

Он хотел было коснуться ее руки.

— Оставьте меня! — Она поставила стакан на столик, схватила плащ и метнулась к двери.

— Гейл... — позвал он и шагнул к ней.

— Несчастный старик, — сказала она и, выходя, с силой хлопнула дверью.

Он медленно осушил свой стакан, потушил свет, разделся и лег. Лежа поверх простынь в теплом мраке, он слушал резиновый шорох редких машин, проезжавших по набережной Круазетт, и шум морского прибоя. Спать он не мог — слишком наполненный был вечер. От выпитого стучало в висках. В памяти складывались и распадались, точно калейдоскопические, узоры, отдельные картины: Клейн в бархатном пиджаке, знакомящий друг с другом всех и каждого; Корелли и его девушки; несчастный Грин, поливающий мочой дорожку зеленую лужайку; кровь Рейнолдса...

И среди этой мешанины — игра (игра ли?) — Гейл Маккиннон. Ее то вспыхивающая, то гаснущая, юная — и в то же время зрелая — чувственность. Завлекает и отталкивает. Нет, лучше вспоминать и сожалеть о прелестях Натали Сорель. Забыть Дэвида Тейчмена, забыть о смерти, подстерегающей его под студийным париком.

Крейг беспокойно заворочался в кровати. Похоже на грандиозный рождественский прием для конторских служащих. Только рождественские приемы не устраивают по два раза в неделю.

И тут он услышал, почти не удивившись, тихий стук. Он встал, надел халат и открыл дверь. В полутемном коридоре стояла Гейл Маккиннон.

— Входите, — сказал он.

Он понимал, что уже светло, понимал, что еще не проснулся, слышал рядом чье-то дыхание и слышал, как звонит телефон.

Продолжая лежать с закрытыми глазами, чтобы не видеть наступившего дня, он нащупал на ночном столике трубку. Далекий голос, пробившись сквозь жужжащий механический фон, сказал:

— Доброе утро, милый.

— Кто это? — спросил он, все еще не открывая глаз.

— Сколько людей зовут тебя «милый», — слабо отозвался далекий голос.

— Прости, Констанс. Тебя очень плохо слышно, как будто ты говоришь с другого конца света. — Крейг открыл глаза, повернул голову. Рядом на подушке он увидел длинные каштановые волосы. Гейл пристально смотрела на него, ее голубые глаза были серьезны. Простыня, под которой они оба спали, наполовину сползла с него, обнажив голое бедро. Он хотел было ухватиться за край и натянуть на себя простыню, чтобы не было видно, как он возбужден, но, поняв нелепость этого жеста, воздержался.

— Ты все еще в постели? — тем временем произнесла Констанс. Электронный голос, долетавший до него по еще весьма несовершенному шестисотмильному кабелю, звучал укоризненно. — А ведь уже одиннадцатый час.

— Разве? — глупо спросил он, чувствуя на себе взгляд соседки, видя краем глаза очертания ее тела под простыней и аккуратно застеленную и оставшуюся несмятой вторую постель. Он пожалел, что назвал Констанс по имени. — В этом городе поздно ложаться и поздно встают, — сказал он. — Как дела в Париже?

— Все хуже и хуже. Как у тебя?

Он помолчал.

— Ничего нового.

— Прежде всего... — Голос в трубке — механический, колышущийся — был почти неузнаваем. — Я хочу извиниться.

— Я тебя совсем не слышу. — Он сделал над собой отчаянное усилие, чтобы говорить спокойно. —

Может, мы положим трубки, еще раз попросим телефонистку и...

— Теперь лучше? Теперь ты меня слышишь? — Голос вдруг стал ясным и громким, словно Констанс находилась в соседнем номере.

— Да, — неохотно ответил Крейг. Он пытался придумать какую-нибудь отговорку, чтобы заставить Констанс отложить разговор, дать ему время накинуть на себя халат, перейти в гостиную и там ждать ее повторного звонка. Но, боясь себя выдать, решил пока ограничиться односложными замечаниями.

— Я сказала, что хочу извиниться за то, что набросилась на тебя в тот раз. Ты же меня знаешь.

— Да.

— Поблагодарить за фотографию со львенком. Это ты хорошо придумал.

— Да, — сказал он.

— А у меня новость, — продолжала Констанс. — Хорошая. Надеюсь, во всяком случае, что она тебе покажется хорошей.

— Какая? — Осторожно, незаметно он потянул за край простыни и прикрыл себя ниже пояса.

— Завтра или послезавтра я, возможно, буду в твоих краях, — сообщила она. — В Марселе.

— В Марселе? — Он не сразу вспомнил, где находится Марсель. — Почему в Марселе?

— Это не для телефона. — Французская телефонная сеть по-прежнему не пользовалась у нее доверием. — В общем, если у меня здесь получится, то я буду там.

— Прекрасно, — сказал он, думая совсем о другом.

— Что «прекрасно»? — В голосе Констанс послышалось раздражение.

— Ну, может быть, мы увидимся...

— Что значит «может быть»? — Голос ее звучал уже зловеще.

Он почувствовал рядом с собой движение. Гейл встала и — голая, стройная, с округлыми бедрами, точеными загорелыми икрами — медленно, не оглядываясь, прошла в ванную.

— Есть тут одна загвоздка...

— Что-то, дружок, я опять тебя не пойму.

— Завтра приезжает моя дочь Энн. — Обрадовавшись, что Гейл вышла, он сразу же успокоился. — Я послал ей телеграмму и предложил приехать.

— Все мы во власти этой чертовой молодежи, — с досадой сказала Констанс. — Возьми ее с собой в Марсель. Все девственницы должны побывать в Марселе.

— Надо мне сначала с ней поговорить... — Он решил не реагировать на слово «девственница». — Позвони мне, когда твои планы окончательно выяснятся. Может, ты еще и в Канн завернешь? — неискренне добавил он.

В ванной зашумел душ. «Интересно, — подумал он, — слышит ли шум воды в Париже Констанс».

— Я ненавижу Канн, — сказала Констанс. — Там у меня произошла размолвка с моим первым мужем. Черт возьми, если тебе так уж трудно сесть в машину и потратить два часа на то, чтобы повидаться с женщиной, которую ты вроде бы любишь...

— Ну, опять ты начинаешь злиться, Констанс. Ты ведь даже не уверена, что будешь в Марселе, а уже...

— Я хочу, чтобы ты сгорал от нетерпения, — сказала она. — Ведь уже неделя, как мы не виделись. Неужели у тебя нет желания встретится со мной?

— Есть.

— Докажи.

— Я приеду к тебе, куда ты захочешь и когда захочешь! — прокричал он.

— Вот это другой разговор, дружок. — Она хмыкнула. — Черт возьми, говорить с тобой — все равно что зубы выдергивать. Ты пьян?

— С похмелья.

— Куролесил?

— Можно сказать, что да. — Пусть ему хоть одно слово правды зачтется.

— Никогда не любила трезвенников, — сказала она. — Ну, хорошо, я пришлю тебе телеграмму, как только буду знать окончательно. Сколько лет твоей дочери?

— Двадцать.

— Полагаю, у двадцатилетней девчонки найдутся и более интересные занятия, чем околачиваться возле отца.

— У нас спаянная семья.

— То-то я вижу, какая она спаянная. Ну, развлекайся, дорогой. А я по тебе скучаю. И со львенком — это была чудесная мысль. — Она положила трубку.

«Постыдная ситуация, — с досадой подумал он. — Постыдно-комическая». Он вскочил с постели и стал торопливо одеваться. Он был уже в рубашке и брюках, когда из ванной вышла Гейл — все еще голая, стройная,

трагиозная; на смуглой коже поблескивали последние капли воды, которые она не позаботилась вытереть.

Она встала перед ним, широко расставив ноги, уперев руки в бедра — совсем как манекенщица, — и улыбнулась.

— Ох, и забот же у нашего милого мальчика, а? — Она подошла к нему, притянула к себе его голову и поцеловала в лоб. Он обнял ее за талию и тоже хотел поцеловать, но она резко отстранилась и сказала:

— Умираю от голода. Какую кнопку тут нажать, чтоб принесли завтрак?

Он приехал в аэропорт Ниццы раньше времени. До прилета самолета из Женевы оставалось еще полчаса. Постоянная боязнь опоздать начала преследовать его еще в годы супружества. Его жена никогда никуда не успевала, и их совместная жизнь осталась у него в памяти как бесконечная цепь безобразных сцен: он кричал, подгоняя ее, а она раздражалась слезами и, в отместку за его грубость, нервно хлопала дверьми. Потом приходилось выдерживать унижительные объяснения с друзьями, извиняться за то, что они опоздали к ужину, или на самолет, или на поезд, или в театр, или на свадьбу, или на похороны, или на футбольный матч. И теперь, избавившись от нее, он испытывал удовлетворение, приезжая всюду заблаговременно, чтобы не волноваться. «Расставшись с твоей матерью, — сказал он как-то Энн, которая могла его понять, ибо, не желая следовать дурному примеру матери, развила в себе поразительную пунктуальность, — я сберег себе десять лет жизни».

Он поднялся на террасу аэропорта, откуда видны были взлетная дорожка и море, сел за металлический столик и заказал виски с содовой. Хотя до вечера было еще далеко, в воздухе веяло прохладой, дул свежий ветер, голубая вода белела барашками.

Потягивая виски, он старался собраться с мыслями, подготовить себя к встрече с дочерью. Но рука, в которой он держал стакан, слегка дрожала. Он сидел совсем разбитый, напрягшись из последних сил: когда он попытался сосредоточить взгляд на самолете, шедшем на посадку, но все еще летевшем высоко в небе, примерно в миле от посадочной полосы, глаза его, несмотря на

солнечные очки, мгновенно заслезились. Ночью он почти не спал. И отнюдь не по той причине, которая могла бы быть. Гейл Маккиннон пришла к нему в номер и легла с ним в постель, но ничего ему не позволила. И никак это не объяснила. Просто сказала «нет» и заснула в его объятиях — спокойная, шелковистая, благоухающая, порочная и уверенная в себе, неотразимая и дразнящая своей красотой и юностью.

И теперь, дожидаясь, пока дочь спустится с неба на землю, он вспомнил все это, и ему стало стыдно. Нелепая ночь! В его-то возрасте позволить, чтоб тебя втянули в эту глупую детскую игру! И кто? Девчонка, которая в дочери ему годится. Надо было зажечь свет, выставить ее из номера, принять снотворное и заснуть. Или хотя бы надеть пижаму и перебраться на соседнюю кровать, а утром, когда она проснется, сказать, чтоб больше к нему не приходила. А он вместо этого раскис: охваченный грустью и нежностью, он обнимал ее, целовал в затылок, вдыхая аромат ее волос, и, мучимый желанием и бессонницей, прислушиваясь к ее ровному, здоровому дыханию, смотрел, как утренняя заря обводит жалюзи полосками света.

За завтраком, раздраженный плотоядными взглядами официанта — хотя, возможно, взгляды эти ему просто мерещились, — он сказал ей, что будет ждать ее после обеда в баре. Из-за нее он обидел Констанс, лгал ей или почти лгал по телефону, поставил под угрозу то, что до вчерашней ночи считал настоящей любовью к зрелой, опытной женщине, которая не играет с ним в прятки, которая принесла ему радость, — красивой, умной, нужной ему женщине, равноправной партнерше, чья любовь (почему не назвать это чувство его настоящим названием?), чья страсть помогала ему последние два года переживать самые мрачные моменты в жизни. Он всегда гордился умением контролировать свои поступки, быть хозяином своей судьбы как в хорошие, так и в плохие времена. И вдруг, за какие-то несколько часов опьянения, показал, что способен сделать опрометчивый шаг, поддаться губительному увлечению, словно какой-нибудь слюнявый кретин.

Опьянения! Но ведь он же обманывает себя. Да, конечно, он выпил, но не так уж много. Он знал, что, даже если бы не выпил за весь вечер и капли спиртного, все равно вел бы себя именно так.

«Всему виною Кани», — сказал он себе в оправдание. Этот город создан для раскованности чувств — он весь свобода, щедрое солнце, возбуждающая нагота. А в темных зрительных залах на него воздействовала густо насыщенная сексом, будоражащая атмосфера фильмов, полных любовных страстей, восхитительного порока, безрассудства и молодого разгула, слишком буйного для стареющего бесприютного человека, странствующего без компаса по этому бурному городу.

И в довершение всех бед — приезд дочери. Кой черт дернул его послать ей телеграмму? Он застонал и, спохватившись, осмотрелся вокруг — не заметил ли кто-нибудь? На всякий случай он приложил платок ко рту — пусть думают, что это приступ кашля. Потом заказал себе еще виски.

Он приехал в Кани в поисках ответов. Но за эти несколько дней у него возникли лишь новые вопросы. «А не лучше ли сейчас пойти в кассу, — подумал он, — и взять билет до Парижа, Нью-Йорка, Лондона или Вены?» Он же северянин, привык к суровому климату, белые языческие города юга не для него. Будь он благоразумнее, он навсегда бежал бы от этих пагубных соблазнов Средиземноморья, которые лишь осложняют жизнь. Здравая мысль. Но он не сдвинулся с места. Нет, не пойдет он в кассу и не купит никакого билета. Пока не купит.

Во время завтрака из вестибюля позвонил Бойд, помощник Клейна, и Крейг с коридорным отослал ему рукопись «Трех горизонтов». Если Клейну она не понравится, решил Крейг, он уедет из Кани. Это решение успокоило его. Теперь у него есть ориентир, есть чем руководствоваться механически, независимо от собственной воли. Ему стало легче. Поднимая стакан с виски, он заметил, что рука у него уже не дрожит.

Самолет вырулил на площадку и остановился. Из него потекли празднично разодетые пассажиры, платья женщин разлетались на морском ветру. Он отыскал глазами Энн — светлые яркие волосы хлестали ее по лицу. Она шла быстрым, энергичным шагом и поглядывала вверх на террасу, высматривая его. Он помахал ей рукой. Она помахала в ответ и ускорила шаг. Она несла туго набитый брезентовый мешок цвета хаки,

похожий на те, что продают в армейских магазинах. Он обратил внимание, что она по-прежнему сутулится, ходит неуклюжей походкой, точно боится показаться женственной и изящной. «Надо бы посоветовать ей заняться пластической гимнастикой», — подумал он. На ней был мятый синий плащ и буро-коричневые штаны. В этой темной одежде вид у нее был невзрачный, хмурый, и только волосы не давали ей потеряться среди ярких летних нарядов, пестрых рубашек и полосатых легких пиджаков остальных пассажиров. Интересно, в кого она играет теперь? Ее одежда невольно вызвала у него чувство досады. В прежние времена, когда Крейг хорошо зарабатывал, он положил в банк на ее имя и на имя ее сестры деньги. Доходы с них не ахти какие, но безусловно достаточные, чтобы прилично одеваться. Он деликатно объяснит ей это и затащит в магазин купить что-нибудь более подходящее. Но хорошо уже, что она не чумазая, не босая и не напоминает одурманенную гашишем индеанку из племени команчей. Ну что ж, спасибо и на этом.

Он расплатился с официантом и пошел вниз встречать ее.

Когда она вышла в зал ожидания вслед за носильщиком, который вез два ее чемодана, Крейг придал лицу приличествующее случаю выражение. Она по-детски бросилась к нему, обняла и поцеловала, но не совсем удачно — куда-то в шею.

— О папа! — воскликнула она, уткнувшись лицом ему в грудь.

Он погладил плечо измятого синего плаща. И тут же, едва она прижалась к нему, вспомнил другое молодое тело, которое обнимал утром, другой поцелуй.

— Дай-ка взглянуть на тебя, — сказал он.

Она немного отстранилась, чтобы он мог получить о ней полное представление. Она не употребляла косметики да и не нуждалась в ней. Всем своим видом она подтверждала, что приехала из Калифорнии: глаза ясные, лицо загорелое, цветущее, волосы выгорели от солнца, на твердой прямой переносице — мелкая россыпь веснушек. Она хорошо учится, он знал это по оценкам, но, глядя на нее, трудно было поверить, что она хотя бы изредка берет в руки учебник и вообще проводит время не только на пляжах и теннисных кортах. Будь он

двадцатилетней девушкой с внешностью Энн, он не стал бы сутулиться.

Они не виделись полгода, и он заметил, что она налилась за это время, груди ее под темно-зеленым свитером, ничем не стесняемые, значительно потяжелели. Лицо похудело и заострилось книзу, стало почти треугольным, с чуть заметными впадинами под выпуклыми скулами. Она всегда была здоровым ребенком и теперь превращалась в здоровую, цветущую женщину.

— Нравится тебе то, что ты видишь? — с улыбкой спросила она. Этот вопрос уже давно вошел у них в обиход — Энн придумала его, еще когда была девочкой.

— Более или менее, — ответил он, поддразнивая ее. Он не смог бы выразить словами переполнявшую его радость и нежность, нелепое и такое приятное чувство самодовольства, которое доставила ему дочь — плоть от плоти его, подтверждение его жизнеспособности и родительской мудрости. Он взял ее руку и сжал, удивляясь, как всего несколько минут назад мог огорчаться из-за того, что она приезжает.

Так рука об руку они и вышли из аэровокзала следом за носильщиком. Он помог погрузить ее вещи в багажник. Брезентовая сумка оказалась очень тяжелой — там были книги. Когда Крейг взял ее, одна из книг выпала. Он ее поднял. «Воспитание чувств» на французском языке. Засовывая книгу в сумку, он невольно улыбнулся. Предусмотрительная путешественница его дочь: готовится увидеть здесь девятнадцатый век.

Они поехали в Канн. Из-за интенсивного движения машина шла медленно. Время от времени Энн наклонялась к нему и гладила по щеке, как бы желая убедиться легким прикосновением пальцев, что она действительно здесь, рядом с отцом.

— Голубое Средиземное море, — сказала она. — Знаешь, по правде, это было самое восхитительное приглашение в моей жизни. — Она засмеялась какой-то своей затаненной мыслью. — Твоя жена говорит, что ты стремишься купить мое расположение.

— А ты как считаешь?

— Если это правда, продолжай в том же духе.

— Как съездила в Швейцарию?

— В целом — ужасно.

— Что она делает в Женеве?

— Консультируется с частными банками. С ней — ее

другок, помогает ей консультироваться. — В голосе Энн появилась жесткость. — С тех пор как ты стал давать ей все эти деньги, она просто помешалась на том, куда лучше вложить капитал. Считает, что американская экономика недостаточно устойчива, и собирается скупать акции западногерманских и японских компаний. Сказала, чтоб я посоветовала тебе делать то же самое. Глупо, говорит, получать с капитала всего пять процентов. У тебя, говорит, никогда не было коммерческой жилки, поэтому она и заботится о твоих интересах. — Энн скривила губы в усмешке. — Опять-таки в твоих же интересах, говорит она, порвать с этой твоей парижской знакомой.

— Так она и сказала? — Крейг постарался произнести это спокойно, чтобы Энн не заметила злости в голосе.

— Она много чего наговорила.

— Да что она вообще знает о моей парижской знакомой?

— Я не знаю, что она знает. Знаю лишь то, что она мне сказала. Сказала, что эта женщина слишком молода для тебя, что она похожа на маникюршу и ее интересуют только твои деньги.

Крейг рассмеялся:

— Похожа на маникюршу! Значит, она никогда ее не видела.

— Говорит, что видела. Даже скандал ей устроила.

— Где?

— В Париже.

— Так она и в Париже была? — недоверчиво спросил он.

— А то как же. Исключительно в твоих интересах. Она сказала этой даме, что она думает об авантюристках, которые обольщают старых дураков и разбивают счастливые браки.

Крейг недоуменно покачал головой.

— Констанс ни слова мне об этом не говорила.

— О таких вещах, я думаю, женщины не очень-то любят рассказывать. Ты познакомишь меня с Констанс?

— Конечно, — смущенно ответил Крейг. Когда он обнимал свою дочь при встрече в аэропорту, то никак не предполагал, что их разговор примет такой оборот.

— Ну, а что касается Женевы, то там была одна

смехота. Пришлось даже отужинать в «Ричмонде» с мамулей, ее приятелем и прочими ханжами.

Крейг молча вел машину. Он не хотел говорить с дочерью о любовнице своей жены.

— Целое представление, — продолжала Энн. — Тьфу! Расселся, заказывает икру, орет на официанта из-за вина, потом любезничает пять минут с мамулей и пять минут со мной. Я вдруг поняла, почему я с двенадцати лет ненавижу мамулю.

— Это неправда, — мягко возразил Крейг. Он готов был принять на себя вину за многое, но не хотел отторгать дочерей от их матери.

— Нет, правда: ненавижу, — сказала Энн. — Ненавижу, ненавижу. Как ты мог столько лет терпеть у себя в доме этого жалкого, нудного человека, который притворялся твоим другом, почему ты так долго мирился со всем этим?

— Прежде чем винить других, надо посмотреть на себя, — сказал Крейг. — Я ведь тоже был не ангел. Ты уже большая девочка, Энн, и, я полагаю, не сегодня поняла, что мы с твоей матерью давно живем каждый своей жизнью.

— Своей жизнью! — нетерпеливо воскликнула Энн. — Ну, пусть каждый своей. Это мне понятно. Непонятно другое: почему ты женился на этой стерве...

— Энн! — оборвал ее Крейг. — Ты не должна так говорить...

— Но еще непонятней мне, почему ты позволяешь ей угрожать тебе судом за адюльтер и вымогать у тебя деньги. И дом! Почему ты не найдешь сыщика, чтобы он дня два последил за ней и ты б увидел, как она себя ведет?

— Этого я не могу сделать.

— Почему не можешь? Она же наняла сыщика, который следил за тобой.

Крейг пожал плечами.

— Ты рассуждаешь, как юрист, — сказал он. — Просто не могу.

— Слишком ты старомоден. В этом твоя беда.

— Не будем об этом говорить, прошу тебя. Ты помни одно: если бы я не женился на твоей матери, то не было бы сейчас ни тебя, ни твоей сестры, а раз вы у меня есть, все остальное, пожалуй, не так уж и важно. И что

бы ваша мать ни делала и ни говорила, я по-прежнему благодарен ей за вас. Будешь это помнить?

— Постараюсь. — Голос у Энн задрожал, и Крейг испугался, что она сейчас расплачется, хотя она никогда не была плаксой, даже в детстве. — Скажу только одно, — с горечью добавила она. — Не хочу я больше видеть эту женщину. Ни в Швейцарии, ни в Нью-Йорке, ни в Калифорнии. Нигде. Никогда.

— Еще передумаешь, — мягко сказал он.

— Хочешь на спор?

«Черт бы их побрал, эти семейные дела», — подумал он.

— Я хочу, чтобы и ты и Марша знали совершенно точно: Констанс не имеет к моему разрыву с вашей матерью никакого отношения. А оставил я ее потому, что мне все это надоело и я уже был на грани самоубийства. Потому, что брак наш потерял всякий смысл, а продолжать бессмысленную жизнь я не хотел. Я виню вашу мать не больше, чем самого себя. Но, кто бы ни был тут виноват, продолжать не имело смысла. Констанс же просто случайно оказалась в это время на моем пути.

— Ладно, — сказала Энн. — Верю.

Несколько минут она молчала, и Крейг с благодарностью отметил это про себя, проезжая мимо каннского ипподрома. Скачки на юге... Ничего не значащие победы, незасчитанные поражения. Разбрызгиватели, расставленные на зеленом поле, изливали мириады дугообразных фонтанчиков. Наконец Энн, оживившись, спросила:

— Ну, а ты-то как? Развлекаешься?

— Можно сказать, что да.

— Я тревожилась за тебя.

— Тревожилась за меня? — Он не мог скрыть удивления. — Но, кажется, современная теория утверждает, что в наши дни ни один ребенок не тревожится за своих родителей.

— Я не настолько современна.

— Почему же ты за меня тревожилась?

— Из-за твоих писем.

— Что же ты в них нашла?

— Ничего такого, за что можно зацепиться. Ничего явного. Но между строк... не знаю... мне показалось, что ты недоволен собой, что ты не уверен в себе и в своих делах. Даже твой почерк...

— Почерк?

— Даже он изменился. Какой-то нетвердый стал. Слово ты уже не знаешь, как писать отдельные буквы.

— Придется мне, видно, печатать свои письма на машинке, — попытался отшутиться Крейг.

— Не так все просто, — серьезно сказала она. — У нас на кафедре психологии есть профессор, специалист по почеркам, и я показала ему два твоих письма. Одно я получила от тебя четыре года назад, а другое...

— Ты хранишь мои письма? — Необыкновенный ребенок. Сам он никогда писем от своих родителей не хранил.

— Конечно, храню. Так вот, однажды этот профессор сказал, что задолго до того, как что-нибудь случится, когда нет еще никаких симптомов и вообще ничего и сам человек еще ничего такого не чувствует, почерк его... ну, как бы предсказывает перемены — болезнь, даже смерть.

Он был потрясен тем, что она сказала, но старался не показать этого. Энн с детства отличалась прямоотой и откровенностью и выпаливала все, что ей приходило в голову. Он гордился и немного забавлялся ее беспощадной правдивостью, которую считал признаком замечательной силы характера. Но сейчас ему было не так уж забавно, ибо беспощадная правда касалась его самого. Он попытался обратить все в шутку.

— Ну и что сказал сей мудрец о письмах твоего папочки? — насмешливо спросил он.

— Ничего смешного тут нет. Он сказал, что ты переменялся. И переменишься еще больше.

— Надеюсь к лучшему?

— Нет, — сказала она. — Не к лучшему.

— О господи, посылаешь детей в солидный модный колледж, чтобы они получили там научное образование, а им забивают голову всякими средневековыми суевериями. А может, твой профессор еще и хиромантией занимается?

— Суеверие это или нет, а я дала себе слово сказать тебе и вот — сказала. Кстати, сегодня, увидев тебя, я была поражена.

— Чем?

— Ты неважно выглядишь. Совсем неважно.

— Не говори глупостей, Энн, — сказал Крейг, хотя был уверен, что она права. — Две-три бурные ночи — только и всего.

— Дело не в этом, — настаивала Энн. — Не в том, что ты провел две-три бурные ночи. Здесь что-то более серьезное. Не знаю, замечал ли ты, но я наблюдаю за тобой с детства. И несмотря на твою скрытность, я всегда знала, когда ты сердисься, когда взволнован, когда болен или чего-то боишься...

— А сейчас?

— Сейчас... — Она нервно провела рукой по волосам. — У тебя странный вид. Какой-то ты... неприкаянный... да, лучше, пожалуй, не скажешь. Ты похож на человека, который всю жизнь скитается по отелям.

— Да, я живу все время в отелях. В лучших отелях мира.

— Ты же понимаешь, что я имею в виду.

Он понимал, что она имела в виду, но ей в этом не признался. Только себе.

— Когда я получила твою телеграмму, то решила подготовить речь, — сказала Энн. — И вот сейчас я ее произнесу.

— Взгляни лучше, какой отсюда вид, Энн, — сказал он. — Для речей у тебя еще будет время.

Она не обратила на его слова внимания.

— Чего я хочу — это жить с тобой, — сказала она. — Заботиться о тебе. В Париже, если ты хочешь жить там. Или в Нью-Йорке. Или в любом другом месте. Я не хочу, чтобы ты жил бирюком и из вечера в вечер ужинал один, как... как старый буйвол, которого изгнали из стада.

Он невольно рассмеялся, услышав такое сравнение.

— Не хочу казаться хвастуном, — сказал он, — но в компании у меня нет недостатка, Энн. К тому же тебе еще год учиться в колледже и...

— С образованием я покончила, — сказала она. — И образование покончило со мной. Такое образование, во всяком случае, мне не нужно. В общем, я туда больше не поеду.

— Это мы еще обсудим, — сказал он. Честно говоря, мысль об упорядоченной жизни с Энн, после стольких лет бродяжничества, неожиданно показалась ему привлекательной. Вдобавок, оказывается, он до сих пор держится того устарелого, недостойного, постыдно несовременного взгляда, что образование не столь уж важно для женщины.

— И еще: тебе надо работать, — сказала Энн. — Это

же нелепо, чтобы такой человек, как ты, пять лет ничего не делал.

— Не так все просто, — сказал он. — Не думай, что люди наперебой предлагают мне работу.

— Это тебе-то? — недоверчиво воскликнула она. — Не верю.

— Но это так. Мэрфи тоже здесь. Поговори с ним о положении дел в кино.

— Но другие продолжают делать фильмы.

— То другие. А твой отец — нет.

— Нет, это просто невыносимо. Ты говоришь, как неудачник. Лучше бы решился и попробовал, а не стоял в позе одинокого гордеца. Я говорила недавно с Маршей, и она со мной согласна: это совершенно пустая, бессмысленная, позорная трата сил! — Она была близка к истерике, и Крейг успокаивающе погладил ее по руке.

— Вот об этом же и я думал. Я ведь работал весь последний год.

— Ага! — торжествующе воскликнула она. — Вот видишь. С кем?

— Ни с кем. Сам с собой. Я написал сценарий. Только что закончил. Сейчас его как раз читают.

— Что говорит мистер Мэрфи?

— Плохо, говорит. Мистер Мэрфи советует его выбросить.

— Глупый старик, — сказала Энн. — Я бы и слушать его не стала.

— Он далеко не глуп.

— Но ты все-таки не послушал его, правда?

— Сценарий я пока не выбросил.

— Можно мне почитать?

— Если хочешь.

— Конечно, хочу. Могу я потом откровенно высказать свое мнение?

— Разумеется.

— Даже если мистер Мэрфи прав, — добавила Энн, — и сценарий действительно не получился, или не устраивает его по коммерческим соображениям, или просто не то, что сейчас требуется, ты мог бы заняться чем-нибудь еще. Не сошелся же весь свет клином на кино, верно? Если хочешь знать правду, то, по-моему, ты был бы гораздо счастливее, если бы вообще забыл о кино. Тебе придется иметь дело с ужасными людьми. И все это так жестоко и зыбко: сейчас тебя превозносят как

рыцаря искусства, а через минуту ты уже забыт. А публика, которой ты должен угождать, эта Великая Американская Публика? Ты пойдешь в субботу вечером в кинотеатр, в любой кинотеатр, и посмотри, над чем они смеются, над чем плачут... Я же помню, как ты работал, как изматывал себя до полусмерти к концу картины... А для кого? Для ста миллионов болванов.

В том, что говорила Энн, он узнал отзвук собственных мыслей, но это не доставило ему радости. Особенно его покорило слово «угождать». Одно дело, когда так говорит человек его возраста, который, работая на трудном поприще, добивается успеха или терпит неудачи и поэтому имеет право в минуты депрессии сомневаться в значении своего труда. Другое дело — выслушивать огульные осуждения из уст неискушенной, избалованной девчонки.

— Энн, — остановил он ее, — не будь так строга к твоим соотечественникам-американцам.

— Охотно уступлю своих соотечественников-американцев любому, кто захочет.

«Еще один вопрос на повестке дня, — подумал он. — Узнать, что случилось с моей дочерью на родине в последние полгода. Но это мы отложим до следующей встречи».

Он вернул разговор в прежнее русло.

— Раз уж ты так много размышляла о моей карьере, — сказал он с легкой иронией, — то, может быть, посоветуешь, чем мне заняться?

— Есть масса разных вещей. Можешь преподавать, можешь пойти редактором в какое-нибудь издательство. В сущности, ты тем и занимался всю жизнь, что редактировал чужие рукописи. Можешь даже сам стать издателем. Или поселиться где-нибудь в тихом городке и открыть маленький театр. Или писать мемуары.

— Энн, — укоризненно сказал он, — я знаю, что я стар, но *не настолько же*.

— Есть уйма разных занятий, — упрямо повторила она. — Ты самый умный из всех, кого я знаю, и было бы преступлением, если бы ты дал сбросить себя, как битую карту, только потому, что люди, занимающиеся кино или театром, беспросветно глупы. Ты ведь не женат на кино. Христом богом клянусь, что Моисей сошел с Синая не для того, чтобы сказать «развлекайся».

Он засмеялся.

— Милая Энн, ты сделала винегрет из двух великих религий.

— Я знаю, что говорю.

— Может, и знаешь, — согласился он. — Может, в твоих словах есть доля правды. А может, ты и ошибаешься. В этом году я отчасти для того и приехал в Канны, чтобы принять какое-то решение, узнать, стоит ли мне оставаться в кино.

— Ну и что? — с вызовом спросила она. — Что же ты увидел, что узнал?

Что он увидел, что узнал? А увидел он много разных фильмов, хороших и плохих, в основном плохих. Его увлек этот карнавал, безумие кино. В залах, на террасах, на пляже, на званых вечерах киноискусство или кинопроизводство — называйте это как угодно — предстало перед ним за эти несколько дней в своей наготе. Тут были артисты и псевдоартисты, дельцы, аферисты, покупатели и продавцы, сплетники, проститутки, порнографы, критики, прихлебатели, герои года, неудачники года. И как квинтэссенция всего этого — фильм Бергмана и фильм Бунюэля, чистые и опустошающие.

— Ну, так что же ты узнал? — повторила свой вопрос Энн.

— Боюсь, что я на всю жизнь связан с кино — вот что я узнал. Когда я был маленьким, отец брал меня с собой в театр — бродвейский театр. Я сидел, не шевелясь, в кресле и ждал, когда погрузится во мрак зал и зажгутся огни рампы: я всегда боялся, как бы что-нибудь не случилось и не помешало этому. Но вот раздвигался занавес. В радостном волнении я крепко сжимал кулаки, заранее сострадавая тем, кого увижу на сцене. Только однажды наругал отца, и это произошло как раз в такой момент. Отец начал что-то говорить — не знаю что, — заставив меня тем самым выйти из состояния блаженства, и я сказал: «Пожалуйста, помолчи, папа». Кажется, он понял меня, потому что с тех пор больше не заговаривал, когда в зале гасли огни. Так вот теперь, сидя в бродвейском театре, я уже не испытываю такого чувства. Но оно появляется всякий раз, когда я покупаю билет и вхожу в полутемный кинозал. Не так уж плохо, если время от времени что-то заставляет сорокавосемилетнего человека переживать те же чувства, какие он испытывал мальчишкой. Может, поэтому я и придумы-

ваю для кино всяческие оправдания, поэтому и пытаюсь не придавать значения его неприглядным сторонам и низкопробной продукции. Тысячи раз, посмотрев какой-нибудь скверный фильм, я утешал себя мыслью, что за одну хорошую картину можно простить сотню плохих. Что игра стоит свеч.

Он не добавил, хотя теперь это знал — да и всегда, в сущности, знал, — что хорошие фильмы делают не для той публики, которая заполняет кинотеатры в субботу вечером. Их делают, потому что их нельзя не делать, потому что они нужны тем, кто их делает, как и вообще любое произведение искусства. Он знал, что и муки отчаяния, и то, что Энн назвала «жестокостью и непостоянством мира кино», и необходимость лавировать, обхаживать, добывать деньги, и больно ранящая критика, и несправедливость, и нервное истощение — все это неотделимо от безмерной радости, которую приносит процесс творчества. И пусть ты внес лишь скромную лепту, сыграл небольшую, второстепенную роль, все равно ты разделяешь эту радость. Теперь он понял, что сам наказывал себя, лишая в течение пяти лет этой радости.

Не доезжая до Антиба, он свернул на прибрежное шоссе.

— Я на всю жизнь связан с кино, — повторил он. — Таков диагноз. Ну, хватит обо мне. Признаюсь, я рад, что в нашей семье появился еще один взрослый человек. — Он взглянул на дочь и увидел, как она зарделась от этого комплимента. — Что ты о себе скажешь, кроме того, что уже достаточно образованна и хотела бы заботиться обо мне? Какие у тебя планы?

Она пожала плечами.

— Стараюсь понять, как выжить, став взрослой. Это, кстати, твое определение. А в остальном мне ясно одно: замуж я не собираюсь.

— Ну, что ж, — сказал он. — Кажется, начало многообещающее.

— Не смейся надо мной, — резко сказала она. — Ты всегда меня дразнишь.

— Дразнят только тех, кого любят. Но если тебе это неприятно, я не буду.

— Да, неприятно, — сказала она. — Я не настолько защищена, чтобы относиться к шуткам спокойно

Он понял, что это упрек. Если двадцатилетняя де-

вушка чувствует себя незащищенной, то кого в этом винить, если не отца? Пока они ехали от Ниццы до Антибского мыса, он многое узнал о своей дочери, но все это не слишком обнадеживало.

Они приближались к дому, который он снимал летом 1949 года, — дому, где была зачата Энн. Она никогда тут не бывала. «Интересно, — подумал он, — существуют ли воспоминания об утробной жизни, и если да, то заставят ли они ее оглянуться и обратить внимание на белое здание, стоящее среди зелени на холме?»

Она не оглянулась.

«Надеюсь, — подумал он, проезжая мимо дома, — что хоть один раз в жизни у нее будут три таких месяца, какие были в то лето у меня с ее матерью».

11

Они подъехали к отелю в тот момент, когда Гейл Маккиннон выходила из подъезда, так что Крейгу ничего не оставалось, как познакомиться ее с дочерью.

— Добро пожаловать в Канн. — Гейл отступила на шаг и бесцеремонно оглядела Энн. «Наглогато», — подумал Крейг. — А семья-то ваша все хорошеет, — сказала она.

Не желая углубляться в разговор о том, как приближается к совершенству семья Крейгов, он сказал:

— Ну, как там Рейнолдс? Все в порядке?

— Жив, наверно, — небрежно бросила Гейл.

— Разве вы у него не были?

Она пожала плечами.

— Зачем? Если он нуждался в помощи, то нашелся кто-нибудь и без меня. До скорой встречи, — сказала она, обращаясь к Энн. — Вечером одна не ходите. Попробуйте уговорить папу пригласить нас как-нибудь поужинать. — И, едва удостоив Крейга взглядом, она пошла дальше, покачивая висевшей на плече сумкой.

— Какая странная, красивая девушка, — сказала Энн, когда они входили в отель. — Ты с ней хорошо знаком?

— Я встретил ее всего несколько дней назад, — ответил Крейг. Что правда, то правда.

— Она актриса?

— Что-то вроде журналистки. Дай мне твой паспорт. Его надо оставить у клерка.

Он зарегистрировал Энн и подошел к портье за ключом. Там его ждала телеграмма. От Констанс.

«БУДУ МАРСЕЛЕ ЗАВТРА УТРОМ ОСТАНОВЛЮСЬ ОТЕЛЕ «СПЛЕНДИД». ПРИДУМАЙ ЧТО-НИБУДЬ НЕОБЫКНОВЕННОЕ. ЦЕЛЮЮ К.»

— Ничего не случилось? — спросила Энн.

— Нет. — Он сунул телеграмму в карман и пошел следом за служащим, который должен был провести Энн в ее номер. Администратор не сумел освободить комнату, смежную с «люксом» Крейга, поэтому Энн поселили этажом выше. «Ну и хорошо», — подумал он, входя с ней в лифт.

Вместе с ними в кабину вошел толстячок, с которыми Крейг уже встречался в лифте, и хорошенькая, совсем молоденькая девушка. Сегодня толстячок был в ярко-зеленой рубашке. Когда лифт тронулся, он сказал, видимо продолжая разговор:

— В Испании это ни за что не пройдет. — Он оценивающе оглядел Энн, потом уголком рта понимающе усмехнулся Крейгу.

Будь это не «Карлтон», а что-нибудь попроще, Крейг дал бы ему по носу. Вместо этого он сказал служащему:

— Я сойду на своем этаже. А вы проводите, пожалуйста, мою дочь в номер. Как устроишься, Энн, спускайся вниз.

Человек в зеленой рубашке опустил глаза и отдернул руку, которой держал хорошенькую девушку за локоть. Крейг злорадно ухмыльнулся и вышел из кабины.

У себя в гостиной он взглянул на программу сегодняшних просмотров. В три часа будет итальянский фильм, который его как раз интересовал. Он снял трубку и попросил соединить его с номером Энн.

— Энн! Сегодня днем любопытный фильм. Хочешь пойти со мной?

— Ой, папа! А я купальный костюм надеваю. Очень уж заманчиво море...

— Ну ладно. Желаю тебе приятного купанья. В начале шестого я вернусь.

Положив трубку, Крейг перечитал телеграмму Констанс и покачал головой. Не поехать в Марсель нельзя.

Взять с собой Энн тоже нельзя. Есть же границы и у общества вседозволенности. Но как оставить дочь в Канне одну, если она только что пролетела пять тысяч миль, чтобы побыть с ним? Вряд ли она почувствует себя после этого более защищенной. Придется изобрести для Констанс какое-то объяснение, чтобы вернуться не позже чем через день или два. *«Придумай что-нибудь необыкновенное».*

Недовольный собой, он подошел к камину, над которым висело зеркало, и внимательно всмотрелся в свое отражение. Энн сказала, что он плохо выглядит. Верно, под глазами — непривычно глубокие складки, лоб изрезан морщинами. Лицо бледное, даже изжелта-бледное, на верхней губе испарина. «Жаркий день сегодня, — подумал он. — Лето наступает, только и всего».

Психолог в Калифорнии сказал, что по тому, как ты выводишь на бумаге слова, можно предсказать твое будущее. Перемены, болезнь, даже смерть...

Во рту пересохло: он вспомнил, что в последнее время, когда встает со стула, у него иногда кружится голова, что ему не хочется есть...

— К черту, — громко сказал он. Прежде он никогда сам с собой не разговаривал. А это какой знак?

Он отвернулся от зеркала. «В нем есть какая-то суховатая эlegantность», — написала про него Гейл. Она не консультировалась с калифорнийским профессором.

Он прошел в спальню и устался на постель, теперь уже аккуратно застеленную, которую он прошлой ночью делил, если это можно так назвать, с этой девушкой. Придет ли она сегодня опять? Он вспомнил ее шелковистую кожу, благоухание волос, четкую округлость бедра. Если она постучится, он откроет.

— Идиот, — сказал он вслух. Возможно, это — симптом скрытого психического вывиха, признак наступающего одряхления, но звук собственного голоса в пустой комнате принес ему какое-то облегчение. — Просто кретин, — повторил он, глядя на постель.

Он умылся холодной водой, сменил мокрую от пота рубашку и отправился смотреть итальянский фильм.

Фильм — серьезный, растянутый, скучный — разочаровал его. В нем рассказывалось о группе анархистов, приехавших в начале столетия в Лондон во главе с сицилийским революционером. Судя по всему, сценарист и режиссер старались придать картине максималь-

ную достоверность, и было ясно, что люди, делавшие фильм, испытывают похвальную ненависть к нищете и несправедливости, однако сцены насилия, смерти и стрельба — все это показалось Крейгу мелодраматичным и безвкусным. За время своего пребывания в Канне он видел уже немало фильмов, посвященных революции того или иного рода, — фильмов, в которых банкиры из числа наиболее ярких республиканцев тратят миллионы долларов на пропаганду насилия и ниспровержения существующего строя. Что же движет этими подтянутыми, процветающими людьми в белых рубашках и пиджаках в талию, сидящими за большими голыми столами? Неужели, раз есть возможность заработать на мятеже, взрывах бомб в залах суда, поджогах гетто, они, эти благородные накопители, считают, что обязаны ради своих акционеров раскрыть сейфы, не думая о последствиях? А может быть, их цинизм заходит еще дальше, и эти мудрецы, держащие в руках рычаги власти, лучше всех знают, что еще ни один фильм не вызвал общественного переворота, и, что бы ни говорилось в зале, какие бы очереди ни стояли за билетами на самые подстрекательские фильмы, все останется по-прежнему и нигде не раздастся ни единого выстрела? И они смеются в своих клубах над взрослыми детьми, которые играют в «туманные картинки» на целлулоиде и которым они под конец дарят еще одну игрушку — деньги. Лично он, Крейг, ни разу еще не буйствовал, выйдя из кинотеатра на улицу. А разве он не такой, как все?

Является ли приметой старости то, что он, Крейг, остался при своем мнении, по-прежнему считая, что все эти безрассудные призывы к действию могут лишь стать причиной еще худшего зла, чем то, которое пытаются с их помощью искоренить?

Будь он двадцатилетним, как Энн, или двадцатидвухлетним, как Гейл, решил бы он на бунт, торжествовал бы он, замысливая гибель города?

Он вспомнил слова Слоуна о повозках для осужденных на казнь, о Версале в ночь перед взятием Бастилии. На чьей стороне он будет в тот день, когда по его улице загромяхают повозки? И с кем пойдет Энн? А Констанс? А Гейл Маккиннон? А его жена?

Нет, этот итальянский фильм нельзя смотреть человеку, который только что объявил своей дочери, что на

всю жизнь связал себя с кино. Мертворожденный, в художественном отношении ничего собой не представляющий, а вернее — просто дрянной и к тому же скучный. В нем нет даже подлинного трагизма, на фоне которого его собственные проблемы приобрели бы соответствующий масштаб, а его мелкие личные дела, запутанные отношения с женщинами, творческие блуждания показались бы ничтожными и успокоительно непоследовательными.

Он не досмотрел до конца, вышел из кинозала и, чтобы восстановить душевное равновесие, попробовал вспомнить кадр за кадром фильма Бунюэля и Бергмана, которые видел на этой неделе.

Солнце припекало, и Крейг, полагая, что Энн еще купается, спустился в поисках ее на пляж у отеля «Карлтон». Широкоплечая, с прекрасно развитыми формами, в узеньком бикини, она сидела за столиком у бара. Как отец, он предпочел бы видеть ее в менее откровенном костюме. Рядом с ней сидел Йен Уодли в плавках. Напротив расположилась Гейл Маккиннон; на ней было то же розовое бикини, в котором Крейг видел ее у Мэрфи. Крейгу стало стыдно, что он предоставил Энн самой себе, не подыскав ей компании.

Йен Уодли не слишком утомлял себя хождением в кино: кожа у него была такая же загорелая, как и у обеих девушек. В своих узковатых костюмах он выглядел полным, почти обрюзгшим, но сейчас, без одежды, тело его оказалось плотно сбитым, сильным, внушительным. Он чему-то смеялся и размахивал рукой, в которой держал стакан. В первую минуту никто из них Крейга не заметил, и он решил было повернуться и уйти. Слишком уж напоминала ему эта тройка вечно улыбающегося итальянского актера и двух его подружек.

Но он пересилил себя: это было бы ребячеством, дурным тоном — и подошел к столику. Гейл возилась со своим магнитофоном, и Крейг с беспокойством подумал, не брала ли она интервью у его дочери. Он забыл сказать Энн, чтобы она никаких интервью не давала. Но тут он услышал:

— Спасибо, Йен. Я уверена, что радиослушателям в Соединенных Штатах это понравится. Только не знаю, пустят ли вас после этого в Канн.

— А зачем лицемерить? — возразил Йен. — К черту politesse¹. Называть вещи своими именами — таков мой девиз.

«О господи, — подумал Крейг. — Опять он на своем любимом коньке».

— Добрый вечер, друзья.

— Привет, Джесс! — прогудел Йен. Голос у него был такой же могучий, как и его бронзовый торс. В присутствии двух хорошеньких девушек он стал другим человеком. — А я как раз рисовал этим очаровательным юным дамам закулисную сторону кинофестивалей. Кто что продает, кто кого покупает, какими тайными и грязными путями получают «Золотые пальмовые ветви». Садись, отец. Что будешь пить? Официант! Garçon!

— Ничего не надо, спасибо, — ответил Крейг. В слове «отец» таилась ирония. Он сел рядом с Гейл, напротив Энн. — Что ты пьешь? — спросил он дочь.

— Джин с тоником.

Он ни разу не видел, чтобы она пила спиртное. Прежде, когда за обедом он предлагал ей вино, она отказывалась, говоря, что оно невкусное. Видимо, джин больше подходит для молодежи.

— Весьма любезно с твоей стороны, отец, ввозить поклонниц из-за морей и океанов, не жалея затрат, — сказал Йен.

— Ты это о чем? — спросил Крейг.

— Я читала его романы, — сказала Энн. — Они включены в курс современной литературы.

— Видал? — сказал Уодли. — Я в списке обязательной современной литературы. Ученые девы целого континента жгут свечи по ночам, изучая Йена Уодли. Представляешь? На унылой и безотрадной гальке Канна я встретил читательницу.

— Я тоже прочла две ваши книжки, — вставила Гейл.

— Похвалите их, милая, похвалите, — сказал Уодли.

— В общем, ничего.

— Бедная девочка, — весело сказал Уодли. — Наверно, вы завалили этот курс на экзамене.

Уодли был отвратителен, и все же Крейга невольно покорило такое пренебрежение Гейл к делу жизни этого человека.

— Вам следовало бы, пожалуй, перечитать его книги,

¹ Вежливость (франц.)

Гейл, — сказал он. — Когда повзрослеете. — На этот раз он мог извлечь выгоду из разницы в годах. — Тогда, надо полагать, вы отнесетесь к ним благосклоннее.

— Вот спасибо, — сказал Уодли. — А то уж очень молодежь насеждает.

Гейл улыбнулась.

— Я не знала, что вы такие близкие друзья. Извините, Джесс, я только задам маэстро еще два-три вопроса и потом предоставлю его в ваше полное распоряжение...

— Простите, — сказал Крейг, вставая. — Я не хотел вам мешать. Я искал Энн. Тебе пора в отель, Энн. Прохладно становится.

— Мне бы хотелось дослушать до конца, — возразила Энн. — Мне не холодно.

— Оставайся и ты, Джесс, — предложил Уодли. — В присутствии братьев по искусству я красноречив, как никогда.

Крейгу почему-то не хотелось оставлять Энн с Гейл Маккиннон.

— Благодарю за приглашение, — сказал он, опускаясь снова на стул. — Ну, раз уж я здесь, закажу себе виски.

— Еще два, — сказал Уодли проходившему мимо официанту, подняв пустой стакан. Затем повернулся к Гейл и добавил: — Валяйте.

Гейл включила магнитофон.

— Мистер Уодли, в начале интервью вы сказали, что положение писателя, работающего в кино, становится все хуже и хуже. Не остановитесь ли вы на этом подробнее?

Крейг заметил, с каким вниманием и восхищением следит его дочь за работой Гейл. Он и сам вынужден был признать, что вопросы она задает как профессионал, а голос у нее звучит приятно и естественно.

— Видите ли, — начал Уодли, — сейчас писатель, работающий в кино, могуч, как никогда. Я говорю о сценаристе, который сам же и ставит и, следовательно, контролирует конечный результат. Он пользуется вниманием критики, ему же достается и финансовое вознаграждение. Однако если сценарист остается просто сценаристом, то его уже никто не замечает. — Уодли говорил теперь серьезно, не дурачился и не изображал перед девушками великого человека. — Вот вам пример: на этом фестивале присуждаются премии актерам, ре-

жиссерам, композиторам, операторам и так далее, но нет ни одной для сценаристов. Это новая тенденция, возникшая главным образом в результате принятия критиками теории авторского кинематографа.

Крейгу стало ясно, что все это он заранее написал. Видимо, это была статья, которую он безуспешно предлагал десятку журналов.

Гейл выключила магнитофон.

— Не забывайте, Йен, что передача предназначена для американских радиослушателей. Наверно, им надо кое-что объяснить, как вы думаете?

— Да, вы правы, — согласился Уодли и отхлебнул виски.

— Я сейчас задам вам вопрос. — Гейл снова включила магнитофон. — Не объясните ли вы нам, что это за теория, мистер Уодли?

— Теория авторского кинематографа, — сказал Уодли, — очень проста. Она основана на убеждении, что фильм делает один человек — режиссер. Что подлинный автор произведения — это, в конечном счете, человек, стоящий за камерой, что фильм, в сущности, создается при помощи кинокамеры.

— Вы согласны с этой теорией?

«Похоже на игру, — подумал Крейг. — Маленькая девочка в мамином платье или в данном случае — в мамином бикини пришла в папин кабинет, уселась за его стол и говорит в селектор».

— Нет, — ответил Уодли. — Конечно, есть такие режиссеры, которые являются в полном смысле слова авторами своих фильмов, но это значит, что они выступают сразу в двух ролях: и режиссера, и сценариста. Если их работа заслуживает поощрения, то премий должно быть две: одна за сценарий, другая за режиссуру. Но в Америке, по правде говоря, таких наберется человек пять-шесть, не больше. Однако, поскольку режиссер — зверь, склонный к самообману, очень многие из них считают себя писателями и навязывают свою писанину публике.

«Старая песня», — подумал Крейг.

— Нам повезло, — спокойно сказала Гейл в микрофон. — С нами вместе на каннском пляже находится сейчас известный продюсер Джесс Крейг. Разрешите спросить вас, мистер Крейг, вы согласны с мистером Уодли? И если не согласны, то почему?

Рука Крейга судорожно сжала стакан.

— Бросьте ваши шутки, Гейл.

— Ну, папа, — взмолилась Энн. — Скажи что-нибудь. В машине-то ты целых полчаса говорил со мной о кино. Не упрямясь.

— Выключите эту чертову машину, Гейл, — потребовал Крейг.

Гейл не шевельнулась.

— Ничего страшного. Потом склею то, что мне нужно, а остальное выброшу. А может быть, — добавила она с милой улыбкой, — я выпущу в эфир Энн, раз уж не могу записать вас. Признания дочери монарха, отрекшегося от престола. Жизнь и любовные приключения того, кто пришел на смену Последнему магнату¹, увиденные ясными юными глазами самого близкого и дорогого ему существа.

— Хоть сейчас, — сказала Энн.

— Уверен, что ваши слушатели в Пеории, — Крейг старался сдержать раздражение и говорить небрежным тоном, — ждут затаив дыхание именно этой программы. — «Ничего, моя милая, я еще сотру с твоих губ эту улыбочку», — подумал он. Теперь он понял — впервые в жизни — тех писателей, которые рассматривают мужскую силу как орудие возмездия.

— Будем иметь это в виду, Энн, — сказала Гейл. — Хорошо? Так вот, мистер Уодли... — Она снова заговорила профессиональным тоном. — Несколько дней назад мы беседовали на эту же тему с мистером Крейгом, и, когда я спросила его, почему он не поставил ни одного фильма, а был лишь продюсером, он ответил, что не считал себя достаточно хорошим режиссером, что в Голливуде найдется как минимум человек пятьдесят, которые, по его мнению, справятся с этой работой лучше его. Можно ли сказать, — продолжала Гейл, дерзко глядя на Крейга, так что ему, если и не всем остальным, было совершенно ясно, что она над ним издевается и, защищенная присутствием посторонних, рассчитывает на безнаказанность, — можно ли сказать, что та же похвальная скромность мешает и вам стать за камеру?

— Дерьмо это все, — сказал Крейг. — Дерьмо, дерьмо. Так и запишите и отправьте в Америку.

¹ Имеется в виду герой одноименного незаконченного романа Скотта Фицджеральда о Голливуде.

— Папа! — изумленно воскликнула Энн. — Что с тобой?

— Ничего. Просто я не люблю, когда мне ставят ловушки. Я даю интервью, когда мне хочется, а не когда хочется другим. — Он вспомнил, какой заголовок Гейл собиралась дать своей статье: «Человек с несостоявшимся будущим», но сказать об этом Энн не мог. Не мог он сказать ей и того, что спал с этой невозмутимо улыбающейся девушкой в розовом купальном костюме прошлой ночью и будет спать этой ночью, если удастся.

— Надеюсь, вы не забыли моего вопроса, мистер Уодли, — сказала Гейл. — Объясняется ли скромностью — как это было в случае с мистером Крейгом — то, что вы не поставили ни одного фильма по своему сценарию?

— Какая там к черту скромность, — ответил Уодли. — Если бы я не знал, что способен на большее, чем девяносто девять процентов этих тупиц, то застрелился бы. Просто эти мерзавцы в дирекциях киностудий не хотят меня брать.

— На этом мы заканчиваем нашу программу, — сказала Гейл в микрофон. — Благодарю вас, мистер Уодли, за откровенный и весьма содержательный рассказ о проблемах писателя, работающего в кино. Сожалею, что мистера Крейга неожиданно отвлекли, поэтому он не смог поделиться с нами своим богатым опытом в этой области. Надеюсь, в скором будущем нам посчастливится провести с мистером Крейгом — очень занятым человеком — побольше времени. Передачу с Каннского фестиваля вела Гейл Маккиннон. — Она выключила магнитофон и улыбнулась ясной, невинной улыбкой.

— Ну вот, еще немножко заработали. — Она принялась укладывать магнитофон в футляр. — *Странный* у вас папочка, правда? — сказала она, обращаясь к Энн.

— Я тебя не понимаю, — сказала Энн. — Я думала, вы друзья.

«Друзья бывают разные», — подумал Крейг.

— Ну какой был бы вред, если бы ты что-то сказал? — настаивала Энн.

— А от того, чего не сказал, вреда уж точно не будет, — заметил Крейг. — Когда-нибудь ты это поймешь. Черт возьми, Йен, для чего тебе все это понадобилось? Ты отдаешь себе отчет?

— Конечно, — ответил Йен. — Я тщеславный, а это

штука серьезная. Ты, я знаю, выше таких человеческих слабостей.

— Ничего я не выше, — сказал Крейг. Разговор этот он затеял не ради себя, а ради Энн, в воспитательных целях. Он не хотел, чтобы и ее захватила американская страсть к рекламе, самовосхвалению, лести, к бойкой легковесной болтовне по телевидению, истинное назначение которого — рекламировать автомобили, дезодоранты, моющие средства, политических деятелей, пилюли от несварения желудка и от бессонницы. — Знаешь, почему Гейл занимается этой ерундой, Йен?

— Поосторожней, поосторожней, — насмешливо сказала Гейл.

— Потому что она зарабатывает себе этим на жизнь, и, быть может, ее способ зарабатывать не постыдней нашего с тобой...

— Благослови вас бог, папочка, — сказала Гейл.

«Нет, сегодня ночью я запру-таки дверь, — подумал Крейг. — И заткну уши ватой». Он заставил себя отвести взгляд от миловидного дразнящего лица девушки и обратился к Уодли:

— Чего ты рассчитывал добиться своей трепотней? Я серьезно спрашиваю. Мне хочется знать. Может быть, ты меня в чем-то убедишь?

— Ну, что ж, — сказал Йен. — Прежде всего, пока тебя здесь не было, славная Гейл похвалила слушателям мои книги. Эта любезная маленькая обманщица сумела сказать доброе слово о каждой из них. Вдруг кто-нибудь, прослушав передачу, пойдет в книжный магазин, чтобы купить несколько штук, а то и все. А поскольку все книги распроданы, какой-нибудь издатель, глядишь, выпустит собрание моих сочинений в мягкой обложке. Не разыгрывая из себя святого, Джесс. Когда ты выпускаешь фильм, то хочешь, чтобы люди посмотрели его, верно?

— Верно, — согласился Крейг.

— Тогда чем же мы тут друг от друга отличаемся?

— Включить машину, Джесс? — спросила Гейл. — Я мигом. Мы можем начать интервью сию же минуту.

— У меня нет сейчас фильмов, и реклама мне не нужна, — сказал Крейг. — Так что оставьте вашу машину в покое.

— Или вдруг эту передачу услышит какой-нибудь продюсер или режиссер, — продолжал Уодли. — Услышит и скажет: «А я думал, что этот малый уже помер. Но раз

он жив, может, он-то и должен писать сценарий для моего следующего фильма». Все мы в руках случая — ты, я, Гейл, даже вот эта прелестная девушка, оказавшаяся твоей дочерью. Одно движение стрелки по шкале радиоприемника может решить судьбу такого человека, как я.

— И ты действительно в это веришь? — спросил Крейг.

— А во что же еще, по-твоему, мне верить? — с горечью отозвался Уодли. — В то, что кто-то оценит меня по достоинству? Не смейся, пожалуйста.

— Я запоминаю все, что вы говорите, — сказала Гейл. — Потом мне это наверняка для чего-нибудь пригодится. Например, для того, что я пишу о вас, Джесс. Общественный деятель, уклоняющийся от общественной деятельности. Всерьез ли это, спрошу я своих читателей, или же тут хитрая игра, желание возбудить к себе интерес, заинтриговать, отталкивая все предложения? Не разоблачает ли этого человека вуаль таинственности больше, чем лицо, которое она прикрывает?

— Мистер Уодли прав, — вмешалась Энн. — Он написал замечательные книги, а им пренебрегают. Сейчас я внимательно слушала его интервью. Он сказал много такого, что людям нужно знать.

— Я говорила Энн, что из вас трудно что-нибудь вытянуть, — заметила Гейл.

— Я вижу, вы, девушки, за эти два часа о многом поговорили, — недовольно пробурчал Крейг.

— Мы сразу нашли общий язык, — сказала Гейл. — Разрыв между поколениями двадцатилетних и двадцатидвухлетних был ликвидирован в одно мгновение.

— Люди твоего возраста, папа, вечно жалуется, что молодежь их не понимает, — вставила Энн. — А когда тебе предоставляют возможность сказать свое слово целым ордам людей всех возрастов, ты отказываешься.

— Для меня средство коммуникации — фильм, — сказал Крейг, — а не публичное самообнажение.

Лицо Гейл стало серьезным.

— Иногда мне кажется, мистер Крейг, что вы нелестно обо мне думаете.

Крейг встал.

— Иду к себе. — Он вынул из кармана бумажник. — Сколько ты выпила, Энн?

— Не беспокойся, — небрежно махнул рукой Уодли. — Я заплачу.

— Благодарю, — сказал Крейг и подумал: «Из тех трехсот долларов, что я дал ему на поездку в Испанию». — Пошли, Энн?

— Искушаюсь еще раз напоследок.

— Я тоже, — сказала Гейл. — У меня сегодня горячий денек.

— И я с вами, девочки, — сказал Уодли. — В случае чего вы меня спасете. Да, вот что, Джесс. — Он допил виски и встал. — Я предложил поужинать сегодня всем вместе. Соберемся часов в восемь в баре?

Крейг взглянул на Энн: она смотрела на него умоляющими глазами. «Все, что угодно, — подумал он, — только не ужинать с папой наедине».

— Ты не собираешься писать о сегодняшнем фильме в своей статье? — спросил он Уодли.

— Я прочел краткое содержание. Что-то там о разведении соколов в Венгрии. Думаю, его можно не смотреть. Моих гомиков в Лондоне венгерские соколы не очень интересуют. Если вдруг окажется, что фильм стоящий, то позаимствую материал из «Монд». Так, значит, в восемь?

— Проверю, нет ли у меня других встреч, — сказал Крейг.

— Мы будем в баре, — сказала Энн. — А сейчас — купаться!

Крейг проводил девушек взглядом: одна высокая, другая маленькая, обе быстрые, юные — два силуэта на фоне вечернего неба, — они пробежали по пляжу и кинулись в море. Уодли последовал за ними — Крейг удивился, что он может так быстро бегать, — и с шумным всплеском погрузился в воду.

Крейг медленно поднялся с пляжа на набережную. Когда он ступил на мостовую, вывернувшаяся из-за поворота машина чуть не сбила его. Завизжали тормоза, закричал полицейский. Крейг вежливо улыбнулся полицейскому, словно извиняясь за то, что его едва не задавили.

В холле он взял ключ и спросил, нет ли ему записки. Ничего не было. И Клейн не звонил. Ну конечно, рано еще. В прежние времена, когда Джесс посылал кому-нибудь сценарий, ему звонили через три часа.

На пути к лифту он встретил Рейнолдса. На голове у Рейнолдса была свежая повязка, над глазом — огромная зеленовато-желтая шишка, щека — со следами запекшейся крови, словно его волокли лицом по битому стеклу.

— Я Гейл ищу, — сказал, не здороваясь, Рейнолдс. — Вы ее не видели?

— Плывет в сторону Туниса, — сказал Крейг. — А как вы себя чувствуете?

— Приблизительно так же, как выгляжу, — ответил Рейнолдс.

— В мире кино осторожность никогда не вредит, — сказал Крейг и вошел в лифт.

12

В любой компании, даже маленькой, всегда находится человек, служащий центром притяжения, основой ее существования как единого целого — без него она была бы просто скоплением не связанных друг с другом людей. Именно таким центром, по мнению Крейга, была в тот вечер Гейл Маккиннон. Энн, явно очарованная Гейл, живо реагировала на каждое ее слово, обращалась к ней чаще, чем к остальным, и, даже говоря что-нибудь Крейгу или Уодли, поглядывала на Гейл, словно искала ее поддержки. Когда они шли из отеля в ресторан, Крейга позабавило и одновременно раздосадовало то, что Энн, сознательно или бессознательно, чуть-чуть подражала смелому, размашистому шагу Гейл. Но это все же лучше, чем ее обычная скованная, по-детски неуклюжая походка.

Для Уодли Гейл была аудиторией. В последние годы люди не часто баловали его вниманием, и теперь он разговаривался вовсю.

Что касается Крейга, то он пришел сюда только ради Гейл. Да, именно так. Наблюдая за ней через столик, он чувствовал, что его захватило не только кино. «А здесь я для того, чтоб отделаться от этого „наваждения“», — подумал он.

Большей частью он молчал, слушал. Когда заговаривала Гейл, он искал в ее словах какой-нибудь намек,

сигнал, осторожное обещание, решительный отказ. Но ничего не улавливал.

«Завтра я забуду ее в объятиях Констанс», — сказал он себе.

Уодли старательно изображал хозяина стола: заказывал вина и советовал девушкам, какие выбирать блюда. Они ужинали в том самом ресторане старого порта, где Крейг видел Пикассо. «Если Уодли собирается платить из своего кармана, — думал Крейг, — то денег у него останется после этого разве что на поездку в Тулон. О Мадриде нечего и думать».

Уодли пил сверх меры, но пока без видимых последствий. На этот раз на нем был хорошо скроенный серый костюм, темная рубашка и новый полосатый галстук.

Гейл была очаровательна — в розовых облегающих чесучовых брюках и кофточке из тонкого шелка. Волосы она зачесала кверху, что придавало ее лицу взрослый, не соответствующий стройной юной шее вид.

Энн, бедняжка, пришла в ужасном, чересчур коротком платье из желтого органди, которое колом торчало вокруг ее длинных ног. В нем она выглядела неуклюжей школьницей, нарядившейся на свой первый бал.

Крейг осмотрелся вокруг: посетителей в ресторане было еще немного, но, судя по табличкам на столиках, зал будет скоро забит. «Может быть, Энн повезло и один из столиков предназначен для Пикассо», — подумал он.

В зал вошли двое молодых людей: один нес львенка, другой — фотоаппарат «Полароид»; Крейг уже видел их на набережной Круазетт и в прилегающих кафе. Когда они приблизились к столику, Крейг сделал им знак отойти.

— В ресторане с такими ценами следовало бы избавить нас от львов, — сказал он.

Однако Уодли взял у молодого человека львенка и посадил на стол между Гейл и Энн.

— Снимите их с царем зверей. Я всегда питал слабость к укротительницам львов. Мечтаю предаться любви с женщиной в трико, расшитом блестками, прямо в клетке.

«Уодли непременно должен поставить человека в неловкое положение перед собственной дочерью», — подумал Крейг.

Вспышки блиц-лампы раздражали львенка, и он ворчал, пока фотограф не перестал нацеливать сним-

ки. Гейл рассмешило это проявление свирепости у дятельныша.

— Приходи к нам, когда вырастешь большой, сынок, — сказала она, глядя львенка.

— Где-то я слышал, что многие погибают уже на втором месяце, — сказал Крейг. — Не выносят они такого обращения.

— А кто выносит? — спросил Уодли.

— Ну тебя, папа, — сказала Энн. — Не порти ты нам настроение.

— Я увлекаюсь экологией, — пошутил Крейг. — Хочу, чтобы львы не вымерли во Франции. И чтобы каждый год они съедали некоторое количество французов.

Фотограф достал из аппарата снимки. Они были цветные. Рядом с рыжевато-коричневым львенком, щерившимся среди бокалов, белокурая Энн и темноволосая Гейл выглядели весьма эффектно. Крейг с тревожным чувством заметил, что Энн на глянцевой фотографии похожа на мать, только волосы у нее светлее.

Помощник фотографа взял со стола львенка, и Уодли щедро расплатился. Один снимок он подарил Гейл, другой — Энн.

— Когда я буду стар, сед и слаб и на меня нападет хандра, я позову кого-нибудь из вас к своему креслу-качалке и попрошу показать эту фотографию. Пусть она напомнит мне об одном счастливом вечере, когда я был молод. Отец, ты заказал вина?

Когда Уодли разливал вино, Крейг вдруг увидел Натали Сорель, только что вошедшую в ресторан в сопровождении высокого, изысканно одетого мужчины с серебристой проседью в волосах. «Лет пятьдесят пять-шестьдесят, — прикинул Крейг, — как бы там ни старались парикмахер, массажист и лучшие портные сделать его моложе». Рядом с ним Натали, в платье, выгодно подчеркивавшем ее тонкую талию и изящные бедра, выглядела хрупкой и беззащитной.

Хозяйка ресторана повела их в глубь зала, как раз мимо столика Крейга. Крейг заметил, что Натали быстро взглянула на него, отвела глаза, потом, должно быть, решила не останавливаясь пройти мимо, но в последний момент все же передумала.

— Джесс! — воскликнула она и, взяв своего спутника под руку, задержала его. — Какая приятная встреча! — Крейг встал, Уодли — тоже. — Это мой жених Филип

Робинсон. — Крейг надеялся, что в том, как она произнесла слово «жених», только он один уловил предостерегающие нотки. — А это — Джесс Крейг.

Крейг пожал жениху руку и представил ему всех остальных. Энн встала. Гейл осталась сидеть. Крейг пожалел, что его дочь в таком платье. Ладонь у мужчины была сухая и гладкая. Лениво-добродушная техасская улыбка, здоровый цвет лица, как у человека, проводящего много времени на открытом воздухе. Натали говорила, что он фабрикант, но по его виду этого не скажешь.

— Кажется, в этом городе Натали всех знает, — заметил Робинсон, ласково дотрагиваясь до ее руки. — Мне трудно запомнить сразу, как кого зовут. Но ваши фильмы я, по-моему, видел, мистер Крейг?

— Надеюсь, что да, — сказал Крейг.

— «Два шага до дома», — поспешно подсказала Натали. — Это была последняя картина. — Ей хотелось всех оградить от неприятностей.

— О да, конечно, — сказал Робинсон. У него был сочный уверенный голос. — Она мне очень понравилась.

— Благодарю вас, — сказал Крейг.

— Я не ослышался? — обратился Робинсон к Уодли. — Вы писатель?

— Было дело, — ответил Уодли.

— Ваша книга вызвала у меня подлинное восхищение, сэр. Огромное.

— Это которая? — спросил Уодли.

Робинсон немного смутился.

— Ну, та, про мальчика, выросшего на Среднем Западе и...

— Это моя первая книга. — Уодли сел. — Я написал ее в пятьдесят третьем году.

— Пожалуйста, садитесь, — поспешно сказала Натали. — Садитесь.

Энн села, но Крейг продолжал стоять.

— Нравится вам в Канне, мистер Робинсон? — спросил он, переводя разговор с опасной литературной темы на более спокойную, банальную тему туризма.

— Я уже бывал здесь, конечно, — сказал тот. — Но впервые, так сказать, заглянул за кулисы. Благодаря Натали. Совсем другое впечатление. — Он отечески хлопнул ее по руке.

«Ты и не представляешь себе, братец, как глубоко за

кулисы ты забрался», — подумал Крейг, изображая на лице светскую улыбку.

— Надо сесть, милый, — сказала Натали. — А те хозяйка нас ждет.

— Надеюсь скоро снова увидеть всю вашу милую компанию, — сказал Робинсон. — Вас, мистер Крейг, и вашу прелестную дочку, и вас, мистер Уодли, и вашу...

— А я — не дочка, — заметила Гейл, жуя сельдерей.

— Она не поддается определению, — сказал Уодли. Тон у него был враждебный.

Робинсон был явно неглуп: лицо его стало жестким.

— Приятного аппетита, — сказал он и, пропустив Натали вперед, направился к столику, приготовленному для них хозяйкой.

Крейг смотрел, как Натали пробирается между рядами столиков своей легкой, слегка покачивающейся, танцующей походкой, которую он никогда не забудет. Хрупкая, изящная, созданная для того, чтобы радовать глаз мужчины, вызывать желание. Отважная и хитрая.

Когда оказываешься в таком месте, не удивительно, что в твоём сознании возникают обрывки прошлого, вызывая ностальгию, становясь, хотя бы на короткое время, частью настоящего. Глядя на Натали Сорель — прелестную, незабываемую, уходившую от него под руку с другим мужчиной в глубь зала, — он спросил себя: по какому капризу судьбы заявляет на него сегодня свои права та часть его прошлого, что воплощена в образе Йена Уодли, а не та, что воплощена в образе Натали Сорель?

Он сел на место, чувствуя на себе насмешливый, понимающий взгляд Гейл.

— «Я не ослышался? Вы писатель?» — сказал Уодли, подражая техасской манере Робинсона слегка растягивать слова.

— Тише, — сказал Крейг. — Ресторан ведь маленький.

— «Ваша книга вызвала у меня подлинное восхищение, сэр», — не унимался Уодли. И, помолчав, с горечью добавил: — Я пишу уже двадцать лет, у меня восемь книг, а ему, видите ли, понравилась моя книга.

— Успокойся, Йен, — сказал Крейг.

Но вино уже начало действовать.

— И всегда люди вспоминают только про мою первую книгу. Ту самую, которую я написал, едва умея водить пером по бумаге. Эта книга мне до того осто-

чертела, что в свой ближайший день рождения я сожгу ее на площади. — Он наполнил до краев бокал и даже пролил часть вина на скатерть.

— Если это поднимет вам настроение, — сказала Энн, — мой профессор английского языка и литературы сказал, что вторая ваша книга — самая лучшая.

— Дерьмо он, ваш профессор. Что он понимает?

— Очень даже понимает, — с вызовом сказала Энн. Крейга обрадовало, что его дочь обладает этим редким достоинством — умением не пасовать во время застольной беседы. — А еще он сказал...

— Ну что, что? Я сгораю от любопытства, — сказал Уодли.

— Он сказал, что книги, которые вы написали с тех пор, как перебрались за границу, довольно неудачные. — При этих словах Энн упрямо выпятила подбородок. Крейг вспомнил, что так она делала еще в детстве, когда упорствовала и хотела настоять на своем. — Что вы губите свой талант и вам следовало бы вернуться в Америку...

— Так он и сказал?

— Так и сказал.

— И вы с ним согласны? — спросил Уодли намеренно спокойным, ледяным тоном.

— Да, согласна.

— Оба вы дерьмо.

— Если ты будешь так разговаривать, — сказал Крейг, — то мы с Энн уйдем. — Он понимал, что Уодли, захмелев, потерял управление, что он может пойти на любой скандал, лишь бы помучить себя, ибо ему разбредили самую большую рану; но Крейгу не хотелось делать Энн объектом слепой ярости Уодли.

— Прекратите, Йен, — резко сказала Гейл. — Мы не можем рассчитывать на то, что весь мир будет вечно нас обожать. Будьте же взрослым мужчиной, черт побери. Будьте писателем, профессиональным писателем, или идите зарабатывать себе на жизнь чем-нибудь другим.

Крейг был уверен, что, если бы эти слова сказал он, последовала бы взрыв. Но Уодли только поморгал глазами, потряс головой, точно вынырнул из воды, поглядел на Гейл и ухмыльнулся.

— Устами младенцев... — пробормотал он. — Извините меня, друзья. Надеюсь, вам нравится в Канне. Хочу еще рыбы. Официант... — Он помахал рукой официанту,

спешившему мимо с дымящейся супницей на подносе. — Закажем на сладкое суфле? — сказал Уодли тоном гостеприимного хозяина. — Насколько я знаю, здесь отличное суфле. «Гран Марнье» или шоколадное?

Дверь ресторана отворилась, и в зал, как всегда стремительно, влетел Мэрфи, будто вышибала, спешащий разнять дерущихся. Следом за ним вошли Соня Мэрфи, Люсьен Дюллен и Уолтер Клейн. «Ну, сошлись два клана, — подумал Крейг. — Встреча вождей на высшем уровне». Он слишком долго жил в Голливуде, чтобы не удивляться, видя за дружеским обеденным столом людей, которые в другое время поносят друг друга последними словами. В этом тесном мире соперничества каналы связи должны всегда оставаться открытыми. Крейг был уверен, что Мэрфи не скажет Клейну о том, что читал «Три горизонта», а Клейн не скажет Мэрфи, что рукопись у него на столе. Вожди осмотрительны и расставляют свои боевые порядки под покровом тьмы. Тем не менее он облегченно вздохнул, когда хозяйка ресторана посадила их поблизости от входа, на достаточном расстоянии от его столика.

Много лет назад, когда дела у Уодли шли хорошо, Мэрфи был его агентом-посредником. Но потом, с наступлением плохих времен, Мэрфи отказался от своего клиента, и Уодли, как и следовало ожидать, отнюдь не питал к нему теплых чувств. Окажись их столики рядом, атмосфера в ресторане установилась бы далеко не дружественная, особенно если учесть, что Уодли уже изрядно выпил.

Но Мэрфи, привыкший при входе в любое помещение обшаривать его глазами, как корабельными радарами, нащупал Крейга и, пока его компания усаживалась за столик, стремительно двинулся к нему по центральному проходу.

— Добрый вечер всем! — сказал он, улыбаясь девушкам и неуловимо давая понять, что его приветствие не относится к Уодли. — Я пять раз звонил тебе сегодня, Джесс. Хотел пригласить поужинать.

В переводе на обычный язык это означало, что Мэрфи позвонил один раз, услышал в трубке два длинных гудка и тут же положил ее, поскольку ничего важного сообщить не собирался. Он даже поленился еще раз

набрать номер телефона и попросить телефонистку передать Крейгу, кто ему звонил. А может, и вообще не звонил.

— Я ездил в Ниццу, — сказал Крейг. — Встречал Энн.

— Господи, неужели это Энн? — воскликнул Мэрфи. — А я все гадаю, где ты отыскивал такую красотку. Ведь, кажется, совсем недавно была костлявой веснушчатой девчонкой — и нате вам!

— Здравствуйте, мистер Мэрфи, — без улыбки сказала Энн.

— Соня была бы рада на тебя посмотреть, Энн. Знаешь что? Почему бы тебе вместе с мисс Маккиннон и твоим отцом не приехать к нам завтра в Антиб на ужин?

— Завтра меня в Канне не будет, — объявил Крейг. — Я уезжаю. — И, почувствовав на себе вопросительный взгляд Энн, добавил: — Дня на два, не больше. Встретимся, когда вернусь.

— Зато я никуда не уезжаю, Мэрф, — сказал Уодли. — Так что завтра можешь мной располагать.

— Заманчивая перспектива, — сухо произнес Мэрфи. — Ну пока, Джесс. — Он отвернулся и пошел к своему столику.

— Милостивый благодетель богатых Брайан Мэрфи, ходячий биографический справочник. Отлично, Джесс, я рад, что ты еще в нем числишься, — сказал Уодли деланно простодушным тоном. Он хотел было продолжать, но осекся, увидев, что Мэрфи идет обратно.

— Джесс, — сказал Мэрфи, — забыл тебе сказать. Ты читал сегодняшнюю «Трибюн»?

— Нет, — ответил Крейг. — А что?

— Вчера Эдвард Бреннер умер. Пишут, что от сердечного приступа. Сообщение краткое, но вполне пристойное. Как обычно: «После первого успеха он исчез с театрального горизонта» и так далее. И тебя упомянули.

— А что обо мне сказано?

— Просто, что ты был продюсером его первой пьесы. Купи газету и почитай. У тебя есть его адрес? Хочу послать семье телеграмму.

— Есть старый. Утром дам.

— О'кей, — сказал Мэрфи и ушел.

— Он был твой друг, папа? — спросила Энн. — Эдвард Бреннер?

— В последнее время — нет. — Крейг чувствовал на себе испытующий взгляд Гейл.

— Вытрем наши слезы, — сказал Уодли. — Еще одного писателя не стало. Официант! *Encore une bouteille*¹. Выпьем за горемыку.

Старый друг или старый враг — одно лишь имя осталось в отслужившей свое адресной книжке — умер по ту сторону океана, и теперь требовалось соблюсти ритуал, отметить скорбное происшествие. Но Крейг лишь поднес к губам бокал с вином, когда Уодли провозгласил небрежный тост: «За мертвых писателей, где бы их ни настигла смерть».

Наблюдая за собой как бы со стороны, Крейг отметил, что не потерял аппетита и с удовольствием ест суфле, которое им подали. Наверно, если бы в газете появилось сообщение о его, Крейга, смерти, Бреннер реагировал бы острее.

«Интересно, — подумал Крейг, — изменился ли у Эдварда Бреннера почерк за несколько месяцев до смерти?»

К концу ужина Уодли окончательно опьянел. Он расстегнул воротник, жалуясь на жару, и медленно трижды проверил счет; расплачиваясь, долго разглаживал вынутые из кармана мятые стофранковые бумажки. Вставая из-за стола, опрокинул стул.

— Выведите его поскорее на улицу, Гейл, — шепнул Крейг. — А мы с Энн пойдем поздороваемся с Соней Мэрфи.

Но когда они подошли к столику Мэрфи и его компании, Уодли как вкопанный встал за стулом Мэрфи, хотя Гейл настойчиво тянула его за рукав. Соня поздоровалась с Крейгом и Энн, а Клейн представил им мисс Дюллен, которая сказала с мелодичным французским акцентом, что давно хотела познакомиться с мосье Крейгом. Пока Соня Мэрфи уверяла Энн, что просто счастлива снова видеть ее после стольких лет разлуки, и настойчиво предлагала в любое время пользоваться их пляжным домиком при отеле «На мысу», Уодли, плавно покачиваясь на каблуках за стулом Мэрфи, громко пропел:

— Шефу нашему слава!

Клейн дипломатично делал вид, что это его забавляет.

— Не знал я, что вы так музыкальны, Йен.

¹ Еще бутылку (франц.).

— Один из многих моих талантов, — сказал Уодли. — Мистер Мэрфи собирается ангажировать меня на следующий сезон в «Ла Скалу», верно, мистер Мэрфи?

Мэрфи оставил его слова без внимания.

— Так позвони мне утром, Джесс, — сказал он и снова принялся за еду.

— Пошли, Йен, — сказал Крейг.

Но Уодли не сдвинулся с места.

— Мистер Мэрфи — великий антрепренер, верно, мистер Мэрфи? Все, что вам требуется, — это лучший бестселлер года и фильм, собравший сорок миллионов долларов, и тогда мистер Мэрфи почти наверняка устроит вам контракт на скабрезный фильм или на рекламу аспирина для телевидения. А вам, мистер Клейн, тоже хотелось бы преуспеть в торговле живым товаром наравне с мистером Мэрфи?

— Конечно, хотелось бы, Йен, — примирительно ответил Клейн. — Зовите меня просто Уолтер.

— Прекрати, Йен, — резко сказал Крейг.

Уодли говорил громко, так что люди за соседними столиками перестали есть и смотрели на него.

— Я скажу вам, как это делается, мистер Клейн, — сказал Уодли, продолжая плавно и угрожающе покачиваться за стулом Мэрфи. — Раскрою вам секрет большого успеха мистера Мэрфи. Вы тоже можете разбогатеть и прославиться и приглашать к себе в пляжный домик девушек, когда захотите. Тут дело не в том, кого вы представляете, а кого бросаете. Вы должны уметь вовремя бросить ненужного человека, мистер Клейн; делать это надо быстро, пока никто еще и не подозревает о том, что он вышел в тираж. Появилась плохая рецензия — и бросайте. Только вряд ли, мистер Клейн, вы сможете достичь такого мастерства, какого достиг мистер Мэрфи, ибо это у него в крови. Он просто гений века по части бросания людей, и ничто его не останавливает — ни дружба, ни преданность, ни талант. Он вроде библейского боевого коня, — нюхом угадывает неудачника на расстоянии. Ему звонят по телефону, а его нет дома. В этом весь секрет, понимаете? Когда звонит телефон и вы знаете, что звоню я, то вас нет дома. Не важно, что вы заработали на мне много тысяч долларов. Вас нет дома — и все. Запомните этот нехитрый трюк, мистер Клейн, и вы далеко пойдете, очень далеко. Правда, пойдет, мистер Мэрфи?

— Убери его, Джесс, — потребовал Мэрфи.

— Пошли, Йен. — Крейг попробовал увести его. — Все поняли, что ты хотел сказать.

Уодли сбросил его руку со своего плеча.

— Раз я не могу поговорить с мистером Мэрфи по телефону, то буду говорить в ресторанах. Мне хочется говорить с мистером Мэрфи о его профессии — о том, сколько было работ, для которых он мог бы меня порекомендовать, но не порекомендовал...

Наконец Мэрфи повернулся к нему.

— Не смейся меня, Уодли, — спокойно сказал он. — В последние десять лет ты докатился до того, что я не мог бы тебя даже на мясо для собак продать.

Уодли перестал раскачиваться. Рот его скривился. Весь ресторан замер. Соня Мэрфи сидела, нагнув голову, и смотрела в тарелку, Люсьен Дюллен слегка улыбалась — казалось, эта сцена забавляла ее. Видимо, она не поняла пьяную английскую речь Уодли и решила, что происходит обычный дружеский, хотя и чересчур громкий разговор. Клейн играл бокалом и ни на кого не смотрел. Тронулась с места только Энн. Она охнула и бросилась вон из ресторана. Уодли сделал было шаг, точно хотел догнать ее, но вместо этого вдруг повернулся и ударил Мэрфи. Удар был нацелен в голову, но кулак соскользнул и угодил Мэрфи в плечо. Мэрфи не шевельнулся, а Крейг обхватил Уодли и прижал его руки к бокам.

— Убери отсюда этого болвана, Джесс, — сказал Мэрфи, — пока я не убил его.

— Ладно, сам уйду, — хрипло сказал Уодли. Крейг медленно разнял руки. Уодли пьяной походкой направился к выходу:

— Я найду такси и отвезу его в гостиницу, — сказала Гейл и поспешила следом за Уодли.

— Симпатичные у тебя друзья, — сказал Мэрфи.

— Он же пьяный, — зачем-то объяснил Крейг.

— Я так и понял, — сказал Мэрфи.

— Прошу прощения за случившееся, — обратился Крейг к остальным.

— Ты же не виноват, — возразила Соня. — До чего скверно все вышло. А ведь когда-то он был такой славный.

Выходя на улицу, Крейг слышал, как зал снова загудел: жизнь в ресторане потекла по привычному руслу.

Уодли согнулся пополам у причала и блевал в воду. Рядом стояла Гейл, готовая подхватить его, если он начнет падать. Энн держалась немного поодаль, стараясь не смотреть на Уодли. Крейг был уверен, что, как ни пьян Уодли, рвет его не из-за выпитого вина.

Глядя на содрогающиеся в конвульсиях плечи Уодли, Крейг почувствовал, что у него испаряется гнев. Он обнял дрожащую Энн, успокаивая ее.

— Извини, Энн, — сказал он. — Я не должен был брать тебя в такую компанию. Думаю, это был наш последний ужин с мистером Уодли. Во всяком случае, сделаем перерыв.

— Бедный, бедный, отчаявшийся человек, — сказала Энн. — Все так жестоки к нему.

— Он же сам напрашивается.

— Я знаю. И все-таки.

Уодли выпрямился и обернулся, прижимая ко рту носовой платок. Он попробовал улыбнуться.

— Пропал мой стофранковый ужин, — сказал он. — Но все равно приятный вечер. Стоил затраченных денег. А теперь, Джесс, выкладывай, что у тебя на уме.

— Нет у меня ничего на уме, — сказал Крейг.

Гейл окликнула шофера такси, который делал разворот у подъезда ресторана.

— Я отвезу вас в гостиницу, Йен, — ласково сказала она.

Уодли покорно пошел за ней к машине. Дверца за ним захлопнулась, и Гейл и такси умчались прочь. Ни намека, ни тайного знака.

— Ну, вот и все, — сказал Крейг.

Энн вдруг заплакала, тяжело, отчаянно всхлипывая.

— Ну, ну, полно, — беспомощно проговорил он. — Постарайся выбросить это из головы. Да он и сам до утра все забудет.

— Не забудет, — сказала она сквозь рыдания. — Всю жизнь будет помнить. Как могут люди так мерзко относиться друг к другу?

— Могут, — намеренно сухо сказал Крейг, боясь излишней мягкостью вновь вызвать у нее слезы. — Не

принимай это так близко к сердцу, дорогая. Бывал Уодли и в худшем положении, чем сегодня.

— Подумать только, как ужасно может вести себя человек, — с удивлением сказала Энн, перестав всхлипывать. — Человек, который так чудесно пишет и, казалось бы, если судить по его книгам, так уверен в себе...

— Книга — это одно, а человек, который ее пишет, — другое. Чаще всего книга — это маска, а не портрет автора.

— «Когда звонит телефон и вы знаете, что звоню я, то вас нет дома», — сказала Энн. Она уже не плакала, а только вытирала слезы тыльной стороной ладони, как потерявшийся ребенок. — Как это ужасно — знать о себе такое. Я ненавижу мир кино, папа, — сказала она с силой. — Да, да, ненавижу!

Крейг снял руку с ее плеча.

— Он ничем не отличается от других видов бизнеса. Разве только в нем потеснее.

— Неужели никто не поможет ему? Мистер Мэрфи? Ты?

Крейг с удивлением посмотрел на нее и засмеялся.

— После сегодняшнего... — начал он.

— Из-за сегодняшнего, — упрямо сказала она. — Сегодня на пляже он рассказывал, как вы дружили, как интересно проводили время, каким замечательным человеком он тебя считает...

— Много воды утекло, — сказал Крейг, — с тех пор, как мы интересно проводили время. Люди отвыкли друг от друга. И если он считает меня замечательным человеком, то это для меня новость. По правде говоря, я боюсь, что это заявление не совсем точно характеризует твоего отца.

— Уж хоть ты-то не занимайся самоуничижением, — сказала Энн. — Почему мистер Мэрфи и ему подобные уверены в себе?

— Ладно. — Он взял ее под локоть, и они медленно зашагали по набережной. — Попробую сделать что-нибудь для него, если смогу.

— А знаешь, ты ведь тоже много пьешь, папа.

— Да, пожалуй.

— Почему люди старше тридцати так старательно губят себя?

— Потому что они старше тридцати.

— Брось ты свои шутки, — резко сказала она.

— Когда не знаешь, что ответить, только и остается, что шутить, Энн.

— Ну, хоть при мне не надо.

Некоторое время они шли молча: сделанный ею разговор не располагал к беседе.

— Господи, — сказала она, — а я-то думала, что чудесно проведу здесь время. Средиземное море, этот замечательный город, все эти знаменитости, таланты... И побуду с тобой. — Она печально покачала головой. — Видно, никогда ничего нельзя загадывать заранее.

— Это же только первый вечер, Энн. Будут и приятные дни.

— Завтра ты уезжаешь, — сказала она. — А меня даже не предупредил.

— Как-то неожиданно вышло.

— Можно мне поехать с тобой?

— Боюсь, что нет.

— Я не спрашиваю почему.

— Да я и уеду-то на день-два, не больше, — смущенно сказал он.

Они опять замолчали, слушая плеск воды у причала, где стояли лодки.

— Хорошо бы сейчас сесть в одну из этих лодок и уплыть куда глаза глядят.

— Тебе-то от чего бежать?

— От многого, — тихо сказала она.

— Не хочешь мне сказать?

— Когда вернешься.

«Все женщины, — подумал он, — независимо от возраста умеют заставить человека почувствовать себя так, словно ты их бросил, даже если ты вышел на десять минут купить сигарет».

— Энн! У меня идея. Пока я буду в отъезде, почему бы тебе не перебраться на Антибский мыс? Там и купаться приятнее. Ты сможешь пользоваться пляжным домиком Мэрфи и...

— Я не нуждаюсь в наставниках, — отрезала Энн.

— Я не думал о наставниках, — возразил он, хотя и понял теперь, что подсознательно имел в виду именно это. — Я просто думал, что там тебе будет приятней, есть с кем поговорить...

— Я и здесь найду, с кем поговорить. Кроме того, я хочу посмотреть побольше фильмов. Странно, но я люб-

лю смотреть кино. А ненавижу я только то, что делает кино с людьми, в нем работающими.

Автомобиль, проезжавший по набережной, замедлил ход. В нем сидели две женщины. Одна из них — та, что была ближе к тротуару, — зазывно улыбнулась. Крейг отвернулся, и машина пошла дальше.

— Это проститутки, да? — спросила Энн.

— Да.

— В храмах древней Греции женщины отдавались незнакомым мужчинам прямо перед алтарем.

— С тех пор алтари стали другие, — сказал Крейг. «Не ходите ночью одна», — сказала Гейл, когда познакомилась с Энн у подъезда отеля. Надо бы ей добавить: не ходите даже с отцом. «Проституткам, — сердито подумал он, — следовало бы придерживаться каких-то правил».

— Ты когда-нибудь бывал с проституткой?

— Нет, — солгал он.

— Будь я мужчиной, мне, наверно, захотелось бы попробовать.

— Зачем?

— Один только раз. Узнать, что это такое.

Крейг вспомнил книгу, которую читал в молодости, — «Юрген» Джеймса Бранча Кебелла. Читал потому, что она считалась непристойной. Ее герой говорил: «Меня зовут Юрген, и я вкушаю каждого вина только раз». Бедный Кебелл, опьяненный славой («Скажите этому сброду, что Кебелл я отроду», — изрек он с высоты своего надменного величия, которое ему казалось непреходящим), бедный Кебелл, мертвый, сброшенный со счетов, забытый еще при жизни, он мог бы сейчас найти утешение в том, что много лет спустя целое поколение людей руководствуется губительным девизом его героя, вкушая каждого вина только раз, каждого наркотика, каждого политического убеждения, каждого мужчины и каждой женщины — только раз.

Энн кивнула на удалявшиеся огоньки машины.

— Может, это помогло бы кое в чем разобраться.

— В чем именно?

— В том, что такое любовь, например.

— Разве любовь нуждается в анализе?

— Конечно. Ты так не считаешь?

— Нет.

— Счастливый ты, если действительно так думаешь. По-твоему, у них роман?

— У кого? — спросил Крейг, хотя и догадывался, кого она имеет в виду.

— У Гейл и Йена Уодли.

— Почему ты спрашиваешь?

— Сама не понимаю. Они так держаться друг с другом... словно между ними что-то есть.

— Нет, — сказал он, — Не думаю.

«Сказать по правде, я просто отказываюсь так думать», — решил он.

— Она холодная, эта Гейл, да? — спросила Энн.

— Я уж теперь не знаю, что люди понимают под холодностью.

— Она очень самостоятельна. Ни от кого не зависит. Красивая, но не на это делает ставку. Конечно, я познакомилась с ней только сегодня и могу ошибаться, но мне кажется, она умеет заставить других поступать так, как хочет она.

— По-твоему, она хотела, чтобы Уодли вел себя как дурак и кончил тем, что его вывернуло наизнанку?

— Возможно. Косвенным образом. Она за него беспокоится и потому хотела, чтобы он сам видел, в каком оказался тупике.

— По-моему, ты ее ценишь выше, чем она стоит.

— Возможно, — согласилась Энн. — И все же хотела бы я быть такой, как она, — холодной, гордой, знать, чего я хочу. И добиваться своего. Добиваться, не идя ни на какие сделки. — Энн помолчала немного, потом спросила: — У тебя с ней роман?

— Нет, — ответил он. — Почему ты спрашиваешь?

— Просто так, — небрежно бросила она и поежилась. — Холодно стало. Хорошо бы поскорее прийти в отель и лечь спать. День был такой долгий.

Но когда они вернулись в отель, она решила, что спать еще рано, и поднялась к нему в номер выпить немного на сон грядущий. Кроме того, она вспомнила, что должна взять у него рукопись.

«Если Гейл постучится сейчас в дверь при Энн, — с усмешкой подумал Крейг, наливая в стаканы виски с содовой, — получится неплохая семейная вечеринка». Он открыл бы ее такими словами: «Гейл, Энн хочет задать

вам несколько интересных вопросов». И Гейл, наверно, ответила бы на них. Со всеми подробностями.

Когда он подал Энн виски, она все еще разглядывала титульный лист рукописи.

— Кто этот Малколм Харт? — спросила она.

— Мой знакомый по армии. Он погиб.

— А мне казалось, ты говорил, что сам написал сценарий.

— Верно. — Он пожалел, что по пути из аэропорта проговорился. Теперь придется объяснить.

— Тогда почему же здесь стоит фамилия другого человека?

— Считай, что это *nom de plume*¹.

— Зачем тебе *nom de plume*?

— Деловые соображения, — сказал он.

Она скорчила гримасу.

— Ты стыдишься своей работы?

— Не знаю. Пока еще не знаю.

— Не нравится мне это. Тут что-то не то.

— По-моему, ты слишком строга. — Ему было неприятно, что разговор принял такой оборот. — Это же давняя, почтенная традиция. Был такой писатель — и довольно хороший — Самюел Клеменс, который подписывал свои книги «Марк Твен». — Крейг видел по лицу Энн, что не убедил ее. — Скажу тебе откровенно: все это — от неуверенности. Или еще проще — от страха. Никогда раньше я не писал и не имею ни малейшего понятия, хорошо или плохо у меня получилось. Пока я не выясню мнение других, я чувствую себя в большей безопасности, скрываясь под чужим именем. Это ты можешь понять?

— Могу. И все же считаю это неправильным.

— Предоставь мне самому судить о том, что правильно, а что неправильно, Энн, — сказал он нарочито решительным тоном. Не тот у него возраст, чтобы жить по законам незапятнанной совести собственной двадцатилетней дочери.

— Ладно, — с обидой сказала Энн. — Если не хочешь, чтобы я высказывала свое мнение, я буду молчать. — Она положила рукопись на стол.

— Милая Энн, — ласково сказал он. — Ну, конечно,

¹ Псевдоним (франц.).

я хочу, чтобы ты высказывала свое мнение. Но я хочу высказывать и свое. Справедливо?

Она улыбнулась.

— Ты считаешь меня ребенком, да?

— Иногда.

— Да я, наверно, и есть ребенок. — Она поцеловала его в щеку. — Иногда. — Она подняла стакан. — Будем здоровы.

— Будем здоровы, — сказал и он.

Она сделала большой глоток виски.

— Мм! — промычала она от удовольствия. Он вспомнил, как она в детстве пила перед сном молоко. Энн оглядела просторную гостиную. — Должно быть, ужасно дорогой номер, да?

— Ужасно, — согласился он.

— Мамуля говорит, что ты кончишь нищим.

— Думаю, мамуля права.

— Говорит, что ты дико расточителен.

— Кому же знать, как не ей, — сказал он.

— Она все спрашивает, употребляю ли я наркотики. — Энн явно ждала, что он тоже задаст ей этот вопрос.

— После всего, что я видел и слышал, — сказал он, — я считаю само собой разумеющимся, что в Америке нет студента, который не попробовал бы марихуаны. Полагаю, что на тебя это тоже распространяется.

— Да, распространяется, — сказала Энн.

— И еще я полагаю, что ты достаточно умна, чтобы не баловаться чем-нибудь похуже. Вот так-то. А теперь наложим запрет на разговоры о мамуле, хорошо?

— Знаешь, о чем я думала, глядя на тебя во время ужина? — спросила Энн. — Я думала: какой ты интересный мужчина. Эта твоя шевелюра, и ты не толстый, и морщины на усталом лице. Как гладиатор, ставший более осторожным, потому что старые раны дают себя знать.

Он засмеялся.

— Но у тебя благородные морщины, — поспешила добавить она. — Такие бывают, когда человек слишком много познал в жизни. Ты самый привлекательный из всех мужчин, которых я здесь видела...

— Ты еще мало кого видела за эти несколько часов, — сказал Крейг. Но он не мог скрыть удовольствия. «Глупое удовольствие», — сказал он себе. — Подожди дня два.

— Не одна я так думаю, — сказала она. — Все жен-

щины в ресторане очень красноречиво на тебя поглядывали — и эта штучка мисс Сорель, и эта сказочная красавица — французская актриса, и даже Соня Мэрфи, и даже Гейл Маккиннон.

— А я и не заметил, — признался он. Это была правда. И во время ужина, и после он был поглощен своими мыслями.

— Вот в этом-то твоя прелесть, — убежденно сказала Энн. — Ты не замечаешь. Обожаю входить с тобой куда-нибудь — все на тебя вот так смотрят, а ты не замечаешь. Хочу сделать тебе одно признание, — сказала она, с наслаждением погружаясь в мягкое кресло. — Я и не представляла себе, что когда-нибудь стану взрослой и смогу разговаривать с тобой так, как сегодня днем и вечером. Ты рад, что я приехала?

Вместо ответа он подошел к ней и, нагнувшись, поцеловал в макушку.

Она ухмыльнулась и стала вдруг похожа на мальчишку.

— Знаешь, со временем из тебя выйдет неплохой отец — на радость одной девушке.

Зазвонил телефон. Он взглянул на часы. Почти полночь. Он не пошевелился. Телефон зазвонил опять.

— Ты не хочешь отвечать? — спросила Энн.

— Едва ли я стану счастливее, если отвечу. — Тем не менее он встал и взял трубку. У телефона был портье. Он спросил, не у него ли мисс Крейг: ей звонят из Соединенных Штатов.

— Это тебя, Энн. Из Соединенных Штатов. — Крейг заметил, что Энн нахмурилась. — Хочешь говорить отсюда или из спальни?

Она помолчала в нерешительности, потом встала, осторожно поставила стакан на столик рядом с креслом.

— Из спальни, если можно.

— Переключите, пожалуйста, на второй телефон, — попросил Крейг.

Энн ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Немного погодя там зазвонил телефон, и Крейг услышал ее приглушенный голос.

Он подошел со стаканом в руке к балконной двери, открыл ее и вышел на балкон, чтобы не слышать, о чем говорит дочь. На Круазетт было еще много людей и машин, но на террасе никто не сидел — слишком было холодно. Море катило длинные валы и с силой обруши-

валось на берег, белая пена в отраженных огнях города казалась призрачной. «Давным-давно Софокл слышал про это на Эгейском море, — продекламировал он про себя, — и размышлял о мутных приливах и отливах страданий человеческих». О каких мутных приливах и отливах вспомнил бы Софокл сейчас, слушая море у Канна?.. Софокл — это настоящее его имя? Или и он пользовался *nom de plume*? «Эдип в Колоне» Малколма Харта, ныне покойного.

Интересно, прочла ли Пенелопа сегодняшнюю «Трибюн» и какое испытала чувство, если вообще что-нибудь испытала, когда наткнулась на имя Эдварда Бреннера — другого мертвого писателя?

Он услышал, как дверь из спальни открылась, и вернулся в гостинику. Энн вошла хмурая. Она молча взяла свой стакан и залпом его осушила. «Видимо, — подумал он, — в нашей семье не один я пью так много».

— Что-нибудь серьезное? — спросил он.

— Да нет, ничего особенного. — Но выражение ее лица не сочеталось с ответом. — Так, один парень из моего университета. — Энн налила себе еще виски. Крейг заметил, что содовой она добавила совсем немного. — О господи, никак от них не избавишься.

— Может, поделишься со мной?

— Он думает, что влюблен в меня. Хочет на мне жениться. — Она с утрюмым видом плюхнулась в кресло и вытянула вперед свои длинные загорелые ноги. — Жди гостей. Сказал, что летит сюда. Авиабилеты стали до абсурда дешевые, вот в чем беда. Кто угодно может гоняться за кем угодно. Это одна из причин, почему я и попросила твоего разрешения приехать сюда: хотела от него удрать. Ты не обиделся?

— Что ж, причина как причина, — уклончиво ответил он.

— Я тоже думала, что люблю его, — сказала она. — В первый месяц мне нравилось с ним спать и, наверно, и сейчас понравилось бы. Но замуж — избави бог!

— Я, конечно, старомоден, — сказал Крейг, — но что страшного в том, что парень хочет жениться на девушке, которую любит?

— Всё. Скажи мне, разве Гейл Маккиннот поторопилась бы выйти замуж за первого встречного трудягу? Ты можешь себе представить, чтоб она сидела дома и подогревала в духовке ужин, дожидаясь, когда милый

муженек приедет из конторы пятичасовым пригородным поездом?

— Нет.

— Сперва я хочу стать хозяйкой своей судьбы, — сказала Энн. — Как она. А потом, если захочу, муж должен будет принять мои условия.

— Ты что ж, не сможешь быть хозяйкой своей судьбы, когда выйдешь замуж?

— С этим тупым трудягой — нет. Да он и трудяга-то не настоящий. Ему дали стипендию, чтоб он играл в футбол: в школе он числился то ли в сборной штата, то ли еще в какой-то кретинской сборной. А когда стал играть в студенческой команде, то в первую же неделю во время тренировки разбил себе вдребезги колено и теперь даже в футбол не играет. Вот что он за человек. Может, я и пошла бы за него, будь он умный и честолюбивый: тогда я хоть знала бы, что из него выйдет толк. Его отец в Сан-Бернардино торгует зерном и фуражом, вот он и хочет заниматься тем же. И это все. Не хватало мне еще Сан-Бернардино, черт побери! Нет уж, я не стану закапывать себя где-то в прерии. Он говорит, что не против, если женщина работает. До тех пор, конечно, пока не заведутся дети. Это в наше-то время! Когда в мире происходит бог знает что — войны, революции, какие-то сумасшедшие создают водородные бомбы, расстреливают черных, и женщины наконец решили поднять свой голос и потребовать, чтобы к ним относились как к людям. Я понимаю, что рассуждаю точно наивный подросток, и не знаю, что предпринять, но мне ясно одно: я не хочу ехать в Сан-Бернардино и обучать там детей таблице умножения только потому, что какой-то болван из Калифорнии остановил свой выбор на мне. Папа, секс — это самая коварная из всех ловушек, но я в нее не попадусь. Знаешь, что самое ужасное? Когда я услышала по телефону его слова: «Энн, я этого не вынесу», мне показалось, что все мои внутренности сплывились в большой, вязкий, сладкий комочек. Пусть бы он был без гроша и ходил босиком, лишь бы стремился к чему-то — решил бы вступить в коммуны и выпекать там хлеб или выдвинуть свою кандидатуру в конгресс, стать ядерным физиком или каким-нибудь исследователем. Я сама-то не настолько чокнутая, но я не мещанка. — Она замолчала, пристально посмотрела на Крейга. — Или, может, мещанка? Ты не находишь?

— Нет, не нахожу, — сказал он.

— Просто я не хочу жить в девятнадцатом веке. Ну и денек! — с горечью воскликнула она. — И надо же было ему подсесть ко мне тогда в библиотеке! Он прихрамывает из-за этого проклятого колена. Длинные волосы, русая борода. В наше время уже нельзя судить о человеке по внешности. И вот теперь он приедет сюда — будет пялить на меня свои голубые, как у младенца, глазищи, играть своими чертовыми бицепсами и слоняться по пляжу — этакий Аполлон, место которому на мраморном пьедестале где-нибудь во Фракии. Что, потвоему, я должна делать? Бежать?

— Это от тебя зависит, — сказал Крейг. Так вот, оказывается, что с ней случилось за эти полгода.

Она резким движением поставила стакан, расплескав виски, и вскочила.

— Не удивляйся, если меня не будет здесь, когда ты вернешься оттуда, куда едешь, — сказала она.

— Только оставь записку, где тебя искать.

— У тебя какие-нибудь таблетки есть? А то я очень взбудоражена. Ни за что не засну сегодня.

Вполне современный отец, весь вечер поивший дочь крепкими напитками, а потом молча и безропотно выслушавший ее рассказ о том, что она живет с молодым человеком, за которого считает унижительным выйти замуж, Крейг сходил в ванную и принес две таблетки секонала, чтобы она могла уснуть. Он вспомнил, что в двадцать лет мог спать и без снотворного — даже во время бомбежки и артиллерийской пальбы. К тому же он был девственник. Бессонница пришла с вольной жизнью.

— Вот, — сказал он, протягивая ей таблетки. — Спи крепко.

— Спасибо, папа. — Энн бросила таблетки в сумочку и взяла рукопись. — Утром перед отъездом разбуди меня. Я спущусь, и мы вместе позавтракаем.

— Это было бы чудесно. — Он не стал говорить, что завтракать с ними, возможно, будет еще кто-то. И не стал предупреждать, что официант может странно взглянуть на нее. Он проводил дочь до двери, поцеловал ее на прощание и смотрел ей вслед, пока она шла по коридору к лифту, унося с собой таблетки и все свои проблемы. Даже сейчас она в походке немного подражала Гейл Маккиннон.

Спать ему не хотелось. Он налил себе еще виски с содовой и, прежде чем отхлебнуть, задумчиво посмотрел на стакан. Энн сказала, что он очень много пьет. Разве? Придирчива стала молодежь.

Он взял со стола «Три горизонта» и стал читать. Прочел тридцать страниц. Что-то ничего не поймешь. «Слишком много раз я перечитывал текст, — подумал Крейг. — Я его уже не воспринимаю». Он не мог сказать, должен ли он стыдиться своего творения или гордиться им. Возможно, в эту самую минуту те же тридцать страниц читает Уолтер Клейн в своем замке и Энн — в своем одноместном номере наверху. Ему готовят приговор. От этой мысли ему стало не по себе. Он заметил, что, читая, прикончил виски. Посмотрел на часы: около часа ночи. Спать все еще не хотелось.

Он вышел на балкон. Море разыгралось еще больше, шум прибоя стал громче. Движение на Круазетт утихло. Снизу донесся американский говор, женский смех. «Надо запретить женщинам смеяться после полуночи у тебя под окном, когда ты один», — подумал он.

И тут он увидел Энн, выходящую из отеля. На ней был плащ поверх желтого платья из органди. Вот она перешла улицу. Двое или трое прохожих взглянули на нее, но прошли мимо. Энн спустилась по лестнице на пляж. Он увидел у самого края воды ее силуэт, смутно выделявшийся на фоне фосфоресцирующих волнорезов. Она медленно удалялась и в конце концов исчезла во тьме.

Он поборол в себе побуждение спуститься и догнать ее. Если бы она хотела быть с ним, то сказала бы. Наступает минута, когда уже бессмысленно пытаться уберечь свое чадо.

Молодые любят изливать душу, они потрясающе откровенны, но в конечном счете узнаешь о них не больше, чем твой отец в свое время знал о тебе самом.

Он вернулся в гостиную, протянул руку к бутылке с виски, и в этот момент раздался стук в дверь.

Утром, когда он проснулся, на измятой постели никого, кроме него, уже не было. В гостиной на столе лежала записка, написанная рукой Гейл: «Ну как, я лучше в постели, чем моя мать?»

Он позвонил в ее гостиницу, но телефонистка сказала, что мисс Маккиннон ушла.

«Нет, — подумал Крейг, — эти великие писатели, прославляющие мужскую силу, все врут: это женщина берет реванш в постели».

Он снова взял трубку, позвонил Энн и позвал ее завтракать. Когда она спустилась к нему в купальном халате, он не стал ей говорить, что видел, как она ночью выходила из отеля.

Когда пришел официант и принес два завтрака, он окинул Энн тем взглядом, какой и ожидал увидеть Крейг. На чай он официанту ничего не дал.

14

На повороте «пежо», набитый детьми и мчавшийся навстречу Крейгу со скоростью девяносто миль в час, чуть не налетел на него лоб в лоб. Он резко свернул в сторону, едва не свалившись в кювет. После этого он поехал медленно и осторожно, остерегаясь водителей-французов, и уже не любовался ни видами виноградников и оливковых рощ, через которые пролегало шоссе, ни даже морем, синевшим слева.

В Марсель он не торопился. Он еще не знал, что он скажет Констанс. Если вообще что-нибудь скажет. Не такой уж он хороший актер, чтобы суметь притвориться, будто ничего не случилось. Да и надо ли притворяться?

Прошлая ночь потрясла его. На этот раз не было ни кокетства, ни отказа. Без единого слова, в ночной тишине, нарушаемой лишь шумом моря за окном, Гейл отдалась ему, нежная и сдержанная. Руки, медленно ласкавшие его, были мягки, губы — сладки как мед. Он уже забыл, какая кожа у молоденьких девушек. Он ожидал, что она жадно набросится на него, или будет груба, или разыграет оскорбленную добродетель. А вместо этого... Нет, лучшего слова не подберешь: она радостно приняла его. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль: *«Так хорошо мне еще никогда в жизни не было»*. Он сразу понял грозящую опасность. И все же среди ночи сказал: *«Я люблю тебя»*. И почувствовал на ее щеке слезы.

А потом вдруг утром — эта грубая шутка, эта записка на столе. При чем тут ее мать? Кто она, черт побери? Приближаясь к Марселю, он поехал еще медленней.

В отеле его ждала записка от Констанс. Она вернется после пяти вечера, заказала для него номер рядом со своим, целует его. А портье передал ему, что звонил мистер Клейн и ждет его звонка.

Он поднялся за коридорным в свой номер. Дверь, ведущая в номер Констанс, была оставлена открытой. Когда коридорный ушел, а швейцар принес чемодан, он зашел туда. Знакомые ему расческа и щетка для волос лежали на столике, платье из льняного полотна висело на дверце шкафа — так оно скорее разгладится. В комнатах, заставленных мебелью, было темно и душно. Несмотря на закрытые окна, с улицы проникал шум.

Он вернулся к себе и, присев на кровать, взялся за телефон. Снял трубку и дал было номер гостиницы Гейл, но тут же извинился и попросил соединить его с Клейном.

Клейн подошел к телефону сам. Он никогда не уходил от телефона дальше чем на пять шагов.

— Ну, как наш великий человек? — спросил Клейн. — И что он подделывает в Марселе?

— Здесь же всемирный центр героина, — сказал Крейг. — А вы не знали?

— Слушайте, Джесс, подождите минутку. Я перейду к другому аппарату. Тут у меня полно народа и...

— Хорошо, — сказал Крейг. У Клейна всегда полно народа.

Немного погодя он услышал щелчок — Клейн взял другую трубку.

— Вот теперь мы можем разговаривать. Вы ведь вернетесь в Канн?

— Да.

— Когда?

— Дня через два.

— Надеюсь, еще до того, как все снимутся с якоря?

— Если это необходимо, — сказал Крейг.

— Думаю, это будет полезно. Ну, слушайте: я прочел рукопись Харта, которую вы мне прислали. Она мне понравилась. Мне кажется, я смогу что-то предпринять. Здесь же. На этой неделе. Вы в этом заинтересованы?

— Как сказать.

— То есть?

— Я еще не знаю, что вы подразумеваете под словом «предпринять».

— Мне, возможно, удастся заполучить режиссера, — сказал Клейн. — Имени его называть не стану, потому что он еще не дал окончательного ответа... Но сценарий он прочел. О деньгах пока никакого разговора не было. Да и много еще неясностей и тому подобное... Вы понимаете?

— Да, — сказал Крейг. — Понимаю.

— Вот что я хочу сказать... По-моему, вам стоило бы поторопиться с возвращением. Но — никаких обещаний. Это вы тоже понимаете?

— Да.

— И вот еще что, — продолжал Клейн. — По-моему, вещь нуждается в доработке.

— Я еще не встречал рукописи, которая не нуждалась бы в доработке, — сказал Крейг. — Даже если бы Шекспир пришел с рукописью «Гамлета», то первый же человек, которому он дал бы ее прочесть, сказал бы: — «По-моему, это нуждается в доработке».

— Не знаю, кто такой этот Харт, только он не Шекспир, — сказал Клейн. — И мне думается, что он тут весь выложил. Я хочу сказать, что любой режиссер, который возьмется ставить картину, наверняка пожелает привлечь другого сценариста для нового варианта. Перед тем, как говорить об этом с режиссером, я должен знать ваше мнение.

Крейг ответил не сразу. «Возможно, — подумал он, — именно сейчас и следует объявить, что никакого Малколма Харта в природе не существует». Вместо этого он сказал:

— Мне надо самому поговорить с тем человеком, который согласится ставить фильм. Выслушать его соображения.

— Желание законное, — сказал Клейн. — Еще вопрос: хотите вы, чтобы я сказал Мэрфи, что берусь за это дело, или вы скажете сами? Он все равно все узнает. И скоро.

— Я скажу ему сам.

— Хорошо, — сказал Клейн. — Шелогкий будет разговор.

— Это уж моя забота.

— Ладно. Заботьтесь. Смогу я связаться с вами в Марселе по телефону, если будет что-то новое?

— Если я перееду куда-нибудь, то дам вам знать, — сказал Крейг.

— И что вы нашли в этом Марселе, черт побери? У нас тут бал.

— Уж это само собой.

— Ну плюньте, чтоб не сглазить, — сказал Клейн и положил трубку.

Крейг задумчиво смотрел на телефон. «Кто телефоном живет, от телефона и погибнет», — непонятно почему подумал он. Он считал, что должен радоваться отзыву Клейна о рукописи. Но радоваться не буйно, а спокойно, осторожно. Даже если ничего не выйдет, все равно уже доказано, что время он потратил не совсем зря.

Он снова взял трубку и попросил отель «Карлтон». Энн к этому времени, наверно, уже прочла рукопись, так что полезно услышать ее мнение тоже. Кроме того, поскольку он бросил ее там одну, — хорош отец! — надо хотя бы дать ей полезный совет, как быть с молодым человеком, который едет к ней из Калифорнии. Если, конечно, она попросит совета.

Пока телефонистка вызывала «Карлтон», он пошел побриться и принять душ. Он должен предстать перед Констанс в лучшем виде, благоухающим. Хотя бы так.

Когда зазвонил телефон, ему пришлось бежать прямо из-под душа. Дожидаясь, когда телефонистка соединит его с номером Энн, он взглянул на мокрые следы на истертом ковре и подумал: «Хорошо, хоть я не страдаю плоскостопием». Человеку присуще тщеславие. Даже по самому идиотскому поводу.

Телефон в номере Энн не отвечал. Если ей и нужен совет, то она получает его у кого-то другого. Скорее всего, у Гейл. Интересно, что Гейл посоветует его дочери и что расскажет? Вдруг расскажет все? А что — все? Впрочем, пустился в путь — иди до конца.

Он пошел опять в ванную и постоял под холодным душем, чтобы смыть мыло. Потом быстро вытерся и оделся. «Не мешало бы выпить», — подумал он. Бутылки с собой он не привез, так что придется идти в бар. «Это в известной мере и от малодушия», — признался он себе. Ему не хотелось дожидаться Констанс в номере: вдруг она захочет немедленно предаться любви. Он на это сегодня не способен.

Бар был освещен мрачным кроваво-красным светом. Два японца в одинаковых темных костюмах склонились над толстой кипой бумаг с текстом, отпечатанным на мимеографе, и о чем-то оживленно вполголоса разговаривали по-японски. Собираются разбомбить марсельскую гавань? Почему это он в молодости так ненавидел этих маленьких, аккуратных, вежливых людей? *Банзай!*

Он принялся за вторую порцию виски, когда в бар вошла Констанс. Красный свет был явно ей не к лицу. Он встал и поцеловал ее. От жары волосы у нее были чуточку влажные. Он не должен был этого замечать.

— Ты чудесно выглядишь, — сказал он. Все остальное подождет.

— Добро пожаловать, добро пожаловать, — сказала она.

В этих словах звучало эхо, которое Крейг предпочел бы не слышать.

— Хочу «Том Коллинз», — сказала она. — Он умеет его готовить. — Она кивнула на бармена. Значит, она здесь уже бывала. С кем? Ему показалось, что она недавно плакала.

Он заказал ей коктейль и еще виски — себе.

— Который по счету? — с улыбкой спросила она.

— Всего лишь третий. — Не одна Энн озабочена тем, что он слишком много пьет. В следующем месяце крепким напиткам — конец. Будет он пить только вино.

— Я знала, что найду тебя в баре, — сказала она. — Даже портье не стала спрашивать.

— Во мне никаких тайн для тебя больше нет, — заметил он. — Это плохой признак.

— Тайн у тебя еще много, — возразила она. — Так что не бойся.

Обоим было как-то не по себе. Она взяла сумку, поставила на колени, пальцы ее нервно теребили замок.

— Что же ты все-таки делаешь в Марселе? — спросил он. Тот же вопрос задал ему Клейн. В городе миллион жителей. Неужели и они каждое утро спрашивают друг друга, что они делают в Марселе?

— У одного из моих милых Юношей неприятность. — Слово «юноша» она всегда произносила с нажимом. — Его в Старом порту арестовала полиция: нашли в рюкзаке два фунта гашиша. Я пустила в ход кое-какие связи, и в Париже мне сказали, что если я приеду сама и очарую здешние власти, то, возможно, до конца нынешнего века смогу вызволить этого кретина из французской

кутузки. Вот я весь день и расточала свои чары. Отец Юноши, кроме того, обещал перевести по телеграфу из Сент-Луиса небезынтересный набор банкнот в пользу французского управления по борьбе с наркотиками. Посмотрим, что из этого выйдет. Два дня еще по крайней мере проболтаюсь здесь. Ужасно хочется выпить. И ужасно рада видеть тебя. — Она протянула руку и крепко сжала его пальцы. Какие у нее сильные руки и гладкие ладони. Такая тоненькая, а сильная, гладкая. Не важно, что волосы взмокли от пота. Открытое умное лицо, пытливый взгляд ясных, смешливых зеленых глаз, кажущихся сейчас темными в красном свете бара. Многие мужчины добиваются ее благосклонности. Так говорили ему друзья. Да и она сама. Большая труженица. Тяжелый характер, солнечная улыбка; обидчивая, но в любую минуту готовая обидеть в ответ. С ней мужчине всегда есть над чем призадуматься. Не позволяет ничего принимать за должное. Скольких мужчин она бросила? Когда-нибудь он ее об этом спросит. Но не в Марселе.

Они чокнулись. Сделав большой глоток, она сказала:

— Вот теперь лучше. Ну, рассказывай все.

— Не могу, — сказал он. — Кругом японские шпионы. — Оттягивай любой ценой, отшучивайся.

Она улыбнулась.

— Доволен, что приехал?

— Всю жизнь мечтал о встрече с любимой в Марселе. И раз уж мечта сбылась, то давай теперь переберемся куда-нибудь в другое место. Один-два дня тебе все равно придется ждать — так какой же смысл сидеть здесь? Если из Сент-Луиса придут деньги, тебя известят.

— Возможно, ты и прав, — неуверенно сказала она.

— В этой гостинице сдохнуть можно. С улицы такой шум, что всю ночь не заснешь.

— Не думала я, что ты спать сюда ехал.

— Ты же знаешь, я не про то говорю.

Она снова улыбнулась.

— Куда же мы поедем? Только не в Канн.

— О Канне забудь. Есть одно местечко. В деревне под названием Мейраг. Кто-то рассказывал мне. Бывший замок на холме. Меньше двух часов езды отсюда.

— Ты там бывал уже с кем-нибудь?

— Нет, — честно ответил он.

— Ну, так в Мейраг.

Они поспешно сложили вещи — для любви времени не было. Пока они доберутся до Мейрага, уже стемнеет. Он боялся, что телефон зазвонит до того, как они выйдут из номера. Но телефон не зазвонил. Администратор был недоволен, но роптать не стал. Он привык к неожиданным отъездам постояльцев.

— Учтите, — объяснил он по-французски, — я должен получить с вас за полные сутки.

— Учту, — сказал Крейг и оплатил оба счета. Это самое меньшее, что он мог сделать для американского Юноши, попавшего в руки французской полиции.

На улицах было много транспорта, так что машину приходилось вести с особой осторожностью. Разговаривать не было возможности, пока они не выбрались из пределов города на шоссе, ведущее на север, в сторону Экс-ан-Прованса.

По пути Крейг приводил в порядок свои мысли. Верность, отцовские обязанности, карьера, его жена, его дочь, Клейн, Гейл Маккиннон. Мать Гейл Маккиннон. Можно и в другом порядке.

Констанс сидела рядом, ее короткие волосы трепались на ветру, губы были приоткрыты в легкой улыбке, кончики пальцев покоились на его колене.

— Люблю я с тобой путешествовать, — сказала она. Они ездили вместе в долину Луары, в Нормандию, в Лондон. Короткие восхитительные поездки. Но тогда все было проще. Он не мог сказать, доволен ли, что она не захотела ехать с ним в Канн, или недоволен.

— Разговаривал ты с Дэвидом Тейчменом?

— Да.

— Славный человек, правда?

— Очень. — Он решил не говорить ей, что ему сообщили про старика. На марсельском шоссе лучше молчать о смерти. — Я сказал, что мы еще увидимся. Планы у него пока неясные. — Он спешил закончить разговор о Дэвиде Тейчмене. — По правде говоря, есть и другие, кто может заинтересоваться сценарием. Я, видимо, все узнаю, когда вернусь в Канн. — Крейг подготавливал Констанс к мысли о том, что он скоро уедет. Констанс сняла руку с его колена.

— Понятно, — сказала она. — Какие еще новости? Как твоя дочь?

— О ней можно всю ночь рассказывать. Уговаривает

меня бросить кино. Совсем. Говорит, что это — жестокий и непостоянный мир и что там ужасные люди.

— Убедила она тебя?

— Не совсем. Хотя в чем-то я с ней согласен. Это действительно жестокий и непостоянный мир, и люди в большинстве своем там действительно ужасные. Но дело в том, что в других сферах жизни — не лучше, а возможно, и хуже. В армии, например, за один день можно увидеть куда больше подхалимства и лицемерия, чем во всех студиях Голливуда за целый год. То же и в политике — грызня, подсиживание, и в торговле мороженым мясом. Киностудиям — до них далеко. А что касается конечного продукта, как бы плох он ни был, он приносит не больше вреда, чем генералы, сенаторы и ужины по рецептам телевидения.

— Насколько я тебя поняла, ты сказал ей, что остаешься в кино.

— В общем, да. Если будет такая возможность.

— Рада она такому ответу?

— Люди ее возраста, мне кажется, считают, что радоваться — значит предавать свое поколение.

Констанс невесело рассмеялась.

— Господи, мне с моими ребятами все это еще предстоит.

— Да, это так. Потом дочь сказала мне, что было у своей матери. — Он заметил, что Констанс слегка напрыглась. — И мать сказала ей, что была у тебя.

— О господи, — вздохнула Констанс. — У тебя тут бутылки нигде не припрятано?

— Нет.

— Может, мы остановимся где-нибудь и выпьем?

— Я бы предпочел не выпивать, — сказал он.

Констанс немного отодвинулась от него.

— Я не хотела тебе говорить.

— Почему?

— Боялась, что это расстроит тебя.

— Верно, расстроило.

— Красивая женщина твоя жена.

— Только очень некрасиво поступила.

— Пожалуй, да. Мои Юноши в конторе вдоволь наслушались. — Констанс поежилась. — Не знаю, как я повела бы себя, если бы прожила с мужем более двадцати лет, а он бросил бы меня из-за другой женщины.

— Я бросил ее не из-за другой женщины, — сказал он, — а из-за нее самой.

— Женщине трудно в это поверить, — сказала Констанс. — Когда достигнешь ее возраста и попадешь в аналогичное положение, то вряд ли будешь вести себя вполне разумно. Она хочет, чтобы ты вернулся, и сделает все, чтобы вернуть тебя.

— Она меня не вернет. Она тебя оскорбляла?

— Конечно. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Мы же отдыхаем.

— Мой адвокат говорит, что на бракоразводном процессе она угрожает назвать твое имя, — сказал Крейг. — Думаю, что она этого все-таки не сделает, поскольку я заплачу ей, чтобы она молчала. И все же я решил, что лучше предупредить тебя.

— Из-за меня не траться, — сказала Констанс. — Моя репутация выдержит.

Он усмехнулся.

— Стыдно подумать — бедный французский детектив всю ночь простоял у меня под окном, пока мы с тобой, двое немолодых уже людей, предавались бурной страсти. — В тоне Констанс слышались насмешка и горечь. Крейг понял, что его жена, устроив ей скандал, частично достигла своей цели.

— Ты молодая, — сказал он.

— Да, я чувствую себя молодой. Сегодня. — Они проезжали мимо дорожного указателя. — Экс-ан-Прованс. Менестрели поют под звуки лютен. Любовные турниры.

— Если будет что-то новое, я сообщу тебе, — сказал он.

— Да. Держи меня в курсе дела.

«Она напрасно винит во всем меня, — думал он. — Впрочем, нет. Не напрасно. Как-никак Пенелопа — моя жена. За двадцать-то лет я должен был приучить ее к вежливому обращению с моими любовницами!».

С боковой дороги выехала машина, и ему пришлось резко затормозить. Констанс качнулась вперед и уперлась рукой в ящичек для перчаток.

— Хочешь, я поведу? — спросила она. — Ты ведь весь день за рулем — устал, наверно.

— Я не устал, — ответил он коротко и нажал на акселератор, хотя видел, что и без того едет слишком быстро. Когда ведешь машину, не думаешь об отдыхе.

Гостиница помещалась в бывшем замке, стоящем на вершине поросшего лесом холма. Было тепло, и они расположились ужинать под открытым небом, со свечами, на выложенной каменными плитами террасе с видом на долину. Еда была превосходная, они выпили две бутылки вина и завершили ужин шампанским. В таком месте и после такого ужина начинаешь понимать, почему часть жизни надо непременно провести во Франции.

Потом они прошлись леском по испещренной лунными бликами дороге до деревни и посидели за чашкой кофе в маленьком кафе, владелец которого записывал на грифельной доске результаты футбольных матчей за неделю.

— Даже кофе отличный, — сказал Крейг.

— Даже всё, — сказала Констанс. На ней было голубое полотняное платье: она знала, что он любит, когда она в голубом. — Доволен, что приехал сюда?

— Угу.

— Со мной?

— Видишь ли... — Он говорил медленно, будто тщательно обдумывал ее вопрос. — Раз уж решил ехать в такое место с женщиной, то ты ничуть не хуже любой другой.

— Прелестно. Ничего более приятного я не слышала за весь день.

Оба рассмеялись.

— Скажи «Мейраг» по буквам, — попросил он.

— Д-ж-е-сс К-р-ей-г.

Они опять рассмеялись. Она взглянула на грифельную доску.

— Команда Монако выиграла. Замечательно, правда?

— Главное событие в моей жизни за неделю, — сказал он.

— Мы слишком много выпили. Ты не находишь?

— Нахожу. — Крейг сделал знак хозяину, стоявшему за стойкой. — Deux cognacs, s'il vous plaît¹.

— Кроме всего прочего, — сказала она, — здесь говорят по-французски.

— Кроме всех прочих совершенств.

— Сегодня ты выглядишь двадцатилетним.

— В следующем году голосовать пойду.

— За кого?

¹ Два коньяка, пожалуйста (франц.).

— За Мохаммеда Али.

— Пью за это.

Они выпили за Мохаммеда Али.

— А ты за кого будешь голосовать?

— За Кассиуса Клея.

— Пью за это.

Они выпили за Кассиуса Клея. Она хихикнула.

— А мы стали глупенькие, да?

— Пью за это. — Он повернулся к стойке. — *Encore deux cognacs, s'il vous plaît.*

— Прекрасно звучит, — сказала она. — На нескольких романских языках.

Он пристально посмотрел на нее. Лицо ее сделалось серьезным. Она протянула через стол руку и сжала его кисть, как бы подбадривая. Он готов был сказать: «Останемся здесь на неделю, на месяц. А потом целый год будем странствовать по солнечным дорогам Франции». Но он ничего не сказал. Только чуть сильнее сжал ее руку.

— Правильно я произнесла по буквам «Мейраг»?

— Как нельзя лучше, — ответил он.

Когда они стали подниматься на холм, он попросил:

— Иди впереди меня.

— Зачем?

— Хочу полюбоваться твоими прелестными ножками.

— Любишься, — сказала она и пошла впереди.

Кровать была огромная. Через открытые окна проник лунный свет и доносился запах сосен. Он лежал в серебристой мгле и слушал, как Констанс возится в ванной. Она никогда не раздевалась у него на глазах. «Как хорошо, — думал он, — что Гейл, не в пример другим женщинам, не царапает мужчину во время любви». А некоторые, бывало, царапались. Он рассердился на себя: о чем он думает! Коварная память, разрушающая радости плоти. Он старался внушить себе, что причин для чувства вины нет. Сегодняшняя встреча — это одно, а вчерашняя — другое. Каждая ночь единственна в своем роде. Он никогда не клялся Констанс в верности, а она — ему.

Она скользнула бледной тенью по комнате и легла рядом с ним в постель. Он так любил ее тело, щедрое и знакомое.

— Ну вот, я снова дома, — прошептал он, отгоняя от себя воспоминания.

Но потом, когда они спокойно лежали рядом, она сказала:

— Ты ведь не хотел, чтобы я приехала к тебе в Канн. Он помедлил с ответом.

— Нет.

— И не только из-за дочери.

— Не только. — Стало быть, какой-то след все же остался.

— У тебя там кто-то есть.

— Да.

Она немного помолчала.

— Это что-то серьезное или случайное?

— Я думаю — случайное. Хотя не знаю. Но произошло это случайно. То есть не из-за нее я ехал в Канн. Несколько дней назад я даже не знал о ее существовании. — Теперь, когда Констанс сама затронула эту тему, он почувствовал облегчение от того, что может выговориться. Он слишком ценил ее, чтобы лгать ей. — Не знаю, как это произошло, — сказал он. — Произошло, и все.

— С тех пор как ты уехал из Парижа, я тоже не каждую ночь была дома одна, — сказала Констанс.

— Не буду уточнять, что ты имеешь в виду.

— Я имею в виду то, что я имею в виду.

— О'кей.

— Мы ничем с тобой не связаны, — сказала она. — Лишь тем, что чувствуем друг к другу в тот или иной момент.

— Все верно.

— Ты не против, если я закурю?

— Я всегда против, когда кто-нибудь курит.

— Обещаю тебе сегодня не заболеть раком. — Она встала с кровати, надела халат и подошла к столику. Он видел, как вспыхнула спичка. Она вернулась и села на край кровати. Время от времени, когда она затягивалась, огонек сигареты освещал ее лицо. — У меня тоже новость, — сказала она. — Хотела отложить до другого раза, да вот такое уж болтливое настроение.

Он рассмеялся.

— Чего ты смеешься?

— Так. Смешно. Что у тебя за новость?

— Я покидаю Париж.

Как ни странно, ему показалось, что это удар по нему.

— Почему?

— Мы открываем филиал в Сан-Франциско. Много молодежи стало ездить к нам с Востока и от нас туда. Обмен стипендиями и так далее. Несколько месяцев вели переговоры о создании филиала в Калифорнии. И вот наконец вопрос решен. Выбор пал на меня. Буду теперь нашим неофициальным окном в Пробуждающийся Восток.

— Без тебя Париж будет не тот.

— Без Парижа и я буду не та.

— Как ты к этому относишься?

— К переезду в Сан-Франциско? С интересом. Красивый город. Говорят, в нем бурлит культурная жизнь. — В ее тоне звучала ирония. — И для моих детей, вероятно, будет неплохо. Подучат свой английский. Должна же мать иногда заботиться и о том, чтобы ее дети лучше знали английский.

— Пожалуй, — сказал он. — Когда собираешься переезжать?

— Этим летом. Через месяц-другой.

— Ну, вот и еще один дом потерян, — сказал он. — Исключу теперь Париж из своих маршрутов.

— Вот что значит верный друг. А Сан-Франциско включишь? Говорят, там есть неплохие рестораны.

— Да, я слышал. Что ж, буду заезжать. Время от времени.

— Время от времени. Женщина не может требовать, чтоб все было, как она хочет, правда?

Он ответил не сразу.

— Многое в жизни меняется.

Они долго молчали. Наконец Констанс сказала:

— Не стану притворяться, будто я в диком восторге от того, о чем ты мне сейчас рассказал. Но я не ребенок, и ты — тоже. Ты ведь не ждал, что я устрою тебе сцену или, например, выброшусь из окна, верно?

— Конечно, нет.

— Как я уже сказала, я не в диком восторге. Но я в восторге от многого другого в наших отношениях. Сделаешь мне одолжение?

— Конечно.

— Скажи: «Я люблю тебя».

— Я люблю тебя, — сказал он.

Она загасила сигарету, сбросила халат на пол и легла рядом с ним.

— Поговорили, и довольно. Болтливое настроение прошло. — Она положила голову ему на грудь.

— Я люблю тебя, — прошептал он, касаясь губами ее спутанных волос.

Они спали долго, а когда проснулись, светило солнце и пели птицы. Констанс позвонила в Марсель: деньги из Сент-Луиса еще не поступили, а офицер, ведавший борьбой с наркотиками, будет только завтра. Они решили остаться в Мейраге еще на один день, и Крейг не стал сообщать в Канн, где он находится. Пусть этот день безраздельно принадлежит им.

На следующее утро выяснилось, что деньги все еще не пришли. Им жаль было уезжать, и они остались еще на сутки.

На другое утро, расставаясь с ней в марсельском отеле, он сказал, что в понедельник поведет ее обедать в Париже. Она рассчитывала к вечеру вызволить Юношу из тюрьмы. Если же ей это не удастся, она все равно уедет обратно в Париж, предоставив парня своей судьбе. И так она достаточно времени провела на юге. Она же все-таки работает.

15

— Черт подери, Джесс! — кричал Клейн по телефону. — Я десять раз пытался до вас дозвониться. Где вы сейчас?

— В Кассисе, — сказал Крейг. Он остановился там перекусить на обратном пути и звонил из ресторана у самой гавани. Гавань была голубая и словно игрушечная. Сезон еще не начался, у городка был сонный, пустынный вид, с лодок после зимы еще не сняли брезент. Был час обеда.

— В Кассисе, — повторил Клейн. — Именно тогда, когда человек тебе нужен, он оказывается в Кассисе. Где этот чертов Кассис?

— Между Марселем и Канном, — ответил Крейг. — А о чем вы хотели со мной говорить?

— Кажется, у меня будет для вас контракт. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Когда вы приезжаете?

— Часа через три-четыре.

— Я буду ждать, — сказал Клейн. — Весь день никуда не выйду.

— Можете сделать мне одолжение? — спросил Крейг.

— Какое?

— Позвоните Мэрфи и попросите его зайти к вам в пять часов вечера. — Ему показалось, что Клейн на другом конце провода поперхнулся, даже закашлялся от замешательства.

— Зачем вам Мэрфи? — спросил он наконец.

— Хочется пощадить его самолюбие, насколько это возможно.

— Это — нечто новое: чтобы клиенту хотелось щадить самолюбие агента-посредника, — сказал Клейн. — Мне бы такого клиента.

— Я не агента щажу, а друга, — возразил Крейг.

— Мэрфи, конечно, читал рукопись, — сказал Клейн.

— Конечно.

— И не захотел за нее браться.

— Нет.

— Ну что ж, — нехотя согласился Клейн, — если вы настаиваете...

— Я думаю, так будет лучше во всех отношениях. Но если вы не хотите, чтобы кто-то заглядывал вам через плечо, когда вы работаете...

— К черту, — сказал Клейн. — Пусть хоть сам папа римский заглядывает мне через плечо. Ладно, позову Мэрфи.

— Вот умница.

— Конечно, умница. Что бы обо мне ни болтали.

— В пять часов я буду у вас, — сказал Крейг и положил трубку. Собственно говоря, он просил позвать Мэрфи не только из дружеского расположения к нему. Он хотел, чтобы тот присутствовал при начале переговоров о контракте. Себя он считал плохим защитником своих интересов, не любил и не умел торговаться, и Мэрфи при подписании контрактов всегда следил за тем, чтобы всё было в порядке. Тем более что нынешние переговоры обещали быть сложными. Правда, он написал сценарий не ради денег, которые мог на нем за-

работать, но по долголетнему опыту работы в кино знал, что, чем больше тебе заплатят, тем легче потом отстаивать свою позицию в других вопросах. Хотя старая формула «деньги против искусства» и продолжает во многих случаях действовать, он пришел к выводу, что в кинематографе, применительно к нему лично, более точной была бы формула «деньги приумножают искусство».

Крейг сел за столик возле окна, откуда открывался вид на гавань. В ресторане он был единственным посетителем. Приятное одиночество, маленькая, залитая солнцем гавань, предвкушение обеда, Клейн, который будет ждать его до самого вечера, — все это действовало успокаивающе. Он попросил анисовой водки и не спеша принялся за изучение меню.

Он заказал доряду и бутылку белого сухого вина, а пока маленькими глотками пил водку. Средиземное море от этого казалось еще прекраснее, в памяти всплывало множество таких чудесных дней. Общество Констанс сказало на нем благотворно. Он подумал о ней с нежностью. Он знал, что если бы употребил это слово в ее присутствии, то она пришла бы в ярость. Все равно. Неплохое слово. Люди относятся друг к другу недостаточно нежно. Они говорят, что любят друг друга, но в действительности стремятся лишь использовать друг друга, опекать друг друга, властвовать друг над другом, терзать друг друга, уничтожать друг друга, плакать друг о друге. А они с Констанс, если не всегда, то в большинстве случаев, наслаждаются друг другом, и слово «нежность» применимо к их отношениям так же, как любое другое. Мысль о Сан-Франциско он отгонял от себя.

Он сказал Констанс «Я люблю тебя» и сказал Гейл «Я люблю тебя» — и в обоих случаях говорил правду. Возможно, слова эти относились и к той и к другой одновременно. Здесь, в лучах солнца, за рюмкой молочно-белого холодного южного напитка это казалось ему вполне возможным.

Не мог он не признаться себе и в том, что ему доставляет удовольствие сидеть и смотреть на безлюдную гавань, зная, что такой занятой человек, как Уолтер Клейн, звонил ему вчера десять раз и даже сейчас с нетерпением ждет его приезда. Он полагал, что уже

утратил способность наслаждаться сознанием своей силы, теперь же не без удовольствия понял, что это не так.

«Ну что ж, — подумал он, — после всего случившегося ясно, что не такая уж это была плохая мысль — приехать в Канн». Он надеялся, что к вечеру, когда он туда прибудет, Гейл уже не окажется в городе.

Подъехав в начале шестого к дому Клейна, он увидел на площадке автомобиль с шофером: значит, Мэрфи уже здесь. Мэрфи не любил водить машину сам. Он побывал в трех авариях и, по его выражению, «получил повестку».

Мэрфи и Клейн сидели возле плавательного бассейна с подогревом. Мэрфи что-то пил. В последний раз — это было во время званого вечера — Крейг встретил здесь Сиднея Грина, безработного режиссера, которого хвалил журналист из «Кайе дю синема». Грин вышел к нему из кустов, помочившись на дорожную лужайку Уолтера Клейна. «Лужайка для побежденных», — пошутил тогда про себя Крейг. Хотя он и сегодня еще не чувствовал себя победителем, но к побежденным тоже себя не причислял.

— Привет, друзья, — сказал Крейг, подходя к бассейну. — Надеюсь, не заставил вас долго ждать. — Он быстро сел, чтобы освободить их от необходимости решать, как с ним здороваться — стоя или сидя.

— Я только что приехал, — сказал Мэрфи. — Успел сделать лишь глоток виски.

— Кое-что я уже объяснил Мэрфи по телефону, — сказал Клейн.

— Что же, — грубовато сказал Мэрфи, — если нашелся дурак, готовый дать под этот сценарий миллион долларов при сегодняшнем положении дел на рынке, желаю ему удачи.

— Миллион? Откуда ты взял такую цифру? — спросил Крейг.

— Я просто прикинул, во сколько это обойдется, — сказал Мэрфи. — Миллион как минимум.

— Финансовую сторону я ни с кем еще не обсуждал, — сказал Клейн. — Все зависит от того, как вы его собираетесь ставить и с кем.

— Вы говорили, что какой-то режиссер уже читал сценарий, — сказал Крейг. — Кто этот режиссер?

— Брюс Томас, — ответил Клейн. Он быстро взгля-

нул сначала на одного собеседника, потом на другого, наслаждаясь произведенным впечатлением.

— Ну, если Брюс Томас хочет его ставить, тогда будут и деньги. — Мэрфи покачал головой. — Никогда бы не подумал, что Томас согласится. Почему вдруг? Он же сроду ничего такого не делал.

— Именно поэтому. Так он мне и сказал. — Клейн повернулся к Крейгу. — Теперь о сценарии. Томас, как и я, считает, что он нуждается в переработке. Как вы думаете, Мэрф?

— Еще в какой.

— И Томас хотел бы привлечь другого сценариста, — сказал Клейн. — Лучше было бы, чтобы он работал один, но если возникнут возражения, то совместно с этим Хартом. Как вы договаривались с Хартом, Джесс?

— Никак не договаривался, — помолчав, ответил Крейг.

Мэрфи встревоженно засопел.

— Что значит «никак не договаривался»? — спросил Клейн. — Сценарий принадлежит вам или нет?

— Да, — сказал Крейг. — У меня на него все права.

— Так в чем же дело? — спросил Клейн.

— Я сам его написал. Собственной старой авторучкой. Никакого Малколма Харта в природе не существует. Я просто взял первое попавшееся имя и поставил на титульном листе.

— Зачем ты это сделал, черт побери? — сердито спросил Мэрфи.

— Долго объяснять, — сказал Крейг. — Но факт остается фактом, давайте исходить из него.

— Для Томаса это будет неожиданностью, — сказал Клейн.

— Если ему понравился сценарий, подписанный Малколмом Хартом, — сказал Мэрфи, — то понравится и в том случае, если на нем будет стоять имя Крейга.

— Я тоже так думаю, — неуверенно сказал Клейн. — Но на ход его мыслей это может повлиять.

— В каком плане? — спросил Крейг. — Почему бы не позвонить ему и не позвать сюда?

— Ему сегодня утром пришлось улететь в Нью-Йорк, — сказал Клейн. — Поэтому я так усиленно и разыскивал вас. Не люблю, черт побери, когда люди исчезают из виду.

— Вам еще повезло, — сказал Мэрфи. — Вы-то по-

теряли его всего на один день, а я, бывало, по три месяца не мог его найти.

— Что ж, — вздохнул Клейн. — Раз уж начал, то доскажу до конца. Итак, он хочет привлечь другого сценариста. А теперь не падайте, друзья. Этого сценариста зовут Йен Уодли.

— Рехнуться можно! — сказал Мэрфи.

Крейг засмеялся.

— Смеешься, — сердито сказал Мэрфи. — А ты можешь себе представить, как ты будешь работать с Йеном Уодли?

— Пожалуй, — сказал Крейг. — А впрочем, нет. Но почему Томас выбрал именно Уодли, а не кого-нибудь еще?

— Я сам спрашивал его, — сказал Клейн. — Уодли случайно попался ему на глаза. Вы знаете, как это здесь бывает. Встретились раза два, поговорили, и Уодли дал ему свою последнюю книгу. Наверно, как-то ночью Томас не мог заснуть, взял книгу в руки, полистал ее, и чем-то она его заинтересовала.

— Ну уж и книга! — фыркнул Мэрфи. — Самые скверные рецензии со времен «Гайаваты».

— Вы же знаете Томаса, — сказал Клейн. — Он не читает рецензий. Даже на свои картины.

— Идеальный читатель, — пробормотал Крейг.

— Что вы сказали? — спросил Клейн.

— Так, ничего.

— Ну вот, — продолжал Клейн. — Томас считает, что именно Уодли способен выразить то, чего ему недостает в сценарии. Уж не знаю, что именно. Только не вините меня, Джесс. К этому я совершенно не причастен. Самому мне никогда бы и в голову не пришло читать книгу Йена Уодли. Мое дело маленькое: клиент хочет заполучить Уодли — я стараюсь его заполучить. Откуда мне было знать, черт побери, что Малколм Харт — это вы?

— Я понимаю, — сказал Крейг. — Я не виню вас.

— Весь вопрос в том, что я скажу Томасу. Может, вы все-таки поговорили бы с Уодли? Дадите ему почитать сценарий и выслушаете его соображения.

— Конечно, — сказал Крейг. — Я готов поговорить с ним. — Слушая Клейна, он обдумывал идею сотрудничества с Уодли, и она начала привлекать его. Хотя Томас и одобрил сценарий, чувство неуверенности, по-

будившее его прибегнуть к псевдониму, еще оставалось. И мысль о том, чтобы поделить с кем-то ответственность, была для него не такой уж нежелательной. К тому же Уодли, несмотря на все свои неудачи, действительно талантлив. И наконец, Крейг по собственному опыту знал, что почти не бывает сценариев, которые делал бы с начала и до конца один человек. — Я ничего не обещаю, но поговорить — поговорю.

— И вот еще что. — Клейн смутился. — Лучше уж выложить все сразу. Видите ли, Томас сам был продюсером своих последних двух картин. Ему не нужен второй продюсер и...

— Если он хочет снимать эту картину, — отрезал Крейг, — то ему нужен и продюсер. И этим продюсером буду я.

— Мэрф... — Клейн бросил на Мэрфи умоляющий взгляд.

— Вы слышали, что он сказал, — ответил Мэрфи.

— О'кей, — сказал Клейн. — Так или иначе, сам я тут ничего не решаю. Лучшее, по-моему, что мы можем сделать, — это полететь в Нью-Йорк и поговорить с Томасом. Возьмем с собой Йена Уодли и посмотрим, что у нас получится.

Мэрфи покачал головой.

— Мне на следующей неделе надо быть в Риме, а еще через неделю — в Лондоне. Скажите Томасу, чтобы подождал.

— Вы же знаете Томаса, — сказал Клейн. — Он ждать не станет. В январе у него другая работа, так что всем придется вкалывать сутками, чтоб до того времени закончить картину. Среди прочего ему в вашем сценарии, Джесс, нравится то, что он несложен для постановки и это не помешает его дальнейшим планам.

— Тогда, Джесс, придется тебе одному вести переговоры, — сказал Мэрфи. — А я могу подъехать позже.

— Не знаю, что и делать, — сказал Крейг. — Надо подумать.

— Вечером я буду звонить Томасу, — сказал Клейн. — Что ему передать?

— Передайте, что я думаю, — ответил Крейг.

— Вот уж он обрадуется, — кисло сказал Клейн, вставая. — Кто хочет выпить?

— Спасибо, не хочу. — Крейг тоже встал. — Мне надо в Канн. Весьма признателен за все, что вы сделали, Уолт.

— Не стоит. Я всего лишь стараюсь заработать лиш- ний доллар для себя и своих друзей. Не понимаю, какого дьявола вы не воспользовались собственным именем.

— Как-нибудь я вам объясню, — сказал Крейг. — Мэрф, почему бы тебе не прокатиться до Канна со мной? Скажи своему шоферу, что пересядешь к нему у «Карл- тона».

— Ладно. — Мэрфи был какой-то удивительно по- корный.

Клейн вышел с ними на крыльцо. Они церемонно пожали друг другу руки. В это время в доме раздался телефонный звонок, и Клейн поспешил обратно. Крейг и Мэрфи сели в машину и поехали, сопровождаемые «мерседесом» Мэрфи.

Мэрфи долго молчал, глядя на зеленые заросли по краям дороги. Близился вечер, и от деревьев ложились длинные тени. Крейг тоже молчал. Он понимал, что Мэрфи расстроен и готовится к разговору.

— Джесс, — проговорил тот наконец сдавленным го- лосом. — Приношу свои извинения.

— Не за что извиняться.

— Я просто дурак. Старый дурак — и все.

— Да брось ты.

— Я потерял чутье. Не гожусь уже никуда.

— Да ладно тебе, Мэрф. Кто не делает ошибок? И у меня они были. — Он вспомнил Эдварда Бреннера в пустом театре после заключительного спектакля. То была его последняя и лучшая пьеса.

Мэрфи печально покачал головой.

— Я держал этот сценарий в руках и советовал тебе забыть про него, а этому пройдохе Клейну достаточно было одного телефонного звонка, чтобы заинтересовать им популярнейшего режиссера. Какая же тебе от меня польза, черт побери?

— Ты мне нужен, — сказал Крейг. — Неужели тебе не ясно? Я обязан был сказать тебе, что сценарий этот мой.

— Какая разница? Хотя, конечно, ты поступил со мной не лучшим образом. После стольких лет совмест- ной работы.

— У меня свои проблемы. Некоторые из них ты знаешь.

— Это верно, — сказал Мэрфи. — И есть одна боль-

шая, в которой я мог тебе помочь... должен был помочь... и давно... А я вот не помог.

— О чем это ты?

— Да о твоей проклятой жене.

— А что ты мог бы сделать?

— Мог бы предупредить. Я знал, что происходит.

— Да я и сам знал, — сказал Крейг. — В общих чертах. И с опозданием. Но все же знал.

— Ты не догадывался, почему она это делает? — спросил Мэрфи. — Она же не нимфоманка, нет. И она вполне может держать себя в руках. Она не из тех, что кидаются в постель с первым же посылным из продуктовой лавки.

— Нет, не из тех.

— Ты не задумывался о том, кого она выбирала себе в партнеры?

— В общем — нет.

— Если тебе это неприятно, Джесс, то я замолчу.

— Да, неприятно. Но ты говори.

— Она всегда выбирала твоих друзей. Тех, кто восхищался тобой, тех, с кем ты работал, тех, кем ты сам восхищался.

— Нельзя сказать, чтобы я был без ума от ее последнего партнера.

— Он тоже появился не случайно, — настаивал Мэрфи. — Этот человек преуспевает, преуспевает в том, чего ты не умеешь, и тебе неприятно, что ты этого не умеешь. Ты обращался к нему за советом, доверял ему свои финансовые дела. Понимаешь?

— Некоторым образом — да, — сказал Крейг.

— И все эти люди хотели видеть тебя, слушать тебя, ты был в центре внимания. А она всегда оставалась на заднем плане. У нее был только один способ показать себя — и она им воспользовалась.

— И она им воспользовалась, — кивнул Крейг.

— Я давно это заметил, — сказал Мэрфи. — И Соня тоже. И когда еще было время что-то предпринять, я молчал, я предоставил тебе самому решать эту проблему. А чем я искупил свою вину? — Он сокрушенно покачал головой. — Добавил еще одну проблему. — У него был усталый вид, тело его на непрочном сиденье старого маленького автомобиля словно съежилось и казалось каким-то вялым, голос звучал устало, лицо, по

которому проносились тени придорожных деревьев, было печальным.

— Никаких проблем ты мне не добавлял, — резко сказал Крейг. — Ты мой друг и партнер, в прошлом ты делал для меня чудеса и, я полагаю, будешь делать и дальше. Не знаю, что бы со мной стало без тебя.

— Агент — это мишень для насмешек, — сказал Мэрфи. — А я — шестидесятилетняя мишень для насмешек.

— Никто так о тебе не думает, — сказал Крейг. — Я так не думаю, и все, кому приходилось иметь с тобой дело, тоже наверняка не думают. Так что забудь об этом. — Ему было неприятно видеть в таком настроении Мэрфи, который никогда не терял присутствия духа, уверенности в своих силах, решительности в суждениях, считая это своим стилем, даже своим жизненным кредо.

— Если хочешь, Джесс, я отменю Рим и Лондон и полечу с тобой в Нью-Йорк.

— В этом нет необходимости, — сказал Крейг. — Наоборот, ты приобретешь больший вес, когда они там узнают, что надо ждать тебя.

— Только не делай никаких уступок, пока я не приеду. — Голос Мэрфи окреп. — Держись твердо. Дай мне до утра все обдумать. Завтра скажи мне точно свои требования, и мы прикинем, чего и как тут можно добиться.

— Так-то лучше, — сказал Крейг. — Вот почему я и просил Клейна позвать тебя на нашу встречу.

— Господи! — громко вздохнул Мэрфи. — Знал бы ты, как мне противно будет делить с этим пройдохой комиссионные.

Крейг засмеялся. Засмеялся и Мэрфи, выпрямившись на сиденье.

Но когда они подъехали к «Карлтону», он сказал:

— Джесс, у тебя не найдется лишнего экземпляра сценария? Хочу перечитать его — просто чтобы понять, каким я могу быть идиотом.

— Завтра дам. Привет Соне.

Когда Мэрфи вылез из «симки» и пошел к своей машине, вид у него был величественный, властный и угрожающий — вид человека, которому не каждый осмелится перебежать дорогу. Крейг невольно улыбнулся, глядя, как его друг вваливается в свой большой черный «мерседес».

В холле отеля было полно народу: мужчины в смокингах и дамы в вечерних платьях собирались на вечерний сеанс фестиваля. Пробираясь к стойке портье, Крейг машинально озирался, ища глазами Гейл. Много знакомых лиц и среди них — Джо Рейнолдс, но Гейл не было видно. Синяки у Рейнолдса начали желтеть, и внешность его от этого не стала привлекательней. Он оживленно разговаривал с Элиотом Стейнхардтом. У лифта стоял высокий русобородый парень, и Крейг почувствовал на себе его пристальный взгляд. Когда он брал почту и ключ от номера, парень подошел к нему.

— Мистер Крейг?

— Да.

— Я Бейард Пэтти.

— Да?

— Я хочу сказать... Я друг Энн. Из Калифорнии.

— А, здравствуйте. — Крейг протянул руку, и Пэтти пожал ее. У него была огромная и мощная, как камнедробилка, ладонь.

— Очень рад познакомиться, сэр, — сказал Пэтти скорбно.

— А где Энн? Давайте ее сюда и пойдем выпьем.

— Вот об этом я и хотел вас спросить, мистер Крейг. Энн здесь нет. Она уехала.

— То есть как уехала? — резко спросил Крейг.

— Уехала и все. Сегодня утром. Записку мне оставила.

Крейг повернулся к портье.

— Моя дочь съехала?

— Да, monsieur, — ответил портье. — Сегодня утром. Крейг перебрал свою почту. Никакой записки от Энн не было.

— Она оставила свой новый адрес?

— Нет, monsieur.

— Пэтти! Она вам сказала, куда уехала?

— Нет, сэр. Зовите меня Бейард, пожалуйста. Она просто исчезла.

— Подожди меня здесь, Бейард, — сказал Крейг. — Может, она в моем номере оставила записку.

В номере тоже ничего не оказалось. Он снова спустился в холл. Пэтти ждал у стойки портье. Он был похож на громадного, верного, лохматого ньюфаундленда.

— Есть что-нибудь? — спросил Пэтти.

Крейг покачал головой.

— Странная девушка, — сказал Пэтти. — Я только вчера приехал. Летел через полюс.

— Пожалуй, нам обоим не мешало бы выпить, — сказал Крейг. Он чувствовал себя карликом рядом с громадным молодым человеком, шагавшим с ним по коридору в направлении бара. На Пэтти были джинсы, трикотажная рубашка, а поверх нее — легкая коричневая куртка из непромокаемой ткани. Он слегка прихрамывал, и это еще больше выделяло его среди мужчин в вечерних костюмах и дам в драгоценностях.

— Я вижу, ты до сих пор хромаешь, — сказал Крейг.

— Так вы, стало быть, знаете, — с удивлением заметил Пэтти.

— Энн рассказывала.

— Что она еще обо мне говорила? — спросил Пэтти тоном обиженного ребенка, плохо сочетавшимся с его массивной фигурой.

— Ничего особенного, — дипломатично ответил Крейг. Он, конечно, не собирался повторять, что сказала Энн об этом бородатом юнце из Сан-Бернардино.

— Она вам говорила, что я хочу на ней жениться?

— Кажется, да.

— Вы, надеюсь, не находите ничего ужасного и порочного в том, что человек хочет жениться на девушке, которую любит?

— Нет, не нахожу.

— Полет через полюс стоил мне огромных денег, — сказал Пэтти, — а я видел ее всего несколько часов, она даже не позволила мне остановиться в том же отеле, и вдруг — бац! — записка: уезжаю, прощай. Как вы думаете, она сюда вернется?

— Понятия не имею.

Все столики оказались занятыми, так что им пришлось стоять в толпе у бара. Здесь тоже было много знакомых лиц. «Помяни мое слово, — говорил какой-то молодой человек, — английская кинематография подписала себе смертный приговор».

— Мне, наверно, следовало надеть костюм, — сказал Пэтти, смущенно озираясь по сторонам. — Просто необходимо. В таком шикарном месте.

— Не обязательно, — сказал Крейг. — Теперь никто не обращает внимания на то, как люди одеты. В течение двух недель здесь — полная свобода нравов.

— Оно и видно, — угрюмо сказал Пэтти. Он заказал «мартини». — С моей ногой одно хорошо: можно пить «мартини».

— Не понял.

— Я хочу сказать, теперь мне не надо следить за спортивной формой и прочей ерундой. По правде говоря, мистер Крейг, когда я услышал, как хрустнуло у меня колено, я обрадовался, здорово обрадовался. Сказать, почему?

— Ну что ж, скажи. — Крейг, потягивая виски, заметил, что Пэтти выпил одним глотком половину своего «мартини».

— Я понял, что мне уже не играть больше в футбол. Зверская игра. А бросить ее — при моей-то силе — не хватало духа. И потом, когда я услышал, как оно хрустнуло, я еще подумал: «Теперь Вьетнам без меня обойдется». Вы считаете, что это непатриотично?

— Да нет, — сказал Крейг.

— Когда я выписывался из больницы, — продолжал Пэтти, вытирая мокрую от «мартини» бороду тыльной стороной ладони, — то решил наконец сделать Энн предложение. Ничто нашей женитьбе уже не мешало. Только она... — В голосе Пэтти послышалась горечь. — Что она имеет против Сан-Бернардино, мистер Крейг? Она вам говорила?

— Насколько помню, нет.

— Доказательство своей любви она мне представила, — воинственным тоном сказал Пэтти. — Самое убедительное доказательство, на какое способна девушка. И всего лишь вчера.

— Да, что-то она мне на этот счет говорила, — сказал Крейг, хотя сообщение Пэтти насчет вчерашнего дня его удивило. Неприятно удивило. «Самое убедительное доказательство». А какое доказательство он представил вчера в Мейраге? Этот парень все еще пользуется лексиконном викторианской эпохи. Даже трогательно. А вот Энн, когда высказывалась на эту тему, не очень-то тщательно выбирала слова.

— Я *должен* вернуться в Сан-Бернардино, — сказал Пэтти. — Я ведь единственный сын в семье. У меня четыре сестры. *Младше* меня. Мой отец всю жизнь создавал свое дело. Он один из самых уважаемых людей в городе. А теперь я должен ему сказать: «Все, что ты делал, — ни к чему», так, что ли?

— Я считаю, что ты рассуждаешь здраво, — сказал Крейг.

— А вот Энн не считает, — печально сказал Пэтти. Он уже допил свой «мартини», и Крейг заказал еще. Как избавиться от этого парня? Если верно, что музыка — пища для любви, то Пэтти — это школьный духовой оркестр, играющий школьный гимн в перерыве между первым и вторым таймом. Крейг невольно усмехнулся: смешное сравнение! — По-вашему, я дурачок, мистер Крейг? — сказал Пэтти, заметив его усмешку.

— Вовсе нет, Бейард. Все дело в том, что у тебя и у Энн разное представление о жизни.

— А как по-вашему, она переменится?

— Все люди меняются, — сказал Крейг. — Только не знаю, переменится ли она в твою сторону.

— Угу. — Пэтти понурил голову, борода коснулась его груди. — Вам, как отцу Энн, мне этого не хотелось бы говорить, но, видите ли, я застенчив и ни с кем не заигрываю. Ваша дочь сама этого захотела.

— Вполне возможно, — согласился Крейг. — Ты красивый молодой человек и, как видно, очень славный...

— Угу, — неуверенно сказал Пэтти.

Желая подбодрить его, Крейг сказал:

— Она даже говорила мне: когда ты идешь по пляжу, вид у тебя такой, что только во Фракии на мраморном пьедестале стоять.

— Что это значит? — подозрительно спросил Пэтти.

— Это большой комплимент. — Крейг протянул ему второй стакан «мартини».

— Мне этот комплимент не кажется очень лестным, черт побери! — Пэтти отпил глоток. — Я всегда считал, что поступки красноречивей слов. А поступки вашей дочери озадачивают, если не сказать больше. Впрочем, какого черта... Я же знаю, как она воспитана.

— Как же, по-твоему, она воспитана, Бейард? — с неподдельным интересом спросил Крейг.

— Модный пансион в Лозанне. Говорит по-французски. Знаменитый отец. Сколько угодно денег. Вся жизнь — среди людей высокого полета. Я для нее, наверно, большое ничтожество. Видно, надо мне быть благоразумнее. Только вот беда: как вспомню о ней, так теряю всякое благоразумие. Но вы, мистер Крейг, вы ведь должны знать — вернется она сюда или нет?

— Не знаю. Честное слово, не знаю, — сказал Крейг.

— Через неделю мне обратно в Калифорнию. Опять будут оперировать колено. Обещают, что через три месяца буду ходить нормально. Так что замуж она не за калеку пойдет. Если б год назад кто сказал мне, что я, Бейард Пэтти, полечу за шесть тысяч миль через полюс во Францию, чтобы провести неделю с девушкой, я б такого человека назвал сумасшедшим. Знаете, мистер Крейг, я, наверно, не смогу без нее жить. — Его ясные голубые глаза повлажнели. — Я очень все драматизирую, да? — спросил он, вытирая огромным кулачищем слезу.

— Немного.

— Но все это правда. Она ведь даст вам о себе знать, да?

— Рано или поздно.

— Вы ей скажете, что она должна мне позвонить?

— Передам.

— Что вы обо мне думаете, мистер Крейг? По совети. Вы через многое в жизни прошли. Разных повидали людей. Неужели я так уж плох?

— Конечно, нет.

— Я не самый умный на свете. Но и не последний дурак. Нельзя сказать, что я тянул бы ее вниз. Я бы уважал ее вкусы. С радостью. Вы были женаты, мистер Крейг, так что вы понимаете. Брак — это не тюрьма, черт подери. А Энн говорит, что тюрьма.

— Боюсь, что мой брак не кажется моим дочерям примером, достойным подражания.

— Я знаю, что вы разошлись с женой, — сказал Пэтти, — и я знаю, что у вас с ней не очень хорошие отношения...

— Мягко выражаясь, — сказал Крейг.

— Но это не значит, что *всякий брак* должен обязательно развалиться, — упрямо продолжал Пэтти. — Мои родители тоже иногда ссорились. И ссорятся до сих пор. Вы бы послушали, какой у нас иногда крик стоит в доме. Но это меня не испугало. Даже то меня не испугало, что у меня четыре сестры...

— Смелый ты человек, Бейард.

— Мне сейчас не до шуток, — обиделся Пэтти.

— Я вовсе не шучу, — успокоил его Крейг. Ему пришло в голову, что с Пэтти, если он рассвирепеет, лучше не связываться.

— Так или иначе, — уже дружелюбнее сказал Пэт-

ти, — я вам буду благодарен, если вы замолвите Энн за меня словечко, когда она объявится.

— Словечко замолвлю, — пообещал Крейг. — Но что из этого выйдет, покажет время.

— Мне легче, когда я разговариваю с вами, мистер Крейг. Это... ну, как бы ниточка между мною и Энн. Не хочу быть навязчивым, но вы оказали бы мне честь, согласившись поужинать со мной сегодня.

— Спасибо, Бейард. — Крейг решил, что ему следует заплатить семейный долг вежливости. — С большим удовольствием.

Сзади кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел Гейл — в том же ситцевом платье, в котором она была на вечере у Клейна. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Дайте мне чего-нибудь выпить, — наконец сказала она.

— Вы знакомы с Бейардом Пэтти? — спросил Крейг. — Гейл Мак...

— Да, мы знакомы, — сказала Гейл. Мужчина, сидевший рядом с Крейгом, слез со своего высокого табурета, и Гейл, усевшись на освободившееся место, положила сумку на стойку бара.

— Добрый вечер, мисс Маккиннон, — сказал Пэтти. — Нас Энн познакомила, — объяснил он Крейгу.

— Понятно. — Присутствие Пэтти было ему совсем некстати. — Что вы будете пить? — спросил он Гейл.

— Шампанское, пожалуйста. — Она выглядела совсем юной, чистой и скромной, словно никогда в жизни не пила шампанского и не способна спросить мужчину, так ли она хороша в постели, как ее мать.

Крейг заказал шампанское.

— Бейард говорит, что Энн сегодня утром уехала. Вы ничего об этом не знаете?

Гейл странно посмотрела на него и ничего не ответила, лишь передвинула на стойке сумку.

— Нет, — сказала она наконец. — Ничего. Хорошо вы провели время в Марселе?

— Откуда вы знаете, что я был в Марселе?

— Здесь наносятся на карту все ваши передвижения. Клейн из себя выходил — никак не мог вас разыскать.

— Марсель — очаровательный город. Вам тоже реко-

мендую там побывать, — сказал Крейг. — Да, время я провел хорошо.

Гейл медленно потягивала шампанское.

— Вы намерены задержаться в Канне, мистер Пэтти?

— Зовите меня Бейард, пожалуйста. Не уверен. Я ни в чем не уверен.

— Мы с Бейардом ужинаем сегодня, — сказал Крейг. — Хотите к нам присоединиться?

— Извините, не могу. Я поджидаю Ларри Хеннеси. Сегодня показывают его картину, он очень волнуется и вряд ли высидит до конца. Я обещала поужинать с ним и посочувствовать. Так что, пожалуй, отложим до другого раза? — Она говорила вызывающе безразличным тоном.

— Пожалуй, — сказал Крейг.

— После просмотра он у себя в «люксе» собирает народ, — сообщила Гейл. — Я уверена, что ему будет приятно видеть там вас обоих, джентльмены.

— Посмотрим, какое у нас будет настроение, — сказал Крейг.

— Я готовлю о нем статью. Из другой статьи, видимо, ничего не получится. Он прелестный человек. И удивительно легок в общении. — Она отпила из бокала. — А с некоторыми работать — точно воз в гору везти! Ага, вот и он. — Она помахала рукой. — Боже, там его обступила какая-то скучная публика. Пойду к нему на выручку. Спасибо за шампанское. — Она соскользнула с табурета и пошла к двери, где стоял Хеннеси, оживленно беседуя с двумя женщинами и, кажется, отнюдь не скучая.

— Мне не хотелось говорить, мистер Крейг, — сказал Пэтти, — к тому же я познакомился с этой девушкой только вчера, но, по-моему, она оказывает на Энн дурное влияние.

— Да они едва знакомы, — отрезал Крейг. — Вот что: мне надо подняться к себе, принять душ и переодеться. Через полчаса встретимся в холле.

— Как вы считаете, мне следует надеть костюм? — спросил Пэтти.

— Да, — ответил Крейг. Пусть и он сегодня помучается, повяжет на свою бычью шею галстук. Крейг расплатился с барменом за всех троих и вышел через дверь, ведущую на террасу, а не через ту, где стоял Хеннеси, весело болтая и обняв за плечи Гейл Маккиннон.

Он спустился в холл только через час. Перед тем как переодеться, он взял в руки экземпляр «Трех горизонтов» и полистал его. Сознание того, что его прочли другие люди, что он понравился им и теперь можно начинать сложный и изнурительный процесс воплощения его на экране, заставило Крейга посмотреть на свой труд как бы заново. Читая, он невольно испытал знакомое волнение. Сценарий уже не казался ему мертвым текстом. В голове роились мысли: кого из актеров пригласить, какие куски переделать, какие операторские приемы использовать, какое дать музыкальное сопровождение тем или иным сценам. Он с усилием оторвался от рукописи, побрился, принял душ и оделся. Не может же он заставить беднягу Бейарда Пэтти — всеми покинутого, жалкого в своем костюме — всю ночь прождать его в холле.

Поведение Энн вызвало у него чувство досады, но не более. В сущности, он за нее не беспокоился. Она уже взрослая и может о себе позаботиться. С Пэтти она обошлась жестоко, и Крейг, сам человек не жестокий, не мог этого одобрить. Он так ей и скажет, когда увидит ее. Конечно, это чудовищно — переспать с парнем, а на следующее утро исчезнуть, но ведь и до нее были девушки, которые поддавались влечению, а потом бежали от осложнений. С мужчинами это тоже случается. В том числе и с членами семейства Крейгов, если уж на то пошло, она не первая.

Он позвонил Клейну и узнал адрес Брюса Томаса в Нью-Йорке. Довольный собственным решением, он сказал Клейну, что вылетает на следующий день.

— Вот это дело, — сказал Клейн. — Начинайте действовать. Да и фестиваль все равно уже выдохся. Так что вы ничего не потеряете. — В трубке раздавался беспорядочный гул голосов. У Клейна — очередной коктейль. Оправдывает пять тысяч долларов, потраченные на аренду дома.

Крейг испытывал благожелательное, непривычно дружеское чувство к этому человеку. Мир полон полезных людей, и Клейн — один из них. Надо сказать Мэрфи, чтобы перестал обзывать его пройдохой.

Он составил телеграмму Томасу, в которой сообщал, что вылетает в Нью-Йорк и позвонит ему сразу же по прибытии. Хотел также телеграфировать Констанс и отменить назначенный на понедельник обед, но передумал.

Лучше позвонить ей утром и все объяснить. Он был уверен, что она поймет. И одобрит. К тому же от Нью-Йорка до Сан-Франциско ближе.

Спустившись вниз, где его ждал Бейард Пэтти в темно-синем костюме и при галстукe, он отдал портье телеграмму для Брюса Томаса и попросил забронировать на следующий день место на самолет Ницца — Нью-Йорк.

Слушая разговор Крейга с портье, Пэтти совсем по-мрачнел.

— Вы уже улетаете? А если Энн вернется?

— О ней придется позаботиться тебе.

— А, ну да. — В тоне Пэтти не было уверенности.

Они сели в машину, и Крейг повез его в Гольф-Жюан, где у самого моря на сваях стоял рыбный ресторан. Море было беспокойно, волны с ревом обрушивались на сваи. Пэтти выпил больше, чем следовало, и разболтался. К концу ужина Крейг узнал все и о его семье, и о политических воззрениях, и о взглядах на любовь и на студенческие волнения. («Я хоть и трудяга, мистер Крейг, но не типичный. Можете мне поверить. И я заодно с ребятами: они по большей части правы. Но я против, когда они захватывают здания, бросают бомбы в банки и вытворяют всякие глупости. Хоть тут мы с Энн не расходимся во мнениях. Отец считает меня красным экстремистом, только он ошибается. Зато в нем вот что есть: он уважает в тебе человека, всегда тебя выслушает и постарается понять твою точку зрения. Когда будете в Калифорнии, обязательно познакомьтесь с ним. Знаете, мистер Крейг, мне повезло, что у меня такой отец.») О том, что Энн тоже повезло с отцом, он ничего не сказал. Он видел два фильма Крейга и отозвался о них вежливо. Он вообще был вежливый молодой человек. К концу ужина Крейг убедился, что политика политикой, а женитьба Бейарда Пэтти на Энн была бы для парня губительной, но говорить ему этого не стал.

Они уже выпили кофе, а к Хеннеси ехать было еще рано — там соберутся не раньше полуночи. К тому же Крейгу не очень-то и хотелось туда идти; что же до Пэтти, то вряд ли он будет чувствовать себя там неприужденно.

— Сколько тебе лет? — спросил он, когда они вышли из ресторана и направились к машине. (Пэтти настоял

на своем и заплатил по счету.) — Больше двадцати одного?

— Ровно двадцать один, — ответил Пэтти. — А что?

— Паспорт у тебя с собой?

— Зачем? — вспыхнул Пэтти. — Хотите проверить?

Крейг засмеялся.

— Да нет же. Я подумал, не сходить ли нам в казино. Раз уж ты приехал, должен же ты познакомиться с местными достопримечательностями. А там при входе спрашивают паспорт. — По крайней мере за игорным столом он будет избавлен часа на два от излишней удрученного парня.

— Ах, извините, — сказал Пэтти. — Конечно. Он у меня в кармане.

— Хочешь пойти?

— А что мне терять?

— Кроме денег, ничего, — сказал Крейг.

В казино Крейг коротко объяснил, что такое рулетка, и посадил Пэтти рядом с крупье, чтобы тот подсказывал новичку, что делать. Сам же сел за стол, где играли в *chemin de fer*. До этого он играл в Канне только однажды — в ту ночь, когда одолжил Уодли триста долларов и когда Мэрфи рекомендовал ему отказаться от мысли поставить «Три горизонта». Он усмехнулся про себя, вспомнив тогдашний разговор с Мэрфи по телефону. Садясь за игорный стол, он с удовольствием подумал: «Теперь, имея в запасе тридцать тысяч франков, можно и порезвиться».

Время от времени, перед новой раздачей, Крейг подходил к Пэтти. У того возбужденно блестели глаза — перед ним лежала солидная куча фишек. «Я заразил его новым пороком, — подумал Крейг. — Зато хоть об Энн ныть перестанет».

За столом напротив Крейга освободилось место, и его заняла полная дама. Она была в белом шелковом платье, оставлявшем открытыми плечи и большую часть пышной груди. Замысловатая, тщательно уложенная прическа, сильно подведенные глаза. Несоразмерно тонкие губы на круглом, словно лакированном лице, утолщенные блестящей ярко-красной помадой. Очень смуглая кожа на плечах и груди блестела, точно смазанная жиром. Пальцы с длинными загнутыми малиновыми

ногтями были отягощены бриллиантами, которые Крейг — он не был знатоком в этой области — принял за настоящие. Она перенесла с другого стола кучку крупных фишек и, разложив их перед собой в геометрическом порядке, постукивала по ним с хозяйским видом своими длинными накрашенными ногтями. Она взглянула на Крейга и улыбнулась — лукаво, но без особого радушия.

Теперь он узнал ее. Это была та толстуха, что лежала на солнце, когда они с Мэрфи шли в бар отеля «На мысу». Он вспомнил ее залитое потом, размалеванное лицо, вспомнил выражение неприкрытой развращенности, отметины, свидетельствующие о дурном характере, эгоизме, грубости и жадной похотливости. Обратная сторона монеты, название которой чувственность. Неприятно, что она села за его стол.

Он был уверен, что она выиграет. Так оно и вышло. После нескольких партий он встал из-за стола, взяв с собой выигрыш. Кучка фишек перед Пэтти немного увеличилась, он сидел согнувшись и сосредоточенно смотрел на вращающийся круг.

— С меня хватит, Бейард, — сказал Крейг. — Иду получать наличные. А ты как?

Пэтти с удивлением обернулся на голос Крейга — словно вдруг перенесся откуда-то издалека.

— Да, да. Пожалуй, мне тоже надо бросить, пока я еще в выигрыше.

Когда они подошли к кассе, Крейг увидел, что Пэтти выиграл более тысячи франков.

— Сколько это в долларах? — спросил Пэтти.

— Около двухсот пятидесяти.

— Скажи пожалуйста, — удивился Пэтти. — Вот легкий заработок. Как говорится, кому не везет в любви...

— Да брось ты, Бейард.

— Во всяком случае, это возместит мне часть расходов. — Он аккуратно сложил деньги и сунул их в бумажник из страусовой кожи с золотыми уголками. Потом, печально посмотрев на бумажник, сказал: — Это мне Энн подарила. В лучшие времена. На нем и мои инициалы есть.

Они пошли обратно в отель. По дороге к ним несколько раз приставали проститутки.

— Отвратительно, — сказал Пэтти. — И так открыто. Он сказал, что ему не хочется идти к Хеннеси.

— Вы, как и я, понимаете, мистер Крейг, что такие вечера не для меня. — Он зашел вместе с Крейгом в холл, чтобы узнать, нет ли вестей от Энн. Никаких вестей не было.

— Если я до отъезда узнаю что-нибудь, то сообщу тебе, — обещал Крейг. Ему было совестно перед парнем, точно он собирался от него сбежать.

— Вы мне друг, мистер Крейг. Я считаю вас истинным другом.

Крейг смотрел вслед понурой громадной фигуре любовника своей дочери, пока тот, прихрамывая, не вышел на темную улицу, и, когда парень исчез из виду, подумал: «Ну, свой отцовский долг я исполнил. Или часть долга».

Дверь «люкса» Хеннеси была настежь открыта, и шум голосов заполнил весь коридор. Несомненный признак успеха. Должно быть, фильм Хеннеси приняли очень хорошо. Через открытую дверь проникал тоже не оставлявший сомнений запах марихуаны.

«В мое время, — подумал Крейг, — мы просто напивались. А вот это, как видно, и есть то, что профессора социологии и называют новыми моральными критериями?»

Гостиная была полна народа. У большого стола, уставленного бутылками, стоял Мэррей Слоун, критик из киногазеты. Он не курил марихуану. Верный старой традиции, он накачивал себя даровым виски. У противоположной стены на большом диване рядом с героем вечера сидела Гейл. Хеннеси — сияющий, раскрасневшийся, потный — был без пиджака, в подтяжках. Он делил сигарету с Гейл, далекой, холодной, безразличной к шуму и веселью.

— Как приняли фильм, Мэррей? — спросил Крейг.

— Как видите. — Слоун повел стаканом в сторону шумящих гостей. — В телячьем восторге.

— В таком духе вы и собираетесь о нем писать?

— Нет. Напишу, что он полон веселого, соленого американского юмора и что реакция публики вполне оправдала надежды продюсера. Идет на высшую премию. — Слоун старался держаться прямо, однако слегка

покачивался, из чего Крейг мог заключить, что пил он прилежно. — Умолчу я и о том, что на деньги, потраченные сегодня на травку, можно было бы снять недорогой порнографический фильм. И вот еще о чем я не напишу: если бы не даровая выпивка, я бы ни на один фестиваль в жизни не поехал. А как у вас дела, мой друг? Могу я передать что-нибудь про вас по телексу?

— Нет, — сказал Крейг — Вы Йена Уодли здесь не видели?

— Нет. Старый собутыльник. Когда его нет, вроде бы что-то не то. Слышал я про его стычку с Мэрфи в ресторане. Теперь уполз, наверно, в какую-нибудь нору и лаз за собой закрыл.

— Кто вам наболтал? — резко спросил Крейг.

— Ветром занесло, — покачиваясь и ухмыляясь, ответил Слоун. — Мистраль нашептал.

— Вы ничего об этом не писали? — спросил Крейг.

— Я для светской хроники не пишу, — с достоинством сказал Слоун. — Хотя есть и такие, что пишут.

— А в светской хронике ничего не появлялось?

— Насколько я знаю, нет. Только я ее не читаю.

— Спасибо, Мэррей.

Крейг отошел от критика. Не за тем же он пришел, чтобы тратить время на Мэррея Слоуна. Он стал пробираться туда, где сидели Гейл и Хеннесси, и наткнулся на Корелли, итальянского актера, который сидел, сверкая улыбкой, на полу, будто мальчишка, вместе со своими неизменными двумя спутницами. Крейг не мог вспомнить, те ли это девицы, которых он уже встречал, или не те. Корелли тоже курил сигарету и давал покурить поочередно своим подружкам. Одна из них затянулась и сказала:

— Дивный марокканский рай!

— Крейг споткнулся о вытянутую ногу Корелли, и тот, мило улыбнувшись, сказал:

— Присаживайтесь к нам, мистер Крейг. Ну, пожалуйста. У вас лицо *simpatico*¹. Правда, у мистера Крейга лицо *simpatico*, девушки?

— *Molto simpatico*², — подтвердила одна из девиц.

— Извините, — сказал Крейг, стараясь ни на кого

¹ Симпатичное (итал.).

² Очень симпатичное (итал.).

не наступить. — Поздравляю, Хеннесси. Говорят, вы всех сегодня сразили.

Хеннесси приветливо улыбнулся, попробовал встать, но упал на диван.

— На сегодня я себя обессмертил. Становлюсь новым Сесилем Б. де Миллем. Неплохой вечер, а? Выпивка, травка, слава и поздравления дирекции.

— Привет, Гейл, — сказал Крейг.

— А, Малколм Харт собственной персоной, — сказала Гейл.

Крейг не мог сказать, пьяна она или одурманена.

— Что, что ты говоришь? — недовольно пробурчал Хеннесси. — Разве я приглашал еще кого-нибудь?

— Это наша с Гейл шутка.

— Молодчина девка, — сказал Хеннесси, похлопав Гейл по руке. — Поила меня весь вечер, пока на Лазурном берегу решалась моя судьба. Все спрашивала про мою прежнюю жизнь. Начиная со времен рабства. Боксер-любитель, шофер грузовика, дублер-акробат, вышибала в бильярдной, бармен, рекламный агент... Кем я еще был, дорогая?

— Автомехаником, рабочим на ферме...

— Вот, вот. — Хеннесси одарил ее улыбкой. — Всю мою подноготную знает. Законченная американская посредственность. Но я знаменит, и она собирается сделать меня еще знаменитее, верно, дорогая? — Он передал Гейл сигарету, и она, закрыв глаза, сделала большую затяжку.

«Нет, эта вечеринка не для меня», — подумал Крейг.

— Доброй ночи, — сказал он. Гейл открыла глаза и медленно выпустила сладковатый дым. — Я только хотел сказать вам, что завтра улетаю в Нью-Йорк.

Его разбудил телефонный звонок. У него было такое ощущение, будто он и не спал вовсе, а видел один из тех снов, когда человеку кажется, что он бодрствует, но ему очень хочется спать. Он пошарил рукой и взял трубку.

— Я стучала, стучала. — Это была Гейл. — И никакого результата. — Голос ее звучал так, словно он слышал его во сне.

— Который час?

— Три часа утра. Все в порядке. Я поднимаюсь к тебе.

— Ни в коем случае.

— Я плыву, плыву. И хочу тебя. Мне не терпится коснуться губ моей истинной любви.

— Ну и накурилась же ты, — сказал он.

Она хихикнула.

— Ага, так накурилась! И так хочу тебя! Отопри дверь.

— Иди к себе и ложись спать.

— У меня сигаретка есть. Чудесное марокканское курево. Оставь дверь открытой. Поплывем вместе в прекраснейший марокканский рай.

Он не знал, что делать. Сон окончательно прошел. Манящий нежный голос волновал, вкрадчиво пробирался по электрической цепи его нервов.

Гейл снова хихикнула.

— Ты поддаешься. Моя истинная любовь поддается. Еду наверх. — В трубке щелкнуло.

Он немного подумал, вспоминая их ласки. Молодая, девичья кожа. Мягкие беззастенчивые руки. В первый и в последний раз он узнает, что такое наркотики, хоть это и знают почти все. Что бы там с Гейл сейчас ни происходило, счастлива она, безусловно, была. Что он потеряет, если познает эту тайну и на час-два впадет в блаженное состояние? Через двадцать часов он будет уже на другом континенте. Он никогда больше ее не увидит. Завтра у него начнется новая, упорядоченная жизнь. Осталась одна только ночь, чтобы вкусить наслаждений хаоса. Он знал, что, если даже не откроет дверь, ночь для него все равно потеряна. Он встал с постели и отпер дверь. Потом лег поверх простынь и стал ждать.

Он слышал, как дверь открылась и снова закрылась, слышал, как она вошла в спальню.

— Шш... моя истинная любовь, — прошептала она.

Он лежал не шевелясь, слушая, как она раздевается в темноте, увидел на секунду ее лицо, когда в руке ее вспыхнула спичка. Она подошла к кровати и, не касаясь его, подложила под спину подушку и села рядом с ним по-турецки. По мере того как она раздувала «чудесное марокканское курево», светящаяся точка в ее

руке становилась все больше. Она протянула ему сигарету.

— Задержи в себе дым подольше, — сказала она дремотным, далеким голосом.

Он уже более десяти лет назад в один день бросил курить, но затягиваться еще не разучился.

— Чудесно, — прошептала она. — Чудный мой мальчик.

— Как зовут твою мать? — спросил он. Надо было задать этот вопрос сразу, пока курево не подействовало. Но уже первая затяжка начала сказываться.

Она хихикнула.

— На пяти саженьях глубины моя мать¹. — Она протянулась за сигаретой, тронула его за руку. Ему показалось, будто тело его ненароком подхватил мягкий теплый ветерок. Слишком поздно задавать вопросы.

Так, передавая друг другу сигарету, они выкурили ее. Комната наполнилась дымом. За окнами шумело море, ритмично, успокаивающе, словно кафедральный орган. Она легла рядом с ним, коснулась его рукой. Они предались любви, забыв о времени, обо всем вокруг. В ней воплотились все девушки, все женщины этого южного берега — похотливая толстуха с раскинутыми ногами, ничком лежавшая под солнцем, и молодая белокурая мать у плавательного бассейна, и все девушки Корелли, золотистые и теплые, как свежее выпеченные булочки, и белогрудая Натали Сорель с ее танцующей походкой, и Констанс, произносящая по буквам «Мейраг».

Потом они не спали. И ни о чем не говорили. Лежали в каком-то бесконечном, упоительном трансе. Но как только сквозь ставни проникли первые лучи рассвета, Гейл встрепенулась.

— Мне надо идти. — Голос ее звучал почти нормально. Если бы ему сейчас пришлось заговорить, то его голос донесся бы откуда-то издалека. Ему было все равно, уходит она или остается. Сквозь туман он видел ее платье. Ее вечернее платье.

Она наклонилась к нему и поцеловала.

— Спи. Спи, моя истинная любовь.

И она ушла. Он знал, что должен задать ей вопрос, но забыл какой.

¹ Перефразированные слова Ариэля из «Бури» Шекспира.

Он почти уже кончил укладываться. Он путешествовал налегке, поэтому, куда бы он ни ехал, мог собраться за четверть часа. Он заказал разговор с Парижем, но телефонистка сказала, что все линии заняты. Он попросил ее все же попробовать пробиться.

Когда телефон зазвонил, он с неохотой взял трубку. Не очень-то приятно объяснять Констансу, что он не будет обедать с ней в понедельник. Но на проводе оказалась не Констанса. Это был Бейард Пэтти, он говорил таким голосом, словно кто-то сдавил ему горло:

— Я в холле, мистер Крейг. Мне надо вас увидеть.

— Я укладываюсь, и к тому же...

— Говорю вам, мне надо вас увидеть, — задыхался Пэтти. — У меня вести от Энн.

— Поднимайся ко мне, — сказал Крейг и назвал ему номер своего «люкса».

Когда Пэтти вошел в комнату, вид у него был дикий — волосы и борода всклокочены, глаза воспалены, точно он не спал несколько суток.

— Ваша дочь, — сказал он тоном обвинителя, — знаете, что она сделала? Удрала с этим жирным старым пьяницей — писателем Йеном Уодли.

— Подожди, — сказал Крейг и сел. Это была автоматическая реакция в попытке собраться с мыслями, соблюсти хотя бы видимость приличий. — Не может быть. Это невозможно.

— Вы говорите «невозможно». — Пэтти стоял прямо перед ним и судорожно размахивал руками. — Вы же не разговаривали с ней.

— Откуда она звонила?

— Я спросил. Она не сказала. Только сказала, что она со мной порывает, что я должен забыть про нее — она теперь с другим. С этим жирным старым пьяницей...

— Минутку. — Крейг встал и подошел к телефону.

— Кому вы звоните?

Крейг попросил телефонистку набрать номер гостиницы Уодли.

— Успокойся, Бейард, — сказал он, дожидаясь, когда его соединят.

— Вы говорите «успокойся». Вы ее отец. Вы спокой-

ны? — Пэтти подошел и встал рядом с Крейгом, словно не доверяя ему и желая собственными ушами услышать все, что скажут по телефону.

Когда телефонистка в гостинице Уодли ответила, Крейг сказал:

— Monsieur Wadleigh, s'il vous plait¹.

— Monsieur Wadleigh n'est pa la², — сказала телефонистка.

— Что она говорит? — громко спросил Пэтти.

Крейг жестом велел ему замолчать.

— Vous etes sure, madame³.

— Oui, oui, — нетерпеливо ответила телефонистка, — il est parti⁴.

— Parti ou sorti, madame?⁵

— Parti, parti! — Телефонистка повысила голос. — Il est parti hier matin⁶.

— A-t-il laisse' une adresse?⁷

— Non, monsieur, non! Rien! Rien!⁸ — Женщина уже кричала. Фестиваль начинал сказываться на нервах гостиничных телефонисток. Связь прервалась.

— Ну, что вы узнали? — требовательно спросил Пэтти.

Крейг тяжело вздохнул.

— Уодли вчера утром расплатился и съехал. Нового адреса не оставил. Вот тебе урок французского языка.

— Что же вы теперь собираетесь делать? — спросил Пэтти. Вид у него был такой, точно он сейчас кого-то ударит. «Наверное, меня», — подумал Крейг.

— Собираюсь уложить вещи, — сказал он. — Уплатить по счету, поехать в аэропорт и улететь в Нью-Йорк.

— И не собираетесь искать ее? — с изумлением спросил Пэтти.

— Нет.

— Да что же вы за отец?!

— Отец как отец. Видимо, в наши дни таким и надо быть.

¹ Будьте любезны, мосье Уодли (франц.).

² Мосье Уодли нет (франц.).

³ Вы уверены, мадам? (франц.)

⁴ Да, да. Он уехал (франц.).

⁵ Съехал или уехал, мадам? (франц.)

⁶ Съехал, съехал! Съехал вчера утром (франц.).

⁷ Оставил он адрес? (франц.)

⁸ Нет, мосье, нет! Ничего! Ничего! (франц.)

— Будь я ее отцом, я бы разыскал этого мерзавца и задушил собственными руками.

— Значит, у нас с тобой разные понятия о родительском долге, Бейард.

— Это же ваша вина, мистер Крейг, — с горечью сказал Пэтти. — Вы испортили ее. Своим образом жизни. Бросаетесь деньгами, словно они на деревьях растут. За девочками бегаете, думаете, я не знаю об этой цыпочке — Гейл Маккиннон...

— Ну хватит, Бейард. Конечно, сам я не могу тебя отсюда вышвырнуть, но это может сделать полиция. А даже маленький французский полицейский может причинить большому молодому американцу много неприятностей.

— Не надо мне угрожать, мистер Крейг, я уйду. Об этом не беспокойтесь. Вы мне противны. И вы и ваша дочь. — Он двинулся было к выходу, но остановился. — Только один вопрос: вам приятно, что она сбежала с этой старой развалиной?

— Нет, — ответил Крейг. — Неприятно. Очень неприятно. — Он счел излишним напоминать Пэтти, что Йен Уодли значительно моложе Джесса Крейга. — И мне жаль тебя, Бейард. Честное слово. Я думаю, тебе лучше всего последовать совету Энн и забыть ее.

— Забыть ее! — Пэтти горестно покачал головой. — Легко сказать, забыть ее. Нет, мистер Крейг, этого я не смогу. Я же себя знаю. Не смогу — и все тут. Не знаю, смогу ли жить без нее, не то что забыть. — Лицо его исказилось, из груди вырвалось громкое рыдание. — Как вам это нравится, — пристыженно проговорил он, — я плачу. — Он резко повернулся и выбежал из комнаты, хлопнув дверь.

Крейг устало провел рукой по глазам. Во время бритья он присмотрелся к своему лицу и понял, что выглядит сегодня не лучше, чем Пэтти.

— Сукин сын, — громко сказал он. — Несчастный сукин сын. — Слова эти относились не к Бейарду Пэтти.

Он пошел в спальню и уложил последние вещи.

При регистрации в аэропорту служащий сказал ему, что его самолет вылетает с часовым опозданием. Сказал он это любезным тоном, словно подарок преподносил. Подарил лишних шестьдесят минут французской цивили-

лизации. Крейг подошел к соседнему окошечку и послал Констанс телеграмму с извинениями. И только начал составлять телеграмму своей секретарше в Нью-Йорке, чтобы она встретила его в аэропорту Кеннеди и забронировала номер в гостинице, как услышал голос Гейл:

— Доброе утро.

Он обернулся. Она стояла рядом. На ней были тенниска и белые джинсы. Лицо скрывали чрезмерно большие темно-зеленые очки — такие были на ней в первое утро, она выбросила их потом в окно машины, когда они возвращались из Антиба. Наверно, она закупила их целую партию.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Провожая одного друга. — Она улыбнулась, сняла очки и стала небрежно вертеть их в руке. Лицо у нее было свежее, взгляд ясный. Словно только что выкупалась в море. Отличная реклама достоинств марихуаны. — Портье сказал мне, когда вылетает самолет. Времени у тебя осталось немного.

— Портье ошибся. Самолет опаздывает на час, — сказал Крейг.

— Драгоценный час. — В ее тоне звучала ирония. — Добрая старая «Эр-Франс». Всегда оставляет время для прощания. Выпьем?

— Если хочешь, — сказал он. Отъезд оказался не таким легким, как он предполагал. Он поборол в себе желание пойти к столу регистрации пассажиров, попросить обратно багаж и сказать служащему, что раздумал лететь. Но он сдал телеграмму в Нью-Йорк, расплатился и, держа кожаную папку с «Тремя горизонтами» и переминув через руку планд, направился к лестнице, ведущей в бар. Появление Гейл его не радовало. После сцены с Пэтти встреча с ней только портила впечатление от ночи, проведенной вместе. Он шел быстро, но Гейл легко за ним попевала.

— Ты странно выглядишь, — сказала Гейл.

— У меня была необычная ночь.

— Я не о том. Я еще ни разу не видела тебя в шляпе.

— Я надеваю ее, только когда путешествую, — сказал он. — Так уж получается, что всюду, где бы я ни выходил из самолета, идет дождь.

— Не нравится мне эта шляпа. Добавляет к твоему портрету другие штрихи. Обескураживающие. Делает тебя похожим на всех остальных.

Он остановился.

— Я думал, мы уже попрощались ночью. Сегодняшнее прощание вряд ли будет приятнее.

— Согласна, — спокойно сказала она. — Обычно я не люблю торчать с отъезжающими в залах ожидания и на платформах. Все равно что тянуть и без того растянутую старую резину. Но сейчас особый случай. Ты не находишь?

— Нахожу. — Они двинулись дальше.

Они поднялись на террасу с видом на летное поле и сели за столик. Он заказал бутылку шампанского. Всего несколько дней назад на этой террасе он ждал прибытия дочери. И дождался. Вспомнил книгу «Воспитание чувств», выпавшую из ее брезентовой сумки. Вспомнил, как его раздосадовала ее непривлекательная одежда. Он вздохнул, Гейл, сидевшая напротив него, не спросила, почему он вздохнул.

Когда официант принес шампанское, Гейл сказала:

— Это поможет нам скоротать час.

— Я думал, ты днем не пьешь, — сказал он.

— А мне кажется, что сейчас совсем темно.

Они молча пили, глядя на голубое море, простиравшееся за бетонированным полем. Двухмачтовая яхта, кренясь от ветра и разрезая носом встречную волну, неслась на всех парусах в сторону Италии.

— Страна курортов и развлечений, — сказала Гейл. — Уплывем куда-нибудь вместе?

— Как-нибудь в другой раз, — сказал он.

Она кивнула.

— В другой раз...

— Пока я не улечу... — Он налил себе еще шампанского. — Ты должна ответить мне на один вопрос. Что это за история с твоей матерью?

— Ах, с моей матерью? Что ж, ты имеешь право спросить. Моя мать — женщина разносторонних интересов. — Гейл рассеянно вертела в руке бокал и смотрела не мигая на белые паруса, видневшиеся за посадочной полосой. — Немного училась в художественной школе, увлекалась керамикой, была режиссером в одной маленькой труппе, целый год занималась русским языком, полгода жила с югославским танцовщиком. Кем она совсем не интересовалась — это моим отцом. Она говорила ему, что у него торгашеская душа. Не знаю, что

она имела в виду. И еще, как потом выяснилось, она не интересовалась мной.

— Таких женщин я встречал сотни, — сказал Крейг. — Но ко мне-то какое она имела отношение? Я в югославском балете никогда не танцевал.

— Можно мне еще шампанского? — Гейл пододвинула ему бокал. Он его наполнил. Мускулы на ее шее почти не дрогнули, когда она сделала глоток. Он вспомнил, как целовал ее шею. — Когда-то она у тебя работала. Давно это было. Насколько я знаю свою мать, ты с ней спал.

— Даже если и спал, — сердито сказал он, — нечего намекать на кровосмешение.

— О, ни о чем таком я не думала, — спокойно сказала Гейл. — Для меня это была всего лишь шутка. Я пошутила сама с собой. Не бойся, милый, я не твоя дочь.

— Я и мысли такой не допускал, — сказал он. Внизу группа механиков злоево возилась с шасси самолета, на котором ему предстояло лететь в Нью-Йорк. Нет, он, наверно, никогда не покинет землю Франции. Он умрет на ней. Гейл сидела напротив него в ленивой, раздражающе непринужденной позе. — Ну хорошо. Как ее звали и когда она у меня работала?

— Звали ее Глория. Глория Талбот. Говорит это тебе что-нибудь?

Он напряг память и покачал головой.

— Нет

— Неудивительно. Она работала у тебя не более двух месяцев. Когда шел твой первый спектакль. В то время она только что кончила колледж, околачивалась возле театра, вот и поступила в твою контору наклеивать в альбомы газетные вырезки, подбирать рецензии и рекламные статьи о тебе и об участниках спектакля.

— Госноди, Гейл! С тех пор я принял и уволил не меньше пятисот женщин.

— Ну разумеется, — спокойно сказала она. — Но ты, очевидно, производил на дорогих мамуль особо сильное впечатление. Она продолжала заниматься этим благочестивым делом и после ухода от тебя. Не думаю, чтобы среди этих пятисот женщин была еще хоть одна, которая и после замужества собирала каждое слово, написанное о тебе, и каждую твою фотографию, напечатанную в период с сорок шестого по шестьдесят четвертый год. *Джесс Крейг выпускает в этом сезоне новую пьесу Эдварда Бреннера... Джесс Крейг подписал контракт с*

„Метро Голдуин Майер“ на выпуск картины... Джесс Крейг завтра женится... На снимке: Джесс Крейг с женой перед отъездом в Европу... Джесс Крейг...»

— Довольно, — прервал ее Крейг. — Все ясно. — Он с удивлением покачал головой. — Зачем она это делала?

— Мне так и не довелось спросить ее. Возможно, она и сама не могла разобраться в своих привязанностях. А вырезки попались мне на глаза после того, как она сбежала. Тогда мне было шестнадцать лет. Сбежала она с каким-то археологом. Я получала открытки из Турции, Мексики и других стран. Двадцать два альбома в кожаных переплетах. На чердаке. Отец уехал всего на два дня, так что ей надо было действовать быстро. Я разбирала на чердаке всякий хлам — отец не захотел больше жить в этом доме, и мы переезжали — и наткнулась на эти альбомы. Немало счастливых часов провела я, изучая историю Джесса Крейга. — Гейл криво усмехнулась.

— Вот откуда у тебя столько сведений обо мне.

— Да. Хочешь знать, как ты провел лето пятьдесят первого года? Хочешь знать, что написала о тебе «Нью-Йорк таймс» одиннадцатого декабря пятьдесят девятого года? Спроси у меня. Я тебе скажу.

— Лучше не надо. И после всего этого ты считала само собой разумеющимся, что у меня с твоей матерью был роман?

— Если бы ты знал мою мать, то не удивился бы, что я так считала. Особенно если учесть, что тогда я была шестнадцатилетней девочкой с романтическими наклонностями и сидела на чердаке, а моя мать только что сбежала с археологом в пустыню. Если хочешь вспомнить, какая она была, я пришлю тебе ее фотографию. Говорят, я очень похожа на нее — она была такой же в моем возрасте.

— Не надо мне никаких фотографий, — сказал Крейг. — Не знаю, каким тебе представляется мой образ жизни в молодые годы...

— Завидным. На снимках я видела выражение твоего лица.

— Возможно. Но если чему и следовало тогда завидовать, так это моей любви к женщине, на которой я впоследствии женился, полагая, что и она меня любит. Ни на кого другого я в то время не смотрел. И какое бы мнение у тебя ни сложилось обо мне за эту неделю,

я никогда не отличался неразборчивостью в связях и, уж конечно, помню имена всех женщин, с которыми когда-либо...

— А мое имя ты тоже будешь помнить через двадцать лет? — с улыбкой спросила Гейл.

— Обещаю.

— Отлично. Теперь ты знаешь, почему мне так хотелось встретиться с тобой, когда я узнала, что ты в Канне. Я ведь выросла вместе с тобой. В определенном смысле.

— В определенном смысле.

— Так что для меня это была волнующая встреча. Ты стал частью моей семьи. Тоже в определенном смысле. — Она взяла бутылку и налила себе шампанского. — Даже если ты и не прикоснулся ни разу к моей матери и не знал ее имени, все равно ты оказал на нее какое-то роковое влияние. Твоя жизнь явно восхищала ее. И так же явно не удовлетворяла собственная жизнь. Причем одно как-то глупо связано с другим. В сущности, ты не можешь винить меня за то, что я начала думать о тебе с неприязнью. И любопытством. В конце концов я поняла, что должна с тобой встретиться. Найти способ. Учти, что мне тогда было шестнадцать лет.

— Но сейчас-то уже не шестнадцать.

— Сейчас не шестнадцать. Скажу тебе правду: я чувствовала себя *оскорбленной*. Ты был слишком удачлив. Все у тебя слишком счастливо складывалось. Ты всегда оказывался там, где нужно. Тебя всегда окружали нужные люди. Ты купался в славе. Никогда не допускал неверных высказываний. Если судить по твоим фотографиям, с возрастом ты даже не полнел...

— Так это же — газетная реклама, черт побери! — Крейг нетерпеливо махнул рукой. — Какое это имеет отношение к реальности?

— Но ведь ничего другого я о тебе не знала, пока не вошла к тебе в номер. Все, что с тобой связано, было таким разительным контрастом моей глупой матери, ее керамике, ее югославу, моему отцу и его пропыленной филладельфийской конторе, где он с трудом зарабатывал на жалкую жизнь. Во-первых, мне хотелось посмотреть, какой ты на самом деле. Во-вторых, причинить тебе как можно больше зла. Кое в чем я преуспела, не правда ли?

— Да, преуспела. А теперь...

В эту минуту раздался серебряный перезвон, призывающий к вниманию, и женский голос объявил по радио, что пассажиров, вылетающих рейсом Ницца—Нью-Йорк, просят немедленно пройти на посадку. Механики, хлопотавшие у самолета, таинственно исчезли. Гейл прикоснулась пальцами к его руке.

— А теперь, по-моему, тебе пора идти вниз и садиться в самолет.

Он расплатился, и они, пройдя мимо бара, спустились по лестнице в главный зал. Не доходя до паспортного контроля, он остановился и спросил:

— Увидимся мы еще когда-нибудь?

— Если приедешь в Лондон. Разумеется, это будет не просто.

Он кивнул.

— Разумеется. — Он попытался улыбнуться. — Когда будешь писать матери, передай от меня привет.

— Хорошо. — Она порылась в сумке и вынула толстый конверт. — Это тебе. Портье передал, когда я сказала, что еду тебя провожать. Пришло уже после твоего отъезда.

Он взял конверт и узнал почерк Энн. Простемпелеван в Ницце. Засовывая письмо в карман, он посмотрел на Гейл.

— Ты знала про Энн?

— Да. Мы долго с ней беседовали.

— Пробовала отговорить ее?

— Нет.

— Почему же нет, черт побери?

— Вряд ли я была бы в состоянии разубедить ее.

— Вероятно, ты права. — Он взял ее за плечи, притянул к себе и быстро поцеловал. — Прощай.

— Прощай, моя истинная любовь, — сказала она.

Он посмотрел ей вслед. Она шла к выходу смелым, широким шагом, сумка ее раскачивалась на плече, блестящие длинные волосы струились по плечам — все мужчины, мимо которых она проходила, оборачивались и провожали ее взглядом. Она достала из сумки очки и, подойдя к дверям, надела их. Он почувствовал себя разбитым и постаревшим. Когда он проходил через паспортный контроль, по радио объявили, что самолет готов к вылету. Он нащупал в кармане пиджака толстый конверт с письмом Энн. Будет что читать над Атлантикой.

В первом классе, кроме него, летели только изысканно одетый высокий африканец с обрядовыми шрамами на лице и его миловидная полногрудая жена в пестрых, ярких шелках. Крейгу всегда было совестно платить такие деньги за первый класс, но он всегда их платил. Африканец и его жена говорили на непонятном языке. (Он надеялся, что они не владеют ни английским, ни французским. До приезда в Нью-Йорк ему не хотелось ни с кем разговаривать. Африканец вежливо ему улыбнулся. Крейг тоже скривил губы, изобразив подобие улыбки, и отвернулся к окну. Не так уж маловероятно, подумал он, что лет через двадцать они снова встретятся — возможно, в момент решающей конфронтации рас, — и этот человек (или его сын или дочь) скажет: «А я тебя помню. Ты — тот белый пассажир, который не ответил на дружескую улыбку в самолете, вылетавшем из Ниццы. Ты расист, колонизатор, и я приговариваю тебя к смерти».

Ты — беспомощная песчинка в случайных, непредвиденных поворотах истории своей жизни. Сам того не замечая, ты оказался в прошлом на пути многих людей. Необдуманно подшутил над человеком, с которым не был даже знаком: не считаясь с тем, что он существует, ты пригласил в ресторан его возлюбленную, и теперь этот человек делает все, что в его силах, чтобы навредить тебе. Глупая помешавшаяся на театре девица забрела однажды к тебе в контору, твоя секретарша дала ей работу — в то время ты был еще молодым человеком, — и она месяца два скромно трудилась, никому не ведомая и никем не замечаемая. А спустя двадцать с лишним лет ты был наказан (или вознагражден?) за поступки, совершенные (или не совершенные) в молодости. Ничто не проходит даром, ничто не забывается. Человек, создавший первый компьютер с его неумолимой памятью, оперировал всего лишь системой проводов и электрических импульсов. Люди, не замеченные тобой, наблюдают за твоей деятельностью и фиксируют ее на своих собственных перфокартах. Хорошо ли, плохо ли, но информация о тебе уже собрана и хранится для последующего использования. И никуда от этого не денешься. Это происходит каждый день, каждый час. Что скажет о нем Сидней Грин в своей квартире с неоплаченной *boiserie* в Шестнадцатом округе Парижа? Что Дэвид Тейчмен попросит перед смертью передать Джессу Крейгу? Как

будет вспоминать о нем в техасских особняках Натали Сорель? Как отреагирует на его имя дочь Гейл Маккин-нон, когда ей будет двадцать лет?

Он с надеждой взглянул на высокого африканца, сидевшего через проход, но тот смотрел в другую сторону. Заработали двигатели, их дьявольский рев надежно приглушала звуконепроницаемая обшивка. Еще до того, как самолет начал выруливать на взлетную полосу, Крейг принял две таблетки снотворного. Если он разобьется, то разобьется без волнений.

Он дождался обеда и лишь после этого принялся за письмо Энн. Он знал, что письмо это не прибавит ему аппетита.

Письмо было без даты и без обратного адреса. Начиналось оно словами: «Дорогой папа».

Дорогой папа надел очки. Почерк у Энн и вообще-то неразборчивый, а тут — просто невозможный. Можно было подумать, что она писала на ходу, сбегая с крутого холма:

«Дорогой папа! Я трусиха. Я знала, что ты не одобришь, станешь спорить, переубеждать меня, и я боялась, что в конце концов переубедишь, поэтому и пошла по пути трусов. Но ты прости меня. Люби меня и прости. Я с Йеном. Я долго об этом думала...»

«Долго! — усмехнулся Крейг. — Три дня? Пять? Впрочем, когда тебе двадцать лет, то пять дней — срок, очевидно, достаточный, чтобы решить, как испортить себе жизнь. Не помню, как это было со мной».

«Не стану вдаваться в подробности, — продолжала она. — Скажу только, что в тот вечер в ресторане, когда м-р Мэрфи так ужасно обошелся с Йеном, я испытала такое чувство, какого еще не испытывала ни разу в жизни. Назови это любовью. Мне все равно, как это называется, но я это почувствовала. Не думай, что тут дело в поклонении писателю, книгами которого я восхищаюсь. И это не детское увлечение. Что бы ты ни думал, я из детского возраста уже вышла. И я не ищу себе другого отца, хотя уверена, что ты так и сказал бы, если бы я осталась поговорить с тобой. У меня уже есть

отличный отец. К тому же Йену всего сорок лет — посмотри на себя и на Гейл Маккиннон».

«И поделом мне, — подумал Крейг. — Получил сполна». Он попросил у стюардессы виски с содовой. Такие письма без спиртного читать нельзя. Он посмотрел в окно. Долина Роны была скрыта облаками. Облака такие плотные, что, кажется, можно выпрыгнуть из самолета и поплыть по ним. Стюардесса принесла виски, он отхлебнул и снова углубился в чтение:

«Не думай, что я против твоего романа с Гейл. Я целиком — за. После всего, что ты пережил с мамой, я не стала бы упрекать тебя, даже если бы ты сошелся с какой-нибудь бородатой леди из цирка. А Гейл — господи! — да это такой человек, лучше я в жизни не встречала. Более того, она мне сказала, что влюблена в тебя. Я ей, конечно, ответила, что в тебя все влюблены. И это — почти правда. Как ты поступишь с той дамой в Париже — дело твое. Так же как Йен — дело мое.

Я знаю, знаю, что ты скажешь. Он слишком стар для меня, он пьяница, он беден, вышел из моды, не самый красивый в мире мужчина и был трижды женат».

Крейг грустно улыбнулся. Точный портрет человека, в которого влюблена его дочь.

«Все это я приняла во внимание, — продолжала Энн. — У меня с ним был долгий серьезный разговор».

«Как это она успела? — с удивлением подумал Крейг. В ту ночь, когда он увидел, как она выходила из отеля на пляж? После того как встала с постели, представив „убедительное доказательство“ Бейарду Пэтти»? Он почувствовал боль в затылке. Надо принять аспирин.

«Перед тем как согласиться уйти к нему, — читал он дальше, так и не приняв аспирина, — я поставила свои условия. Я молодая, но я не идиотка. Я взяла с него обещание, что он бросит пить, во-первых, и, во-вторых, вернется в Америку. Оба обещания он намерен выполнить. Ему нужна такая женщина, как я. Ему нужна я. Нужно, чтобы его уважали. Он гордый человек, и жить

так, что все над тобой насмеются и ты сам насмеешься над собой, дальше нельзя. Сколько может выдержать человек за свою жизнь таких сцен, как та, что произошла в ресторане?»

«Бедная моя девочка, — подумал Крейг. — Сколько было до тебя женщин, которые погубили себя, вообразив вот так же, что они — и только они — могут спасти писателя, музыканта, художника. Вот оно, страшное воздействие искусства на воображение женщины».

«Ты — совсем другое дело, — писала Энн. — Ты не нуждаешься ни в чем уважительном отношении. Ты в двадцать раз сильнее Йена, и я прошу тебя быть к нему снисходительным. Зная тебя, я уверена, что в конце концов ты проявишь к нему снисхождение».

В сущности, секс — это жутко запутанное дело. Ты-то знаешь лучше кого бы то ни было».

Крейг, прочитав эти слова, кивнул. Но одно дело — изрекать подобные истины в сорок восемь лет и другое — в двадцать.

«Я знаю, что скверно обошлась с беднягой Бейардом. Должно быть, он уже разыскал тебя и рыдает у тебя на плече. Но там были чисто плотские отношения...»

Крейга покорило от этих слов. Плотские отношения. Странно, что Энн так выразилась. Уж не помогал ли ей Уодли писать это письмо?

«А одной плоти мало, — разбирал он торопливые каракули. — Если ты уже разговаривал с Бейардом, то, наверно, убедился, что он невозможный человек. Я же не звала его в Канн. Если бы я вышла за него замуж, как он упрасивал (он так настаивал, что я готова была взвыть), то в конце концов превратилась бы в его жертву. А я не хочу быть ничьей жертвой».

«Когда-нибудь, — подумал Крейг, — я составлю для нее перечень: тысяча легчайших способов стать жертвой».

«Не сердись на бедного Йена за то, что мы вот так скрылись. Он хотел дождаться тебя и сообщить о нашем решении, и мне стоило огромного труда уговорить его»

не делать этого. Не ради него, а ради меня. Сейчас он словно одурманенный. Говорит, что от счастья. Он считает меня какой-то особенной и говорит, что полюбил меня в первый же день на пляже. Говорит, что я абсолютно не такая, как другие женщины, которых он знал. И говорит, что даже не мечтал, что я когда-нибудь взгляну на него. Уже два дня, как он не притрагивается в спиртному. Даже когда мы были еще в Канне. Говорит, что для него это — мировой рекорд. Я прочла часть книги, которую он пишет, она замечательная, и если он не начнет пить, то это будет лучшее из всего, что он до сих пор написал. Я убеждена. О деньгах не беспокойся. Я поступлю работать, да еще ведь есть проценты с денег, которые лежат в банке, так что проживем, пока он не закончит книгу».

Крейг застонал. Африканец с обрядовыми шрамами вежливо взглянул на него. Крейг улыбнулся, давая понять, что нет причин для беспокойства.

«Извини, что огорчаю тебя, — продолжала Энн, — но я уверена, что потом ты и сам будешь рад за меня. Я за себя рада. А у тебя есть Гейл. Хотя с Гейл все сложнее, чем ты думаешь».

«Не я, а ты думаешь». Крейг еле сдержался, чтобы не ответить письму вслух.

«Она поведала мне длинную историю своей матери, но у меня нет времени рассказывать. Тем более что она сама собирается все тебе объяснить. Как бы там ни было, я уверена, что тут для тебя нет ничего компрометирующего. Я действительно уверена, папа.

Хотя Йен со мной рядом, я до сих пор ужасно трушу и не решаюсь сказать тебе, куда мы едем. Страшусь даже мысли о встрече с тобой и о том, что ты начнешь осуждать меня в своей обычной рассудочной и суровой манере. Но как только мы устроимся в Штатах, я дам тебе знать, и тогда ты сможешь навестить нас и своими глазами увидеть, что у нас все в порядке. Пожалуйста, папа, люби меня так же, как я люблю тебя. Энн.

Р. С. Йен шлет тебе сердечный привет».

Сердечный привет. Чтобы не тревожить африканскую чету, Крейг сдержал стон. Он аккуратно сложил письмо и сунул в карман. Пожалуй, стоит перечитать его.

Он представил себе Йена Уодли в постели с Энн.

— Мисс, — обратился он к проходившей мимо стюардессе, — у вас есть аспирин?

17

Белинда Юэн, секретарша, ждала его у выхода из таможни. Он заметил, что за то время, пока они не виделись, она не утратила склонности к пестрой, кричащей одежде. Она прослужила у него двадцать три года, но ему казалось, что с годами она ничуть не меняется. Он поцеловал ее в щеку. По-видимому, она была довольна его приездом. Он чувствовал себя виноватым, потому что не ответил на два ее последних письма. Да и можно ли не чувствовать себя виноватым, встречаясь с женщиной, отдавшей работе у тебя двадцать три года своей жизни?

— Я заказала лимузин, он нас там дожидается, — сказала Белинда. Ей было лучше, чем кому-либо, известно, что ее хозяин давно уже не получает тех доходов, какие получал когда-то, но она была бы поражена, если бы он сказал, что может доехать и в такси. Когда дело касалось их престижа, она становилась болезненно чувствительной. Она поднимала по телефону скандалы, если узнавала, что рукописи, присылаемые в контору агентом-посредником, уже успели побывать в другом месте.

День был сырой и душный. Пока машина добиралась до них, заморосил дождь. Хмурясь, Крейг поправил на голове шляпу. Голоса пассажиров, заполнявших частные машины и такси, казались ему грубыми и раздраженными. Заплакал чей-то ребенок, и это действовало на нервы. Он чувствовал себя усталым, аспирин не принес ему облегчения.

Белинда тревожно и внимательно всмотрелась в его лицо.

— У вас нездоровый вид, Джесс. — Когда она поступала к нему на работу, он был еще молодым и не

решился потребовать, чтобы она звала его «мистер Крейг». — Я подумала, вы хоть загорите там.

— Я же не на пляже валяться ездил в Канны, — сказал он. Подкатил лимузин, и Крейг с облегчением уселся на заднем сиденье. Он еле выстоял эти минуты. Пот лил с него ручьями, и он вытер лицо носовым платком. — Здесь давно такая жара? — спросил он.

— Да не так уж и жарко, — сказала Белинда. — Скажите ради бога, почему вы велели поместить вас в «Манхэттене»? Это же на Восьмой авеню! — Обычно он останавливался в тихой дорожной гостинице в Восточной части города и понимал, что в представлении Белинды перемена адреса означает унижительное стремление экономить деньги.

— Я полагал, что там будет удобней, — сказал он. — Ближе к конторе.

— Вы не представляете, что теперь творится на Восьмой авеню, — сказала Белинда. — Того и гляди ограбят у самого подъезда.

Она говорила резко, напористо. Она всегда так говорила, и одно время он хотел было намекнуть ей, что она могла бы взять несколько уроков, как вести вежливый разговор, да так и не решился. А теперь, конечно, уже поздно. Он не сказал ей, что мысль остановиться в «Манхэттене» пришла ему в голову в последнюю минуту, когда он писал ей телеграмму в аэропорту Ниццы. «Манхэттен» — шумный, многолюдный отель, и при иных обстоятельствах Крейг предпочел бы в нем не останавливаться. Но он вспомнил, что жил в нем, когда готовил к постановке первую пьесу Эдварда Бреннера. С Эдвардом Бреннером. Теперь Бреннер уже не напишет пьесу. Тогда этот отель назывался «Линкольн» — президентов везде не очень-то высоко ценят. Но в отеле «Линкольн» ему везло. Жаль, что он забыл, в каком номере жил тогда. Но Белинде ничего этого говорить нельзя, слишком она трезвая женщина, чтобы поощрять предрассудки своего ховяина.

— Очень уж поздно вы меня предупредили, — обиженно сказала она. — Вашу телеграмму я получила всего три часа назад.

— Стучилось одно непредвиденное событие, — сказал он. — Извините.

— И тем не менее... — Она великодушно улыбнулась. У нее были острые, маленькие, как у щенка, зубки. —

Тем не менее я рада, что вы вернулись. В конторе у нас как в морге. От скуки я просто с ума сходила. Даже пристрастилась к рому, постоянно держу на столе бутылку. Днем, чтобы совсем не спать, пропускаю рюмочку. Уж не станете ли вы уверять меня в том, что наконец-то соизволили взяться за работу?

— В общем — да.

— Аллилуйя! Как это — «в общем»?

— Брюс Томас хочет ставить фильм по сценарию, которым я владею.

— Брюс Томас? — Она была явно удивлена. — О-ля-ля! — Крейг заметил, что в этом году имя Брюса Томаса все произносят с какой-то особой интонацией. Он почувствовал не то радость, не то ревность. — А что это за сценарий? — подозрительно спросила Белинда. Ни одного сценария я вам за последние три месяца не высылала.

— В Европе отыскал. Короче говоря, я его сам написал.

— Давно бы так. Это лучше, чем возиться с той ерундой, что нам присылают. И вы ничего мне об этом не написали. — Белинда была задета. — Могли бы прислать мне экземпляр.

— Простите. — Крейг погладил ее руку.

— У вас ледяная рука, — сказала она. — Вы здоровы?

— Конечно, — коротко ответил он.

— Когда мы начнем?

— Это я выясню после того, как увижусь с Томасом. Еще контракт не подписан. Он посмотрел в окно машины на густые облака, написавшие над плоской равниной. — Ах да, я хотел вас спросить. Помните вы женщину по имени Глория Талбот? Кажется, она у нас работала.

— В самом начале, месяца два, — ответила Белинда. Она всегда все помнила. Совершенно никчемная особа.

— Она была хорошенькая?

— Полагаю, мужчины считали ее хорошенькой. Господи, да с тех пор прошло уже почти двадцать пять лет! Почему вы про нее вспомнили?

— Она мне привет передала. Через общего знакомого.

— Наверное, она уже сменила пяток мужей. — Белинда поджала губы. — Я ее сразу же раскусила. Чего она от вас хочет?

— Понятия не имею. Может быть, просто хотела напомнить о себе. — Ему почему-то трудно стало говорить. — Если не возражаете, Белинда, я немного вздремну. Вконец измотался.

— Много путешествуете, — сказала она. — А вы ведь уже не мальчик.

— Пожалуй, вы правы. — Он закрыл глаза и откинул голову на подушки сиденья.

Номер ему дали на двадцать шестом этаже. На улице был туман, по стеклам барабанил дождь. За окном он увидел башни небоскребов — поблескивание стекол, ярусы тусклых огней в серой предвечерней мгле. Комната чистая, гигиеничная и безликая, обставленная не во вкусе русской аристократии. С Гудзона доносились гудки. Ничто не напоминало ему о счастливых временах, когда ставили пьесу Бреннера. Надо бы узнать, где похоронен Бреннер, и положить на могилу цветы.

Распаковка чемодана оказалась трудным делом. Летний костюм, в котором он прилетел из Канна, здесь, в дождливом городе, выглядел нелепо. Ему надо было позвонить многим людям, но он решил все звонки отложить до завтра. Все, кроме одного. Брюсу Томасу надо позвонить сейчас же, он ждет звонка.

Он назвал телефонистке номер. После усталых, визгливых голосов *standardistes*¹ Канна живой, бодрый голос американской телефонистки радовал слух. Томас, подошедший к телефону, был приветлив.

— Ну, знаете, это сюрприз, — сказал он. — Написать такой сценарий! Приятный сюрприз. — Значит, Клейн уже позвонил ему. — Не знаю точно, что у нас выйдет, но что-то выйдет непременно. Вы сейчас заняты? Хотите подъехать ко мне?

Томас жил на 70-й улице в Восточной части города. Уже одна мысль о том, что придется добираться туда через весь город, была мучительной.

— Лучше завтра, если не возражаете, — предложил Крейг. — Измотал меня этот реактивный самолет.

— Конечно, — согласился Томас. — Десять утра вас устроит?

¹ Телефонисток (франц.).

— В десять буду у вас. Кстати, вы случайно не знаете телефона Уодли в Лондоне?

Крейг почувствовал, что Томас замялся.

— Видите ли, предлагая Уодли, я и не предполагал, что это вы написали сценарий.

— Я знаю, — сказал Крейг. — Вы с ним еще не говорили?

— Нет. Как вы понимаете, мне хотелось выяснить ваше мнение на этот счет. Но когда Клейн сказал мне, что вы согласны обсудить это предложение, я попробовал связаться с ним. В Канне его нет, по лондонскому адресу тоже. Я послал ему телеграмму с просьбой позвонить мне. Минутку, я сейчас дам вам его номер.

Вернувшись к телефону и сообщив Крейгу номер Уодли, Томас сказал:

— Если разыщете его, скажите, что я пытался дозвониться ему, хорошо? Я пошлю ему сценарий, не возражаете? Я сделал несколько ксерокопий. Ему нет смысла приезжать сюда, если он по той или иной причине не захочет работать над рукописью.

— Кажется, я где-то слышал, что он и так собирается вернуться на постоянное жительство в Штаты, — сказал Крейг.

Где-то. Над Францией, когда летел в сторону бравого Нового Света. *Дорогой папа.*

— Это интересно, — сказал Томас. — Ну что ж, молодец. Значит, утроем увидимся. Желаю вам опоконной ночи.

Симпатичный человек этот Томас. Вежливый, предупредительный, воспитанный. Крейг заказал разговор с Лондоном и прилег на кровать в ожидании вызова. Когда он положил голову на подушку, у него закружилась голова, комната поплыла перед глазами. «Много путешествуете», — сказала Белинда. Мудрая женщина. Двадцать три года службы. Ужасно хотелось пить, но он не мог заставить себя встать и сходить в ванную за стаканом воды.

Зазвонил телефон, и он сел. Приходилось двигаться медленно, чтобы комната не поплыла опять. Телефонистка сказала, что номер в Лондоне не отвечает, и спросила, не желает ли он попробовать еще раз.

— Нет, — ответил он. — Отмените заказ.

Он поседел на краю кровати, пока не остано-

лась комната, потом пошел в ванную и выпил два стакана воды. Но жажда не проходила. Ему стало холодно — в отеле был кондиционированный воздух. Он попробовал открыть окно, но оно оказалось накрепко закрытым. Посмотрел на часы. Половина седьмого. В Канне уже половина первого — начало новых суток. Он долго пробыл в воздухе, покрыл большое расстояние. Кажется, никогда еще так не хотелось пить. Стакан бы пива сейчас, холодного, со льда, — какое это было бы наслаждение. Или два. Он решил, что в следующий раз поплывет через океан на пароходе. К Америке надо приближаться осторожно, шаг за шагом.

Он спустился вниз, в ресторан, украшенный театральными афишами. «Я на знакомой арене», — подумал он. Он вспомнил рога, цвет песка в Сан-Себастьяне. Он сел у стойки и взял бутылку пива. Полстакана выпил залпом. Боль в затылке ослабла. Он знал, что должен поесть, но ничего, кроме пива, не хотел. Взял еще бутылку и стал пить медленно, стараясь растянуть удовольствие. Допивая вторую бутылку, ощутил приятную легкость в голове. Бар заполняли посетители, и он начал опасаться, как бы не встретить кого-нибудь из знакомых. Чего доброго, пристанут с разговорами и испортят ему удовольствие как раз в тот момент, когда он возьмет еще одну бутылку. Но он все же решил рискнуть и попросил третью бутылку.

Когда он вернулся к себе в номер, было около восьми часов. Разговаривать ему ни с кем не пришлось. В этом отеле ему везет. Он разделся, надел пижаму, улегся в постель и выключил свет. Он лежал, слушая доносившийся снизу приглушенный шум города. Где-то провыла сирена, напомнив ему, что он в своем родном городе. «Эх, никто уже не постучится ко мне сегодня в дверь», — с сожалением подумал он, засыпая.

Проснулся он от боли. Живот у него спазматически сжимался. Постель намочила от пота. Боль — острая, режущая, — то усиливалась, то утихала. «Господи, — подумал он, — наверно, так мучаются женщины, когда рожают». Он зажог свет, осторожно спустил ноги на пол, медленно прошел в ванную и сел на стульчак. Он почувствовал, что из него хлынул поток горячей жидкости.

Боль стихла, но он боялся, что ему не хватит сил добраться до постели. Когда он наконец встал, то вынужден был ухватиться рукой за полку над раковиной. Жидкость в унитазе была черная. Он потянул за цепочку. По внутренним сторонам ног потекла теплая темная жидкость. Кровь. И невозможно остановить ее. Он сморщился от отвращения. Он знал, что должен испугаться, но чувствовал только отвращение. Организм изменил ему. Он снял полотенце и зажал его между ног. Бросив окровавленные пижамные штаны на полу ванной, добрался кое-как до кровати и рухнул на нее. Чувствовал слабость, но боли не было. На какой-то миг ему показалось, что все это сон. Взглянул на часы. Половина пятого утра. «По нью-йоркскому времени», — вспомнил он. Час крови. Так рано не стоит никого будить. Если до восьми часов кровотечение не прекратится, он вызовет врача. Тут он вспомнил, что в Нью-Йорке у него нет ни одного знакомого врача. Расплата за здоровье. Ладно, отложим до утра. Он выключил свет и закрыл глаза, стараясь заснуть. *Если же усну я сном смертным, то прими, господи, душу мою...* Заклинания детских лет.

Профессор психологии из колледжа Энн что-то увидел в его почерке. Видел ли он эту ночь в Нью-Йорке? Потом он уснул. Он спал без сновидений.

Проснулся он совершенно обессиленным. Но кровь перестала течь. Часы показывали без нескольких минут девять. В окно светило бледное, затуманенное смогом солнце. Город мерцал в мглистом мареве.

Он разнял ноги и вытащил полотенце. Когда он спал, кровь, видимо, какое-то время еще шла — на полотенце остались высохшие сгустки. Застарелый неведомый губительный недуг. Он осторожно встал, прошел в ванную и долго стоял под теплым душем — холодную воду пустить не решился. Одеваясь, чувствовал себя разбитым, словно после падения с большой высоты.

Он спустился вниз и позавтракал в кафе в компании туристов и коммивояжеров. Выпил ледяного апельсинового сока с каким-то металлическим привкусом. Не было за окном Средиземного моря, не было дочери, не сидела за столиком напротив него любовница, не было косых взглядов официанта. Кофе его родины напоминал помой. Чтобы хоть немного подкрепиться, он заставил себя

съесть два тоста. Ни слобных рогаликов, ни булочек. Может, он попал не в ту страну?

Он взял в руки «Нью-Йорк Таймс». Потери во Вьетнаме уменьшились. Вице-президент произнес вызывающую, полную туманных намеков речь. Упал самолет. Не он один так много путешествует. Критик, о котором он никогда прежде не слышал, разнес романиста, которого он никогда не читал. Победы и поражения бейсбольных команд. В те годы, когда он ходил смотреть бейсбол, этих команд еще не существовало. Подающий, которому почти столько же лет, сколько ему, Крейгу, до сих пор зарабатывает себе на жизнь, бросая мячик. Извещения о смерти. Никого из этих людей, умерших накануне, он не знал. Ознакомившись с новостями, он приготовился начать свой день.

Выйдя из кондиционированного мира, он вдохнул воздух Нью-Йорка. Окинул взглядом тротуар. Помня, что говорила Белинда, он остерегался грабителей. Он подумал: «А если я объявлю сейчас, что ночью у меня было кровотечение, найдется ли бойскаут, который поможет мне поймать такси?» У него не было двадцати пяти центов, поэтому он дал швейцару целый доллар. А ведь было время, когда швейцары благодарили и за десятицентовую монетку.

Посадка в такси напоминала карабкание на отвесную скалу. Он назвал адрес на 70-й улице. Шофер такси был старый, с зеленоватым, мертвенно-бледным лицом. На удостоверении, прикрепленном к спинке переднего сиденья, Крейг прочел русскую фамилию. Жалеет ли этот человек, что он или его отец покинул когда-то Одессу?

Пересекая город, такси то ползло как черепаха, то делало внезапные рывки, то резко тормозило, едва не наехав на идущие впереди машины. Водителю, который и так скоро умрет, терять было нечего. 44-я улица в Восточной части Нью-Йорка — его родная стихия. На будущий год у него будут все шансы на «гран-при». Если он выживет, то заработает себе состояние.

Брюс Томас жил в богатом особняке со свежеевыкрашенными оконными рамами. У входа висела дощечка с надписью, гласящей, что дом этот находится под охраной частной караульной службы. Крейг бывал здесь несколько раз на больших званых вечерах. Приятные были вечера. Однажды он забрел в кабинет Брюса на втором этаже. Полки кабинета были уставлены статуэт-

ками, фарфоровыми тарелками, тут же лежали грамоты, которыми Томаса награждали за его фильмы. Крейга тоже награждали статуэтками, грамотами, тарелками, только он не знал, куда они все подевались.

Он нажал кнопку звонка. Томас сам открыл ему дверь. На нем были вельветовые брюки и тенниска с открытым воротом. Опрятный, элегантный, художавый, приветливо улыбающийся человек.

— Брюс, — сказал Крейг, войдя в переднюю, — мне, кажется, нужен доктор.

Не в силах идти дальше, он опустился на стул.

18

Три дня спустя он был еще жив. Он лежал в светлой палате первоклассной больницы, Брюс Томас выбрал ему тихого пожилого доктора — спокойного и молчаливого. Часто заглядывал к нему и главный хирург больницы, веселый полный мужчина. Приходил он будто бы поболтать о кино и театре, но Крейг знал, что он внимательно за ним наблюдает, ожидая симптомов, означающих необходимость немедленной операции. Когда Крейг спросил, каковы шансы на выздоровление после такой операции, хирург ответил прямо, без колебания: «Пятьдесят на пятьдесят». Если бы у Крейга были родные, с которыми доктор мог бы поговорить, то он, доктор, вероятно, сказал бы им, а не больному. Но пока что Крейга навещали только Томас и Белинда.

Ему давали в небольших дозах наркотики, и он не чувствовал сильной боли. Болели только руки от игл после пяти переливаний крови и внутривенных вливаний глюкозы и физиологического раствора. Почему-то засорялись трубки и выпадали из руки иглы. Вены на руках становилось все труднее нащупать, так что в конце концов пришлось призвать на помощь больничную специалистку, прелестную молодую скандинавку. Та потребовала очистить палату и даже выставила за дверь его дневную сиделку, крепкую пожилую даму — экс-капитана службы медицинских сестер, ветерана корейской войны. «Терпеть не могу зрителей», — сказала специа-

листка. «Вот что значит талант, — подумал Крейг. — В больнице ли, где ли, с ним всегда считаются». Девушка, встряхивая своей маленькой белокурой головкой, долго ощупывала его руку, потом одним ударом ловко и безболезненно ввела иглу в вену и приладила бутылку с раствором. С тех пор он уже ни разу ее не видел. К сожалению. Она напомнила ему молодую датчанку-мать, которую он встретил у плавательного бассейна в Антибе. «Пятьдесят на пятьдесят, — поразился он, — а вот поди же, какие мысли человеку в голову лезут».

Больше всего докучали головные боли после переливаний крови. Ему сказали, что это нормально. Ну конечно, тем, кто работает в больнице, боль должна казаться нормой.

Томас был безупречен. Он навещал Крейга по два раза в день, не слишком, однако, подчеркивая свою озабоченность. «Вполне вероятно, — сказал он на третий день, — что меньше чем через две недели вас выпишут, и тогда мы приступим к работе». Но он не тратил времени зря. Получил согласие кинокомпании «Юнайтед артистс» и вел с ней переговоры о бюджете в полтора миллиона долларов. Для натуральных съемок он уже подыскал большой старый особняк в Сэндс-Пойнте. Томас считал само собой разумеющимся, что Крейг будет вторым продюсером. Если он и знал что-нибудь о сомнениях хирурга в возможном исходе операции, то ни намеком этого не показывал.

Когда он был у Крейга на третий день его болезни, дверь распахнулась и в палату шагнул Мэрфи.

— Какого дьявола ты тут валяешься? — громко спросил он.

— А ты какого дьявола тут делаешь? — в свою очередь спросил Крейг. — Я думал, ты в Риме.

— Да вот — не в Риме. Привет, Брюс. Вы что, ребята, уже ругаетесь?

— Да, — с улыбкой сказал Томас. — Искусствоечно, язвы быстротечны.

Крейг чувствовал себя настолько утомленным, что не стал интересоваться, откуда Мэрфи узнал, что он в больнице. Но он был рад, что тот приехал. Мэрфи все уладит. Стало быть, он может плыть в приятный мир дурмана и грез, в котором день сливается с ночью, а боль и наслаждение превращаются в словесные абстракции. Зная, что дела его теперь в надежных руках, он

мог целиком сосредоточиться на усмирении своей взбунтовавшейся крови.

— Меня пустили сюда только на пять минут, — сказал Мэрфи. — Я лишь хотел убедиться, что ты еще жив. Хочешь, я привезу сюда своего врача из Беверли-Хиллс? Его считают лучшим в стране.

Все, к чему имеет отношение Мэрфи, — лучшее в стране.

— Не надо, — сказал Крейг. — Здесь прекрасные специалисты.

— Ну, тогда поправляйся и ни о чем другом не думай. К тому времени, как ты отсюда выберешься, я приготовлю тебе на подпись такой контракт, что в «Юнайтед артистс» завопят от ужаса. Пошли, Брюс. Разговор наш — не для ушей больного. — Мэрфи грубовато похлопал Крейга по плечу и ласково добавил: — Не надо так пугать старых друзей, Джесс. Соня целует тебя. Ухожу, ухожу, сестра. — Экс-капитан службы медицинских сестер делала ему страшные глаза и выразительно поглядывала на часы.

Томас и Мэрфи вышли. Сиделка поправила подушку и проворчала:

— Все дела. От них мрут больше, чем от пуль.

«Человеку, начавшему трудовую жизнь в театре, лучше всего закончить ее в больничной палате», — подумал Крейг. Здесь как на сцене. Герой — в центре, на него направлены все прожектора. Врач — режиссер, но при этом исполняет также одну из ролей. Большую часть представления он наблюдает из-за кулис, готовый вмешаться, когда необходимо, шепчет актерам, что им пора на выход, что выходить надо с улыбкой и не следует чрезмерно затягивать монологи и диалоги. Сестры, точно рабочие сцены, переносят с места на место реквизит: градусники, тазы, судна, шприцы, инструменты для взятия и вливания крови.

У героя роль длинная — все вертится вокруг него, он не покидает сцены, он единственный исполнитель. Это обусловлено контрактом. Неблагодарный, он иногда ропщет на свое главенствующее положение, готов разругать игру других актеров и не прочь бы их заменить или сократить их роли.

Прежде всего он убрал бы, если б мог, Белинду Юэн.

На четвертый день его пребывания в больнице она решила, что он непременно поправится и что процесс его выздоровления ускорится, если он перестанет хандрить, как она выразилась, и займется повседневными делами. Она доложила ему, что расплатилась за него с отелем и собрала вещи. Экономии ради чемоданы его хранятся теперь в конторе. Почту она будет приносить. Все оповещены. В «Таймс» она позвонила. Он попробовал протестовать, но она, как убежденная сторонница порядка и светских приличий, сказала, что друзья, родные и общественность имеют право знать. Он не стал спрашивать, каких друзей и родных она нашла нужным оповестить. Телефон в конторе звонит весь день. Он удивится, когда узнает, какое множество людей проявляют к нему внимание. Надо полагать, что при ее деловитости скоро в его палату ринутся сотни доброжелателей. Он умолял врачей отпустить его и замыслил побег.

И все же к этому времени он достаточно окреп, чтобы принимать посетителей. Иглы из его израненных вен вытащили, переливаний крови больше не делали, он мог садиться и принимать жидкую пищу. Он даже побрился. То, что он увидел в зеркале, потрясло его. На лице была такая же зеленоватая мертвенность, как у того русского таксиста. Он принял решение: пока он в больнице, пусть мисс Балиссано, его военная дневная сиделка, бреет его. Она сама это предлагала.

В почте, которую принесла Белинда, лежал счет от адвоката его жены на пять тысяч долларов. В свое время, когда Крейг наконец решил разводиться, он с облегчением вздохнул и, радуясь освобождению, в припадке щедрости согласился оплачивать ее адвокатов, понимая, что с помощью денег ему легче будет все уладить.

Пришло также письмо от бухгалтера, который напоминал ему, что надо как-то решать вопрос о семидесяти тысячах долларов, затребованных управлением налогов и сборов. Дело принимает опасный оборот, предупреждал бухгалтер.

Белинда обнаружила у него в номере экземпляр «Трех горизонтов» и прочла его. Сценарий произвел на нее благоприятное впечатление. Она принесла с собой большие альбомы фотографий голливудских и нью-йоркских актеров и рекомендовала ему посмотреть их и подумать о распределении ролей. Чтобы доставить Белинде удовольствие, он лениво полистал альбомы.

Принесла она и чековую книжку. Поступили счета, требующие оплаты. Он не был членом общества Голубого креста и не страховал себя на случай потери трудоспособности, поэтому больница в тактичной форме попросила его внести аванс. Она выписала чек на тысячу долларов. Он покорно подписал. Потом подписал чеки в уплату за аренду монторского помещения, за телефон и телеграф, уплатил членские взносы в Клуб гастрономов и в Клуб авиапутешественников. Живой или мертвый, он должен доказывать свою платежеспособность. Он надеялся, что профессор психологии из колледжа Энн не увидит его подписи.

Поскольку теперь он снова занялся делами, сказала Белинда, она принесла рукописи двух пьес известных авторов, приходивших в контору на прошлой неделе. Она прочла пьесы, они ей не очень понравились, но известные авторы хотели бы иметь его личный отзыв. Завтра она принесет с собой блокнот, чтобы записать то, что он продиктует. Крейг обещал прочитать пьесы этих известных авторов. Она была в восторге от цветов, которые прислали ему супруги Мэрфи, супруги Томас и Уолт Клейн, — великолепных букетов из самого дорогого цветочного магазина Пятой авеню — и пришла в ужас, когда он сказал:

— Из-за них мне кажется, что я присутствую на собственных похоронах. Отправьте их в детское отделение.

О мисс Балиссано она сочла нужным высказаться подробно. Сиделка — бессердечная женщина и в то же время маниакально сверхбдительная, сказала Белинда. Ей каждый раз приходится применять чуть ли не физическую силу, чтобы прорваться к нему в палату. Фанатическая сверхбдительность опасна. Это — от негативного образа мыслей. Крейг обещал не поддаваться негативному образу мыслей и подумать о замене мисс Балиссано.

В эту минуту вошла мисс Балиссано, и Белинда встала.

— Как видно, мое время кончилось. — Она сказала это таким тоном, словно ее ударили по лицу. Белинда удалилась, и Крейг — впервые за все время — обрадовался приходу мисс Балиссано.

Увидев на столике рукописи и книгу альбомов с фотографиями, мисс Балиссано взяла их и положила на пол, подальше от глаз. В Корве она кое-чему научилась.

Когда Энн вошла, он лежал с градусником во рту. День был пасмурный, время довольно позднее, почти вечер, и в палате было темно. Энн приоткрыла дверь, она как будто готова была убежать при первом его слове. Он поднял в знак приветствия руку и молча показал на градусник. Она робко улыбнулась, подошла к кровати, наклонилась и бояливо коснулась губами его лба. Он взял ее руку.

— О папа, — сказала она и тихо заплакала.

Вошла мисс Балиссано, включила свет, взяла градусник, сделала запись на температурном листке. Она никогда не говорила, какая у него температура.

— Это моя дочь, мисс Балиссано, — сказал Крейг.

— Мы уже знакомы, — угрюмо сказала мисс Балиссано. Впрочем, она всегда была угрюма. Слезы Энн не произвели на нее никакого впечатления. Повозившись немного с подушками, она добавила: — Спокойной ночи. Спи крепко. Не слишком задерживайтесь здесь, мисс. — С тем же суровым видом она повернулась и вышла. Скоро придет ночная сиделка. Ночной сиделкой был молодой пуэрториканец, студент городского колледжа. Он целыми ночами просиживал в углу палаты, читая учебники при свете тщательно затененной лампы. У него была только одна обязанность: вызвать из коридора дежурного врача, если ему покажется, что Крейг умирает. Пока что дежурного врача ему не приходилось вызывать.

— О папа, — опять проговорила Энн дрожащим голосом. — Я не могу видеть тебя в таком положении.

Эгоизм юности, прозвучавший в ее словах, вызвал у него легкую усмешку. Я, я, я.

— Это не по моей вине, нет, папа?

— Конечно, не по твоей.

— Если тебе трудно говорить — не говори.

— Я могу говорить, — раздраженно сказал он. Раздражала его болезнь, а не Энн, но он увидел по ее глазам, что она приняла его тон на свой счет.

— Мы приехали, как только Йен получил от мистера Томаса телеграмму, — сказала Энн. — Мы были в Лондоне.

«Интересно, — подумал Крейг, — у кого Уодли занял деньги на дорогу». Но он не спросил.

— Хорошо, что приехала, — только и сказал он.

— Ты ведь поправишься, да? — с волнением спро-

сила Энн. Лицо у нее было бледное. Плохая путешественница. Крейг вспомнил, что, когда она была девочкой, ему всегда приходилось останавливать машину, потому что ее укачивало.

— Конечно, поправлюсь, — сказал он.

— Я вчера разговаривала с доктором Гибсоном — я пошла в больницу сразу же, как мы приехали, только мне сказали, что к тебе еще нельзя, — доктор Гибсон не сказал мне ни «да» ни «нет», когда я спросила его о тебе. Он говорит: «Только время покажет». Ненавижу врачей.

— Он очень хороший врач, — возразил Крейг. Он питал глубокую симпатию к доктору Гибсону — спокойному, деловитому, скромному, надежному человеку. Он просто не любит разыгрывать из себя пророка.

— Но мог же он хотя бы чуточку обнадежить! — по-детски воскликнула она.

— Видимо, он считает, что это не входит в его обязанности.

— Ты не должен стараться быть стойким, — сказала Энн. — Йен говорит, что ты стойк. — «Ну вот, уже цитирует своего любовника», подумал Крейг — Он говорит, что в наше время такое отношение к жизни не приносит пользы.

Налей мне, родная, стакан воды, — попросил Крейг. С него достаточно было цитат из коллекции мудрых изречений Йена Уодли. Пить ему, в сущности, не хотелось, но Энн была смущена и растерянна, и Крейг надеялся, что, попросив ее об этой маленькой услуге, он, быть может, сумеет пробить брешь в стене отчуждения, разделявшей их. Он заметил, что слово «родная» обрадовало ее. Он отпил немного из стакана.

— А у тебя будут еще посетители, — сказала она. — Завтра приезжает мама и...

— О господи. Как она узнала?

— Я позвонила ей, ответила Энн с виноватым видом. — Она ужасно расстроилась. Ты не сердись, что я ей сказала?

— Нет, — солгал он.

— Обычная человечность.

— Согласен, — нетерпеливо сказал Крейг — Согласен. Обычная человечность.

— И Гейл тоже едет, — сказала Энн.

— Ей тоже ты звонила?

— Да. Я делала лишь то, что считала правильным, папа. Ты на меня не сердисься?

— Нет. — Крейг поставил стакан на столик, обессиленно откинулся на подушки, показывая Энн, что устал и хочет быть один.

— Я должна перед тобой извиниться. Когда я писала тебе письмо, то так спешила, что ничего не сказала о своем сценарии. Не знаю, имеет ли это для тебя какое-нибудь значение, но я от него в восторге и должна была тебе сказать.

— У тебя другое было на уме.

— Конечно, ты вправе иронизировать, — смиренно сказала она. — Во всяком случае, я в восторге. И Йен тоже. Он хотел, чтобы я тебе это сказала.

— Вот и славно.

— Он уже разговаривал с мистером Томасом. Их мнения о сценарии во многом схожи. Они оба уверены в успехе.

— Вот и славно, — повторил Крейг.

— Конечно, мистер Томас обо мне еще ничего не знает. — Она замаялась. — Йен боится, что из-за меня ты будешь против него. Я имею в виду, против того, чтобы он работал над сценарием. — Она хотела услышать, что Крейг на это ответит, но тот молчал. — Я сказала Йену, что ты слишком благороден, чтобы становиться ему поперек дороги только из-за того, что... — Она не договорила.

— Я уже не тот благородный человек, что был на прошлой неделе, — сказал Крейг.

— Йену страшно нужна работа, — сказала Энн. — Он говорит, что без нее он не чувствует почвы под ногами. Он был в ужасном положении... Ты ему не откажешь, папа, правда? — Она уже умоляла.

— Нет, не откажу, — сказал он.

— Я так и знала. — Она сказала это тоном маленькой девочки, которой папа обещал веселую загородную прогулку и для которой не существует ни больниц, ни боли, ни крови. — Йен сейчас внизу. Он очень хотел бы прийти сюда и поздороваться. Он ужасно тревожится за тебя. Можно, я позову его? На минутку.

— А шел бы он... — выругался Крейг.

Энн ахнула от неожиданности. Если ему не изменяет память, он еще ни разу при ней так не бранился.

— О папа! Как можешь ты быть таким несправедливым? — Она резко повернулась и выбежала из комнаты.

«Ничего, она уже большая, — думал Крейг, погружаясь головой в подушки. — Знает все бранные слова. Я, пожалуй, переберусь в общую палату. Туда не пускают посетителей».

Вечером того же дня его оперировали. Анализы показали, что у него возобновилось внутреннее кровотечение, хотя оно и не было столь обильным, как в ту ночь в отеле. Медленное, опасное, истощающее кровотечение, источник которого невозможно определить.

Пока ему брили грудь и живот и еще не сделали предоперационную инъекцию морфия, он ясно сознавал, что не боится. «Пятьдесят на пятьдесят», — сказал доктор. Более справедливых условий игры человек не может требовать.

Лица появлялись и исчезали, мимолетные, молчаливые, едва различимые, точно окутанные туманом, — Мэрфи, Томас, доктор Гибсон, уклончивые, не предостерегающие и не подбадривающие; его жена, его дочь Марша, неестественно полная и плачущая; Гейл Маккиннон, свежая, как после морского купания; Констанс, суровая до неузнаваемости; Эдвард Бреннер... Но Эдвард Бреннер умер. Уж не во сне ли он всех их видит? Заговорил он только однажды. «Марша, — сказал он, — до чего же ты располнела».

Он чувствовал острую боль, но сдерживал стоны. Африканцу со шрамами из салона первого класса это было бы непонятно. Бремя Белого Человека. Он держался стоически, ждал очередной — раз в четыре часа — порции морфия и не требовал больше. Кто сказал, что стоицизм бесполезен? Во всяком случае, не его друг.

Рабочие сцены, все в белом, вносят реквизит — шприцы, кровь. Осветительную аппаратуру передвинули на другое место. В ушах раздавался шум морского прибора. Он просыпался. Засыпал. Лица появлялись и исчезали, каждое — со своими претензиями. Где Йен Уодли, этот расхлябанный вероломный человек? Где Белинда Юэн в платье цвета электрик? Какие еще чеки она принесла ему подписать?

Еще врачи. Лучший специалист в стране. Тихие голоса медиков, шепот за спиной. А белокурая скандинавка с опытными руками так больше и не появлялась. Увы.

Сколько дней прошло с тех пор, как он уехал из Мейрага? Какой напиток заказывал он на terrace маленького ресторана с видом на гавань Кассиса? Что рассказала та девушка о своей матери?

Он мог сидеть в постели и даже есть, но температура не спадала. Утром — около ста одного, вечером поднималась до ста трех с половиной. Над головой его висел пластиковый пакет, день и ночь питавший организм антибиотиками. То ли от жара, то ли от антибиотиков (или от того и другого вместе) у него мутилось сознание, он начал терять ощущение времени и уже не помнил, давно ли находится в больнице. Врачи молчали, но Крейг видел, что они обеспокоены: что, если это какой-то совсем новый вид больничных бактерий, против которых медицина пока еще бессильна?

Доктор Гибсон запретил все посещения, и Крейг был ему благодарен. Доктор Гибсон сказал, что если нормальная температура продержится трое суток, то его выпишут. А пока что Крейг смотрел сонными глазами на экран телевизора, который вкатили ему в палату и поставили в ногах койки. Преимущественно он смотрел бейсбольные матчи. Приятно смотреть на шарней, быстро бегающих по залитой солнцем зеленой лужайке. Было хорошо видно, когда они выигрывали, а когда проигрывали. Крейг читал как-то об одном убийце, осужденном в штате Массачусетс, — тот тоже смотрел по телевизору в своей камере бейсбольные матчи и жалел только о том, что так и не успеет узнать, выиграла ли вымпел его любимая команда «Доджерс».

«Интересно, — подумал он, — узнаю ли я, кто выигрывает в этом году вымпел».

Все же Мэрфи сумел убедить доктора Гибсона, что ему непременно надо увидеть Крейга. У Крейга уже два дня было приличное самочувствие. Температура понизилась до девяноста девяти градусов утром и до ста двух — вечером. Мисс Балиссано по-прежнему отказывалась сообщать ему температуру, но доктор Гибсон был не так строг.

Лицо Мэрфи, когда тот вошел, сказала Крейгу не

меньше, чем зеркало: выглядит он ужасно. После операции он ни разу не взглянул на себя в зеркало.

— Я должен был с тобой увидеться, Джесс, — сказал Мэрфи. — Завтра мне придется вылететь за Западное побережье. Дела все накапливаются, так что мне надо быть там.

— Конечно, Мэрф. — Собственный голос показался Крейгу слабым, старческим.

— Три недели — это максимум. Больше я не мог посвятить Нью-Йорку.

— Это я столько здесь пролежал? — спросил Крейг. Мэрфи с удивлением посмотрел на него.

— Да.

— Долго.

— Да. И врачи не хотят говорить, когда ты отсюда выберешься.

— Они не знают.

— Гибсон говорит, что ты не сможешь работать по крайней мере полгода. Даже если завтра тебя выпустят

— Знаю, — сказал Крейг — Он и мне это говорил.

— Томас не может ждать, — сказал Мэрфи. — Через месяц он должен начать съемки — иначе в этом году не закончит. Из-за погоды.

— Из-за погоды. — Крейг кивнул.

— Они с Уодли работают по восемнадцать часов в сутки. Томас говорит, что у Уодли действительно здорово получается. Говорит, что ты просто ахнешь, когда увидишь окончательный вариант

— Я в этом убежден.

— Хочешь знать, каких они подобрали актеров?

— Да нет, Мэрф.

Мэрфи снова взглянул на него с удивлением.

— О деньгах не беспокойся, — сказал он. — Большой кусок ты получишь сразу, а потом — пять процентов с прибыли.

— Здорово, — сказал Крейг.

— Томас оказался настоящим джентльменом.

— Разумеется. — Крейг закрыл глаза. Мэрфи стоял далеко-далеко, в дальнем конце длинного зала, и это его беспокоило.

— Ты устал, — сказала Мэрфи. — Больше не буду тебе надоедать. Звони мне, если что нужно.

— Позвоню обязательно. — Крейг продолжал лежать с закрытыми глазами.

— Соня тебя целует.

— Спасибо, Мэрф.

— Будь здоров, детка. — Мэрфи тихо вышел.

В дверях появилась мисс Балиссано.

— Включите, пожалуйста, телевизор, — попросил он.

Услышав шум толпы, Крейг открыл глаза. В Сент-Луисе светило солнце.

В тот день, когда у него впервые установилась нормальная температура, доктор Гибсон разрешил прийти его жене. Насколько Крейгу было известно, доктору Гибсону не сказали, что он оформляет развод, поэтому приход жены казался ему вполне естественным. Доктор Гибсон не предупредил его, что к нему идет жена. Видимо, он полагал, что делает больному целительный сюрприз.

Войдя в палату, Пенелопа нервно улыбнулась. Она постриглась — волосы по-девичьи свисают на плечи. В синем платье. Как-то он сказал ей, что больше всего любит, когда она в синем. Давно сказал.

— Здравствуй, Джесс. — Она говорила тихо, голос ее дрожал, лицо застыло от напряжения. Последний раз они встречались в адвокатской конторе. Он забыл, сколько месяцев прошло с тех пор. Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Десятитысячный поцелуй.

— Здравствуй, Пенни, — ответил он. — Ну как твоё тканье? — Это была их старая шутка¹.

— Что? — Пенелопа нахмурилась. — Какое тканье?

— Это я так, — сказал он. Значит, забыла.

— Как ты себя чувствуешь?

— Отлично. Разве не видишь? — Чтобы не думать о ней, он старался думать об ее адвокатах. Он видел, как она сжала губы, потом смягчилась, стараясь побороть раздражение.

— Доктор Гибсон говорит, что есть обнадеживающие симптомы. Очень обнадеживающие.

— Это меня весьма обнадеживает.

— А ты все такой же. — На мгновение гнев одержал в ней верх.

— Да, я верен себе. — Он боролся с ее жалостью,

¹ Ассоциация с гомеровской Пенелопой.

которую она, вероятно, считала своей любовью. Возможно, это и есть ее любовь.

— Доктор Гибсон говорит, что тебе придется долго отдыхать после того, как ты выйдешь отсюда. Кто-то должен присматривать за тобой. Хочешь вернуться домой?

Он представил себе просторный кирпичный дом на тихой зеленой улице Нью-Йорка, маленький садик, запыленную листву деревьев, письменный стол в своем кабинете, свои книги на полках. Они договорились поделить мебель, но еще не сделали этого. Некуда ему было взять свою часть. Не может же он таскать с собой письменный стол из одной гостиницы в другую. Она ждала его ответа, но он молчал.

— Хочешь отменить дело о разводе? Я хочу.

— Я подумаю. — У него не было сил спорить с ней сейчас.

— Что тебя заставило пойти на этот шаг? — спросила она. — Как гром среди ясного неба. Написал мне это ужасное письмо с требованием развода. В конце концов, уживались же мы друг с другом. Ты мог уходить и приходить когда угодно. Целыми месяцами я даже не знала, здесь ты или за границей. Никогда не спрашивала тебя о твоих... кто бы они ни были. Возможно, это не та пылкая любовь, о которой мечтают в юности, но мы все-таки уживались.

— Уживались, — усмехнулся он. — Да мы пять лет с тобой не спали.

— А по чьей вине? — Голос ее становился все резче.

— По твоей, — сказал он. У нее удобная память. Он ждал, что она будет доказывать обратное, причем с сознанием собственной правоты, и очень удивился, когда она заявила:

— А как ты думаешь? Сколько лет ты давал мне понять, что я тебе надоела. Готов был пригласить в дом кого угодно, лишь бы не обедать со мной одной.

— В том числе Берти Фолсома.

Она покраснела.

— В том числе Берти Фолсома. Надо полагать, что эта потаскушка, твоя дочь, доложила тебе о Женеве.

— Доложила.

— Но он во крайней мере уделял мне внимание.

— Ну и молодец. Да и ты не хуже.

— Можешь внести в свой реестр еще одну жертву, —

сказала она. — Теперь ее уже не сдерживали ни большая обстановка, ни вид пластикового пакета, источавшего в его вены бесполезную жидкость. Все было забыто. — Это ведь ты толкнул ее в объятия пьяницы.

— Он перестал пить. — Крейг тут же понял, что сказал глупость, но было уже поздно.

— Зато остальное не перестал. Был три раза женат, и все ему мало. С этой девчонкой я теперь и разговаривать не буду. А твоя вторая дочь? Бедная Марша. Прилетела из самой Аризоны порадовать отца, а что ты ей сказал? Первое, что пришло в голову: «Марша, до чего ты расплывалась». Она потом несколько дней плакала. Знаешь, что она говорит? Она говорит: «Он смеется надо мной, даже когда истекает кровью. Он меня ненавидит». Я уговаривала ее пойти сюда со мной, но она не захотела.

— Я помирюсь с ней, — сказал он усталым голосом. — Потом, не сейчас. Неправда, что я ее ненавижу.

— Но меня ненавидишь.

— Никого я не ненавижу.

— Даже сейчас тебе понадобилось унижать меня. — Он хладнокровно отметил, что, когда она принялась перечислять свои обиды, в ее голосе зазвучали хорошо знакомые ему фальшивые мелодраматические нотки. — Там внизу бесстыдно разгуливает эта женщина, собирается подняться сюда, как только ты вышвырнешь меня вон.

— Я не знаю, о какой «этой женщине» ты говоришь.

— О парижской шлюхе. Ты знаешь, о ком я говорю. Так же, как и я. — Пенелопа зашагала взад и вперед по палате, нарочно показывая, что старается успокоиться. Крейг лежал с закрытыми глазами, откинувшись на подушку. — Я пришла сюда не ссориться, Джесс, — продолжала она, перейдя на спокойный, рассудительный тон. — Я пришла сказать тебе, что буду рада, если ты вернешься домой. Более чем рада.

— Я же сказал, что подумаю.

— Сделай одолжение, объясни мне раз и навсегда, почему ты решил со мной развестись?

«Ну, что ж, — подумал он, — она сама на это напрашивается». Он открыл глаза, чтобы проследить за ее реакцией.

— Однажды в Нью-Йорке я встретил Элис Пейн, — сказал он.

— При чем тут Элис Пейн?

— Она рассказала мне любопытную историю. Каждый год, пятого октября, она получает дюжину роз. Без визитной карточки. Анонимно. — По тому, как застыло вдруг ее лицо, как напряглись плечи, он понял, что она знает, о чем идет речь. — Ни одна женщина, — продолжал он, — если она имеет какое-то отношение к дюжине роз, которые присылают из года в год пятого октября, не вернет меня к себе — ни живым, ни мертвым. — Он снова закрыл глаза. Вот и все. Она на это напрашивалась, и она это получила. Он почувствовал громадное облегчение от того, что разговор наконец состоялся.

— Прощай, Джесс, — прошептала она.

— Прощай.

Он слышал, как она тихо закрыла за собой дверь. И тут, впервые за все время, заплакал. Не от гнева или сознания утраты, а от того, что прожил с женщиной больше двадцати лет, завел с ней двух детей и не испытал при расставании никакого чувства, даже ярости.

Потом он вспомнил: Пенелопа говорила, что внизу ждет Констанс.

— Внизу ждет одна дама, она хочет повидать меня, — сказал он мисс Балиссано. — Не попросите ли вы ее подняться сюда? И дайте мне, пожалуйста, расческу, щетку и зеркало.

Он зачесал волосы назад. За три недели они сильно отросли. Жесткие, густые, они отвергали болезнь. Седины в них ничуть не прибавилось. Глаза на худом лице казались огромными и слишком блестящими. В больнице он сбавил вес и теперь выглядел помолодевшим. Только вряд ли Констанс оценит эту имитацию молодости.

Но когда дверь открылась, он увидел Белинду. Он постарался скрыть разочарование.

— Белинда, — сердечно сказал он. — Как я рад вас видеть.

Она поцеловала его в щеку. Ему показалось, что до прихода к нему она плакала, горе придавало ее маленькому острому личику больше женственности. На ней было все то же платье цвета электрик — видимо, в таком наряде она считала самым уместным появляться у смертного одра.

— В этой больнице не люди, а чудовища, — сказала она. У нее и голос стал мягче. «Моя болезнь повлияла на нее благотворно», — подумал он. — Всю эту неделю я прихожу сюда ежедневно, и все время они меня не пускают.

— Очень сожалею, — солгал он.

— Однако я не отставала от событий. И с мистером Мэрфи разговаривала. Вы не будете участвовать в работе над картиной.

— Боюсь, что так.

(Она положила руки на колени. Маленькие, жесткие. Двадцать три года за пишущей машинкой. Ногти покрыты лаком кроваво-красного цвета. Она безошибочно выбирает неудачные цвета. Она подошла к окну, немного спустила штору.

— Джесс, — сказала она. — Я хочу уйти от вас.

— Не верю, — сказал он.

— Поверьте.

— Вы подыскивали себе другое место?

— Конечно, нет. — Она повернулась спиной к окну, лицо ее казалось обиженным.

— Тогда зачем уходить?

— Когда вы отсюда выйдете, вы все равно не сможете работать.

— Какое-то время — да.

— Долгое время. Не будем обманывать себя, Джесс. Вам не нужны ни я, ни ваша контора. Вам еще пять лет назад надо было закрыть ее. Вы только из-за меня ее и держали.

— Какая чушь, — сказал он нарочито резким тоном. Она знала, что он говорит неправду, но ложь в данном случае была необходима.

— К тому же я и неприятностей натерпелась, — тихо сказала она. — С меня хватит. Уеду из Нью-Йорка. Больше здесь не могу. Сумасшедший дом какой-то. На днях ограбили двух моих знакомых. Среди бела дня. Писмянника за пачку сигарет ударили в грудь ножом. Иди не умер. Вечером из квартиры боюсь выйти. Целый год не была ни в кино, ни даже в театре. В дверь четыре разных замка врезала. Всякий раз, когда на моем этаже открывается лифт, я вся дрожу. Джесс, если им так уж нужен этот город, пусть они возьмут его.

— Куда вы поедете? — мягко спросил он.

— У моей мамы в Ньютауне есть дом. Она нездорова,

и я буду ей помогать. Это прелестный тихий городок, по его улицам можно спокойно ходить.

— Может, и я туда перееду, — сказал он полушутя-полусерьезно.

— Это было бы совсем неплохо.

— А чем вы будете зарабатывать себе на жизнь? — Вечная проблема, от нее никуда не уйдешь.

— Мне много не надо, — сказала она. — Да и скопить удалось порядочно. Благодаря вам, Джесс. Вы замечательно щедрый человек, и я хочу, чтобы вы знали мое мнение о вас.

— Вы же работали.

— Я работала у вас с удовольствием. Мне повезло. Это было лучше всякого брака. А я на них достаточно насмотрелась.

Крейг засмеялся.

— Это ни о чем не говорит.

— Для меня говорит, — сказала она. — Договор на аренду конторы истекает в этом месяце. Сказать им, что мы не будем его продлевать? — Она разглядывала свои кроваво-красные ногти и ждала ответа.

— Долгий и славный путь мы с вами прошли, а, Белинда? — ласково заметил Крейг.

— Да. Долгий и славный путь.

— Скажите им, что продлевать не будем.

— Они не удивятся.

— Белинда. Подойдите ближе и поцелуйте меня.

Она чинно поцеловала его в щеку. Обнять ее он не мог из-за трубки, подведенной к руке. Когда она выпрямилась снова, он спросил:

— Белинда, а кто же будет готовить мне на подпись чеки?

— Сами готовьте. Вы же большой, взрослый мужчина. Только не выписывайте слишком много.

— Постараюсь.

— Если я останусь здесь еще хотя бы на минуту, то разревусь, — сказала она и выбежала из комнаты.

Он откинулся на подушки и устремил взгляд в потолок. «Итак, двадцать три года долой, — подумал он. — Прибавь к ним двадцать один год, прожитый с женой. Отбыл сразу два срока. Поработал я сегодня на славу».

Когда Констанс вошла в палату, он спал. Ему приснилось, будто его целует женщина, которую он никак не может узнать. Открыв глаза, он увидел, что ря-

дом стоит Констанс и без улыбки смотрит на него сверху.

— Здравствуй, — сказал он.

— Если ты хочешь спать, то спи. Я просто посижу здесь и посмотрю на тебя.

— Я не хочу спать. — Она стояла с той стороны кровати, где не было трубки для вливания, так что он мог взять ее руку в свою. Ладонь у нее была холодная и твердая. Она улыбнулась ему.

— Ты не стригись. Длинные волосы рчень тебе идут.

— Еще неделя, — сказал он, — и я смогу выступать на Вудстокском фестивале. — Он решил выдержать разговор в шутовском тоне. Констанс — не жена и не Белинда Юэн. Им не стоит обижать друг друга и не стоит напоминать друг другу о лучших временах, когда они были вместе.

Она пододвинула стул к самой койке и села. На ней было черное платье, не придававшее, впрочем, ей траурного вида. Красивое, кажущееся безмятежным лицо. Волосы, зачесанные назад, открывали широкий прекрасный лоб.

— Скажи по буквам «Мейраг». — Эти слова вырвались у него как-то сами собой, и он тут же пожалел о них.

Но она засмеялась, все хорошо.

— А ты явно поправляешься.

— Быстро, — сказал он.

— Быстро. Я уж боялась, что так и не смогу тебя повидать. Завтра мне возвращаться в Париж.

— Вот как.

Наступило молчание. Потом она спросила:

— Что ты собираешься делать, когда тебя выпишут?

— Придется какое-то время побыть без дела.

— Я знаю. Жаль, что с картиной так получилось.

— Не так уж плохо. Она свою роль сыграла. Или почти сыграла.

— Обратнo в Париж не поедешь?

— А ты оттуда уезжаешь?

— Думаю, недели через две.

— Сомневаюсь, что я поеду в Париж.

Она немного помолчала.

— Для меня арендовали дом в Сан-Франциско. Говорят, с видом на залив. Там наверху есть большая комната, где человек может спокойно работать. И не слышно, как шумят дети. Или почти не слышно.

Он улыбнулся.

— Похоже на подкуп, да? — спросила она и сама же ответила: — Наверно, да. — Она засмеялась, потом лицо ее сделалось серьезным. — Думал ли ты о том, куда пойдешь после того, как выберешься отсюда? Где будешь жить?

— Нет еще.

— Не в Сан-Франциско?

— Староват я для Сан-Франциско, — мягко сказал он. — Он, конечно, имел в виду не город, и она это понимала. — Но я наведу туда.

— Я буду ждать, — сказала она. — Какое-то время, во всяком случае. — Слова эти прозвучали как недвусмысленное предупреждение, но что тут можно было поделать?

— Бери этот город штурмом, — сказал он.

— Попробую воспользоваться твоим советом. — Лицо ее стало опять серьезным. — Как жаль, что время наше, в сущности, не совпадает. Ну да все равно, когда тебе надоест скитаться по гостиницам, вспомни, что есть на свете Констанс. — Она протянула руку и погладила ему лоб. Ее прикосновение было приятным, но не возбуждало желания. Большое тело без остатка отдавалось своему недугу. Болезнь есть высшее проявление эгоизма.

— В последние дни я занималась отвратительным делом, — сказала она, отнимая руку. — Все подсчитывала, кто кого больше любит. Результат получился ошеломляющий: я люблю тебя больше, чем ты меня. Это — первый случай в моей жизни. Хотя, конечно, раз-то в жизни это должно случиться.

— Еще неизвестно... — начал было он.

— Известно, — резко перебила она. — Известно.

— Я-то еще не занимался подсчетом.

— И не надо. Кстати, вспомнила: виделась я с твоей хорошенькой юной приятельницей из Канна. Нас доктор Гибсон познакомил. Мы очень подружились и несколько раз встречались в ресторане. Очень умная. И очень волевая. Завидно волевая.

— Я не настолько хорошо ее знаю, — сказал он. Удивительно, но это правда. Он действительно не знал, волевая Гейл или нет.

— Обо мне она, разумеется, все знала.

— Не от меня, — сказал он.

— Нет. Разумеется, не от тебя. — Констанс улыбнулась. — Она улетает в Лондон. Ты это знал?

— Нет. Я ее не видел.

— Бедный Джесс, — насмешливо сказала Констанс. — Все трудящиеся дамы покидают его. На будущее рекомендую тебе держаться одного какого-нибудь города и выбирать женщин праздных.

— Я не люблю праздных женщин.

— Я тоже. Да! — Она порылась в сумочке и достала листок бумаги. Он узнал почерк Гейл. — Я обещала, если увижу тебя раньше ее, передать тебе ее телефон. Она живет в Филадельфии, у отца. Ради экономии. Говорит, что разорилась вчистую.

(Он взял у нее листок. На нем были адрес и номер телефона. И больше ничего. Он положил бумажку на столик.

Констанс встала.

— Сиделка не велела утомлять тебя.

— Увидимся ли мы еще?

— Не в Нью-Йорке, — ответила она, натягивая перчатки, — в этом городе чистых перчаток хватает только на час. — Она раздраженно смахнула сажу с тыльной стороны перчатки. — Не скажу, чтобы эта поездка в Нью-Йорк доставила мне удовольствие. Прощальный поцелуй. — Она наклонилась, поцеловала его в губы и прошептала: — Ты ведь не умрешь, милый, а?

— Нет, — сказал он. — Не думаю.

— Я бы не вынесла твоей смерти. — Она выпрямилась и улыбнулась. — Пришлю тебе открытку с видом Золотых Ворот, — сказала она и вышла.

Вот и она ушла. Лучшая из женщин, которых он знал.

Он позвонил по филадельфийскому номеру только на следующее утро. Мужчина, ответивший ему и сказавший, что он — отец мисс Маккиннон, спросил, кто звонит. Когда Крейг назвал свое имя, мистер Маккиннон говорил ледяным тоном. Казалось, он радовался возможности объявить Крейгу, что мисс Маккиннон накануне уехала в Лондон.

«Ну что ж, справедливо», — подумал Крейг. Позвони

ему сейчас Йен Уодли, вряд ли он обошелся бы с ним любезнее.

Через неделю его выписали. Три дня подряд температура была нормальной. Вечером накануне выписки доктор Гибсон имел с ним долгий разговор. То есть долгий в представлении обычно неразговорчивого доктора Гибсона.

— Вы счастливчик, мистер Крейг, — сказал доктор Гибсон. Худощавый, аскетического вида старик, занимающийся каждое утро по полчаса гимнастикой, принимающий ежедневно по десять дрожжевых таблеток, он излагал неоспоримые истины. — Многие на вашем месте не выжили бы. Теперь вы должны быть осторожны. Очень, очень осторожны. Строго придерживайтесь диеты. И ни капли спиртного. В течение года — ни глотка вина. А лучше совсем бросить пить. — Доктор Гибсон был убежденный трезвенник, и Крейгу показалось, что в голосе Гибсона прозвучало злорадство. — О работе забудьте на полгода. У меня сложилось впечатление, что вы усложнили свою жизнь, я бы даже сказал: слишком усложнили. — Впервые доктор Гибсон дал понять, что список лиц, посещавших его пациента, привел его к кое-каким выводам. — Если бы мне предложили установить главную причину вашего заболевания, мистер Крейг, то я осмелился бы предположить, что она не в функциональном расстройстве, не в пороке развития и не в наследственной слабости. Вы, несомненно, понимаете, что я имею в виду, мистер Крейг.

-- Понимаю.

— Упростите вашу жизнь, мистер Крейг. Упростите. И ешьте дрожжи.

«Ешьте дрожжи», — повторил про себя Крейг, глядя вслед удалявшемуся доктору Гибсону. Есть дрожжи — это легко.

У выхода из больницы он пожал Балиессано руку и шагнул за дверь. Вещи он оставил, сказав, что кого-нибудь за ними пришлет. Он шел медленно, щурясь от солнца, пиджак болтался на нем, как на вешалке. День был ясный, теплый. Он никого не предупредил, что выписывается сегодня, даже Белинду. Чтобы не взглянуть.

Уже выходя из больницы, боялся, как бы мисс Баллиссано не догнала его и не объявила, что произошла ужасная ошибка и что его должны срочно вернуть на койку и снова вогнать в руку шприц.

Но никто за ним не гнался. Он шагал без всякой цели по солнечной стороне улицы. Прохожие казались ему прекрасными. Девушки, стройные, гибкие, шли, высоко подняв головы, слегка улыбаясь, точно вспоминая невинные, но бурные радости прошедшей ночи. Молодые люди, бородатые и безбородые, шагали уверенным шагом, смело заглядывая в глаза встречным. Маленькие дети, чистенькие и веселые, в костюмчиках анемонового цвета, стремительно проносились мимо него. Старики были опрятно одеты, выглядели бодро и при свете солнца, казалось, забыли о бренности всего земного.

Номера в гостинице он не заказывал. Теперь он один, он жив, он идет, с каждым шагом ступая все тверже, один, без адреса, идет по улице родного города, и никто на свете не знает, где он сейчас: ни друг, ни враг, ни возлюбленная, ни дочь, ни коллега, ни адвокат, ни банкир, ни бухгалтер-ревизор не знают, куда он идет, никто ничего от него не требует, никто не может до него добраться. В эту минуту по крайней мере он свободен.

Проходя мимо магазина пишущих машинок, он остановился у витрины. Машинки чистенькие, так хитроумно устроенные и такие полезные. Он вошел внутрь. Вежливый продавец показал ему различные модели. Вспомнился приятель-матадор: тот, наверно, вот так же выбирает себе в мадридском магазине шпаги. Он сказал продавцу, что вернется позже и оставит заказ.

Он вышел из магазина. Ему уже чудился успокаивающий стук машинки, которую он в конце концов купит.

Он оказался на Третьей авеню. Вот и салун, в котором он частенько бывал. Он взглянул на часы: половина двенадцатого. Самое время выпить. Он вошел. Салун был почти пуст. У дальнего конца стойки разговаривали двое каких-то мужчин. Уверенные голоса.

Подошел бармен — краснолицый, толстый, могучего сложения человек в фартуке. Бывший боксер: переносица перебита, на бровях шрамы. Красавец бармен.

— Виски с содовой, — сказал Крейг и стал наблюдать с большим интересом, как тот наливает в мерный стаканчик виски, выплескивает его в стакан со льдом и откупоривает бутылочку содовой. Крейг взял бутылочку

и, чувствуя, как она приятно холодит руку, осторожно подлил содовой в стакан. Он целую минуту стоял в раздумье, глядя на приготовленное питье, и с наслаждением школьника, удравшего с уроков, сделал первый глоток.

Мужской голос на другом конце бара громко произнес:

— Ну я ей и сказал: «Катись-ка ты отсюда знаешь куда...»

Крейг улыбнулся. Все еще живой, он снова отпил из стакана. Никогда еще виски не казалось ему таким приятным на вкус.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ГЕРДЕ НИЛЬСЕН

*Ночной
портъе*

Глава первая

Ночь... Сажу один-одинешенек, огражденный пуленепробиваемым стеклом в запертой на ключ конторке. За окном Нью-Йорк в тисках угрюмой январской ночи.

Вот уже два года шесть раз в неделю я прихожу сюда за час до полуночи и остаюсь до восьми утра. В конторке тепло и с разговорами никто не лезет. Работа мне не то чтобы нравится, но и не противна.

Служебные обязанности оставляют мне время и для личных занятий, установленный ночной распорядок течет, как ему положено. Часок-другой я провожу за изучением программы скачек «*Racing Form*» и продумываю свои ставки на следующий день. Это очень живо составленная программа, полная оптимизма и с каждым выпуском вселяющая новые надежды.

Покончив с прикидкой таких показателей, как вес лошади, ее резвость, дистанция, ожидаемая погода, я принимаюсь за духовную пищу, постоянно заботясь о том, чтобы иметь под рукой книги по своему вкусу. Ночной харч — сэндвич и бутылку пива — я вокупаю по дороге на работу. В течение ночи обязательно проделываю изометрические упражнения для рук, ног и живота. Несмотря на сидячую работу, я в тридцать три года чувствую себя лучше, чем в двадцать лет. Люди удивляются, что при моем росте — меньше шести футов — вешу я сто восемьдесят пять фунтов. Однако мой вес меня не огорчает. Мне бы только хотелось быть повыше ростом. Женщины говорят, что у меня еще юношеский вид, но я не считаю это комплиментом. Я никогда не был маменькиным сыночком. Подобно большинству мужчин, я бы хотел походить на таких персонажей из телефильмов, как отважный морской капитан или искатель приключений.

Составляя отчет за прошедшие сутки для дневной смены, я работал на счетной машинке. Когда нажимал клавиши, машинка жужжала, как большое рассерженное насекомое. Вначале звук этот досаждал мне, но теперь я привык. За стеклом моей конторки в вестибюле было темным-темно. Хозяин экономил на электроэнергии, как, впрочем, и на всем остальном.

Пуленепробиваемое стекло в конторке появилось после того, как работавший до меня ночной портье был дважды зверски избит и ограблен. Ему наложили сорок три шва, и он решил переменить службу.

Следует признать, что с цифрами я умею обращаться лишь благодаря тому, что мать в свое время заставила меня пройти в колледже годичный курс счетоводства и бухгалтерии. Она настаивала, чтобы за четыре года учебы в колледже я научился хотя бы одной полезной, как она говорила, вещи. Окончил я колледж одиннадцать лет назад, и моей матери теперь уже нет в живых.

Отель, в котором я служу, называется «Святой Августин». Трудно сказать, из каких побуждений дал это имя отелю его первый владелец. Ни на одной стене вы не увидите распятия, его нет даже в вестибюле, где в четырех запыленных кадках стоят какие-то каучуковые растения якобы тропического вида. Снаружи отель еще выглядит достаточно солидно — он знал лучшие дни и лучших постояльцев. Плата сейчас тут небольшая, но и на какие-нибудь особенные удобства и обслуживание рассчитывать не приходится.

За исключением двух-трех постояльцев, приходящих поздно, мне не с кем и словом перекинуться. Но я и не искал такой работы, где требуется общительность. Часто за целую ночь нигде в здании не зажжется свет.

Платят мне сто двадцать пять долларов в неделю. Живу я в однокомнатной квартире, с кухней и ванной, в Восточной части Нью-Йорка на Восемьдесят первой улице.

Этой ночью меня потревожили только однажды, во втором часу, когда какая-то проститутка спустилась по лестнице в вестибюль и потребовала, чтобы я выпустил ее на улицу. Пришла в отель она до того, как я заступил на дежурство, так что я не знал, в каком номере она была. Возле парадной двери имелась кнопка-звонок, предназначенная для того, чтобы дверь автоматически открывалась, но неделю назад звонок вышел из строя.

Когда я отомкнул дверь, холодный ночной воздух пахнул мне в лицо, и, пожившись, я с удовольствием вернулся в свою теплую конторку.

Программа скачек на следующий день в Хайалиа лежала у меня на столе. У них на юге сейчас празднично и тепло. Я уже сделал свой выбор: во втором заезде поставить на Глорию. Возможный выигрыш в случае ее победы был бы один к пятнадцати.

Игроком я стал давно. Добрую часть времени в колледже я провел за игрой в покер в нашем студенческом землячестве. Работая затем в штате Вермонт, я каждую неделю садился за карточный стол и за время пребывания там выиграл несколько тысяч долларов. С тех пор мне не особенно везло.

Страсть к игре и привела меня на службу в отель «Святой Августин». Когда меня впервые занесло в Нью-Йорк, я в баре случайно познакомился с одним букмекером¹, который жил как раз в этом отеле и здесь же расплачивался со своими клиентами. Он открыл мне кредит, а в конце недели мы с ним подводили итоги. Я тоже поселился в этом же отеле: мои средства не позволяли выбрать что-нибудь лучшее.

Когда мой долг букмекеру достиг пятисот долларов, он перестал принимать мои ставки. Однако сообщил, что, к моему счастью, ночной портье отеля уходит с работы и хозяин ищет замену. «Вы производите впечатление, — сказал букмекер, — человека образованного, окончившего колледж и, наверное, знакомого с правилами сложения и вычитания».

Поступив на эту работу, я сразу же выехал из «Святого Августина». Находиться там круглые сутки было испытанием, которое едва ли кто мог вынести.

Из недельных получек я стал выплачивать долг букмекеру, и когда погасил его, он снова открыл мне кредит. Однако теперь я опять должен ему сто пятьдесят долларов.

Как мы условились с самого начала, я указывал в записке свою ставку на ту или иную лошадь, клал записку в конверт и опускал в ящик букмекера в отеле. Вставал букмекер поздно и раньше одиннадцати утра не заглядывал в свой ящик. В эту ночь я решил поставить

¹ Лицо, заключающее пари на бегах и скачках и собирающее денежные заклады.

пять долларов. В случае выигрыша я получил бы семьдесят пять долларов, что покрыло бы половину моего долга.

На моем столе рядом с программой скачек лежала Библия, открытая на Книге псалмов. Я вырос в религиозной богобоязненной семье и временами по привычке перечитывал Библию. Моя вера в Бога была уже не такой, как когда-то в детстве, но мне еще доставляло удовольствие заглядывать в Священное Писание. Тут же на столе приместился роман «Мерзкая плоть» Ивлина Во и «Каприз Олмейера» Джозефа Конрада. За два года ночной работы я значительно расширил свое знакомство с английской и американской литературой.

Усевшись за счетную машинку, я бросил взгляд на открытую страницу из Книги псалмов: «Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе».

Вполне приемлемо было для Иерусалима, подумал я. Но где в Нью-Йорке вы найдете тимпан?

Из небесной дали, проникая сквозь бетон и сталь, донеслось в эту минуту гудение реактивного самолета, летевшего над Нью-Йорком. Я прислушался, представив себе ровную взлетно-посадочную полосу, молчаливых диспетчеров на контрольной вышке, мерцание приборов, обзор ночного неба радаром.

«Ох, Боже мой», — произнес я.

Закончив щелкать на счетной машинке, я отодвинул стул, взял лист бумаги, положил его на колени и посмотрел на настенный календарь. Потом стал медленно, дюйм за дюймом, поднимать бумажный лист, не спуская глаз с календаря. Увы, заметил я бумагу, лишь когда край листа поравнялся с моим подбородком. Чуда опять не произошло.

«Ох, Боже мой», — повторил я и, скомкав лист, в сердцах швырнул его в корзину для бумаг.

Потом, аккуратно сложив счета, я принялся рассортировывать их в алфавитном порядке. Делал это механически, мысли были заняты совсем другим, и я не обращал внимания на дату выписанных счетов. Случайно она вдруг бросилась мне в глаза. 15 января. Годовщина. Своего рода. Я печально усмехнулся. Как раз три года тому назад это и случилось.

Глава вторая

Облака заволокли Нью-Йорк, но когда, идя на север, мы прошли над Пикскиллом, небо очистилось и заголубело. В лучах солнца заискрился на холмах снег. Я вел небольшой самолет «Сесна» на промежуточную посадку в аэропорту Тетерборо и краем уха слышал, как у меня за спиной пассажиры поздравляли друг друга с хорошей погодой и только что выпавшим снегом. Мы летели на небольшой высоте, около двух тысяч метров, поля под нами походили на хорошо расчерченные шахматные доски, где деревья чернели на белоснежном покрове. Короткие рейсы в это время года были мне особенно по душе. И было радостно и как-то уютно, когда то там, то здесь узнавал я знакомые мне отдельные фермы, дорожные перекрестки, речки и речушки.

Хороша зимой северная часть штата Нью-Йорк, а особенно в пригожий день в начале зимы, когда видишь ее с воздуха. В который раз я уже порадовался тому, что никогда не привлекала меня работа на дальних авиалиниях, где большую часть жизни проводишь на высоте более десяти тысяч метров, а земля скрыта от тебя плотным слоем облаков или выглядит как безликая географическая карта.

В самолете на этот раз было трое пассажиров — Вейлс, его жена и их дочь, упитанная девочка лет двенадцати с торчащими передними зубами, которую звали Диди. Все они были страстными лыжниками, и я уже несколько раз до этого возил их. На Берлингтон, куда мы летели, ходили самолеты регулярной авиалинии, но Вейлс, человек очень занятой, как он любил повторять, отправлялся на лыжные прогулки в удобное для него время и не желал зависеть от расписания. Владелец рекламной фирмы в Нью-Йорке, он не стеснялся в расходах. Заказывая самолет, Вейлс обычно просил, чтобы пилотировал я, — наверно потому, что иногда я шел с ними, вел на спусках, которые знал лучше их, и тактично обучал лыжной технике.

Вейлс и его жена, сильная, спортивного склада особа, неистово соревновались друг с другом, так что один из них когда-нибудь непременно должен был сломать себе

шею. Об их досаде и раздражении я мог судить по резко подчеркнутым обращениям «дорогой» или «дорогая» в напряженные моменты соперничества.

Их дочь Диди была серьезной, неулыбчивой девочкой, вечно с книгой в руках. Усевшись в самолете, она не отрываясь читала до самой посадки. В этом полете она была всецело поглощена романом Эмилиии Бронте «Грозовой перевал». Я сам в детстве читал запоем (моя мать часто ворчала: «Прекрати, Дуглас, изображать из себя героев прочитанных книг»), и мне было интересно следить от зимы к зиме, какие книги берет Диди с собой в самолет.

Она гораздо лучше своих родителей ходила на лыжах, но они не разрешали ей скатываться на спусках. Как-то утром в пургу, когда ее родители засиделись в веселой компании за коктейлями, мы отправились с ней вдвоем, и она показалась мне совсем другой девочкой. Бесстрашно, с блаженной улыбкой на лице, Диди радостно скользила рядом со мной по склону, как зверек, которому посчастливилось вырваться из клетки на волю.

У папаши Вейлса была широкая натура, и он имел обыкновение после каждого рейса делать мне подарок: то свитер, то пару прекрасных лыжных палок, то бумажник или еще что-нибудь в этом роде. Я, конечно, мог сам купить, что мне нужно, и не любил чаевых в какой бы то ни было форме, но мне не хотелось обидеть его отказом. Кроме того, он был приятным и вполне преуспевающим человеком.

— Прекрасное утро, Дуг, верно? — услышал я за спиной голос Вейлса. Даже в маленьком самолете он не мог усидеть на месте, шныряя то туда, то сюда. Пилот из него вышел бы ужасный. В летную кабину он принес с собой запах алкоголя, так как подкреплялся в пути из небольшой фляжки, которую всегда брал с собой.

— Н-не п-плохая, — подтвердил я. С детских лет я заикался, а потому старался как можно меньше говорить, хотя и не позволял себе стыдиться этого недостатка.

— На лыжах сегодня чудесно.

— Чудесно, — кивнул я. За управлением я особенно не любил разговаривать, но было как-то неудобно сказать об этом Вейлсу.

— Останетесь здесь на этот уик-энд?

— Н-навверное. Я д-договорился встретиться с одной знакомой.

Мою знакомую звали Пэт Майнот. Ее брат работал в конторе нашей авиалинии, и он познакомил меня с ней. Она была учительницей истории в средней школе, и мы условились встретиться после окончания занятий. Превосходная лыжница, она к тому же была очень хорошенькой. Небольшого роста, смуглая, сильная и ловкая.

Я знал ее более двух лет, последний год мы стали близки, но встречались от случая к случаю. То она под разными предлогами отказывалась увидеться и едва замечала меня, когда мы случайно сталкивались, то внезапно сама предлагала провести вечер вместе. По тому, как она улыбалась мне, я уже мог сказать, хочет ли она быть со мной.

Пэт была упряма и своенравна. По словам ее брата, почти каждый из его друзей приударял за ней. Я не мог похвастаться амурными успехами, был застенчив и неловок с девушками и не добивался близости с ней. Она тоже как будто не имела никаких видов на меня. Это случилось как-то само собой, когда в конце недели мы два дня провели на лыжных прогулках.

После первой ночи я признался ей: «Это самое лучшее, что было в моей жизни».

«Перестань», — буркнула она. И это все, что она сказала.

Я не задумывался над тем, люблю ли я ее или нет. Если бы она постоянно не приставала ко мне с тем, чтобы я лечился от заикания, я бы, наверное, попросил ее выйти за меня замуж. Однако подходили свободные дни в конце недели, а я никогда не мог предугадать, в каком она настроении. И я решил быть осторожным.

— Прекрасно, — с воодушевлением подхватил мои слова Вейлс. — Давайте сегодня все вместе пообедаем.

— Благодарю, Д-джордж. — Он настоял, чтобы с первого дня знакомства я называл его и его жену просто по имени. — Б-было бы о-очень п-приятно.

Такой обед дал бы мне возможность снова отложить окончательное решение.

— Так можно ожидать вас в гостинице?

— Б-боюсь, что нет. У меня с-сегодня м-медосмотр.

— У вас, Дуг, что-то маловато свободных дней.

— Т-только в лыжный сезон.

— В начале февраля я с женой отправляюсь в Цюрих.

Мы всегда ухитряемся выкроить недельки три, чтобы провести их в Альпах. Бывали ли вы в Альпах?

— Н-никогда не был за границей.

— У вас появится такая возможность, и нам будет приятно, если вы поедете с нами. Я член нью-йоркского лыжного клуба «Кристи». Клуб фрахтует самолеты и организует путешествия в Альпы. Удивительно дешево. Всего триста долларов с носа. И дело не только в деньгах, а и в людях, с которыми вы познакомитесь и сможете выпить, сколько в вас влезет. И притом никаких беспокойств с багажом и швейцарской таможней. Они только машут вам рукой и улыбаются. У меня знакомая в офисе этого клуба, ее фамилия Менсфилд. Я скажу ей, что вы мой друг, и она все вам устроит. Подумайте об этом, у вас еще впереди достаточно времени.

— Н-не искушайте рабочего человека, — усмехнулся я.

— Какого черта, всем надо отдыхать.

— Спасибо, п-подумаю.

Он вернулся на свое место в самолете, оставив у меня в кабине стойкий запах виски. Я уставился на дальний горизонт, обозначавшийся четкой светлой линией на ясном зимнем небе, стараясь подавить зависть к Вейлсу, плохому лыжнику, имеющему, однако, возможность пробыть три недели в Швейцарии и кататься с Альпийских гор, истратив на все про все тысячу долларов.

Выяснив в конторе, что до конца недели полетов у меня больше нет, я поехал в своем «фолькевагене» на медосмотр, проводившийся два раза в год доктором Райяном, который был глазным врачом, но служил у нас по всей медицине, продолжая на стороне ограниченную практику по специальности.

Вот уже пять лет этот добродушный медлительный старик выслушивал мое сердце, измерял кровяное давление, проверял зрение и мышечные рефлексы. За исключением того случая, когда я заболел легким гриппом, ему не случалось прописывать мне что-либо, кроме аспирина. «В полной форме для скачек. Годен брать призы», — каждый раз говорил он, заканчивая осмотр. Он разделял мой интерес к скаковым лошадям и даже однажды приехал ко мне домой, чтобы рассказать об одной удивительной лошади, которая, по его мнению, добьется огромных успехов на скачках.

Осмотр на этот раз проходил обычным порядком, и доктор одобрительно кивал на каждой стадии проверки. Однако все изменилось, когда он начал проверять мое зрение. Буквы на таблицах я читал бегло, но когда он с помощью лупы стал исследовать мои глаза, лицо у него вытянулось. Он дважды досадливо отмахнулся от медсестры, которая напоминала ему, что в приемной ожидают вызванные им пациенты, и подверг меня целой серии испытаний, чего прежде никогда не делал.

Наконец, убрав свои инструменты, он тяжело уселся за стол и устало потер лоб и глаза.

— Мистер Граймс, боюсь, что у меня плохие новости для вас.

То, что он затем сообщил мне в этот ясный солнечный день в своем большом старомодном кабинете, в корне изменило всю мою последующую жизнь.

— У вас заболевание глаз, — сказал доктор Райян, — которое называется ретиношизис. При этой болезни происходит расслоение сетчатой оболочки глаза и образуется киста. Течение болезни хорошо известно. В большинстве случаев она не прогрессирует, но ее последствия необратимы. Иногда мы пытаемся задержать ее развитие путем операции с применением лазерного луча. Однако существенное последствие этой болезни — ограничение периферийного видения. В вашем случае — нисходящего видения. Такая ограниченность зрения, увы, весьма важный недостаток для летчика, который должен всегда иметь полный обзор, следить за приборами, а также наблюдать за горизонтом. В остальном же вы можете считать себя вполне нормальным человеком. Сможете читать, писать, заниматься спортом и прочее.

— Нормальным?! — вскричал я. — Какой же я нормальный, доктор, если не смогу летать? Для этого я учился, в этом вся моя жизнь.

— Свое заключение, мистер Граймс, я с величайшим сожалением должен представить сегодня же. Вы, конечно, можете обратиться и к другим врачам, но, по моему мнению, это вряд ли что изменит. Я же обязан заявить, что с сегодняшнего дня летная работа вам противопоказана.

Я выскочил из кабинета врача, не пожав ему руки, иступленно повторяя: «Проклятье, проклятье!» Люди, ожидавшие в приемной, и те, кто повстречался мне на улице, с удивлением глядели мне вслед, когда, продолжая

громко браниться, я завернул в ближайший бар. Я чувствовал, что не смогу вернуться на летное поле и рассказать то, что случилось со мной, если основательно не подкреплюсь.

Бар был обставлен наподобие английского паба. Стойка из темного дерева и на полках по стенам высокие оловянные кружки. Худой старик в куртке цвета хаки и в красном охотничьем кепи стоял у стойки с кружкой пива.

— Они и у нас отравили все озеро, — громко произнес старик с жестким вермонтским акцентом. — Отходы бумажной фабрики. Через пять лет наше озеро станет таким же мертвым, как и озеро Эри. Дороги они посыпают солью, чтобы идиоты из Нью-Йорка могли как сумасшедшие мчаться на лыжные курорты, — продолжал старик. — А когда снег тает, всю соль уносит в озера, пруды и реки. Скоро во всем штате нигде не останется рыбы. И никому до этого нет дела. Так что я даже рад, что не доживу до такого всеобщего похабства.

Я выпил еще виски. Первая рюмка, как видно, не подействовала на меня. Впрочем, и вторая — тоже. Расплатившись, я вышел из бара. Мне вспомнилось озеро Шамплейн, где мальчиком я провел много чудесных летних дней на парусной лодке за ловлей рыбы. Мысль о том, что и оно умрет, была печальной и показалась даже печальнее всего, что случилось со мной в жизни.

Когда я вошел к Каннингему, бывалому летчику-испытателю времен второй мировой войны, а ныне президенту и единоличному владельцу нашей маленькой авиалинии, то по его лицу догадался, что доктор Райан уже звонил ему.

— П-проходил п-проверку, Фредди, — сказал я.

— Да, знаю. Очень жаль, — он смущенно повертел в пальцах карандаш. — Но мы обязательно найдем какое-нибудь место у нас. В конторе, например. Или, может, на обслуживании самолетов. — Голос его пресекался, и он молча уставился на карандаш, сжав его в своей большой руке.

— Спасибо, Фредди, но я уйду.

Это я уже твердо решил, так как не хотел быть хромою птицей на летном поле и тоскливо глядеть, как мои товарищи взмывают в воздух. И не хотел, чтобы на меня глядели с жалостью, которую я видел сейчас на честном лице Фредди Каннингема и увижу на лицах других товарищей.

— Все же, Дуг, подумай, — предложил Каннингем.

— Н-нет, я уже решил.

— Что же думаешь делать?

— Прежде всего уехать из города.

— Куда?

— Куда-нибудь.

— А затем?

— Попытаюсь присмотреться, чем мне еще заняться в жизни.

Произнося «в жизни», я дважды заикнулся.

Каннингем кивнул, избегая встречаться со мной взглядом и по-прежнему уставясь на карандаш в руке.

— Как у тебя с монетой?

— На первое время хватит.

— Так помни, если что не так, тебе есть куда прийти.

— Буду помнить. А сейчас мне пора, — сказал я, взглянув на часы. — У меня свидание.

— Ишь ты! — со смехом воскликнул Каннингем, встал и крепко пожал мне руку.

Больше я ни с кем не простился.

Поставив свою машину на стоянке, я вышел и стал ждать. Из большого кирпичного здания с развевающимся флагом на фронтоне и латинской надписью по фасаду доносился нестройный приглушенный шум, такой знакомый и живо напоминавший о собственных школьных годах.

Пэт, наверно, сейчас на уроке. Рассказывает о Гражданской войне Севера и Юга Америки или о престолонаследии английских королей. Она весьма серьезно относится к преподаванию истории. «Это наиболее релевантный предмет», — однажды сказала она мне, употребив модное в те дни среди педагогов слово, которым они обозначали уместность. «Все, что происходит сегодня, — пояснила она, — это следствие того, что происходило в прошлом». Вспомнив эти ее слова, я криво усмехнулся. Итак, значит, тем, что я родился

заикой и вырос, чтобы стать забракoванным летчиком, я был обязан Миду, разгромившему при Геттисберге генерала Ли, либо же Кромвелю, который обезглавил короля Карла I? Пожалуй, Пэт позабавится, когда мы обсудим это на досуге.

В школе прозвенел звонок. Сдержанный академический гул превратился в счастливый рев по случаю долгожданной свободы, и несколько мгновений спустя нестройная орда учеников в ярких цветастых парках и шерстяных шапочках высыпала из всех дверей.

Как обычно, Пэт вышла одной из последних. Она была чрезвычайно добросовестной учительницей, и обыкновенно двое или трое учеников окружали ее у стола после урока, задавая вопросы, на которые она обстоятельно и терпеливо отвечала. Когда я наконец увидел ее, лужайка перед школой уже опустела, сотни детей исчезли, словно растаяли в лучах всегда бледного зимнего солнца в близком моему сердцу штате Вермонт.

Вначале Пэт не заметила меня. Она была близорука, но из смешной суетности не носила очки, а надевала их лишь при чтении или в кино. В ходу у меня была шутка, что она даже роаяля в комнате не заметит.

Я стоял прислонившись к дереву и молча следил, как она, все еще не замечая меня, приближается ко мне, прижимая к груди папку со школьными тетрадями. Она была в коротком голубом пальто, красных шерстяных чулках и замшевых лыжных ботинках. Шла она, по своему обыкновению, быстрым шагом, сосредоточенно глядя перед собой. Ее головка с темными волосами, собранными в узел на затылке, была наполовину скрыта большим поднятым воротником пальто.

Увидев наконец меня, она улыбнулась, но не отчужденно, а приветливо. Объяснение, следовательно, предстояло более трудное, чем я ожидал. Мы не поцеловались. Всегда надо было считаться с тем, что кто-нибудь увидит из окна школы.

— Ты вовремя. Мои вещи там, — махнула она рукой по направлению к стоянке, где примостилась ее старенькая обшарпанная машина. Добрая часть ее жадования уходила на взносы помощи беженцам из Биафры, голодающим индийским детям, политзаключенным в разных частях света. Дома у нее было, вероятно, не больше трех платьев.

— Говорят, что лыжня сегодня очень хороша. Похожим на славу, — продолжала она, поворачиваясь, чтобы идти к стоянке.

Я удержал ее за руку.

— П-погоди м-минутку, — с трудом выговорил я, не обращая внимания на то, что она слегка покривилась от моего заикания. — Мне нужно что-то сказать тебе. Я н-не п-поеду.

— О! — с некоторым удивлением негромко воскликнула она. — А я думала, что ты свободен.

— Я с-свободен и н-не п-пойду на лыжах. Я у-уезжаю.

— На субботу и воскресенье?

— С-совсем.

Она прищурилась, словно внезапно потеряла меня из виду:

— И тебе больше нечего сказать мне?

— Н-ничего.

— Ах, нечего, — резко отозвалась она. — Может, все же сообщишь, куда уезжаешь?

— Еще с-сам н-не знаю.

— И не соизволишь объяснить, почему?

— С-скоро с-сама узнаешь.

— Если у тебя несчастье, — тон у нее смягчился, — и я могу помочь...

— П-помочь н-не с-сможешь.

— Будешь писать мне?

— П-постараюсь.

Она поцеловала меня, не боясь, что могут увидеть из окон школы. И никаких слез. И ни слова любви. А ведь все могло быть иначе, если бы она сказала, что я дорог ей, что она любит меня.

— У меня скопилось много непроверенных работ. А снег еще долго пролежит. — Кивнув мне, она криво улыбнулась. — Желаю удачи везде и во всем.

Я проводил ее взглядом, когда она зашагала к стоянке. Маленькая, скромная, прежде такая близкая. Потом я сел в свою машину и, зажюльнув дверцу, уехал.

В этот же день в шесть часов вечера я покинул свою просто обставленную квартиру, оставив в ней лыжное снаряжение и ботинки, только подбитую мехом парку я уложил в туристский мешок, чтобы передать брату Пэт,

который был примерно одного роста со мной. Хозяйке я сказал, чтобы она взяла себе мои книги и все, что осталось после меня в квартире.

Я решил уехать на юг налегке, покинув город, где, как теперь понял, прожил счастливо более пяти лет.

У меня не было определенной цели. Я собирался, как и сказал Фредди Каннингему, присмотреться, чем мне дальше заняться в жизни, и было все равно, где начинать.

Глава третья

Рассчитать свою дальнейшую жизнь... Времени для этого у меня было сколько угодно. Сидя за рулем своей маленькой машины, мчавшейся на юг вдоль всего Восточного побережья Америки, я был предоставлен самому себе. По широким автострадам я уже миновал Вашингтон, Ричмонд, Саванну. Ничто не привлекало моего внимания, я находился в том состоянии полного одиночества, что погружает в философские размышления. Я думал о своих отношениях с Пэт и о многом другом в прожитой жизни. Из английской литературы я вынес, по крайней мере, тот взгляд на жизнь и отношения людей, что твой характер — это твоя судьба, а твои успехи и неудачи — следствие твоих достоинств и недостатков.

Однако теперь я уже не был в этом уверен. Я, конечно, не считал себя безупречным человеком, но, однако, был хорошим сыном, верным другом, добросовестным работником. Я не был жестоким, не нарушал законов, не соблазнял женщин, никогда не дрался, если не считать потасовок на школьном дворе. И все же... все же пришел к печальному концу в кабинете доктора Райяна.

Судьба человека — его характер. Но разве от этого зависела судьба тридцати миллионов европейцев, погибших во второй мировой войне, или тех, кто от голода падал замертво на улицах Калькутты, или тех жителей древней Помпеи, которые были заживо сожжены огненной лавой?

Господствует случайность. Бросишь ли игральные кости, откроешь ли карту. Впредь следует, подобно игроку, полагаться лишь на свою удачу. Быть может, у меня — характер игрока, судьба теперь подтолкнула меня, и я сумею найти новый путь в жизни.

Приехав во Флориду, я стал проводить дни на скачках. Вначале все шло хорошо. Я выигрывал достаточно часто, чтобы жить припеваючи и не думать пока о работе. Никто ее, кстати, мне не предлагал, да я и сам не знал, за что именно взяться.

Жил я сам по себе, не заводил друзей, не сближался с женщинами. С некоторым удивлением я обнаружил, что у меня, по существу, нет никаких желаний. Меня не занимало, надолго ли это. Просто сейчас я не хотел никакого общения, никаких привязанностей.

С горьким наслаждением я ушел в себя, довольствуясь тем, что залитые солнцем длинные дни коротал на скачках, ел и пил в одиночестве, а вечерами изучал породу и чистоту кровей скакунов да повадки жокеев и тренеров. У меня оставалось много времени для чтения (доктор Райян заверил меня, что это не отразится на моем зрении), и я без разбору проглатывал массу дешевых книг в бумажных обложках, не находя, впрочем, в них ни пользы, ни вреда.

Я жил в маленьких отелях, переезжая из одного в другой, как только соседи становились чересчур навязчивыми. Когда окончился сезон скачек во Флориде, оказалось, что я выиграл несколько тысяч долларов, с которыми и прибыл в Нью-Йорк. Там я не стал ходить на ипподром — мне это уже наскучило — а продолжал играть через букмекеров. В то же время я часто бывал в театрах и кино, уходя на несколько часов в ирреальный мир. Нью-Йорк вполне подходит для человека, который предпочитает одиночество. Самый удобный в этом смысле город, где без всяких усилий сразу почувствуешь себя одиноким и никому не нужным.

Однако в Нью-Йорке счастье изменило мне, и в начале зимы, чтобы как-то прожить, мне уже надо было искать работу. И тут как раз подвернулось место ночного портье в отеле «Святой Августин».

Было три часа ночи, когда я подытожил последние счета от 15 января. Почувствовав голод, я потянулся за сэндвичем и бутылкой пива и в это время услышал шаги женщины, быстро спускавшейся по лестнице.

Включив свет в вестибюле, я увидел, как женщина торопливо, почти бегом, устремилась к моей конторке. Она выглядела неестественно высокой в туфлях на толстых подошвах и огромных каблуках. На ней была белесая шуба из искусственного меха и блондинистый парик, который никого не мог бы ввести в заблуждение. Я узнал в ней ту шлюху, которая вскоре после полуночи пришла с мужчиной из 610-го номера. Шел четвертый час ночи; ее пребывание в номере слишком уж затянулось, что и было заметно по ней. Она подбежала к запертой парадной двери, тщетно нажала кнопку испорченного звонка, а потом кинулась к моей конторке.

Постучав в пуленепробиваемое стекло, она громко крикнула:

— Откройте дверь. Я ухожу.

Достав ключ из ящика стола, где держал и пистолет, я вышел из своей конторки в примыкавшую клетушку, уставленную сейфами. Еще в ней громоздился допотопный несгораемый шкаф исполинских размеров. Шкаф и сейфы остались от прежних дней — я же упоминал, что отель знавал лучшие времена. Теперь хранить сокровища было некому, и сейфы пылились за ненадобностью. Я отомкнул дверь каморки и вышел в вестибюль. Женщина последовала за мной. Дышала она тяжело. Ее профессия была явно неспортивной и не могла научить ее быстро бегать по лестницам среди ночи. На вид ей было лет тридцать, но, едва взглянув на нее, вы сразу бы заметили, что жизнь у нее не из легких. Вот такие женщины, шмыгавшие по ночам в отель, были для меня веским доводом в пользу безбрачия.

— Почему вы не спустились в лифте?

— Вызвала его, но тут какой-то чокнутый голый старик выскочил из номера и кинулся ко мне. Он дико хрипел и замахивался на меня.

— Чем з-замахивался?

— Не могла понять, Не то палкой, не то, может, бейсбольной битой. Вы же, ублюдки, экономите на освещении, и в коридорах почти совсем темно. — Голос у нее был хриплым от виски. — Я не стала ждать, чем это кончится, и убежала. Если вам нужно, найдете его

на шестом этаже. Откроете вы наконец эту проклятую дверь? Я хочу домой.

Я отпер большие зеркальные двери, усиленные чугунной решеткой (хозяин нашего отеля был человек предусмотрительный). Женщина нетерпеливо толкнула их и выскочила на темную улицу. Я постоял немного в дверях в надежде увидеть патрульную полицейскую машину и попросить полисмена сходить вместе со мной на шестой этаж, поскольку платы за героизм мне не полагалось. Однако улица была пустынна, и лишь вдалеке, на Парк-авеню, слышался звук сирены. Заперев двери, я не спеша побрел к себе в конторку, с грустью размышляя о том, что мне, как видно, суждено провести остаток дней своих, впуская и выпуская шлюх по ночам.

*Хвалите Его с тимпаном и ликами,
хвалите Его на струнах и органе.*

Положив обратно ключ, я поглядел на пистолет, но решил не брать его.

Он не помог моему предшественнику, когда как-то ночью двое наркоманов, ограбив кассу, избили его и оставили лежать в луже крови с пробитой головой.

Надев пиджак, дабы выглядеть посolidней, я собрался на шестой этаж. У лифта в нерешительности остановился, подумав, что, быть может, плюнуть на все, вернуться в конторку, забрать пальто, сэндвич и пиво и убраться подобру-поздорову. На кой черт мне такая работа? Но в самый последний миг, когда двери лифта уже начали закрываться, я ступил в кабину.

На шестом этаже я нажал кнопку, чтобы двери лифта оставались открытыми, и осторожно вышел в коридор. Из приоткрытой двери 602-го номера, который находился наискосок от лифта, падала полоса света. На потертом ковре коридора ничком лежал голый мужчина. Голова и спина его были в тени, а сморщенные старческие ягодицы и исхудалые ноги на самом свету. Левая рука была вытянута, пальцы скрючены, словно, падая, он пытался что-то схватить. Правую руку он подогнул под себя. Наклонившись к нему, чтобы повернуть его, я понял, что уже никто и ничто ему не поможет.

Тело этого грузного человека с большим отвисшим животом было очень тяжелым, я с трудом повернул его на спину. И тут я увидел то, чем он, по словам шлюхи, замахивался на нее. То был тубус — большой продел-

говатый футляр для чертежей. Его-то в полутьме шляха и приняла за палку. Человек еще сжимал его в правой руке. Я бы и сам испугался, если бы в полутемном коридоре на меня вдруг бросился голый мужчина, замахиваясь каким-то большим предметом.

Когда я взглянул на лицо мертвеца, мурашки побежали у меня по спине. Его широко открытые глаза неподвижно уставились в пространство, рот искривился и застыл в последней мучительной гримасе, с плешивого черепа ключьями свисали седые волосы. Не было ни крови, ни следов какого-либо ранения. Толстое круглое лицо старика с большим мясистым носом было мне совершенно незнакомо.

Борясь с тошнотой, подступившей к горлу, я опустился на одно колено и приник ухом к груди старика. Грудь у него была, как у старой женщины, почти безволосая. В нос мне ударил кислотоватый запах старческого пота. Никаких признаков жизни. «Господи, старик, — подумал я, — неужто ты не мог умереть не в мое дежурство?»

Я нагнулся, схватил безжизненное тело под мышки и затащил его обратно в номер. У меня уже был достаточный опыт службы в отеле, чтобы знать, что мертвеца нельзя оставлять лежать в коридоре, а надо поскорей все скрыть от других постояльцев.

Когда я тащил мертвеца, футляр выкатился из-под него и остался в коридоре. Я оставил тело на полу рядом с кроватью, на которой в беспорядке разбросаны были смятые простыни и одеяла. Простыни и подушки были перепачканы губной помадой. Должно быть, той дамочки, которую я выпустил около часа ночи. С некоторой жалостью я посмотрел на немощное старческое тело, распростершееся на лянном ковре, на жалкую старишковскую плоть. Надо же так — последнее наслаждение. И сразу за ним — смерть.

На столике возле кровати стоял открытый чемоданчик из дорогой кожи. Рядом лежал потертый бумажник и кошелек с золотым тиснением. В чемодане я разглядел три аккуратно сложенные чистые рубашки.

На столике была разбросана кое-какая мелочь. Я сосчитал деньги в кошельке. Сорок три доллара. Положив кошелек на место, я взял в руки бумажник. Обнаружив в нем десять новехоньких хрустящих стодолларовых купюр, я присвистнул от удивления. Что бы тут ни про-

изошло ночью, старик не был ограблен. Сунув деньги обратно в бумажник, я аккуратно положил его на то же место на столике. Я знал заповедь «не укради» и соблюдал ее. Как, впрочем, и многие другие.

Я снова кинул взгляд на открытый чемодан. Помимо рубашек, в нем были две пары мужских трусов старого образца, полосатый галстук, две пары носков и синяя пижама. Да, теперь постоялец номера 602, кто бы он ни был, задержится в Нью-Йорке дольше, чем собирался.

Вид мертвого тела угнетал меня, и потому я стащил с кровати одно из одеял и накрыл его с головой. Стало как-то легче, когда смерть обрела только геометрические очертания тела, лежащего на полу.

Затем я вышел в коридор и подобрал футляр. На нем не было никаких ярлыков или надписей. Когда я внес его в номер, то заметил, что он с одного края немного надорван. Я было собрался сунуть этот футляр к другим вещам, как вдруг мне бросился в глаза торчащий в надорванном месте зеленый уголок банкноты. Я вытащил ее, и это оказалась стодолларовая бумажка. В отличие от новеньких денег в бумажнике, эта была старой и измятой.

Внимательно осмотрев футляр, я увидел, что он туго набит стодолларовыми купюрами. Придя в себя от удивления, я засунул обратно сотенную бумажку и тщательно закрыл надорванный край футляра.

Сунув футляр под мышку, я выключил свет в номере и запер его. Все мои движения были быстры и уверенны, как у хорошо отрегулированного автомата, словно я всю жизнь готовился к такому случаю и ничего иного тут и быть не могло.

Я вернулся к себе и прошел в маленькую, глухую, без окон, комнатку, примыкавшую к моей конторке. В ней полки были завалены канцелярскими принадлежностями, старыми счетами, потрепанными журналами прошлых лет, забытыми в номерах. Они пестрели фотографиями ушедших в небытие политиканов, голых девочек (их теперь, увы, уже не стоило снимать), ослепительно притягательных женщин, убийц с моноклями, кинозвезд, тщательно позирующих писателей — словом, обычное месиво прошлой и современной Америки. Не колеблясь,

засунул я чертежный футляр с деньгами в этот ворох скандалов, оплетен и восторгов.

Потом я вызвал по телефону «скорую помощь» и уселся за стол, занявшись сэндвичем и бутылкой пива. За едой я отыскал запись в книге регистрации приезжающих, указавшую, что 602-й номер занял за день до этого Джон Феррис, домашний адрес: Чикаго, Северное Мичиганское авеню.

Едва только я допил пиво, как услышал звонок и увидел снаружи машину «скорой помощи» и вышедших из нее двоих мужчин. Один был в белом халате со свернутыми носилками в руках; другой, в синей форме, нес черную сумку, однако я знал, что и он не был врачом. В Манхэттене¹ не тратились на врачей, а посылали по вызовам «скорой помощи» санитаров, которые могли оказать на месте первую помощь, не доконав пациента. Когда я открыл входную дверь, подъехала патрульная полицейская машина, из которой вылез коренастый полисмен с тяжелым подбородком и темными, нездоровыми кругами под глазами.

— Что у вас тут случилось? — спросил он.

— На шестом этаже старик загнулся, — ответил я.

— Пройду с ними, Дэйв, — сказал полисмен своему напарнику, сидевшему за рулем. Было слышно, как у них в машине служебное радио передавало сообщения о несчастных случаях, избиениях жен, самоубийствах и названия улиц, где были замечены подозрительные личности.

Я повел их как ни в чем не бывало. Молодой санитар поминутно зевал, словно не спал неделю. Я заметил, что работающие ночью выглядят так, будто несут наказание за какой-то тяжкий неведомый грех. Тяжелые шаги полисмена гулко отдавались в пустом вестибюле, впечатление было такое, что он шествовал один. Все молчали, поднимаясь в лифте, который наполнился специфическим больничным запахом. Бог с ним, с запахом, подумалось мне, а вот полисмена лучше бы не было.

Когда мы поднялись на шестой этаж, я провел их в 602-й номер. Санитар сдернул одеяло с мертвеца и наклонился к нему, приложив к его груди стетоскоп. Полисмен остановился у кровати, внимательно разгля-

¹ Район Нью-Йорка.

дывая смятые простыни со следами губной помады, одеяла и вещи на столике.

— А вы здесь кем? — спросил он меня.

— Ночной портье.

— Ваша фамилия?

Полисмен задавал вопросы таким тоном, словно заранее был уверен, что любое имя, которое я назову, будет липовым. Интересно, что бы он сделал, если бы я ответил: «Меня зовут Озиманидиас. Царь царей». Возможно, вынул бы свою черную записную книжку и записал: «Свидетель назвался Озиманидиасом. Вероятно, кличка». Это, конечно, был настоящий ночной полицейский, обреченный бродить в темноте по городу, кишащему преступниками.

— Моя фамилия Граймс.

— А где женщина, что была здесь с ним?

— Понятия не имею. Я выпустил одну этой ночью. Может быть, это она и была. — Про себя я удивился, что говорю совершенно не заикаясь.

Санитар поднялся, вынул из ушей резиновые трубки стетоскопа и без всякого выражения произнес:

— Обнаружен мертвым.

Это я мог сказать и без него. Вообще меня удивило, как много в большом городе формальностей, связанных со смертью.

— Причина смерти? Ранения есть?

— Нет. Наверно, отказало сердце.

— Что-нибудь еще надо сделать?

— Ничего. Теперь уже все, — ответил санитар. Однако он снова наклонился, оттянул веко и взгляделся в остекленевший глаз мертвеца. Затем пощупал пульс у горла. Движения его были ловкими и умелыми.

— Вы, видно, знаете, как обращаться с мертвецами, дружок, — заметил я. — Должно быть, большая практика.

— Второй год на медицинском. А этим занимаюсь, только чтоб прокормиться.

Полисмен подошел к столику и взял в руки кошелек.

— Здесь сорок три доллара, — сказал он и открыл бумажник. Его густые брови удивленно поднялись, когда, вытащив деньги, он, шелестя бумажками, сосчитал их.

— Ого, тысяча.

— Вот те на! — громко изумился я. Это был неплохой ход с моей стороны, хотя по тому, как полисмен взгля-

нул на меня, я заключил, что мое удивленное восклицание не произвело на него впечатления.

— Сколько тут было денег, когда вы обнаружили труп? — спросил он. Его вопрос звучал весьма недружелюбно. Возможно, в дневную смену он был другим человеком.

— Не имею ни малейшего представления, — твердо ответил я. То, что я не заикался, было подлинным триумфом.

— Вы хотите сказать, что не посмотрели?

— Совершенно верно.

— Та-ак. А почему?

— Как почему? — с невинным видом переспросил я.

— Почему не посмотрели?

— Мне это в голову не пришло.

— Та-ак, — снова повторил полисмен и опять пересчитал деньги. — Одни сотенные. Странно, что человек с такими деньгами при себе не мог найти лучшего места, чем ваш задрипанный отель. — Положив деньги обратно в бумажник, он прибавил: — Полагаю, лучше забрать их в участок. Кто-нибудь желает пересчитать?

— Мы вам доверяем, — сказал санитар с едва уловимой иронией в голосе. Санитар был молод, но уже искушен и в смертных случаях, и в житейских делах.

Толстыми, похожими на обрубки пальцами полисмен обшарил остальные отделения бумажника.

— Странно, — пожал он плечами.

— Что странно? — поинтересовался санитар.

— В бумажнике нет ни кредитных, ни служебных карточек. Нет даже водительских прав. И это у человека, который носит при себе более тысячи долларов наличными. — Недоуменно покачав головой, полисмен сдвинул фуражку на затылок. — Нормальным это не назовешь, не так ли? — недовольно произнес он, словно мертвец вел себя не так, как положено американцу, который должен знать, что и после смерти, как и при жизни, о нем будет бдительно заботиться полиция. — Вы знаете, кто он такой? — обратился он ко мне.

— Никогда прежде в глаза не видал, — отвечал я. — Он из Чикаго, фамилия его Феррис. Я покажу вам запись в книге регистрации приезжающих.

Полисмен положил бумажник к себе в карман, быстро осмотрел рубашки, носки и белье покойного. Затем от-

крыл стеной шкаф и обыскал карманы висевших там пальто и костюма.

— Ничего, — буркнул он. — Ни записной книжки, ни писем. Совершенно ничего. И это у человека с плохим сердцем. У иных людей, как видно, здравого смысла не больше, чем у лошади. Итак, приступаю к описи вещей в присутствии свидетелей.

Составление описи не отняло у него много времени.

— Вот здесь подпишитесь, — указал он мне.

Я бегло пробежал взглядом по списку («Одна тысяча сорок три доллара наличными, чемодан коричневый один, не запертый, костюм один, пальто серое одно, шляпа одна...») и расписался вслед за полисменом.

— Кто набросил на него одеяло? — спросил затем полисмен.

— Я набросил.

— Вы нашли его здесь на полу?

— Нет, он лежал в коридоре.

— Голый, как и сейчас?

— Да, голый. И я втащил его сюда.

— Для чего вам это понадобилось? — как-то сокрушенно спросил полисмен. По лицу его было видно, что он силится понять.

— Здесь же отель, — пояснил я. — Мы должны соблюдать порядок. Делать вид, что ничего не произошло.

— Вы что, хотите быть умнее всех? — проворчал полисмен.

— Вовсе нет. Но если бы я оставил покойника лежать в коридоре и кто-нибудь из наших постояльцев увидел его, то хозяин сжил бы меня со свету.

— В следующий раз, где бы вы ни нашли мертвое тело, не трогайте его до прибытия полиции. Поняли?

— Да, сэр.

— Ночью вы один в отеле?

— Да, один.

— Всю работу делаете сами?

— Конечно.

— Как случилось, что вы очутились здесь? Вам позвонили по телефону или кто-нибудь пришел и сообщил?

— Женщина, уходившая из отеля, сказала мне, что на шестом этаже какой-то голый сумасшедший старик пристал к ней, — словно прислушиваясь со стороны, я отметил, что, отвечая полисмену, ни разу не заикнулся.

- Хотел, что ли, переспать с ней?
- Именно это она и подразумевала.
- Что это была за женщина?
- Должно быть, проститутка.
- Вы когда-либо прежде видели ее?
- Нет.
- К вам в отель приходит много женщин, не так ли?
- Я бы не сказал, что так уж много.

Полисмен опустил голову и уставился на посиневшее искажившееся лицо старика. Потом обратился к санитару:

— Послушайте, приятель, как давно он умер, по-вашему?

— Трудно сказать. Что-нибудь от десяти минут до получаса. Вы вызвали нас сразу, как только нашли тело? — спросил у меня санитар. — Ваш вызов поступил в три пятнадцать.

— Сперва я послушал, бьется ли у него сердце. Потом втащил сюда, накрыл одеялом. После этого спустился вниз и позвонил вам.

- Вы пытались привести его в чувство?
- Нет, не пытался.
- Почему?

В вопросе санитаря не было придирки. Был очень поздний час, он, конечно, устал и спросил лишь для проформы.

— Мне не пришло в голову.

— Уж очень многое не приходило вам в голову, — мрачно заметил полисмен. Подобно санитару, он также вел себя по установленному распорядку, в который входило и подозрение. Однако, по существу, все это было ему безразлично и даже, казалось, давно надоело.

— Что ж, давайте мы заберем его, — предложил санитар. — Нет смысла зря терять время. Когда свяжетесь с его семьей, — снова обратился он ко мне, — узнайте, как они собираются хоронить его, и сообщите в морг.

— Сейчас же отправлю телеграмму в Чикаго, — пообещал я.

Санитар и шофер «скорой помощи» уложили тело на носилки.

— Тяжеленный, сукин сын, — заметил шофер. — Жрал, видно, в три горла, старый козел. Ишь ты, голым приставал к бабенке. И хоть бы было чем!

Завернув труп в простыню, они пристегнули его ремнями к носилкам. В лифте носилки пришлось поставить почти стоймя, иначе они не помещались.

— Беспокойная была ночь? — спросил я санитар, когда мы спускались в лифте.

— Четвертый вызов, — ответил он. — Могу поменяться с вами работой.

— Ну да, охота вам просиживать ночи напролет за счетной машинкой, когда скоро вы начнете загребать денежки. В газетах вон пишут, что врачи у нас зарабатывают больше всех.

— Боже, услышь это и благослови Америку, — воскликнул санитар, выходя из лифта.

Я открыл им парадную дверь и глядел, как ловко они поставили носилки с телом в санитарную машину. В патрульной машине второй полисмен крепко спал за рулем, негромко посапывая. Завыла сирена, и «скорая помощь» быстро скрылась из виду.

— Какого черта они торопятся? — сказал полисмен, стоявший рядом со мной на ступеньках.

— А напарник-то ваш заснул.

— Проснется, если будет вызов. Чутье у него, как у собаки. Пусть пока отдохнет. Хотел бы я иметь его нервы, — со вздохом добавил он. — Пойдемте заглянем в вашу книгу регистрации приезжающих.

Мы вернулись в мою конторку. Проходя через смежную комнатку, я старался не глядеть на полку, где среди канцелярских принадлежностей и старых журналов лежал принесенный мной футляр.

— Если хотите выпить, у меня есть бутылка виски, — предложил я, радуясь про себя тому, что пока все идет благополучно. Мной словно управлял компьютер, в который правильно заложили все необходимые данные. Но все же требовалось некоторое усилие, чтобы не глядеть на полку, где лежал футляр.

— Я же на службе, — протянул полисмен. — Но глюточек все же не повредит.

Я отыскал в книге регистрации приезжающих запись о въезде постояльца в 602-й номер, и полисмен старательно переписал ее в свою записную книжку. История Нью-Йорка, по-видимому, наиболее верно отражена в записях этих полицейских книжек. Считите это, пожалуйста, интересным археологическим открытием.

— Стакана, извините, нет, — заметил я, откупоривая бутылку виски.

— Ничего, из горлышка сойдет, — сказал полисмен. — Лехаим, — добавил он, приветственно приподнял бутылку и основательно отхлебнул из нее.

— Вы еврей? — полюбопытствовал я, когда полисмен протянул бутылку мне.

— Нет. Напарник научил. А он еврей.

«Лехаим». За жизнь! Это я помнил с тех пор, как посмотрел на Бродвее знаменитый мюзикл «Скрипач на крыше».

— Пожалуй, последую-ка я вашему примеру, — произнес я, поднося бутылку ко рту. — Эта ночь мне еще долго сниться будет.

— Ну, эта ночь — пустяки. Нам часто и похуже приходится.

— Да уж, представляю себе.

— Однако пора идти, — сказал полисмен. — Утром к вам пожалует инспектор. Чтоб до его прихода номер был заперт, понятно?

— Передам утром моему сменщику.

— Эх, ночная работа, — вздохнул полисмен. — Вы хорошо спите днем?

— Прекрасно.

— А вот я не могу, — он печально покачал головой. — Видите, какие круги под глазами.

Я проводил его к выходу и следил, как не спеша, вразвалку подошел он к патрульной машине, вскарабкался в нее и разбудил напарника. Они медленно покатили по молчаливой пустынной улице, а я поспешил к себе, чтобы отправить телеграмму.

Прозвучало по меньшей мере десять гудков, пока мне ответили. Страна в полном упадке, подумал я, ожидая. Никакого движения, никто не отвечает.

— Вестерн юнион, — наконец послышалось в трубке.

— Примите телеграмму в Чикаго, — сказал я, затем продиктовал адрес и по буквам фамилию адресата.

— Прошу текст.

— Сожалением извещаем кончине Джона Ферриса сегодня три пятнадцать тчк Прошу немедленно сообщить ваши указания тчк Друзек отель Святой Августин Манхэттен Нью-Йорк, — продиктовал я.

К тому времени, когда придет ответ, Друзек уже

появится в отеле, а мое дело сторона. И вовсе ни к чему, чтобы в Чикаго знали мое имя.

Мне сообщили стоимость телеграммы, и я пометил ее на листке с текстом. Старина Друзек поставит ее, конечно, в счет Феррису.

Глотнув еще виски, я уселся во вращающемся кресле и раскрыл Библию. За ней я решил провести время до прихода моего сменщика.

Глава четвертая

Рассказав утром сменщику обо всем (или, точнее, почти обо всем), что случилось прошедшей ночью, я поехал домой на такси. Как обычно, оставил в конверте записку букмекеру, в которой указывалось, что ставлю пять долларов на Глорию во втором заезде в Хайалиа. Пока что было бы разумно вести себя так, как будто ничего не случилось.

Ограбления, причем в любое время суток, отнюдь не были редкостью даже в районе Восьмидесятых улиц восточной части Манхэттена, где я жил. Ехать в такси было, конечно, роскошью, но уж больно мне не хотелось, чтобы меня грабанули именно сегодня. Улучив минутку, когда сменщик был занят, я достал с полки футляр. В вестибюле никого не было, да если бы кто и встретился, — ничего нет особенного в том, что человек несет с собой картонный футляр для чертежей.

Хотя я не спал всю ночь, голова была ясная. Обычно, когда погода позволяла, весь путь до дома (тридцать кварталов или чуть больше) я преодолевал пешком, находил позавтракать в бистро на Второй авеню и, возвратясь домой, заваливался спать часов до двух пополуни. Но сегодня я не хотел да и не мог заснуть.

Войдя в свою однокомнатную квартирку — окна в ней запотели от ночного холода, — я, даже не сняв пальто, прошел на кухню и открыл бутылку пива. Погигивая пиво, ножом разрезал футляр и окончательно убедился, что сверху донизу он набит стодолларовыми бумажками.

Одну за другой я осторожно вытаскивал их, тщатель-

но разглаживал и раскладывал на кухонном столе пачками по десять штук в каждой. Когда я кончил, на столе лежало сто пачек. Сто тысяч долларов. Они покрыли весь стол.

Молча уставился я на деньги, лежащие на столе. Допил пиво. Я не ощущал ни страха, ни радости, ни раскаяния — вообще ничего. Машинально взглянул на часы. Без двадцати девять. Банки откроются через двадцать минут.

Достав из стенового шкафа небольшую сумку, я уложил в нее все деньги. Ключ от квартиры был лишь у меня одного, но тем не менее не следовало рисковать. С сумкой в руках я спустился вниз и вышел на улицу. За углом в магазине канцелярских принадлежностей купил пакет резинок и три плотных больших конверта, самых больших, что были в магазине.

Вернувшись обратно к себе, я запер дверь и на этот раз снял пальто и пиджак. Затем уселся и не торопясь, аккуратно обвязав резинкой каждую пачку денег, складывал их в конверты. Тысячу долларов положил к себе в бумажник на всякие расходы.

Запечатывая конверты, я морщился от вкуса клея, когда облизывал края. Открыл еще бутылку пива и пил маленькими глотками, не сводя глаз с толстых конвертов на столе.

Квартирку я снял полностью обставленной. Из моих вещей в ней были только книги. Да и тех немного. Обычно я выбрасывал книги по прочтении. Поскольку тепла в квартире никогда не хватало, мне приходилось, сидя за книгой, натягивать на себя подбитую мехом лыжную куртку. В это утро было, как всегда, прохладно, но, хотя я был в одной рубашке, мне было даже жарко.

У меня уже созрело решение, что следует предпринять. Прежде всего уйти с работы, уехать из города. На дальнейшее пока не было никаких планов, но я понимал, что вскоре несомненно появится тот, кто ищет эти сто тысяч долларов.

В банке на двух специальных карточках я начертил образец своей подписи. Рука у меня была совершенно твердой. Запечатанные конверты с деньгами лежали передо мной на столе, за которым я сидел. Принимал меня молодой, очень вежливый банковский клерк с бес-

полым лицом монаха. Беседа с ним была короткой и деловитой. До этого я побрился и тщательно оделся. От прежних дней у меня остались два вполне приличных костюма, и я надел тот, что выглядел более строгим. Мне хотелось производить впечатление солидного человека, хотя, может, и небогатого (конечно же, небогатого), но скромно преуспевающего, осмотрительного, у которого могут быть облигации и другие денежные документы, слишком ценные, чтобы держать их у себя дома.

— Пожалуйста, ваш адрес, мистер Граймс.

Я назвал адрес отеля «Святой Августин». Если кто-нибудь, разыскивая меня, забредет в этот банк (а это весьма маловероятно), то ничего нового обо мне не узнает.

— Вы один будете иметь доступ в сейф?

Уж наверняка никого другого не нужно, подумал я, но вслух просто сказал:

— Да, я один.

— Оплата двадцать три доллара в год. Как вы желаете уплатить, наличными или чеком?

— Наличными, — ответил я и протянул клерку сто долларов. На его лице ничего не отразилось. Очевидно, он считал, что я вполне похожу на клиента, который запросто носит с собой стодолларовые бумажки. Я счел это хорошим предзнаменованием.

Благоговейно разгладив кредитку, клерк отправился в кассу. Я же непринужденно сидел у стола, кончиками пальцев притрагиваясь к своим конвертам. Как это ни удивительно, все это время я совсем не заикался.

Мне вручили сдачу и квитанцию, и я последовал за клерком в банковский подвал. Там царил невозмутимая, почти набожная тишина, побуждавшая говорить шепотом. Цветные витражи в окнах были к месту в этом подвале, хранившем легенды о способностях и талантах вкладчиков. Служитель подвала дал мне ключ от моего сейфа и повел в глубь молчаливого храма денег.

Идя со своими конвертами в руках, я невольно спрашивал себя, откуда все эти богатства, как были собраны банкноты, акции, облигации, драгоценности, хранящиеся здесь в запертых ящиках, сколько было пролито пота и крови, сколько совершено преступлений, через сколько жадных рук прошли все эти ценности и деньги, чтобы тлеть потом в этой священной стальной пещере.

Я бросил взгляд на служителя, когда он своим и

моим ключом отпер два разных замка и вытащил из гнезда мой ящик. То был старик с нездоровым, бледным от постоянного пребывания в стальном подземелье лицом. Он производил впечатление человека, безразлично-го ко всему и мало о чем размышляющего. По-видимому, сюда подбирали именно таких людей. Пытливый человек тут быстро сошел бы с ума. Не мешкая, служитель отвел меня в уютную кабинку с занавесками и, уважая тайну частной собственности, оставил наедине с моим ящиком.

Я вскрыл конверты и переложил все деньги в ящик. Глядя на аккуратно уложенные пачки долларов, я тщетно пытался предугадать, к чему же в конце концов они меня приведут. У меня было такое ощущение, будто я гляжу на еще не включенную мощную машину, обладающую страшной силой.

Я закрыл ящик, крышка его захлопнулась, тихонько лязгнув. Вместе со служителем мы прошли вдоль длинного ряда сейфов к тому месту, где он поставил в гнездо мой ящик, заперев его на два замка. Свой ключ я опустил в карман.

— Благодарю вас, — сказал я тем тоном, каким благодарят вежливые полицейские. — Счастливо оставаться.

— Хе-хе, — хрипло отозвался старик. У него, должно быть, с детских лет не было счастливого дня.

Я вышел из подвала на залитый зимним солнцем проспект. Пока все хорошо, подумал я.

Дома я быстро собрался, захватив с собой лишь самые необходимые вещи. В короткой записке известил хозяйку, что оставляю квартиру. Долгов за мной не было, квартирная плата вносилась за месяц вперед. Записку и ключ от квартиры я вложил в конверт, который опустил вниз в почтовый ящик хозяйки. И ушел из дома, ни разу не оглянувшись.

Сев в такси, я попросил отвезти меня в отель в Центральном парке — это противоположная, западная часть Манхэттена. В этом районе жить мне не приходилось, да и посещал я его довольно редко. Хотя я и работал по ночам и вообще вел затворнический образ жизни, в Ист-Сайде были люди, которые меня знали. Взять хотя бы моего букмекера, или бармена из бистро, в котором я время от времени пропускал рюмочку-другую, или официантку из итальянского ресторанчика... Любой из них и наверняка кое-кто еще могли опознать

меня в том случае, если бы кому-то пришло в голову всерьез взяться за мои поиски. Со временем мне, конечно, придется перебраться еще подальше, но пока подойдет и противоположный от Ист-Сайда конец Центрального парка. Кстати говоря, бежать куда глаза глядят я не собирался, прекрасно понимая, что следует хотя бы один день спокойно обо всем подумать и решить.

В этом отнюдь не шикарном деловом отеле, куда вряд ли приехал бы тот, кому неожиданно свалилось большое богатство, я попросил номер с ванной. Зарегистрировался под именем Теодора Брауна из города Камдена, штат Нью-Джерси, где никогда в своей жизни не бывал, и в сопровождении посыльного, понесшего мои вещи, направился в отведенный мне номер. Я присматривался к шагавшему рядом со мной посыльному, к его узкому несимпатичному лицу. Он был молод, но не было душевной простоты в его бегающем настороженном взгляде и сжатых кривившихся губах, свидетельствовавших о порочности и продажности.

Когда мы вошли в номер с окнами, выходившими в парк, посыльный нарочито засуетился (перекладывал с места на место два моих чемодана, зажег свет в ванной), явно стараясь выжать из меня чаевые.

— Не можете ли вы оказать мне услугу? — сказал я, вынимая пять долларов.

При виде денег глаза посыльного заблестели, но он сказал:

— Смотря какую. Управляющий не любит, чтоб приводили девочек.

— Не о том речь. Мне бы хотелось сыграть на скачках, но я приезжий... — Входя в новую жизнь, я не отказывался от старых привычек. Из конюшен недавних надежд легким галопом опять выскочила Глория.

Посыльный показал плохие зубы, что у него, очевидно, означало улыбку.

— У нас есть свой букмекер. Через пятнадцать минут я приведу его к вам.

— Очень хорошо, — кивнул я и дал ему пять долларов.

— Весьма благодарен, сэр, — оживился посыльный, и бумажка тут же исчезла из виду. — А не скажете ли, на кого собираетесь поставить?

— На Глорию.

— Ставки на нее один к пятнадцати, — заметил по-

сильный, бывший, надо полагать, вполне в курсе этих дел.

— Совершенно верно.

— Ин-те-рес-но, — протянул он. И можно было не сомневаться, как он намерен использовать полученные деньги. Ловкач и проныра, он все же проживет и умрет в бедности.

Когда он ушел, я ослабил узел галстука и прилег на кровать, хотя вовсе не устал. Подходящее утречко, чтобы пустить на ветер немного денег, усмехнулся я про себя. Потом отметил, что рассуждаю примерно так же, как зазывалы из телевизионных реклам.

Букмекер не заставил себя ждать. Рослый грузный толстяк в поношенном костюме с тремя авторучками в нагрудном кармане, он пыхтел, когда двигался, или же, сидя, говорил высоким тонким голосом, весьма удивительным для этого массивного существа.

— Привет, дружище, — фамильярно обратился он, войдя ко мне и оглядев меня и всю комнату быстрым оценивающим взглядом, ничего не упускавшим из виду. — Морис сообщил, что у вас небольшое дельце ко мне.

— Да, небольшое, — кивнул я. — Хочу поставить на Глорию во втором заезде в Хайалиа... — на мгновение я замялся. — Триста долларов. С утра ставки принимали из расчета один к пятнадцати, — заключил я с такой беспечностью, как если бы взлетел в открытом самолете на высоту в семь тысяч метров без кислородной маски.

Толстяк вынул из кармана сложенный лист бумаги, развернул его и, водя по строчкам, некоторое время сосредоточенно изучал записи.

— Могу принять один к двенадцати, — наконец сказал он.

— Ладно, — согласился я и вручил ему три сотенные.

Букмекер тщательно, на ощупь и на свет проверил каждую сотенную, изредка при этом поглядывая на меня с осторожной, еще неуверенной почтительностью.

— Моя фамилия... — начал я.

— Я уже знаю вашу фамилию, мистер Браун, — перебил букмекер и, выхватив из нагрудного кармана одну из авторучек, сделал пометку на своем листе бумаги. — Расплачиваюсь я в шесть часов вечера внизу в баре

— Увидимся в шесть

— Надеемся на лучшее, — без улыбки пожелал он мне. — В любом случае Морис всегда знает, где найти меня.

После его ухода я распаковал вещи. Когда в числе прочего доставал бритву, она упала на пол и отскочила под комод. Шаря рукой под комодом, я вместе с бритвой и кучей пыли вытащил также и серебряный доллар. Как видно, в этом отеле не очень-то старательно убирались в номерах. Тем хуже для них, подумал я, обтер доллар и сунул его в карман. Сегодня мне определенно везло во всем.

Взглянув на часы, я увидел, что уже около двенадцати. Решительно сняв трубку, я попросил, чтобы меня соединили со «Святым Августином».

По обыкновению прошло не менее тридцати секунд, пока мне оттуда ответили. Наша телефонистка Клара относилась ко всем вызовам как к неуместному вторжению в ее личную жизнь, которая, насколько мне было известно, заключалась главным образом в чтении журналов по астрологии. И потому она считала, что следовало доступными ей средствами наказывать тех, кто своими звонками отрывал ее от поисков самого лучшего гороскопа, который предскажет ей богатство, славу и встречу с молодым, красивым и смуглым незнакомцем.

— Алло, Клара, — сказал я. — Хозяин пришел?

— Конечно. Все утро сидит у меня на шее, чтобы я дозвонилась к вам. Какой же у вас, черт возьми, номер телефона? Нигде не могу найти. Звонила в отель, что указан как ваш адрес, но там ничего не знают о вас.

— То было два года назад. Я переехал. — И действительно, за это время я четыре раза переезжал. Как истый американец, я постоянно стремился на новые места. — У меня нет телефона, Клара.

— О, счастливец.

— Повторите это еще раз, Клара, и соедините меня с хозяином.

— Боже мой, Граймс, — услышал я в трубке возбужденный голос хозяина, — из-за вас я попал в очень неприятное положение. Сейчас же приезжайте и помогите все выяснить.

— Мне очень жаль, мистер Друзек, — проговорил я как можно более огорченным тоном, — но сегодня я чрезвычайно занят. А в чем дело?

— Вы еще спрашиваете? — заорал Друзек. — В де-

сять утра пришел ответ, что нет никакого Джона Ферриса по тому адресу, куда вы послали телеграмму.

— При регистрации он сообщил тот адрес, который с его слов записан в книге.

— Приезжайте и скажите это полиции. Утром у нас был инспектор, а потом приходили два каких-то типа. Даю голову на отсечение, что они были с оружием. Разговаривали со мной так, будто я что-то скрываю от них. Спрашивали, не оставил ли им Феррис записку. Он оставил какую-нибудь записку?

— Нет, не видел.

— Так вот, они обязательно хотят поговорить с вами.

— Почему со мной? — с притворным удивлением спросил я.

— Я им объяснил, что покойника обнаружил ночной портъе, который будет сегодня на дежурстве после одиннадцати вечера. А они заявили, что не могут так долго ждать, и потребовали ваш адрес. И вы знаете, Граймс, никто в нашем чертовом отеле не знает, где вы живете. Естественно, что эти два типа не поверили мне. Они снова придут в три часа. И предупредили, что для меня же лучше найти и вызвать вас, а не то... Просто жутко. Не думайте, что это длинноволосые мелкие хулиганы. Они одеты как солидные биржевые маклеры. Абсолютно спокойны и глазом не моргнут, как шпионы в кино. Они не шутят. Вовсе не шутят. Так приезжайте, потому что я уйду обедать, и надолго, очень надолго...

— По этому поводу я и хочу переговорить с вами, мистер Друзек, — невозмутимо сказал я, в первый раз со времени поступления на работу радуясь возможности поговорить с хозяином. — Я звоню, чтобы попрощаться с вами.

— Попрощаться? — рявкнул Друзек. — Кто так прощается?

— Я вот так прощаюсь, мистер Друзек. Прошлой ночью я окончательно решил, что мне противно служить у вас. Я увольняюсь... Собственно, уже уволился.

— Как уволился? Так не увольняются. Черт побери, да сегодня только вторник, начало недели. Остались ваши вещи. Полбутылки виски, Библия...

— Виски выпейте, а Библию я дарю в библиотеку отеля.

— Граймс, — закричал Друзек, — вы не смеете так

поступать со мной. Я обращусь в полицию, чтоб вас привели сюда! Я... я...

Я преспокойно положил трубку. И пошел завтракать.

Завтракал я в дорогом ресторане возле Линкольн-центра, заказал роскошного омара-гриль, который обошелся в восемь долларов, и две бутылки пива «Хайнекен».

Сидя в ресторане за вкусной дорогой едой, я вдруг осознал, что впервые с того момента, когда проститутка в отеле сбежала с шестого этажа, у меня нашлось время подумать о том, что мне делать. До сих пор мое поведение и поступки были почти автоматическими: одно следовало за другим само собой, словно я действовал по заранее разработанной программе. Теперь надо было подумать о своих возможностях, рассмотреть угрожавшие опасности и принять какие-то решения. Раздумывая обо всем этом, я обратил внимание на то, что подсознательно выбрал себе столик в углу ресторана, чтобы видеть всех входящих. Это открытие меня позабавило. И в самом деле, попав в переплет, каждый становится героем своей собственной детективной истории.

Но забавно это было или нет, а пришло время оценить свое положение и возможности. Нельзя больше полагаться на интуитивные побуждения или на опыт прошлого, который мало чем мог помочь мне в совершенно ином будущем. До этого я никогда не нарушал никаких законов, у меня не было никаких врагов. И тут, естественно, я подумал о тех двух субъектах, которые явились в отель «Святой Августин» получить сто тысяч долларов от того, кто зарегистрировался под вымышленным именем Джона Ферриса и указал вымышленный адрес. Они были с оружием или, во всяком случае, походили на людей, имеющих обыкновение носить его при себе. Мой хозяин мог немного нервничать в это утро, но его не назовешь простаком — у него большой опыт, и он верно почувствовал, что это действительно опасные люди. Он, конечно, не знал и, наверно, никогда не узнает, в чем тут дело.

Одно было несомненно — полиция не будет привлечена к этому делу, хотя какой-нибудь полицейский крючок может по своей инициативе начать копать в нем. Итак, с этой стороны мне нечего особенно беспокоиться. Было ясно, что тот, кто назвался Джоном Феррисом, и

те двое, что приходили после его смерти, участвовали в какой-то незаконной сделке. Тут определенно пахло взяткой, подкупом или шантажом.

Это как раз совпало с Уотергейтским делом, только начавшим тогда всплывать на поверхность, когда мы узнали, что у весьма уважаемых деятелей, столпов нашего общества, появилась привычка тайно носить в ручных плоских чемоданчиках огромные суммы денег или держать их в ящиках письменных столов у себя в кабинетах. Те типы, что сейчас интересовались мною, без сомнения, принадлежали к тому зловещему миру профессиональных убийц, которые готовы на все ради денег.

Шайка бандитов, подумал я, гангстеры. Хотя мне, как и большинству американцев, приходилось читать о них, видеть их в кинофильмах, но все же представления о том, что творится на дне нашего общества, у меня были туманные, и быть может, я с преувеличенным страхом относился к могуществу гангстеров, их тайным связям и способам найти и уничтожить тех, кому они хотели отомстить.

И еще одно было ясно. Я теперь оказался по ту же сторону забора, что и они, и с кем бы там ни встретился, должен был бороться по их правилам. В прошедшую ночь я поставил себя вне закона, и мне, следовательно, надо самому заботиться о своей безопасности.

Основное правило было простым. Я не должен сидеть сложа руки на месте. Надо уехать, исчезнуть. Нью-Йорк — огромный город, и в нем, без сомнения, годами успешно скрываются тысячи людей, но те, кто меня ищет, знают мое имя, возраст, описание внешности и смогут без особого труда узнать, где я учился, работал и есть ли у меня родственники. К счастью, я не женат, детей у меня нет, родители умерли, а братья и сестра понятия не имеют о том, где я нахожусь. Но ведь и в Нью-Йорке можно натолкнуться на того, кто тебя знает и наведет на твой след.

И как раз в это утро я совершил первую ошибку, связавшись с этим посыльным в отеле, который, конечно, запомнит меня. А уж он-то готов за десятку продать и отца родного. Далее букмекер, с которым он меня свел. Это уже вторая ошибка. Легко представить себе, какого рода и с кем у него связи.

Я еще не знал, что делать с деньгами, лежавшими в

тиши банковского подвала, но, разумеется, желал прежде всего насладиться радостями жизни. Но не в Нью-Йорке. Меня всегда тянуло путешествовать, а сейчас это было и необходимостью и удовольствием.

По-царски развалившись в кресле, я закурил сигару и стал перебирать города в Европе, где хотел бы побывать. Лондон, Париж, Рим...

Однако, чтобы пересечь океан, надо сперва закончить здесь все свои дела. И, в первую очередь, получить заграничный паспорт. Я знал, что смогу получить его в нью-йоркском агентстве Госдепартамента, но те, кто ищет меня, могут вполне резонно заключить, что это первое место, куда я обращусь, и будут поджидать меня там. Это, правда, лишь предположение, но не следует рисковать.

Завтра, решил я, поеду в Вашингтон. И лучше автобусом.

Я взглянул на часы. Почти три часа. Вскоре парочка, что с утра приставала к Друзеку, заявится в «Святой Августин», чтобы взыскать свой должок. И не с пустыми руками, как пить дать... Я стряхнул пепел с кончика сигары и с удовольствием затянулся. Черт возьми, подумал я, а ведь сегодня мой лучший день за последние годы!

Выйдя из ресторана, я отыскал поблизости небольшое фотоателье, где снялся для паспорта. За карточками назначили прийти в половине шестого. Чтобы убить время, зашел в кино посмотреть французский фильм. Мне ведь теперь полезно прислушиваться к чужому языку. Отсидел сеанс, восхищаясь главным образом видами Сены и мостов через нее.

Получив фотокарточки, я вернулся в отель и вспомнил, что пора увидеться с букмекером. Спустившись в бар, узрел его. Он сидел один за столиком в углу и пил молоко.

- Как мои дела? — поинтересовался я.
- Вы что, издеваетесь? — проворчал букмекер.
- Нет, я и вправду не знаю.
- Вы выиграли, — процедил он.

Найденный серебряный доллар оказался верным талисманом. Продолжай в том же духе, пожелал я. И мой

долг другому букмекеру, в «Святом Августине», частично погашен. Все было в мою пользу в этот день.

У букмекера было постное лицо, и он глядел на меня печально.

— Ваша лошадь пришла на полтора корпуса впереди. Следующий раз уж поделитесь со мной своей информацией. И почему вы позволили этому подонку Морису тоже поживиться на мне? Это уже не только убыток, но и обида.

— Люблю помочь честному служащему.

— Это он-то честный служащий, — хмыкнул букмекер. — Послушайте совета, приятель, не оставляйте у него на виду бумажник. Этот честный служащий не побрезгует ничем, даже вашей вставной челюстью... — Вынув и перебрав несколько конвертов, букмекер вручил мне один из них. — Вот ваши три тысячи шестьсот. Пересчитайте.

— Не стоит. Вы производите впечатление честного человека.

— Хм, да-а, — промычал букмекер, допивая молоко.

— Угостить вас виски?

— Мне можно только молоко, — рыгнув, ответил он.

— Человеку с большим желудком не следует быть букмекером.

— Что верно, то верно. Хотите сыграть на хоккее сегодня?

— Нет желания. Пока, дружище.

В отеле мне навстречу попался Морис.

— Вы, как я слышал, сорвали большую ставку.

— Не такую уж большую, — весело заметил я. — Но денек для меня явно неплохой. А вы поставили мою пятерку?

— Нет, — ответил посыльный. Он, видимо, принадлежал к тем, кто лжет без нужды, из удовольствия. — Был очень занят.

— Жаль, — посочувствовал я. — Ладно, может, в другой раз повезет.

Пужинал я в отеле. Бифштекс оказался вполне приличным. Потом выкурил еще сигару за кофе с бренди, поднялся в номер, разделся и лег в постель. Я проспал двенадцать часов и проснулся лишь тогда, когда лучи яркого утреннего солнца заливали всю комнату. С детских лет я не спал так крепко и безмятежно.

Глава пятая

Утром я быстро уложил вещи и с чемоданами в руках спустился в лифте, стараясь избежать встречи с посыльным. Расплатившись в конторе, я вышел на крыльцо и внимательно огляделся по сторонам, не следит ли кто-нибудь за мной. Не заметив ничего подозрительного, сел в такси и поехал на конечную автобусную станцию, где купил билет в Вашингтон. Никому, конечно, и в голову не придет искать здесь человека, который украл сто тысяч долларов.

В Вашингтоне я было сунулся в лучший отель города «Мэйфлауер», но портье сразу отрезал, что мест нет. По его повадкам было видно, что у них останавливаются лишь особо влиятельные лица и чуть ли не по указанию из Белого дома. Я тут же решил, что надо непременно купить себе новое шикарное пальто. Все же портье был достаточно вежлив, чтобы указать отель поблизости, где обычно бывают свободные номера. Примерно таким же тоном он мог порекомендовать мне своего приятеля, который обычно носит грязные рубашки.

Тем не менее портье оказался прав. В новом, свежеевыкрашенном здании указанной им гостиницы, походившем на типичный американский мотель, были свободные номера. Я зарегистрировался под собственным именем. Мне казалось, что уж, по крайней мере, в Вашингтоне-то я могу чувствовать себя в безопасности.

Припомнив рассказы о том, как грабят на улицах столицы, я предусмотрительно сдал на хранение в отеле свой бумажник с деньгами, оставив себе сотню долларов на повседневные расходы. Так или иначе, надо было избегать помощи правосудия по любому поводу. (Опасность для меня таилась уже на их пороге. Тем более что в субботу ночью в Вашингтоне один закон — пистолет.

Последний раз я был в Вашингтоне в 1969 году, когда доставил на самолете группу республиканцев из Вермонта на церемонию вступления в должность президента Ричарда Никсона. В самолете было много пьяных, и большую часть пути я провел в спорах с пьяным сенатором от штата Вермонт, который во время второй мировой летал на бомбардировщике В-17, а теперь то

и дело приставал ко мне, чтобы я передал ему управление. Я не пошел ни на церемонию, ни на торжественный бал, куда наши республиканцы добыли мне пригласительный билет. В то время я считал себя демократом. Не знаю, кем бы я сейчас посчитал себя.

Помню, что тот день я провел на Арлингтонском кладбище. Оно казалось самым подходящим местом, где следовало отметить вступление Ричарда Никсона на пост президента США.

Мой дядя, отравленный газами в первую мировую войну при сражении в Аргонском лесу, покоился на этом кладбище. Меня тут, конечно, не похоронят. Я не ветеран войны. Был слишком молод для войны в Корее и не имел никакого желания отправиться на войну во Вьетнаме (служба в гражданской авиации освобождала от призыва, а пойти добровольцем уж никак не прельщало). Бродя среди могил, я не сожалел о том, что меня не положат рядом с героями. Я никогда не был драчлив, и, хотя был патриотом, охотно почитавшим наш флаг, тем не менее войны вовсе не привлекали меня. Мой патриотизм не доходил до кровожадности. Однако вернемся к моему теперешнему приезду в Вашингтон.

На следующее утро я вышел из отеля. У стоянок такси выстроились длинные очереди. Я пошел пешком, надеясь, что удастся по пути подхватить машину. Денек выдался погожий, сравнительно теплый, особенно приятный после кусачего нью-йоркского холода. От улицы, по которой я шел, так и веяло достоинством и процветанием. Прохожие, как на подбор, были хорошо одеты и благонаравны. Я прошагал полквартала рядом с дородным и чинным джентльменом, облаченным в полушубок с норковым воротником. Шагал он величаво, словно конгрессмен. А может, он и впрямь был конгрессменом, кто их тут знает. Я хмыкнул, представив, как онотреагирует, если я подойду к нему, схвачу за петлицу и начну рассказывать, чем занимался сегодня с раннего утра.

Вместо этого я окликнул такси, которое остановилось у перехода на красный свет. Лишь подойдя к машине, я заметил на заднем сиденье пассажирку. Однако таксист, седой негр, опустил стекло и спросил:

— Вам куда, мистер?

— В Госдепартамент.

— Садитесь. Вам по пути с леди.

— Не возражаете, мадам? — открыв дверцу, спросил я.

— Безусловно возражаю, — резко ответила молодая, довольно хорошенькая блондинка, которую портило в эту минуту то, что она зло поджимала губы.

Извинившись, я уже собрался отойти от машины, когда таксист распахнул переднюю дверь и окликнул меня.

— Садитесь ко мне, — пригласил он.

Вот назло тебе, сука, подумал я и, не взглянув на нее, сел рядом с шофером. Сзади донеслось злобное бормотание, но ни я, ни шофер не обратили на это внимания. Ехали мы в полном молчании.

Когда машина остановилась у какого-то правительственного здания с колоннами, пассажирка наклонилась вперед, взглянула на счетчик и сказала:

— Доллар сорок пять.

— Да, мадам, — кивнул таксист.

Порывшись в сумочке, она оставила деньги на заднем сиденье.

— Не надейтесь, что я вам прибавлю, — бросила она, вышла из машины и, сердито поводя плечами, скрылась за массивной парадной дверью. Ножки-то у нее хороши, заметил я, провожая ее взглядом.

Таксист перегнулся и сгрел деньги с заднего сиденья.

- Чинушка, — фыркнул он.

- Точнее, стерва, — сказал я.

Таксист громко рассмеялся.

— В этом городе быстро приучишься получать скорее шишки, чем пышки, — сказал он. И пока мы ехали, таксист все покачивая головой и посмеивался.

Когда мы приехали, я дал ему доллар на чай.

— Нет худа без добра, и та блондинка помогла, — улыбнулся он, благодаря меня.

Я вошел в здание Госдепартамента и разыскал справочное бюро.

— Мне бы хотелось увидеть мистера Джереми Хейла, — обратился я к девице в справочном.

— Вы знаете, в какой он комнате?

- Боюсь, что нет.

Девица досадливо вздохнула. Как видно, в Вашингтоне было полно вот таких девиц, тяжелых на подъем. Пока она листала толстенький алфавитный справочник, и с улыбкой вспомнил, как однажды, много лет назад,

сказал Хейлу: «Твоя фамилия, Джерри, вознесет тебя в Госдеп».

— Mister Хейл назначил вам? — затем строго спросила девица.

— Нет.

Я много лет не видел Хейла и не переписывался с ним. Он, конечно, не ожидает меня. В школе мы учились в одном классе и дружили. Когда я работал в Вермонте, мы зимой вместе ходили на лыжах, потом он уехал за границу.

— Вашу фамилию, будьте добры.

Я назвал себя, девица позвонила по телефону и затем выписала пропуск.

— Mister Хейл ждет вас, — напутствовала она меня, вручая пропуск, на котором был указан номер комнаты.

— Благодарю вас, мисс, — сказал я и только тут заметил, что у нее на пальце обручальное кольцо.

В лифте, который был почти полон, царило чинное молчание, никто не проронил ни слова. Государственные тайны бдительно охранялись.

В длиннющем ряду совершенно одинаковых дверей, тянувшихся вдоль бесконечного, уходившего куда-то вдаль коридора, я обнаружил на одной двери табличку с именем моего школьного друга. Что все эти люди тут делают для Соединенных Штатов двести дней в году по восемь часов в день, спросил я себя, постучав в дверь.

— Войдите, — отозвался женский голос.

Толкнув дверь, я вошел в небольшую комнату, где за пишущей машинкой сидела самая что ни на есть красotka. Неплохо, однако, устроился старина Хейл.

Красotka лучезарно улыбнулась мне (интересно, а как бы она повела себя в такси сегодня утром?).

— Mister Граймс? — спросила она, поднимаясь и становясь еще прекрасней. Высокая, стройная, смуглая, в плотно облегающем голубом свитере.

— Да, это я.

— Mister Хейл рад вас видеть. Пройдите, пожалуйста, — пригласила она, открыв дверь в соседний кабинет.

Хейл сидел за письменным столом, заваленным бумагами, просматривая пачку лежавших перед ним документов. Он располнел с тех пор, как я последний раз видел его, а на приветливо учтивом лице стала проглядывать солидность сановника. На столе в серебряной рамке стояла семейная фотография. Жена и двое детей,

мальчик и девочка. Пример умеренности в назидание отсталым народам. Увидев меня, он, широко улыбаясь, сразу же поднялся из-за стола.

— Дуг, ты и представить себе не можешь, как я рад тебя видеть.

Мы крепко пожали друг другу руки. Меня тронуло, как Хейл встретил меня. Последние три года никто не встречал меня с такой радостью.

— Где ты пропадал? — спрашивал он, усаживая меня на кожаный диван, стоявший поодаль у стены просторного кабинета. — Я уж было решил, что ты исчез с лица земли. Три раза писал тебе, и каждый раз письма возвращались обратно. Написал твоей подружке Пэт, но она ответила, что не знает, где ты и что с тобой, — он сердито нахмурился, и это ему не шло. — Выглядишь ты очень неплохо, но так, словно несколько лет не был на свежем воздухе.

— Все выложу, Джерри, но не сразу. Летать я бросил. Надоело. Много мотался, побывал кое-где.

— Простой зимой мне очень хотелось походить с тобой на лыжах. Недельки две выдалось свободных. Снег, говорят, был хороший.

— Признаться, я все это время редко ходил на лыжах.

— Ну, ладно, — Джереми порывисто коснулся моего плеча, — не стану больше расспрашивать. — Еще в школьные годы он был чуток и эмоционален. — Во всяком случае, позволь задать тебе один вопрос. Откуда ты приехал и что собираешься делать в Вашингтоне? — И он тут же засмеялся. — Однако получилось два вопроса.

— Приехал из Нью-Йорка, чтобы просить тебя о небольшом одолжении.

— К твоим услугам, дорогой.

— Мне нужен заграничный паспорт.

— Ты никогда не получал его?

— Нет.

— И никогда не был за границей? — удивился он. Люди его круга большую часть времени проводили в чужих краях.

— Ездил как-то в Канаду, но туда паспорт не нужен.

— Ты же приехал из Нью-Йорка, — с озадаченным видом произнес Хейл, — так почему же не получил там паспорт? Не пойми это как упрек, что ты обратился ко

мне, — поспешно добавил он. — Достаточно было бы зайти в наше нью-йоркское агентство...

— Да, конечно. Но мне хотелось поскорей. Я тороплюсь и потому рискнул обратиться к тебе.

— В Нью-Йорке они действительно завалены заявлениями. А куда ты собираешься ехать?

— Сначала в Европу. У меня завелись кое-какие деньжонки, и я решил, что настало время вкусить немножко от европейской культуры. Почтовые открытки с видами Парижа и Афин, которые ты посылал мне, вызвали у меня желание самому побывать там.

С некоторым удивлением я обнаружил, что выдумывать, оказывается, не так уж и трудно.

— Я могу за один день сделать тебе паспорт, — сказал Хейл, — только дай мне твое свидетельство о рождении... — Он запнулся: видимо, я переменялся в лице. — У тебя, что, нет его с собой?

— Я не знал, что оно понадобится.

— Обязательно нужно. Где ты родился? В Скрантове, кажется?

— Да.

Хейл досадливо поморщился:

— В Пенсильвании свидетельства о рождении выдаются в столице штата Гаррисберге. Если напишешь туда, то, в лучшем случае, если тебе посчастливится, недели через две получишь ответ.

— Что за ерунда! — воскликнул я. Уж, конечно, ждать столько времени я ни в коем случае не мог.

— А где же твое свидетельство? Может, хранится у кого из родственников? Валяется где-нибудь в сундуке.

— Мой старший брат Генри еще живет в Скрантоне, — сказал я, вспомнив, что после смерти матери весь семейный хлам, включая старые судебные бумаги, мой школьный аттестат, диплом колледжа, альбомы с фотографиями и прочие семейные реликвии были сложены на чердаке у брата. — Возможно, оно у Генри.

— Тогда позвони ему, чтобы он поискал у себя и срочно выслал сюда.

— Еще лучше, если сам съезжу к нему, — сказал я. — Уже несколько лет я не виделся с братом и рад, что представился случай.

Не мог же я, в самом деле, признаться Хейлу, что предпочитаю, чтобы брат вообще не знал, где я нахожусь.

— Сегодня четверг. Конец недели. Предположим, ты

съездишь и найдешь свидетельство, но все равно раньше понедельника уже ничего сделать не удастся.

— Что ж, Европа долго ждала меня, подождет еще пару дней.

— Нужны также фотографии.

— Они есть. — Я протянул ему конверт с фотокарточками.

Хейл выгасил одну и внимательно поглядел на нее.

— У тебя совсем юношеское лицо, — сказал он, покачивая головой. — Ты хорошо сохранился.

— Беззаботная жизнь.

— Рад узнать, что такая жизнь еще возможна. А я вот смотрю на свои фото и вижу, что выгляжу таким старым, словно гожусь себе в отцы. — Он вернул мне конверт с карточками, добавив: — На всякий случай я подготовлю в понедельник все нужные бумаги.

— Я обязательно вернусь.

— А почему бы тебе не вернуться к уик-энду? В Вашингтоне это самые лучшие дни. В субботу вечером мы обычно играем в покер. Ты еще играешь?

— Изредка.

— Отлично. Один из наших постоянных партнеров в отъезде, и ты можешь заменить его. Увидишь двух вечных пижонов, которые проигрывают с трогательным великодушием, — улыбнулся Хейл, который в свое время в колледже был заядлым и очень неплохим игроком в покер. — Вспомним старые времена. Я все устрою.

Зазвонил телефон, и Хейл снял трубку.

— Сейчас иду, сэр, — сказал он, поспешно положив ее. — Извини, Дуг, мне надо идти. Очередной утренний аврал.

— Спасибо тебе за все, — сказал я, поднимаясь.

— Пустяки. Для чего же тогда друзья? Послушай, сегодня вечером у меня соберутся. Ты занят?

— Вроде нет.

— Так приходи к семи часам. Мне нужно бежать, мой адрес даст тебе секретарша мисс Шварц.

Он был уже в дверях, торопился, но старался не терять сановной солидности.

Мисс Шварц написала на карточке адрес и, лучезарно улыбаясь, вручила его мне так, словно пожаловала дворянство. Почерк у нее был бесподобный, как и она сама.

Нежная рука ласково провела по моему бедру, и я очнулся, лениво просыпаясь. Мы уже дважды насладились любовью, но вожделение вновь овладело мной. Женщина, лежавшая подле меня в постели, пожинала плоды моего столь затянувшегося воздержания.

— Вот это другое дело, — прошептала она. — Какой красивый! Только не двигайся. Полежи спокойно. Я сама.

Я отдался на волю течению. Боже, какая утончённая пытка! Ласковые руки, мягкие губы, сладострастный язычок причиняли мне невыразимо радостные муки. Господи, какая женщина...

Она весьма серьёзно, даже торжественно, будто выполняя священный обряд, упивалась любовью. Когда около полуночи мы вошли к ней в спальню, она уложила меня в постель и неторопливо раздела. Насколько я помнил, последний раз меня раздевала моя мать, когда мне было пять лет и я заболел корью.

Вот уж никак не ожидал, что вечер у Хейла окончится таким образом. Гости, собравшиеся в его изысканном, построенном в колониальном стиле особняке в Джорджтауне¹, были учтивы и сдержанны. Я приехал раньше всех, и меня отвели наверх восхищаться детьми Хейла. До приезда гостей я не очень бойко болтал с его женой Вивиан, хорошенькой белокурой женщиной с утомленным лицом, которую видел впервые. Оказалось, что Хейл рассказывал ей обо мне и был огорчен, когда я исчез неизвестно куда.

— Если бы я не встретила Джерри, — неожиданно призналась она, — у меня бы в жизни ничего не было. Ничего, — повторила она с таким искренним чувством, что вся, казалось, просветлела.

Гости, собравшиеся у Хейла, произвели на меня какое-то неясное, расплывчатое впечатление, хотя я вовсе не был пьян. Я вообще много не пью.

Сенатор такой-то, тот — конгрессмен, этот — конгрессмен, его превосходительство посол этакой страны, мистер Блэнк из «Вашингтон пост», та — мисс, которая весьма влиятельна в министерстве юстиции, — их имена и звания так и обрушивались на меня. Они толковали о разных людях, о хорошо известных, могущественных, о неумных, крикливых, красноречивых, вносящих законопроекты, от которых дыбом встают волосы.

¹ Джорджтаун — один из самых престижных районов Вашингтона.

Я не очень-то разбирался в социальных рангах нашей столицы, но мог заключить, что тут собирались люди влиятельные, облеченные властью. По вашингтонским меркам каждый из них был более значительным лицом, чем сам хозяин, который, поднимаясь вверх, был еще среднего ранга чиновником в дипломатическом ведомстве и, конечно, не мог бы позволить себе устраивать такие приемы на одно лишь свое жалованье. Однако жена его Вивиан была дочерью сенатора, владельца обширных земель в Северной Каролине. Да, мой друг выгодно женился. Интересно, а кем бы я сам стал, если бы женился на богатой? Но мне, к счастью или к несчастью, никогда не представлялось такой возможности.

Я просто находился среди гостей, временами досадливо морщась, когда алкоголь начинал влиять на крутые извивы беседы за столом, учтиво держал рюмку в руке, принужденно улыбался и все удивлялся тому, как Хейл может выносить все это.

Женщина, чьи руки и губы сейчас ласкали меня, была как раз той влиятельной особой из министерства юстиции, с которой я вчера познакомился у Хейла. На вид ей было лет тридцать пять, но выглядела она как конфетка: роскошное тело, матовая кожа, большие темные глаза и шелковистые светлые волосы, волнами ниспадавшие на плечи. Мы оказались вместе в углу комнаты, и она сказала:

— Я наблюдала за вами. Бедняга, вы словно отшельник. Вы не здешний?

— Это портит вечер? — усмехнулся я.

— Есть такой грех. Но не расстраивайтесь. Что касается меня, то я ловлю возможность поговорить с кем-нибудь, кто не имеет никакого отношения к правительству. — Она взглянула на часы. — Я здесь уже сорок пять минут. Вполне отбыла положенное, и никто не посмеет сказать, что я не умею вести себя в благовоспитанном обществе. Но пера и подзаправиться. Вы свободны, Граймс?

— Да, — ответил я, удивленный тем, что она знает мое имя.

— Уйдем вместе или поодиночке?

Я расемеялся:

— Как вам будет угодно, миссис...

— Коутс. Эвелин Коутс, — улыбнулась она. Я отметил, что она очаровательно улыбается. — Уйдем вместе. Кстати, я разведена. Вы не боитесь?

— Нет, мэм.

— Вот и умничка. — Она легонько тронула меня за руку. — Жду вас в холле. Будьте паинькой, попрощайтесь с хозяевами.

Я следил, как она прошла сквозь толпу гостей, надменная и неприступная. Мне сроду не приходилось встречать таких женщин. И уж, во всяком случае, я и вообразить не мог, что в эту же ночь окажусь в ее постели. Еще ни разу в жизни я не ложился в постель с женщиной после первой же встречи. Сохранив юношески наивный облик, застенчивый, заикающийся, я всегда был неуверен и неловок с женщинами, принимая как должное, что другим суждено обладать красавицами. Я до сих пор, кстати, не уразумел, почему Пэт, такая яркая красотка, привязалась ко мне. Что она могла во мне найти? Впрочем, я никогда не стремился к мужским победам, а остатки моего религиозного воспитания удерживали меня от беспорядочных связей, даже если представлялась возможность.

Эвелин привезла меня во французский ресторан, который, судя по всему, был очень дорогим.

— Надеюсь, что вы невообразимо богаты, — сказала она. — Цены тут ужасные. Ну как, невообразимо?

— Да, невообразимо.

Она покосилась на меня через стол:

— По вашему виду не скажешь.

— Старинные деньги. Наследство, — пояснил я. — В нашей семье не любят шика.

— Вы из старозаветной семьи?

— Как-нибудь расскажу, — уклончиво ответил я.

Эвелин начала рассказывать о себе, хотя я ни о чем ее не расспрашивал. Объяснила, что она юрист, в Вашингтоне живет уже одиннадцать лет, работает в том отделе министерства юстиции, который величают «антитрестовским». Ее муж, морской офицер, оказался сущим скотом, и она развелась с ним. Детей нет, и заводить их она не собирается. Шеф, человек в общем милый, вот уже пять лет приударяет за ней, но она поставила целью своей жизни — быть избранной в конгресс. Все это рассказывалось неторопливо, низким мелодичным голосом, причем, стараясь занять меня, иног-

да она отвлекалась, указывая на некоторых из сидевших в ресторане, коротко и зло обрисовывала их.

Вон тот — сенатор, но даже в лифте ни одна девушка не может уберечься от его приставаний. А этот — второй секретарь посольства, торгует наркотиками, переправляя их с дипломатической почтой. Поглядите на того — это известный лоббист, у него в кармане целые гроздья конгрессменов из обеих палат. А вон тот, что сидит в углу, — из ЦРУ, он организовал целый ряд политических убийств в южноамериканских странах.

Я попросил ее заказывать все, что ей захочется, в том числе и вино, хотя лично я предпочитаю пиво.

— Позвольте мне, простому провинциалу, целиком положиться на ваш вкус, — галантно произнес я.

Я был в приподнятом настроении, меня радовало, что я сидел рядом с красивой женщиной и мог свободно, не заикаясь беседовать с ней. Новая, совершенно неизведанная жизнь, казалось, открывалась передо мной.

— Значит, такие мальчики, как вы, выходят из старозаветных, сказочно богатых семей?

— В основном — да, — пробормотал я.

Она странно поглядела на меня:

— Вы подставной?

— Как вы сказали?

— Подставной. Из ЦРУ?

— Даже не слыхал о таких, — покачал я головой, улыбаясь.

— Ваш друг Хейл сказал, что вы были летчиком.

— Был когда-то.

Я удивился, когда она успела в суматохе приема расспросить Хейла обо мне. Такое настойчивое женское любопытство встревожило меня, и я почти решил, что после ужина посажу ее в такси и отправлю домой. Но затем я подумал, что не следует быть таким болезненно подозрительным и портить себе вечер.

— Не распить ли нам еще бутылочку? — предложил я.

— Разумеется, — кивнула она.

Ушли мы из ресторана в числе последних. Я не привык к вину и чувствовал приятное опьянение. Мы уселись в такси и ехали, не прикасаясь друг к другу. Когда такси остановилось перед ее домом, я попросил шофера подождать, пока я провожу свою спутницу.

— Нет, не надо, — перебила Эвелин. — Джентльмен зайдет ко мне пропустить еще стаканчик.

— О, это как раз то, что мне нужно, — немного заплетающимся языком пробормотал я.

Я не разобрал, какая у нее квартира, потому что она не включила свет. Как только мы вошли к ней, она обняла меня и поцеловала. Поцелуй был восхитительным.

— Вы беззащитны, и я соблазняю вас, — засмеялась она.

Посмеиваясь, она повела меня за руку через темную гостиную в спальню. Тонкой полоски света из приоткрытой двери в ванную было достаточно, чтобы разглядеть большой письменный стол с грудой бумаг, туалетный столик и длинные, во всю стену, книжные полки. Она подвела меня к кровати, повернула кругом и подтолкнула, так что я упал на спину.

— Остальное — уж моя забота, — сказала она.

Если Эвелин в министерстве была так же деятельна, как в постели, то правительство не зря держит ее на службе.

— Сейчас, — пробормотала она, усевшись на меня сверху с раздвинутыми ногами и вставив мою трепещущую от вожделения плоть в свое лоно. Она стала раскачиваться взад-вперед, сперва медленно, потом все быстрее, запрокинув назад голову и опираясь сзади на вытянутые руки. В рассеянном лунном свете, отражавшемся от зеркала, ее пышные груди белели перед моими глазами бледными полутонами. Я обхватил руками, гладил и ласкал эти прекрасные груди, и она застонала. Потом всхлипнула, опять застонала, еще и еще, наконец громко, не в силах больше сдерживаться, закричала и блаженно обмякла.

Мгновение спустя я, словно со стороны, услышал собственный сдавленный стон невыразимого наслаждения. Эвелин обессиленно скатилась с меня, растянувшись на животе и затихла. Я вытянул руку и осторожно, почти бережно прикоснулся к влажному округлому плечу

— Тебе не было больно?

— Дурачок, — фыркнула она. — Нет, конечно

— Я боялся, вдруг...

— Неужто твои дамы молчат, когда ты их трахаешь?

— По-моему, да, — неуверенно промолвил я. И про себя подумал, что такие выражения они уж точно не

употребляют. Должно быть, в министерстве юстиции принято называть все своими именами.

Она засмеялась, перевернулась на спину, потянулась к столику у кровати за сигаретами и закурила. Огонек спички осветил ее безмятежное лицо.

— Хочешь сигарету? — спросила она.

— Не курю.

— Долго проживешь. А сколько тебе сейчас?

— Тридцать три.

— Самый расцвет, — сказала она. — Чудесный возраст. Не вздумай уснуть. Давай поговорим. Выпить хочешь?

— А который час?

— Самое время промочить горло. — Она выбралась из постели и набросила халат. — Виски устроит?

— Вполне.

Она прошла в гостиную, шелестя халатом. Я взглянул на свои ручные часы. Раздевая меня, она сняла их и аккуратно положила на столик у кровати. Видно, очень аккуратная женщина. Светящийся циферблат показывал четвертый час ночи. Все в свое время, подумал я, сладко потянувшись в постели и вспомнив этот же час прошлой ночи: жужжание счетной машинки, пуленепробиваемое стекло конторки и сбежавшую по лестнице проститутку, просившую открыть ей парадную дверь.

Эвелин вернулась с двумя стаканчиками виски и села на краю постели. В полоске света, падавшей из ванной, резко очерчивался ее самоуверенный профиль. Помимо аккуратности, ей, как видно, было присуще и стремление к полноте ощущений.

— Очень хорошо, — выпив, сказала она. — И ты был хорош.

— Всегда оцениваешь своих любовников? — засмеялся я.

— Ты вовсе не мой любовник, Граймс. Я бы назвала тебя привлекательным молодым человеком с хорошими манерами. Вчера ты мне определенно понравился, и у тебя хватило мужества на короткое время захватить ко мне. Подчеркиваю, на короткое время.

— Понятно, — кивнул я.

— И тебе, наверное, неинтересно, да и я не собираюсь докучать тебе более подробными объяснениями.

— Ты ничего не должна объяснять мне. Вполне достаточно и того, что ночь была восхитительна.

— У тебя это не так часто случается?

— Откровенно говоря, нет, — рассмеялся я.

— Как на неоновой рекламе — ты, можно сказать, совсем не тот, на кого похож.

— На кого же я похож?

— Да на тех молодых людей, что играют злодеев в итальянских фильмах. Дерзких, порочных и бессовестных.

Ничего подобного во мне прежде не замечали. Наоборот, скорее указывали, что с виду я скромник. Или за эти дни я очень изменился, или же Эвелин Коутс смогла разглядеть мою скрытую сущность.

— Вскоре я вернусь в Вашингтон, — сказал я. — Позвонить тебе?

— Если у тебя не будет ничего лучшего.

— А ты захочешь увидеться со мной?

— Если у меня не будет ничего лучшего.

— Неужели ты такая жесткая, какой хочешь казаться?

— Жестче, Граймс, много жестче. Для чего же ты вернешься в Вашингтон?

— Возможно, ради тебя.

— Повтори еще раз, пожалуйста.

Я повторил.

— Ты хорошо воспитан. А может, ради чего-нибудь еще?

— Ну, допустим, — протянул я, обдумывая, как лучше использовать удобный случай, чтобы получить нужную информацию, — я разыскиваю кое-кого.

— Кого же именно?

— Одного моего друга, пропавшего из виду.

— Здесь, в Вашингтоне?

— Не обязательно. В стране или даже за границей.

— Ты что-то чересчур таинственен, не находишь?

— Как-нибудь при случае все расскажу тебе, — заверил я, убежденный, что это никогда не произойдет, но довольный, что по счастливому стечению обстоятельств оказался в постели с женщиной, чья служба, в частности, связана с розыском скрывающихся людей. — Это частное, весьма деликатное дело. Как же мне все-таки заняться поисками друга?

— Есть много мест, куда ты можешь обратиться. Скажем, в налоговое управление, где найдется его адрес на последней декларации о доходах, которую он заполнял. Или в управление социального обеспечения, где

имеются записи мест его работы. Данные о нем могут быть в управлении воинской повинности, но они, наверное, уже устарели. Наконец, загляни в ФБР. Правда, никогда не знаешь, что именно добудешь в этом заведении. И еще остается Госдеп. Все зависит от того, есть ли у тебя связи с нужными людьми.

— Найдутся, — сказал я, полагая, что нужные связи у тебя в кармане, когда там сто тысяч долларов.

— Возможно, тебе еще легче найти своего друга, если ты сам детектив или что-нибудь вроде этого.

— Что-то вроде, — уклончиво пробормотал я.

— В конечном счете все дороги ведут к нам, в Вашингтон. Здесь театральный форум нашей жизни. На представлениях все, за исключением избранных, стоят. Самые лучшие места заполнены актерами.

— И ты тоже актриса?

— Я на бесприкрытой роли. Получаю восторженные отзывы из лучших постелей города. Тебя это шокирует?

— Немного.

— И откуда только берутся такие невинные простакки? — Она потрепала меня по щеке. — И все же должна сделать тебе комплимент. Твое исполнение было почти самое лучшее. Даже не хуже, чем у некоего сенатора из западного штата, чье имя я не стану называть. До тебя он считался лучшим, но беднягу прокатили на последних выборах, что очень на него подействовало, и он скис.

— А я и не подозревал, что участвую в представлении.

— Ты же приехал в Вашингтон, а тут каждому надо выкладываться и делать вид, что доволен своей ролью.

— И тебе также?

— Не дурачься, милый. И мне, конечно. Неужели ты думаешь, что если я хоть еще сто лет проторчу в своем министерстве, то это будет иметь какое-либо значение для тебя, для «Дженерал моторс», для Объединенных Наций или для чьей-нибудь любимой собачки? Я лишь участвую в общей игре и забавляюсь, подобно остальным, потому что этот город — лучшее место для таких забавников, как мы. Единственное, в чем я действительно убеждена, так это в том, что Америка превратилась бы в величайшую страну в мире, если бы всем в Вашингтоне, от президента до швейцара в департаменте, позволили исполнять свои обязанности лишь две недели в году.

Я допил виски, меня неудержимо клонило ко сну, и я с большим трудом подавлял подступающую зевоту.

— О, — воскликнула она, — я наскучила тебе.

— Нисколько, — вежливо сказал я. — А ты не устала?

— Право, нет. — Она сбросила с себя халат и легла рядом со мной. — Секс бодрит меня. Но мне рано вставать, а на службе надо выглядеть свежей. — Прижавшись ко мне, она поцеловала мое ухо. — И, конечно, позвони мне, когда вернешься.

Проснулся я около десяти часов утра, один-одинешевек в постели. Сквозь задернутые занавески пробивались лучи солнца, утро было прекрасное. На туалетном столике лежала записка.

«Дорогой гость, я ушла на работу. Ты спал, как ангелочек, и у меня не хватило духу разбудить тебя. Счастлива была узреть такое наглядное свидетельство чистоты и безгрешности в нашем порочном мире. Бритва и крем в аптечке, стакан апельсинового сока в холодильнике, кофейник на плите. Хорошего исполнителя надо вознаграждать. Надеюсь, тебе удастся найти своего друга. Э. К.»

Я усмехнулся последней фразе и направился в ванную, где побрился и принял душ. Холодный душ окончательно разбудил меня, я почувствовал себя свежим, бодрым и, признаюсь, был доволен собой. Внимательно оглядел себя в зеркале. Цвет лица у меня как будто стал лучше.

Когда я затем вошел в гостиную, до меня донесся запах жареного бекона. Открыв дверь в кухню, я увидел молодую женщину в брюках, свитере и с повязанным на голове шарфом. Сидя за столом, она читала газету и грызла подрумяненный на огне ломтик хлеба.

— Привет, — сказала она, подняв глаза на меня. — А я уж подумала, что вы весь день проспите.

— П-простите, — смутился я. — Я не хотел потревожить вас.

— Никакого беспокойства, — улыбнулась она, встала из-за стола, открыла холодильник и достала оттуда апельсиновый сок. — Вот Эвелин оставила вам это. Вас, наверное, мучит жажда, — произнесла она как нечто

само собой разумеющееся. — Хотите яичницу с беконом?

— Право, не стоит беспокоиться.

— Пустяки. У нас так принято. — Она отодрала три ломтика от нарезанного куска бекона и плюхнула их на сковородку. Я невольно залюбовался: стройная, длинноногая, в облегających брюках. — Вам как поджарить?

— Полагаюсь на ваш вкус.

— Я люблю подрумяненные. — Она положила на другую сковородку кусок масла и разбила три яйца. Движения ее были легкие и уверенные.

— Меня зовут Бренда Моррисси, — представилась она. — Мы вместе снимаем эту квартиру. Она говорила вам обо мне?

— Не помню.

— Ну, она была так занята вами, — невозмутимо заметила Бренда, наливая две чашки кофе и жестом приглашая меня сесть за стол. — Вы ведь не торопитесь, не так ли?

— Пожалуй, нет, — согласился я, усаживаясь за стол.

— И я тоже. Я работаю в картинной галерее, а до одиннадцати утра никто не спешит покупать картины. Замечательная работа, правда? Кстати, Эвелин позабыла сказать мне, как вас зовут.

Я представился.

— Давно вы знакомы с Эвелин? — спросила она, одной рукой встряхивая сковородку с яичницей, а другой закладывая нарезанный хлеб в тостер.

— Откровенно говоря, — замялся я, — мы познакомились лишь вчера вечером.

— Таков наш Вашингтон, — рассмеялась Бренда. — Здесь, где только возможно, собирают голоса. Всякие голоса. А вот такие, наверно, самые приятные. Я слышала, как вы буйно наслаждались.

— Поверьте, — сказал я, краснея, — мне и в голову не пришло, что кто-то еще есть в квартире.

— Да, конечно. Я давно собираюсь купить затычки для ушей. Те, что продают для пловцов и артиллеристов. Да все забываю. А Эвелин, когда забавляется, — вся нараспашку. И я с трудом удерживаюсь от того, чтобы тут же не присоединиться к ней.

Я насупился и отвел глаза.

— Не пугайтесь, — засмеялась Бренда. — Это все же не случается. Что бы мы тут ни вытворяли, оргий мы

не устраиваем. Но, если вы сегодня вечером еще будете в Вашингтоне и назовете мне отель, в котором остановились, я с удовольствием выпью с вами.

Не скрою, что я был готов поддаться искушению. Прошедшая ночь разбудила во мне долго дремавшую чувственность. Интриговало и то спокойное бесстыдство, с каким было сделано предложение. Для меня, по крайней мере, это было в новинку. Подобные вещи случались с моими друзьями (во всяком случае, они рассказывали о них), но ничего подобного со мной никогда не бывало. После того, что я уже совершил в «Святом Августине», вряд ли я мог, исходя из основ морали, отказаться переспать с подругой женщины, которая накануне спала с мной. Однако у меня неотложное дело — розыск свидетельства о рождении.

— Извините, но я сегодня уезжаю.

— Жаль, — коротко, без всякого выражения отозвалась Бренда.

— Но я вернусь, — сказал я и запнулся, вспомнив о приглашении к Хейлу на субботу вечером, — в воскресенье.

— В каком вы отеле?

Я объяснил ей.

— Возможно, позвоню вам, — пообещала Бренда. — Я и в воскресенье могу.

Когда у тебя деньги в банке, подумав я, выходя из квартиры, они даже за двести пятьдесят миль испускают непреодолимо притягательный чувственный аромат. Легко и пружинисто шагая, я спрашивал себя, как мне живется. Беззаботно, решил я. И порочно. Старомодное слово, но именно оно неизвестно откуда вдруг выплыло. Мыслимо ли прожить на свете тридцать три года и совершенно не знать, какой ты на самом деле человек?

Я всматривался в простые обыденные лица шедших по улице мужчин и женщин. Неужели и они тоже на грани преступления?

В отеле я взял напрокат машину и забрал свой бумажник, сданный на хранение. Теперь уж я чувствовал себя не в своей тарелке, если при мне не было сотенных бумажек.

Дорога на Пенсильванию была покрыта льдом, и я ехал очень осторожно. Автомобильная авария никак не входила в мои расчеты.

Глава шестая

— Попросите, пожалуйста, мистера Генри Граймса, — сказал я девушке, ответившей на мой телефонный звонок.

Девушка поинтересовалась, кто его спрашивает. Называться мне не хотелось. И потому я просто сказал, что звонит брат... Нас, братьев, было трое, так что в какой-то степени я сохранял инкогнито.

— Кто говорит? О, неужели это ты, Дуг? Какого черта, где ты? — прогудел в трубке радостный голос брата. Он был старше меня на семь лет, росли мы вместе, но в детстве я считался надоедливым, несносным ребенком. После моего отъезда из родного города мы почти не встречались.

— Я у вас в городе. В отеле «Хилтон».

— Забирай свои вещи и кати ко мне. У меня есть свободная комната для гостей. Раньше семи утра дети тебя не разбудят, — засмеялся брат. Звуки его низкого голоса перемежались с трескотней счетных машинок. Генри работал в бухгалтерии, и неумолчное стрекотание было музыкой их рабочего дня. — Я позвоню сейчас Магде и скажу, что ты будешь к обеду.

— Минутку, Хэнк, — перебил я. — Хочу попросить тебя об одном одолжении.

— Ради Бога, дорогой мой. Что тебе нужно?

— Я обратился за получением заграничного паспорта. Для этого требуется мое свидетельство о рождении. Если запросить его, то на это уйдет недели три, а я очень горюплюсь.

— Куда ты едешь?

— За границу.

— А куда именно?

— Это неважно. Так вот, посмотри, нет ли моего свидетельства в тех бумагах, что остались у тебя после смерти матери.

— Приходи к обеду и вместе посмотрим.

— Я бы не хотел, чтобы твоя жена знала о моем приезде.

— Почему? — озабоченно спросил брат.

— Не мог бы ты отлучиться с работы, найти мою метрику и прийти ко мне в отель? И вдвоем пообедаем.

- Но почему...
- Потом объясню. Сможешь прийти?
- Да, смогу. В начале седьмого.
- Приходи в бар.
- Место знакомое, — сказал Генри с радостным смешком выпивохи.

Я положил трубку и некоторое время молча сидел на краю постели в невзрачном номере провинциального отеля, все еще держа руку на телефоне и спрашивая себя, стоило ли сюда приезжать. Не лучше ли было послать запрос и, укрывшись где-нибудь, недели две-три ожидать получения метрики. Нет, если уж хочешь вернее рассчитывать свое будущее, нельзя отбрасывать прошлое. А мой брат Генри играл в нем большую роль.

Когда умер отец, Генри было двадцать лет, остальные дети в семье были значительно младше. Как-то само собой вышло, что он стал главою семьи и я привык слушаться его и во всем на него полагаться. Это было даже приятно. Генри был добродушный, простой и умный парень, притом весьма хорошо учившийся (в классе — всегда первый, его постоянно выбирали старостой, и по окончании школы он получил стипендию в Пенсильванском университете). У него была деловая сноровка, он не был скуп и из своих заработков щедро помогал братьям, особенно мне. Как наша мать любила при случае повторять, Генри родился, чтобы выбиться в люди и стать богачом. Он же помог мне и в спорах с матерью, ни за что не хотевшей, чтобы я стал летчиком, и платил за мое обучение в летной школе. К тому времени он уже был дипломированным бухгалтером с хорошей репутацией, прилично зарабатывал и рано женился.

В последующие годы я выплачивал ему те деньги, что он истратил на мое обучение в летной школе, хотя он никогда не напоминал мне о них. Но виделись мы по-прежнему весьма редко, общего у нас было мало, к тому же у Генри появились свои заботы: прибавления в семействе, нелады с женой.

А когда нам все-таки удавалось собраться вместе, Магда, его супруга, с глупой назойливостью изводила меня расспросами, почему я еще не женат.

Словом, я понимал, что многим обязан своему брату Генри и сам виноват в том, что отдалился от не-

го. И сейчас был даже рад тому, что бюрократические порядки заставили меня приехать к нему за помощью.

Брат появился в баре, и меня поразило его вид. Когда мы расстались пять лет назад, это был крепкий, хорошо сложенный, уверенный в себе мужчина. А сейчас казалось, что эти годы совершенно измотали его. Он весь как-то съжился, согнулся; волосы на голове очень поредели, стали какие-то желтовато-серые. Он теперь носил очки с толстыми стеклами в золотой оправе, от них на переносице оставался глубокий след. Пробираясь между столиков полуосвещенного бара, Генри походил на трусливо озиравшегося зверька, вылезшего из своей норы и готового при первом же признаке опасности юркнуть обратно.

Поднявшись из-за стола, я окликнул его.

Мы молча пожали друг другу руки. Генри, наверное, понимал, что резкие изменения во всем его облике бросились мне в глаза и я пытаюсь не подавать виду, что замечаю их.

— Тебе повезло, сразу же нашел, — сказал брат, вынув из кармана конверт и вручая его мне.

Я вытащил из конверта свидетельство. И так, все в порядке — бытие мое законно подтверждалось. Дуглас Трейнор Граймс, мужского пола, родился в США, сын Маргарет Трейнор Граймс.

Пока я рассматривал пожелтевший листок бумаги, Генри торопливо снял с себя пальто и повесил его на спинку стула. Пальто было поношенное, обшлага и локти лоснились.

— Что выпьешь, Хэнк? — обратился я к нему с нарочито подчеркнутой сердечностью.

— Коктейль из виски, как обычно, — сказал Генри. Голос его не изменился, был таким же низким и звучным, подобно ценной, заботливо хранимой реликвии, оставшейся от прошлых лучших дней.

— И мне то же самое, — кивнул я официанту, уже стоявшему у столика в ожидании заказа.

— Ну, дорогой, значит, вернулся. Как блудный сын.

— Не совсем так. Скорее, я бы сказал, остановился для дозаправки.

— Ты больше не летаешь?

— Я писал об этом.

— Это единственное, о чем ты написал. Я, понятно, не упрекаю. — Брат развел руками, и я заметил, что руки у него немного дрожат. Боже мой, подумал я, ведь ему всего сорок лет. — Все у нас чертовски заняты, — продолжал он. — Общаемся редко, а годы уходят. Вот и идем своими, различными путями.

Подали заказанные коктейли, мы чокнулись, и Генри с жадностью, одним глотком хватил полстакана.

— После целого дня в конторе... — поймав мой взгляд, пояснил Генри. — Ах, эти унылые конторские дни.

— Да уж, представляю себе.

— А теперь рассказывай о своей жизни, — сказал Генри.

— Нет, сначала ты расскажи о Магде, о своих детях и обо всем прочем.

Мы выпили еще по два коктейля, пока Генри рассказывал о своей семье. Магда превосходная жена, но устает от всего — и от работы в родительско-преподавательской ассоциации, и от преподавания стенографии по вечерам. Его три дочки очаровательны. У старшей, четырнадцатилетней, свои трудности. Она очень нервная, как и все дети переходного возраста в наши дни, приходится ее немного подлечивать у психиатра. Затем была вытащена из бумажника и продемонстрирована семейная фотография. Вся семья снялась на берегу озера. Жена и дети загорелые, крепкие, веселые, а сам Генри, бледный, печальный, в больших до смешного трусах, походил на утопленника.

А вот новости о нашем младшем брате Берте поразили меня.

— Он работает на радио в Сан-Диего, ведет программу для гомиков, — пояснил Генри. — Странно, прежде мы ничего такого за ним не замечали. Или ты замечал?

Я признался, что нет.

— Ладно, ничего не поделаешь, — вздохнул Генри, — в наши дни это уже не редкость. Но все-таки, чтобы такое случилось в нашей семье... Отец перевернулся бы в гробу. Но Берг — славный малый, каждое Рождество присылает детишкам гостинцы из Калифорнии. Не знаю, правда, как бы я его встретил, вздумай он приехать сюда.

Наша замужняя сестра Клара жила в Чикаго, у нее

уже двое детей. Знаю ли я об этом, поинтересовался Генри.

— Знал, что она замужем, но о детях ничего не знал.

— Мы совсем растеряли друг друга, — со вздохом проговорил Генри. — В наше время семьи распадаются. Через несколько лет уйдут и мои дети, и мы с Магдой останемся вдвоем у телевизора. — Он горестно покачал головой. — Где мои радостные мысли о счастливом будущем? Правда, что-то и радует. Эти ублюдки наверно не возьмут у меня сына, чтобы он погиб в одной из их проклятых войн. Что это за страна, где надо благодарить Бога, что у тебя нет сына? Вот тебе и счастье. — Он опять покачал головой, как если бы завел разговор о том, чего лучше не касаться. — Выпьем еще?

Передо мной стоял почти полный стакан, но Генри заказал еще два коктейля. Вскоре он напьется. Возможно, тут и крылась разгадка, но я знал, что лишь этим всего не объяснишь.

— Клара живет хорошо, — продолжал Генри. — По крайней мере, так она пишет, когда соизволит осчастливить нас письмом. Ее муж — важная шишка в биржевой маклерской фирме. У них своя яхта на озере. Представляешь, а? Но хватит о нас. Как твои дела?

— Поговорим после ужина.

В ресторане Генри заказал обильный ужин.

— Как насчет бутылки вина? — спросил он, широко улыбаясь, словно его осенила весьма удачная мысль.

— Как хочешь, — ответил я, хотя и видел, что от вина ему станет еще хуже. Но я с детства привык, что всегда решает он.

За ужином Генри почти ничего не ел, налегая на вино. Порой, вспомнив, что он как-никак глава семьи, он пытался отрезветь, вскидывал голову и говорил строгим голосом, сидя очень прямо. В один из таких моментов он потребовал, чтобы я поведал ему о себе.

— Где ты был, что делал? Что привело тебя сюда? Как я понимаю, ты нуждаешься в помощи. Я небогат, но сумею наскрести...

— Ничего не нужно, Хэнк, — поспешно перебил я — Деньги для меня не проблема.

— Вот как? — горько усмехнулся Генри. — Ты так думаешь?

— Послушай, Хэнк, — сказал я, наклонившись к

нему через стол и понизив голос, чтобы привлечь его внимание. — Я очень далеко уезжаю.

— Далеко? Куда же? Ты всю жизнь куда-то уезжаешь.

— На этот раз совсем иное. Я уезжаю, быть может, очень надолго. Сначала в Европу.

— Работа в Европе?

— Не совсем.

— У тебя нет работы?

— Не задавай, пожалуйста, лишних вопросов, Хэнк. На неопределенное время я уезжаю. И не знаю, сумеем ли мы когда-нибудь снова увидеться. Может, и нет. Но я хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Хочу сказать, что очень ценю это.

— А, ерунда, Дуг. Забудь об этом.

— Нет, не забуду. Ведь отец умер, когда мне было всего тринадцать лет.

— Отец оставил после себя небольшую страховку, — с гордостью заметил Генри. — Небольшой, но замечательный страховой полис. Нельзя было ожидать этого от рабочего на заводе. Человека, который зарабатывал на жизнь своими руками. Однако он прежде всего думал о своей семье. Что было бы со всеми нами, если бы не его страховка?

— Я не об этом.

— Слушай бухгалтера, когда дело касается страховки.

— Отца-то я плохо помню. Я был ребенком и редко видел его. Как мне кажется, домой он по большей части приходил лишь затем, чтобы поесть. Мне трудно припомнить даже его лицо.

— Его лицо? — повторил Генри. — Лицо честного, твердого человека, который никогда не сомневался в себе. Лицо прошлого века. Чувства долга и чести выражали простые черты этих лиц. Но отец дал мне плохой совет, — продолжал он, несколько трезвее. — Тоже из прошлого века. Все поучал меня: «Женись пораньше, парень». Ты помнишь, что он постоянно читал Библию и водил нас в церковь. Лучше жениться, чем обжигаться на девчонках, твердил он. Вот я и женился рано, послушал старика. С его страховкой или без нее, а обжигаться все-таки лучше.

— Хватит, ради Бога, о страховке.

— Как скажешь, братец. Ты же пригласил меня на ужин. Ведь ты угощаешь, правда?

— Конечно.

— Хватит об отце. Он мертв. О матери тоже говорить не будем — и ее нет в живых. Они работали не покладая рук, чтобы поднять семью. И вот один из нас вещает на радио для педерастов, другой — пьянчуга-бухгалтер, тоже лезет из кожи, чтобы поднять семью. Я это говорю в утешение отцу — у него была своя вера. Что ж, у Клары есть яхта, у нашего диктора Берта — мальчишки с пляжей Калифорнии, у меня — бутылка, — он расплылся в глуповатой улыбке. — А у тебя что, братец?

— Пока еще не знаю.

— Еще не знаешь? — гримасничая, воскликнул Генри. — Тебе сколько, тридцать два или тридцать три года? И все еще не знаешь? Счастливчик, у тебя, выходит, все впереди. А вот у меня, помимо бутылки, еще совсем плохие глаза. Можешь представить себе слепого бухгалтера? Так вот, лет через пять я с голой задницей окажусь на улице!

— Боже мой! — вскричал я, потрясенный совпадением. — По той же причине меня отстранили от полетов!

— Вот как, — произнес Генри. — А я-то думал, что ты разбил какой-нибудь самолет или переспал с женой своего босса.

— Увы, — вздохнул я. — Все дело в чертовой сетчатке. Она-то и доконала меня.

— У всех нас глаза ни к черту, — по-дурацки захихикал Генри. — Фатальный порок семьи Граймсов. — Он снял очки и протер слезившиеся глаза. Вдавленный след на переносице походил на глубокую рану. Глаза его без очков казались пустыми, лишенными всякого выражения. — Но ты заявил, что едешь в Европу. У тебя богатая бабенка? Она везет тебя?

— Ничего подобного.

— Послушай моего совета — найди себе такую. Роман для души — это ерунда. Вот я совсем в другом положении. Моя жена презирает меня.

— Никогда не замечал этого, Хэнк. — И в самом деле, на снимке его жена Магда не походила на женщину, презиравшую кого-нибудь. Я несколько раз встречался с ней, и она производила впечатление благожелательной, уравновешенной женщины, пекущейся о благополучии своего мужа.

— Ты не понимаешь, братец, — с горечью проговорил Генри. — Она явно презирает меня. Хочешь знать почему? Да потому, что по ее высоким американским

меркам — я никчемный неудачник. Она не может купить себе нового платья, а ее подруги покупают. Дом наш уже лет десять не ремонтировался. Мы задолжали за телевизор. У нас старенький автомобиль. Я лишь бухгалтер, а не компаньон фирмы. Считаю чужие деньги — и только. А ты знаешь, что хуже всего на свете? Чужие деньги...

— Хватит, Хэнк, прошу тебя, — остановил я его. Трудно было вынести, да еще за обедом, такую волну самобичевания, хорошо еще, что его не слышали за соседним столиком.

— Позволь закончить, братец, — взмолился Генри. — Жена упрекает, что у меня плохие зубы и дурно пахнет изо рта, а все потому, что мне не по средствам пойти к зубному врачу. А пойти я не могу, так как все три чертовы дочки каждую неделю ходят к нему для выпрямления зубов, чтобы потом, когда подрастут, могли улыбаться, как кинозвезды. И еще она презирает меня за то, что я уже пять лет не спал с ней.

— Почему?

— Я импотент, — с жалкой улыбкой признался Генри. — У меня все основания быть импотентом. Уж поверь слову своего брата. Помнишь ту субботу, когда ты вернулся домой и застал меня в постели с девицей? Как ее звали, черт возьми?

— Синтия.

— Вот-вот, Синтия. Синтия с большими сиськами. Она завопила, как недорезанная курица, — по сей день у меня в ушах звенит ее визг. А потом, когда я расхохотался, она вlepила мне затрещину. Что ты тогда подумал про своего старшего брата?

— Да ничего особенного. Я даже не понимал, чем вы занимались.

— Но теперь-то понимаешь?

— Да.

— Тогда я не был импотентом, верно?

— Господи, да откуда мне знать?

— Уж поверь мне на слово. Ты рад, что снова приехал к нам в Скрантон?

— Послушай, Хэнк, — сказал я, взяв его за руки и крепко сжав их, — ты достаточно трезв, чтобы понять то, что я скажу тебе?

— Близок к тому, — хихикнул он и затем, нахмурясь, бросил: — Отпусти руки.

Я отпустил его руки, вынул бумажник и отсчитал десять сотенных.

— Вот тебе тысяча долларов, — сказал я и, наклонившись, сунул их ему в нагрудный карман пиджака. — Не забудь, где они.

Генри шумно вздохнул, полез в карман, вытащил деньги и стал разглаживать на столе каждую бумажку.

— Чужие деньги, — бормотал он. Казалось, он совершенно протрезвел.

— Итак, завтра я уезжаю, — продолжал я. — Далеко, за границу. Время от времени буду давать знать о себе. Если тебе еще понадобятся деньги, ты их получишь. Понятно?

Генри старательно сложил деньги и спрятал их в бумажник. Слезы полились из его глаз, молчаливые слезы, катившиеся из-под очков по его мертвенно-бледным щекам.

— Не надо плакать. Ради Бога, не плачь, Хэнк, — упрашивал я.

— Ты, наверное, попадешь в беду, — печально произнес Генри.

— Возможно, что и так. Во всяком случае, я уеду. Если кто-нибудь придет к тебе и будет спрашивать обо мне, ты меня не видел и ничего не знаешь. Ясно?

— Да, понятно, — кивнул Генри. — Позволь, Дуг, задать лишь один вопрос. Дело-то стоящее?

— Пока еще не знаю. Там видно будет. Давай-ка выпьем по чашке кофе.

— Не надо мне кофе. Могу выпить его и у себя в счастливом доме с драгоценной женой.

Мы поднялись из-за стола, я помог брату надеть пальто. Потом расплатился с официантом, и мы пошли к выходу. Генри, ссутулившись, весь какой-то скособоченный, припустил было вперед, потом приостановился, пропуская меня к двери.

— Знаешь, — сказал Генри, — что говорил мне отец перед смертью? Он признался, что из всех сыновей больше всех любит тебя. Сказал, что ты самый лучший, чистая душа. — Тон у Генри был, как у обиженного ребенка. — Как думаешь, зачем понадобилось ему на смертном одре говорить такое своему старшему сыну?

И он зашагал к выходу. Я распахнул перед ним дверь,

невольно подумав, какое для меня это стало привычное дело — распахивать двери.

На улице было холодно, дул порывистый пронизывающий ветер. Генри съежился и торопливо застегнулся на все пуговицы.

Я крепко обнял его и чмокнул в еще мокрую щеку, ощутив на губах соль. Потом усадил в такси. Прежде чем таксист успел завести мотор, Генри остановил его, хлопнув по плечу, и опустил боковое стекло с моей стороны.

— Послушай, Дуг, — сказал он, — я только что понял, в чем дело. Весь вечер я недоумевал и ломал себе голову, не в силах понять, что в тебе такого странного. Ты ведь больше не заикаешься!

— Да, — подтвердил я.

— Как ты это устроил?

— Лечился у логопеда, — брякнул я. Впрочем, что лучше я мог придумать?

— Здорово, просто потрясающе. Везунчик же ты!

— Угу, — согласился я. — Я везунчик. Спокойной ночи, Генри.

Он поднял стекло, и такси покатило прочь. Я грустно глядел вслед машине, увозившей моего старшего брата, о котором мать говорила, что из всех нас он один рожден для богатства и счастья.

Вернувшись к себе в номер отеля, я уселся перед телевизором. На экране мелькала одна реклама за другой, причем назойливо расхваливались такие вещи, которые я никогда бы не стал покупать.

Я плохо спал в эту ночь, мучимый стремительными мимолетными видениями: то какие-то женщины, то чьи-то похороны.

Меня разбудил звонок телефона, стоявшего на столике у изголовья кровати. Взглянув на часы, я увидел, что был восьмой час утра.

— Дуг, — услышал я в трубке голос брата. Кто же еще мог знать, что я здесь. — Дуг, мне надо повидаться с тобой.

Я вздохнул в досаде. Вчерашней встречи мне вполне хватило бы еще лет на пять.

— Где ты? — спросил я.

— Внизу в вестибюле. Ты уже завтракал?

— Нет, конечно.

— Так буду ждать тебя. — И он повесил трубку, не дожидаясь ответа.

Генри сидел за чашкой черного кофе, один во всем зале, освещенном неоновыми лампами. За окном было еще темно. Он всегда вставал рано, и это была еще одна добродетель, которая восхвалялась нашими родителями.

— Извини, что разбудил тебя, — сказал брат, когда я сел за его столик. — Мне надо было непременно повидаться с тобой до твоего отъезда.

— Ладно, — кивнул я, еще не совсем очнувшись от своих сновидений. — Все равно ничего хорошего во сне у меня не было.

— Слушай, Дуг, — несколько запинаясь, начал он, — вчера ты сказал, когда... когда дал деньги. Не подумай, что я не признателен тебе.

Я нетерпеливо отмахнулся:

— Давай больше не говорить об этом.

— И затем ты сказал... сказал, что если мне понадобится...

— Да, говорил.

— Значит, ты имел в виду...

— Иначе бы не сказал.

— И даже... даже двадцать пять тысяч? — он покраснел, выговорив такую цифру.

Я лишь на миг поколебался.

— Да, если ты нуждаешься в них, — подтвердил я.

— Ты хочешь знать, для чего нужны эти деньги?

— Если тебе угодно, — ответил я, сожалея о том, что вчера не уехал из города.

— Эти деньги не только для меня, а для нас обоих. В конторе я веду счета разных клиентов. И есть одна маленькая только что организовавшаяся компания. Двое очень способных молодых людей. Оба из Массачусетского института. У них идея, которая может стать большим, весьма большим делом. Они подали заявку на патент новой системы миниатюризации. Для всех видов электронного оборудования. Но у них нет средств. А чтобы начать дело, нужно не менее двадцати пяти тысяч. Они обратились в банк за кредитом, но банк отказал. Мне известно их положение, потому что я веду их счета и говорил с ними. Словом, я могу войти к ним третьим компаньоном и получить треть акций. Стану членом правления компании, ее казначеем, чтобы охранять наши интересы. Как только наладится выпуск продукции, они сразу выйдут на Америкс.

— Куда?

— На Американскую биржу, — пояснил Генри и с удивлением посмотрел на меня. — Где ты, черт возьми, был все эти годы?

— Нигде. Между небом и землей.

— И даже нельзя предвидеть, как высоко могут подняться акции этой компании. Из нашей доли ты получаешь две трети, а я одну. Ты находишь это несправедливым? — с тревогой спросил он.

— Вовсе нет, — ответил я, мысленно уже поставив крест на этих двадцати пяти тысячах. Во всяком случае, кроме наличных денег, лежавших в моем сейфе, все остальное казалось мне сомнительным.

— Ты благородный человек, Дуг. Очень благородный, — с дрожью в голосе произнес брат.

— Брось ты это, — резко оборвал я. — Никакой я не благородный. Сможешь в среду приехать в Нью-Йорк?

— Конечно, смогу.

— Я приготовлю деньги. Наличными. Накануне во вторник позвоню тебе в контору и скажу, где мы встретимся.

— Наличными? — удивился Генри. — А почему не чеком? Неприятно везти столько денег с собой.

— Ничего, справишься с этой ношей. Чеков я не выписываю.

Я мог заметить, как изменился в лице мой брат. Он хотел получить деньги, очень хотел, но как человек порядочный и вовсе не дурак, он теперь совершенно не сомневался в том, что откуда бы у меня ни взяли деньги — это нечестные деньги.

— Не хочу, Дуг, причинять тебе беспокойство, — с усилием проговорил Генри. — Я... я смогу обойтись и без этого. — Видно было, чего ему стоило вымолвить последние слова.

— Пусть каждый решает за себя, — коротко отрезал я. — Так или иначе, а во вторник утром жди моего звонка.

Генри тяжело вздохнул, как вздыхает человек, которому предстоит принять трудное решение.

Я был рад уехать наконец из Скрантона и катить по покрытому льдом шоссе обратно в Вашингтон. Вспомнив о предстоящей в этот вечер игре в покер у Хейла, я пощупал в кармане мой талисман — серебряный доллар.

В штате Мэриленд, где шоссе не было обледеневшим, меня задержали за превышение скорости, но я быстро откупился, дав полицейскому пятьдесят долларов. Загнанный в «Святом Августине» мистер Феррис, или как там его звали на самом деле, предоставил мне возможность сорить деньгами для укрепления американского образа жизни.

Глава седьмая

Был уже конец дня, когда я приехал в Вашингтон. Памятники президентам, генералам, монументы правосудию и закону — весь этот сомнительный пантеон дорийско-американского стиля уже неясно вырисовывался в теплом южном тумане надвигающихся сумерек. Казалось, что Скрантон, откуда я приехал, был совсем в другом климате, в другой стране, в другой цивилизации.

Улицы столицы были почти пусты, лишь отдельные прохожие неторопливо брели в мягких сумерках. Как объяснил мне вчера при встрече школьный друг Джереми Хейл, Вашингтон лучше всего выглядит в конце недели, когда останавливаются жернова в правительственной машине. Со второй половины дня в пятницу и до утра понедельника в столице вполне возможно верить в ценности и благолепие демократии:

В отеле не было для меня ни писем, ни каких-либо иных посланий. Я поднялся к себе в номер и позвонил домой Хейлу. Мне ответил чистый, как колокольчик, детский голосок, и я вдруг остро пожалел, что у меня нет ребенка, который бы вот так звонко, с чувством воскликнул: «Папа, тебя к телефону».

— Ну как, игра состоится? — спросил я Хейла.

— О, ты вернулся. Очень хорошо. В восемь заеду за тобой.

В моем распоряжении, следовательно, было около трех часов, и у меня мелькнула мысль, не позвонить ли на квартиру Эвелин и узнать, кто из женщин дома. Однако пришлось бы предупредить, что смогу побыть

лишь пару часов. Нет, я не из того сорта мужчин и никогда не стану таким. Пусть мне будет хуже.

Побрившись, я роскошно разлежся в горячей ванне, перебирая в уме сплошные удачи последних дней. Надо же, такое везение! «Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет», — громко и без запинки произнес я в наполненной паром ванной комнате. За последние пять суток я ни разу не заикался. Я просто чувствовал себя, как калека, отбросивший прочь костыли и весело заплясавший после купания в чудодейственном источнике Лурда. А потом еще эти деньги, что хранятся в подвале нью-йоркского банка. Вновь и вновь представлял я себе многообещающие пачки долларов, покоившиеся в моем стальном ящичке. Затем ночка с этой Эвелин Коутс... Выходит, не зря помер тот старик в коридоре «Святого Августина».

Я вышел из ванны отдохнувшим и свежим, тщательно оделся и спустился в ресторан, где пообедал без капли вина ввиду предстоящей серьезной игры в покер.

Когда Хейл заехал за мной, я еще раз пощупал серебряный доллар, чтобы убедиться, что он у меня в кармане. Вы, быть может, и знаете игрока, из живых или умерших, который не был бы суеверным, а я лично никогда и не слышал о таком.

Не знаю, помог ли в данном случае мой серебряный талисман, но мы не разбились чудом — так безрассудно мчался Хейл по дороге в Джорджтаун, где еженедельно по субботам собирались в местном отеле для игры в покер. На одном перекрестке, который он проскочил по красному сигналу, послышался дикий визг тормозов встречной машины, резко свернувшей в сторону, чтобы избежать столкновения. Из нее по нашему адресу (непонятно почему) заорали: «Проклятые черномазые!»

А ведь, учась в колледже, Хейл слыл осторожным водителем.

— Прости, Дуг, — извинился он. — Почему-то в субботний вечер все как с цепи срываются.

Я промолчал, но про себя подумал, что выбрал для игры не самую спокойную компанию.

В небольшой укромной комнате стоял круглый солидный стол, покрытый зеленым сукном. На буфете — батарея бутылок, лед, рюмки и стаканы. Словом, обстановка карточного клуба, вплоть до яркого освещения. С некоторым нетерпением предвкушал я предстоящую

игру. Когда мы вошли, в комнате находилось трое мужчин и женщина, которая стояла спиной к нам, приготавливая себе коктейль. Хейл представил меня мужчинам. Как я позднее узнал, один из них был весьма известный журналист, другой — конгрессмен от штата Нью-Йорк, походивший на кроткого седовласого Гардинга, бывшего президента, в котором не было ничего президентского. И, наконец, третий был довольно молодой адвокат по фамилии Бенсон, служивший в министерстве обороны. Еще никогда в жизни мне не доводилось знакомиться ни с известным журналистом, ни с конгрессменом. Поднимаюсь ли я вверх по социальной шкале или спускаюсь вниз?

Когда женщина обернулась, чтобы поздороваться с нами, я не удивился, увидев Эвелин Коутс.

— Мы уже знакомы, — сдержанно, без улыбки, заметила она, когда Хейл хотел представить меня. — Я знаю мистера Граймса. Познакомилась с ним у вас же в доме, Джерри.

— У меня, должно быть, совсем отшибло память, — обронил Хейл. Он казался расстроенным и, как в лихорадке, то и дело нервно потирал подбородок. Про себя я решил, что в этот вечер он, наверное, взвинтится и проиграет.

Эвелин была в свободном бежевом свитере и темно-синих в обтяжку брюках. В детстве она, видимо, была из тех двчонок, что с мальчишками играют в футбол. Когда мы уселись за стол и стали отсчитывать фишки, только она одна села со стаканчиком в руке. Привычным движением разложила перед собой столбики фишек.

— Эвелин! — крикнул через стол Бенсон, когда конгрессмен начал сдавать карты. — Будьте хоть сегодня милосердны к нам!

— Без гнева и пристрастия, — ответила она латинской поговоркой.

Как я заметил, этот адвокат, поддразнивая, все приставал к ней. Мне не нравился его хорошо поставленный самоуверенный голос. Но, взяв в руки карты, я выкинул все прочее из головы.

К игре все относились весьма серьезно, играли почти в полном молчании, перебрасываясь короткими замечаниями в промежутках между сдачей карт. Хейл говорил мне, что игра обычно умеренная, никто за вечер не проигрывал больше тысячи долларов. Если бы у него

не было богатой жены, то вряд ли он назвал бы такую игру умеренной.

Было заметно, что Эвелин ловкий и искусный игрок, настойчивый и неожиданный в своих решениях. На очень маленькой карте, всего две восьмерки, она сорвала большой банк. В иные времена о ней бы сказали, что она играет по-мужски, как заправский картежник. Выигрывала она или проигрывала, выражение ее лица не менялось, оставаясь всегда холодным и деловитым. Когда я сейчас посматривал на нее, мне было даже трудно представить себе, что лежал с ней в постели.

На незначительном «стрите»¹ я снял самый большой банк за весь вечер. У меня прежде никогда не было столько денег за спиной, потому теперь я играл спокойно и уверенно, не рисковал без оснований, а в сомнительных положениях по большей части пасовал.

Известный журналист и конгрессмен, предупредил меня Хейл, были мальчиками для битья. Играли они столь азартно и эмоционально, что проигрывали почти в каждой сдаче. Я невольно засомневался в их профессиональных качествах. Во всяком случае, доверие к репортажам журналиста у меня теперь точно подорвано, а конгрессмена я бы с удовольствием лишил законодательного голоса.

Обстановка была дружеская, и даже проигравшие добродушно переносили свои потери. После трехлетнего перерыва я играл с удовольствием, которое несколько отравляло поведение Эвелин. Я ожидал уловить с ее стороны какой-нибудь скрытый знак, мимолетный выразительный взгляд, улыбку, но она даже и бровью не повела. Меня уязвляло ее поведение, но я не позволил, чтобы это как-то отразилось на моей игре, и был вдвойне доволен, когда однажды побил ее карту и снял банк.

К двум часам ночи, когда закончили игру, лишь Эвелин и я были в выигрыше. Пока конгрессмен как банкOMET вел подсчеты, я благодарно нащупал в кармане свой серебряный доллар.

Официант внес закуски, и все занялись ими в ожидании окончательных расчетов. Приятно, подумалось мне, каждую неделю встречаться в такой комнате, в круту одних и тех же друзей, зная назубок их телефоны, адреса,

¹ Термин в покере, обозначающий наличие у игрока карт в порядке старшинства.

манеры и шутки. В какой-то момент я даже готов был предложить приехать сюда на следующей неделе, чтобы дать им возможность отыграться. Что ж, может, стоит пустить корни за карточным столом в такой защитной среде, как правительственные чиновники? Смогу ли я тут быстро обосноваться? Если бы Эвелин Коутс хотя бы улыбнулась мне в эту минуту, я бы, очевидно, объявил о своем приезде на следующей неделе. Но она даже не взглянула в мою сторону.

Чтобы дать ей возможность сказать мне несколько слов в сторонке, я подошел к окну в дальнем конце комнаты и открыл его под предлогом, что жарко, накурено и очень душно. И опять-таки она не обратила никакого внимания на меня.

Вот сука, подумал я, но ты не дожدهшься, чтобы я позвонил тебе, когда вернусь в отель. Я представил себе в ее квартире этого адвоката с бледным одутловатым лицом. Звонит телефон, и она с довольной улыбкой небрежно замечает: «Черт с ним, пусть звонит», отлично зная, кто это может звонить. Я не был настойчив и тверд с женщинами. Ни с одной женщиной, если честно признаться. Потому, вероятно, я решил с шумом хлопнуть окно, чтобы она взглянула в мою сторону и вспомнила о моем присутствии.

Между тем известный журналист и конгрессмен затеяли долгий спор о политической жизни Вашингтона. Журналист обвинял президента в том, что тот пытается уничтожить американскую прессу, увеличивая почтовую оплату, чтобы привести к банкротству журналы и газеты, сажает в тюрьму репортеров, отказывающихся раскрыть источники информации, угрожает лишить льгот теле- и радиостанции, передающие материалы, неприятные правительству, — словом, все это я читал, когда мне изредка попадались на глаза его статьи. Даже я, редко читавший газеты, был сыт по горло всеми этими высказываниями, но мне было интересно, как вот эти люди, со всех сторон теснимые противоречивыми аргументами, все же умудряются голосовать за что-нибудь или против чего-нибудь. Конгрессмен, не поднимая глаз, продолжал усердно, у него даже лоб вспотел, сыпать пустыми словами. Он был любезен и приветлив в споре и, полагаю, голосовал, как ему указывали, постоянно сообразуясь с партийными инструкциями на каждых выборах. По его высказыва-

ниям трудно было определить, республиканец ли он, демократ или последователь Мао.

Когда Эвелин заговорила об Уотергейтском деле, сказав, что это грозит серьезными последствиями для президента, известный журналист тут же перебил ее:

— Чепуха, не таков этот человек. Он очень ловок, и, запомните мои слова, все будет шито-крыто. Если, скажем, в мае вы заговорите об этом деле, то все спросят: «Уотергейт? А что это?» Поверьте мне, — подчеркнуто произнес он с уверенностью человека, привыкшего, что его всегда внимательно слушают, — мы открыто идем к фашизму. — Произнося свои тирады, он жевал сэндвич, запивая шотландским виски. — Технократы подготовили почву для этого. И меня не удивит, если сами они останутся в стороне. Однажды утром мы проснемся и увидим танки на Пенсильвания-авеню и пулеметы на крышах домов.

Вот этого предсказания не было ни в одной из его статей, которые я читал. Что ж, приезжайте в Вашингтон, чтобы услышать подлинно достоверные, жутко секретные пророчества.

На адвоката из Пентагона все эти обвинения, как видно, не производили никакого впечатления. Это был весьма спокойный, даже невозмутимо добродушный, очень гибкий и компанейский человек.

— Возможно, это не так уж и плохо, — сказал он. — Наша пресса стала совсем безответственной. Из-за нее мы проиграли войну в Азии. Она подбивает народ против президента, вице-президента, относится с презрением ко всем властям, что делает все более и более невозможным управление страной. Быть может, следует передать технократам, как вы их называете, контроль на несколько лет, и это будет лучший выход для нашей страны.

— О, наш Джек правоверный, — вмешалась Эвелин. — Голос Пентагона. Какая ерунда!

— Если бы вы видели документы, их день за днем кладут мне на письменный стол, вы бы не назвали мои слова ерундой.

— Мистер Граймс, — повернулась ко мне Эвелин с холодной улыбкой, — вы не варитесь в нашем вашингтонском месиве. Вы представляете здесь неиспорченный американский народ. Позвольте же нам услышать из ваших уст простую мудрость масс...

— Эвелин, — остановил ее Хейл, как видно, хотевший сказать: «Он же наш гость».

Я с раздражением взглянул на нее, недовольный тем, что она провоцирует меня, испытывает в своих не совсем невинных целях.

— Неиспорченный представитель считает, что эти разговоры — просто дерьмо собачье. — Я вспомнил при этом, как она сидела голая в темноте на краю постели со стаканчиком виски в руках и говорила мне, что все в Вашингтоне актеры, играющие положенные им роли. — Вы люди несерьезные. Для вас это лишь игра. А вот для неиспорченных, как вам было угодно назвать их, это уже не игра, а сама жизнь, и налоги, и всякие другие тяготы, которые для вас не существуют. Ваши разногласия значат не больше, чем цвет формы у бейсбольных команд. Он нужен только для того, чтобы знать, какая из команд ведет в счете. А по существу, все вы играете одну и ту же игру. — Я сам внутренне удивлялся тому, что говорил им, ибо никогда прежде не высказывал ничего подобного. — Если вас переманят в другую команду, то вы сбрасываете с себя прежнюю форму и облачаетесь в новую, пытаясь подняться повыше.

— Позвольте задать вам вопрос, Граймс, — учтиво обратился адвокат. — Вы голосовали на последних выборах?

— Да, сделал такую глупость. Но не намерен повторить ее снова. Это занятие недостойно взрослого человека.

— Простите меня, друзья, — вмешалась Эвелин. — Вот уж никак не думала, что среди нас такой простодушный политический философ.

— Я вовсе не полностью против того, что им было сказано, — заметил адвокат. — Но мне непонятно, почему уж так плохо быть верным своей команде. Если она впереди, конечно, — засмеявшись, добавил он, довольный своей шуткой.

В этот момент конгрессмен поднял голову, оторвавшись от своих подсчетов. Если он слышал что-нибудь из того, о чем сейчас говорилось, то не подавал виду. Да и вряд ли вообще вникал в споры на подобные темы в последние десять лет.

— Итак, все точно подсчитано. Эвелин выиграла триста пятьдесят пять долларов пятьдесят центов. Мистер

Граймс — тысячу двести семь долларов. Прошу вынуть чековые книжки.

Проигравшие выписывали чеки, сопровождая это обычными шутками, особенно в адрес Хейла, который привел игрока, обчистившего их. Но никто не проронил больше ни слова о том, что говорилось только что о нашем житье-бытье.

Засовывая чеки в бумажник, я старался выглядеть как можно более невозмутимым. Мы вышли гурьбой, беспорядочно толклись, прощаясь с конгрессменом и известным журналистом, которые вместе уселись в такси. Адвокат взял Эвелин под руку, говоря, что им по пути и он довезет ее. Хейл уже сел в машину, а я задержался на минутку, глядя, как адвокат с Эвелин отъезжали со стоянки. До меня донесся ее низкий грудной смех, когда они исчезали в темноте улицы.

Хейл молча вел машину. Когда мы остановились на перекрестке у светофора, он спросил:

— Как долго ты пробудешь у нас?

— Пока получу паспорт.

— Затем куда?

— Погляжу по карте. Куда-нибудь в Европу.

Сменился красный сигнал светофора, и Хейл резко рванул вперед машину.

— Боже мой, — с надрывом произнес он, — как бы я хотел уехать с тобой. Уехать куда глаза глядят. — Говорил он, словно узник, завидующий человеку на свободе. — Наша столица — сплошное болото. Взять хотя бы Бенсона, этого ничтожного сладкоречивого ублюдка из Пентагона, который был сегодня с нами. Ты счастлив, что не на службе у правительства.

— О чем ты говоришь? — спросил я, действительно озадаченный его словами.

— Если бы ты состоял на службе и кто-либо из сослуживцев слышал твои излияния сегодня вечером, а потом настучал на тебя начальству...

— Ты имеешь в виду то, что я говорил о партиях и голосовании? — спросил я, стараясь придать своему вопросу иронический смысл, хотя на самом деле был несколько обеспокоен. — Так то была шутка. Или, во всяком случае, говорилось несерьезно.

— Не шути в этом городе, дружок, — мрачно заметил

Хейл. — И уж, по крайней мере, с этими людьми. Они таких шуток не понимают.

— А я уж хотел было остаться и прийти в следующую субботу.

— Не надо. Уезжай как можно быстрее. Я и сам готов уехать хоть к черту на рога.

— Мне, конечно, неизвестно, как работает ваш департамент, но почему ты не можешь попросить, чтобы тебя перевели куда-нибудь в другое место?

— Просить-то я могу, — сказал Хейл, разминая сигарету, — и, наверное, попрошу. Но на службе меня считают ненадежным. И в оба присматривают за мной круглые сутки.

— Ты ненадежный? Вот уж никогда бы не подумал.

— Два года я находился в Таиланде. Отправил оттуда пару докладов по не совсем надлежащим каналам. — Он горько рассмеялся. — Ну, и меня вежливо убрали. Дали прекрасное место в департаменте с красивой секретаршей, даже увеличили жалованье. Со мной обошлись любезно лишь благодаря моему проклятому тестю. Но урок был ясен, и я запомнил его. Будь пай-мальчиком, а не то... — Он снова хрипло рассмеялся. — И подумать только, что я когда-то праздновал свое поступление на дипломатическую службу. А служба оказалась такой бессмысленной. Те доклады, что я составляю... Я похлопываю себя по плечу, словно отважного правдоискателя, смелого глашатая истины. Да разве на страницах моих докладов не то же самое, что найдешь в каждой нашей газете? — Он со злостью смял сигарету и выбросил ее. — Мы живем в век адвокатов-ловкачей Бенсонов, которые от рождения приучены подниматься по сточным канавам. Хочу откровенно признаться в том, что временами происходит со мной. Бывают дни, когда у меня такое ощущение, словно я весь в дерьме. Я чищу зубы, полощу рот, моюсь, но ничто не помогает.

— Мне-то казалось, что ты живешь замечательно.

— Прикидываюсь, — тоскливо признался Хейл. — Должен прикидываться. А на самом деле я безусловно одетый лжец. У нас правительство лжецов, и у каждого из нас вдоволь практики. Вот и я, счастливый государственный чиновник, муж, зять, счастливый отец двух детей... Ах, для чего я говорю об этом? У тебя, наверно, достаточно и своих неприятностей.

— Но если тебе так плохо и служба совсем не по

душе, то почему ты не уйдешь? Не займешься чем-нибудь другим?

— Чем? Продавать галстуки?

— Ну, может, и что-нибудь дельное подвернется, — бодро возразил я, не упомянув все же о свободном сейчас месте ночного портье в Нью-Йорке. — Уйди, осмотришь несколько месяцев и найдешь.

— Пойми, что я без гроша. Ты судишь по тому, как мы живем. Моего жалованья едва хватает, чтобы покрыть половину расходов. Остальное подбрасывает мой праведный тесть. Его чуть удар не хватил, когда меня отозвали из Азии. А если я только заикнусь об уходе со службы, он прогонит меня и заберет к себе мою жену и детей... Ах, давай оставим это. — Он сбавил скорость, и мы поехали совсем медленно, как если бы он желал оттянуть возвращение домой, где опять столкнешься лицом к лицу с неурядицами семейной жизни, служебной карьеры и отношений с тестем.

— Послушай, Дуг, — сказал он, когда мы уже подъезжали к отелю, где я остановился, — окажи мне одну услугу.

— Пожалуйста, — кивнул я, подумав про себя, что после его признаний мне не следует, если это не вызывается особой необходимостью, влезать в дела моего старого школьного друга Джереми Хейла.

— Приходи завтра ко мне на обед, — продолжал он, — и заговори при жене о лыжных прогулках. Скажи, что в начале следующего месяца собираешься отправиться в Вермонт, чтобы походить там на лыжах, и зовешь меня с собой.

— Но меня же здесь не будет.

— Это неважно, — нетерпеливо заметил он. — Только скажи жене, что ты зовешь меня. Придет время, и я смогу уехать.

— Тебе нужен предлог, чтобы уехать одному?

— Не совсем так. Это более сложно. Есть одна девушка...

— Ого!

— Вот тебе и «ого», — он принужденно засмеялся. — Не похоже на меня, не так ли? — заносчиво спросил он.

— Откровенно говоря, нет.

— И в самом деле. Это впервые со времени женитьбы. И не думал и не гадал, что такое случится. А вот случилось, и я просто голову потерял. Мы там и сям

встречаемся украдкой, иногда на несколько минут, на какой-нибудь час. Это мучит, изводит нас, особенно в этом городе, где все, словно ищейки, следят друг за другом. Нас же все время тянет побыть вместе. Бог знает, что сделает моя жена, если ей кто-нибудь расскажет. Клянусь, не хочу, чтобы она узнала, но в конце концов это случится. Я сам могу не сдержаться и открыться во всем. Мне не с кем по душам поговорить здесь. У меня постоянно камень на сердце. Никогда и не думал, что так полюблю. И знаешь, кто она...

Я насторожился в предчувствии, что могу услышать имя Эвелин Коутс.

— Моя секретарша. Мелани Шварц.

— Можно понять тебя. Она красавица.

— Она больше чем красавица. И вот что я тебе скажу, Дуг. Если так будет продолжаться, я не знаю, до чего это доведет меня. Мы уедем вместе из города на неделю, на две, хотя бы на ночь... Но мы уедем... Я женат уже десять лет и не хочу разводиться. Не хочу... О черт, почему я втягиваю тебя в мои дела!

— Так я приду завтра к обеду.

Хейл ничего не ответил и остановил машину перед отелем.

— Приезжай к семи часам, — наконец сказал он, когда я уже выходил из машины.

Поднимаясь затем в лифте, я подумал, что Вашингтон недалеко ушел от Скрантона.

Ложась спать, я избегал глядеть на телефон. Прошло довольно много времени, пока заснул. Должно быть, все ожидал телефонного звонка. Но звонка не было.

Не знаю, разбудил ли меня звонок или я проснулся еще до него. Мне снился ужасно тяжелый сумбурный сон. Я уходил от каких-то невидимых, таинственных преследователей, бежал по темному дремучему лесу, потом вдруг оказался на виду среди развалин домов, освещенный ярким солнечным светом, и был рад, что проснулся.

Звонил Хейл.

— Я не разбудил тебя? — спросил он.

— Нет.

— Придется, знаешь, отменить сегодняшний обед.

Жена говорит, что мы приглашены в гости, — с небрежной невозмутимостью сообщил он.

— Что ж, ладно, — ответил я, стараясь не показать, что весьма доволен.

— Кроме того, я говорил с той особой... — дальше нельзя было разобрать из-за возникшего шума.

— Что за шум? — крикнул я, тут же вспомнив, что он рассказывал мне о подслушивании телефонных разговоров в Вашингтоне.

— Я с детьми в зоопарке. А это лев рычит. Присоединяйся к нам.

— Как-нибудь в другой раз, Джерри, — уклонился я. — Я еще не одет. — После его вчерашних признаний меня вовсе не привлекала возможность лицезреть его в роли преданного отца, посвятившего детям свое воскресное утро. Я плохо разбирался в семейных делах, но уж никак не хотел быть пособником в обмане детей.

— Так приходи завтра с утра ко мне на работу и не забудь захватить свидетельство о рождении.

— Нет, не забуду.

Тут лев снова заревел, и я повесил трубку.

Я уже стоял под душем, когда телефон зазвонил опять. Мокрый, намыленный, я вылез из ванны и схватил трубку.

— Ждала, сколько смогла, — послышался в трубке голос Эвелин. По телефону он звучал ниже обычного. — Сейчас ухожу из дому. Мог бы и позвонить вчера после игры или хотя бы сегодня утром, — в ее словах сквозило раздражение уязвленной самонадеянности.

— А мне как-то и в голову не пришло, — невинным тоном солгал я, откидываясь назад, чтобы вода с меня не капала на постель. — Кроме того, тебя вчера как будто подхватили.

— Что ты сейчас делаешь? — спросила она, пропустив мимо ушей мое замечание.

— Принимаю душ, — ответил я, чувствуя, что мне становится все трудней разговаривать с ней. С мокрой головы холодные капли воды стекали по спине, мыльная пена щипала глаза.

— Как ты отменно учтив, — засмеялась она. — Выскакиваешь из-под душа к телефону. Ты, верно, почувствовал, что это я звоню?

— Возможно, меня осенила такая мысль.

— Могу я пригласить тебя отобедать со мной?

Я недолго колебался с ответом. Так или иначе, а ничего лучшего, чем бы занять свой сегодняшний день, у меня не было, и я согласился.

— Встретимся в «Трейдер Вике», — предложила она. — Это полинезийский ресторанчик в «Мэйфлауере». Там приятный полумрак, который скроет круги под моими глазами после бессонной ночи. В час удобно?

— Вполне, — сказал я и чихнул. Эвелин приснула.

— Иди, домывайся, — сказала она, — только не забудь потом вытереться досуха. А то перезаразишь потом наших республиканцев.

Повесив трубку, я снова чихнул. В ванную возвратился на ощупь — глаза немилосердно саднило из-за черного мыла. Хорошо, что в ресторанчике полумрак, подумал я. Хоть глаза отдохнут. Почему-то во мне засело ощущение, что при встречах с Эвелин Коутс мне лучше быть в форме.

Мы кончали обедать в тускло освещенном зале, официант, не то китаец, не то малаец или таитянин, уже наливал нам в кофе светившийся синим пламенем ром, когда Эвелин вдруг сказала:

— Граймс, ты производишь впечатление человека, который что-то скрывает.

Ее замечание крайне удивило меня. До этого наша беседа была почти совершенно безличной. Мы говорили о еде, о винах (без какого-либо видимого эффекта она выпила три большие рюмки крепкого рома), о вчерашней игре в покер (хвалила мою манеру игры, а я, в свою очередь, ее), о различных слоях вашингтонского общества — словом, журчало то изящное суесловие, которым приветливая и словоохотливая женщина занимает в течение часа приехавшего издалека собеседника. Я обратил внимание, что одета она со вкусом. На ней был свободного покроя костюм из твида и простая голубая блузка с высоким воротом. Ее светлые волосы свободно ниспадали на спину и были по-девичьи перехвачены голубой лентой. Сам я больше помалкивал, не подавая виду, что меня весьма занимает, почему она захотела встретиться со мной. С ее стороны не было ни малейшего намека на ту ночь, что она провела со мной, и я также решил первым не упоминать об этом.

— Да, что-то безусловно скрываешь, — повторила она.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — пожал я плечами, избегая, однако, встретиться с ней взглядом.

— Не сомневаюсь, что я права, — продолжала она. — Вижу тебя в третий раз и не имею ни малейшего представления о том, откуда ты, куда собираешься, что делаешь в Вашингтоне, чем вообще занимаешься и почему не позвонил мне вчера ночью. — Она наигранно улыбнулась и выпила. — Любой другой мужчина, с кем бы я встретила три раза на неделе, уже поведал бы мне всю свою биографию. И какими важными делами он занимался, и сколько купил акций, и с какими влиятельными лицами связан, и какие у него отношения с женой...

— Я не женат.

— Прекрасно! — воскликнула она. — Один факт у меня в руках. Поверь, я не собираю сведения о тебе и не докапываюсь до чего-нибудь. Меня лишь занимает, почему внезапно ты оказался вынужден что-то скрывать. Пожалуйста, не признавайся, в чем тут дело, — она вытянула руку, как бы желая остановить меня. — Это может оказаться значительно менее интересным, чем я думаю. Просто скучным. Но об одном мне бы хотелось спросить тебя, если ты не возражаешь.

— Пожалуйста, — коротко кивнул я.

— Ты останешься в Вашингтоне?

— Нет.

— Говорят, ты уезжаешь за границу.

— При случае.

— Как это понять?

— Уеду скоро. Может, на этой неделе.

— И будешь в Риме?

— Наверное.

— Ты готов оказать мне услугу?

— Если смогу.

Она пристально поглядела на меня, в раздумье постукивая пальцем по столу и, вероятно, принимая решение.

— На службе, — начала она, — мне пришлось ознакомиться с некоторыми секретными документами, представляющими особый интерес. Я взяла на себя смелость снять с них ксерокопии. У нас в Вашингтоне ксерокс сейчас тайное оружие. Никто на службе не может чувствовать себя в полной безопасности. На всякий случай мне удалось собрать небольшую подборку записей весьма

деликатных переговоров, которые смогут оказаться когда-нибудь очень полезными для меня и для моего друга, очень близкого и верного друга. Мы всегда заодно с ним, и мне бы хотелось предостеречь и его. Он теперь в нашем посольстве в Риме. Так вот, мне нужно надежным образом переслать ему некоторые бумаги, очень важные как для меня, так и для него. Почте я, конечно, не доверяю. Мой друг говорил мне, что адресованные ему письма просматриваются и у нас тут, и у него в посольстве. Не гляди на меня так удивленно. Проживешь в нашем городе с мое... — она остановилась, не закончив, но выразительно кивнув головой. — Я никому, ни одной душе здесь не доверяю. Но люди тем не менее говорят, напряжение растет, письма, как я сказала, вскрываются, телефонные разговоры подслушиваются... Полагаю, твой друг Джереми Хейл был откровенен с тобой...

— Да, кое о чем рассказывал. А мне, ты думаешь, можно доверять?

— Можно, — твердо, почти вызывающе произнесла она. — Прежде всего, ты не вашингтонец. А если что и скрываешь, то, очевидно, сугубо личное, не так ли?

— Пока оставим это.

— Ладно, — кивнула она, мило улыбнувшись. — Но если так, то почему бы тебе не выполнить небольшое поручение? Отнимет оно у тебя не более получаса, так что давай больше не будем обсуждать. — Она нагнулась и достала из легкого кожаного чемоданчика, стоявшего у ее ног под столом, довольно плотный конверт, запечатанный тонкой липкой лентой. Бросив конверт на стол, она прихлопнула его ладонью. — Как видишь, не займет много места.

— Но я не знаю, как скоро буду в Риме.

— Это не спешно, — пояснила она, подтолкнув конверт ко мне. — В любое время до мая месяца.

На конверте не было ни имени, ни адреса получателя. Эвелин вынула записную книжку и карандашик с золотым ободком.

— Вот адрес и номер телефона моего друга, — сказала она, вырвав листок из записной книжки. — Звони ему домой. Я бы не хотела, чтобы ты передал это в посольстве. Уверена, что мой друг тебе понравится. Он знает многих в Риме и может познакомить тебя с интересными людьми. И я буду весьма благодарна,

если ты черкнешь мне несколько строк, сообщив о встрече с ним.

— Хорошо, напишу, — пообещал я.

— Вот прелестный мальчик, — воскликнула она, сунув мне в руки конверт. — Судя по всему, ты бы не прочь время от времени встречаться со мной, верно?

— Совершенно верно.

— И кто знает... — продолжала она. — Если я буду знать, где ты, то и окажусь с тобой на время отпуска.

То была явная выдумка, и мы оба так и понимали. Но в этом было и нечто большее для меня. Я уезжал за границу, чтобы затеряться там. Брату я пообещал, что иногда буду сообщать о себе, но он не должен был знать, где я нахожусь. Глядя сейчас через стол на сидящую передо мной загадочную, соблазнительную женщину, я вдруг ощутил, что не хочу полностью затеряться, порвать все связи с Америкой, не знать никого в родной стране, кто бы мог, на худой конец, поздравить меня с днем рождения или попросить у меня взаймы сто долларов.

— Если у тебя возникнет искушение вскрыть конверт и заглянуть в него, — с улыбкой сказала Эвелин, — то что ж, пожалуйста. Разумеется, я бы этого не хотела. Заверяю тебя, там нет ничего, что представляло бы хоть малейший интерес для тебя.

Я положил конверт во внутренний карман. Меня связывало с ней лишь воспоминание об одной ночи, что и она понимала. Другой вопрос — насколько она привязалась ко мне.

— Конверт будет в целости, — заверил я.

— Я была уверена, что могу положиться на тебя, Граймс, — сказала она.

— При следующей встрече называй меня, пожалуйста, просто по имени.

— Хорошо, — пообещала она и взглянула на часы. — Допивай кофе, я расплачусь, и мы пойдем. У меня назначено свидание в Вирджинии.

— Ну-у, — протянул я, стараясь особенно не выдавать своего разочарования, — а я-то считал, что мы вместе проведем весь этот день.

— Нет, сегодня не выйдет. Если ты томишься одиночеством, позвони моей товарке по квартире. Она сегодня свободна, и ты ей нравишься.

Меня ошарашила циничность ее предложения, и я

был рад тому, что в зале полутемно и она не заметит, что я краснею.

— Ты своим любовникам предоставляешь для утех и свою квартиру?

— Как я уже говорила, ты вовсе не мой любовник, — невозмутимо ответила она. Потом подозвала официанта и расплатилась по счету.

Я не позвонил Бренде, ее товарке по квартире. По некоторым причинам, которые и не пытался точно уяснить, решил, что не доставлю Эвелин такого необычного удовлетворения.

День провел, бродя по Вашингтону. Теперь, когда я знал, по крайней мере отчасти, что скрывается за вздымавшимися вверх колоннами массивных зданий, подражавших архитектуре древнегреческих храмов, они не производили на меня прежнего впечатления. Совсем как Древний Рим перед нашествием готов, подумал я. У меня мелькнула мысль о том, что я, возможно, уж никогда больше не буду голосовать в Америке, что ничуть не огорчило меня. Но в первый раз за три года я почувствовал себя невыносимо одиноким.

Вернувшись к себе в отель, я решил готовиться к отъезду из Вашингтона. Чем быстрее смогу уехать, тем лучше. Укладывая вещи, я вспомнил о заграничных экскурсиях, организуемых нью-йоркским лыжным клубом, о которых мне в свое время рассказывал Джордж Вейлс. Как же назывался этот клуб? Ах да, «Кристи». И тогда не придется беспокоиться ни о провозе багажа, ни о досмотре в швейцарской таможне. Пройти мимо таможенников в Швейцарии, с улыбкой помахав им рукой, было явно привлекательно. Кроме того, сбжавшего ночного портье отеля «Святой Августин» вряд ли станут искать среди трехсот пятидесяти веселых лыжников в самолете, который увозит их на экскурсию в снежные горы, откуда через три недели они также всем гуртом вернутся обратно.

Я уже укладывал вещи во второй чемодан, когда раздался телефонный звонок. Мне ни с кем не хотелось говорить, и я не снял трубку. Но телефон продолжал настойчиво звонить, и пришлось ответить.

— Я знала, что ты у себя, — услышал я в трубке голос Эвелин. — Нахожусь в вестибюле и справилась у портье.

— А как же свидание в Вирджинии? — нарочито скучающе спросил я.

— Объясню, когда увидимся. Могу я подняться к тебе? — нерешительно проговорила она.

— Полагаю, что можешь.

Она рассмеялась немного грустно, как мне показалось.

— Не наказывай меня, — сказала она и повесила трубку.

Я застегнул воротничок, подтянул спущенный галстук и надел пиджак, чтобы по всей форме холодно встретить ее.

— Ужасно, — поморщилась она, войдя в номер и осматриваясь. — Хромированная Америка.

Опустив руки, она стояла посреди комнаты, очевидно, ожидая, чтобы я помог ей раздеться.

— Я не намерен провести тут остаток дней своих, — почти продекламировал я, помогая ей снять пальто.

— Да, вижу, — кивнула она, взглянув на упакованный чемодан, лежавший на кровати. — Уже в дорогу?

— Ага.

Мы церемонно стояли друг против друга.

— Сейчас отправляешься?

— Особенно не тороплюсь. Ты же сказала, что занята сегодня... в Вирджинии, — подчеркнул я.

— Была занята. Но весь день меня не покидала мысль о том, что есть в Вашингтоне человек, который жаждет видеть меня. Потому я и приехала. — Она сделала попытку улыбнуться. — Надеюсь, не помешала?

— Вообще нет.

— Может, ты пригласишь меня сесть?

— О, извини. Ради Бога, садись.

Она села и с чисто женским изяществом закинула ногу на ногу. Щеки у нее зарумянились, должно быть, она щющлась по морозцу в Вирджинии.

— Что еще занимало тебя? — спросил я, продолжая стоять на почтительном расстоянии.

— Видишь ли, — она стянула коричневые перчатки и положила их на колени, — я решила, что под конец неплохо говорила с тобой.

— Мне приходилось слышать кое-что и похуже.

Она покачала головой:

— Это было очень грубо. Чисто по-вашигтонски.

Привычная деформация и чувств, и речи. Не следовало предлагать тебе... Прости меня.

Я подошел, наклонился к ней и поцеловал ее головку. От нее еще веяло свежестью загородной зимней прогулки.

— Не расстраивайся. Не такой уж я слаонервный.

— Ты, конечно, не звонил Бренде.

— Нет, конечно.

— Какая это была глупость с моей стороны, — вздохнув, сказала она. Потом улыбнулась, лицо ее посветлело, стало нежным и молодым. — Забудешь обо всем этом, обещаешь мне.

— Забуду, если хочешь. А о чем еще ты раздумывала в Вирджинии?

— Да о том, что в ту ночь мы сошлись пьяными.

— Даже основательно пьяными.

— И я подумала, что, будь мы трезвыми, наша близость была бы прекрасней. Ты ещепил сегодня после нашего обеда?

— Нет.

— И я не пила, — улыбнулась она, подвинулась с места, подошла и обняла меня.

На этот раз я раздел ее.

Временами в середине ночи она шептала:

— Завтра же уезжай. Иначе я никогда не отпущу тебя.

Когда я утром проснулся, ее уже не было. На столе она оставила записку, написанную четким, несколько наклонным почерком.

«Вот и конец праздника. Пошли будни. Не принимайте всерьез того, что вам говорит женщина. Эв.»

Я скомкал записку и бросил ее в корзинку.

Глава восьмая

На другой день я получил заграничный паспорт. Хейла на службе не было, но он дал все необходимые указания своей секретарше мисс Шварц.

Вероятно, после того как он отвел душу, высказал все, что у него наболело, ему было как-то неудобно увидаться со мной. Сплошь и рядом человек, даже ваш друг, если он разоткровенничался с вами ночью, потом наутро, при свете дня, сожалеет об этом.

Мисс Шварц была, как всегда, исключительно красива и очаровательна, но я не завидовал моему другу Джереми Хейлу.

Получив по чекам свой карточный выигрыш, я отправился в универсальный магазин, где купил два крепких, но легких чемодана темно-синего цвета с красной окантовкой; один побольше, другой поменьше. Чемоданы были дорогие, но я не скупился — главное было надежно сохранить деньги. Я приобрел также довольно вместительный атташе-кейс с цифровым замком. Кейс легко помещался в большем из двух чемоданов. Теперь я был полностью снаряжен в неведомый путь — Одиссеей, пускающийся с попутным ветром в далекое плавание, тревожное путешествие, полное опасностей и превратностей судьбы.

Продавец предложил мне выбрать сочетание цифр для секретного замка:

— Советую выбрать такое число, которое имеет для вас какое-то значение, и тогда вы его не забудете.

— Шестьсот два, — сказал я, уверенный, что этот номер с покойником в «Святом Августине» я никогда в жизни не забуду.

С новенькими чемоданами, уложенными в багажнике взятой напрокат машины, я в три часа дня выехал в Нью-Йорк. Перед отъездом позвонил брату и сказал, чтобы он ожидал меня завтра в десять утра у здания банка, где в сейфе лежали мои деньги.

Не доезжая до Нью-Йорка, я остановился переночевать в придорожном отеле в окрестностях Трентона. Мне не хотелось быть в Нью-Йорке дольше, чем это было необходимо. Понимая, что это глупо и что буду сожалеть об этом, я все же не удержался и позвонил в Вашингтон на квартиру Эвелин. Я даже не знал, что скажу ей, мне просто хотелось услышать ее голос. К счастью, никто не ответил.

По Парк-авеню я въехал в Нью-Йорк, направляясь к банку. На одном из перекрестков недалеко от «Святого Августина» я остановился по красному сигналу. Зажегся

зеленый свет, и по какому-то неясному побуждению я свернул на улицу, где находился этот отель. По спине побежали мурашки, когда я медленно проезжал мимо знакомого, обманчиво импозантного подъезда, и меня настойчиво одолевала мысль зайти и повидаться с хозяином. Толкало к нему неумное желание узнать о предпринятых розысках. Если бы нашлось место, где поставить машину, то я, наверное, сдуру зашел бы, но вся улица была забита автомобилями.

Подъезжая к банку, я углядел брата, который стоял, съездившись, в пальто с поднятым воротником. Он выглядел жалким и дрожал на пронизывающем ветру.

Лицо Хэнка просияло, когда он заметил меня, его как будто одолевали сомнения, появлюсь ли я вообще. Он сделал движение ко мне, но я не остановился и, проезжая, сказал: «Встретимся на следующем углу. Жди меня там». Даже если бы кто-нибудь поблизости наблюдал за нами, то он вряд ли бы обнаружил, что мы как-то связаны между собой. А мной уже овладело тревожное чувство, будто весь город, как гигантский глаз, следит за мной.

В подвале банка тот же старик, еще сильнее побледневший, взял мой ключ, своим вторым ключом открыл оба замка сейфа и подал мне стальной ящичек. Он же провел меня затем в кабину и оставил там одного, задернув занавески. Отсчитав двести пятьдесят сотенных, я вложил их в плотный конверт из манильской оберточной бумаги, который купил в Вашингтоне.

Брат ожидал меня на углу около кафе и казался совсем замерзшим. Он со страхом уставился на конверт, словно содержимое его могло в любую минуту взорваться. Я сделал ему знак следовать за мной, вошел в кафе и сел за дальний столик в углу. В кафе было душно и жарко. Я снял пальто, а Хэнк уселся напротив, не раздеваясь и не сняв старой, в пятнах, серой фетровой шляпы. Его глаза за толстыми стеклами очков слезились от холода. Какое у него старое, изможденное лицо, подумал я, приглядываясь к нему. На нем отпечатались годы забот, тревог и работы в помещениях с затхлым спертым воздухом. Терпеливо, как ослы, стоят вот такие, как он, по утрам в зимнем полумраке, ожидая поезда на обдуваемых ветром станционных платформах, бес-

сильные и усталые еще до того, как начали работать. Мне было больно глядеть на брата, и я хотел поскорей все закончить.

Что бы ни случилось со мной, думал я, но я не буду в его годы таким, как он. Мы еще ни слова не сказали друг другу.

Подошла официантка, и я заказал кофе.

— Мне бы надо выпить, — сказал Хэнк, но с явным сожалением ограничился чашкой кофе и с жадностью пил его. — Сегодня утром меня уже дважды тошнило, — признался он.

— Вот деньги, — сказал я, похлопав по конверту.

— Боже мой, Дуг, ты понимаешь, как я обязан тебе.

— Ладно, так или иначе они твои. Я уйду первым, а ты минут через десять. — Мне не хотелось, чтобы он увидел номер взятой напрокат машины. Это не было заранее рассчитанной предосторожностью, но я теперь во всем был машинально настороже.

— Ты не пожалеешь об этих деньгах! — воскликнул брат.

— Конечно, нет.

— Те двое молодых людей знают, что я приеду с деньгами, — сказал брат, вытирая измятым несвежим платком слезы, катившиеся из его глаз. — Они прямо-таки без ума от радости и согласились на все наши условия. — Расстегнув пальто, он размотал поношенный серый шарф, который, как мертвая змея, висел у него на шее, достал авторучку и небольшой блокнот. — Я напишу расписку, — предложил он.

— Не валяй дурака. Бери деньги — и делу конец.

— Через год, Дуг, ты станешь богатым человеком.

— Очень хорошо, — кивнул я. — Но не надо никаких счетов и расписок. Ты бухгалтер и знаешь, как вести расчеты без всяких официальных записей. Я не хочу, чтобы меня разыскивало налоговое управление.

— Понимаю. Не могу сказать, что это мне по душе, но понимаю. Ты единственный человек в мире...

— Хватит об этом, Хэнк.

Я выпил еще глоток кофе, поднялся и надел пальто.

— Время от времени буду давать знать о себе, — пообещал я.

Хэнк широко улыбнулся мне и взял со стола конверт.

— Береги себя, братец, — ласково произнес он.

— И ты тоже, — отозвался я и, похлопав его по плечу, вышел из кафе.

По расписанию самолет уходил в среду в восемь часов вечера. В этот день около трех часов дня я зашел в банк, оставил в своем сейфе одну сотенную и вышел, унося в кейсе семьдесят две тысячи девятьсот долларов. Мне трудно объяснить, почему я оставил в сейфе сто долларов. Суеверие? Зарок, что в какой-то день вернусь обратно? Во всяком случае, я внес плату за сейф на год вперед.

На этот раз я остановился в «Уолдорф-Астории», самом дорогом и шикарном отеле Нью-Йорка. Те, кто искал меня, теперь, очевидно, должны были решить, что меня давно нет в городе.

Расставшись с братом, я поехал в контору лыжного клуба «Кристи» на 57-й улице. Там я обратился к мисс Мэнсфилд, хорошей знакомой моих старых друзей Вейлсов, и она задним числом быстро оформила мое заявление о заграничной туристической поездке. Выяснилось, что мне повезло, так как в это утро двое отказались от поездки. Мимоходом я осведомился у нее, не отправляются ли и Вейлсы этим самолетом. Девушка проверила список пассажиров и, к моему большому облегчению, установила, что их нет там.

Итак, я был готов к отъезду. В отеле я указал вашингтонский адрес Эвелин Коутс как мое постоянное местожительство. Теперь, когда я был совсем один, все эти выкрутасы были просто забавой. В последнее время у меня, правда, не было повода для шуток и забав. Дни, проведенные в Вашингтоне, были горькими и отрезвляющими. И если, как многие считают, богатство делает человека счастливым, то я пока был лишь новообращенным новичком. Однако в своем новом качестве я на первых порах оказался в неудачном окружении. Я имею в виду моего школьного товарища Хейла, с его заклинившейся служебной карьерой и взбалмошной любовной связью, и непонятную Эвелин Коутс, с ее циничной отчужденностью, и моего горемыку-брата.

В Европе, решил я, буду искать людей без всяких забот и проблем. Европа всегда была местом, куда стремились бежать богатые американцы, а я теперь считал

себя принадлежащим к этому классу. Словом, буду искать счастливые, радостные лица.

Как последний жест доброй воли, я отправил сто пятьдесят долларов букмекеру в «Святой Августин» с запиской: «Извините, что задержал уплату долга». Пусть хоть один человек в Америке поддержит мою репутацию честного человека.

В аэропорт я приехал рано. Кейс с деньгами лежал в моем большом темно-синем чемодане с секретным замком. На время перелета через океан пришлось расстаться с деньгами и положить их в чемодан, который будет находиться в багажном отделении. Я знал, что в целях борьбы с угонщиками самолетов каждого пассажира при посадке обыскивают и осматривают его ручной багаж. Было бы более чем странно, если бы я стал уверять, что для лыжной прогулки мне необходимо иметь при себе наличными семьдесят тысяч долларов.

При сдаче вещей в багаж их осматривали весьма поверхностно. Взвешивая мои два чемодана, приемщик едва взглянул на них.

— Лыж или лыжной обуви нет? — спросил он.

— Нет. Собираюсь купить в Европе.

— Покупайте у Россиньоля. Там самые лучшие и надежные, — посоветовал он тоном настоящего зазывалы.

Я предъявил заграничный паспорт, его просмотрели, дали мне посадочный талон с правом пересечения границы, и на этом все формальности были закончены.

До отлета оставалось еще довольно много времени, и я зашел в ресторан закусить и выпить пива. Сидя за столиком, заодно просматривал вечерние газеты. В Гарлеме сегодня утром застрелили полисмена. Команда «Рейнджерс» выиграла вчерашнюю встречу. Судья выступил против демонстрации порнографических фильмов. Редакторы ряда газет решительно настаивали на привлечении президента к ответственности. Ползли слухи о его отставке. Несколько высших сотрудников Белого дома посадили в тюрьму. Я вспомнил о письме Эвелин Коутс, которое вез в Рим. Интересно, поможет ли оно засадить кого-нибудь в тюрьму или уберезет от нее.

Заметив недалеко от себя висевший на стене телефон-автомат, я вдруг ощутил желание услышать чей-нибудь знакомый голос, обменяться последними словами,

перед тем как я покину свою страну. Подойдя к телефону, я набрал номер Эвелин.

Опять никто не отвечал. Эвелин, очевидно, была не из тех женщин, что сидят дома. Получив обратно монету, я повернул обратно к столику, когда вспомнил о том, что сегодня проезжал мимо «Святого Августина» и чуть было не зашел туда. Позвонить к ним за сорок минут до того, как реактивный лайнер помчит тебя через океан, было вполне безопасно. Я снова опустил монету и набрал номер своей прежней службы.

Как обычно, телефон звонил и звонил, прежде чем ответила наша телефонистка Клара.

— Соедините, пожалуйста, с мистером Друзеком, — попросил я.

— О Граймс! — вскричала Клара, узнавшая меня по голосу.

— Мне нужно переговорить с мистером Друзеком, — повторил я, делая вид, что не понял или не слышал ее.

— Где вы, Граймс? — снова вскричала Клара.

— Прошу, мисс, дайте мистера Друзека. Он у себя?

— Он в больнице. Какие-то двое выследили его и избили до полусмерти. Лежит без сознания, ему проломили голову.

Я повесил трубку и вернулся к столику, чтобы допить пиво.

В самолете зажглась табличка «Пристегнуть ремни и не курить», и он пошел на снижение в лучах утреннего солнца. Снежные вершины Альп, сверкавшие в отдалении на солнце, скрылись из виду, едва наш «боинг» нырнул в серую полосу тумана, окутывавшего аэродром Клотен.

Рядом со мной громко храпел весьма дородный мужчина. С восьми часов вечера до полуночи (потом я заснул и не следил за ним) он выпил одиннадцать стаканчиков виски. Его жена, сидевшая с другой стороны, занимала вдвое меньше места, чем ее муж. Они сказали мне, что хотели бы поспеть на ранний поезд из Цюриха в Сан-Мориц и в этот же день спуститься с гор на лыжах. Мне было жаль, что я не увижу, как они кубарем скатятся с гор.

Во время полета в самолете было шумно. Почти все пассажиры хорошо знали друг друга, были членами

лыжного клуба «Кристи» и каждую зиму вместе путешествовали, поэтому в проходах звучала громкая оживленная речь, сопровождаемая усердными возлияниями. Преобладали мужчины от тридцати до сорока лет, принадлежавшие к той неопределенной категории, которую называют административными служащими. Их тщательно причесанные жены, домашние хозяйки из пригородов, из кожи лезли вон, лишь бы выпить, не отставая от мужей. Следовало предположить, что среди них было и некоторое число жен, взятых напрокат на время отпуска. Надо думать, что средний годовой доход в семьях этих пассажиров был около тридцати пяти тысяч долларов, а их детки уже имели хорошенький капиталец, положенный на их имя заботливыми дедушками и бабушками, чтобы избежать уплаты налогов при наследовании после их смерти.

Если и были пассажиры, которые спокойно читали или глазели на звезды в занимавшейся утренней заре, то их нельзя было сыскать в нашей части самолета. Я был совершенно трезв и с отвращением глядел на своих шумных и пьяных попутчиков. В стране более строгой, чем Америка, подумал я, им не позволили бы уехать за границу. Но я тут же должен был с грустью признать, что если бы Хэнк находился здесь, то он был бы заодно с ними.

Хотя в салоне было жарко, снять куртку я не решился: в кармане лежал бумажник с деньгами и паспортом, он не поместился бы в кармане брюк.

Самолет плавно коснулся посадочной полосы, и я позавидовал тем, кто так уверенно вел эту чудесную машину. Для них лишь сам полет имел значение, а не ценность груза.

Я постарался одним из первых выйти из самолета и обрадовался, увидев, что два моих темно-синих чемодана — один побольше, другой поменьше — вывезли с первой же партией багажа. Получив чемоданы, я бросил их на ручную проволочную тележку и без всякой задержки проследовал через таможенный проход. В Швейцарии, как видно, весьма снисходительно принимали гостей из богатой страны.

Сев в такси, я сказал, чтобы меня отвезли в отель «Савой», так как краем уха слышал, что это солидное заведение в самом центре делового района.

Швейцарских денег у меня еще не было, но водитель

согласился принять две десятидолларовые бумажки. Конечно, будь у меня франки, я бы сэкономил два-три доллара, но, как бы то ни было, спорить я не стал.

Регистрируясь, я попросил портье дать мне номер телефона ближайшего банка. Как и у большинства американцев в наше время, у меня было смутное представление о частных швейцарских банках, но из газет и журналов я твердо знал, что это самое надежное место для скрытного хранения денег. Портье тут же дал мне требуемые сведения, словно это было первое, с чего начинал каждый приезжий американец.

Меня провели в отведенный мне номер, большую комфортабельную комнату, обставленную тяжелой старомодной мебелью и по-швейцарски безукоризненно чистою.

Не дожидаясь доставки чемоданов, я сразу же позвонил в банк. Было девять тридцать утра по швейцарскому времени и четыре тридцать по нью-йоркскому, и хотя я почти не спал в самолете, я не чувствовал себя уставшим.

По телефону отозвалась по-немецки женщина.

— А по-английски вы говорите? — спросил я, впервые сожалея о том, что мое образование недостаточно даже для того, чтобы сказать «доброе утро» на другом языке.

— Да, — сказала она. — О чем вы желаете переговорить?

— Об открытии счета.

— Минутку — И почти немедленно я услышал в трубке мужской голос:

— Доброе утро. Говорит доктор Хаузер.

Вот как! В Швейцарии, оказывается, деньги находятся на попечении людей с ученой степенью. А почему бы и нет? Ведь деньги — это и болезнь, и лекарство.

Я назвал себя и еще раз объяснил, что хочу открыть у них счет. Любезный доктор ответил, что ожидает меня в десять тридцать.

Постучали в дверь, и вошел посыльный с моими чемоданами. После его ухода я набрал три цифры в секретном замке: большого чемодана, но он не открывался. Я попытался еще и еще раз, однако без всякого результата. Я был уверен, что набираю правильные цифры, а потому взял второй чемодан поменьше, который

был закрыт с той же комбинацией цифр. Набрав их, я легко открыл его.

«Вот черт подери», — шепотом пробормотал я. У меня с собой ничего не было, чем можно взломать замок. Мне, естественно, не хотелось, чтобы кто-нибудь совался в мой чемодан. Поэтому я спустился вниз к швейцару и попросил у него большую отвертку. Швейцар не понимал меня, и мне пришлось долго жестикулировать, пока наконец он уразумел, чего я хочу. Тогда он обратился по-немецки к посыльному, и тот принес мне отвертку.

— Если хотите, он поможет вам, — предложил портье. Поблагодарив, я отказался.

С замком я ковырялся минут пять, взламывая его со всех сторон и горько печалась о своем прекрасном новеньком чемодане. Когда же я открыл его, то увидел, что сверху лежит спортивная куртка яркой расцветки, какой у меня никогда не было.

Стало быть, я взял чужой чемодан. Он был точно такой же, как мой, того же размера и того же цвета — темно-синий с красной окантовкой. Я проклинал поточную систему американского производства, выбрасывающую на продажу миллионы совершенно одинаковых вещей.

Захлопнув чемодан, я опять спустился вниз, вернул отвертку и объяснил, что произошло. Затем попросил портье позвонить в аэропорт и узнать, не сообщил ли кто из пассажиров, что он по ошибке взял чужой чемодан.

— У вас остались багажные квитанции?

И пока я рылся в карманах, портье соболезнующе заметил:

— Всякое бывает в дороге. Надо это предвидеть. Когда я куда-нибудь еду, то всегда наклеиваю на свой багаж большие цветные ярлыки с моими инициалами.

— Спасибо за полезный совет. Запомню его на будущее.

Я не нашел у себя багажных квитанций. Наверное, выбросил их, когда получил чемоданы и прошел с ними через таможеню.

— Так позвоните, пожалуйста, в аэропорт, — попросил я. — Ведь я не говорю по-немецки...

После нескольких минут оживленных переговоров с аэропортом на швейцарско-немецком диалекте, прерываемых ожиданием, когда там наводили справки, портье повесил трубку и сказал:

— Никто ничего не сообщал. Они позвонят, как только кто-нибудь к ним обратится. Надо полагать, что, когда тот пассажир, который взял ваш чемодан, придет в отель, он, без сомнения, обнаружит ошибку и сообщит об этом в аэропорт.

— Благодарю вас, — уныло произнес я.

— Не за что, — поклонился портье.

«Когда тот пассажир придет в отель», — повторил я про себя слова портье. В какой отель? Из разговоров в самолете я понял, что в Европе что-то около пятисот лыжных курортов. И в данную минуту мой чемодан, возможно, на пути в Давос, или Шамони, или Зермат, или Лех... Я в отчаянии покачал головой. Тот, кто взял чемодан, откроет его, быть может, лишь завтра или послезавтра. И, конечно, тоже взломает замок. И, увидев деньги, не будет уж так щепетилен.

Открыв чемодан, я стал рассматривать лежавшую в нем спортивную куртку. У меня возникло предчувствие, что мне предстоит, надо думать, много хлопот с человеком, который носит такие куртки.

Потом я снова позвонил в банк доктору Хаузеру. Он был безукоризненно учтив, когда я сообщил ему, что сегодня не смогу приехать. Как специалист по лихорадкам международной валютной биржи, он был невозмутим перед лицом всяких взлетов и падений. Мы условились, что я еще позвоню ему.

Положив трубку, я долго сидел у телефона, бессмысленно уставившись на него. Ничего не поделаешь, остается лишь ждать.

«Всякое бывает в дороге», — сказал портье. А что дальше? Ах, да: «Надо это предвидеть».

К сожалению, совет его чуть-чуть запоздал.

Глава девятая

В следующие два дня портье по моей просьбе раз десять звонил в аэропорт. Ответ был один и тот же. Никто из лыжного клуба не сообщил о чужом чемодане.

Шагая из угла в угол по сумрачной комнате, я

чувствовал, что нервы у меня напряжены до предела. Я вдруг припомнил старую поговорку, что беда приходит трижды. Сперва Феррис, потом Друзек, теперь вот мой чемодан... Мне следовало быть начеку и удвоить бдительность. Надо же так, ведь я был таким суеверным, а тут вдруг — никакого предчувствия. Номер в этом отеле, показавшийся мне поначалу приятным и уютным, теперь угнетал меня, и я до изнеможения бродил по городу в надежде, что это поможет заснуть ночью.

Погода зимой в Цюрихе явно не располагает к оптимизму и жизнерадостности. Под тяжелым свинцовым небом даже озеро выглядит так, будто расположено в подвале. На второй день я смирился, признал свое поражение и стал разбирать вещи в доставшемся мне чужом чемодане. Не было, однако, ничего, что могло бы указать на их владельца: ни записных книжек с адресами, ни чековых книжек, ни вообще каких-либо книг. Не было также ни счетов, ни фотографий, ни каких-либо меток на вещах. Этот человек, как видно, отличался крепким здоровьем. Ни одного лекарства с рецептом, по которому можно было бы узнать его имя, а лишь зубная паста, зубная щетка, безопасная бритва, коробочка гигиенической пудры и флакон одеколона.

Я весь покрылся испариной. Итак, я у разбитого корыта, и надо начинать сначала. Собираюсь ли я охотиться за этим призраком, который ворвался в мою жизнь, перевернул ее и, неузнанный, исчез навеки?

Мне пришли на ум прочитанные мной детективные истории, и я стал искать ярлыки портных на пиджаках. Хотя одежда была вполне приличной, это было готовое платье, которое можно приобрести в любом универмаге Америки. На сорочках, правда, оказались метки прачечной, но, вероятно, только ФБР, и то со временем, могло бы выследить по ним человека, я же не мог ни тягаться с ФБР, ни обратиться туда за помощью.

Нашел я алые лыжные штаны и легкую желто-лимонную нейлоновую парку. В недоумении пожал плечами. Чего можно ожидать от человека, который на склонах гор выглядит как пестрый флаг какой-нибудь маленькой экзотической страны? Такой же была и его спортивная куртка. Мне, следовательно, надо следить за лыжниками, спускающимися с гор в особо ярких одеяниях.

Отыскалось и то, что можно было бы посчитать некой

путеводной уликой. Среди вещей был смокинг. Это означало, что владелец его намеревался проводить время на шикарных курортах, где надо одеваться к обеду. Единственное такое место, о котором я как-то слышал, был отель «Палас» в Сан-Морице, но, по-видимому, были и десятки других. Наличие смокинга могло также указывать на то, что он собирался побывать в Лондоне, Париже или в других больших европейских городах. К несчастью, в Европе чертовски много больших городов.

Я подумал, а не позвонить ли мне в контору лыжного клуба в Нью-Йорке, объяснить, что произошло в цюрихском аэропорту, и попросить, чтобы мне сообщили имена и адреса трехсот пассажиров, летевших со мной в самолете. Затем я бы разослал всем им письма, предлагая обменяться чемоданами тому, у кого по ошибке оказался мой чемодан. Но я быстро отбросил эту мысль. Прошедшие два дня убедили меня в том, что тот, кто завладел моими деньгами, вряд ли откликнется.

Пытаясь определить, каков же из себя вор (я уже так стал называть его), я примерил некоторые его вещи. Надел рубашку. Воротничок вполне по моей шее, сорок второго размера. Рукава сантиметра на два короче моих. Но мыслимо ли придумать какой-либо благовидный предлог, чтобы проверять этой зимой размеры шеи и рук у каждого встречного американца? Были еще две пары хороших ботинок сорокового размера, одни черные, другие коричневые. Совершенно мне по ноге.

Его спортивная куртка также подходила мне, хотя и была немного широка в талии. Однако нельзя было предположить, что ее носил человек средних лет с уже отвислым животом. Наоборот, казалось, что она на хорошего лыжника в отличной форме, независимо от возраста. Его брюки были мне коротковаты, он, очевидно, был несколько ниже ростом. Во всяком случае, в моих поисках мне не следовало обращать внимания на высоких, толстяков и карликов.

Если вор окажется бережливым, подумал я, и наденет то, что нашел в моем чемодане, то уж по своему костюму я его сразу опознаю при встрече. Я ухватился за эту соломинку, но тут же понял, что, имея семьдесят тысяч в кармане, он, наверное, оденется у лучших европейских портных. Мысль об этом причинила мне такую же боль, как ревнивому мужу, представившему себе свою красивую жену в объятиях другого мужчины. С грустью

осознал я, что словно брачными узами привязан к бывшим у меня сотенным бумажкам.

А пока что у меня при себе осталось пять тысяч долларов. С ними можно попытаться найти того человека, которому мои семьдесят тысяч буквально свалились с неба.

Уложив его вещи обратно в чемодан в том же порядке, как они лежали, я мог, по крайней мере, утешаться тем, что мне не придется тратиться на покупку одежды взамен той, что была в моем чемодане. Бог дал, Бог и взял. Было бы значительно хуже, если бы в чемодане оказались женские вещи.

Я расплатился в отеле, поехал на цюрихский вокзал и купил билет первого класса в Сан-Мориц. В самолете я разговорился с сидевшей рядом семейной парой, которая сообщила мне, что едет на лыжный курорт в Сан-Мориц. Они не назвали и не сказали, где собираются остановиться. От них можно было получить кое-какие полезные сведения, но отыскать их теперь было трудно. Однако надо же было с чего-то начать. Цюрих стал мне просто противен: все два дня, что я пробыл в нем, лил дождь.

В полутора часах езды от Цюриха я пересел в поезд узкоколейки, который шел на Энгедин. Пройдя по вагону первого класса, я отыскал свободное купе и расположился в нем со своими вещами. Атмосфера в этом поезде отличалась от той, что была в экспрессе, которым я выехал из Цюриха. Там были солидные деловые люди, уткнувшие нос в финансовые сводки газет «Нойе Цюрихер цайтунг», а в этом маленьком, прямо-таки игрушечном поезде, подвозившем на альпийские курорты, было полно молодых людей (многие в лыжных костюмах) и хорошеньких женщин в дорогих мехах, с соответствующей свитой. Царило праздничное настроение, которого я вовсе не разделял. Мне хотелось побыть одному и собраться с мыслями, и я закрыл дверь в купе, чтобы никто не подсел.

Однако перед самым отправлением какой-то мужчина отворил дверь и довольно вежливо спросил по-английски, заняты ли места в купе.

— Как будто нет, — сухо ответил я.

— Милая, иди сюда, — крикнул он в коридор.

Вслед за этим в купе вошла сдобная блондинка, значительно моложе своего спутника, в леопардовой шубе и такой же шапке. Я сразу же пожалел об участи бедных животных, которым грозит уничтожение. В руках у нее была красивая, украшенная драгоценностями сумочка, и от нее сильно пахло мускусными духами. Большое бриллиантовое кольцо сверкало у нее на пальце рядом с обручальным. Если бы наш мир был получше организован, то один лишь вид ее должен был вызвать бунт носильщиков и всех других рабочих в прилегающих к станции кварталах. В Швейцарии, однако, это немыслимо.

У ее благоверного не было с собой ничего, кроме журналов и газет «Интернешнл геральд трибюн» под мышкой. Он бросил их на сиденье напротив меня и помог ей раздеться. Вешая шубу на плечики, он краем задел мое лицо, и меня обдало сильным запахом духов.

— Ох, извините, — сказала блондинка.

— Ничего, пожалуйста, — угрюмо улыбнулся я.

Она вознаградила меня улыбкой. Ей было лет двадцать восемь, и пока еще у нее были основания считать свою улыбку наградой. Я был уверен, что она — не первая жена своего мужа, может быть, даже и не вторая. Мне она сразу не понравилась.

Муж тоже разделся, но фуляровый шарф не снял. Усевшись, он вытащил из кармана сигарочницу.

— Билл, — укоризненно воскликнула блондинка.

— Я на отдыхе, милая. Позволь мне покойфовать.

— Надеюсь, вы не возражаете, если муж закурит.

— Вовсе нет, — подтвердил я, довольный хотя бы тем, что это устранил одуряющий запах ее духов.

Муж протянул мне сигарочницу.

— Благодарю, я не курю, — солгал я.

Маленькими ножницами он обрезал кончик сигары. У него было багровое мясистое лицо с тяжелой челюстью, холодные голубые глаза и толстые грубые пальцы с маникюром. Ему было далеко за сорок. Мне не хотелось бы работать у него или быть его сыном.

— Настоящая гавана, — похвастал он. — Дома у нас теперь такую не купишь. Но Швейцария, слава Богу, ладит с Кастро. — Вынув золотую зажигалку, он закурил сигару и откинулся назад, с удовольствием пуская клубы дыма.

Я уныло поглядел в окно на покрытую снегом сель-

скую местность. Еще недавно я тоже собирался легко и приятно провести здесь время. Мне вдруг захотелось выйти на первой же станции и вернуться домой. Но где теперь мой дом?

Поезд вошел в туннель, и в купе стало совершенно темно. Мне было приятно в темноте. Я вспомнил о своей ночной службе и решил, что темнота — существенная часть моей жизни.

Выйдя из туннеля, мы поднимались все выше в горы, выбираясь из серого тумана, висевшего над швейцарской равниной. Муж дремал, склонив набок голову, его потухшая сигара лежала на пепельнице. Жена с увлечением читала юмористические страницы «Геральд трибюн». Выглядела она глупо: губы поджаты, глаза по-детски блестят из-под леопардовой шапки. Неужели, подумал я, это то, что деньги могли бы дать мне?

Почувствовав, что я смотрю на нее, она подняла глаза, кокетливо хихикнув:

— Обожаю смешное.

Нелепо улыбнувшись, я бросил взгляд на ее бриллиант, заработанный, без сомнения, законным замужеством. Она присматривалась ко мне искоса — похоже, она никому не глядела прямо в глаза.

— Где-то я вас уже видела, верно?

— Вполне возможно.

— Вы в среду летели самолетом? С лыжным клубом?

— Да, летел.

— Вот видите. Но я убеждена, что видела вас и прежде. Быть может, в Солнечной Долине?

— Никогда не был там.

— О, это удивительное место для лыжников. Там каждый год встречаешь одних и тех же людей со всех концов света.

Засопел муж, разбуженный нашими голосами. Открыв глаза, он с нескрываемой враждебностью уставился на меня. Я почувствовал, что враждебность — это его естественное, укоренившееся состояние, которое временами вырывается наружу, прежде чем он успеет спрятать его под личиной вежливости.

— Ты знаешь, Билл, — сообщила ему блондинка, — этот господин летел с нами в самолете, — и сказала так, словно это было радостным событием для всех нас.

— Ну и что? — пробурчал муж.

— Мне всегда очень приятно встретить за границей

американца. И общий язык, и все такое. А европейцы ведь ужасно фальшивые люди. Ну, по этому поводу можно и выпить немного. — Она открыла свою шикарную сумочку и вынула изящную серебряную фляжку с колпачком в виде трех хромированных стаканчиков, один внутри другого. — Надеюсь, вы пьете коньяк — улыбнулась она мне, осторожно наливая.

Рука у меня задрожала, и немного коньяку пролилось на пол. Случилось это потому, что в этот момент ее муж снял шарф, окутывавший шею, и я увидел на нем темно-красный шерстяной галстук. Это был или тот галстук, что лежал в моем пропавшем чемодане, или точно такой же. Он закинул ногу на ногу, и я тут же заметил, что на нем ботинки уже не новые, совершенно такие же, как и мои, что остались в чемодане.

— Что ж, за того, кто первым ломает себе ногу в этом году, — поднял стаканчик муж, хрипло рассмеявшись. Уверен, что у него-то самого никогда не было никаких переломов. Он был из тех, кто не болел ни разу в жизни и не знал никаких лекарств, кроме, быть может, аспирина.

Я одним глотком выпил коньяк. Мне необходимо было прийти в себя, и я был рад, что она тотчас налила мне второй стаканчик. Подняв его, я галантно поклонился ей, широко и фальшиво улыбаясь, а в душе желая, чтобы поезд потерпел крушение, чтобы их обоих задавило, и я мог бы обыскать как их самих, так и их багаж.

— Вы, видно, люди бывалые в путешествиях, — лгисто сказал я.

- Будь начеку за границей, — отозвался муж. — Вот наше правило. — Он протянул мне руку. — Меня зовут Билл Слоун. А это моя маленькая жена Флора.

Я пожал ему руку и назвалса. Рука у него была жесткая и холодная. А его маленькая Флора (килограммов, должно быть, на семьдесят) обаятельно улыбнулась и налила мне еще коньяку.

К тому времени, когда поезд прибыл в Сан-Мориц, мы совсем подружились. Я узнал, что они из Гринвича в штате Коннектикут, что Слоун строительный подрядчик, самостоятельно выбившийся в люди, что Флора, как я и предполагал, не первая жена, что у него взрослый сын, который, слава Богу, не из длинноволосых, что сам Слоун голосовал за Никсона и дважды был в Белом доме, что суматоха, поднятая вокруг Уотергейтского дела,

уляжется через месяц и сами демократы будут сожалеть о ней, что это третья поездка супругов в Сан-Мориц, что в Цюрихе они задержались на два дня, чтобы Флора сделала покупки, и что, наконец, они собираются остановиться в отеле «Палас».

— А вы где остановитесь, Дуг? — спросил Слоун.

— Тоже в «Паласе», — без колебаний ответил я. Мне, конечно, нельзя было позволить себе такую роскошь, но я решил, что ни в каком случае, чего бы это ни стоило, не должен терять их из виду.

В Сан-Морице я настоял, что подожду вместе с ними, пока они получают свои вещи из багажного вагона. На их лицах, однако, ничего не отразилось, когда я снял с полки свой большой темно-синий чемодан с красной окантовкой.

— Чемодан-то у вас не заперт, — заметил Слоун.

— Сломан замок, — объяснил я.

— Надо срочно починить. В Сан-Морице полно итальянцев, — наставительно произнес Слоун.

Его интерес к моему чемодану мог иметь какое-то значение, а мог быть и совершенно случайным.

У них было восемь чемоданов, все новенькие, и ни один из них не походил на мой, что тоже еще ничего не значило.

Для перевозки багажа наняли второе такси, которое следовало за нами по оживленным, покрытым снегом улицам курортного городка.

В отеле «Палас» от стен, казалось, исходило какое-то слабое дразнящее дуновение. То было дуновение денег. И в самом деле, вестибюль здесь походил на продолжение банковского хранилища в Нью-Йорке. С гостями обращались благоговейно, словно с ценными старинными иконами. У меня было такое ощущение, что даже маленький, изысканно одетый ребенок, который со своей английской няней чинно прохаживался по пушистому ковру, и тот понимал, что я не из их круга.

И швейцар, и все в конторке, почтительно изгибаясь, пожимали руку Слоуну и кланялись его жене. Его чаевые в предыдущие годы были, очевидно, по-царски щедрыми. Я спросил себя, мог ли этот человек, которому по карману жить в таких отелях, как «Палас», иметь такую жену, как Флора, мог ли он присвоить семьдесят тысяч долларов. И ответил, что несомненно мог. В конце кон-

цов, Слоун сам признался, что любимыми путями самостоятельно выбивался в люди.

Когда я сказал портье, что не заказывал номер предварительно, он тут же понял, с кем имеет дело.

— К сожалению, сэр... — начал он.

— Это мой друг, — перебил его Слоун. — Устройте его, пожалуйста.

Портье полистал лежавшие перед ним графики и сказал:

— Разве что двойной.

— Прекрасно, — подхватил я.

— Как долго пробудете, мистер Граймс?

Меня взяло раздумье. Кто знает, сколько тут можно продержаться, имея всего пять тысяч?

— Неделью, — ответил я, решив, что буду ограничивать себя в расходах.

Поместили меня рядом со Слоунами. Номер был большой, с широкой двуспальной кроватью, застеленной розовым атласным покрывалом. Из окон великолепный вид на озеро и окружающие горы, чистые и ясные в лучах заходящего солнца. При других условиях дух захватывало бы от такой красоты, но сейчас она мне казалась равнодушной и чересчур дорогостоящей. Задержав шторы, я в мрачном настроении, не раздеваясь, лег на пышную постель, атласное покрывало смялось и зашуршало подо мной. Меня все еще преследовал запах духов Флоры.

Я пытался обдумать, каким образом можно быстро и надежно установить, взял ли Слоун мои деньги. Мои мысли были смутны и бесплодны. Два дня в Цюрихе изматывали меня. Мне стало холодно, но я не мог отвязаться от мыслей о том, как выследить Слоуна. Даже если на нем мой галстук и мои ботинки, то что дальше? Голова начала болеть, я поднялся с постели и принял две таблетки аспирина.

После этого я беспокойно задремал, и мне все снился сумбурный сон: какой-то человек то появлялся, то исчезал, звеня ключами.

Разбудил меня телефонный звонок. Звонила Флора, приглашая поужинать вместе. С нарочитой радостью я принял приглашение. Она объяснила, что Билл забыл захватить смокинг (его уже выслали вдогонку из Аме-

рики, но он еще не прибыл), а потому обедать будем в городе. Я сказал, что тоже предпочитаю не одеваться к ужину, потом поднялся и принял холодный душ.

Мы встретились в баре нашего отеля. Слоун был в темно-синем костюме (не моем) и в других ботинках (тоже не моих). За столом сидела еще одна пара, которая, оказывается, летела с нами в самолете и была также из Гринвича. Они уже катались сегодня на лыжах, и жена слегка прихрамывала.

— Ну разве не чудесно? — воскликнула Флора. — Только представьте: целых две недели я могу теперь проводить в клубе «Карвелия» и нежиться на солнышке.

— А вот до замужества она уверяла, что обожает кататься на лыжах, — пожаловался Слоун.

— Так ведь то было до замужества, дорогой, — улыбнулась она.

Слоун заказал бутылку шампанского, ее быстро распили, и другой муж за нашим столом потребовал вторую. Мне бы, подумал я, уехать из Сан-Морица, прежде чем наступит моя очередь заказывать.

Затем мы отправились в ресторан, находившийся неподалеку в деревенском домике-коттедже в швейцарском стиле, и опять пили шампанское. Цены в меню были отнюдь не деревенские. За ужином я узнал о городе Гринвиче в штате Коннектикут больше, чем мне когда-либо хотелось знать. Со всеми подробностями мне поведали о том, кто вскоре будет исключен из гольф-клуба, кто из женщин, замужних и незамужних, собирается сделать аборт, кто возглавляет смелую борьбу против того, чтобы черных детей подвозили на автобусах в городские школы. Даже если бы они поручились, что к концу недели мне вернут обратно семьдесят тысяч, то все же сомнительно, чтобы я мог вынести ужины с ними.

Еще хуже было после ужина. Когда мы вернулись в отель, главы семейств пошли играть в бридж, а Флора потащила меня танцевать в дансинг на нижнем этаже. Прихрамывающая жена тоже поплелась с нами, выразив желание посмотреть на танцующих. Едва мы сели за столик, Флора заказала шампанское, которое на этот раз явно шло за мой счет.

Танцевать я никогда не любил, да к тому же Флора была из тех женщин, кто виснет на своих партнерах, лишая их малейшей возможности сбежать. В зале было

жарко и адски шумно, мне было тяжело в спортивной куртке, которая жала под мышками, и я был одурманен духами Флоры. Вдобавок она еще что-то влюбленно гудела мне в ухо.

— Ох, как я рада, что мы встретили вас, — шептала она. — Ведь Билла ни за что не вытащишь на танцы. Кроме того, вы прекрасный лыжник. Я это чувствую по вашим движениям. — Плотские инстинкты явно бродили в ней. — Пойдемте завтра со мной на лыжах?

— С удовольствием, — отвечал я, ибо ничего другого мне не оставалось.

Лишь после полуночи и двух бутылок шампанского мне наконец удалось оторваться от нее. Подписав чек на оплату счета, я проводил обеих жен наверх, где их мужья играли в карты. Слоун проиграл, и я не знал, радоваться мне этому или печалиться. Скорее все же радоваться. За карточным столом, кроме Слоуна и его земляка из Гринвича, еще сидел красивый с проседью мужчина лет пятидесяти и старуха, обвешанная драгоценностями и говорившая по-английски с резким испанским акцентом, похожим на воронье карканье. Сливки международного фешенебельного общества.

Когда мы подошли к ним, красивый с проседью мужчина выиграл малый шлем, то есть взял все взятки, за исключением одной.

— Фабиан, — воскликнул Слоун, — из года в год я вам проигрываю!

Тот, к кому обратился Слоун, мягко улыбнулся. У него была очаровательная, женственно-прелестная улыбка со смеющимися морщинками вокруг темных, подернутых влагой глаз.

— Должен признать, что мне немного везет, — сказал он приятным, хриловатым голосом. У него проскальзывал небольшой странный акцент, и я не мог бы сказать, откуда он.

— Вот так немного! — с раздражением подхватил Слоун, не любивший проигрывать.

— Я иду спать, — сказала Флора. — Завтра с утра на лыжах.

— Ладно, иди. Я должен отыгаться, — пробурчал Слоун и стал тасовать карты с таким видом, словно чистил оружие перед боем.

Я проводил Флору до дверей ее номера.

— Как удобно, мы совсем рядом, — проворковала

она и, хихикнув, поцеловала меня в щеку, пожелав спокойной ночи.

Лежа в постели, я читал. Услышал, как примерно через полчаса открылась и захлопнулась дверь в комнате Слоунов. Донеслось неясное бормотание голосов через стену, и затем все стихло.

Я подождал еще минут пятнадцать, потом тихонько вышел. Вдоль коридора стояла разнообразная мужская и женская обувь, выставленная у дверей каждого номера. Мокасины, кожаные туфли, лыжные ботинки, легкие бальные туфельки. Всех по паре, словно перед входом в Ноев ковчег. Однако перед дверьми Слоунов стояла только пара изящных ботинок Флоры, что были на ней в поезде. По каким-то причинам ее муж не выставил для чистки те коричневые ботинки. Недоумевая, я вернулся к себе.

Глава десятая

— Беспokoюсь о своем мужике, — сказала мне Флора.

Мы сидели на залитой солнцем террасе клуба «Карвеля» среди греческих моряков и миланских промышленников, которые так любят фотографироваться у плавательных бассейнов модных курортов. Тут же сидели и женщины разных национальностей, охотившиеся за ними. Флору в прежние времена уж никак бы не назвали «благородно воспитанной»; когда она нервничала, то выражалась языком официанток из столовых Нью-Джерси, обслуживающих главным образом шоферов грузовых машин; однако здесь, на террасе, она чувствовала себя в своей стихии и принимала все знаки внимания с истинно королевским величием. Я же чувствовал себя подобно солдату, который вдруг очутился в тылу врага.

Временное членство (на две недели) в клубе «Карвеля» обошлось мне в сто двадцать пять фряков, но оно было необходимо, чтобы не расставаться с четой Слоунов. Правда, сам Слоун теперь показывался редко. По утрам, жаловалась Флора, он часами разговаривал со

своей конторой в Нью-Йорке, а днем и вечером играл в бридж.

— У него даже совсем не будет загара, — сокрушалась Флора. — Никто не поверит, что он был в Альпах.

Пока что я имел честь обучать Флору спускаться на лыжах с гор и угощать ее завтраками. Она была сносной лыжницей, но из тех, что визжат на крутых спусках и постоянно жалуются на свою лыжную обувь. Я не надевал алых штанов и желто-лимонной парки, найденных в чужом чемодане, а благоразумно купил себе темно-синий лыжный костюм, на что тоже пришлось потратиться.

Вечерами были неизбежные танцы с Флорой до седьмого пота и шампанское за мой счет. Она обращалась со мной все нежнее, но я хоть и собирался проникнуть в номер к Слоунам и обыскать его, предпочитал бы избрать для этого другой путь. Мое равнодушие не в последнюю очередь объяснялось сейчас тем, что со времени исчезновения семидесяти тысяч я словно лишился силы и потерял всякий интерес к прекрасному полу. Деньги были силой. Это я отлично понимал. Но мне не приходило в голову, что их потеря повлечет за собой и вот такое бессилие. Мне теперь казалось, что при любой попытке я просто попаду в смешное положение. Заигрываний Флоры со мной было более чем достаточно, но ужасно было бы, откликнувшись на них, стать посмешищем.

Мои усилия в качестве детектива были трогательно беспомощны. Несколько раз под тем или иным предлогом я стучался в дверь к Слоунам в надежде, что он или она пригласят меня войти к ним и я смогу, по крайней мере, быстро и незаметно оглядеть комнату. Но они ограничивались тем, что принимали меня на пороге у едва приоткрытой двери.

Каждую ночь, когда все спали, я по-прежнему выходил в коридор, но коричневые ботинки так и не появились. Я уже начал думать, что стал жертвой галлюцинаций в поезде и Слоун вовсе не носил ни коричневых ботинок, ни красного шерстяного галстука. Как-то в разговоре я невзначай ввернул, что перепутал багаж в аэропорту, но ни один из четы Слоунов и ухом не повел. Я решил, что на всякий случай задержусь здесь до конца недели, а потом съеду. Даже не предполагал, куда направлю свои стопы. Может, укроюсь за «железным за-

навесом». Или в Катманду. Мысли о бедолаге Друзке не давали мне покоя.

— Ах, этот отвратительный бридж, — вздохнула Флора над своим стаканчиком «кровавой мери», — Билл просадит все состояние. Они играют по пяти центов за очко. Все знают, что Фабиан, по существу, профессиональный игрок. Он приезжает сюда каждую зиму на два месяца и уезжает, набив карманы деньгами. Я пыталась убедить Билла, что он играет хуже Фабиана, но он такой упрямый. И слышать не хочет, что кто-либо и в чем-либо лучше его. А когда проигрывает, все зло вымещает на мне. Вы и представить себе не можете, чего только он ни наговорит мне. Его появление после этой ужасной игры — просто кошмар для меня. С того времени как мы приехали сюда, я ни одной ночи не спала спокойно. Утром с трудом заставляю себя надеть лыжные ботинки. А когда выхожу, то выгляжу, как старая ведьма.

— О, что вы, Флора, — с жаром возразил я. — Даже если бы вы захотели, то не смогли бы походить на старую ведьму. Вы в полном расцвете.

И действительно, как днем, так и вечером, в любом платье, она выглядела, словно пышно распутившийся пион.

— Внешность обманчива, — хмуро сказала она. — Я не так сильна, как кажется. Я хрупка, как ребенок. Откровенно говоря, милый, если бы вы каждое утро не ждали меня внизу, то я бы по целым дням не вылезала из постели.

— Бедная девочка, — участливо произнес я. Представить себе Флору лежащей в постели было восхитительно, но вовсе не по тем причинам, которые она могла предположить. Без нее я бы сдал взятые напрокат лыжи и лыжные ботинки и не лазил бы на горы в эту зиму, что не доставляло мне никакого удовольствия и лишь вводило в ненужные расходы.

— Но есть проблеск надежды, — сказала Флора, искоса поглядев на меня тем интригующим взглядом, который я уже стал ненавидеть. — Что-то случилось, и, может, Билл на следующей неделе полетит в Нью-Йорк. Тогда мы все время будем вместе. — Слово «все» она особенно выразительно подчеркнула. — Это будет прекрасно, верно?

— П-прекрасно, — кивнул я, заикаясь, что случилось

в первый раз со времени ухода из «Святого Августина». — П-пойдемте завтракать.

В этот день она подарила мне массивные часы с гарантией точности хода при погружении в воду на глубину до ста метров или при падении с крыш высотных домов. У них было приспособление для остановки секундной стрелки и разного рода циферблаты для обозначения года, месяца, дня и прочее. Кажется, часы могли демонстрировать все на свете, кроме разве швейцарского национального гимна.

— Ну, не нужно было, — слабо запротестовал я.

— Я хочу, чтобы каждый раз, как взглянете на них, вы вспоминали эту чудесную неделю, — просюсюкала она. — Разве я не заслужила поцелуя?

Мы были в закусочной в центре города, куда зашли, возвращаясь с лыжной прогулки. Мне нравилось это заведение, потому что в нем не было шампанского. Тут пахло плавленным сыром и влажной шерстяной одеждой лыжников, которые, толпясь, пили пиво.

Я чмокнул ее в щеку.

— Нравится? — спросила она. — Я имею в виду часы.

— Да, нравятся, — пришлось подтвердить мне, — честно говоря. Они такие экстравагантные.

— И я честно признаюсь, милый, что если бы вы не ходили со мной на лыжах, а просто бы развлекали и баловали меня, то мне пришлось бы нанять лыжного инструктора. А вы знаете, как они дороги здесь. Кроме того, их надо кормить завтраками. А как они жрут за чужой счет! Большую часть года они, наверно, сидят на одной картошке, зато уж зимой всю отъедаются. — Флора была легкомысленная, но, как видно, расчетливая женщина. — Давайте же вашу руку, — потребовала она и застегнула на ней тяжелый серебряный браслет с часами. — Настоящие мужские часы, не правда ли?

— Совершенно верно, — подтвердил я, решив, что как только развяжусь с четой Слоунов, так сейчас же продам эти часы, которые стоят по меньшей мере долларов триста.

— Не говорите Биллу об этом, — попросила она. — Пусть это останется между нами. Наша маленькая дорогая тайна. Обещаете?

Я пообещал, и это обещание безусловно собирался выполнить.

Кризис наступил на следующее утро. Когда она спустилась в вестибюль, где, как обычно, в десять часов я ожидал ее, на ней не было лыжного костюма.

— Сегодня, милый, не смогу пойти с вами, — сказала она. — Билли уезжает в Цюрих, и я должна проводить его. Вот бедняга. Такой прекрасный снег, великолепная погода. — Она захихикала. — И ему придется остаться ночевать там. Ну разве это не ужасно?

— Действительно, ужасно, — согласился я.

— Так что вы один отправитесь на лыжах.

— Что ж, ничего не поделаешь.

— Но у меня блестящая идея. Почему бы нам не встретиться в час дня и не пойти куда-нибудь уютно посидеть? Поезд Билла уходит в начале первого. Мы можем провести вместе совершенно сказочный день...

— Да, великолепный.

— Начнем с хорошо замороженной бутылки шампанского в баре, — продолжала она. — А потом посмотрим, как все обернется. Как вы находите?

— Блестяще.

Она улыбнулась мне одной из своих многозначительных улыбок и ушла обратно к своему мужу.

Я вышел на утренний морозный воздух, вскоре почувствовав, как он пощипывает лицо. На лыжах я решил не идти и вообще бы не ходил, если бы меня к этому не принуждали обстоятельства. Я жалел, что отправился в самолете с членами лыжного клуба, отчего и начались все неприятности с чемоданом и последовала цепь событий, которая неумолимо ведет Флору в мою постель.

Я подумал было уехать тем же поездом вместе со Слоуном в Цюрих, но что там мне делать? Не мог же я повсюду в городе выслеживать его.

Представив себе предстоящий совершенно сказочный день с Флорой, начиная с хорошо замороженной бутылки шампанского (конечно, за мой счет), я тихонько застонал. Встречный парень на костылях, одна нога в гипсе, с любопытством взглянул на меня.

Я машинально отвернулся и поглядел на свое отражение в окне магазина. Молодой человек в дорогом лыжном костюме отдыхает на одном из наиболее прославленных в мире зимних курортов. Можете поместить мое фото для рекламы в каком-нибудь шикарном журнале путешествий.

Я усмехнулся своему отражению в окне. Мне пришла

в голову занятная мысль, и я последовал за парнем на костылях, немного прихрамывая. К тому времени, когда я нагнал его, я уже заметно хромал.

— И вы тоже? — соболезнующе спросил парень.

— Только растяжение, — объяснил я.

Когда же я пришел в небольшую частную больницу, удобно расположенную в центре города, то уже вполне сносно изображал лыжника, упавшего по крайней мере на середине спуска.

Часа через два я вышел из больницы на костылях, колено моей левой ноги было в гипсе. Потом я уселся в ресторане, пил черный кофе с печеньем и безмятежно читал вчерашний номер «Геральд трибюн».

Молодой врач в больнице отнесся скептически к моему утверждению, что я сломал ногу.

— Закрытый перелом, — уверял я. — У меня дважды был такой.

Врач высказался еще более скептически, когда осмотрел мою ногу через рентгеновский аппарат, но я продолжал настаивать на своем, и он, пожав плечами, сказал:

— Ладно, это же ваша нога.

В Швейцарии предоставляется любое медицинское обслуживание, как нужное, так и ненужное, лишь бы вы платили за него. Мне рассказывали об одном мужчине, у которого воспалился нарост на большом пальце, и он возомнил, что у него рак. Врачи в Соединенных Штатах, Англии, Франции, Испании и Норвегии уверяли его, что это пустяковая инфекция. Однако он не усложился до тех пор, пока в Швейцарии ему за соответствующую плату не ампутировали палец. Теперь он преспокойно живет в Сан-Франциско.

Около часа дня я взял такси и поехал к себе в отель. С бледной улыбкой выслушал соболезнования служащих отеля и с видом стойка, мужественно переносящего страдания, тяжело заковывал в бар.

Флора сидела в углу у окна. На столике перед ней стояла в ведерке со льдом непочатая бутылка шампанского. Она была в зеленых брюках в обтяжку и в свитере, плотно облегавшем заманчивые, надо это признать, округлости ее груди. Рядом на спинке стула висела лео-

пардовая шуба, отчего в баре пахло, как в цветочной лавке с тропическими растениями.

Увидев, как я неуклюже, на костылях, вползаю в бар, Флора тяжело задышала и воскликнула:

— Что за ерунда?

— Пустяки, — бесстрашно объяснил я. — Всего лишь закрытый перелом. Недель через шесть снимут гипс. Так, во всяком случае, врачи уверяют. — И я со стоном тяжело плюхнулся в кресло, выставив вперед загипсованную ногу.

— Какого черта, как это случилось с вами? — раздраженно спросила она.

— Лыжи не развернулись. — И это была правда, я действительно сегодня не притрагивался к ним. — Они скрестились, и я упал. Был не очень внимателен. Думал о сегодняшнем вечере.

Она смягчилась:

— Ох, бедняжка! Во всяком случае, шампанское мы можем выпить.

— Врачи запретили мне пить. Специально предупредили об этом, так как это препятствует заживлению.

— Все, кого я знала, пили и при переломах, — возразила Флора, явно не желавшая расставаться с шампанским

— Доктор сказал, что у меня хрупкие кости, — уныло объяснил я, сопроводив это гримасой боли на лице.

— Очень больно, милый? — спросила она, ласково взяв меня за руку.

— Да, немного, — мужественно признался я. — Видно, ослабевает действие морфия.

— Но пообедать-то мы, конечно, можем.

— Мне неприятно, Флора, что я расстраиваю все наши планы, но врач велел мне лежать в постели, положив ногу на подушки. Уж простите меня, — закончил я, с трудом поднимаясь, чтобы идти к себе в номер.

— Я приду к вам, чтобы поуютней устроить вас, — предложила Флора.

— Не обижайтесь, но мне бы хотелось побыть некоторое время одному. Когда со мной что-нибудь случится, я всегда уединяюсь. Это у меня еще с детства. — Меня никак не устраивало, чтобы я беспомощно лежал в кровати, а рядом со мной находилась Флора, дающая волю своим чувствам. — Выпейте шампанского за нас

обоих. Запишите эту бутылку на мой счет, — обратился я к официанту.

— А попозже можно зайти к вам? — спросила она.

— Я попытаюсь заснуть и сам позову вас, когда проснусь. Не беспокойтесь обо мне, дорогая.

И я оставил ее, это цветущее создание, хотя и надутое, но весьма завлекательное в зеленых в обтяжку брюках и плотно облегающем свитере.

Последние лучи заходящего солнца розовели на далеких вершинах окружающих гор, когда дверь в мою комнату тихонько отворилась. Я спокойно лежал в кровати, глупо уставившись в потолок. Зашла за подносом горничная, но, увы, вскоре следом за ней просунула в дверь голову Флора.

— Я только узнать, не нужно ли вам чего, — сказала она, входя в комнату. Смутно различая ее в сгущавшихся сумерках, я тем не менее остро ощутил резкий запах духов. — Как вы, милый? — Флора подошла к кровати и, словно опытная медицинская сестра, пощупала мой лоб. — Температура нормальная.

— Врач сказал, что к ночи поднимется.

— А день прошел хорошо? — спросила она, усаживаясь на край постели.

— Могло быть и лучше.

Внезапно она обрушилась на меня и стала целовать. Я изогнулся, чтобы иметь возможность дышать, нога в гипсе неловко свесилась с кровати, и я неприятно застонал от боли.

Раскрасневшись и тяжело дыша, Флора поднялась с кровати. В полутемной комнате трудно было разглядеть выражение ее лица, но мне показалось, что она смотрит на меня с подозрением.

— Двое моих знакомых, — начала она, — условились встретиться сегодня вечером. А днем один из них тоже сломал ногу, но это не остановило его, и он придет к десяти часам вечера, как они и условились.

— Видно, он моложе меня, — запинаясь, сказал я. — Или у него кости покрепче. Кроме того, в первый раз... особенно с вами... хочется быть в полной форме.

— Н-да, — сухо сказала Флора. — Ну, мне пора идти. Вечером соберется небольшая компания, и надо одеться. — Она наклонилась и холодно поцеловала меня в лоб. — Если хотите, я загляну к вам после ужина.

— Навряд ли это благоразумно, милая.

— Что ж, возможно. Спокойной ночи, — пожелала она, уходя.

Лежа на спине, я опять уставился в потолок. Да, этот молодой человек, что со сломанной ногой прилетелся в их компанию, настоящий герой. Еще один день, решил я, и на костылях или бросив их, но я уеду отсюда. А все же Флора натолкнула меня на одну мысль. Вошла без ключа. Стало быть, дежурная горничная на этаже...

Вечером я ужинал один в ресторане отеля. Издалека видел Флору в ослепительном вечернем туалете в окружении мужчин; некоторых я знал, других видел впервые, каждый из них мог быть обладателем моих семидесяти тысяч. Если Флора и заметила меня, то не подала виду.

Неторопливо поужинав, я поднялся в лифте на свой этаж, преднамеренно не спросив у портье ключ от номера. Коридор был пуст. Подождав, пока появится дежурная горничная, я на костылях проковылял до дверей Слоунов и попросил ее открыть дверь запасным ключом, так как забыл свой. Она достала его из связки и открыла мне дверь. Я вошел и плотно прикрыл за собой дверь.

Постели были уже разостланы, ночники на столиках у кроватей светились мягким, приглушенным светом. Запах духов Флоры наполнял всю комнату.

Прерывисто дыша, я осторожно приблизился к большому шкафу и открыл дверцы. В одном отделении были женские платья, лыжные костюмы. В другом мужские костюмы и сорочки. Около шкафа, на полу, шесть пар ботинок. Коричневые ботинки, которые в поезде я видел на Слоуне, стояли в этом ряду последними. Неуклюже наклонившись, я взял правый коричневый ботинок и сел в кресло, чтобы примерить его. Нога в ботинок влезла лишь наполовину, он, должно быть, был на два номера меньше моего размера. Я так и окаменел с чужим ботинком в руках, тупо уставившись на него. Значит, я потратил целую неделю и кучу денег, идя по ложному следу. Я еще продолжал сидеть в том же положении, когда послышалось звяканье ключа в замке. Дверь отворилась, и вошел Билл Слоун, одетый по-дорожному, с чемоданчиком в руке.

Увидев меня, он остановился и в изумлении выронил чемодан, бесшумно упавший на толстый ковер.

— Какого черта? — довольно беззлобно спросил он, еще не успев обозлиться.

— О Билл, — глупо отозвался я. — А я думал, вы в Цюрихе.

— Я здесь, можете не сомневаться, — он повысил голос. — Где, черт побери, Флора? — Он включил полный свет, словно хотел обнаружить, не прячется ли она где-нибудь в углу.

— Она проводит вечер в компании, — выпалил я, все еще не зная, как мне поступить — подняться и уйти или пока сидеть на месте. Решить это было непросто — ведь левая нога в гипсовой повязке.

— В компании, — угрюмо повторил Билл. — А какого черта вы здесь?

— Забыл свой ключ, — объяснил я, сознавая, как невероятно глупо то положение, в коем я очутился, и как трудно из него выпутаться. — А горничная по ошибке открыла ваш номер.

— А почему у вас в руках мой ботинок?

Вопросы он задавал все более повышенным тоном.

Я поглядел на ботинок в руке, как если бы увидел его впервые.

— Честно говоря, не знаю, — ответил я и выронил из рук ботинок.

— Ах, часы! — вдруг вскричал он. — Проклятые часы!

Я машинально взглянул на часы на руке. Было десять минут одиннадцатого.

— Понятно, откуда у вас эти окаянные часы, — угрожающе произнес он. — Подарок моей жены. Моей проклятой дуры.

— Что вы... что вы... это же просто маленькая шутка, — лепетал я, с ужасом сознавая, что мои объяснения лишены всякого правдоподобия.

— Каждый год она влюбляется в какого-нибудь идиота, лыжного инструктора, и дарит ему часы. Подарок открывателю сезона, — с горечью произнес он. — В этом году она выбрала просто лыжника. Вы открываете сезон.

— Нет, это всего лишь часы, Билл.

— Она ловкая сука, — грозя кулаком, воскликнул Билл. — Но я-то думал, что хоть на этот раз она с тем, кому можно доверять.

Неожиданно он начал всхлипывать. Это было ужасно.

— Успокойтесь, Билл. Прошу вас, — умолял я. — Клянусь, ничего не было.

— Клянётесь, — сквозь слезы проворчал он. — Все постоянно клянутся. — Внезапно он схватил меня за руку и рванул часы. — Отдайте их сейчас же, сукин сын!

— Пожалуйста, возьмите, — с достоинством сказал я, расстегнул браслет и вручил ему часы.

Воспаленными глазами Билл оглядел часы и, подойдя к окну, открыл его и выбросил их. Я воспользовался паузой, поднялся и встал на костылях. Билл круто повернулся и вплотную подошел ко мне. От него пахло виски.

— Следовало бы исколошматить вас, но калек я не бью. — Он слегка ткнул меня в гипсовую повязку, и я немного закачался на костылях. — Не знаю, какого черта вы торчали здесь у меня, и не желаю знать. Но чтоб завтра утром духу вашего не было в отеле и вообще в городе. Иначе я сам вышвырну вас. Когда швейцарская полиция займется вами, вы пожалеете, что увидели их горы и снега.

Слоун поднял с полу мой правый ботинок, который я до того снял с ноги, и тоже выбросил его в окно. Странная, причудливая месть.

Потом он гяжело, словно раненый медведь, опустился в кресло и громко зарыдал. А я на костылях поспешно покинул комнату.

Глава одиннадцатая

На другой день рано утром я был в поезде, увозившем меня в Давос, тоже лыжный курорт в двух часах езды от Сан-Морица. Давос знаменит своими долгими спусками с гор, но я не собирался их опробовать. Мне уже опротивела зима, румяные самодовольные лица, поскрипывание снега под ногами, звяканье колокольчиков на санях, цветастые лыжные шапки. Я тосковал по ленивому теплому югу, где почти любые решения можно с легким сердцем откладывать на завтра. Перед тем как купить билет, я раздумывал, не отказаться ли мне от дальнейших поисков, чтобы отправиться в Италию, Тунис или на средиземноморское побережье Испании, а там разгуляться на последние денежки. Но

первый поезд отходил на Давос, и я воспринял это как знамение Божие, обрекавшее меня остаться на зиму в холодной стране.

Из окна вагона открывался самый величественный в мире горный ландшафт со вздымавшимися ввысь вершинами гор, бездонно жуткими ущельями и ажурными мостами, перекинутыми через пенистые воды. На ясном лазурном небе надо всем царило, сверкало и переливалось ослепительно яркое солнце. Однако меня никак не трогали все эти красоты.

Прибыв в Давос, я первым делом отправился в больницу, чтобы с моей ноги сняли гипсовую повязку, и решительно отклонил все попытки двух врачей предвзительно сделать рентгеновский снимок.

— Скажите хотя бы, когда и где был наложен гипс? — спросил один из врачей, когда я весело соскочил со стола после снятия повязки.

— Вчера в Сан-Морице.

— А, в Сан-Морице, — и оба врача многозначительно переглянулись.

Врач помоложе проводил меня к окошечку кассы, чтобы убедиться, что я расплатился. Сто швейцарских франков. Выгодное для них дельце. Выходя из кабинета с чемоданами в руках, я готов был поклясться, что услышал, что один из врачей пояснил кассиру, что я американец. Словно все американцы такие чокнутые.

Сев в такси, я после короткой борьбы с немецким языком все же ухитрился объяснить водителю, что хочу остановиться в отеле подешевле. Он повез меня по городу, мы проезжали один отель за другим. До войны Давос считался туберкулезной столицей, но теперь все лечебные учреждения превратились в спортивные отели. Бесконечный ряд пустых балконов, где прежде тысячи укутанных больных, кашляя кровью, грелись в лучах зимнего солнца, напоминал об этом прошлом Давосе.

Наконец таксист привез меня к небольшому загородному дому своего зятя. Тот сносно говорил по-английски, и мы мило договорились. Плата за комнату с ванной была не такой уж маленькой, но более или менее подходящей после ужасных расходов в Сан-Морице.

Комната с узенькой кроватью была совсем крохотной: в ней не помещался мой большой чемодан. Владелец объяснил, что я могу держать его в коридоре, так как в Швейцарии нет воровства. Я едва удержался от смеха.

Наскоро распаковал вещи, беспорядочно побросав чужие шмотки в стенной шкаф. Смокинг оставил в чемодане. Несколько раз в Сан-Морице я надевал его, хотя особой ностальгии по этим случаям не испытывал. С удовольствием верну его законному владельцу, если этот тип встретится мне в Швейцарии.

Приняв ванну, я отмыл ногу от следов гипсовой повязки и, вернувшись к себе в комнату, впервые надел доставшуюся мне чужую спортивную куртку. Когда я засовывал в ее внутренний нагрудный карман бумажник с оставшимися у меня деньгами, там что-то зашуршало. Нащупав это, я вытащил сложенный пополам листок. Розовый, надушенный, исписанный мелким женским почерком.

У меня задрожали руки, я тяжело опустился на кровать и стал читать.

В письме не было ни адреса, ни даты.

«Любимый, дорогой мой, надеюсь, Вы не сходите с ума оттого, что в этом году я не смогу приехать в Сан-Мориц. — Дрожь пробежала у меня по всему телу, словно снежная лавина низверглась с вершин окружающих гор и потрясла все вокруг. — Мой бедняга Джон три дня назад вернулся с охоты с переломом бедра. Местный врач, который, должно быть, практиковал во времена Крымской войны, только разводил руками, когда его спрашивали о диагнозе. Пришлось везти больного в Лондон. Там хирурги затеяли бесконечный спор, надо ли оперировать или нет, а мой благоверный лежал и стонал от боли. Естественно, что его любящая супруга не могла носиться по склонам Альп, пока несчастье было так свежо и ужасно. Итак, я моталась туда и сюда, принося в больницу цветы, джин и уверяя больного, что на следующий год он снова отправится на охоту, которая, как вы знаете, его главное и, по существу, единственное занятие в жизни.

Однако еще не все потеряно. Я обещала, что Fev. Quatorze¹ навещу мою милую тетушку Эми во Флоренции. Вскоре благоверному станет лучше, и я уверена, что он сам будет настаивать, чтобы я поехала. У тетушки Эми всегда полно гостей, потому я остановлюсь в «Экс-цельсиоре», где так же хорошо или даже еще лучше. Буду

¹ 14 февраля (франц.).

искать в баре этого ресторана ваше сияющее приветливое лицо. С нетерпением, Л.»

Я еще раз перечитал письмо, и у меня сложилось не очень лестное мнение о женщине, которая писала его. Мне показалось манерным, что она не указала адреса, даты, «четырнадцать» написала по-французски и подписалась лишь одним инициалом. Я попытался представить себе, какова она. Наверное, это вполне модная, холодная английская красавица лет тридцати — сорока с манерами героинь Ноеля Говарда и Майкла Арлена. Но какова бы она ни была, она существует, а потому мне следует 14 февраля быть в отеле «Эксцельсиор» во Флоренции, чтобы встретить ее там вместе с любовником. Я припомнил, что 14 февраля — день Св. Валентина, праздник влюбленных.

На мгновение мне пришло в голову, что я вполне мог встретить распутного похитителя в Сан-Морице или даже в отеле «Палас», так что я призадумался, не вернуться ли туда. При мысли, что приятель мадам Л. может безнаказанно транжирить мои деньги в Сан-Морице целую неделю, мне стало не по себе. Но ведь, если я не нашел его до сих пор, где гарантия, что мне удастся распознать его сейчас? Из письма я выяснил лишь то, что в присутствии возлюбленной у него должно быть сияющее и приветливое лицо, да еще то, что он, по всей видимости, не женат или же приехал в Европу без супруги. И еще: он умеет считать по-французски, по крайней мере, до четырнадцати. Придется запастись терпением и подождать неделю.

Из Давоса, заполненного кашляющими личностями с впалой грудью, я уезжал в приподнятом настроении: снег мне порядком надоел. Поезд Цюрих — Флоренция проходил через Милан, где я сошел и даже провел одну ночь. Днем же я полюбовался на «Тайную вечерю» — грустный отголосок великой старины на каменной стене полуразрушенной церкви. Леонардо да Винчи вверг меня в состояние восторженной печали, и остаток дня я бродил по туманным миланским улочкам, упиваясь своей меланхолией.

Потом мне пришлось пережить несколько довольно тревожных минут. Началось все с того, что в стенах

сводчатой галереи, вознесенной над самым центром Милана, мне показалось, что за мной следит смуглый молодежавый субъект в длинном плаще. Я зашел в ближайшую закусочную, заказал чашечку кофе «эспрессо», субъект же удобно расположился напротив входа, не спуская с меня глаз. В Швейцарии я чувствовал себя в безопасности, здесь же, в Италии, где, припомнил я из газетных сообщений, царит организованная преступность, я начал чувствовать себя не в своей тарелке. Я медленно выпил вторую чашечку кофе, потом набрался мужества, расплатился и быстро вышел на улицу.

Незнакомец поспешно пересек аркаду, подскочил ко мне и уцепился за локоть. Стеклообразный глаз придавал его лицу злое выражение, а пальцы вцепились в мой локоть, словно стальные когти.

— Что за спешка, босс? — произнес он, шагая в ногу со мной.

— Опаздываю на свидание. — Я попытался высвободиться, но не тут-то было.

Он сунул руку в карман, и душа моя ушла в пятки.

— Не хотите купить прекрасное ювелирное украшение? — вдруг выпалил он. — Подлинное. Очень дешево.

Выпростав руку из кармана, он протянул мне какой-то завернутый в тряпочку предмет, который легонько звякнул.

— Замечательная золотая вещица для женщины, — пояснил он. Потом развернул тряпочку, и я увидел перед собой золоченую цепочку.

— У меня нет женщин, — отрезал я и прибавил шагу.

— Смотрите, какая красивая, — взмолился он. — В Америке вам такая обойдется в несколько раз дороже.

— Мне очень жаль, — отчеканил я и зашагал прочь.

Да, если и были у меня надежды затеряться в Европе, то они растаяли как дым. Куда бы я ни пошел, во мне повсюду узнают американца. Я всерьез раздумывал, не отпустить ли бороду.

На следующий день я отправился на скором поезде в Венецию, рассудив, что, быть может, другой возможности увидеть это чудо мне не представится. После Милана увиденное в Венеции загнало меня в щемящую тоску. Окутанные туманной дымкой каналы, печальные гудки паромов, темнеющие воды и заросшие зеленым мхом парапеты набережных в сером свете зимней Адриатики заставили меня задуматься о бренности суще-

ствования и напрочь стерли из памяти фривольную живость и безрассудство Сан-Морица. Я вспомнил, что Венеция медленно погружается в море. Бродил по узким улочкам, бесчисленным набережным и храмам, потягивал легкое белое вино в пустых кафе на площади Сан-Марко и наблюдал за итальянцами — занятие, которое мне особенно пришлось по душе. А вот в бар Гарри, где в любое время года толклись американские туристы, я заглянуть не рискнул. Меня интересовал лишь один американец, а уж он-то едва ли мог повстречаться мне в Венеции.

После этой прогулки я воспрял духом. Расшатанная швейцарскими приключениями нервная система, похоже, восстановилась. Так что в отель «Эксцельсиор» во Флоренции я приехал вечером тринадцатого февраля, преисполненный спокойствия и уверенный в том, что сумею справиться с любыми неожиданностями.

После превосходного ужина я отправился бродить по улицам Флоренции, постоял перед копией монументальной микеланджеловской статуи Давида на пьядца Синьории, размышляя о сущности геройства и сокрушении злодейства. Флоренция, чья история полна заговорами и мстью, борьбой гвельфов и гибеллинов, была подходящим местом для решительной встречи с похитителем моих денег.

Вполне естественно, что ночью я плохо спал и проснулся еще до того, как первые лучи солнца упали на беспокойные воды вздувшейся реки Арно, протекавшей под моим окном.

Расспросив в отеле о прибытии самолетов из Лондона в Милан и поездов из Милана во Флоренцию, я рассчитал, что она должна появиться около шести часов вечера. К этому времени я и займу в вестибюле подходящее место, откуда можно наблюдать за приезжающими, когда они регистрируются у портье.

В этот день я выпил очень много черного кофе, но ни капли алкоголя или даже пива. Изображая туриста, я расхаживал по залам галереи Уффици, но чудесное флорентийское искусство не производило на меня никакого впечатления. Я решил, что надо будет прийти в другое время и в другом расположении духа.

В маленькой лавке сувениров я купил нож для разрезания книг, он был наподобие острого стилета с серебряной рукояткой, украшенной затейливым ор-

наментом. Покупка не связана с какой-то определенной целью, уверял я себя, просто мне понравилась эта вещь.

Позднее, ближе к ожидаемому часу, я купил газету «*Роме Daily American*» и уселся с ней в одном из изящных кресел в вестибюле, но не у самого входа или конторки портье, а в некотором отдалении, откуда можно было следить за всеми входившими. Я был в своей одежде, чтобы ничем не выдать себя.

К шести часам я дважды перечитал газету. Никто не приехал, кроме какой-то американской семьи: дородный шумливый отец, изможденная мать в узких ботинках и трое бледных долговязых детей в одинаковых трехцветных (красно-бело-синих) с капюшонами куртках на молнии. Как я услышал, они приехали из Рима, на дорогах была гололедица. С трудом удержался я, чтобы не подойти к портье и не справиться, не опаздывает ли поезд из Милана.

От нечего делать я начал просматривать отдел светской хроники, который пропустил до этого, и со скукой узнавал, что в Пьерроли такой-то, о ком я никогда не слышал, устроил прием в честь такого-то, о ком я тоже никогда не слышал, когда в парадной двери показалась блондинка лет тридцати, без шляпы, за которой несли солидный багаж. У меня даже дух захватило. С первого же взгляда я невольно заметил, что она весьма привлекательна, с несколько удлинненным аристократическим носом и резко очерченным ртом. Коричневое пальто особенно (так мне показалось) изящного покроя безукоризненно сидело на ней. С уверенным видом особы, привыкшей всю свою жизнь останавливаться в дорогих первоклассных отелях, она подошла к конторке портье и назвала себя. Но как раз в это время трое американских отпрысков, еще находившихся в вестибюле, шумно заспорили между собой, кому из них первому принимать ванну, и я не смог расслышать ее имени. Если у меня когда-нибудь будут дети, с раздражением подумал я, никогда не возьму их с собой в дорогу.

Как прикованный, застыл я в кресле, пока она заполняла регистрационную карточку, подписала ее и бросила на стол свой паспорт. Покончив со всем этим, она направилась не к лифту, а прямо в бар. Нашупав у себя в кармане свой талисман — серебряный доллар, я под-

нялся и последовал за ней. Но когда я подошел к дверям бара, она уже выходила из него. Отступив в сторону, чтобы дать ей дорогу, я вежливо поклонился, но она не обратила на меня никакого внимания, и я даже не смог бы сказать, какое выражение лица у нее было.

Сев в углу бара, я заказал виски с содовой. В баре было пусто и полутемно. Мне не оставалось ничего другого — лишь сидеть и ждать.

Около семи вечера она снова вошла в бар. На ней было строгое черное платье, на шее двойная нитка жемчуга, на руке она несла свое коричневое пальто. Очевидно, она собиралась уходить. Постояв в дверях, она оглядела всех в баре. Семья американцев сидела вокруг стола, отец и мать пили мартини, дети — кока-колу, и глава семьи время от времени увещевал: «Ради Бога, ребята, прекратите верещать».

Пожилая английская пара сидела через стол от меня; он читал позавчерашний номер лондонской «Таймс», она, в пышном платье из пестрой ткани, безучастно глядела в пространство.

Несколько итальянцев поблизости от меня без умолку трещали, то и дело слышалось слово *disgrazia*¹, повторяемое со все большим пылом.

Только я сиротливо сидел за столиком.

Недовольная гримаска искривила губы блондинки, стоявшей в дверях. Лицо у нее было бледное, щеки едва розовели, глаза — темно-голубые, почти фиалковые. Строгое платье подчеркивало ее гибкую фигуру, стройные ножки были изящны. Я решил, что она не просто привлекательна, а красива.

Заметив, что я гляжу на нее, она слегка нахмурилась, что очень шло ей. Я отвел глаза. Она прошла через зал и села за столик по соседству с моим. Бросив пальто на спинку кресла, она устроилась поудобнее, вытащила пачку сигарет и массивную золотую зажигалку.

Официант тут же поспешил к ней, чтобы зажечь сигарету. Она, видимо, была из тех женщин, к которым немедленно устремляются, чтобы услужить им. Смуглый официант был молод, красив, темные глаза его настороженно блестели. Когда он почтительно изогнулся перед

¹ Позор (*итал.*).

ее столиком, то широко улыбнулся, показав ряд превосходных белых зубов.

— Джин, *per favore*¹, — сказала она. — Без льда.

— Еще виски с содовой, пожалуйста, — заказал я.

— *Prrego?* — спросил официант, и улыбка исчезла с его лица, когда он повернулся ко мне. При первом заказе он не задавал мне вопросов.

— Ему еще виски с содовой, — нетерпеливо итальянски пояснила блондинка.

— *Si, signora*², — улыбка снова заиграла на лице официанта.

— Благодарю вас за помощь, — поклонился я ей.

— Он отлично вас понял. Но это же итальянец. А вы американец, не так ли?

— Вероятно, это сразу бросается в глаза.

— Ничего в этом зазорного нет. Люди имеют право быть и американцами. Давно вы тут?

— Явно недостаточно, чтобы научиться итальянскому языку, — ответил я, чувствуя, как участился у меня пульс. Все шло лучше, чем я смел надеяться. — Только вчера вечером приехал.

Она нетерпеливо махнула рукой:

— Я имела в виду, давно ли вы сидите в баре.

— Около часа.

— Около часа, — повторила она. Говорила она быстро, проглатывая слова, но голос был очень мелодичный. — Вы не заметили случайно, здесь не бродил еще один американец? Ему лет пятьдесят, хотя выглядит он моложе. Весьма видный, с небольшой проседью. Возможно, он искал глазами кого-нибудь.

— Погодите, — сказал я, наморщив лоб в нарочитом раздумье, — а как его зовут?

— Вам незачем знать его имя, — ответила она, строго взглянув на меня. Неверные жены, даже англичанки, как видно, не очень-то охотно называют имена или адреса своих любовников.

— Вообще-то я особенно не приглядывался, — с невинным видом продолжал я, — но, кажется, заметил в дверях одного человека, похожего на того, которого вы описали. Примерно в половине седьмого. — Мне хоте-

¹ Будьте добры (*итал.*).

² Да, синьора (*итал.*).

лось, чего бы это ни стоило, поближе с ней познакомиться и как можно дольше задержать ее в баре.

— Какая скука, — с досадой произнесла она. — И что за почта в наши дни!

— Простите, — сказал я, нащупав ее письмо в кармане, — я не совсем вас понял.

— Это неважно, — поморщилась она.

Официант поставил перед ней рюмку с таким видом, словно собирался преклонить колено. Мне виски было подано без всяких церемоний. Она подняла рюмку и кивнула мне. Как видно, к незнакомцам в баре она относилась без девического предубеждения.

— Вы надолго сюда? — спросил я.

— Кто его знает, — пожала она плечами. На ее рюмке краснел след губной помады. Мне очень хотелось узнать ее имя, но не следовало торопиться с этим. — Старая Флоренция прекрасна. Бывала я в городах и повеселее. — Она резко повернула голову, чтобы взглянуть на входивших в бар. Вошла семейная немецкая чета, и она нахмурилась, нетерпеливо взглянула на часы. — А вы загорели, — заметила она. — Ходили на лыжах?

— Немного.

— Где?

— Сан-Мориц, Давос, — соврала я.

— Обожаю Сан-Мориц и весь тамошний занятный народ.

— Вы были там в этом году?

— Нет, одно горестное событие помешало. — Она со скукой оглядела помещение бара. — Как уныло тут. Должно быть, Данте похоронили по соседству. Вы не знаете в городе какого-нибудь местечка повеселее?

— Вчера вечером я был в очень неплохом ресторане Саббатини. Если вы пожелаете присоединиться ко мне...

В этот момент вбежал мальчик-посыльный, выкрикивая:

— Леди Лили Эббот. Леди Лили Эббот...

Она поманила к себе мальчика, а я тут же вспомнил, что ее письмо было подписано буквой «Л».

— *Telephono per la signora*¹, — сказал посыльный.

— *Finalmente*²! — воскликнула она, поднялась и последовала в холл за посыльным. Сумочку оставила в

¹ К телефону, сеньора (*итал.*).

² Наконец-то (*итал.*).

кресле, и я был не прочь заглянуть в нее, пока она говорит по телефону, но немецкая чета почему-то пристально уставилась на меня. Пришлось отказаться от своих намерений.

Минут через пять она вернулась. Лицо ее пылало благородным негодованием. Она тяжело опустилась в кресло, вытянув ноги под столом.

— Надеюсь, ничего плохого, — участливо произнес я.

— Но и ничего хорошего, — утрюмо отозвалась она. — Пока лишили меня счастья и блаженства. Изменения в расписании. Что ж, кто-то из нас пострадает. — Медленно допив джин, она достала из сумочки сигареты и зажигалку.

— Если вы свободны... — неуверенно начал я. — Я как раз хотел предложить, когда вас позвали к телефону, леди Эббот. — Первый раз в жизни я обращался к женщине, называя ее «леди», и почти споткнулся на этом слове. — Мне хотелось пригласить вас...

— Извините, — перебила она. — Очень мило с вашей стороны, но я занята. Приглашена на ужин. Машина ждет меня у подъезда. — Она поднялась, захватив пальто и сумочку. Я тоже галантно поднялся.

Твердо взглянув мне прямо в глаза — решение, видно, было уже принято, — она сказала:

— Ужин должен закончиться рано. Милые мои старушки пойдут бай-бай. И если хотите, мы можем выпить на сон грядущий.

— О, конечно.

— Скажем, в одиннадцать часов. Здесь же, в баре.

— Буду ждать.

Она покинула бар, оставив за собой волну сладостного трепета, подобного замирающим в отдалении звукам церковного органа.

Ночь я провел у нее в номере. Все произошло чрезвычайно просто.

Раздеваясь, она сказала:

— Я приехала во Флоренцию грешить. И согрешу.

Кажется, лишь под утро она поинтересовалась, как меня зовут.

Несмотря на свое высокомерие и заносчивость, она была нежной очаровательной любовницей, нетребовательной и благодарной. Не могу сказать, что удовольст-

вие обладать этой женщиной было больше оттого, что к нему примешивалась месть за похищенные семьдесят тысяч.

Лили Эббот была начисто лишена даже обычного женского любопытства. Мы мало разговаривали, и она не спрашивала, кто я такой, чем занимаюсь, почему я во Флоренции и куда собираюсь ехать.

Перед тем как уйти от нее (она настаивала, чтобы я ушел, пока в отеле еще не встали), я спросил, можем ли мы вместе позавтракать сегодня.

— Еще не знаю, — ответила она. — Мне должны звонить по телефону. Поцелуйте меня на прощанье.

Я склонился над ней и поцеловал ее, глаза у нее были закрыты, и она, по-видимому, сразу заснула, еще до моего ухода.

Шагая к себе через роскошно обставленный холл, я почувствовал внезапный прилив оптимизма. В Цюрихе, Сан-Морице, Давосе не было ничего хорошего, никаких надежд. Вплоть до этой чудесной ночи. Будущее, правда, было еще далеко не ясным, но возник проблеск надежды.

Будь благословен чудесный день Св. Валентина!

Обессиленный ночными переживаниями, я повалился у себя в номере на постель и крепко заснул, проспав почти до полудня.

Проснувшись, я потянулся и лежал неподвижно, уставясь в потолок и ощущая сладкую истому во всем теле. Сняв потом трубку, позвонил. Долго никто не отвечал, затем горничная подняла трубку и сказала:

— Леди Эббот выписалась сегодня в десять утра. Нет, она не оставила записки.

Потребовалась ложь и в придачу к ней десять тысяч лир, чтобы заставить клерка в конторе разговаривать и узнать от него, что леди Эббот распорядилась не сообщать никому ее адрес, который она оставила только для пересылки ей писем. Сунув клерку деньги, я доверительно шепнул ему, что леди забыла у меня в номере драгоценности изрядной стоимости, которые я обязан вернуть ей лично.

— Bene, signore¹, — кивнул клерк. — Отель на площади Атений в Париже. Пожалуйста, объясните леди

¹ Хорошо, синьор (итал.).

Эббот, что адрес сообщен лишь ввиду особых обстоятельств.

— Непременно, — пообещал я.

На другой день я уже был в Париже на площади Атеней. Когда я справлялся в отеле о свободных местах, я увидел ее. Она шла через вестибюль под руку с мужчиной с проседью и пушистыми английскими усами. Он был без шляпы, в темных очках. Я узнал этого субъекта: то был Майлс Фабиан, карточный игрок, который играл в бридж в отеле «Палас» в Сан-Морице.

Они не заметили меня и вышли на щедро залитое солнцем авеню Монтевь, направляясь на изысканный завтрак, двое счастливых любовников в этом городе влюбленных, оба чуждые и всему остальному миру, и мне.

Я стоял в нескольких шагах от них, стилет лежал у меня в чемодане, а в сердце моем закипала кровавая жажда мщения.

Глава двенадцатая

На следующее утро с половины девятого я занял наблюдательный пост в вестибюле. Прождав часа два, я заметил Лили Эббот, которая выходила из отеля. Во Флоренции мне не пришлось видеть ее при дневном свете, и она теперь показалась мне еще прелестней. Она была именно той женщиной, в которой воплотилась бы американская мечта о многогрешной неделе в Париже.

Убедившись, что она ушла, не заметив меня, я поднялся к себе в номер. Там я быстро — неизвестно, сколько времени могла отсутствовать Лили Эббот, — уложил в чемодан все вещи Фабиана в том порядке, как они лежали в нем. Потом вызвал посыльного, чтобы отнести чемодан.

В карман я сунул стилет в кожаных ножнах. Нервная дрожь охватила меня, дыхание стало частым и прерывистым. Я смутно представлял себе, как встречу с Фабианом и как буду говорить с ним.

Посыльный пришел, взял чемодан, и я последовал

за ним на шестой этаж. И надо ж так, что опять на шестом этаже, подумал я. Лифт остановился, двери открылись, и я вышел вслед за посыльным в коридор. Звуки наших шагов тонули в пышном ковре. По дороге мы не встретили ни души — видно, богатые постояльцы не терпели суеты. У номера, занимаемого Фабианом, посыльный поставил мои вещи и хотел было постучать, но я остановил его.

— Не нужно, — сказал я. — Я сам. Мистер Фабиан мой друг.

Я протянул посыльному пять франков. Он поблагодарил и ушел.

Затем я негромко постучал в дверь.

Открыл мне сам Фабиан.

— Что вам угодно? — вежливо спросил он.

— Полагаю, это ваш чемодан, — сказал я, протиснувшись мимо него в прихожую и входя затем в большую гостиную, где были разбросаны газеты на нескольких языках. Повсюду в вазах стояли цветы. Страшно было даже подумать, сколько в сутки стоил этот номер. Я услышал, как Фабиан закрыл за мной дверь, и невольно спросил себя, а не вооружен ли он.

— Послушайте, — сказал он, когда я повернулся к нему, — это явная ошибка.

— Никакой ошибки, — отрезал я.

— А кто вы, в таком случае? Мы когда-либо прежде встречались?

— Да, в Сан-Морице.

— А, вспоминаю. Вы тот молодой человек, что в этом году всюду сопровождал миссис Слоун. Боюсь, я не запомнил ваше имя. Гр... Грим... так, что ли?

— Граймс.

— Ах да, Граймс. Простите меня. — Фабиан был совершенно спокоен, говорил ровным приятным голосом. — Я уж собрался уходить, — заметил он, — но на минутку могу задержаться. Присядьте.

— Не беспокойтесь, я постою, — сказал я и указал на чемодан, который поставил посреди гостиной. — Мне бы хотелось, чтобы вы открыли ваш чемодан и проверили, целы ли все ваши вещи.

— Мой чемодан? Дорогой мой, я никогда...

— Извините, что сломан замок, — продолжал я, — но пришлось открыть его, чтоб окончательно убедиться в ошибке.

— Не понимаю, о чем вы говорите. Никогда в своей жизни я не видел этот чемодан. — Если бы он в течение года репетировал эту фразу, то вряд ли смог бы произнести ее с большей уверенностью.

— Когда вы проверите, что все ваши вещи целы, верните, пожалуйста, мой чемодан. Тот, что вы подхватили в Цюрихе. Верните со всем, что в нем было. — Слова «со всем» я особенно подчеркнул.

Фабиан пожал плечами:

— Чрезвычайно странно. Если хотите, можете обыскать комваты, и сами убедитесь...

Я вынул из кармана письмо Лили Эббот.

— Письмо это я нашел в вашей куртке. И позволил себе прочесть его.

— Все у вас становится более и более таинственным, — сказал Фабиан, бегло взглянув на письмо и сопроводив это очаровательным протестующим жестом джентльмена, не читающего чужих писем. — В нем нет ни имени, ни адреса, — ткнул он пальцем в письмо. — Его мог написать кто-то кому угодно. Почему же вы решили, что оно имеет какое-то отношение ко мне? — Тон его уже стал несколько раздраженным.

— Эту мысль подсказала мне леди Эббот.

— О, вот как. Должен признаться, что она мой друг. Как она поживает?

— Вполне здорова. Десять минут тому назад я видел ее в вестибюле.

— Боже мой, Граймс, неужели вы хотите уверить меня, что Лили здесь, в отеле?

— Хватит, — оборвал я. — Вы знаете, почему я пришел к вам. Мои семьдесят тысяч долларов. Ясно?

Он рассмеялся почти естественно:

— Вы шутите, не правда ли? Это Лили вас подучила? Она известная шутница.

— Я пришел за своими деньгами, мистер Фабиан, — сказал я угрожающе.

— Вы, должно быть, не в своем уме, сэр, — решительно произнес Фабиан. — А сейчас мне пора идти.

— Вы не уйдете, пока не вернете мне деньги, — воскликнул я, схватив его за руку. Было досадно, что вскричал я тонким голосом. Положение требовало, чтобы слова произносились внушительным басом, а я пел тенором. Высоким тенором.

— Уберите руки, — потребовал Фабиан, вырвался и

брезгливо стал очищать свой рукав. — Не прикасайтесь ко мне. Если вы сейчас же не уйдете, я позвоню в дирекцию и попрошу вызвать полицию.

Схватив со стола лампу, я ударил его по голове. От удара лампа разлетелась вдребезги. Фабиан медленно оседал на пол, и лицо у него было удивленное. Тонкая струйка крови побежала у него по лбу. Я вынул стилет и, наклонившись над упавшим, ожидал, когда он придет в себя. Прошло около пятнадцати секунд, прежде чем Фабиан открыл глаза. Они были мутны, без всякого выражения. Я приставил острый стилета к его горлу. Он сразу же пришел в сознание и с ужасом уставился на меня.

— Я не шучу, Фабиан, — проговорил я. И в самом деле, в этот момент я был способен убить его. Так же, как и он, я весь дрожал.

— Ладно, — заплетающимся языком вымолвил он. — Не надо насилия... Я взял ваш чемодан... Помогите мне подняться.

Я помог ему встать на ноги. Он немного шатался и сразу же спустился в кресло. Провел рукой по лбу и увидел, что рука в крови. Вынув платок, он стал прикладывать его к рассеченному месту.

— Боже мой, вы чуть не убили меня, — слабым голосом произнес он.

— Ваше счастье, что этого не случилось, — сказал я.

Фабиан попытался улыбнуться, но, взглянув на стилет, который я все еще держал в руке, поморщился.

— Ножи всегда вызывают у меня отвращение, — пожаловался он. — А вы, должно быть, ужасно любите деньги.

— Не больше, чем вы.

— Из-за них я не стал бы убивать.

— Почему знать? Я тоже никогда не думал, что способен на это. До сегодняшнего дня. Где деньги?

— У меня их нет.

Я угрожающе шагнул к нему.

— Остановитесь. Ради Бога, остановитесь. Ну... хорошо... у меня просто сейчас их нет при себе... Но они в наличии. Не размахивайте, пожалуйста, этим ножом. Я уверен, что мы сможем договориться. — Фабиан снова приложил платок к кровоточащему лбу.

И вдруг я обмяк. Меня начало дико трясти. Я был в ужасе от того, что едва не совершил. Ведь я действи-

тельно мог убить человека. Я бросил стилет на стол. Если бы в этот миг Фабиан заявил, что не даст мне ни цента, я бы повернулся и вышел, махнув на все рукой.

— В глубине души, — меж тем спокойно продолжал Фабиан, — я, конечно, сознавал, что однажды кто-нибудь может появиться и потребовать деньги. Меня это очень тревожило. Но боюсь, что вам придется некоторое время обождать возврата денег.

— Как это понимать? Что это за «некоторое время»? — все еще пытаюсь говорить грозным тоном, спросил я, сознавая, что вид мой не соответствует тону.

— Дело в том, мистер Граймс, что я позволил себе некоторую вольность с вашими деньгами. Пустил их в оборот, — сказал он с извиняющейся улыбкой врача, сообщающего о неизлечимой болезни. — Нельзя было допустить, чтобы деньги бесполезно лежали без движения. Как вы считаете?

— У меня прежде не было денег и нет опыта, как обращаться с ними.

— О, неожиданное богатство. Я тоже подумал об этом. Если вы не возражаете, я пройду в ванную и отмою следы крови. Вот-вот придет Лили, и мне бы не хотелось пугать ее своим видом.

— Идите, — сказал я, усаживаясь, — я подожду вас здесь.

— Не сомневаюсь, — кивнул он, поднявшись с кресла и уходя в ванную. Вскоре послышался звук льющейся воды. Из ванной через спальню был выход в коридор, но я был уверен, что он не сбежит. А если бы он и захотел уйти, я бы не стал его задерживать, ибо находился в каком-то оцепенении. Деньги в обороте. Капиталовложения. Я представлял себе различные варианты встречи с человеком, похитившим у меня деньги, но уж никак не мог вообразить, что она обернется деловым финансовым обсуждением.

Фабиан вышел из ванной умытый, причесанный. Шаггал он твердо, и ничто не указывало на то, что несколько минут назад он без чувств и в крови лежал на полу.

— Прежде всего, — сказал он, — не хотите ли выпить?

Я кивнул, и он подошел к серванту, достал бутылку шотландского виски и налил два стаканчика. Я выпил залпом, он пил медленно, сидя в кресле и вертя стаканчик в руке.

— Если бы не Лили, — усмехнулся Фабиан, — вы бы, вероятно, никогда не нашли меня.

— Вполне возможно.

— Женщины, — вздохнул он. — Вы спали с ней?

— Предпочел бы не отвечать на этот вопрос.

— Что ж, вы правы. — Он снова вздохнул. — Ну, а теперь... Думается, вы позволите мне рассказать с самого начала. У вас есть время?

— С избытком.

— Прежде чем я начну, разрешите оговорить одно условие?

— А именно?

— Вы ничего не скажете Лили о... обо всем этом. Как вы могли заметить из письма, она весьма высокого мнения обо мне. И мне бы не хотелось...

— Если я получу обратно деньги, я никому не скажу ни слова.

— Вполне справедливо. — Он опять вздохнул. — Если не возражаете, я вначале расскажу немного о себе.

Я не возражал, и он пообещал, что будет очень лаконичен.

Рассказ оказался не таким уж коротким. Начал Фабиан со своих родителей-бедняков. Отец был мелким служащим на небольшой обувной фабрике в Лоуэлле в штате Массачусетс, где Майлс родился. В доме всегда не хватало денег. Ему не пришлось учиться в колледже. Во время второй мировой войны Майлс служил в авиации под Лондоном. Там он встретил девушку — англичанку с Багамских островов, где у ее родителей были большие поместья. По окончании войны Майлс демобилизовался в Англии и после стремительного ухаживания женился на этой богатой девушке.

— Каким-то образом, — пояснил он мне причину вступления в этот брак, — у меня вдруг возникла склонность к шикарной жизни. Работать не было никакого желания, и в то же время никаких перспектив, чтобы жить той жизнью, которая меня манила.

Приняв британское подданство, Майлс со своей женой отправился на Багамские острова. Родители жены были не скупы, но и не щедры, а потому он начал играть, чтобы пополнить свои средства. Играл главным образом в бридж и триктрак.

— Увы, — заметил он, — обнаружились у меня и другие слабости. Женщины.

И вот однажды собрался семейный совет, после чего последовал быстрый развод с женой. И с тех пор Майлс стал профессиональным картежником. По большей части жил довольно сносно, но в постоянной тревоге. Приходилось много разъезжать. Нью-Йорк, Лондон, Монте-Карло, Париж, Сан-Мориц, Гштаад.

— Я жил сегодняшним днем, из руки в рот, — продолжал он, — не заглядывая в будущее. Мне то и дело подворачивалась возможность разбогатеть, но для этого у меня не было даже небольшого капитала. Не скажу, что это отравляло мне жизнь, но я был недоволен своей судьбой. За несколько дней до полета в Цюрих мне исполнилось пятьдесят лет, и я сознавал, что будущее ничего не сулит мне. А как тошно жить среди богатых, когда у самого почти ни гроша за душой. Делать вид, что проигрыш, скажем, трех тысяч так же мало значит для тебя, как и для них. Переезжать из одного первоклассного отеля в другой, когда ты, так сказать, на игре, а в перерывах прятаться в захудалых гостиницах.

Особенно выгодной была обстановка в лыжных клубах. Из года в год там шла почти постоянная карточная игра. У Майлса был цветущий привлекательный вид, он ходил на лыжах, чтобы узаконить свое членство в клубе, аккуратно платил долги и свою долю расходов в компаниях, никогда не мошенничал, был очень мил с женщинами, знакомился с греческими, южноамериканскими и британскими миллионерами, игроками по натуре, гордившимися своим карточным умением, а на самом деле весьма беспечными в игре.

Была также возможность подцепить какую-нибудь вдовушку или разведенную со средствами.

— К несчастью, — со вздохом прибавил он, — я ужасный романтик, явный недостаток в моем возрасте. То, что навязывалось, я не брал, а то, что привлекало, не предлагалось. Во всяком случае, — несколько рисуясь, заметил он, — я сам понимаю, что выгляжу вовсе не героем.

— Не спорю, — сказал я.

— Я лишь хочу, чтобы вы верили, что я говорю правду и что мне можно доверять.

— Продолжайте. Пока я еще не доверяю вам.

— Итак, теперь вы знаете того, кто пытался открыть чемодан в одном из роскошных номеров отеля «Палас»

в Сан-Морице и обнаружил, что секретный замок не открывается.

— И тогда вы вызвали человека, чтобы взломать замок, — сухо заметил я, вспомнив, как это происходило у меня.

— Совершенно верно. Когда открыли чемодан, я тут же обнаружил, что он не мой. Не знаю, почему я вслух не сказал об этом. Возможно, какое-то шестое чувство удержало меня. Или, быть может, потому, что сверху лежал новенький кейс, который обычно носят с собой, а не кладут в чемодан. Так или иначе, я дал человеку на чай и отпустил его... Кстати сказать, мне было жаль выбросить ваш кейс, и я с удовольствием возвращаю его вам.

— Благодарю вас.

— Не стоит благодарности, — без всякой иронии поклонился он. — Когда затем я сосчитал деньги, конечно, сразу понял, что они украдены.

— Да, конечно.

— Согласитесь, что это несколько меняет моральную, так сказать, сторону всего этого дела, не правда ли?

— Отчасти.

— Также было ясно, что тот, кто вез через океан эти деньги, не обратится за помощью к полиции. Вы не станете отрицать этого?

— Нет, не стану.

— Осмотрев тщательно содержимое вашего чемодана, я пришел к заключению, что владелец его человек небогатый, если не сказать больше.

Я утвердительно кивнул.

— В чемодане не было ни записных книжек, ни писем — ничего, что могло бы указать имя владельца. Не было даже ни одного лекарства с рецептом, на котором стояло его имя.

Я невольно рассмеялся.

— Вы, должно быть, необычайно здоровый человек, — одобрительно заметил Фабиан.

— Так же, как и вы, — усмехнулся я.

— А, вы, значит, тоже искали у меня рецепты?

— Разумеется.

— Далее я стал припоминать, осталось ли что-нибудь в моем чемодане, что указывало на меня. И решил, что ничего там нет. Совершенно упустил из виду письмо Лили. Мне казалось, что я его выбросил. Но даже если

бы письмо и нашли, то, зная присущую ей осторожность, можно было быть уверенным, что в нем нет ни имени, ни адреса. Ну и, следовательно, мое решение было вполне очевидным.

— Вы попросту присвоили деньги.

— Позвольте сказать, что я пустил их в оборот. В хороший оборот.

— А именно?

— Разрешите объяснить все по порядку. Так вот, у меня никогда не было достаточно денег, чтобы основательно рискнуть, когда везет. Если я выигрывал, что бывало чаще, то не пожинал полностью плоды своего счастья в игре. Я, например, не отважился играть в бридж более пяти центов за очко.

— Да, жена Слоуна говорила мне, что вы играли с ним по этой ставке.

— Только в первый вечер. Затем мы перешли на десять центов. Потом на пятнадцать. Понятно, что Слоун, много проигравший мне, лгал своей жене.

— Сколько же он проиграл?

— Буду откровенен с вами. Когда я уезжал из Сан-Морица, в моем бумажнике лежал чек Слоуна на двадцать семь тысяч долларов.

Присвистнув от удивления, я с невольным уважением поглядел на Фабиана. Моя игра в покер в Вашингтоне выглядела жалким упражнением. А вот он действительно был игрок, который знал, как надо положиться на удачу. Однако меня тут же озлобила мысль, что рисковал-то он моими деньгами.

— Какого черта вы мне все это рассказываете? — сердито спросил я.

Фабиан умиротворяюще поднял руку:

— Все в свое время, дорогой мой. Хочу добавить, что я был так же счастлив и в триктраке. Может, вы помните того страстного молодого грека с красавицей женой?

— Очень смутно.

— Поверьте, он был восхищен, когда я предложил увеличить ставки. В итоге — чистоганом девять тысяч с лишним.

— Значит, — хрипло проговорил я, — вы сорвали еще тридцать шесть тысяч. Рад за вас, Фабиан. Стало быть, вы при деньгах. Верните мне мои семьдесят тысяч, мы пожмем друг другу руки, выпьем и разойдемся в разные стороны.

Он грустно покачал головой:

— Все это не так просто.

— Не испытывайте моего терпения. Либо у вас есть деньги, либо их нет. И для вас же лучше, чтобы они были в наличии.

— Надо бы нам выпить еще по рюмке, — сказал Фабиан, поднимаясь и идя к серванту.

Я проводил его сердитым взглядом. После того, что уже произошло, когда я чуть не убил его, всякие словесные угрозы теряли свое значение. Мне пришло в голову, что, может, он просто заговаривает мне зубы, ожидая, чтобы кто-нибудь — горничная, Лили или один из его знакомых — вошел в комнату. И тогда он мог бы, имея свидетеля, обвинить меня в том, что я приставал к нему, требуя уплаты несуществующего долга, или пытался продать ему грязные порнографические открытки, или еще что-нибудь в этом роде, дабы иметь предлог выгнать меня из отеля. Когда он поднес мне рюмку, я сказал:

— Имейте в виду, Фабиан, если вы мне лжете, в следующий раз я приду к вам с пистолетом.

— Доверьтесь мне, — ответил он, усаживаясь с рюмкой в руке. — У меня есть планы для нас обоих, и они требуют взаимного доверия.

— Какие планы? — спросил я, чувствуя, что этот многоопытный человек, несколько минут назад бывший на волосок от смерти и все же спокойный и твердый, ловко играет со мной, как с ребенком. — Вы за это время взяли еще тридцать шесть тысяч, а говорите, что вам не так просто вернуть мне мои деньги. Почему?

— По той причине, что я пустил их в оборот.

— Какой оборот?

— Позвольте мне сначала обрисовать в основном тот план, который я наметил для нас. — Он глотнул виски. — Возможно, вам не понравится то, что я уже сделал, но в дальнейшем, я уверен, вы будете мне глубоко благодарны.

Я собрался было перебить его, но он сделал знак, прося, чтобы я выслушал его.

— Семьдесят тысяч, понятно, большой кусок. Особенно для такого молодого человека, как вы, который, как видно, никогда еще не ворочал деньгами.

— Куда вы это гнете, Фабиан? — не удержался я, так

как видел, что шаг за шагом все идет к тому, что я уже буду не способен ни возразить, ни предпринять что-либо.

Он продолжал спокойно, уверенно и убедительно:

— На сколько вам хватит этих денег? На год, на два? Самое большее на три года. И как только вы всплывете наверх, за вами начнут охотиться потакающие вашим слабостям подхалимы и алчные женщины. У вас мало опыта, если он вообще есть, в обращении с большими деньгами. Это видно хотя бы потому, как вы пытались вывезти их в Европу.

Я молчал, не зная, что возразить.

— С другой стороны, — проговорил он, глядя мне прямо в глаза, — я почти тридцать лет ворочал крупными деньгами. Вы года, скажем, через три сядете на мель, без гроша в кармане, в каком-нибудь захолустье в Европе, ибо я сомневаюсь, что вам удобно вернуться в Америку, а я... — Он остановился, загадочно поглядев на меня.

— Продолжайте, — сказал я.

— А я, имея эти деньги для начала, не буду удивлен, если сделаю больше миллиона.

— Долларов?

— Нет, фунтов стерлингов.

— Должен признаться, что ваша хватка пленяет. Но что мне за польза от этого?

— Мы станем компаньонами, — невозмутимо заявил Фабиан. — Прибыль будем делить пополам. Что может быть лучше?

— Значит, к моим деньгам прибавятся и ваши тридцать шесть тысяч? — спросил я.

— За вычетом некоторых расходов.

— Каких именно?

— Ну, оплата отелей, дороги, развлечений.

Я оглядел комнату, в которой было полно дорогих цветов.

— Что-нибудь осталось?

— Довольно много. Послушайте, — с жаром проговорил он, — чтоб успокоить вас, сделаем так: через год вам разрешается забрать свои семьдесят тысяч, если вы того пожелаете, и выйти из компании.

— А если за этот год мы все потеряем?

— Так то риск, на который мы оба идем. И я верю, что он оправдывает себя. Кроме того, укажу вам еще на

некоторые преимущества. Как американец вы обязаны платить подоходный налог, верно?

— Да, но я...

— Вы хотите сказать, что вовсе не собираетесь платить его. Действительно, если вы просто профукаете ваши семьдесят тысяч, у вас не будет никаких затруднений и забот. Но если вы станете увеличивать свой капитал законными или даже полузаконными путями, то вам придется остерегаться целого легиона американских агентов по всей Европе, их осведомителей в банках и деловых конторах... Вы будете в постоянном страхе, что у вас отберут заграничный паспорт, оштрафуют, возбудят уголовное преследование...

— Ну, а вы-то сами?

— Я британский подданный с постоянным местожительством на Багамских островах. И даже не заполняю анкету для обложения налогом. И вот еще наглядный пример. Вам, как американцу, запрещено покупать и продавать золото, хотя ваше правительство время от времени шумит, что оно отменит этот запрет. У меня же нет таких ограничений. А ведь в наши дни золотой рынок наиболее соблазнительный. Забавляясь игрой со Слоуном и молодым греком, я заодно купил изрядное количество золота. Вы следите за его курсом?

— Нет.

— Так вот я... простите, мы уже имеем на нем десять тысяч.

— За три недели? — удивился я.

— За десять дней, если быть точным, — поправил меня Фабиан.

— Что же еще вы сделали с моими деньгами? — спросил я, все еще цепляясь за то, что они мои, но уже с меньшей силой...

— Ну... — он несколько замялся. — От компаньона ничего не следует скрывать. Я купил коня.

— Коня? — почти простонал я. — Какого коня?

— Породистого скакуна. Из-за него-то я и не приехал, как было условлено, во Флоренцию, к большой досаде Лили. Отправился в Париж, чтоб завершить сделку. Еще прошлым летом в Довилле я обратил внимание на этого скакуна, но, увы, был не в состоянии купить его. Да он тогда и не продавался. У меня есть друг в Кентукки, у которого скаковая конюшня и ферма, где он выращивает породистых лошадей. Его интересуют

жеребцы-производители, и я убежден, что он будет весьма благодарен, если я дам ему знать об этом коне. Из чувства дружбы, так и быть, продам его.

— А если он откажется? — К этому времени я почти незаметно оказался втянутым в обсуждение того, что четверть часа назад показалось бы мне бредовыми фантазиями игрока. — Что тогда?

Фабиан пожал плечами и любовно подкрутил кончики своих усов — водилась за ним такая привычка, когда у него не было готового ответа.

— Тогда это прекрасное начало для нашей скаковой конюшни. Я еще не выбрал цвета для жокеев. Какие вы предпочитаете?

— Те, что в синяках. Черный и синий.

Он раскатисто рассмеялся:

— Весьма рад, что вы наделены чувством юмора. Скучно иметь дело с мрачными людьми.

— Можно мне узнать, во сколько же обошлось это животное?

— О, безусловно. Шесть тысяч долларов. Прошлой осенью на пробежке эта лошадка немного повредила себе ногу, поэтому продавалась по дешевке. Но ее наездник, старый мой друг, — похоже, у Фабиана друзья по всему свету и во всех профессиях, — заверил меня, что сейчас она в полном порядке.

— В полном порядке, — машинально повторил я. — А куда еще вы вложили мои деньги?

Фабиан снова подкрутил свои усы.

— Случился и такой грех, — кивнул он. — Надеюсь, вы не чересчур стыдливы.

— В меру, — ответил я, вспомнив отца и его чтение Библии. — А в чем дело?

— Есть у меня одна знакомая, восхитительная француженка. Я обязательно навещаю ее всякий раз, когда бываю в Париже, — он мечтательно улыбнулся, видимо, представив себе эту очаровательную француженку. — Она интересуется кино. Говорит, что в свое время была актрисой. Теперь она продюсер, занимается производством фильмов. Ее старый поклонник ссужает ее деньгами для этого. Но он жмот, как я понял. Сейчас у нее в разгаре производство одного фильма. Очень неприличного. Я бы даже сказал, исключительно непристойного. Мне показали отдельные кадры. Гм... чрезвычайно забавно. Вы знаете, какую прибыль дают эти фильмы?

Скажем, такой порнофильм, как «Глубокое горло», сделанный в Америке?

— Понятия не имею.

— Миллионы, браток, миллионы! — мечтательно вздохнул он. — Моя француженка дала мне прочитать сценарий. Весьма грамотно состряпано. В выдумке им не откажешь. И очень возбуждает. Хотя в целом достаточно невинно. Обстановка изысканная, декорации — просто шик, словом, всего понемногу на любой вкус. Сочетание Генри Миллера и «Тысячи и одной ночи». Моя подруга — кстати, она же и режиссер фильма — приобрела сценарий за бесценок у одного молодого иранца, которого не пускают обратно на родину. Расходы она уменьшила до предела, но все же постановка может влететь в копеечку. Хотя некоторые фильмы подобного рода обходятся менее чем в сорок тысяч долларов. А такая классика, как «Глубокое горло», стоила порядка шестидесяти тысяч. Одним словом, моей француженке не хватало пятнадцати тысяч долларов.

— И вы, конечно, пообещали дать ей.

— Совершенно верно, — лучезарно улыбнулся Фабиан. — В благодарность она предложила мне двадцать процентов прибыли.

— И вы согласились?

— Нет. Я выговорил двадцать пять процентов, — сказал он с той же лучезарной улыбкой. — Я могу быть другом, однако прежде всего я деловой человек.

— Фабиан, — пожал я плечами, — просто не знаю, смеяться мне или плакать?

— Со временем начнете улыбаться. Это по меньшей мере. Так вот, сегодня у них просмотр отснятых кадров. Мы приглашены, и я уверен, что это произведет на вас большое впечатление.

— Никогда еще в своей жизни не видел порнографического фильма, — развел я руками.

— Никогда не поздно посмотреть, — заверил меня Фабиан. — А теперь, — с живостью предложил он, — давайте пойдем в бар и подождем там Лили. Она должна вскоре прийти. Скрепим нашу сделку шампанским. Я угощу вас таким завтраком, какого вы еще никогда не ели. А после завтрака отправимся в Лувр. Вы когда-нибудь были в Лувре?

— Я лишь вчера впервые приехал в Париж.

— Завидую: у вас все впереди.

Только мы распили бутылку шампанского, как в бар вошла Лили Эббот. Фабиан представил меня как старого знакомого из Сан-Морица. Она и виду не подала, что мы когда-либо встречались.

Фабиан заказал вторую бутылку.

И чего они все находят в этом шампанском?

Глава тринадцатая

В небольшом просмотровом зале нас сидело восемь человек. Ноги у меня ныли от долгого хождения по Лувру. В кинозале стоял застарелый запах табака и пота. Само здание на Елисейских полях было уже обветшалое, со скрипучими старомодными лифтами. В коридорах полумрак, словно люди, часто бывавшие здесь, не хотели, чтобы замечали, когда они приходят и уходят.

Кроме Фабиана, Лили и меня, рядом с нами сидела восхитительная француженка, которую звали Надин Бонер. Сзади в углу притулился кинооператор — седой, усталый старик лет шестидесяти пяти, в берете и с вечной сигаретой в зубах. Он выглядел слишком старым для такого рода работы в кино и все время сидел с полузакрытыми глазами, словно не хотел напоминать о том, что именно он снимал фильм, который мы должны посмотреть.

В дальнем боковом проходе уселись две звезды этого фильма: стройный смуглый молодой человек, вероятно африканец, с меланхоличным печальным лицом и веселенькая хорошенькая американка по имени Присцилла Дин, блондинка с «конским хвостом». Ее свежее цветущее личико казалось здесь явным анахронизмом, напоминавшим о давнем поколении девственниц американского Среднего Запада. На ней было строгое платье, и она выглядела столь добродетельной, как только может выглядеть белоснежный, туго накрахмаленный девичий передник с кружевами. Меня без всяких церемоний, по деловому, представили всем. Со стороны могло пока-

заться, что мы собрались на какую-нибудь лекцию, скажем, о здоровом питании.

Длинноволосый и бородатый субъект в куртке, сшитой из портьерной ткани и покрытой сальными пятнами, сидел отдельно от всех. Он выглядел так, словно только что проглотил какую-то дрянь, и в ответ на мое приветствие просто проворчал что-то.

— Это критик, — прошептал мне Фабиан. — Собственность моей Надин.

— Рада познакомиться, — сказала мне Надин Бонер, протягивая мягкую и нежную руку. Сама она была маленькая, изящная, с бросающимся в глаза бюстом, добрая половина коего выпирала из низкого выреза ее черного платья. У нее был очень ровный красивый загар. Мне представилось, как она бесстыдно голая загорала на пляже в Сен-Тропезе в окружении таких же оголенных распутных мужчин.

— Чего это киномеханик копается? — обратилась она к кинооператору. — Мы ждем почти тридцать минут, — произнесла она по-английски с тем французским акцентом, который так нравится американцам.

Кинооператор снял трубку телефона, прокричал в нее что-то по-французски, и свет в зале стал меркнуть.

В последовавшие полчаса я был несказанно рад тому, что сидел в темноте. Я дико краснел, хотя никто и не мог заметить этого, мое лицо пылало, подобно лампе с инфракрасным излучением. То, что демонстрировалось на цветном экране, мой отец назвал бы совершенно неопишваемым. Возникали всевозможные совокупления, в разнообразных положениях и позах. Втроем, вчетвером, с животными, включая черного лебедя, перемежаясь с лесбийскими забавами и орально-генитальными изощрениями, по терминологии, принятой в «Плейбое». Были также сцены садизма и мазохизма, и того, что я вовсе не знаю, как назвать. Словом, на любой вкус, как объяснил мне Фабиан.

Действие как будто происходило в середине прошлого века, мужчины были в цилиндрах и сюртуках, некоторые в гусарской форме и сапогах со шпорами, женщины — в кринолинах и турнюрах. Иногда нам показывали старинный замок и полногрудых крестьянок, которых за-таскивали в кусты. Надин Бонер, в черном парике, полуодетая с озорным лицом школьницы, играла роль распорядительницы всех вакханалий, размещая тела в

определенном порядке, как хозяйка перед приемом гостей расставляет в гостиной вазы с цветами.

Фабриан говорил, что сценарий написан весьма литературно, но пока что никто на экране не произнес ни слова. Его озвучат позже, пояснил он мне. Время от времени на экране появлялся ангелоподобный молодой человек в длинной розовой мантии, отороченной мехом. В руках у него были садовые ножницы, которыми он подстригал кусты, а в промежутках между этим занятием простоудушно поглядывал на нас. В других случаях он восседал в походившем на трон позолоченном кресле и бесстрастно взирал на всевозможные сочетания тел, стремившихся к оргазму. Выражение его лица ни разу не менялось, лишь однажды, когда все достигли пика наслаждения, он безмятежно поднес к лицу роскошную розу на длинном стебле и понюхал.

Надо отдать должное Лили, которая сидела рядом с Фабрианом: она еле сдерживала смех.

— Сюжет фильма очень прост, — шепотом объяснил мне Фабриан. — Действие происходит где-то в центре Европы. Молодой человек в мантии с садовыми ножницами — наследный принц. Кстати, рабочее название фильма «Спящий принц». Он только что женился на красивой иностранной принцессе. Отец принца, король, — его мы увидим на просмотре на следующей неделе, — желает продолжения царского рода. Но его сын — невинный юноша. Его совсем не интересуют девушки. Он всецело поглощен садоводством.

— Ага, теперь понятно, почему он с ножницами, — робко вставил я.

— Ну, естественно, — нетерпеливо кивнул Фабриан и продолжал: — Король поручает своей сестре, ее играет Надин Бонер, разбудить в племяннике мужчину. Принцесса, вышедшая за него замуж, безутешно рыдает в одной из башен дворца, одна на свадебном ложе, украшенном гирляндами цветов. Однако ничто не действует на принца, ничто не трогает его. У него по-прежнему тусклый безразличный взгляд. В замке все в полном отчаянии. И тогда наконец прибегают к последнему средству. Его тетя, то есть Надин, танцует перед ним в прозрачном хитоне с красной розой в зубах. Глаза принца загораются. Он приподнимается в кресле. Бросает садовые ножницы. Кидается к тете и заключает ее в объятия. Он танцует с ней. Целует ее. В любовном

экстазе они падают на траву. Замок оглашается громкими приветственными кликами. Король объявляет брак с несчастной принцессой расторгнутым, и принц женится на своей тете. По сему случаю устраивается трехдневное празднество, которое отмечается свальным гулянием в кустах. Через девять месяцев у принца рождается сын, и в ознаменование этого события каждый год принц и его тетя-жена повторяют под звон колоколов свой первый брачный танец. Есть еще и побочная линия сюжета, в которой отчаянный злодей пытается захватить трон и тетю, но я не стану докучать вам рассказом об этом.

В зале зажегся свет, и я нарочно закашлялся, чтобы этим объяснить краску стыда на своих щеках.

— Короче говоря, — заключил Фабиан, — тут и нашим и вашим, если вы понимаете, что я имею в виду. Мы заманим интеллигенцию так же, как и остальную публику.

— Ну как, Майлс, — воскликнула Надин Бонер, поднимаясь со своего места во втором ряду впереди нас и превращаясь из искусной соблазнительницы в серьезную деловую женщину, — нравится, а?

— Замечательно, — сказал Фабиан. — Очень хорошо. Мы безусловно сорвем хороший куш.

Я избегал встречаться глазами с кем-нибудь, когда, выйдя из зала, мы столпились у лифта. Особенно я старался не смотреть на молодую американку Присциллу Дин, фигурировавшую в наиболее бесстыдных сценах. Вот уж кого я теперь без труда опознаю на любом нудистском пляже мира, даже с мешком на голове. Лили не поднимала глаз, сосредоточенно разглядывая пол лифта.

Мы пошли через Елисейские поля к эльзасскому ресторанчику, чтобы подкрепиться. Надин Бонер взяла меня под руку.

— Как вам нравится наша американочка в фильме? — спросила она. — Талантлива, не правда ли?

— Исключительно, — поддакнул я.

— У нее это побочная работа, — пояснила Надин. — Подрабатывает, чтоб оплатить обучение в Сорбонне. Занимается на факультете сравнительной литературы. У американок крепкий характер, не то что у европейских девушек. Вы согласны?

— Не могу судить. Я всего лишь пару недель в Европе.

— Как, по-вашему, фильм будет иметь успех в Америке? — с некоторой тревогой спросила Надин.

— О, да.

— Боюсь лишь, что, может, слишком круто замешано, — продолжала Надин.

— Я бы не беспокоился об этом.

— Майлса это тоже не беспокоит, — сказала Надин, призывно пожав мне руку. — Вы знаете, он просто незаменимый человек на съемочной площадке. Улыбки у него для всех без исключения. Вам тоже надо побывать на съемках. Ах, как все работают! Дружно и сообща, не считаясь со временем, сверхурочно, никогда не жалуясь. Оплата, конечно, небольшая, но звезды у нас на процентах с прибылей. Так вы заглянете завтра? Мы будем снимать сцену, в которой Присцилла одета монахиней...

— У меня много дел в Париже. Я ужасно занят.

— Будем рады вам в любое время. Не стесняйтесь, пожалуйста.

— Благодарю вас, — поклонился я.

— Скажите, а цензура в Америке пропустит наш фильм? — опять тревожно спросила Надин.

— Полагаю, что пропустит. Насколько мне известно, сейчас все это разрешают. Не исключено, конечно, что кое-где местный шериф может и запретить, — говоря это, я чувствовал, что будь я сам шерифом, то приказал бы сжечь этот фильм, не считаясь с тем, законно это или нет. Но я не полицейский, а — нравится мне это или нет — один из соучастников грязного предприятия. Тон задают мои пятнадцать тысяч долларов. И я попытался небрежно продолжить наше деловое обсуждение:

— А как во Франции? Тут не будет препятствий?

— Во Франции ужасные порядки, — пожаловалась Надин, опять ни с того ни с сего пожимая мне руку. — Никогда не знаешь, как обернется. Выступит с воскресной проповедью какой-нибудь старый боров, и на другой день кинозалы погрузятся в темноту. Или, скажем, попадетсЯ на глаза жене президента или премьер-министра наша афиша... Вы и представить себе не можете, какая ограниченность у французов в вопросах искусства. К счастью, на следующей неделе обычно возникает какой-то новый скандал, и нас оставляют в покое. — Неожиданно она умолкла и выпустила мою руку. Отойдя на два шага, она оценивающе оглядела меня. — Сразу же видно, что вы отлично сложены, а?

— Много ходил на лыжах, — сказал я.

— У нас еще нет исполнителя на роль злодея, — сказала Надин. — Он появляется в двух весьма занятных сценках. В одной вдвоем с Присциллой, а в другой с ней и нубийкой одновременно. Вас это должно заинтересовать и очень позабавить.

— Вы очень любезны, мадам, — сказал я, — но если моя мать в Америке увидит меня в таких сценках... — Мне было стыдно приплетать к этому мою покойную мать, но казалось, что так можно быстрее отвертеться.

— У Присциллы тоже мать в Америке, — возразила Надин.

— Разные бывают матери. К тому же я единственный сын, — продолжал я. — Поверьте, мне бы хотелось помочь вам, но я в любой момент могу уехать из Парижа.

Надин досадливо пожала плечами.

— Одни беспокойства у меня с этим фильмом. Постоянно не хватает исполнителей. Одни и те же лица и одна и та же случка. А у вас обаяние потаенного секса, вроде как у молодого похотливого священника, такая интригующая порочность. Невиншая испорченность. Совершенно новый ракурс.

— Нет уж, как-нибудь в другой раз, — решительно отказался я.

— Но я еще займусь вами, — и Надин продемонстрировала свою хорошо заученную улыбку наивной школьницы.

От двух выпитых кружек пива бородатый критик, похоже, вдохновился и возбужденно затараторил с Надин по-французски.

— Филипп, — вокурила Надин, — говорите по-английски. У нас ведь гости.

— Но мы во Франции, — громко возмутился Филипп. — Почему бы им самим не перейти на французский?

— Потому что мы, англосаксы, прирожденные тупицы, — пояснила Лили. — К тому же, дорогуша, любому французу известно, что мы все недоучки.

— Он говорит по-английски замечательно, — сказала Надин. — Совершенно свободно. Он жил в Америке два года. В Голливуде. Печатал критические статьи в «Журнале кино».

— Вам понравилось в Голливуде? — полюбопытствовал Фабриан.

— Меня мутило от него.

— Но фильмы-то нравились?

— От них тоже мутило.

— А как насчет французских фильмов? — поинтересовалась Лили.

— Последний фильм, который произвел на меня впечатление, был «Бездыханный». — Филипп отхлебнул пива.

— Господи, да он вышел десять лет назад, — удивилась Лили.

— Даже больше, — невозмутимо произнес Филипп.

— Он такой педантичный — пояснила Надин. — Щепетилен до мелочей...

— Сколько раз я тебе говорил, что это одно и то же? — напустился на нее Филипп.

— Много, много. Успокойся, пожалуйста. Кстати, он влюблен в Китай, — ни с того ни с сего добавила Надин.

— Вот как? — спросила Лили. — И китайские фильмы вам нравятся?

Похоже, она находила удовольствие в том, что подкалывала его.

— Я пока не видел ни одного китайского фильма, — ответил Филипп. — Но я непременно посмотрю, хотя бы пришлось ждать этого целых пять лет. Или даже десять.

Говорил он по-английски бегло, но с заметным акцентом. Глаза его блестели. По-моему, он был готов спорить с кем угодно и о чем угодно хоть на санскрите. А наткнись он вдруг на человека, готового во всем согласиться и не препираться, ему бы ничего не оставалось, как сдаться и покинуть поле боя.

— Послушайте, старина, — дружелюбно обратился к нему Фабиан. — Как вам понравилось наше творение?

— Merde. Дерьмо собачье.

— Да вы что? — Лили казалась изумленной.

— Филипп, — предостерегла Надин, — Присцилла понимает английский. Ты же не хочешь сказать, что она не справилась с ролью?

— Ничего, — пропела американка звонким сопрано. — Я никогда не принимала французов всерьез.

— Мы же в городе, где великий Расин представил «Федру», — напыщенно изрек критик, — где ушел из жизни Мольер, где Флоберу пришлось в суде отстаивать «Мадам Бовари», где бунтующие толпы высыпали на улицы после премьеры «Эрнани», где любили Гейне

из-за того, что он творил на другом языке, и где нашел приют, Тургенев.

Борода Филиппа ходила ходуном от возбуждения, а фамилии великих людей он выговаривал с особым вкусом.

— В мое время, — продолжал он, — были такие фильмы, что ими гордилась вся нация. «Большие иллюзии», «Рыжик», «Запретные игры». А как можно обсуждать то, что нам сегодня показали? Нагромождение нелепостей и безвкусицы, пошловатенькие попытки пробудить самые низменные чувства...

— Ты рассуждаешь, как пуританин, которого нашли в капусте, — оборвала его Надин. — Хотя мы слышаны о твоих похождениях, можешь мне поверить.

Критик насупился и заказал еще пива.

— А что вы мне показали? — огрызнулся он. — Дюжину половых актов между этой американской пустышкой и марокканским красавчиком, который...

— Послушай, *chégi*, — вновь вмешалась Надин, — ты же всегда подписывал петиции против расизма.

— Ничего, Надин, — успокоила ее Присцилла. Она усердно поедала шарики мороженого в шоколаде. — Я привыкла не обращать внимания на болтовню французов.

Марокканец дружелюбно улыбнулся во весь рот. Повидимому, его знания английского не хватало на то, чтобы разобраться в тонкостях этой светской беседы.

— Или возьмите «Мейд ин Франс», сделано во Франции, — не унимался критик. — Написано во Франции, сочинено во Франции, нарисовано во Франции... Ты помнишь? — Он ткнул обвиняющим перстом в Надин. — А ведь я просил, чтобы ты помнила, что это значит для Франции. Славу! Гордость. Преданность прекрасному, искусству, высочайшим порывам души человеческой. А во что вы превратили марку «Мейд ин Франс»? В технику копуляции, податливость влагилица...

— Вы только послушайте, что он несет! — вскинулась Лили.

— Это все ваша англосаксонская вседозволенность, — продолжал Филипп, перегибаясь через стол к Лили. — Вот уже и ваша империя развалилась. Скоро и в Букингемском дворце бордель устроите.

— Послушайте, старина, — улыбнулся Майлс, — по моему, вы отвлеклись.

— Черта с два я отвлекся, — вспыхнул Филипп. — Что вы имеете в виду?

— Изначальный замысел заключался в том, чтобы заработать доллар-другой, — пояснил Майлс. — То, что я слышал, мне кажется, нисколько не противоречит национальному духу французов.

— Деньги тут ни при чем. Это вовсе не национальный дух, а проявление капиталистического строя. Это разные вещи, месье.

— Хорошо, — добродушно согласился Фабиан, — не будем пока о деньгах. Но позвольте вам напомнить, что абсолютное большинство порнографических фильмов, в том числе самые откровенные, было произведено в Швеции и Дании, то есть в странах, по вашему определению, социалистических.

— Скандинавы! — презрительно фыркнул критик. — Устроили пародию на социализм. Чихал я на такой социализм.

— Да, с вами трудно договориться, Филипп, — вздохнул Фабиан.

— Просто я строг в терминологии, — ответил Филипп. — Для меня социализм — нечто совсем иное.

— Ну вот, сейчас опять вернемся к Китаю, — захныкала Надин.

— Но ведь не можем же мы все жить в Китае, пусть это и образец идеального общества, — возразил Фабиан. — Нравится нам или нет, но мы живем в обществе с другой историей, другими вкусами и потребностями...

— Плевать мне на общество, которому нужно такое дерьмо, что нам тут показали сегодня! — взорвался Филипп, но не забыл заказать себе еще пиво. Годам к сорока он станет пузатый, как бочонок, подумал я.

— Сегодня днем мы с моим молодым другом ходили в Лувр, — мягко заговорил Фабиан, кивнув в мою сторону. — А вчера я посетил «Же-де-Пом». Где хранятся импрессионисты.

— Спасибо, месье, я имею некоторое представление о парижских музеях, — едко произнес Филипп.

— Прошу прощения, — вкрадчиво ответил Фабиан. — Но скажите, месье, к работам, выставленным в этих музеях, вы тоже относитесь неодобрительно?

— Не ко всем, — неохотно признался Филипп. — Но к некоторым — да.

— Я имею в виду обнаженную натуру, изображения

пылких объятий, мадонн с пышными бюстами, богинь, сулящих смертным плотские удовольствия, прелестных мальчиков, ангелочков, нагих принцесс... Вы противник всего этого?

— Не пойму, куда вы клоните, месье? — пробурчал Филипп, смахивая с бороды пену.

— А вот куда, — сказал Фабиан, воплощение терпения и доброжелательности. — Всю историю нашей цивилизации художники в той или иной форме создавали произведения на эротические сюжеты — возвышенные и игривые, грубоватые и целомудренные, непристойные и рассчитанные на самый взыскательный вкус... Всячески выражали свои сексуальные фантазии. Вчера, например, в «Же-де-Пом» я в десятый или в двадцатый раз любовался полотном Мане «Завтрак на траве». Помните? Две обнаженные пышнотелые женщины на траве в обществе двух полностью одетых джентльменов...

— Знаю я эту картину, знаю, — перебил Филипп скучающим тоном. — Продолжайте.

— Так вот, — проговорил Фабиан, — месье Мане вовсе не хотел, чтобы у зрителей сложилось впечатление законченности этого сюжета. В картине содержится намек на то, что происходило до изображенной сцены, а также на то, что может случиться *потом*. Такое, во всяком случае, у меня сложилось впечатление. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Понимаю, — сказал Филипп. — Но не совсем.

— Кто знает, — рассудил Фабиан, — будь у Мане побольше времени, возможно, он изобразил бы какие-то сценки, что предшествовали этому мирному, остановленному во времени мгновению, а также посвятил бы нас в то, чем закончился идиллический завтрак. Вполне вероятно, что эти сценки мало отличались бы от того, чем нас угостили на просмотре. Да, верно, Надин уступает Мане в таланте, спорить тут не приходится, да и наша прелестная малышка Присцилла, возможно, не так мила, как женщины на картине, но в целом, осмелюсь уверить, фильм Надин преследует те же благородные цели, что и полотно великого Мане...

— Bravo! — вскричала Надин. — Не в бровь, а в глаз! Он и в самом деле вечно норовит затащить меня в кусты или трахнуть прямо на пляже. И не вздумай отпираться, Филипп. Помнишь, что ты отчебучил со

мною прошлым летом? Я потом неделю вымывала песок из задницы.

— А я вовсе не отпираюсь, — неуклюже пробормотал Филипп.

— Секс, любовь, как угодно, — разглагольствовал Фабиан, — все это никогда не сводится к одной лишь нагой плоти, к удовлетворению страсти. Всегда должна примешиваться фантазия. Каждая эпоха таит для художника фантазию, загадку, которая поднимает простой акт любви на невероятную высоту. Вот и Надин попыталась внести свою скромную лепту, чтобы обогатить фантазии наших современников. В наш мрачный, безрадостный и примитивный век ее не критиковать, а на руках носить надо.

— Да он хоть коню зубы заговорит, — восхищенно воскликнула Лили.

— Это точно, — поддакнул я, припомнив, как за считанные минуты Фабиан ухитрился превратить меня из врага в союзника. И вдруг я сообразил, что он, должно быть, разжалованный адвокат. Представляю, за что его могли разжаловать!

— Ничего, месье, — величественно произнес Филипп, — настанет день, когда мы поспорим с вами на моем родном языке. Дискутируя по-английски, я оказываюсь в ущемленном положении.

Критик поднялся.

— Завтра мне рано вставать. Расплатись по счету, Надин, а я возьму такси.

— Не беспокойся, Надин, — замахал руками Фабиан, хотя французенка, похоже, вовсе не собиралась последовать совету Филиппа. — Мы сами заплатим. — От меня не ускользнуло, что он употребил множественное число. — Спасибо за прекрасный вечер.

Мы встали, и Надин расцеловала Фабиана в обе щеки. Со мной попрощалась за руку. Я ощутил легкое разочарование. Что ей стоило поцеловать и меня? Интересно, как относится марокканец, сыгравший с ней в двух продолжительных и отнюдь не романтических сценах, к тому, что она уходит с другим? Впрочем, актеры есть актеры, подумал я. У них все не как у людей.

— А вы где живете? — спросил Фабиан мисс Дин.

— Неподалеку отсюда.

— Может, проводить вас...

— Нет, благодарю, я не иду домой, — ответила При-

сцилла. — У меня свидание с женихом. — Она протянула мне руку, которую я чинно пожал. — До свидания, — попрощалась она. И вдруг я ощутил в своей ладони скатанный бумажный шарик. Тут я впервые разглядел лицо молодой американки. Уголок ее рта был выпачкан шоколадом, но глаза отливали голубизной морской приливной волны, сулящей вынести на берег таинственные сокровища из пучины.

— До свидания, — сбивчиво пробормотал я ей вслед, сжимая в кулаке бумажку.

Мы вышли из эльзасского ресторанчика, распрощались со всеми, и втроем, Фабиан, Лили и я, прошлись немного пешком, вдыхая влажный воздух теплой февральской ночи в Париже.

Я сунул руку в карман, извлек комочек бумаги, развернул и увидел при свете уличного фонаря нацарапанный телефонный номер. Спрятав бумажку в карман, я поспешил вслед за Фабианом и Лили, которые успели отдалиться на несколько шагов.

— Ну как, Дуглас, хорошо в Париже? — спросил Фабиан.

— Н-да, бойкий был денек. Поучительный.

— Это только начало, — сказал Фабиан. — Многое еще ожидает вас впереди. Многое.

— Вы и в самом деле верите в ту галиматью, что несли там? — обратился я к Фабиану. — Насчет Надин, Мане и всего прочего?

Фабиан расхохотался.

— Вначале — нет, — сказал он. — Просто я завелся. Я всегда завожусь, когда французы начинают распинаться о Расине, Мольере и Викторе Гюго. А вот в конце я уже сам себя убедил, что являюсь великим знатоком искусства.

— Надеюсь, вы не собираетесь поставить свое имя, вернее наши имена, в этом фильме? — с беспокойством спросил я.

— Нет, — горестно вздохнул Фабиан. — Так далеко мы не зайдем. Но нам нужно деловое название нашей компании. Не подскажете ли вы, Лили? Вы всегда были умницей.

— Компания «Туда, сюда, обратно, тебе и мне приятно», — с усмешкой предложила Лили.

— Не будьте вульгарной, дорогая, — с важным видом произнес Фабиан. — Мы ведь хотим, чтобы о нашей картине появилась рецензия в «Таймс». Но обо всем этом мы еще трезво поразмыслим завтра. Кстати, Дуглас, надо идти баньки: Завтра встаем в пять утра. Едем в Шантильи поглядеть пробежки.

— Какие пробежки? — удивился я. Не понимая, о чем идет речь, я подумал, что Шантильи — это особое место, где актеры порнографических фильмов, готовясь к съемкам, тренируются, дабы сохранить свою форму. Судя по тому, что мне пришлось увидеть, их работенка была связана с такой затратой физических сил, какая бывает у профессионального боксера после, по меньшей мере, десяти раундов боя на ринге.

— Пробежки нашей лошади, — объяснил Фабиан. — Когда мы вернулись из Лувра, я получил телеграмму. Кстати, вы довольны, что побывали в Лувре?

— Да, очень. Так что же о нашей лошади?

— Телеграмма пришла от моего друга из Кентукки. Каким-то образом он разузнал, что одна нога у нашей лошади не совсем в порядке. И пока воздерживается от ее покупки.

— Вот те на! — воскликнул я.

— Не волнуйтесь, дорогуша. Он хочет, чтобы прежде лошадка прилично выступила. После чего выложит деньги. Разве вы можете порицать его за это?

— Его-то нет, а вот вас следует.

— Мне кажется, Дуглас, что вы начинаете наши деловые взаимоотношения на ошибочной ноте, — обиженно заявил Фабиан. — Нам нужно переговорить с тренером и объяснить ему, как обстоят дела. Он верит в эту лошадь, очень верит. Но ему надо убедиться, что она уже вполне в форме, и тогда выставить ее в подходящем заезде. Хотя фамилия у тренера английская — Кумбс, но семья их давно, еще с начала прошлого столетия, живет в Шантильи. Кумбс прямо-таки маг и волшебник по части того, в каком именно заезде следует выпустить лошадь. Он выигрывал с такими безнадежными лошадьми, которые были годны разве для перевозки утиля. Во всяком случае, вам понравится в Шантильи. Ни один любитель конного спорта, приехавший в Париж, не упустит случая побывать там.

— Я не любитель лошадей, — поморщился я. — Не люблю и даже до смерти боюсь их.

Мы уже подошли к отелю, и Фабиан покровительственным тоном заметил:

— Ах, Дуглас, вам еще предстоит пройти долгий, долгий путь. — Он похлопал меня по плечу и заключил: — Но со мной вы пройдете. Ручаюсь, что пройдете.

Я поднялся к себе в номер, разделся, улегся в постель и посмотрел на телефон. Припомнив кое-какие сцены из сегодняшнего фильма, я вдруг понял, что спать мне вовсе не хочется. Спустившись в бар, я заказал виски с содовой. Сделав пару медленных глотков, я запустил руку в карман, выудил комочек бумаги, развернул перед собой на стойке бара и уставился на номер телефона Присциллы Дин.

— Есть у вас телефон? — спросил я бармена.

— Внизу, — буркнул он.

Я спустился, дал телефонистке номер, проследовал в указанную будку, снял трубку и поднес к уху. Через несколько мгновений услышал короткие гудки. Чуть подождя, потом повесил трубку. Видно, не судьба.

Вернувшись в бар, я расплатился за выпивку. Десять минут спустя я уже лежал в постели. В гордом одиночестве.

Имя у нашего скакуна было пышное — Полночная мечта. В еще не растаявшей утренней мгле мы стояли вместе с тренером Кумбсом на одной из дорожек в лесу Шантильи, следя за тем, как попарно и по трое галопировали на лошадях молоденькие жокеи. Семь часов холодного, зябкого утра. Ботинки и отвороты брюк были грязные и мокрые. Я ежился в своем стареньком пальтишке и чувствовал себя прескверно в сыром лесу, где капало с деревьев и пахло влажной листвой и конским потом. А Фабиан был в бриджах и сапогах для верховой езды, на плечи поверх клетчатой куртки он накинул короткий охотничий плащ, на голове плотно сидело ирландское кепи, росинки сверкали на его пышных усах. Причем он выглядел так, словно с давних пор владел конюшней чистокровных породистых лошадей, а часы рассвета — его самое любимое время дня.

Любой, впервые увидевший этого бравого молодца, сразу решил бы — такого ни один тренер не проведет.

Лица тоже оделась подобающим образом: ноги в высоких сапогах коричневой кожи, сверху — свободного

покроя накидка с пояском, ни дать ни взять, амазонка в лесу. Придется, пожалуй, и мне позаботиться о своем гардеробе, если я намерен остаться в их компании, а я не представлял уже, как может быть иначе.

Тренер Кумбс низенький краснолицый старик с лукавым лицом, показал нам нашу лошадь. На мой взгляд, она ничем не отличалась от других такой же масти, с такими же горящими круглыми глазами и очень уж тонкими (того и гляди, переломятся) ногами.

— Хорош жеребчик. Очень хорош, — похвалил его Кумбс.

Тут всем нам пришлось нырнуть за деревья, потому что одна из лошадок вдруг стала пятиться прямо на нас, причем так быстро, словно бежала вперед.

— По утрам холодно, и они немного нервничают, — снисходительно объяснил Кумбс. — Этой кобылке всего два года. Вот она и играет.

Молодой жокей наконец справился с игривой лошадкой, и мы смогли выйти из-за деревьев.

— Как с надкостницей у нашего? — спросил у тренера Фабиан. Знаток живописи и скульптуры, водивший меня по Лувру, перевоплотился теперь в знатока конских статей.

— Не беспокойтесь, приятель, — уверенно ответил Кумбс. — Все будет в порядке. Он превосходно пойдет.

— Когда же он выступит на скачках? — впервые вмешался я.

— Ах, дружок, — тренер неопределенно покачал головой, — это совсем другой вопрос. Не станете же вы подталкивать его? Разве не видите, что он еще не совсем окреп?

— Пару недель добавочных тренировок не повредят, — заметил Фабиан.

— К тому же он, кажется, припадает немного на переднюю ногу, — сказала Лили.

— Ах, вы заметили, мадам, — сияя, улыбнулся ей Кумбс. — Но это у него скорее нервное. Под влиянием выстрелов на старте.

— Скажите, сколько же еще потребуется времени? — упрямо спросил я, вспомнив о шести тысячах, заплаченных за эту лошадь. — Две недели, три, месяц?

— Э, дружок, — тренер опять неопределенно покачал головой, — не люблю, когда меня вот так прижимают.

Не в моих правилах обнадеживать владельца, а затем разочаровывать его.

— Но все же хоть приблизительно можете сказать? — настаивал я.

Кумбс спокойно оглядел меня. Взгляд его маленьких серых глаз, окруженных частой сеткой морщин, вдруг стал строгим и холодным.

— Догадываться, конечно, могу. Но не стану. Он сам скажет мне, когда будет готов, — весело улыбнулся Кумбс, и лед в его глазах мгновенно растаял. — Что ж, мы уже достаточно посмотрели в это утро. Пойдемте перекусим. Прошу, мадам, — он галантно предложил Лили руку и зашагал с ней по тропинке, выходящей из леса.

— Будьте сдержанны с этими людьми, — понизив голос, сказал мне Фабиан, когда мы последовали за ними. — Они очень обидчивы. А этот — один из лучших в своем деле. Нам повезло, что мы имеем дело с ним. И пусть он сам все решает.

— Лошадь-то наша или нет? Наши шесть тысяч в ней?

— Не будем больше говорить об этом. Нас могут услышать. Ах, какой сегодня прекрасный день, — нарочито громко произнес Фабиан.

Мы вышли из леса, солнце уже пробивалось сквозь дымку, поблескивая на крупах лошадей, которые вереницей медленно тянулись обратно в конюшни.

— И это не трогает ваше сердце? — широко раскинув руки, с чувством воскликнул Фабиан. — Древняя славная земля, залитая яркими лучами солнца, дивные, изящные животные...

— А-а, одни слова, — перебил я.

— Я полон уверенности, — решительно подчеркнул Фабиан, — более того, берусь утверждать, что мы добьемся успеха. И не только вернем с лихвой шесть тысяч. Мы еще придем с вами в Шантильи и увидим здесь на тренировке десятка два наших собственных лошадей. Мы будем сидеть в ложе на ипподроме Лонгшан и глядеть, как наши скакуны гарцуют перед публикой. А пока ждите и дождетесь.

— Буду ждать, — с кислым лицом согласился я. Не хотелось признаваться, что мне самому нравится и эта сельская местность, и лошади, и осмотрительный старый

тренер. Я не разделял жизнерадостных надежд Фабиана, но его мечты невольно увлекли меня.

Если спекуляция золотом и вкладывание огромных сумм в идиотские порнографические фильмы, в которых снимаются нимфоманки с американского Среднего Запада, обучающиеся литературе в Сорбонне, позволят мне хоть раз в месяц проводить такое сказочное утро, я готов буду последовать за Фабианом в преисподнюю.

В конце концов деньги, украденные мной, приносили вполне осязаемую пользу, думал я, глубоко вдыхая свежий деревенский воздух.

В доме Кумбса нас провели в столовую, где стены были увешаны призовыми кубками и наградными значками прошлых лет. Перед тем как мы сели за стол вместе с попойкой, румяной хозяйкой, несколькими жокеями и их подружками, старик Кумбс налил нам по большой чарке кальвадоса. В столовой стоял смешанный запах кофе, бекона, конюшни и сапог. Этот мир был гораздо проще и сердечнее, я и не знал, что он сохранился и все еще существует где-то на земле.

Старик Кумбс подмигнул мне через стол и сказал:

— Ваш конь сам подскажет мне, когда захочет скакать!

В ответ я тоже подмигнул ему.

Глава четырнадцатая

— Пришло время подумать о поездке в Италию, — сказал Фабиан. — Как вы находите, дорогая?

— вполне одобряю, — отозвалась Лили.

Мы сидели в ресторане «Шато Мадрид», расположенном на высоком утесе над Средиземным морем. В вечернем воздухе был разлит аромат лаванды. Внизу под нами сверкали далекие огни Ниццы и прибрежных поселков.

Заказав ужин, мы пока что заправлялись шампанским. Много было выпито его и вчера в «Голубом экспрессе», в котором мы уехали из Парижа. Я все более входил во вкус шампанского марки «Мозт и Шандон».

Мы взяли с собой старика Кумбса, и по приезде он провел с нами большую часть дня. После почти трех недель тренировок наш скакун наконец признался Кумбсу, что готов к скачке, и доказал это. Сегодня днем в четвертом заезде на ипподроме в Канне в окрестностях Ниццы он пришел первым, завоевав приз в сто тысяч франков, что составляло около двадцати тысяч долларов. Джек Кумбс еще раз оправдал свою репутацию тренера, умеющего выбрать подходящий заезд. К сожалению, он тут же улетел обратно в Париж, лишив нас удовольствия пообедать с ним, а мне было бы любопытно посмотреть, сколько же спиртного этот старик может влить в себя за день.

Мы сами тоже поставили пять тысяч франков на нашу лошадку. «Из родственных чувств», — пояснил Фабиан, когда мы подошли к окошку кассы. Прежде в Нью-Йорке я ставил несколько долларов на ту или иную лошадь, строго рассчитав все ее достоинства, однако руководствоваться чувствами было, очевидно, более прибыльно.

Вернувшись с ипподрома в отель в Ницце, мы переделались к обеду, и Фабиан позвонил в Париж и в Кентукки. Из Парижа сообщили, что съемки и монтаж «Спящего принца» сегодня уже закончены. Вчера представителям киноагентств Западной Германии и Японии был показан еще полностью не смонтированный фильм, и уже получены от них солидные заказы.

— Заказов вполне достаточно, — с удовлетворением объявил нам Фабиан, — чтобы покрыть наши вложения. А впереди еще много других стран. Надин в экстазе. Она даже намеревается ставить совершенно чистую, целомудренную картину.

К этому Фабиан затем добавил, что, как он заодно узнал, цена на золото поднялась в этот день на пять пунктов.

На его друга в Кентукки победа Полночной мечты произвела большое впечатление, но он все же решил посоветоваться со своим компаньоном, прежде чем сделать определенное предложение. Обещал позвонить сегодня же вечером.

Шампанское, прелестный вид, победа нашего жеребца, скачок цены золота, новости Надин, общество сияющей Лили во всей красе — все это настраивало на благодушный лад. Я ощущал в себе любовь ко всему и

особое расположение к человеку, похитившему мой чемодан в аэропорту Цюриха. В конце концов, граница между врагами и союзниками довольно зыбкая, решил я.

С другой стороны, не приди наш конь первым, я бы мог сбросить Фабиана с ближайшего утеса. Но скакун не подкачал, и я любовно посматривал на красивую физиономию с усами.

— Вы упомянули о цене? — спросил я.

— Назвал что-то около пятидесяти.

— Пятидесяти чего?

— Тысяч долларов, конечно, — ответил Фабиан с некоторым раздражением от моей непонятливости.

— Не слишком ли это много за лошадь, которая стоила шесть тысяч? Мы можем отпугнуть покупателя.

— Должен признаться, Дуглас, — сказал Фабиан, со вкусом, неторопливо потягивая шампанское, — что за нашу лошадку я на самом деле уплатил не шесть, а пятнадцать тысяч.

— Но вы же говорили...

— Да, говорил. Видите ли, мне тогда не хотелось раздражать вас. Если вы не верите, могу предъявить оплаченный счет.

— Не надо. Я уже больше не сомневаюсь в вас, — заверил я, и это было почти правдой. — Но все же не следует ли вам заодно признаться и насчет фильма?

— Честное слово, нет. — Фабиан поднял свой бокал. — Давайте пока что выпьем за нашу Полночную мечту.

Мы весело чокнулись зазвеневшими бокалами. Я сказал Фабиану, что со страхом и даже с ненавистью следил за нашей лошадкой, когда в числе отстающих она выходила на последнюю прямую. Но затем вдруг у самого финиша она вырвалась вперед.

— Боюсь, мой друг, что у вас весьма развит инстинкт неудачника, — иронически заметил Фабиан. — То же самое я бы сказал и о женщинах, — добавил он, многозначительно поглядев на Лили. Было заметно, что в Париже отношения между ними стали натянутыми. Под разными деловыми предложениями Фабиан три или четыре раза слишком уж долго задерживался у Надин Бонер. Что касается меня, то я тщательно избегал бывать на съемках в их студии или снова встретиться с кем-либо из них.

— Надо бы нам купить машину, — предложил Фа-

биан. — Остановим свой выбор на «ягуаре», не возражаете?

Ни я, ни Лили не возражали.

— Такая машина, как «мерседес», слишком уж бросается в глаза, — продолжал Фабиан. — Не к лицу нам выглядеть нуворишами, не так ли? К тому же я люблю помогать англичанам.

— Вы только его послушайте, — фыркнула Лили.

Официант принес нам икру.

— Только с лимончиком, — попросил Фабиан, отмахнувшись от тарелочки с мелко нарубленными крутыми яйцами, перемешанными с луком. — Не стоит портить такое удовольствие.

Официант разложил нам по тарелкам аккуратные порции сероватых зернышек. Лишь в четвертый раз мне доводилось пробовать черную икру. Три предыдущих я до сих пор отчетливо помнил.

— Теперь мы отправимся в Цюрих, — сказал Фабиан. — У меня небольшое дельце в этом прекрасном городе. Там мы и купим машину. Я считаю, что честных торговцев автомобилями можно найти лишь в Швейцарии. Так же, как и первоклассные отели, которые мне хочется показать Дугласу.

Если б сейчас увидели старину Майлса Фабиана в его родном городе Лоуэлле в штате Массачусетс, подумал я. Или меня бы вдруг узрел мой незадачливый хозяин Друзек. Фабиан до сих пор так и не поинтересовался, откуда у меня взялись деньги. В Париже он по большей части пропадал на съемках фильма, и, пока был занят этой лавочкой, как он говаривал, я без устали бродил по городу, блаженно вглядываясь в его достопримечательности. Когда же мы бывали втроем, то ни я, ни Фабиан не хотели посвящать Лили в подробности возникновения нашего делового партнерства. Ну, а Лили, если и считала странным, что ее случайный любовник из Флоренции неожиданно оказался близким другом и деловым компаньоном ее постоянного любовника, то не подавала виду. Во всяком случае, никаких вопросов по этому поводу она не задавала. Ей было свойственно аристократическое пренебрежение к тому, что стояло за житейскими делами. Она была из тех женщин, которых никак не представишь себе ни на кухне, ни в конторе.

— В связи с нашей поездкой, — между тем продол-

жал Фабиан, — хочу коснуться одного щекотливого обстоятельства. Вам понятно, к чему я клоню?

— Нет, — сказал я, а Лили промолчала.

— Нехорошо путешествовать втроем. Это порождает и рознь, и всякие уловки, и ревность, и тому подобные горести.

— Теперь понятно, — сказал я, покраснев.

— Вы, вероятно, Дуглас, согласитесь с тем, что Лили красивая женщина.

Я молча кивнул.

— А вы сами весьма привлекательный молодой человек, — отеческим тоном произнес Фабиан. — И станете еще привлекательней, когда освоитесь с богатством и мы вас основательно приоденем, что будет сделано по приезду в Рим. Что ж, надо глядеть правде в глаза. Я уже в годах и могу стать третьим лишним. Однако у нас есть возможность не причинять никому вреда. Нет ли у вас, Дуглас, особы, которую вы хотели бы пригласить отправиться вместе с нами?

С нежностью, смешанной с сожалением, я вспомнил о Пэт. За годы работы в «Святом Августине» мне нечасто приходилось думать о ней. В обществе Лили и Фабиана защитная оболочка, которую я носил с того памятного дня в Вермонте, когда мы расстались с Пэт, почти сошла с меня. Хотел я того или нет, но прежние чувства, привязанности и переживания вновь всколыхнули мою душу. Впрочем, окажись даже Пэт свободна, вряд ли она согласилась бы воспринять мой нынешний образ жизни и дружбу с Фабианом. Да и можно ли ожидать такого от школьной учительницы, которая способна пожертвовать часть своего скудного жалованья в помощь беженцам из Биаффы, в то время как Фабиан привык уписывать черную икру ложками? Впрочем, тут я от него недалеко ушел. Скорее в нашу компанию вписалась бы Эвелин Коутс, которая, как вы помните, тоже за словом в карман не лезет, но, кто знает, кем бы она обернулась в таком окружении — нежной ласковой женщиной, с которой я провел дивную воскресную ночь, или светской деловой тигрицей с вашингтонской вечеринки у Хейла? Не следовало к тому же забывать, что рано или поздно меня или Фабиана могли вывести на чистую воду. Вряд ли карьере Эвелин оказала бы существенную помощь связь с парой осужденных жуликов.

— Боюсь, что в данную минуту у меня никого нет, — заключил я.

Мне показалось, что какая-то тень улыбки пробежала по лицу нашей спутницы.

— А что делает сейчас ваша сестра Юнис? — обратился к Лили Фабиан.

— Вертится, по-видимому, в обществе придворных гвардейцев в Лондоне. То ли Колдрестримекого, то ли Ирландского полка.

— Не захочет ли она на время присоединиться к нам?

— А почему бы и нет?

— Так дайте ей телеграмму, чтобы она завтра к вечеру приехала к нам в Цюрих.

— Хорошо, срочно сообщу ей. Юнис очень легка на подъем.

— Как вы на это смотрите? — повернулся ко мне Фабиан.

— Почему бы и нет? — спокойно повторил я слова Лили.

К нашему столу подошел метрдотель и сообщил Фабиану, что его вызывают к телефону из Америки.

— Ну как, Дуглас, снизим немного цену? — спросил Фабиан, поднимаясь из-за стола. — Скажем, до сорока тысяч, если потребуется.

— Предоставляю вам решать. Я никогда не торговал лошадьми.

— И я тоже, — улыбнулся Фабиан. — Но в жизни чего не попробуешь.

Оставшись вдвоем, мы сидели молча. Лили грызла подрумяненные на огне ломтики хлеба, они хрустели у нее на зубах. Меня раздражал этот хруст и ее испытующий взгляд, которым она окидывала меня.

— Это вы стукнули лампой по голове Майлса? — наконец спросила она.

— Он что, говорил вам?

— Сказал, что у вас была небольшая размолвка.

— Давайте ограничимся этим объяснением.

— Пусть будет так. — Она помолчала. — Вы рассказали ему о нашей встрече во Флоренции?

— Нет. А вы?

— Я же не идиотка.

— Он что-нибудь подозревает?

— Слишком гөрд для этого.

— К чему же мы с вами придем?

— К моей сестре Юнис, — спокойно ответила Лили. — Вам она понравится. Она всем мужчинам нравится. На месяц, во всяком случае.

— А когда вы вернетесь к своему мужу?

— Откуда вы знаете о нем? — спросила она, пристально взглянув на меня.

— Не имеет значения, — небрежно ответил я. Она сплавляла меня к своей сестрице, и мне хотелось чем-нибудь досадить ей.

— Майлс говорит, что больше не будет играть ни в бридж, ни в триктрак. Вам известно об этом?

— Да, кое-что.

— А мне вы ничего не хотите рассказать? — Она не спускала с меня глаз.

— Нет.

— Путаный человек этот Майлс с его неумным пристрастием к деньгам. Будьте осторожны с ним.

— Благодарю за предупреждение.

Она наклонилась ко мне и прикоснулась к моей руке.

— Как хорошо нам было во Флоренции... — нежно проговорила она.

Мне мучительно захотелось обнять ее, прижать к себе и умолять, не теряя ни минуты, бежать со мной.

— Лили... — задыхаясь, глухо проговорил я.

Она отдернула руку.

— Не забывайте, дорогой мой, — наставительно сказала она.

Фабриан вернулся с мрачным лицом.

— Пришлось уступить, — сказал он, усаживаясь за стол. — Отдал за сорок пять, — махнув рукой, он озорно, по-мальчишески улынулся. — По этому случаю закажем еще бутылочку.

Я сидел у себя в номере отеля за большим столом резного дуба. Только что, пожелав покойной ночи, расстался с Лили и Фабрианом, которые обосновались по соседству со мной. Лили поцеловала меня в щеку, Фабриан дружески пожал руку, предупредив, что утром, до отъезда в Цюрих, хочет побывать со мной в местном музее.

От выпитого немного кружилась голова, но спать не

хотелось. Вынув из ящика чистый лист бумаги, я почти машинально стал записывать в графу приход:

«Приз на скачках — 20 000, золото — 15 000, игра в бридж и триктрак — 36 000, кинофильм — пока неизвестно».

Словно замороженный, глядел я на написанные мной цифры. До этого, даже когда я, будучи пилотом, хорошо зарабатывал, я никогда не занимался подсчетами и никогда точно не знал, сколько у меня денег в банке или наличными при себе в кармане. Теперь же я решил вести подсчеты каждую неделю. Или, смотря по тому, как пойдут дела, даже каждый день. Я постиг, что само действие сложения — одна из величайших прелестей богатства. Сами цифры на листке передо мной доставляли мне большую радость, чем все, что я мог бы купить на эти деньги. И я спрашивал себя, следует ли считать подобную слабость пороком и стыдиться ее? Когда-нибудь я, наверное, избавлюсь от этого.

Я поморщился, услышав за стеной скрип кровати и возню. Насколько можно доверять этому Фабиану? Его отношение к деньгам, своим и чужим, было, мягко говоря, бесцеремонным. Я ничего не знал ни о нем, ни о его прошлом, чтобы судить о степени его порядочности. Завтра надо будет потребовать письменного, юридического оформления наших деловых отношений. Но, независимо от этого, все время не спускать с него глаз.

Когда я наконец заснул, мне приснился мой брат Хэнк. С печальным лицом сидит он за счетной машинкой и подсчитывает чужие деньги.

Утром Лили ушла в парикмахерскую, а мы с Фабианом отправились осматривать музей в Сен-Поль де Вансе, и мне, таким образом, представилась возможность поговорить с ним.

На взятой напрокат машине мы выехали из Ниццы, за рулем сидел Фабиан. Утро было ясное, солнечное, дорога почти пустынная, море с левой стороны шоссе невозмутимо спокойное. Фабиан не спеша, осторожно вел машину, и мне было приятно сидеть рядом с ним, вновь переживая удачи вчерашнего дня. Мы не разговаривали, но когда выехали из Ниццы и миновали аэропорт, Фабиан вдруг сказал:

— Не считаете ли вы, что меня следует ознакомить со всеми обстоятельствами?

— Какими обстоятельствами?

— Как попали к вам деньги? Почему вы уехали из США? Полагаю, вам что-то угрожало? Кстати, и я теперь разделяю с вами опасность, не так ли?

— До некоторой степени, — согласился я.

Фабиан кивнул. От подножий Приморских Альп мы стали взбираться по извилистой дороге, петлявшей среди виноградников, сосновых и оливковых рощ с их благоуханным пряным ароматом. В этом блаженном краю, под яркими лучами средиземноморского солнца рассеивалось представление об опасности где-то там, на темных улицах ночного Нью-Йорка, в совершенно ином мире. Я выбросил прошлое из головы вовсе не потому, что хотел спрятаться от него, а лишь из желания полнее ощутить, впитать в себя то чудесное, что сейчас окружало нас. Тем не менее Фабиан имел право узнать обо всем. И пока мы медленно взбирались все выше и выше на усеянные цветами горы, я рассказал ему все от начала до конца.

Фабиан молча, не перебивая, выслушал мой рассказ, а затем сказал:

— Допустим, что дела наши и далее пойдут так же успешно. И, скажем, через некоторое время мы сможем вернуть взятые вами сто тысяч, и у нас еще останутся вполне приличные средства. Стали бы вы в таком случае разыскивать владельца денег, чтобы возвратить их?

— Да, я склонен к этому.

— Превосходный ответ, — одобрил Фабиан. — Но я не вижу, как это осуществить, не наводя на ваш след. На наш след, — поправился он. — Тут необходима осторожность. Что-нибудь указывает на то, что эти люди разыскивают вас?

— Только то, что они зверски избили Друзека.

— Достаточно серьезное предупреждение, — поморщился Фабиан. — Когда-нибудь прежде вы имели дело с гангстерами?

— Нет, никогда.

— Так же и я. Возможно, это наше преимущество. Мы не знаем, как они там рассчитывают, потому не попадем в какую-нибудь опасную ловушку, пытаясь перехитрить их. Как мне кажется, до сих пор вы поступали правильно, все время разъезжая. Надо продолжать пока

перезезжать с места на место. Вы же не против путешествий?

— Наоборот, люблю их. Особенно теперь, когда могу позволить себе это.

— Не казалось ли вам иногда, что эти люди, может, вовсе и не гангстеры?

— Нет.

— Когда-то я читал в газетах об одном человеке, который погиб в авиационной катастрофе. При нем нашли шестьдесят тысяч долларов. Он оказался известным республиканцем и летел в штаб-квартиру республиканской партии в Калифорнии. Это было во время второй предвыборной кампании Эйзенхауэра. Деньги, очевидно, предназначались для нее и тайно переправлялись.

— Возможно, — сказал я, — но я не верю, чтобы какой-нибудь известный республиканец остановился в таком отеле, как «Святой Августин».

— Что ж, — пожал плечами Фабиан, — будем надеяться, что мы никогда не узнаем, чьи это деньги. Скажите, а вы рассчитываете получить двадцать пять тысяч, которые дали займы своему брату?

— Нет.

— Вы не скупой. Вполне одобряю.

Мы подъехали ко входу в музей.

— И вот прекрасный пример, — продолжал Фабиан. — Превосходное здание, великолепное собрание предметов искусства. Какое огромное удовлетворение испытал тот, кто пожертвовал деньги на это.

Поставив машину на стоянке, мы вышли и направились к красивому строению на вершине холма, вокруг которого был разбит большой парк. В парке как-то неуклюже стояли огромные статуи, колышущиеся вокруг них деревья и кусты создавали впечатление, что и статуи вот-вот сами сдвинутся с места.

В музее почти никого не было, но меня главным образом озадачило то, что я в нем увидел. Очень редко бывая в музеях и на выставках, я привык видеть в их залах традиционные произведения живописи и скульптуры. Тут же я столкнулся с формами и образами, которые, очевидно, возникали лишь в странном воображении художников и передавались на полотнах грязными пятнами и мазками или диким искажением обычных предметов и человеческих форм, в чем я не мог найти

никакого смысла. А меж тем Фабиан молча, с серьезным сосредоточенным видом, чинно переходил от одного экспоната к другому, весь поглощенный их созерцанием. Когда наконец мы вышли из музея, он глубоко вздохнул, как вздыхают после тяжелого труда, и воскликнул:

— Какая сокровищница искусства! Сколько тут собрано неуемного воплощения энергии, борьбы, сумасбродного юмора! Вам понравилось?

— Боюсь, что до меня ничего не дошло.

— Вы хотя бы честный человек, — рассмеялся Фабиан. — Нам надо почаще заглядывать на выставки и в музеи. В конце концов вы перешагнете через порог обычных восприятий и чувств. Только побольше всматривайтесь. Как и всякое ценное достижение, это тоже требует усилий.

— А стоит ли? — спросил я, понимая, что в его глазах выгляжу обывателем, но про себя возмущаясь его уверенностью в том, что я должен учиться, а он учить. Как бы там ни было, если б не мои деньги, то он не оказался бы этим утром на средиземноморском побережье, а сиднем бы сидел в Сан-Морице за карточным столом в надежде выиграть у партнеров хотя бы на оплату счета в отеле.

— Для меня стоит, — сказал Фабиан, мягко взяв меня за руку. — Вы недооцениваете душевные радости, Дуглас. Не одной лишь черной икрой жив человек.

Мы остановились у кафе на площади в Сен-Поль де Вансе и сели за один из столиков, стоявших прямо на улице. Невдалеке под деревьями несколько пожилых мужчин играли в шары, их голоса хрипло звучали у старинной потемневшей стены, которая была частью еще сохранившихся средневековых крепостных сооружений. Мы лениво потягивали белое вино, наслаждаясь бездельем и праздностью, когда некуда спешить и нечего делать, разве что бездумно следить за игрой, которая не приносит ни выигрыша, ни проигрыша.

— Не растворяйте наслаждения, — громко произнес я. — Вы помните, чьи это слова?

— Мои, конечно, — рассмеялся Фабиан. И, помолчав, вдруг спросил: — Как вы относитесь к деньгам?

Я в недоумении пожал плечами:

— Никогда особенно не задумывался над этим. А что бы вы ответили на этот вопрос?

— Деньги не существуют для нас как таковые. Они связаны с положением в жизни. Например, ваши взгляды на жизнь, судя по тому, что вы мне рассказывали, сразу в один день изменились, верно?

— Да, это произошло в кабинете врача, когда меня отстранили от полетов.

— И вы согласны, что ваше отношение к деньгам стало тогда совсем иным?

— Да.

— В моей жизни не было такого драматического поворота, — продолжал Фабиан. — Но я давно уже решил, что в мире лишь одна бесконечная несправедливость. Что я видел и пережил? Войны, в которых гибли миллионы невинных людей, разрушения, засухи, голод. И наряду с этим продажность верхов, обогащение воров и постоянное умножение жертв. И почти никакой возможности избежать или хотя бы облегчить страдания. Признаюсь, я всегда стремился не попасть в число жертв. Как я мог заметить, у кого деньги, те не становятся жертвами. Деньги приносят свободу быть самим собой. Бедняк же подобен мышке, блуждающей в лабиринте. У него нет выхода, в поисках пути им движет голод. Конечно, та или иная мышка может выскочить из лабиринта. Или случайно, или по счастью, как мы с вами. Кроме того, есть люди, которые жаждут власти, готовы унижаться, предать всех и вся, убивать, лишь бы добиться ее. Приглядитесь к некоторым из наших президентов и ко всяким полковникам, которые правят сегодня большей частью мира. Встречаются и святые, которые скорее сожгут себя, чем станут сомневаться в том, что как бы свыше осенило их. А затем огромное множество тех, что преждевременно состарились от нелепого рвения на поточных конвейерах, в рекламных агентствах или на биржах. Я уж не говорю о женщинах, ставших работягами в постели, шлюхами из чистой лени. Когда вы были летчиком, то, наверное, чувствовали себя счастливым человеком.

— Очень счастливым, — подтвердил я.

— Не люблю летать, — признался Фабиан. — В воздухе или скучаю, или боюсь. Каждому свое. У меня, признаюсь, желания весьма банальные и эгоистичные. Прежде всего не люблю работать. Обожаю общество

изящных женщин, путешествия, жизнь в хороших отелях. И поскольку мы волею судеб стали компаньонами, мне бы хотелось, чтобы у нас были и общие вкусы. А я обнаружил, что вы, Дуглас, чересчур уж скромны. Потому в критический момент вы, того и гляди, станете мертвым грузом. Деньги и скромность просто несовместимы. Как вы могли заметить, я люблю деньги, но скучаю копить их, утробив на это лучшие годы жизни. Надо находить деньги, что лежат в доступном месте, куда время от времени проникают посторонние вроде меня, не связанные установленными законами и моральными предубеждениями. Благодаря вам, Дуглас, и счастливой случайности с одинаковыми чемоданами я сейчас получил возможность жить как мне нравится. Теперь о вас. Хотя вам уже больше тридцати лет, в вас еще есть что-то ребяческое, неустойчивое. Если у меня всегда была цель, то у вас нет сейчас ясного направления. Прав я?

— Не совсем, — ответил я. — Скорее я пока еще на распутье.

— Быть может, вы еще полностью не поняли последствий своего поступка?

— Какого поступка? — удивился я.

— Того, который вы совершили в «Святом Августине». Скажите, если бы с вами ничего не случилось и вы по-прежнему были бы летчиком, забрали бы вы эти деньги у мертвеца?

— Нет, конечно.

— Но, увы, есть одно обстоятельство, от коего всегда зависишь, — изрек Фабиан. — Дурной человек в какой-то момент всегда оказывается на дурном месте. — Он налил себе еще вина. — Что касается меня, то я никогда не колебался, если что плохо лежит... Но все это в прошлом. А сейчас нам надо забыть, откуда у нас деньги, нарастить на них капитал, чтоб не видно было, с чего начали.

— Каким же образом? Не сможем же мы каждый раз покупать лошадей, чтобы они брали призы.

— Да, оно, конечно, так, — согласился Фабиан.

— А в бридж или триктрак, как вы сами заявили, играть вы больше не будете.

— Нет, не буду. Эти люди за карточным столом угнетали меня. Мороча их, я стыдился самого себя, что вдвойне неприятно для человека, который высокого мне-

ния о своей персоне. Каждый вечер я садился с ними за стол с холодным расчетом взять у них деньги и ничего более. А мне приходилось быть обходительным, выслушивать их исповеди, ужинать с ними. Я уже достаточно стар для всего этого. Ах, деньги, деньги... — он произнес с таким выражением, словно это было основное условие задачи, которую задали решить на дом. — От денег тем больше удовольствия, чем меньше думаешь о них. Хорошо иметь их, не полагаясь на свое счастье или сноровку. А для нас лучше всего сколотить такой капиталец, что приносил бы приличный постоянный доход. Кстати, Дуглас, какой годовой доход вас устроит?

— Тысяч пятнадцать — двадцать.

Фабиан рассмеялся.

— Поднимайте выше, дружок, — сказал он.

— Так сколько же вы хотите?

— По крайней мере сто тысяч.

— Ого! Это не так просто.

— Да, еще бы. И связано с известным риском. И потребует больших усилий. Но как бы ни обернулись наши дела, никаких взаимных упреков и обвинений. И уж, разумеется, без всяких кинжалов.

— Будьте спокойны, — сказал я, надеясь, что в моих словах звучит уверенность в будущем, которой я на самом деле не ощущал. — Если понадобится, пойду и напролом.

— Решения будем принимать сообща. Я говорю это в назидание нам обоим.

— Понятно, Майлс. И мне бы хотелось закрепить это письменно. В документе.

Фабиан взглянул на меня с таким видом, словно я ударил его.

— Дуглас, дружище, — обидчиво проговорил он. — Вы что, не доверяете мне? Разве я не абсолютно честен с вами?

— Да, но лишь после того, как я стукнул вас лампой по голове.

— У меня инстинктивное отвращение ко всяким бумагам и документам. Всегда предпочитаю скрепить все простым искренним рукопожатием.

Он протянул мне через стол руку, но я не ответил ему тем же.

— Ну, если вы так настаиваете, — процедил он, убрав руку, — оформим в Цюрихе. Надеюсь, уживемся и с

этим. — Взглянув на часы, он поднялся из-за стола. — Лили, должно быть, уже ждет нас.

Я полез за бумажником, чтоб расплатиться, но он остановил меня и бросил несколько монет на стол:

— Нет уж, доставьте мне удовольствие.

Глава пятнадцатая

— Что сделано, то сделано, — сказал Фабиан, когда мы вышли из конторы юриста, шагая по слякоти цюрихских улиц. — Теперь мы скованы цепями закона.

Соглашение между нами только что было нотариально оформлено, и юрист обещал, что в течение месяца официальный статус нашей компании будет зарегистрирован в княжестве Лихтенштейн. Как я узнал, это княжество, где прибыль не облагалась налогами, а доходы и расходы корпораций тщательно охранялись наравне с государственными тайнами, что особенно привлекало юристов и их клиентов.

В нашей компании были учреждены два неоплаченных пая, один — мой, другой — Фабиана. Почему это понадобилось, я так и не понял. По каким-то причинам, связанным со сложностью швейцарских законов, юрист назначил себя президентом компании, которую я предложил назвать «Августинской». Возражений против такого названия ни с чьей стороны не поступило, и мы с легким сердцем оплатили все сборы, поборы и вознаграждения юристу.

Фабиан любезно включил в соглашение пункт о том, что в конце года я имею право выйти из компании, забрав свои семьдесят тысяч долларов. Счет Фабиана в частном банке стал нашим общим, и . и один из нас не мог теперь распоряжаться им без согласия другого.

Каждый из нас положил в Объединенный швейцарский банк пять тысяч долларов на свое имя. «На карманные расходы», — объяснил Фабиан.

В случае смерти одного из владельцев все имущество компании и ее банковские счета переходили второму владельцу.

— Немного мрачно, — заметил по этому поводу Фабиан, — но в таких делах надо быть предусмотрительным. Если это вызывает у вас, Дуглас, какие-то опасения, то я все же значительно старше вас и могу раньше отправиться в мир иной.

— Все понятно, — сказал я, умолчав о том, что это также может соблазнить моего компаньона столкнуть, скажем, меня где-нибудь в горах со скалы или при случае отравить.

— Ну как, вы довольны? — спросил Фабиан, обходя лужи. — Чувствуете себя в безопасности?

— В безопасности от всего, кроме вашего оптимизма, — отвечал я.

Мы уже шесть дней обретались в Цюрихе под его серым утрюмым небом, и за эти дни Фабиан купил еще на двадцать тысяч долларов золота, провернул сделку с перепродажей сахара, дважды смотался в Париж и приобрел там три абстрактные картины художника, о коем я никогда не слыхал, но который, по утверждениям Фабиана, в ближайшие два года взлетит, как ракета. Он объяснил мне, что не любит, когда деньги лениво лежат без движения.

Фабиан обсуждал со мной все наши дела и терпеливо объяснял операции на товарных рынках, где колебания цен были так беспорядочны, что капиталы создавались и терялись в течение одного дня, и где мы потрясающе преуспели с четверга на пятницу в перепродаже сахара.

Я как-то постигал или делал вид, что постигаю наши запутанные деловые операции, но когда он спрашивал моего совета, я предоставлял решать ему самому. Я стыдился своей наивности и чувствовал себя в положении школьника, вызванного к доске отвечать урок, которого он не приготовил. Все казалось мне таким сложным и опасным, что я стал удивляться, как смог тридцать три года прожить в том же мире, где преуспевал Майлс Фабиан.

К концу этих шести дней я уже ни в чем не был уверен и не знал, смогу ли далее вынести эту нервозность. Просыпаясь по утрам, я обливался холодным потом.

А Фабиана, казалось, ничто не тревожило: чем больше

риска, тем невозмутимее он был. Если мне следовало чему-нибудь поучиться, так именно этому.

Пожалуй, впервые с тех пор, как я вышел из детского возраста, у меня заболел желудок. Безостановочно поглощая сельтерскую, я утешал себя, что неприятности с желудком у меня вовсе не из-за нервов, а из-за непривычно обильной пищи и деликатесов (Фабиан дважды в день водил нас в лучшие рестораны), а также изысканных вин, к которым я не привык. Но ни Фабиан, ни Лили, ни ее сестра Юнис ни на что не жаловались, даже после обеда в Кроненхалле, этом швейцарском оплоте чревоутодия, где мы ели копченую форель, вырезку оленины со специями и брусникой, какой-то особый сыр и шоколадное суфле, запивая все это сначала легким вином, а затем и более основательным бургундским.

С беспокойством я начал замечать, что полнею, брюки становились тесны, особенно в талии. А вот на Лили, например, ничто не отражалось, она по-прежнему была стройна и изящна, хотя ела больше меня или Фабиана. Ее сестра Юнис оставалась все той же привлекательной толстушкой, а Фабиан каким-то чудом даже похудел, благодаря чему выглядел много лучше, словно внезапная инъекция денег в его жизнь значительно улучшила и обмен веществ у него. Сколько бы он ни ел и ни пил, глаза у него были ясными, лицо сохраняло здоровый румянец, усы задорно топорщились, походка оставалась такой же легкой. Думаю, так должны выглядеть генералы, томящиеся долгие мирные годы в безвестности, пока их внезапно не призывают на войну командовать армиями в больших кровавых сражениях. Глядя на него, я тоскливо ощущал, что мне, как рядовому, положено страдать и за себя, и за него.

Юнис оказалась хорошенькой, приятной девушкой со вздернутым носиком и выразительными голубыми глазами; ее лицо, окропленное веснушками, было свежим, как весенний альпийский луг. Вообще-то она походила на девушек скорее викторианской эпохи, чем семидесятых годов нашего века. Ее тихий, неуверенный голосок был полной противоположностью той самонадеянной манере, с какой высказывалась ее старшая сестра. И уж трудно было предположить, хотя об этом мы слышали от Лили, что Юнис вертелась среди придворных гвардейцев в Лондоне.

Где бы мы ни появлялись, обе сестры неизменно

привлекали внимание мужчин. При других обстоятельствах я бы, без всякого сомнения, увлекся Юнис, но назойливое подглядывание Фабиана и присутствие Лили, напоминавшее о ночи во Флоренции, как-то сковывали меня, и я был сдержан, не ища сближения с девушкой и даже не стремясь вызвать у нее интерес ко мне. Я был воспитан в правилах, что интимные отношения — дело весьма личное, они не завязываются на глазах у всех и не выставляются напоказ. С самого начала Юнис и я скромно прощались в лифте (мы жили на разных этажах), желая друг другу спокойной ночи, даже без поцелуя в щеку.

Не стану скрывать, что меня радовали жалобы обеих сестер на пребывание в Цюрихе. Они уже устали от ходьбы по магазинам, их угнетала скверная слякотная погода, и они не знали, чем занять себя в те долгие часы, когда мы с Фабианом вели переговоры в конторах и в холлах отелей с различными бизнесменами, банкирами, биржевыми маклерами, которых Фабиан отыскивал в финансовом центре города. Все эти деятели говорили по-английски или, скорее, шептали с разным акцентом, и я едва ли лучше понимал их, чем обе сестры, которые по настоянию Фабиана часто присутствовали при наших деловых операциях и сделках.

Сестры собирались уехать в Гштаад, где, по сводкам погоды, было солнечно, выпал хороший снег, и мы одобрили их поездку. Фабиан заверил их, что как только мы закончим наши дела в Цюрихе, на что потребуется немного времени, мы приедем к ним и затем отправимся в Италию. Он дал им на расходы две тысячи долларов из наших карманных денег, как он их называл (расточительное название, внушавшее мне страх). У него были барские замашки, не вязавшиеся с тем, что большую часть своей жизни он едва сводил концы с концами, живя на сомнительные случайные доходы.

Как только сестры уехали, Фабиан ухитрился выкроить время на то, чтобы показать мне подлинные достопримечательности Цюриха. Полдня мы провели в музее искусств, где я досыта налюбовался на изумительную обнаженную натуру кисти Кранаха; Фабиан заявил, что посещает этот зал при каждом приезде в Цюрих. О собственных вкусах Фабиан особенно не распространялся, довольствуясь тем, что я сопровождаю его по всем выставкам и галереям города. Например, после концерта

Брамса все, что он мне сказал, было: «В Европе надо слушать Брамса».

Фабриан сводил меня даже на кладбище, где был похоронен умерший в Цюрихе Джеймс Джойс. У могилы со статуей писателя Фабриан вырвал у меня признание, что я не читал «Улисса», и по возвращении в город отвел меня прямо в книжный магазин, где купил этот роман. Тут мне впервые пришло в голову, что тюрьмы могут быть заполнены вовсе не отъявленными головорезами, а приличными людьми, которые увлекаются Платоном и знают толк в музыке, литературе, современной живописи, винах и породистых скакунах.

Размышляя об отношениях с Фабрианом, я не мог отделаться от мысли, что по каким-то скрытым личным соображениям он пытается развратить меня. Но если и было у него такое намерение, то осуществлялось оно весьма своеобразно. С тех самых пор, как мы оставили Париж, он стал относиться ко мне полулюбовно, полупокровительственно, подобно искушенному дядюшке, наставляющему наивного простодушного племянника в познании оборотной стороны жизни. Дела проворачивались так быстро, будущее, которое он рисовал, казалось таким радужным, что у меня не было времени да и желания на что-либо жаловаться. Казалось, мне даже повезло в том, что мой чемодан попал к нему, и я многому могу научиться у него. В иные эпохи доблесть героя обычно заключалась в храбрости, благородстве, физической ловкости, убежденности и честности, но уж никак не в апломбе. Однако в наше время, когда большинство из нас вряд ли знает, чего следует придерживаться, и не может с уверенностью сказать, поднимаемся ли мы или падаем, движемся вперед или назад, любим или ненавидим, презираем или поклоняемся, — в наше время, по крайней мере для таких людей, как я, апломб выглядит весьма важным рычагом в жизни.

Каковы бы ни были недостатки Майлса Фабриана, апломб у него был.

— Видимо, что-то подходящее намечается в Лугано, — озабоченно произнес Фабриан. Мы сидели в гостиной его номера, где, как обычно, были разбросаны американские, английские, французские, немецкие и итальянские газеты, раскрытые на финансовых страни-

цах. Он был еще в купальном халате и прилебывал утренний кофе, а я уже выпил у себя натошак бутылку сельтерской воды.

— Я полагал, что мы покатым в Гштаад, — заметил я.

— С этим можно обождать, — ответил он, помешивая кофе. Впервые мне бросилось в глаза, что руки у него выглядят старше, чем лицо. — Конечно, если вы хотите, то можете ехать туда без меня.

— Какое-нибудь дело в Лугано?

— Вроде того, — небрежно ответил он.

— Тогда я еду с вами.

— Ничего не скажешь — компаньон, — улыбнулся он.

Через час мы выехали на нашем новеньком синем «ягуаре». Фабиан сидел за рулем, держа путь к перевалу Сан-Бернардино. Он быстро вел машину, почти не сбавляя скорости, даже когда мы взбирались в Альпах на участках, покрытых снегом и льдом. Мы едва ли обменялись словом, пока не проехали через длинный туннель и оказались на южных склонах горной цепи. Фабиан, казалось, был погружен в глубокое раздумье, а я уже достаточно хорошо знал его, чтобы понять, что он разрабатывает какие-то операции и, возможно, решает, во что следует посвятить и меня.

На протяжении почти всего пути небо было сумрачным, в сплошных облаках, но едва мы выехали из туннеля, как все сразу переменилось: повсюду ярко блестело солнце, в высокой синеве проплывали отдельные белые облачка. Это, видимо, подняло настроение Фабиана, и, прервав молчание, он повернулся ко мне и весело спросил:

— Вам, наверное, хотелось бы знать, для чего мы едем в Лугано?

— Жду, что объясните.

— Так вот, среди моих знакомых есть один немец, который живет в Лугано. Со времени так называемого германского экономического чуда начался большой наплыв богатых немцев в эти края. Тут, в районе Тичино, хороший климат. Солидные банки.

— А чем занимается ваш знакомый немец?

— Трудно сказать. Всем понемногу. — Фабиан, очевидно, не хотел раскрывать карты и чувствовал, что я понимаю это. — Интересуется старыми мастерами, дабы умножить свой капитал. У меня с ним были кое-какие дела. Вчера он позвонил мне в Цюрих. Просит о небольшом одолжении, за которое был бы весьма призна-

телен. Однако не было оговорено ничего определенного. Пока все еще очень туманно. Будьте уверены, как только дело прояснится, вы полностью будете посвящены в него.

Я уже знал, что бесполезно задавать вопросы, когда он не договаривает до конца, ограничиваясь лишь намеками. Поэтому я включил радио, и мы спустились в зеленую долину Тичино под звуки арии из «Аиды».

В Лугано остановились в новом отеле на берегу озера. Повсюду здесь росли цветы. Остроконечные листья пальм едва колыхались под южным ветерком, на открытой террасе сидели люди в летних платьях и пили чай. В застекленном плавательном бассейне, примыкавшем к террасе, пышущая здоровьем блондинка методично плавала круг за кругом.

— В отелях теперь бассейны, потому что в озере плавать нельзя. Оно отравлено, — заметил Фабиан.

Раскинувшееся перед отелем озеро голубело и искрилось под солнцем. Я вспомнил старика, которого повстречал у нас в Америке, и его жалобы на то, что озеро Эри уже мертво и что такая же участь постигнет лет через пять и озеро Шамплейн.

— Когда я впервые приехал в Швейцарию, — продолжал Фабиан, — купаться можно было в любом озере, даже в любой реке. Времена изменились не к лучшему, — вздохнул он. — Закажите-ка бутылку вина, пока я схожу и позвоно своему немцу. Это нешадолго.

Я заказал вино и сидел, радуясь хорошему теплomu дню и солнцу. Переговоры, которые вел Фабиан, должно быть, проходили нелегко, потому что я выпил почти пелбутылки, прежде чем он вернулся.

— Все в порядке, — весело сказал он, садясь и наливая себе вина. — К шести часам заедем к нему на виллу. Кстати, его зовут герр Штюбель. Пока больше ничего не скажу о нем.

— Вы и так ничего не сказали.

— Не хочу, чтобы у вас сложилось предвзятое мнение. Вы вообще-то не против немцев, надеюсь?

— Не замечал за собой этого.

— У многих американцев еще водится такое. Между прочим, дабы объяснить, почему вы со мной, я сказал, что приеду с профессором Граймсом с факультета искусств Миссурийского университета.

— Боже мой, Майлс! — воскликнул я, расплескав вино. — Если он понимает что-либо в искусстве, то

сразу же увидит, что я совершенный профан. — Теперь мне стало понятно, почему Фабиан был так задумчив в пути. Он подыскивал соответствующую роль для меня.

— Вам нечего беспокоиться, — заверил меня Фабиан. — Как только он станет показывать картины, примите серьезный, рассудительный вид. Когда я спрошу ваше мнение, начните колебаться. Вы же в любых случаях жизни привыкли колебаться, не так ли?

— А дальше что? — строго спросил я — После колебаний?

— Вы заявите: «На первый взгляд, уважаемый мистер Фабиан, как будто подлинник». Затем добавите, что хотели бы завтра осмотреть более тщательно. При дневном свете, так сказать.

— В чем же тут смысл?

— Надо, чтобы он понервничал до завтра, — холодно объяснил Фабиан. — Станет более покладист. Помните лишь об одном: не выражайте никаких восторгов.

— Это для меня легче всего с тех пор, как я встретил вас, — угрюмо заметил я.

— Я знаю, что могу положиться на вас, Дуглас.

— Сколько это нам будет стоить?

— В том-то и дело, что ничего.

— Объясните мне, чтоб я понял.

— Ей-богу, сейчас не время, — с досадой проговорил Фабиан. — Пусть все идет своим чередом. У нас должно быть взаимное доверие.

— Объясните, или я не поеду.

Фабиан с раздражением покачал головой:

— Ладно, если вы уж так настаиваете. Так вот, по некоторым причинам этот немец, герр Штюбель, решил продать часть семейного собрания картин. Он считает, что этим можно избежать судебных процессов при разделе наследства. И, вполне естественно, предпочитает продать, не платя налогов. Избежать таможенных поборов при вывозе за границу.

— Значит, мы собираемся тайно, контрабандой, вывезти его картины из Швейцарии?

— Я полагал, что вы меня лучше знаете, Дуглас, — с упреком сказал Фабиан.

— Тогда объясните, что мы делаем. Покупаем или продаем?

— Ни то, ни другое. Мы просто посредники. Честные

посредники. В Южной Америке есть один очень богатый человек, мой знакомый...

— Опять знакомый.

— Мне известно, — невозмутимо продолжал Фабиан, — что он собирает картины эпохи Ренессанса и хорошо платит за них. В страны Южной Америки перекочевало много ценных произведений искусства. Вероятно, тысячи картин великих европейских мастеров спокойно переплыли океан и хранятся там в особняках, где еще сто лет никто и не услышит о них.

— Вы утверждаете, что мы ничего не будем вывозить из Швейцарии. Но когда в последний раз я смотрел на карту, Швейцарии не было в Южной Америке.

— Не острите, Дуглас. У вас плохо получается. Тот южноамериканец, о котором я упомянул, в настоящее время находится в Сан-Морице. Он в большой дружбе с послом своей страны, и дипломатическая почта к его услугам. К слову сказать, он намекнул мне, что готов за картину большого художника заплатить до ста тысяч долларов. Нам, следовательно, надо выжать из нашего немца подходящий процент за посредничество.

— Что вы считаете подходящим?

— Двадцать пять процентов, — тут же определил Фабиан. — Итак, двадцать пять тысяч долларов за пятичасовую, совершенно законную поездку по живописной, прекрасной Швейцарии. Отсюда в Сан-Мориц. Теперь вы понимаете, почему мне хотелось заехать сюда?

— Да, понимаю, — кивнул я.

— Не глядите так угрюмо. Между прочим, чтоб не забыть, картина, которую нам покажут, кисти Тинторетто. Как профессор истории искусств вы, конечно, узнаете ее. Запомнили имя художника?

— Тинторетто, — повторил я.

— Превосходно, — ласково улыбнулся мне Фабиан и налил нам обоим вина.

Уже стемнело, когда мы подъехали к вилле герра Штюбеля, приземистому двухэтажному каменному строению, стоящему высоко над озером, с прилегающей к нему узкой дорогой. В окнах за закрытыми ставнями не было света. Жилище не походило на дворец человека, владевшего собранием картин старых мастеров.

— Вы уверены, что именно здесь? — спросил я Фабиана.

— Да, здесь, — кивнул он, выключая мотор. — Хозяин мне подробно объяснил.

Мы вылезли из машины и направились по тропинке через небольшой заросший сад к входной двери. Фабиан дернул колокольчик, но внутри дома не последовало никакого движения. Мне показалось, что за нами откуда-то наблюдают. Фабиан вторично дернул колокольчик, и скрипучая дверь наконец отворилась.

— *Buona sera*¹, — сказала стоявшая в дверях низенькая старушка в кружевном чепчике и передничке.

— *Buona sera, signora*, — ответил Фабиан, входя в дом.

Прихрамывая, старушка провела нас через тускло освещенный зал. Никаких картин на стенах не было.

Она открыла тяжелую дубовую дверь, и мы вошли в столовую, которую освещала большая хрустальная люстра над столом. Ожидая нас, тут стоял грузный плешивый мужчина с отвислым животом и шкиперской бородкой. Он был в измятой плисовой куртке и коротких штанах, красные шерстяные чулки до колен плотно обтягивали его толстые икры. Позади него на стене висела большая темная картина без рамы, припиленная кнопками. На ней была изображена мадонна с младенцем.

Чуть наклонившись, мужчина поздоровался с нами по-немецки.

— К сожалению, герр Штюбель, — сказал Фабиан, — профессор Граймс не знает немецкого языка.

— В таком случае будем, конечно, говорить по-английски, — с довольно заметным акцентом проговорил Штюбель. — Очень рад, что вы приехали. Не хотите ли немного освежиться?

— Вы весьма любезны, герр Штюбель, — отвечал Фабиан, — но у нас нет времени. Профессору Граймсу нужно в семь часов позвонить в Италию, а потом в Америку.

Штюбель прищурился и потер ладони, словно они у него вспотели. У меня сложилось впечатление, что ему явно не хотелось, чтобы куда-нибудь звонили.

— Могу я взглянуть? — сказал я, шагнув к картине на стене.

¹ Добрый вечер (*итал.*).

— Да, пожалуйста, — с готовностью согласился Штюбель, отойдя в сторону.

— У вас, конечно, есть документы на эту картину? — спросил я.

Штюбель на этот раз еще сильнее потер ладони:

— Конечно есть. Но не с собой. Они... они в моем доме... во Флоренции.

— Понятно, — холодно сказал я.

— Доставить их дело нескольких дней, — продолжал Штюбель. — Я понял, мистер Фабиан, что у вас мало время. — Он повернулся к Фабиану. — Вы говорили мне, что гаспадин уезжает в конце недели.

— Возможно, и говорил, но, честно говоря, не помню, — отозвался Фабиан.

— В любом случае — вот эта картина. Она сама говорит за себя, профессор.

Я подошел к картине и уставился на нее, слыша за спиной тяжелое дыхание Штюбеля. Намерение моего компаньона заставить немца поволноваться, очевидно, успешно осуществлялось.

После недолгого молчаливого изучения картины я покачал головой и обернулся.

— Я, конечно, могу и ошибиться, — рассудительным тоном начал я, — однако и после весьма поверхностного осмотра сказал бы, что это не Тинторетто. Может быть, картина его школы, но и в этом я тоже сомневаюсь.

— Профессор Граймс, — огорченно обратился ко мне Фабиан, — очевидно, нельзя после беглого осмотра при искусственном освещении с уверенностью утверждать...

Дыхание немца стало коротким и более затрудненным, он даже облокотился, ища опоры, на обеденный стол.

— Мистер Фабиан, — сухо проговорил я, — вы просили меня высказать мое мнение. Что я и сделал.

— Но вы обязаны... — Фабиан остановился и подкрутил усы, ища подходящие слова. — Простая вежливость... обязывает проверить и поразмыслить. Мы еще раз приедем завтра. Осмотрим при дневном свете. Незачем решать так поспешно. Сплеча. Тем более герр Штюбель говорит, что у него есть документы.

— Документы?! — простонал Штюбель. — Да ведь сам Беренсон удостоверил подлинность этой картины. Беренсон...

Я не имел ни малейшего представления о том, кто такой Беренсон, но решил рискнуть.

— Как известно, Беренсона нет в живых, — бросил я свой рискованный вызов.

— Но когда он был шив, — перебил Штюбель. Риск оказался оправданным. Мой авторитет знатока искусств заметно повысился.

— Вы, разумеется, можете узнать и другие мнения. Если хотите, могу предложить список некоторых моих коллег.

— Не нушны мне ваши шортовы коллеги, — закричал Штюбель, от волнения заговорив с еще большим акцентом. Он угрожающе наклонился вперед, так что я даже подумал, что он сейчас ударит меня своим кувалдоподобным кулаком. — Што мое, то мое. И на кой шорт, чтоб я слушал о Тинторетто невещественный американцы.

— Мне здесь больше нечего делать, — поджав губы, с достоинством сказал я. — Вы идете со мной, мистер Фабиан?

— Да, иду, — кивнул он, пробормотав какое-то проклятие. — Позвоню вам попозже, герр Штюбель. Договоримся о завтрашнем дне, когда сможем обсудить более спокойно.

— Приходите один, — буркнул немец, открыв дверь столовой и выпустив нас в полутемный зал.

Старушка в кружевном чепчике стояла под дверью, как видно, подслушивая, о чем мы говорили. Она молча проводила нас из дому. Даже если она ничего и не поняла из нашей беседы с хозяином, то сама атмосфера разговора и поспешность, с какой мы прощались, должны были произвести на нее впечатление.

Фабиан шумно, в сердцах, захлопнул за мной дверцу машины и мягко закрыл свою, когда сел с другой стороны. Не говоря ни слова, он включил мотор и рванул с места на возрастающей скорости. В полном молчании мы проехали до поворота дороги к озеру. Там он остановил машину и повернулся ко мне.

— Так что вы скажете? — сказал он, стараясь быть сдержанным.

— О чем именно? — с невинным видом спросил я.

— Какого черта вы затеяли разговор о подделке?

— Этот немецкий боров произвел на меня отвратительное впечатление.

— Ха, впечатление! По милости вашего впечатления мы рискуем потерять двадцать пять тысяч.

— Ваш герр Штюбель просто жулик.

— А мы кто? Праведники?

— Если мы и стали мошенниками, то случайно, — кривя душой, сказав я. — А этот немец — прожженный жулик. На нем клейма негде ставить.

— Всего несколько минут вы видели человека и уже определили всю его жизнь. Я имел дело с ним, и он всегда выполнял свои обязательства. И на этот раз, ручаюсь, что мы получим свою долю.

— Возможно, получим и попадем в тюрьму.

— За что? Перевозка картины, даже поддельной, вовсе не преступление. Одного я не выношу в людях, Дуглас, и должен прямо сказать вам это в лицо — не выношу трусости. Если хотите знать, немец сказал правду. К вашему сведению, профессор Миссурийского университета Граймс, это действительно подлинная картина Тинторетто.

— Так вот, перевозку картины, даже поддельной, вы не считаете преступлением. А что скажете об участии в продаже украденной картины Тинторетто?

— Откуда вы знаете, что она украдена? — сердито спросил Фабиан.

— Чувствую. И вы, наверное, тоже.

— Мне это неизвестно.

— Вы спросили его об этом?

— Конечно, нет. Меня это не касается. Так же, как и вас. Мы не станем отвечать за то, чего не знаем. Но раз вы решили отойти от этого дела, что ж, как хотите. А я позвоню ему и скажу, что завтра утром заеду и заберу картину.

— Если вы сделаете это, — спокойно возразил я, — я сообщу полиции, чтобы она на месте преступления забрала вас вместе с этим любителем живописи.

У Фабиана отвалилась челюсть.

— Вы, надеюсь, шутите?

— Нисколько. Все, что делал я с тех пор, как взял деньги у мертвеца, было законным или почти законным. Включая и то, что мы вместе предпринимали. Если я и преступник, то, во всяком случае, не рецидивист. Если когда-нибудь меня и обвинят в чем-нибудь, то лишь в уклонении от уплаты налогов. А на это никто не посматривает как на серьезное преступление. И я вовсе не намерен сесть в тюрьму за какие-нибудь темные дела. Зарубите это себе на носу.

— Но если я докажу вам, что картина не украдена...

— Вы не сможете доказать и отлично знаете это.

Фабиан досадливо вздохнул и запустил мотор.

— Я все же позвоню Штюбелю и скажу, что приеду к нему в десять утра, — заявил он.

— Тогда полиция придет за вами.

— А, не верю я вам, — отмахнулся Фабиан.

— Поверьте мне, Майлс. Я твердо решил.

По дороге мы больше не разговаривали. Когда приехали в отель, Фабиан пошел звонить по телефону, а я зашел в бар, не сомневаясь, что он присоединится ко мне. Я выпил уже второй стаканчик виски, когда Фабиан вошел в бар. Он выглядел более сосредоточенным, чем когда-либо. Сев рядом со мной у стойки бара, он крикнул бармену:

— Бутылку «Мозт и Шандон». И два бокала. — Он молча ждал, пока бармен нальет нам шампанское, затем поднял свой бокал и повернулся ко мне. — За нашу дружбу, — широко улыбнулся он. — А мне так и не пришлось поговорить с немцем.

— Очень хорошо, — кивнул я. — Я еще не звонил в полицию.

— Говорил я лишь со старухой, что живет у него, — продолжал Фабиан. — Плача, она рассказала мне, что минут через десять после нашего ухода явилась полиция и забрала ее хозяина вместе с картиной Тинторетто. Оказалось, что полтора года назад она была украдена из одной частной коллекции. — Фабиан громко рассмеялся. — Как видите, у меня были достаточно веские основания, чтобы привезти вас в Лугано, дорогой профессор Граймс.

Мы чокнулись, и Фабиан опять так зычно захохотал, что на него с любопытством стали оборачиваться другие посетители бара.

Глава шестнадцатая

Покончив с делами в Лугано, на следующее утро мы сели в свой темно-синий «ягуар» и покатали в Гштаад. На сей раз за рулем сидел я, наслаждаясь легким ходом машины, которая, словно

птица, неслась под ярким солнцем между заснеженными горными вершинами и бесчисленными холмами, раскинувшимися вдоль шоссе Цюрих — Берн. Фабиан пристроился на соседнем сиденье и мурлыкал под нос какую-то мелодию из концерта Брамса, на который водил меня несколько дней назад. Время от времени Фабиан ни с того ни с сего фыркал, как кот. Вспомнил, должно быть, незадачливого герра Штюбеля. Или представлял, каково тому приходится в тюрьме Лугано.

Мы миновали несколько чистеньких, ухоженных городков с опрятными улочками, геометрически правильные прямоугольники полей, богатые крестьянские угодья с огромными хозяйственными постройками, напоминавшими о земледельческих традициях края, уходящих корнями в далекое прошлое. Благодатная, процветающая земля, прославляющая трудолюбивого человека. Идиллический пасторальный пейзаж, чудесная мирная картина — невозможно было представить здесь марширующие армии, толпы беженцев — любая повседневная суета казалась тут неуместной. Господи, подумал я, знай эти порой попадающиеся нам полицейские, которые вежливо указывали направление движения на перекрестках, что за парочка сидит в новеньком синем «ягуаре», нас бы давно уже арестовали и выставили через ближайшую границу.

Дышалось мне легко и свободно. Здесь, в дороге, руки у Фабиана были связаны, так что, по меньшей мере, один день я был спокоен за наши деньги и не ощущал лихорадочного беспокойства, тревожной нервозности и состояния, когда меня бросало то в жар, то в холод всякий раз, как Фабиан оказывался поблизости от телефона-автомата или какого-нибудь банка. Этим утром я воздержался от приема сельтерской и уже предвкушал, какой аппетит нагуляю к обеду. А Фабиан, как водится, знал в Берне прекрасный ресторанчик и посулил угостить чем-то особенным.

Как обычно, от плавного уверенного хода машины я ощущал, как в моей мошонке разливается приятное тепло, и перебирал в памяти самые захватывающие мгновения ночи, проведенные с Лили во Флоренции, а также предвкушал встречу с Юнис, вспоминал ее прелестные веснушки, тихий голосок, нежную шею и викторианскую грудь. Будь она рядом со мной в данную минуту вместо Фабиана, я не сомневаюсь, что мы съе-

хали бы с дороги и завернули в одну из прелестных бревенчатых гостиниц с названием вроде «Львы и олени» или «Отель трех королей», где сняли бы номер на день. Ладно, утешал я себя, тише едешь — дальше будешь, и сильнее надавил на педаль акселератора.

Посматривая на заснеженные вершины холмов по сторонам от дороги, я поймал себя на том, что уже опять не прочь встать на лыжи. Беготня по Цюриху и непривычное общение с банкирами и юристами настолько приелись мне, что свежий горный воздух и яркое солнце манили и притягивали как магнит.

— Вам приходилось кататься на лыжах в Гштааде? — поинтересовался Фабиан. Должно быть, заснеженные холмы вызвали у него те же мысли, что и у меня.

— Нет, — ответил я. — Я катался только в двух местах: в Вермонте и в Сан-Морице. Но я слышал, что в Гштааде трассы не очень сложные.

— Но шею сломать там вполне можно, — усмехнулся Фабиан. — Как, впрочем, и везде.

— А как катаются наши сестренки?

— О, как все англичанки. Рвутся на склон, как на штурм вражеской крепости... — Фабиан вдруг фыркнул себе под нос. — Придется вам попотеть. Это вам не миссис Слоун.

— Не напоминайте мне о ней, — взмолился я.

— Что, не выгорело? — лукаво спросил он.

— В какой-то мере да.

— Я недоумевал, зачем вы с ней связались. Сразу было видно, что она вам не пара.

— Так и есть, — честно ответил я. — Кстати, это все из-за вас.

— Почему? — изумился Фабиан.

— Я посчитал, что Слоун — это вы!

— Что?

— Я думал, что он украл мой чемодан, — пояснил я. Потом рассказал про коричневые ботинки и темно-красный шерстяной галстук.

— Бедняга, — посочувствовал Фабиан. — Вы потратили на миссис Слоун целую неделю такой короткой жизни. Я и впрямь теперь ощущаю свою вину. Она засовывала язычок вам за ухо?

— Случалось, — признался я.

— Мне пришлось терпеть это три ночи. В прошлом

году. А как вам удалось выяснить, что Слоун тут ни при чем?

— Если не возражаете, я пока об этом умолчу.

Припомнив жуткий миг разоблачения, когда Слоун застал меня в своем номере с этим дурацким гипсом на ноге и с его ботинком в руках, я решил, что эта кошмарная история должна умереть вместе со мной. А как он вышвырнул в окно *мой* ботинок и часы, подаренные миссис Слоун... Брр... Я зябко поежился.

— Вот как? — Фабиан надулся. — Но ведь мы же компаньоны?

— Да, конечно. Как-нибудь в другой раз, — пообещал я. — Когда нам обоим захочется посмеяться.

— Ну, этого недолго ждать, — протянул он. И умолк.

«Ягуар» мчал по живописнейшей дороге, проложенной среди изумительно прекрасного соснового бора, чистенького и ухоженного, как и все в Швейцарии.

— Послушайте, Дуглас, — спросил Фабиан. — А остались у вас родственники в Америке?

Ответил я не сразу. Подумал почему-то сначала о Пэт, потом вспомнил Эвелин Коутс, своего брата Хэнка, озеро Шамплейн, вермонтские крутые склоны и даже номер 602. А на закуску еще Джереми Хейла и мисс Шварц.

— По большому счету нет, — сказал я наконец. — А почему вы спрашиваете?

— Откровенно говоря, меня спрашивала об этом Юнис.

— Юнис? — Пришел мой черед удивляться. — Ей что-то не нравится?

— Нет, конечно, нет. Но вы так молчаливы и сдержанны... мягко говоря.

— Она на меня пожаловалась?

— Нет. По меньшей мере, мне, — ответил Фабиан. — Но Лили намекнула, что Юнис несколько озадачена. Все-таки она бросила все и примчалась сюда из самой Англии...

Он пожал плечами.

— Впрочем, вы и сами понимаете, что я имею в виду.

— Да, понимаю, — смущенно признался я.

— Надеюсь, в принципе-то вам девочки нравятся, Дуглас?

— О Господи, ну конечно, — отмахнулся я. Припом-

нив моего брата, ведущего радиопрограммы для гомиков в Сан-Диего, я вывернул руль чуть резче, чем следовало, и с некоторым трудом вписался в поворот.

— Не обижайтесь, я просто пошутил. В наши дни такое часто случается. Но вы хоть находите ее привлекательной?

— Да! Послушайте, Майлс, — с горячностью заговорил я, — мы, конечно, компаньоны, но в нашем контракте не предусмотрено, чтобы меня использовали как племенного жеребца, не так ли?

— Резковато сказано, — к моему изумлению, он хихикнул. — Хотя, должен признаться, мне в своей долгой карьере приходилось выступать в роли подобного, как вы выразились, племенного четвероногого.

— Господи, Майлс, — попытался оправдаться я, — да мы знакомы-то с ней без году неделя.

Сказал и тут же прикусил язык. Во Флоренции, когда я поднялся в номер Лили, я с ней и нескольких часов не был знаком. А что уж говорить про Эвелин Коутс...

— И вообще, роль любовника по заказу не для меня. — Тут я оседлая любимого конька. — Должно быть, меня воспитали несколько иначе, чем вас.

— Полно вам, — доброжелательно отозвался Фабиан. — В конце концов, Лоуэля не так уж сильно отличающаяся от Скрантона.

— Кому вы вешаете лапшу на уши, Майлс? — огрызнулся я. — Следов вашего пребывания в Лоуэлле днем с огнем не найти.

— Вы, конечно, удивитесь, Дуглас, — миролюбиво произнес Фабиан. — Даже не поверите. Но что вы скажете, если я признаюсь, что настолько привязался к вам, что забочусь только о ваших интересах?

— Конечно, не поверю, — отрезал я.

— Даже когда они совпадают с моими собственными интересами?

— О нет, тогда другое дело, — ответил я. — Хотя все равно с некоторыми оговорками. Но куда вы гнете?

— Мне кажется, что пора вам остепениться, — сказал он. Это прозвучало так серьезно, словно Фабиан годами вынашивал свой план и наконец созрел для его осуществления.

— Ой, смотрите, какой изумительный пейзаж! — воскликнул я.

— Я вовсе не шучу. Слушайте и не перебивайте. Вам ведь тридцать три, верно?

— Да.

— Значит, так или иначе, в ближайшие пару лет вам придется обзавестись семьей.

— Почему?

— Потому что так принято. Потому что вы привлекательны. О вас пойдет молва как о богатом молодом человеке. Какая-нибудь девушка непременно решит, что должна заполучить вас, и добьется своего. Потом вы сами признавались мне, что устали от одиночества. И вам захочется иметь детишек. Разве я не прав?

Я вдруг припомнил острое сожаление и грызущее чувство потери, которое ощутил в Вашингтоне, в доме Джереми Хейла, когда дочка Хейла ответила по телефону звонким голоском и позвала папу.

— Пожалуй, правы, — согласился я.

— А клоню я к тому, чтобы вы не полагались на слепой случай, как большинство молодых балбесов. Возьмите судьбу в свои руки.

— Каким образом? Быть может, вы сами подберете мне подходящую пару и подпишете брачный контракт? Так поступают в наши дни в великом княжестве Лоуэлл?

— Веселитесь-веселитесь, — великодушно кивнул Фабиан. — Я-то понимаю, что задел вас за живое, потому и прощаю.

— Черт побери, Майлс, не слишком ли вы о себе возомнили? — воскликнул я.

Он пропустил мою вспышку мимо ушей.

— Запомните — в свои руки. Это самое важное.

— Сами-то вы, помнится, женились на богатенькой, — мстительно напомнил я, — и кончилось дело разводом.

— Я был молод и жаден, — вздохнул он. — К тому же рядом со мной вовремя не оказалось опытного друга, который наставил бы меня на путь истинный. Жена попалась довольно строптивая — богатые родители испортили ее. Я все отдал бы, чтобы вы не повторили мою ошибку. Столько в мире хорошеньких девушек с обеспеченными, терпимыми папашами, которые мечтают выдать дочь за приятного, образованного молодого человека с хорошими манерами, который бы, к тому же, не нуждался в средствах. За такого, как вы, Дуглас.

Господи, Дуг, ведь говорят, что в богатую девушку так же легко влюбиться, как и в бедную.

— Зачем мне все это, если я стану таким же богатым, как вы? — не удержался я.

— Да ради страховки, — выпалил Фабиан. — Со мной тоже всякое может случиться. Верно, сейчас мы с вами в деньгах не нуждаемся. Во всяком случае, вам так кажется, — я предпочел бы иметь побольше. Ведь в глазах настоящих богачей мы нищие, Дуглас. Люмпены.

— Ничего, я верю в вашу звезду, — утешил я его с легкой ехидцей. — Благодаря вам мы не кончим в ночлежке.

— Мне бы вашу уверенность, — вздохнул Фабиан. — Увы, гарантию может дать только Господь Бог. Деньги приходят и уходят. Мы живем в эпоху переворотов, бесконечных катаклизмов. Быть может, сейчас как раз временное затишье перед бурей. Поэтому нам так важно застраховаться. Тем более что вы особенно уязвимы. Кто может предсказать, сколько вам осталось разгуливать, прежде чем вас опознают. В любую минуту некий крайне неприятного вида субъект может вручить вам счет на сотню тысяч долларов. И в ваших интересах будет уплатить по нему, не так ли?

— Да, — согласился я.

— Вот видите. А молодая смазливенькая женушка из хорошей семьи станет прекрасной маскировкой. Нужно иметь сверхбогатое воображение, чтобы представить, что такой благовоспитанный и ухоженный молодой человек, вращающийся в одних кругах со сливками общества и женатый на продолжательнице древнего британского аристократического рода, начал свою головокружительную карьеру с того, что стибрил пачку стодолларовых купюр у мертвого постояльца занюханного нью-йоркского отеля. Я ясно выражаюсь?

— Яснее некуда, — неохотно признал я. — Но вам-то что до этого? Вы же говорили об общих интересах. Или вы рассчитываете на комиссионные от приданого моей суженой?

— Фу, какой вы невежа, молодой человек, — Фабиан покачал головой и метнул на меня укоризненный взгляд. — Просто в таком случае нашему компаньонству ничего не будет угрожать. Ваша жена будет только рада, если вы избавите ее от необходимости следить за состоянием финансовых дел. И вообще, насколько я знаю

женскую натуру, а я, поверьте, неплохо разбираюсь в ней, ваша жена безусловно предпочтет, чтобы дела ее вели вы, а не стая брокеров, опекунов и банковских служащих, на которых обычно полагаются женщины.

— И вот тут-то вам и карты в руки?

— Точно. — Фабиан расплылся до ушей, словно вручил мне дорогой подарок. — Мы оставемся компаньонами на прежних условиях. Любой капитал, что вы привнесете, будет считаться вашей долей, а прибыль по-прежнему будет делиться пополам. Просто и красиво. Кажется, я уже доказал вам, что умею распоряжаться инвестициями?

— Да, здесь и сказать нечего, — закивал я.

— Каков поп, таков и приход, — изрек Фабиан. — Думаю, с вашей женой никаких сложностей не возникнет.

— Это будет зависеть от жены.

— Не от жены, а от вас, Дуглас. Надеюсь, вы остановите выбор на разумной девушке, которая будет любить вас и доверять вам и будет только рада доказать вам свое расположение и безграничную преданность.

— Боюсь, вы преувеличиваете мои достоинства, Майлс, — сказал я, припомнив историю своих взаимоотношений с женщинами.

— Вы слишком скромны, старина, я вам не раз уже это говорил.

— Однажды мне приглянулась прехорошенькая официантка из ресторана в Колумбусе, штат Огайо. Три месяца я ухаживал за ней, водил повсюду и добился лишь того, что в кино она позволяла держать себя за руку.

— Ничего, Дуглас, — подбодрил Фабиан, — с тех пор ваши акции здорово подскочили в цене. Женщины, с которыми вы будете сейчас знакомиться, окружены богатыми мужчинами средних лет, которые круглосуточно заняты приумножением своих капиталов и другими делами, и времени на женщин у них почти не остается. Да, встречаются среди них и мужчины, уделяющие внимание женщинам, но они ведут себя, как бы яснее выразиться, — недостаточно по-мужски, что ли. Или преследуют чисто финансовые интересы. Ваша официантка из Колумбуса даже не перешагнула бы порог кинотеатра ни с одним из них. В тех же кругах, где вы начнете вращаться, любой мужчина моложе сорока, с

достатком, манерами джентльмена и не чурающийся женского общества, просто обречен на успех. Поверьте, старина, вам достаточно держаться естественно, как вы привыкли, и вы всех покорите. И совсем неплохо, что вы при этом можете позволить себе кое-что тратить на всякие мелочи. Надеюсь, пригласите меня шафером на свадьбу?

— Вы, похоже, все просчитали.

— Да, — спокойно ответил Фабиан. — И хочу, чтобы вы тоже научились считать на несколько ходов вперед. Я противник того, что слово «расчетливость» приобрело в наши дни дурную репутацию. Пусть школьницы и призывники упиваются романтикой, Дуглас. Вы же должны стать расчетливым.

— Господи, как это... аморально, — не выдержал я.

— А я так надеялся, что вы не употребите это слово, — вздохнул Фабиан. — Неужто вы считаете, что поступили высокоморально, когда улизнули с деньгами, похищенными из отеля «Святой Августин»?

— Нет.

— Вот видите. А морально ли поступил я, увидев, что лежит в вашем чемодане?

— Нет, конечно.

— Мораль неделима, мой мальчик. Это не праздничный пирог, который можно разрезать на куски и разложить по тарелочкам. Давайте посмотрим правде в глаза, Дуглас, ведь не моралью вы руководствовались, когда расплевались с герром Штюбелем, а нежеланием оказаться с ним в одной камере, верно?

— От вас ничего не утаишь, черт побери! — в сердцах признался я.

— Рад, что вы так думаете, — улыбнулся Фабиан. — И еще: простите за назойливость, но я вновь повторяю, что забочусь о ваших интересах. И что ваши интересы — это и мои интересы. Я порой задумываюсь над тем, какая жизнь нас ждет. Вы ведь согласны, что нам надо держаться друг друга, что бы ни случилось?

— Да.

— До сих пор, за исключением маленького недоразумения в Лугано, между нами, кажется, было полное взаимопонимание.

— Пожалуй.

Я умолчал о том, что был вынужден по его милости поглощать сельтерскую.

— Я отдаю себе отчет в том, что такой образ жизни рано или поздно приестся. Жить на чемоданах, постоянно кочевать из отеля в отель, какими бы роскошными они ни были, — такое в конце концов надоест любому. Путешествия лишь тогда доставляют подлинную радость, когда вас ждет родной дом. Даже в вашем возрасте...

— Бога ради, не делайте из меня молокососа, — взмолился я.

Фабриан расхохотался:

— Какие мы чувствительные! Что делать — я завидую вашей молодости. — Его взгляд посерьезнел. — А вообще-то мы оба выигрываем от разницы в возрасте. Будь нам обоим по пятьдесят или по тридцать три, сомневаюсь, чтобы нашей дружбы хватило надолго. Стали бы соперничать, да и различия в характерах сказались бы. А так ваш темперамент и мой опыт уравновешиваются. К общему благу.

— Какой там темперамент? — Я покачал головой. — Просто порой ваши аферы меня в дрожь вгоняют.

Он опять расхохотался:

— Позвольте ваши слова считать комплиментом в мой адрес. Кстати, Лили или Юнис не справлялись, чем вы зарабатываете на жизнь?

— Нет.

— Молодцы сестрички, — похвалил он. — Настоящие леди. Ну а кто-нибудь интересовался? После того, что случилось в отеле, естественно?

— Только одна дама. В Вашингтоне.

Как вы догадались, я имел в виду несравненную Эвелин Коутс.

— И что вы ответили?

— Что унаследовал кучу денег.

— Недурно. На первое время, во всяком случае. Если в Гштааде возникнет необходимость, держитесь той же версии. Попозже придумаем что-нибудь еще. Скажем, например, что вы консультант по рекламе. Под такую профессию можно подогнать все что угодно. Любимое прикрытие для агентов ЦРУ в Европе. К тому же, в любом обществе вас воспримут спокойно. У вас такая честная физиономия, что никому в голову не придет усомниться в ваших словах.

— А как насчет вашей физиономии? — полюбопытствовал я. — Ведь нас будут все время видеть вместе.

— Моя-то? — задумчиво переспросил он. — Порой

я часами изучаю ее в зеркале. И вовсе не из тщеславия, заверяю вас. Из любопытства. Да-да, из чистого любопытства. Честно говоря, я до сих пор не уверен, что знаю, как я выгляжу со стороны. Забавно, не правда ли? Как вы считаете?

— Вы похожи на потасканного плейбоя, — мстительно произнес я.

Фабиан тяжело вздохнул.

— Порой, Дуглас, — сказал он, — лучше уж не быть столь откровенным.

— Вы же сами спросили.

— Ну и что? Могли не отвечать, — проворчал он. — В следующий раз не спрошу.

Помолчав немного, он добавил:

— Последние годы я усиленно старался выглядеть, как отошедший от дел английский фермер-джентльмен. По-видимому, судя по вашей реплике, я мало в этом преуспел.

— Просто я не знаю, как выглядят пожилые английские фермеры-джентльмены. В «Святом Августине» они не часто появлялись.

— Но все же не догадались, что я урожденный американец?

— Нет.

— И то хорошо. — Фабиан разгладил усы. — А вам никогда не хотелось пожить в Англии?

— Нет. Хотя меня вообще никогда никуда не тянуло. Будь у меня все в порядке со зрением, я бы никуда из Вермонта не уезжал. А почему вы спросили про Англию?

— Многим американцам там нравится. Особенно в провинции, в часе езды от Лондона. Вежливый, неназойливый народ. Ни суеты, ни спешки. Обожают чудиков. Первоклассные театры. А если вы любите бега или удить лосося...

— Бега я обожаю. Особенно после триумфа Полночной мечты.

— Славный конек. Вообще-то я имел в виду не только бега. Например, отец Юнис три раза в неделю устраивает конную охоту.

— И что из этого?

— У него прекрасное поместье в провинции, примерно в часе езды от Лондона...

— Кажется, я смекнул, куда вы гнете, — оборвал я.

— Нет, Юнис вполне самостоятельная девушка.

— Кто бы мог подумать?

— Лично я, — продолжал Фабиан, — нахожу ее на редкость хорошенькой. Когда на нее не давит общество старшей сестры, она такая веселенькая и бойкая...

— Да она едва взглянула на меня за все эти дни.

— Ничего, еще взглянет, — посулил он. — Все в свое время.

Я не признался, какие сладострастные мысли по отношению к Юнис питал, пока «ягуар» плавно мчал нас по живописной дороге.

— Вот, значит, почему вы спросили Лили, не захочет ли Юнис присоединиться к нам? — догадался я.

— Должно быть, мое подсознание натолкнуло меня на эту идею, — ответил Фабиан. — В то время.

— А сейчас?

— А сейчас я бы посоветовал вам как следует обмозговать мое предложение. Спешки, впрочем, никакой нет. Можете взвесить все «за» и «против».

— А что скажет Лили?

— По некоторым ее высказываниям я бы рискнул предположить, что она относится к этому благосклонно. — Фабиан вдруг хлопнул в ладоши. Мы приближались к предместью Берна. — Давайте пока оставим эту тему. На некоторое время. Пусть будет как будет.

Фабиан вытащил из отделения для перчаток карту автомобильных дорог и погрузился в нее, хотя до сих пор, куда бы нас ни заносило, он, похоже, знал каждый поворот, каждую улочку.

— Кстати, — спросил он как бы между прочим, — а вам Присцилла Дин тоже всучила свой номер телефона тогда вечером?

— Что значит «тоже»? — запинаясь, только и вымолвил я.

— Она украдкой сунула мне бумажку с номером. Я не настолько самовлюблен, чтобы вообразить, что она остановила выбор исключительно на мне. Все же она истая американка. Демократична до мозга костей.

— Да, мне она тоже дала свой номер, — признался я.

— Вы им воспользовались?

Я вспомнил частые гудки в трубке.

— Нет, не успел.

— Везунчик же вы, — сказал Фабиан. — Она наградила марокканца триппером. Заверните на следующем углу. Еще пять минут, и мы будем у ресторана. Мартини

у них просто божественное. Пожалуй, пропустим стаканчик-другой. Вы, во всяком случае. И возьмите еще вина к обеду. После обеда за руль сяду я.

Глава семнадцатая

Мы приехали в Гштаад в сумерки. Падал снежок. В разбросанных по холмам коттеджах швейцарского стиля только начинали зажигать свет; пробиваясь сквозь задернутые занавески, он весело мигал, суля тепло и уют. В зимнем сумраке запорошенный снегом городок выглядел особенно чудесно. И меня вдруг охватила щемящая тоска по крутым снежным склонам близкого моему сердцу штата Вермонт.

Когда мы медленно ехали по главной улице, из кондитерской вывалилась шумная ватага детворы в джинсах и ярких куртках с капюшонами. Оживленные голоса и смех, как колокольчики, звенели в морозном воздухе: ребята обсуждали свои проблемы. Какую гору пирожных со взбитым кремом они только что поглотили!

— Здесь всегда много детей, — заметил Фабиан, на черепашней скорости пробираясь сквозь толпу ребят. — Прекрасная особенность этого городка. Тут три или четыре интернациональные школы. Лыжному курорту нужна молодежь. Она приносит в спорт чистоту и свежесть. Завтра утром вы увидите их на всех горных спусках и будете тужить о своих школьных годах.

Машина стала взбираться по извилистой горной дороге, слегка буксуя в недавно выпавшем снегу. На вершине горы, господствовавшей над городом, находился большой отель, походивший на феодальный замок. Как снаружи, так и внутри он не оказался достаточно чистым и опрятным.

— Обычно шутят, что Гштаад стремится стать Сан-Морицем, но ему это никак не удается, — сказал Фабиан.

— Меня он вполне устраивает, — признался я. Снова оказаться в Сан-Морице у меня не было никакого желания.

Мы расписались в книге регистрации приезжающих. Как обычно, в конторке портье сразу же узнали Фабиана

и, казалось, выражали большую радость по случаю его приезда. Он то и дело здоровался, отвечая на приветствия.

— Ваши дамы оставили вам записку, — поспешил сообщить швейцар. — Они сейчас в баре.

— Какой сюрприз, — улыбнулся Фабиан.

В просторном баре царил интимный полумрак, но в дальнем конце я все же разглядел Лили и Юнис. Они были еще в лыжных костюмах и сидели в компании пяти мужчин. На столе было вволю шампанского. Лили рассказывала какую-то историю, ее рассказ сопровождался такими взрывами смеха, что за другими столиками на них оборачивались.

Я стоял в дверях, сомневаясь, следует ли нам с Фабианом присоединиться к этому веселому обществу.

— Они не теряют времени понапрасну, не правда ли? — сказал я.

— В этом я не сомневался, — с обычной невозмутимостью ответил Фабиан.

— Поднимусь-ка я к себе в номер и приму ванну, — решил я. — Позвоните мне, когда спуститесь к ужину.

Ах, робкая душа, — улыбнулся в усы Фабиан.

— Что ж, покажите свою храбрую, — ответил я. Уже уходя, услышал, как снова заржали мужчины, сидевшие с нашими красавицами, и увидел, что Фабиан направился к их столу.

Когда я проходил через вестибюль, туда ввалилась из кегельбана ватага молодежи. В их шумной и бойкой болтовне звучала французская и английская речь. Мальчики — все с длинными волосами, некоторые с бородами, хотя самому старшему из них — не более семнадцати лет.

Одна из хорошеньких девушек в этой компании почему-то пристально уставилась на меня. Это была блондинка с длинными спутанными волосами, почти закрывавшими её розовое личико. Джинсы с цветочками в пастельных тонах обтягивали ее по-детски округлые бедра. Она откинула волосы с лица, причем это было сделано рассчитанно томным движением, ее веки были голубовато подкрашены, но губы не намазаны. Мне стало неловко от ее пристального взгляда, и я отвернулся, чтобы спросить ключи у портье.

— Мистер Граймс, — неуверенно окликнул меня еще детский голос.

Я оглянулся. Вся компания ребят уже вышла на улицу, и девушка осталась одна.

— Вы ведь Дуглас Граймс, верно? — спросила она.

— Да.

— Летчик?

Я кивнул, не считая нужным вносить поправки в свое прошлое.

— Вы не помните меня?

— Признаюсь, что нет, мисс.

— Конечно, прошло уже три года. Вспомните Доротею. Диди Вейлс. У меня выдавались вперед передние зубы, и я на ночь натягивала на них шину. — Она капризно тряхнула головой, и длинные белокурые волосы упали ей на лицо. — Я и не ожидала, что вы узнаете меня. Кто станет помнить какую-то тринадцатилетнюю девчонку. — Отбросив назад волосы, она улыбнулась, показав ровный ряд прекрасных белых зубов — гордость юной американки, которой не нужно больше надевать шину. — Помните, вы изредка ходили на лыжах с моими предками?

— Как же, помню, — кивнул я. — Как они сейчас?

— Развелись, — выпалила Диди. (Этого и нужно было ожидать, подумал я.) — Мама приходит в себя на пляже в Палм-Бич. С одним теннисистом, — хихикнув, пояснила она. — А меня сплавляли сюда.

— Тут, кажется, вовсе не так уж плохо...

— Если бы вы только знали, — перебила она, — как вы мне нравились, когда шли на лыжах. Вы не рисовались, не выпендривались, как другие мальчишки.

Вот так мальчик, подумал я. Только Фабиан еще называет меня мальчиком, словно мне двадцать лет.

— Ей-богу, даже за километр я узнавала вас на спусках. С вами обычно была очень хорошенькая девушка. Она и здесь с вами?

— Ее нет со мной. Последний раз, когда я вас видел, помню, вы читали роман «Грозовой перевал».

— Детство, — пренебрежительно отозвалась она. — А помните, как однажды в снежную метель вы сопровождали меня на шестом спуске, который назывался «самоубийца»? Помните?

— Конечно, помню, — солгал я.

— Даже если и забыли, то приятно, что не признались в этом. Ведь это было мое лучшее достижение. Вы только приехали?

— Да, вот только что.

Она была первым человеком, узнавшим меня со времени приезда в Европу, и хотелось надеяться, что и последним.

— И долго пробудете? — спросила она, как спрашивают маленькие дети, когда боятся остаться одни, без родителей.

— Несколько дней.

— Вы знаете этот город?

— Нет, первый раз в нем.

— Может, на этот раз я поведу вас? — предложила Диди, снова томно откинув назад волосы.

— Очень любезно с вашей стороны.

— Если вы, разумеется, не заняты, — подчеркнула она.

Приоткрыв дверь с улицы, бородастый мальчик закричал:

— Послушай, Диди, ты что, всю ночь будешь стоять и болтать здесь?

Она нетерпеливо отмахнулась от него.

— Я повстречала старого друга нашей семьи. Смывайся отсюда, — крикнула она парню и с улыбкой повернулась ко мне. — Мальчишки в наши дни уж думают, что ты им принадлежишь и телом, и душой. Противные волосатики. Вы, наверное, еще никогда не видели таких избалованных и испорченных ребят. Что только станет твориться на свете, когда они вырастут!

Я постарался воспринять ее замечание всерьез и не улыбнуться.

— Вы, очевидно, думаете, что и я такая же, — с вызовом произнесла она.

— Вообще нет.

— Вы бы видели, как после каникул они прибывают в Женеву. На отцовских реактивных самолетах. В школу водкатывают на «ролдс-ройсах». Пустой блеск гнилья!

На этот раз я не смог удержаться от улыбки.

— Разве уж так смешно я говорю? — обидчиво сказала она. — Ведь я много читала.

— Да, знаю.

— Кроме того, я единственный ребенок в семье, а мои родители всегда были где-то на отшибе.

— Потому вы следили за каждым их шагом?

— Совсем не то, — она пожала плечами. — Родители,

само собой понятно, раздражались. Я не очень-то любила их, а они считали меня нервным ребенком. Tant pis¹ для них. Вы говорите по-французски?

— Нет, но в данном случае догадался.

— Французский, по-моему, чересчур восхваляют. Одни стишки да песенки. Ну, я рада нашей встрече. Когда буду писать домой, передать от вас привет матери или отцу?

— Обоим.

— Вот уж смешно. Они теперь порознь. Но поговорим об этом в следующий раз.

Она протянула мне руку, и я пожал ее. Ручка была маленькая, нежная. Потом она резко повернулась и пошла к дверям; цветы, вышитые на джинсах, обтягивавших ее кругленькие ягодицы, плавно покачивались.

Я грустно поглядел ей вслед, мне было жаль ее отца и мать. Быть может, подумал я, школа в Скрантоне, где я учился, была вовсе не плоха. Поднялся на лифте к себе в номер и улегся в ванну. Нежась в горячей воде, я всерьез раздумывал, не написать ли коротенькую записку Фабиану и тихонечко улизнуть из Гштаада на ближайшем поезде.

Ужинали мы вчетвером. Я исподтишка приглядывался к Юнис, пытаюсь представить себе, как, став моей женой, она бы выглядела через десять, двадцать лет. Как временами распивал бы я бутылку портвейна с ее отцом, английским аристократом, который охотится три раза в неделю. А вот мы с ней у церковной купели, где крестят нашего ребенка. Фабиан, что ли, крестный отец? Потом мы навещаем нашего сына, который, судя по всему, будет определен в Итон². Тут я вспомнил, что в свое время читал об английских школах в книгах Киплинга, Во, Оруэлла и Конолли. Нет, не пошлю я своего сына в Итон.

За те дни, что Юнис провела здесь, бегая на лыжах, она посвежела, на щеках заиграл здоровый румянец. Шелковое платье красиво подчеркивало ее фигуру. Довольно полная и миловидная сегодня, какой она станет впоследствии? Фабиан утверждает, что в бо-

¹ Тем хуже (франц.).

² Старинный английский колледж, где обучаются главным образом дети из аристократических семей.

гатую так же легко влюбиться, как и в бедную. Но так ли это?

Когда я увидел ее с сестрой в шумной компании высокомерных шалопаев (такими, по крайней мере, они мне показались), я поспешил уйти из бара. Нельзя отрицать, что Юнис хорошенькая, привлекательная девушка, и она, без сомнения, всегда будет вертеться среди молодых людей ее круга. Как же я буду относиться к этому, если она станет моей женой? Я никогда не задумывался над тем, к какому классу общества принадлежу или к какому меня причисляют другие. Майлс Фабиан из городишка Лоуэлл в штате Массачусетс пытался заделаться английским сквайром. Что касается меня, то сомневаюсь, чтобы, покидая Скрантон в штате Пенсильвания, я бы притязал на что-либо большее, чем был на самом деле, — летчиком, хорошо обученным своему делу и живущим на жалованье. Аристократические гости на свадьбе, наверное, станут шушукаться, когда я пойду с ней к алтарю в английской церкви. Смогу ли я пригласить на свадьбу своего неудачливого брата и своих бедных родственников? Фабиан, конечно, мог до какой-то степени натаскать меня, но лишь до определенных границ, независимо от того, признавал он их или нет.

Что касается сексуальной стороны нашего брака... Я еще не полностью отошел от приятных мыслей, которые бродили в моей голове, пока я вел машину, так что был уверен, что эта сторона супружеской жизни доставит нам взаимное удовольствие. К сожалению, я вырос в убеждении, что без пылкой страсти настоящий брак состояться не может, и потому опасался, вспыхнет ли костер такой страсти в моем сердце по отношению к этой тихой, немного замкнутой девушке. А родственные узы? Взять хотя бы будущую свояченицу, Лили... При каждой встрече с ней я буду вспоминать бурную ночь во Флоренции. Ведь даже сейчас, в данный миг мне остро хотелось, чтобы мы с Лили остались вдвоем и чтобы нам никто не мешал. Неужто мне судьбой предначертано лишь приближаться к осуществлению своей мечты, которая в последний миг будет ускользать от меня?

— Тут действительно замечательно, — заявила Юнис, намазывая маслом третью булочку. Как и ее старшая сестра, она любила хорошо поесть. — Подумать только

о беднягах, которые сейчас кинут в нашем туманном, унылом Лондоне. Знаете, у меня восхитительная идея. — Она обвела нас взглядом своих голубых детски невинных глаз. — Почему бы нам всем не остаться здесь, где так чудесно светит солнышко? Поживем до самой оттепели, а?

— Швейцар говорит, что завтра будет пасмурно и пойдет снег, — сказал я.

— Как это на вас похоже, милый друг, — улынулась Юнис. Она стала так называть меня на второй день после приезда в Цюрих, но я не придавал этому особого значения. — Даже когда тут сыплется снег, вы все же чувствуете, что солнышко где-то рядом с вами. А в Лондоне оно зимой пропадает куда-то, жди его потом. — Я невольно подумал, согласилась бы она на предложение милого общения с милым другом и его окружением, если бы узнала о циничном расчетливом разговоре о своем будущем, который произошел в машине по пути к Берну. — И незачем нам тащиться в шумный копошащийся Рим, когда и тут хорошо, — заключила Юнис, уминая булочку с маслом. — В конце концов все мы уже не раз бывали в Риме.

— Не считая меня, — заметил я.

— Останемся тут до весны, — настаивала Юнис. — Ты согласна, Лили?

— Неплохо бы, — отозвалась Лили, втягивая в рот спагетти. Из всех женщин лишь она могла изящно есть это итальянское блюдо. По всему было видно, что сестры вошли в мою жизнь не в том порядке.

— Майлс, — обратилась к нему настойчивая Юнис, — вы рветесь в Рим?

— Вовсе нет, — ответил тот. — У меня тут кое-какие дела, которые я бы хотел повернуть.

— Какие дела? — встрепенулся я. — Ведь мы на отдыхе.

Одно другому не мешает, — сказал Фабиан. — Не беспокойтесь, ваши лыжные прогулки не пострадают.

К концу ужина мы решили, что останемся в Гштааде по крайней мере еще на неделю, а там будет видно. Мне захотелось пройтись после ужина, и я предложил Юнис прогуляться со мной, надеясь, что это, быть может, станет первым шагом к нашему сближению. Но она зевнула, сказав, что была на морозе весь день, устала и хочет нырнуть в постель. Проводив ее к лифту, я на

этот раз пожелал ей спокойной ночи, поцеловав в щечку. Затем надел пальто и бродил один. Надо мной кружились в ночи падавшие на землю снежинки.

Предсказание швейцара не сбылось. Утром небо было безоблачно ясное. Взяв напрокат лыжи и лыжную обувь, мы с Лили и Юнис отправились на заснеженные вершины; обе мои спутницы неслись вниз по склонам очертя голову, с истинно британским бесстрашием. Я всерьез опасался, как бы для одной из них этот день не закончился в больнице. Фабиана с нами не было, ему понадобилось звонить по телефону. Он не сказал мне, кому и по какому делу, но я чувствовал, что вскоре буду втянут в одну из его очередных рискованных операций. Мы условились встретиться в половине второго в клубе «Орел», что находился на вершине горы Вассенграат. Это был закрытый, весьма фешенебельный клуб с особыми правилами членства для узкого круга лиц, но Фабиан, естественно, устроил всем нам гостевые билеты на время пребывания в Гштааде.

Погода в этот день была изумительная, под ярким солнцем глубокий снег блистал и искрился алмазами, обе наши красавицы были грациозны и блаженно счастливы, мчась с опьяняющей скоростью вниз по крутому спуску. Да и я сам в какой-то миг почувствовал, что ради такого дня стоило совершить то, что я совершил в ту ночь в «Святом Августине».

Лишь одно событие несколько омрачило мое настроение. Молодой американец, увешанный фотоаппаратами, непрерывно фотографировал нас, что бы мы ни делали: в подъемнике, на лыжах, в непринужденном общении, при спуске со склона...

— Вы знаете этого парня? — спросил я девушек. — В баре я его не встречал, это точно.

— В глаза его не видела, — сказала Лили.

— Должно быть, поклонник, — предположила Юнис. — Восхищается нашей красотой.

— Мне поклонники ни к чему, — отрезал я.

Вскоре случилось так, что Юнис неловко спускалась и упала. Я поспешил на выручку, помог ей подняться на ноги, и в этот миг откуда-то вынырнул таинственный фотолюбитель и принялся снимать нас.

— Эй, приятель, — окликнул я. — Неужели вы извели на нас еще не все пленки?

— Нет, кое-что осталось, — весело отозвался он. Он

был высокий и худощавый, так что костюм выглядел на нем мешковато, и продолжал щелкать как ни в чем не бывало. — В моей газете любят, чтобы было из чего выбирать.

— Какой еще газете? — спросил я.

— «Женская одежда сегодня». Я должен подготовить репортаж о Гштааде. Вы как раз то, что мне нужно. Вы просто шикарно смотрите на лыжах. Счастливые люди — ни забот, ни хлопот.

— Это по-вашему, — хмуро отозвался я. — Здесь полно людей, которые и в самом деле вольны, как пташки. Почему бы вам не заняться ими?

Мне мало улыбалось, чтобы мои фотографии попали в нью-йоркскую газету с тиражом в сотню тысяч экземпляров. Кто знает, какую газету привыкли читать по утрам те два молодчика, что искалечили Друзека?

— Если дамы против, — приятно улыбнулся фотограф, — я, конечно, не буду настаивать.

— Мы вовсе не против, — заверила Лили. — Если вы пришлете нам карточки, конечно. Обожаю свои фотографии. Красивые, естественно.

— Ваши могут получиться только красивыми, — галантно ответил американец.

Я невольно подумал, что он, должно быть, снимал немало прелестных женщин за свою карьеру, так что робостью, конечно, не страдает. В чем я ему и позавидовал.

Но все-таки он наконец укатил прочь, не особенно заботясь о том, как выглядит на лыжах на ухабах и поворотах. В следующий раз мы увидели его, когда сидели на террасе и потягивали коктейли в ожидании Фабiana.

Но к тому времени возникло иное осложнение. Ровно в полдень я заметил маленькую фигурку девушки, которая в отдалении следовала за нами. Это оказалась Диди Вейлс. Она не подходила к нам близко, но куда бы мы ни шли, она сопровождала нас, спускалась по нашей лыжне, останавливалась и двигалась вместе с нами. Диди легко и уверенно бегала на лыжах, и даже когда я внезапно сильно ускорял темп, что заставляло обеих сестер слomia голову нестись за мной вниз, она следовала за нами, словно была привязана к нам какой-то длинной невидимой нитью.

Перед последним спуском я нарочно задержался вни-

зу, усадив обеих сестер в подъемник. Вскоре подошла Диди, ее длинные белокурые волосы были перевязаны лентой на затылке и спадали на спину. Она была в тех же вышитых цветами голубых джинсах и в короткой, несколько мешковатой оранжевой парке.

— Поднимемся вместе, — предложил я, когда она уселась в кресло подъемника.

— Давайте, — кивнула она.

Мы стали подниматься вверх, двухместное кресло бесшумно взбиралось в открытом пространстве, под нами в лучах солнца вскоре раскинулся весь город. Снежные вершины гор возвышались вокруг, похожие издали на купола соборов.

— Не возражаете, если я закурю? — спросила Диди, вытаскивая пачку сигарет из кармана.

Я кивнул.

— Молодец, папочка, — сказала она и затем, хихикнув, спросила: — Хорошо проводите день?

— Замечательно.

— Вы на лыжах уже не такой, как прежде. Тяжеловаты.

Я знал, что это так, но было неприятно услышать об этом.

— Да, отяжелел немного, — с достоинством согласился я. — Дела всякие. Занят очень.

— Оно и видно, — сказала Диди непререкаемым тоном. — А те две, что с вами, — как-то по-особенному присвистнула она, — непременно разобьются когда-нибудь.

— И я предупреждал их.

— Если с ними не будет мужчин и они когда-нибудь пойдут одни, то весь спуск пропадут. Они, конечно, модно одеваются. Я видела их в магазинах, когда они только что приехали и покупали все, что попадется на глаза.

— Что ж, они хорошенькие и хотят выглядеть поинтересней.

— Сузить бы их брюки еще на пару сантиметров, и они задохнутся.

— Ваши джинсы тоже не широки.

— Мои по возрасту. Вот и все.

— Вы собирались показать мне город.

— Если бы вы были свободны. Но вы выглядите очень занятым.

— Можете присоединиться к нам, — предложил я. — Мои спутницы будут рады.

— Нет уж, — решительно отказалась она. — Держу пари, что все вы идете обедать в клуб «Орел».

— Откуда вы знаете?

— А что, разве не так?

— Да, идем туда.

— Я так и знала, — с презрительным торжеством воскликнула она. — Женщины вроде них всегда ходят туда обедать.

— Вы же совсем их не знаете.

— Я вторую зиму здесь. Присмотрелась к таким.

— Ну, так пойдемте с нами обедать?

— Благодарю за честь. Это не для меня. Не люблю светские разговоры. Особенно с женщинами. Сплетничают. Крадут друг у друга мужей. Я немного разочарована в вас, мистер Граймс.

— Вы? Почему?

— В таком месте, с такими особами.

— Что вы от них хотите? Они очень милые женщины. Не придирайтесь к ним.

— Мне приходится приезжать сюда, — с раздражением произнесла Диди. — Моя мамаша, видите ли, точно знает, где должна жить хорошо воспитанная девица, пока она совершенствует свое образование. Тоже мне образование, ха! Как стать бесполезным человеком, зная три языка. И мне это дорого обходится.

Она говорила с горечью встревоженного зрелого человека. Вряд ли кто мог ожидать услышать нечто подобное от хорошенькой, пухленькой шестнадцатилетней американки, медленно поднимаясь с ней в подъемнике над залитыми солнцем сказочными зимними Альпами.

— Ну, — начал я, чувствуя, что мои слова прозвучат как пустая отговорка. — Я уверен, что вы не окажетесь бесполезной. Независимо от того, сколько будете знать языков.

— Нет, конечно, если все это не угробит меня.

— А какие у вас вообще планы?

— Собираюсь стать археологом. Буду копать в руинах древней цивилизации. И чем древнее, тем лучше. Хочу уйти как можно дальше от нашего века. Или, во всяком случае, от жизни моих родителей.

— Мне кажется, вы несправедливы к ним, — сказал

я. Защищая их, я защищал и себя. В конце концов мы принадлежали почти к одному поколению.

— Если вам не нравится, не будем говорить о моих предках. Давайте поговорим о вас. Вы женаты?

— Еще нет.

— Я, например, не намерена выходить замуж, — с вызовом произнесла она, как бы приглашая осмелиться оспорить ее утверждение.

— Говорят, замужество уже не модно, так что ли?

— И правильно.

Мы уже приближались к вершине горы и приготовились вылезать из подъемника.

— Если вы как-нибудь захотите пойти на лыжах только со мной, — продолжала она, особенно подчеркнув последние слова, — оставьте мне записку в вашей почтовой ячейке в отеле. Я буду заглядывать в нее. Хотя на вашем месте я бы здесь долго не пробыла. Для вас это инородная среда, — говорила она, когда, поднявшись с кресла и взяв лыжи, мы вышли из-под навеса подъемника, и она стояла в лучах горного солнца.

— А где же моя естественная среда?

— В Вермонте, как мне кажется. В маленьком городке штата Вермонт, где люди трудом зарабатывают себе на жизнь.

Я вскинул свои лыжи на плечо. Клуб «Орел» находился тут же на вершине горы, в нескольких десятках метров. Хорошо расчищенная тропинка вела к нему.

— Не обижайтесь, пожалуйста, на меня, — сказала Диди. — Недавно я поставила себе за правило во всех случаях говорить то, что думаю.

По какому-то странному побуждению, которое я сам не могу понять, я вдруг наклонился к ней и поцеловал ее в щеку, холодную и розовую.

— Очень мило, — кивнула она. — Благодарю вас. Приятного аппетита!

Тут, очевидно, она услышала голоса моих спутниц. Став на лыжи, она легко и уверенно покатилась вниз по склону горы. Я покачал головой, следя за тем, как несколько нескладная маленькая фигурка в оранжевой парке быстро скользила по склону. Потом, таща лыжи, направился к массивному каменному зданию клуба.

Фабриан появился лишь тогда, когда мы, поджидая его на террасе клуба, выпили по второй стопке «кровоавой мери». Он оделся для лыжной прогулки и выглядел

нарядным в свитере с высоким завернутым воротником («хомутом», как его называют), в голубой тирольской куртке и хорошо отутюженных вельветовых брюках золотистого цвета, на ногах — высокие лыжные ботинки с замшевыми голенищами. Рядом с ним я казался замухрышкой в своих уже обвисших лыжных штанах и простой голубой парке, купленных мной по дешевке в Сан-Морице. Элегантно одетые люди, собравшиеся на террасе, перешептывались, поглядывая на меня и недоумевая, как я затесался сюда. Маленькая Диди была, очевидно, права, говоря, что я тут не в своей среде.

Высоко над нами, в ярко-синем небе, величественно парила крупная птица. Возможно, даже орел. Интересно, как он добывает себе пропитание в этой долине?

— Ну, как дела? — спросил я Фабиана, когда он целовал наших красавиц.

— Потом поговорим, — многозначительно ответил Фабиан, любивший принимать таинственный вид. — Надеюсь, вы не возражаете, если после завтрака у нас с вами состоится деловое свидание в городе?

— Если мои спутницы отпустят меня...

— Будьте уверены, что они тут же найдут другого молодца, чтобы пойти с ним на лыжах.

— Не сомневаюсь.

— Сегодня большой званный вечер, — сказала Лили. — И нам, во всяком случае, надо пойти в парикмахерскую.

— И я приглашен? — осведомился я.

— Конечно, — кивнула Лили. — Ведь уже известно, что мы неразлучны.

— Однако вы заботливы.

— Боюсь, что вы не так уж хорошо проводите свое время, — сказала Лили, бросив на меня острый взгляд. — Хотя, быть может, вас привлекают встречи с несовершеннолетними.

Она ничего не добавила, но намек был совершенно ясен.

— Девочка, которую я сегодня повстречал, дочь моих старых и давних друзей, — заносчиво объяснил я.

— Вполне уже взрослая, — вскользь заметила Лили. — Давайте пойдем обедать. На террасе становится холодно.

Деловое свидание, о котором говорил Фабиан, состо-

ялось в маленькой конторе агента по продаже недвижимого имущества, находившейся на главной улице Гштаада. Перед тем Фабриан по дороге рассказал мне, что этим утром он осматривал участки земли, предназначенные для продажи.

— Они представляют интерес для нас — пояснил он. — Как вы теперь, должно быть, уяснили себе, моя реалистическая философия весьма проста. Мы живем в мире, в котором вещи, имеющие жизненное значение, становятся все более и более дефицитными. Соевые бобы, золото, сахар, пшеница, нефть и так далее. Экономика нашей планеты страдает от перенаселения, от войн, от страха и неуверенности в завтрашнем дне, от спекуляций и избытка денег. Приняв все это во внимание, достаточно здравомыслящий человек с некоторой долей пессимизма видит, что нас ожидает еще большая нехватка всего необходимого. Однако Швейцария — крошечная страна с устойчивым правительством, и практически маловероятно, чтобы она была вовлечена в какие-нибудь военные авантюры. Потому вскоре тут будут продавать землю по баснословным ценам. Среди моих друзей и знакомых десятки таких, которые были бы счастливы приобрести здесь хотя бы небольшие клочки земли. Но швейцарские законы им этого не разрешают. У нас же зарегистрированная по всем правилам швейцарская компания, или лихтенштейнская, что одно и то же, и ничто не помешает нам ухватить хороший кус в этой стране, объявив, что мы проектируем построить коттеджи со множеством комфортабельных квартир и собираемся сдавать их в аренду сроком, скажем, на двадцать лет. Высав из банка соответствующий кредит на это предприятие, мы станем владельцами весьма доходного поместья, которое, по существу, нам ничего не будет стоить, и мы сможем иметь свой уголок для отдыха. Видите в этом смысл?

— Как обычно, — ответил я. На самом деле в этом предложении было даже больше смысла, чем обычно.

— Вот так-то, дорогой компаньон, — улыбнулся Фабриан.

В конце дня мы остановились на том, чтобы приобрести холмистый участок вблизи дороги в пяти милях от Гштаада. Потребуется некоторое время, предупредил нас агент, чтобы выполнить все требуемые формальности

и подписать договор, но он уверен, что каких-либо серьезных препятствий не будет.

Я никогда ничем не владел, кроме того, что было на мне. Теперь же, когда мы вернулись к чаю в отель, я фактически, так уверял Фабиан, стал владельцем недвижимого имущества, которое по прошествии года должно стоить свыше полумиллиона долларов. Пальцы моих рук побелели от напряжения, когда, крутя руль, я с новым чувством собственника оглядывал проносившиеся мимо дома. Фабиан сидел рядом с довольным видом человека, сделавшего свое дело.

— Это только начало, дорогой друг, — сказал он, когда я поставил наш «ягуар» на стоянке у отеля.

Я одевался к званому вечеру, когда раздался телефонный звонок. Звонил Фабиан.

— Случилось нечто непредвиденное, — сказал он, — и я не смогу пойти с вами.

— А что именно?

— Только что в холле встретил Билла Слоуна.

— О, лишь этого мне не доставало, — воскликнул я, чувствуя, как по спине у меня побежали мурашки. Воспоминание о встрече с ним было отнюдь не из числа приятных.

— Как-нибудь вы все же должны рассказать мне, что произошло между вами.

— Ладно, при случае.

— Он здесь один. Жену отослал обратно в Америку.

— Это самое умное, что он мог сделать. Ну, а почему же вы не пойдете с нами?

— Он горит желанием сыграть. И начать сейчас же, не откладывая.

— Вы же как будто навсегда бросили играть в бридж?

— А он и не желает играть в бридж.

— Во что же он хочет играть?

— В покер, один на один. У него в номере.

— Боже мой, Майлс! Неужели нельзя сказать, что вы заняты?

— Я много раз обыгрывал его и не могу отказать. Это не по-джентльменски. И притом не сомневайтесь в моих способностях, дорогой друг.

— Обычные слова. Последняя, мол, игра и больше никогда не буду.

— Если вы так уж беспокоитесь, можете прийти и следить за игрой.

— Не думаю, чтобы Слоун был в восторге от моего присутствия.

— Во всяком случае, объясните нашим девочкам.

— Ладно, скажу.

— Дорогой мой, если вы так скептически настроены, то я могу играть на свой страх и риск без вашего участия.

Я заколебался, возникло искушение в самом деле остаться в стороне от этой игры, но я тут же устыдился:

— Не будем говорить об этом. Иду в половину проигрыша или выигрыша.

— Вот и порядок, — весело сказал Фабиан.

Глава восемнадцатая

Гостей на вечере было с полсотни. Сидели за столиками по шесть-восемь человек в огромной гостиной, уютно и хорошо обставленной. На стенах висели две подлинные картины Ренуара и одна Матисса. Подавали омаров, доставленных из Дании.

В гостиной горели лишь свечи, дабы приукрасить достоинства (или затушевать некоторые изъяны) представительниц прекрасного пола. Они, правда, особенно в этом не нуждались, ибо выглядели, как на фотографиях в женских журналах мод. Разговаривали за столиками вполголоса, и в зале было не слишком шумно.

Хозяин, устроивший этот прием, был высокий седовласый мужчина с ястребиным лицом, банкир из штата Атланта, удалившийся от дел. И он, и его молодая жена, ослепительная шведская блондинка, когда меня представили им, казалось, были безмерно рады. Оказалось, что они отмечают пятидесятилетие своего брака.

Гости — почти все загорелые здоровые люди, непременно державшиеся. Из разговоров, что журчали вокруг меня, я за весь вечер не уловил ни одного колкого замечания по чьему-либо адресу. Втайне я изумлялся тому, как много взрослых людей смогли оставить все свои дела, чтобы приехать сюда загорать на горном

солнце и достичь того бронзового цвета лица, который был здесь как бы непременным признаком мужественности. Я ни у кого не спрашивал о роде занятий, и мне никто не задавал вопросов об этом.

Оглядывая при колеблющемся свете свечей безукоризненно выглядевших мужчин и еще более совершенных женщин, самоуверенных, свободно сорящих деньгами, я еще более ощутил силу доводов Фабиана о заманчивости богатства. Если и были у них какие-то трения и разлады, ревность и зависть, то это никак не проявлялось (во всяком случае, я не замечал). Когда я сел рядом с Юнис, выглядевшей ослепительно в новом шелковом платье, такой же изящной и прелестной, как и другие красавицы, у меня возникло к ней совсем иное чувство. Я отважился пожать ей руку под столом и получил в ответ обольстительную улыбку.

За столиком, где мы сидели, говорили обо всем понемногу, то и дело перескакивая с одного на другое. Как и полагается на лыжном курорте, рассказывали о горных снегах, о разных происшествиях, о сломанных ногах — все это вперемежку с язвительной болтовней о театрах Парижа, Лондона, Нью-Йорка и о новейших фильмах. При этом так и сыпались разные изречения и афоризмы на многих языках.

Я не видел ни одной из тех пьес или кинокартин, о которых говорили, и потому хранил молчание, изредка спрашивая о них у Юнис. Она-то видела все это в Лондоне или Париже, весьма уверенно высказывалась, и ее довольно почтительно выслушивали. Лили сидела за соседним столиком, а без нее Юнис держалась более раскованно, чем обычно. Оказалось, что когда-то она хотела стать актрисой и короткое время обучалась в Королевской академии драматического искусства. Я с еще большим интересом начал приглядываться к ней.

О политике заговорили за десертом, когда подали лимонный шербет и шампанское. Среди сидевших с нами мужчин был и тучный гладколицый американец лет пятидесяти — глава страховой компании, и француз с остренькой черной бородкой — литературный критик, и дородный английский банкир. Они корректно, но твердо осуждали свои правительства. И если патриотизм следовало, по их словам, считать последним прибежищем подонков, то за нашим столом их, как видно, и не было.

Француз на совершенно чистом английском жаловался на Францию:

— Во внешней политике Франции проявляются худшие качества голлизма: эгоизм, нерешительность и оторванность от реальности.

Англичанин вторил ему:

— Английские рабочие разучились работать. Но я их не виню.

И, наконец, американец:

— Капиталистическая система подписала себе приговор в тот день, когда Соединенные Штаты продали два миллиона тонн пшеницы Советскому Союзу.

Они усиленно подналегали на омаров, а официант едва успевал подливать в бокалы изысканное белое вино, запасы которого, казалось, были неистощимы. Я украдкой бросил взгляд на этикетку, чтобы запомнить на будущее марку этого вина — Кортон-Шарлемань.

По-прежнему я сидел молча и лишь время от времени с важным видом кивал головой, как бы желая показать, что принимаю какое-то участие в общей беседе. Заговорить я не решался, боясь, что ляпну невпопад что-нибудь такое, что сразу выдаст меня как человека, не принадлежащего к их кругу, да еще всплывет темное пятно из моего прошлого, которое мне пока удается скрывать.

Потом начались танцы. Юнис любила танцевать и переходила от одного партнера к другому, а я стоял у стойки бара,пил и уныло поглядывал на часы, чувствуя себя лишним. Танцевал я плохо и уж, конечно, ни за что не отважился бы показаться среди всех этих изящных стремительных пар, выделявавших наимоднейшие танцевальные па. Я уже было решил потихоньку ускользнуть и вернуться к себе в отель, когда Юнис оставила своего очередного партнера и подошла ко мне:

— Милый друг, вам скучно? Хотите домой?

— Подумывал об этом. А вы не собираетесь?

— Не будьте мучеником. Ненавижу страдальцев. Но я уже натанцевалась. — Она взяла меня под руку. — Пойдемте.

Мы вышли из танцевального зала, стараясь не попасться на глаза Лили. В гардеробной взяли пальто и ушли незамеченными, ни с кем не попрощавшись.

Ночь была холодная, снег на тропинке звучно скрипел под ногами. Мы с наслаждением вдыхали свежий мо-

розный воздух, пахнувший сосной. Когда дом, из которого мы ушли, остался далеко позади, мы, словно по какому-то тайному знаку, остановились, повернулись друг к другу, обнялись и крепко поцеловались. Затем неторопливо пошли дальше, к отелю.

Взяв ключи от своих номеров, вошли в лифт. Как бы по молчаливому уговору, Юнис вместе со мной вышла из лифта. И мы не спеша пошли по коридору, неслышно ступая по мягкому ковру. Казалось, ни я, ни она не торопились, желая насладиться каждым мгновением этого часа.

Я открыл дверь своего номера и пропустил вперед Юнис, которая проскользнула мимо, слегка задев меня холодным мехом своей шубы. Закрыв за собой дверь, я включил свет в маленькой передней.

— О Боже мой! — вскричала Юнис.

Освещенная светом, падавшим из передней, на большой кровати лежала Диди Вейлс. Она спала. Совершенно голая. Ее платье было тщательно сложено на стуле, лыжные ботинки стояли под ним. Каковы бы ни были недостатки у ее матери, она все же приучила дочь к аккуратности.

— Сейчас же выпустите меня отсюда, — шепотом сказала Юнис, словно боялась разбудить спавшую девушку.

— Юнис... — в отчаянии произнес я.

— Желаю успеха! Забавляйтесь. — И, оттолкнув меня, она вышла вон.

Я устался на Диди. Разметавшиеся белокурые волосы ниспадали на ее лицо, ровное дыхание чуть шевелило их. Кожа у нее была розоватая, как у ребенка, лишь лицо и шея бронзовые от загара. Недостаточно сформированные округлые груди как-то дисгармонировали с крепкими сильными ногами спортсменки, ногти которых были покрыты лаком. Если прикрыть наготу и убрать этот лак, Диди вполне могла бы рекламировать пищу для здоровых детей. Животик у нее тоже был совсем детский, а внизу, на лобке, трогательно пробирався пушок. Она спала, крепко прижав руки к бокам, что придавало ей забавный вид, будто она загнула по команде «смирно». Если бы перед моими глазами была лишь картина, а не живая шестнадцатилетняя девочка, то она была бы воплощением обнаженной невинности.

Однако Диди, чьи родители были моими друзьями,

прокралась в мою комнату и залезла в мою постель вовсе не для того, чтобы продемонстрировать свою непорочность. Первое побуждение трусливо толкало меня тихонько уйти и оставить ее одну на ночь. Вместо этого я подошел к кровати и набросил на девочку свое пальто. В ту же минуту она проснулась, медленно открыла глаза и, отбросив упавшие на лицо волосы, воззрилась на меня. Потом призывно улыбнулась, сразу став старше своих лет.

— Черт подери, что привело вас сюда, Диди? В какой школе вы учились?

— В той, где девочки по ночам лазают в окна. Решила приятно удивить вас, — преспокойно объяснила она.

— Что ж, это вам вполне удалось.

— Вы недовольны?

— Разумеется.

— Когда поймете, для чего я пришла...

— Диди, прошу вас, перестаньте.

— Вы что, боитесь, что я нетронутая? У меня уже было дело с мужчиной постарше вас. С одним пожилым распутным греком.

— Не хочу слушать ваши сказки. Поднимайтесь, одевайтесь и уходите отсюда.

— Я-то вижу, что вы вовсе не против, — спокойно заявила она. — Только делаете вид. И то лишь потому, что знали меня в тринадцать лет. А я уже выросла.

— Недостаточно еще выросла.

— Терпеть не могу, когда меня считают ребенком, — обиделась она. Привычным жестом откинув опять назад волосы, она и не пошевелилась, чтобы встать с постели. — Какой же возраст вас привлекает? Двадцать? Восемнадцать?

— Меня не возраст привлекает, — повысив голос, сердито сказал я и сел подальше, у стены, дабы сохранить свое достоинство и выказать твердость. — Просто не в моих привычках ложиться в постель с девушкой какого бы то ни было возраста, поговорив с ней десять минут.

— Вот уж не думала, что вы таких строгих правил, — сказала Диди, презрительно подчеркнув слово «строгих». — С такими двумя женщинами и шикарной машиной.

— Ладно, давайте на этом закончим. Будете одеваться?

— Неужели я совершенно не волную вас? Говорят, тело у меня восхитительное.

— Вы очень хороши. Восхитительны, если вам так нравится. Но это еще ничего не значит.

— Половина мальчиков в городе пытались затащить меня в постель. И многие мужчины, если хотите знать.

— Не сомневаюсь, Диди. Но и это тоже не имеет значения.

— Вы говорили со мной больше десяти минут, так что это не предлог. Если забыли, то я хорошо помню, как мы вместе мчались на том опасном спуске в Вермонте.

— Наш разговор становится прямо-таки смешным, — сказал я как только мог веско и твердо. — И мне стыдно за вас и за себя.

— Ничего нет смешного в любви.

— Любви?! — возмутился я.

— Да, уже три года, как я люблю вас, — дрожащим голосом произнесла она, в глазах у нее заблестели слезы. — И вот теперь, когда я снова встретила вас... Но вы, видно, уже и стары, и истрепанны, чтобы верить в любовь.

— Ничего подобного, — сказал я. — У меня свои правила поведения. И потому я не связываюсь с глупыми девчонками, которые вешаются мне на шею.

— Вы оскорбляете мои чувства, — заплакала она. — Вот уж не ожидала, что вы так отнесетесь ко мне.

— Меня выводят из себя ваши дурачества.

— Будет хуже, если я начну кричать во весь голос. Сбегутся люди, и я скажу, что вы пытались меня изнасиловать.

— Не будь подлой, девочка, — сказал я, с угрожающим видом встав со своего места. — К вашему сведению, я вошел сюда не один. И мы оба застали вас голой на постели. Так что вам придется с позором уехать из города.

— Я все равно уеду отсюда. А позор вам, что вы так обращаетесь со мной.

Я попробовал переменить тактику.

— Диди, детка... — начал я.

— Не называйте меня деткой. Я не ребенок.

— Хорошо, не буду, — ласково улыбнулся я. — Хотите, чтобы я остался вашим другом?

— Хочу, чтоб вы полюбили меня. Другие добиваются, а почему я не могу? — слезливо запричитала она.

Я дал ей носовой платок, чтобы она вытерла слезы и заодно высморкалась. И удержался от нравоучения, что в мои годы она поймет: не все совершается по капризу.

— Вы же сегодня утром на горе поцеловали меня, — воскликнула она. — Почему?

— Поцелуи бывают разные, — наставительно сказал я. — Извините, если вы не поняли.

Внезапно она сбросила с себя пальто, села на кровати и протянула ко мне руки.

— Ну, поцелуйте еще раз.

Невольно отступив назад, я сказал как можно строже:

— Я ухожу, но если к моему возвращению вы еще будете здесь, я позвоню в вашу школу, чтобы пришли и забрали вас.

— Трус! — крикнула она. — Трус, жалкий трус! — с издевкой повторила она.

Когда я вышел, захлопнув за собой дверь, она все еще продолжала что-то выкрикивать.

Я спустился в бар, чтобы немного выпить и прийти в себя. К счастью, кругом не было ни одного знакомого лица, и я сидел в тускло освещенном баре, уставившись на свой стакан. Размышлял о том, что в последнее время поддавался без разбору тому, во что жизнь случайно вовлекала меня: футляр с деньгами в «Святом Августине», ночи с Эвелин в Вашингтоне и с Лили во Флоренции, необычные предложения человека, неожиданно ставшего моим компаньоном, после того как я стукнул его лампой по голове; манипуляции со скаковой лошастью, финансирование грязного французского фильма, спекуляция на золоте и соевых бобах, согласие на приезд Юнис, покупка земли в Швейцарии, наконец, половинное участие в картежной игре с богатым и мстительным американцем.

Однако должны же быть границы дозволенного! И Диди Вейлс была той границей, которую я не мог переступить, воспользовавшись слабостью капризной несчастливой девочки. А как поступил бы в подобном случае Фабиан? Наверное, хихикнул благодушно: «Какой очаро-

вательный визит!» — и залез в постель. Не сомневаюсь в этом.

Мне стало совсем плохо, когда я вспомнил о Юнис, с которой увижусь утром за завтраком. Юнис. Господи, вдруг, попивая кофе или апельсиновый сок, она начнет рассказывать Лили и Фабиану: «Поразительный случай — вчера вечером мы с милым другом заглянули к нему в номер...»

Допив виски, я поднялся, чтобы уйти, но неожиданно в бар вошла Лили в сопровождении трех мужчин огромного роста, каждый не меньше двух метров. Я заметил, что с одним из них она танцевала на вечере. Увидев меня, Лили остановилась.

— Мне показалось, что вы ушли с моей сестрой, — сказала она.

— Да, мы ушли вместе.

— А теперь вы один?

— Как видите.

Она покачала головой. В глазах у нее сверкнул веселый огонек.

— Странный вы человек, — пожав плечами, сказала она. — Не хотите ли присоединиться к нам?

— Ростом не вышел.

Трое мужчин так громко заржали, что за стойкой бара зазвенели стаканы.

— Майлса видели? — спросила Лили.

— Нет.

— Он обещал зайти в бар после двенадцати, — недовольно произнесла она. — Но, вероятно, так поглощен тем, чтобы раздеть до нитки этого отчаянного дурачка Слоуна, что забыл обо всем на свете. Как вам понравился сегодняшний вечер?

— Потрясающе.

— Было почти совсем как в Техасе, — как-то двусмысленно заметила она. — Что будем пить, ребятки? — обратилась она к своим провожатым.

— Шампанское, — ответил самый высокий и, пошатываясь, зашагал к стойке бара.

Прощавшись с ними, я через несколько минут оказался у дверей Юнис. Прислушался, но изнутри не доносилось ни звука. Непонятно, что я ожидал услышать. Рыдания? Смех? Шумное веселье? Я постучал в дверь, подождал немного и опять постучал.

Дверь приоткрылась, на пороге стояла Юнис в кружевном пеньюаре.

— А, это вы, — безразличным тоном произнесла она.

— Можно мне войти?

— Если хотите. — Она пошире приоткрыла дверь, и я вошел. Ее платья были в беспорядке разбросаны по всей комнате. Окно полуоткрыто, и по комнате гулял холодный альпийский ветерок. Я невольно поежился.

— Вы не простудитесь?

— Не забывайте, что я англичанка, — ответила она, но окно закрыла. И молча поглядела на меня. Полненькая, в кружевах, в туфлях на босу ногу.

— Могу я сесть?

— Садитесь, если хотите, — она указала на стул. — Уберите только вещи оттуда.

Я снял со стула шелковое платье — в нем она была на вечере, и мне показалось, что оно еще сохранило тепло ее тела, — и положил его на небольшой письменный стол. Потом сел, а она улеглась на постели, опершись локтем на гору подушек. Пеньюар при этом распахнулся, обнажив ее ноги. Они были такие же длинные, как и у сестры, но несколько полнее. Стройненькая, подумал я. В комнате стоял легкий аромат духов. Она, видно, перед сном протирала лицо, и оно блестело в свете лампы у изголовья кровати.

Меня грызла досада.

— Юнис, я пришел объяснить, — начал я.

— Нечего объяснять. Перепутали свидания — вот и все.

— Неужели вы думаете, что я позвал к себе эту девочку?

— Мне незачем и думать. Она лежала в вашей постели. И вовсе уж не девочка. Вполне пригодная, я бы сказала, — как-то вяло и утомленно проговорила она. — Одна из нас была лишней. И я ушла.

— Сегодня, когда наконец мы...

— И у меня было такое же ощущение, — криво усмехнулась она.

— Мне давно следовало быть посмелее, — беспомощно махнул я рукой. — Но мы всегда были вместе с Майлсом и вашей сестрой.

— Да, с этой парочкой. А разве моя сестра не поучала вас, что со мной можно не церемониться? Она любит

выставлять меня самой сумасбродной девушкой в Лондоне. Стерва.

— О чем вы говорите? — озадаченно спросил я.

— Не обращайтесь внимания. — Откинувшись на подушки, она закрыла лицо руками и продолжала глухим голосом: — Вам следует понять, что не ради вас я приехала в Цюрих. Кем бы вы ни были. Хотя вы оказались много лучше, чем я обычно представляла себе американцев.

— Благодарю, — поклонился я. — Давайте все же забудем об этом инциденте в моей комнате.

— Что вы, я и впрямь должна быть благодарна этой голой толстушке. Ведь я пошла к вам по совершенно нелепому побуждению.

— Как это понять?

— А так, что ни вы, ни я тут ни при чем.

— А кто же тогда?

— Майлс Фабиан, — горько призналась она. — Я хотела показать ему...

— Что показать?

— Что мне наплевать на него. И что я могу быть такой же, как он. — Еще сильнее прижав руки к лицу, она разрыдалась. Как видно, мне было суждено, чтобы вся эта ночь прошла в женских слезах.

— Может, у вас найдется и более убедительное объяснение?

— Не будьте балдой, американец. Я люблю Майлса. Люблю с того дня, когда впервые встретила его. Несколько лет назад просила его жениться на мне. Но он сбегал. Прямо в ручки моей сестрицы.

— О-о, — было единственное, что я смог произнести.

Она отняла ладони от лица. Слезинки блестели на ее щеках, но выражение лица было спокойным, как у человека, который отвел душу.

— Поторопитесь к себе, — сказала она. — Возможно, эта толстушка еще ждет вас. И тогда ночь не пропадет даром.

Вернувшись, я обнаружил, что Диди уже ушла, оставив на столе записку, написанную крупным школьным почерком: *«Взяла вашу куртку. На память. Но можете прийти за ней. Вы знаете, где я. С любовью, Диди».*

Едва я отложил записку, как зазвонил телефон. Мне

не хотелось отвечать, в эту ночь я уже не ждал ничего доброго. Сняв трубку, я услышал голос Фабиана.

— Надеюсь, что не перебил вас на самом интересном месте, — посмеиваясь, сказал он. — Спешу оповестить, что случилось. — После паузы послышался легкий вздох, и он продолжил: — Плохи дела, друг мой. Слоуну дьявольски везло. Мы проиграли.

— Много?

— Около тридцати тысяч.

— Франков?

— Нет, долларов.

Я выругался и повесил трубку.

Глава девятнадцатая

На другой день с утра все пошло кувырком. Я не мог заснуть почти до рассвета, а когда в десять часов заказал по телефону завтрак, мне вместе с ним подали письмо от Юнис.

«Милый друг, в девять утра уезжаю из Гштаада. Причина отъезда вам, конечно, понятна. Привет».

Как было не понять.

Затем позвонил Фабиан и попросил встретиться с ним в одиннадцать часов у здания местного банка.

Потом меня арестовали. Или одно время казалось, что арестовали.

Едва я начал бриться, с отвращением глядя в зеркало на свое помятое невыспавшееся лицо с покрасневшими глазами, ко мне постучали. С мыльной пеной на щеках я подошел к двери и, открыв ее, увидел перед собой одного из дежурных администраторов отеля, корректного молодого человека в темном костюме и безукоризненно белой рубашке, и рядом с ним седовласого, стриженного ежиком низенького толстяка в шинели, подпоясанной ремнем.

— Разрешите войти? — спросил администратор.

— Как видите, я бреюсь и не одет. — Стоял я босиком в одной лишь пижаме. — Не обождете ли несколько минут?

Администратор по-немецки обратился к толстяку в шинели, и тот коротко ответил: «Nein»¹.

— Офицер полиции Бругельман говорит, что нельзя ждать, — сказал администратор.

Вслед за тем полицейский прошел прямо в комнату.

— После вас, мистер Граймс, — слегка поклонился администратор, пропуская меня вперед.

Я зашел в ванную, стер с лица мыльную пену и надел халат. Полицейский остановился посреди комнаты, подозрительно осматриваясь. Он внимательно оглядел столик, где лежал мой бумажник и кошелек с мелочью, и два чемодана, стоявших у окна.

Вот так на, подумал я, это, наверно, связано с Диди. Они ищут ее и полагают, что найдут у меня. Бог его знает, какие у них в Швейцарии законы. Говорят, тут в каждом кантоне свой закон.

— Чем вызвано такое бесцеремонное вторжение ко мне? Прошу немедленно объяснить, — как можно тверже сказал я.

Снова администратор быстро заговорил по-немецки с полицейским. Тот кивал. У него был какой-то тугой механический кивок. Толстая шея складками выпирала из воротника.

— Офицер полиции Бругельман поручил мне все объяснить, — сказал администратор. — Коротко говоря, мистер Граймс, в отеле прошлой ночью совершена кража. На пятом этаже. Исчезло бриллиантовое кольцо весьма большой ценности. €

Юнис жила в номере на пятом этаже, почему-то мелькнуло у меня в голове.

— Какое это имеет отношение ко мне? — с чувством облегчения спросил я. По крайней мере, ничто тут не связано с Диди.

Опять начался разговор по-немецки.

— Прошлой ночью заметили, как вы крадучись шли по коридору пятого этажа, — пояснил администратор.

— Я был у своей знакомой и шел вовсе не крадучись.

— Мне приходится просто переводить, — извиняющимся тоном сказал администратор. Он, видимо, был не рад тому, что знание английского языка втянуло его в такую историю.

Полицейский что-то негромко сказал.

¹ Нет (нем.).

— Знакомая, у которой вы были, — перевел администратор, — выписалась из отеля в половине девятого утра. Известно ли вам, куда она отправилась?

— Нет, не известно, — искренне ответил я, так как в самом деле не знал адреса Юнис. Ее скомканное письмо лежало в кармане моего халата, но я надеялся, что до него дело не дойдет.

На этот раз полицейский неприятно прохрипел несколько слов.

— Он просит разрешения произвести обыск в комнате, — перевел администратор; слова словно застревали у него в горле.

— У него есть ордер на обыск? — спросил я как истый американец, заботящийся о своих гражданских правах.

Опять они заговорили по-немецки.

— Ордера у него нет, — объявил затем администратор. — Если вы настаиваете на выдаче ордера, то он свяжется с полицейским бюро, чтобы его выписали, а вас задержат здесь до его получения. Он предупреждает, что выдача ордера займет много времени. Может, дня два. И в таком случае, указывает он, не избежать огласки. В городе у нас много иностранных корреспондентов ввиду большого числа и высокого положения наших гостей.

— Он все это говорил? — недоверчиво спросил я.

— Кое-что я добавил от себя, — признался администратор. — Чтобы вы смогли надлежащим образом уяснить положение.

Я сосредоточенно оглядел полицейского офицера Бругельмана. Встретил его мутный ледяной взгляд. В комнате было очень тепло, но он не расстегнул ни одной пуговицы на своей шинели.

— Ладно, — сказал я, усаживаясь в кресло. — Мне нечего прятать. Пусть ищет, но побыстрей. В одиннадцать у меня деловое свидание.

Мои слова перевели полицейскому, и он с удовлетворением кивнул. Потом сделал мне знак, чтобы я встал.

— Чего он еще хочет? — спросил я.

— Осмотреть кресло, на которое вы сели, — объяснил мне администратор.

Я поднялся, невольно отдавая дань профессиональным навыкам полицейского. Действительно, если бы кольцо было спрятано в кресле, то я должен был в первую

очередь сесть в него. Отойдя в сторону, я наблюдал, как полицейский ощупал обивку, потом немного отодрал ее и пошарил в сиденье и спинке кресла. Приладив все обратно, он указал мне, что я могу снова сесть.

Затем он быстро осмотрел все мои вещи. Открыв стеной шкаф, вынул оттуда мои грошовые лыжные штаны и что-то сказал по-немецки администратору.

— Офицер полиции Бругельман желает знать, — перевел администратор, — что у вас — лишь одни эти лыжные штаны?

— Да, одни.

— Где вы биль прешде? — не прибегая к переводу, вдруг нетерпеливо спросил полицейский на ломаном английском языке.

— В Сан-Морице.

— Сан-Мориц? В такой лыжной штаны? — недоверчиво проговорил полицейский. — И теперь в Гиттаад тоже?

— Они вполне пригодны.

— Сколько время хотите пробыть здесь?

— Три недели. Может, и подольше.

Полицейский, держа кончиками пальцев мои лыжные штаны, торжественно повесил их обратно в шкаф, затем сел за столик и вынул блокнот.

— Должень задать несколько вопрос. Постоянный адрес в Америка.

Я чуть не назвал отель «Святой Августин», но удержался и дал адрес своей прежней квартирки на Восемьдесят первой улице. Она была такой же постоянной, как и все в моей теперешней жизни. Но если Интерпол¹ или еще кто-нибудь займется расследованием, то меня по крайней мере не смогут обвинить во лжи.

— Профессия? — задавая вопрос, полицейский не поднимал головы, старательно записывая.

Частный предприниматель.

— Счет в какой банк?

По выражению его лица я понял, что рано или поздно, но придется сказать. Как говорится, вода в реке становилась все глубже.

— «Юнион бэнк» в Цюрихе, — ответил я и мысленно

¹ Сокращенное название Международной организации уголовной полиции (International Criminal Police Organization).

поблагодарил Фабиана за то, что он настоял, чтобы мы открыли и отдельные личные счета.

— А в Америке?

— Я закрыл счета в Америке. Перевожу в Европу. Состояние экономики...

— Находился под арест прежде?

— Послушайте, — обратился я к администратору, — где я живу? Как будто ваш отель считается одним из почтенных в Европе? И я не желаю отвечать на оскорбительные вопросы.

— Это обыкновенная полицейская процедура, — смущенно оправдывался администратор. — Совершенно безличная. Всех то же самое спрашивают.

— Вы, наверно, знаете мистера Майлса Фабиана? — продолжал я.

— Конечно, — с жаром подтвердил администратор. — Мистер Фабиан один из наших давних и уважаемых гостей.

— Он мой близкий друг. Позвоните ему и спросите обо мне.

Администратор о чем-то быстро заговорил по-немецки с полицейским. Тот кивнул, а потом снова повторил:

— Находился под арест прежде?

— Да нет же!

— Дайте ваш паспорт.

— Для чего вам мой паспорт?

— Надо быть уверен, что вы остались Швейцарии, герр Краймс.

— А если я не дам паспорт?

— Тогда другой мера. Задержание. Наш швейцарский тюрьма имеют хороший репутаций. Но она все-таки тюрьма.

— Мистер Граймс, прошу вас, — взмолился администратор.

Вынув из бумажника паспорт, я отдал его.

— Я немедленно обращусь к адвокату, — сказал я, обиженно вскинув голову.

— Поступайте, как вам угодно, — ответил полицейский, засовывая мой паспорт во внутренний карман шинели. Кивнув мне, с трудом ворочая своей заплывшей шеей, он вышел из комнаты.

— Приношу вам искренние извинения от дирекции отеля, — всплеснув руками, сказал администратор. — Поверьте, это тяготит всех нас.

— Вас? — удивился я.

— Ах, эти беззаботные богатые дамы, — продолжал администратор. — Они не сознают, что такое деньги. Забывают в поезде драгоценности тысяч на восемьдесят долларов, а потом устраивают истерики, чтобы мы искали их в гостинице. К счастью, мы в Швейцарии, мистер Граймс. Все, чем дирекция может помочь вам...

— Дирекция может получить обратно мой паспорт. Этим она действительно поможет. Я хочу уехать, и побыстрее.

— Понимаю, — поклонился администратор. — С Альп уж подул фён, как мы его называем, теплый ветер. Начнет таять. Позвольте заметить, что я лично ни в чем не подозреваю вас, — еще раз поклонился он.

— И на том спасибо, — буркнул я.

— Удачно покататься вам сегодня, — по привычке пожелал он.

— Постараюсь, — хмыкнул я.

Он попытался и вышел из номера, неловко теребя пуговицу.

Фабиан в щегольском тирольском костюме поджидал меня у входа в банк. Он хорошо выглядел, и никто бы не сказал, что этот человек целую ночь провел за картами, проиграв кучу денег. Завидев меня, он приветливо заулыбался, но, заметив мой удрученный вид, с беспокойством спросил:

— С вами что-то случилось?

Не зная, с чего начать, я сказал:

— Вы, как всегда, франтом.

— Слышал об отъезде Юнис. Понимаю, это удар для вас.

— Давайте сначала сделаем то, для чего мы пришли сюда, — сухо заметил я. Поговорить с ним о Юнис лучше в другой раз, когда я буду спокойней и у меня пройдет желание съездить ему по физиономии.

— Извините, что я так опростоволосился, — сказал Фабиан, беря меня под руку. — Первый раз в жизни. Слоуну исключительно везло. Я выдал ему расписку. Но он хочет наличными, и я обещал, что сегодня к четырем часам будет уплачено. Позвонил в Цюрих, чтоб перевели в местный банк. Но нам надо вместе выполнить

еще кое-какие формальности. Ох, уж эти швейцарские банкиры!

В задней комнате банка нас тщательно опросил молодой клерк. Потом он позвонил по телефону в наш банк в Цюрихе и долго говорил по-немецки, то и дело поглядывая на нас и, как я понял, подробно описывая обоих. Он спросил номер моего паспорта, и, к счастью, я помнил его. Окончив переговоры, он объявил:

— Все в порядке, джентльмены. К четырем часам будут приготовлены деньги.

Когда мы вышли и прошли к машине, которую Фабиан поставил на стоянке у банка, он пригляделся ко мне и сказал:

— Вы меня беспокоите, Дуглас. У вас такой подавленный вид. В конце концов, это лишь деньги. Не больше. У нас еще все впереди.

— Деньги тут ни при чем, — ответил я и рассказал о приходе полицейского, не упомянув о событиях этой ночи, связанных с Диди и Юнис.

— Так вы, значит, взяли это кольцо? — посмеиваясь, спросил Фабиан.

— Идите к черту, Майлс. За кого вы меня принимаете?

— Я только начинаю как следует узнавать вас, друг мой. Во всяком случае, вы несколько лет провели в отелях.

— Всего в одном. А у тех, кто в нем жил, можно было взять лишь грошовые запонки.

— Могу ли я напомнить, что вы взяли и нечто более ценное? — холодно заметил он. В первый раз я почувствовал, что он может поверить тому, что я украл это кольцо.

— Ладно, заткнитесь, — сказал я. — Пошли лучше на лыжах.

Мы молча ехали в машине. Впервые между нами возникла неприязненная отчужденность.

Фабиан хорошо ходил на лыжах, движения его были уверенны и четки, как видно, в свое время он прошел неплохую школу. Однако он был осторожен, поэтому я все время шел далеко впереди него и Лили и мы не могли разговаривать. Лишь перед спуском Лили спросила меня:

— Что вы сделали с моей сестрой? Почему она чуть ли не крадучись сбежала от нас?

— Спросите у нее самой, — досадливо буркнул я.

— А, понятно. Подул фён. А этот теплый с истомой ветер раздражает нас, лыжников.

Когда мы затем обедали в клубе, появился Слоун и тут же направился к нашему столу. В лыжных ботинках он ступал тяжелее и громче обычного. Лицо у него было багровое, вид победоносный, наверное, он уже подзаправился виски. Его появление сразу же отбило у меня охоту есть, и я отложил нож и вилку.

— Привет, друзья, — обратился к нам Слоун. — Замечательный денек, не правда ли?

— Угу, — промычал Фабиан, потягивая вино.

— Не пригласите ли меня к вашему столу? — спросил Слоун.

— Нет, — ответил Фабиан.

Слоун криво ухмыльнулся, в глазах у него загорелся злой огонек.

— Обожаю игроков, которых расстраивает проигрыш, — с издевкой сказал он. Потом порылся в карманах и выгнул листок бумаги. — Фабиан, вы не забыли о расписке?

— Не хамите, — холодно предупредил Фабиан. — С нами женщина.

— Добрый день, мадам, — поздоровался Слоун, как будто только что заметил Лили. — Мы, помнится, уже встречались в прошлом году в Сан-Морице.

— Да, помню, сэр, — небрежно проговорила Лили в дворцовой манере восемнадцатого века.

Слоун аккуратно сложил расписку, спрятал ее в карман и повернулся ко мне, тяжело похлопав меня по плечу.

— Какого черта вы здесь, Граймс? Вы же сломали свою драгоценную ногу.

— То был ошибочный диагноз, — сказал я.

— Ну как, шустрый мальчик, вломились еще в какой-нибудь номер в отеле?

Я смущенно огляделся вокруг. Хотя Слоун говорил громко, никто, казалось, не услышал его слов.

— Не далее как этой ночью, — в тон ему ответил я.

— Все шутите, юноша. Ишь, обожатель чужих ботинок. — Слоун хрипло рассмеялся, глаза его налились кровью. Он был из тех людей, что за полчаса могут

поссорить целые нации. Мысль о том, что этому хаму придется сегодня в четыре часа отдать тридцать тысяч, раздражала и угнетала меня.

— Новые часики случайно не заработали? — нарочито громко спросил Слоун. — Или здесь вам труднее развернуться?

— Убирайся вон, свинья, — прошипел я, чувствуя, что кровь закипает в жилах.

Слоун натянуто рассмеялся, словно счел мою резкость за шутку.

— Будьте поосторожней с этим приятелем, — обратился он к Фабиану. — Он ушлый малый... — Он хрипло расхохотался: — Ну, раз меня не приглашают, пойду прокачусь на лыжах. Тем более поздно сегодня встал, надо размяться. Встретимся в четыре в отеле, Фабиан, — подчеркнуто серьезным тоном напомнил он и, тяжело и неуклюже ступая, вышел из ресторана.

— И вот с такими людьми приходится иметь дело, — вздохнул Фабиан.

— Что ж — американцы! — воскликнула Лили и, пожав мне руку, добавила: — Простите, милый, вас я не имела в виду.

— Прощаю всех, — сказал я. — А как насчет еще одной бутылочки вина?

Я был взвинчен, надо было успокоиться. Сидя за столом с Фабианом и Лили, спокойно и мерно жующими, я чувствовал, как во мне нарастает острая неприязнь к ним обоим. Меня так и подмывало высказать им в лицо все: и то, что было во Флоренции, и то, что вчера ночью поведала мне Юнис. Однако моя жизнь крепко переплелась с этими людьми и зависела от них. Потому я молча занялся едой и поданной бутылкой вина, едва прислушиваясь к тому, о чем они болтали за столом.

— Мистер Фабиан, мистер Фабиан! — высоким тревожным голосом крикнул молодой лыжный инструктор, вбежавший в ресторан.

— Да, я здесь, — отозвался Фабиан, попросив инструктора не кричать так громко. — В чем дело?

— Ваш друг мистер Слоун, — торопливо заговорил инструктор. — Вам лучше самому выйти к нему. Он наклонился надеть лыжи...

— Успокойтесь, Ганс, и не кричите, — остановил его Фабиан, знавший всех служащих на лыжных курортах

по имени, что было основой его популярности среди них. — В чем же дело?

— Едва он прошел несколько шагов, — начал объяснять инструктор, — как вдруг упал, потеряв сознание. Мне кажется, что он уже мертв.

Фабиан бросил на меня странный, загадочный взгляд. Готов поклясться, что в нем сквозила радость.

— Ерунда, Ганс, — резко возразил он. — Очевидно, мне нужно выйти и посмотреть, что случилось. Лили, останься здесь, а вас, Дуглас, попрошу пойти со мной.

Фабиан поднялся из-за стола и с мрачным видом торопливо направился к выходу, все сидевшие в ресторане с любопытством провожали его взглядами. Я последовал за ним. Наши лыжные ботинки так гулко стучали по полу, словно шел взвод солдат.

Небольшая толпа людей собралась у подъемника, где лежал на спине Слоун, недвижимым взглядом уставившись в небо. Другой лыжный инструктор растирал снегом его лицо, которое было каким-то багрово-зеленым. Фабиан опустился на одно колено рядом с телом, растегнул молнию на куртке с капюшоном, задрал свитер и рубашку и приложил ухо к белой волосатой груди Слоуна.

— Надо отправить его в больницу, — бросил он обоим инструкторам. — И как можно быстрее. — Поднявшись на ноги, он провел по лицу руками, как будто его охватила нестерпимая скорбь. — Бедняга много пил, — вздохнул Фабиан. — А тут сразу высота, резкое изменение температуры... Я спущусь с ним, а вы, — обратился он к инструкторам, — вызовите машину «скорой помощи», чтобы она ожидала внизу.

Затем он подозвал меня, обнял за плечи и отвел в сторону. Как будто два опечаленных друга скорбят о трагической утрате.

— Дуглас, мой мальчик, — шептал он мне, поглаживая по плечу и словно утешая меня. — Я сейчас спущусь с ним и заберу у него из кармана мою расписку. Вы не помните, в какой карман он ее положил, в правый или левый?

— Вот это я бы назвал истинно благопристойным знаком уважения к умершему, — сказал я. — По-моему, в левый.

— Я просто восхищен вами, милый друг. — Фабиан обнял меня крепким мужским объятием. — Вы человек,

на которого можно рассчитывать. — Отпустив меня, он громко произнес, чтобы слышали окружающие: — Ступайте к Лили. Она не снесет такого удара. Дайте ей крепкого бренди.

Фабиан поспешил к подъемнику, где оба инструктора уложили труп на двухместном сиденье, пристегнув его ремнями. Фабиан сел рядом на второе сиденье и, заботливо поддерживая мертвеца, дал сигнал, чтобы их спустили вниз.

Инструкторы заняли следующую кабину. Почетные могильщики в неподобающе ярких парках, им выпала честь сопроводить мертвое тело вниз для погребения.

Я вернулся в клуб. Лили допивала кофе. Я заказал две рюмки бренди.

Глава двадцатая

Когда я вернулся в отель, швейцар сказал, что мистер Фабиан просил меня зайти к нему. Уже был конец дня. До этого я и Лили в молчании сидели в постепенно пустевшем ресторане. Выпили несколько рюмок бренди. Провожая покойников, обычно засиживаешься за столом.

Потом я проводил Лили в парикмахерскую, так как она сказала, что нет смысла попусту терять весь день.

Вниз мы спустились на подъемнике, поскольку пришли к единому мнению, что, если спуститься после случившегося на лыжах, это может быть воспринято как неуважение к покойнику. Ни один из нас не упоминал Юнис.

— А что вы сказали напоследок Слоуну? — спросила Лили, когда мы медленно плыли вниз к погружающейся в сумрак долине.

— Убирайся вон, свинья, — честно ответил я.

Она кивнула:

— Так мне и показалось. Здравствуй и прощай.

Лили протянула руку в направлении отдаленных горных пиков, верхушки которых еще озарялись лучами заходящего солнца. Орел, если эта громадная птица была

орлом, все так же величественно парил, рассекая мощными крыльями нейтральное небо Гельвеции.

Лили вдруг рассмеялась:

— Ничего, здесь все же не самое худшее место для смерти. Если есть в мире справедливость, он должен был выкинуть свою жену из завещания.

— Уверен, что не выкинул.

— Я же сказала: если есть справедливость.

— А вы не думаете, что ваш супруг может выкинуть вас из своего завещания?

— Господи, какой же вы неисправимый американец! — воскликнула она.

Больше мы не касались этой темы.

Возвращаясь в отель, я завернул в магазинчик и приобрел себе пальто. Пусть Диди Вейлс сохранит мою куртку на память. Я бы отдал ей куда больше, лишь бы избавиться от ее присутствия.

Зайдя к Фабиану, я увидел, что он укладывает вещи. Путешествовать налегке было не в его правилах. Четыре больших чемодана стояли в двух комнатах, которые он занимал вместе с Лили. Как обычно, повсюду были разбросаны газеты, открытые на финансовых страницах. Фабиан быстро и аккуратно укладывал вещи: ботинки в один чемодан, рубашки — в другой.

— Буду сопровождать его тело домой, — сказал он. — Единственное, что я могу для него сделать, не так ли?

— Пожалуй, — кивнул я.

— Вы были правы, — продолжал он. — Расписка оказалась в левом кармане. Сегодня вечером выполним все формальности по отправке тела. В Швейцарии очень расторопны, когда дело касается того, чтобы избавиться от умершего иностранца. Ему было пятьдесят два года. Холерик. Потому преждевременно отдал концы. Урок для всех нас. Я позвонил его жене. Она героически восприняла известие. Будет завтра встречать нас — гроб и меня — в аэропорту Кеннеди. Кстати, не знаете, где Лили?

— В парикмахерской.

— Невозмутимая женщина. Ее ничем не проймешь. Мне это нравится в ней. — Он снял трубку и попросил соединить с парикмахерской. — Не могли бы вы завтра подбросить нас в Женеву на нашем «ягуаре»?

— Если полиция разрешит мне выехать из города. У меня же отобрали паспорт.

— О, совсем забыл, — воскликнул Фабиан и, вытащив из кармана мой паспорт, бросил его на стол. — Вот он.

— Как вам удалось получить его?

Вообще говоря, я не был удивлен. Отчасти потому, что против моей воли он представлялся мне неким покровителем, необычайно ловким, решающим все проблемы и затруднения. Я перелистал паспорт, ища в нем какие-либо новые пометки, но ничего не нашел.

— Дежурный администратор вручил его мне, — пояснил Фабиан. — Нашли это бриллиантовое кольцо.

— Кто же украл его?

— Никто не украл. Хозяйка спрятала его в лыжный ботинок и забыла об этом. Ее муж нашел сегодня утром. Дирекция приносит вам свои глубочайшие извинения, которые сопровождаются тем, что у себя в номере вы найдете букеты цветов и ведро с охлажденным шампанским. Алло, алло! — закричал он в телефон. — Просите, пожалуйста, леди Эббот. — И опять ко мне. — Ничего, что вы на какое-то время останетесь один?

— Откровенно говоря, меня это даже радует.

— Почему? — удивленно поднял он брови.

— Все эти дни прошли для меня, как бег по пересеченной местности. Хочу немного отдохнуть и прийти в себя.

— А мне-то показалось, что вы весело проводите время.

В его голосе прозвучала укоризна.

— Останемся каждый при своем мнении.

— Лили, — сказал в трубку Фабиан, — завтра я улетаю в Америку. На две-три недели, самое большее. Поедете со мной? — Он слушал ее ответ, радостно улыбаясь. — Вот и умница, тогда побыстрее приходите и начинайте собирать вещи, — весело сказал он и повесил трубку. — Ей нравится Нью-Йорк. Мы, должно быть, остановимся в Сент-Риджисе. Имейте это в виду, чтобы связаться со мной. Потом, мне нравится тамошний бар. Кстати, не случись эта история со Слоуном, мне бы все равно пришлось прошвырнуться в Штаты через пару дней. Нужно завершить кое-какие дела на Восточном побережье. Не исключено, что я прокачусь на недельку в Палм-Бич. После похорон, конечно.

— Да, тяжело там придется, — посочувствовал я.

— Не язвите, Дуглас, — Фабиан повертел в руках

кашемировый свитер. — Пожалуй, там он мне не понадобится, как считаете?

— В Палм-Бич наверняка.

— Вы говорите так, словно я еду развлекаться. Опять укоризненный тон. Я бы с большим удовольствием поехал вместе с вами в Италию. Когда будете в Риме, хотелось бы, чтобы вы для меня, простите, для нас, кое-что сделали. Побывайте у одного очаровательного итальянца, его фамилия Квадрочелли. Ну и мастаки эти итальянцы выдумывать имена, верно? У меня с ним давние деловые связи. Я дам ему телеграмму, чтобы он ожидал вас. На очереди одно небольшое, но славное дельце, которое надо проверить.

— Что это еще?

— Вы уж сразу и насторожились.

— Вашу последнюю затею едва ли назовешь успешной.

— Однако под конец все оказалось в порядке, — улыбнулся Фабиан.

— Но не можем же мы каждый раз полагаться на то, что наш кредитор даст дуба в день платежа.

Фабиан расхохотался, обнажив два ряда ослепительно белых зубов.

— Кто знает? — отдышавшись, произнес он. — Я и сам приближаюсь к критическому возрасту.

— Ну что вы, Фабиан? — утешил я. — Вы же знаете, что кончите жизнь на плахе.

Он снова засмеялся.

— Как бы то ни было, объясните синьору Квадрочелли обстоятельства, которые помешали мне приехать. Найдете вы его в Порто-Эрколе. Это в двух часах езды на север от Рима. Восхитительное место. Я надеюсь попозже пожить там хотя бы пару недель. Там первоклассный отель «Пеликано» с окнами на море. Идеальное местечко, чтоб уединиться с девочкой. Лили обожала его. Попросите себе комнату с большой террасой.

— А что вы затеваете на этот раз?

— Не надо быть таким резким, милый друг. Люблю сдержанных, спокойных компаньонов.

— Нервы у меня не такие, как у вас.

— Да, оно и видно. Итак, дело в вине.

— В чем?

— Вы же спросили, что я затеваю. Так вот, собираюсь заняться вином. В наши дни во всем мире так пьют,

что торговля вином — это разрешение залезть в чужие карманы. Вы обращали внимание на то, как растут цены на вино? Особенно в Америке?

— Нет, не приходилось.

— Поверьте мне. Цены на вино все время растут. А у Квадрочелли под Флоренцией небольшое поместье с виноградниками. Его кьянти — чудное вино. И по всей округе такие же виноградники и такое же превосходное вино. Так вот, прошлым летом я обсуждал с этим очаровательным итальянцем возможность покупки вина у окрестных виноделов. Мы хотели затем разлить его в бутылки с красивой, броской этикеткой и, устранив всех посредников, продавать прямо в рестораны США. Представляете себе преимущества такого предприятия?

— Не очень ясно. Мне еще никогда не приходилось устранять посредников.

— Уж поверьте мне, — внушал Фабиан. — Потребуется, конечно, вложить в это дело небольшой капитал. У Квадрочелли не было тогда свободных денег, а у вашего покорного слуги и подавно.

— Но теперь они у вас есть.

— Давайте говорить во множественном числе, — он дружески пожал мне руку. — Отныне и навсегда. Я поддерживал связь с Квадрочелли, и он сообщил, что сделал все необходимые подсчеты. Посмотрите, что у него получилось, и позвоните мне в Нью-Йорк. Вообще было бы неплохо, если бы вы раза два-три в неделю звонили мне, скажем, часов в десять утра по нью-йоркскому времени. Всегда найдется о чем поговорить.

— Это уж точно.

— Наслаждайтесь жизнью, — весело пожелал он. — Скажите мистеру Квадрочелли, что я займусь ресторанами. К счастью, у меня там есть кому замолвить словечко. Правда, люди все чересчур деловые. Даже меня хотели втянуть. Сделать вице-президентом компании. Это меня-то! Можете представить, чтобы я каждый день ходил к девяти часам на работу? Подумать страшно. Ни за какие деньги в мире не согласился бы на такую каторгу. Да еще пришлось бы все время улыбаться. Нет, это не по мне.

— Майлс, сколько же еще проектов у вас в голове?

— Не тревожьтесь, — улыбнулся он. — Не буду докучать вам, пока они окончательно не созреют. После обеда дам вам адрес и телефон моего итальянца. А также

адрес моего портного в Риме. Вам следует полностью обновить свой гардероб и выбросить то барахло, что на вас надето. Пока что мы по внешнему виду никак не подходим друг другу. Надеюсь, вы не обижаетесь.

— Напротив, к тому времени, когда мы снова встретимся, я оправдаю ваши ожидания.

— Так-то будет лучше. Дать вам телефоны нескольких хорошеньких итальянских девочек?

— Нет, благодарю вас.

— Поймите, это сэкономит вам время.

— А я и не тороплюсь.

— Со временем попытаемся соскоблить вашу праведность. А пока принимаю вас таким, какой вы есть.

— Так же, как и я вас.

Пока мы беседовали, Фабиан без конца сновал из гостиной в спальню и обратно, рассовывая вещи по чемоданам и сумкам. Наконец он в очередной раз вынырнул из спальни, держа в руках роскошную синюю тирольскую куртку.

— Вам она будет в самый раз, Дуглас, — сказал он. — А мне великовата. Возьмете?

— Нет, спасибо. Я уже накатался досыта.

— Понимаю, — кивнул он. — После случившегося разочаровались в альпийских прелестях?

— Начнем с того, что я вообще не хотел сюда приезжать.

— Порой приходится жертвовать собой, чтобы угодить дамам, — улыбнулся Фабиан. — Кстати, о дамах. Не желаете поведать мне, почему вдруг уехала Юнис?

— Не особенно.

— Жаль, что вы не послушались моего совета, — вздохнул Фабиан.

— Да бросьте, Майлс! Не прикидывайтесь. Она мне все рассказала. И про вас тоже. Что вы за птица!

Почему-то этот красивый, аккуратный, изысканно одетый человек вдруг вызвал у меня раздражение.

— Господи, да я и понятия не имею, о чем вы говорите, старина. — Он аккуратно засунул полдюжины носков в угол чемодана. — Что она могла вам рассказать?

— Она любит вас.

— О Боже! — вздохнул он.

— У вас с ней был роман. Я не привык подбирать чужие объедки.

— О Боже, — повторил Фабиан. — Это она вам сказала?

— И многое другое.

— Ваша добродетель пугала меня с самой первой встречи, — сказал он. — Вы слишком ранимы. Да, люди влюбляются. Такова жизнь. Это случается сплошь и рядом. Господи, да вы были хоть раз на такой свадьбе, где бы невеста не имела давний роман хотя бы с одним из гостей?

— Могли сами сказать мне, — пробормотал я и тут же пожалел: уж больно по-ребячьи это у меня вырвалось.

— И что бы это изменило? Будьте благоразумны. Я познакомил вас с Юнис с самыми благими намерениями. Вы оба мне очень симпатичны. Могу поручиться, что она замечательная девушка. И не только в постели.

— Но она хотела выйти за вас замуж.

— Это обычная женская прихоть. Я слишком стар для нее.

— Ерунда, Майлс. Пятьдесят лет не так уж и много.

— Мне вовсе не пятьдесят. Я уже давно перевалил за полсотни.

Я изумленно воззрился на него. Не скажи он мне при знакомстве, что ему пятьдесят, я бы дал ему не больше сорока. Я знал, что Фабиан совет — не дорого возьмет, но к чему ему было прикидываться старше своих лет?

— Как давно? — спросил я.

— В следующем месяце мне стукнет шестьдесят, старина.

— Господи! — У меня отвисла челюсть. — Когда-нибудь откроете мне свою тайну?

— Когда-нибудь. — Он решительно защелкнул чемодан. — Женщины, подобные Юнис, не обладают чувством времени. Они не способны видеть, что ждет их в будущем. Смотрят они на мужчину, к которому привязались, и видят в нем только своего любовника, страсти которого не подвластны возрасту. Между тем через каких-то несколько лет рядом с ними может сидеть старик, способный только на то, чтобы дотянуться в домашних шлепанцах до камина и погреть свои дряхлые мощи. Кстати, надеюсь, все сказанное останется между нами?

— А Лили знает? — спросил я.

— Нет, конечно, — убежденно ответил Фабиан. — Я так надеялся, что вы с Юнис понравитесь друг другу.

— Увы, не вышло, — я развел руками.

— Жаль.

Я едва сдержался, чтобы не рассказать ему про выходку Диди Вейлс. Вместо этого произнес:

— Для всех лучше, что Юнис уехала.

— Возможно, вы правы, — сказал Фабиан. — Посмотрим. Кстати, вы не хотите, чтобы я кому-нибудь позвонил или с кем-то встретился в Америке?

Я на миг призадумался.

— Позвоните, пожалуйста, моему брату в Скрантон, — попросил я. — Узнайте, как дела. Скажите, что у меня все в порядке. И что я обзавелся другом.

Фабиан широко улыбнулся:

— Еще каким! Все?

Я чуть поколебался:

— Да.

— Ну и ладно.

Фабиан взял у меня бумажку с адресом и телефоном Генри и положил в карман.

— Теперь, если не возражаете, я немного позанимаюсь гимнастикой, а потом приму ванну. А вам, наверно, надо переодеться к ужину?

Так он занимается йогой, подумал я. Может, это как раз то, чего мне не хватает?

Я проводил взглядом самолет, который оторвался от взлетной дорожки в женевском аэропорту, унося Фабиана, Лили и гроб с телом Слоуна.

Небо было уныло-серым, моросил дождь. Однако во мне пробудилось радостное ощущение свободы, как у школьника в начале каникул, хотя в то же время я чувствовал себя одиноким и подавленным оттого, что все вокруг было мне чужим. В бумажнике лежала записка с адресами и телефонами Квадрочелли, портного и белошвейки в Риме — единственных известных мне по имени людей — да список ресторанов и церквей, в которых Фабиан рекомендовал мне побывать по дороге в Рим. Когда самолет превратился в маленькую точку и исчез, я почувствовал себя покинутым, оставшим от своей уже привычной компании.

А вдруг самолет разобьется? Едва страшная мысль закралась мне в голову, как тут же показалось, что это не такая уж чепуха. Иначе с чего мне вдруг об этом

подумалось? Как профессионального летчика меня всегда интересовали причины авиакатастроф. Уж я-то знал, каких можно ждать неприятностей в самый неподходящий миг. Заклинит шасси, поднимется смерч, или стайка птиц вдруг окажется на пути самолета... Вдруг моему взору представилось, как Фабиан невозмутимо падает с самолетом в океан и в последнее мгновение признается Лили в том, сколько ему лет.

За небольшой промежуток времени я видел две смерти: старика в отеле «Святой Августин», потом Слоуна, тело которого везут, чтобы предать земле на родине. Ждать ли третьей смерти? Неужели на украденных деньгах лежит проклятье? Может, предупредить Фабиана? Как я проживу без него?

В этот угрюмый пасмурный день Европа вдруг показалась мне враждебной и полной всяких опасностей. Быть может, думал я, направляясь к стоянке, где находился наш «ягуар», в Италии я почувствую себя иначе. Но мне что-то не верилось.

Глава двадцать первая

По пути из Женевы в Рим я посетил большинство церквей и ресторанов, которые рекомендовал Фабиан. От этой неторопливой поездки на юг в памяти остались цветные узоры витражей, статуи мадонн и святых мучеников да полные тарелки spaghetti e fritto misto¹. Сообщений об авиакатастрофах не поступало. Погода стояла хорошая, страна, по которой я катил, пленяла своей живописностью, а наш шикарный «ягуар» был безупречен на ходу. С детских лет я мечтал о таком путешествии и теперь старался наслаждаться каждой его минутой. Но въехав в Рим и пересекая его широкую оживленную Piazza del Popolo, я впервые в жизни особенно горько осознал, как ужасно я одинок на этом свете. Слоун и своей смертью насолил мне.

Сверяясь с картой города, я медленно пробирался в тот район, где находился «Гранд Отель», в котором

¹ Макароны и жареные овощи (итал.).

Фабриан посоветовал остановиться. Движение на улицах казалось сумасшедшим, а все водители — заклятыми врагами друг другу. Малейший неточный расчет или ошибочный поворот руля, и можно было навсегда остаться в этом городе безумной езды.

В «Гранд Отеле» мне отвели большую, но довольно темную комнату. Распаковав чемодан, я аккуратно развесил в шкафу свои вещи. До встречи с Квадрочелли, который должен был приехать к себе в Порто-Эрколе не ранее конца недели, мне предстояло весело или скучно прожить в Риме четыре дня.

Разбирая вещи, я заметил на дне чемодана толстый конверт, который Эвелин Коутс поручила мне передать ее другу в посольстве. Его имя и номера телефонов были в моей записной книжке. Я разыскал запись и выяснил, что его зовут Дэвид Лоример. Эвелин просила не звонить ему на службу в посольство, но сейчас было начало второго, и он мог обедать дома.

Почти всю неделю в дороге я провел в одиночестве, чувствуя себя отчужденным из-за незнания языка. Постоянная замкнутость, к которой меня приучила ночная работа в «Святом Августине», мало-помалу исчезла, я остро ощущал отсутствие друзей, знакомых, не слыша звуков родной английской речи. И обрадовался возможности встречи с американцем, который, может, пригласит меня пообедать с ним.

Я позвонил и вскоре услышал в трубке мужской голос, произнесший «Pronto»¹.

— Говорит Дуглас Граймс. Мне поручила Эвелин...

— Да, знаю, — быстро перебил тот же голос. — Где вы сейчас?

— В «Гранд Отеле».

— Буду у вас через четверть часа. Вы играете в теннис?

— Немного, — ответил я, несколько удивленный, полагая, что это, возможно, какой-то зашифрованный вопрос.

— Я как раз собираюсь в свой клуб. Нам нужен четвертый партнер.

Но у меня ничего нет с собой.

— Найдем в клубе. И ракетку тоже. Встретимся в

¹ Слушаю (итал.).

баре вашего отеля. Я рыжий, потому сразу узнаете меня. — И он резко дал отбой.

Большими уверенными шагами в бар вошел долговязый рыжий мужчина. У него были резкие черты лица, пушистые рыжие брови, крутой нос и довольно длинные, по крайней мере для дипломата, волосы. Действительно, его нельзя было не узнать. Мы пожали друг другу руки. Он, казалось, был моего возраста.

— Нашел у себя пару старых теннисных туфель, — сказал он, здороваясь со мной. — Какой размер у вас?

— Десятый.

— Очень хорошо. Они вам подойдут.

Его открытая машина, синяя двухместная «альфа-romeo», стояла у подъезда отеля, мешая движению. Подошедший полицейский недовольно оглядывал ее. Когда мы сели в машину, он сделал Лоримеру замечание, очень музыкально прозвучавшее на итальянском языке, тот в ответ добродушно помахал ему рукой, и мы поехали.

Как и все в Риме, Лоример весьма лихо вел машину, и мы раз десять оцарапали крылья автомобиля, пока добрались до теннисного клуба, расположенного на берегу Тибра. Говорить во время такой езды, естественно, было невозможно, и он лишь один раз отвлекся, указав мне на «Сады Боргезе», когда мы проезжали мимо них, сказав, что следует сходить в этот музей. Фабиан тоже говорил мне о нем и будет, конечно, рад, узнав, что я побывал там. «Обратите особое внимание на картины Тициана», — при этом наставлял он меня.

Мы проскочили в ворота клуба, и Лоример поставил машину в сторонке, в тени тополей. Едва я взялся за ручку дверцы, чтобы выйти, как он остановил меня, потянув за рукав.

— У вас при себе? — спросил он.

Вытащив из внутреннего кармана объемистый конверт, я вручил его Лоримеру, и тот, не распечатывая, спрятал его.

Мы вышли из машины и пошли к зданию клуба.

— Я рад, что вы поехали со мной, — сказал Лоример. — В этот час дня трудно найти партнеров. Я люблю играть перед обедом, а итальянцы после него. Коренные, так сказать, различия двух цивилизаций. И совершенно непримиримые. Мы словно через пропасть зовем друг друга. — Он поздоровался с двумя смуглыми мужчина-

ми небольшого роста, игравшими на одном из кортов, и крикнул им: — Сию минуту придем!

Двое на корте тренировались, ловко посылая мячи друг другу.

— Боюсь, что мне не справиться с вашим темпом игры, — сказал я, следя за тем, как они на корте обменивались неплохими ударами. — Уж очень давно не играл.

— Неважно. Держитесь лишь поближе к сетке. Они расколются, когда насыдем на них. — Лоример широко улыбнулся. Улыбка была и приятная, и дружелюбная, но проступал волчий оскал.

Теннисные туфли оказались мне впору, шорты и рубашка немного широки, но были вполне пригодны для игры.

— Возьмите с собой на корт все, что у вас при себе ценное, — посоветовал Лоример. — Можно сдать на хранение в контору, но там всякое случается. И ни в коем случае нигде не оставляйте свой паспорт, а то в один прекрасный день прочтаете в газетах, что некий сицилиец по имени Дуглас Граймс арестован за провоз наркотиков.

С собой Лоример забрал бумажник, кошелек с мелочью, часы, а также конверт с письмом Эвелин.

Игра доставила мне больше удовольствия, чем я ожидал. Лыжные прогулки этой зимой укрепили меня, и мои движения были быстры и достаточно ловки. Лоример носился по всей нашей площадке, всюду поспевая. Играл он с диким азартом, весьма успешно. В первых двух сетах мы подавили итальянцев, которые, как и предвидел Лоример, стушевались под нашим натиском. В третьем сете у меня от усердия вскочил волдырь на большом пальце и я вышел из игры. Это, конечно, был пустяк по сравнению с удовольствием играть под живительным римским солнцем на берегу той реки, которую, по утверждению Шекспира, Цезарь переплывал в полном вооружении и доспехах. Сейчас, в сухое время года, река выглядела совсем безобидной, так что и я мог бы рискнуть переплыть ее.

После игры, когда мы мылись под душем, итальянцы пригласили нас пообедать в клубе.

— Вы первый раз в Риме? — спросил меня Лоример.

— И первый день, — ответил я.

— Тогда мы не станем здесь обедать. Отправимся в

туристское заведение на Piazza Navona. — Я кивнул. Фабиан тоже рекомендовал мне это местечко. — Каждого, кто приезжает в Рим, — продолжал Лоример, — я призываю ни на что не претендовать, а быть только туристом. Осмотрите сначала все классическое: Ватикан, Сикстинскую капеллу, Замок Сан-Анджело, статую Моисея, Форум и так далее. Не зря они сотни лет значатся во всех путеводителях. А потом найдете и свой путь знакомства с этим вечным городом. Будете читать, скажем, Стендаля. Вы знаете французский?

— Нет.

— Жаль.

— Я бы хотел вернуться обратно в школу и начать все с самого начала.

— А разве не все мы этого хотим?

— Ну как, нравится тут? — спросил Лоример.

Мы сидели на открытой террасе, глядя на огромный фонтан, который украшали четыре мраморные женские фигуры.

— Очень! — воскликнул я.

— Только никому не рассказывайте. В высших кругах принято считать, что пицца здесь несъедобная. — Он ухмыльнулся. — Вас заклеймят мужланом, и вам придется долго искать свою принцессу.

— Но я могу хотя бы признаться, что мне понравился фонтан?

— Скажите, что случайно забрели на Piazza Navona. Сбились с пути в темноте. Если же речь пойдет об этом, то молчите.

Лоример не отрывал глаз от фонтана.

— Хороши, не правда ли?

— Кто?

— Вот эти скульптуры. Для меня это одна из причин, почему я предпочитаю Рим, скажем, Нью-Йорку. Здесь вас подавляют искусство и святыни, а не сталь и стекло многоэтажных зданий страховых компаний и биржевых маклеров.

— Вы давно в Риме?

— Не так уж давно. Да вот разные сукины сыны пытаются убрать меня отсюда. — Он нащупал в кармане письмо, которое я привез ему, вытащил и бегло пробежал, пока мы ожидали заказанные блюда. Когда нам

подали, он спрятал письмо обратно. — Пока что ждем, кто первым сделает неверный шаг. Различие во взглядах. Возможно, неизбежное. Не похваляйтесь тем, что знакомы со мной. Шпионы тут повсюду. Когда б я ни вернулся к письменному столу, все бумаги на нем уже кем-то просмотрены. Я говорю, как психопат?

— Не очень-то мне понятно, хотя Эвелин и намекала на разные обстоятельства.

— Это случалось и прежде и, конечно, будет продолжаться, особенно в связи с тем, что происходит в Вашингтоне. То, что проделывал Маккарти, выглядит просто детской кутерьмой по сравнению с тем, что способна вытворять теперешняя братия в Белом Доме. Оруэлл ошибся, предсказывая тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год. Это началось уже в семьдесят третьем. Вы думаете, они уберут из Белого Дома этого взломщика?

— Признаться, я не слежу и не очень-то интересуюсь этим, — пожал я плечами.

Лоример как-то странно поглядел на меня.

— Эх, американцы, — печально покачал он головой. — Держу пари, что он и до следующих выборов просидит на нашей шее и будет давить нас. А меня, вероятно, вскоре переведут в какую-нибудь маленькую африканскую страну, где каждые три месяца совершают государственные перевороты и убивают американских послов. Приезжайте тогда в гости ко мне. — Он ослабил и налил себе полный стакан вина. Что бы с ним ни случилось, он, очевидно, не боялся. — К сожалению, не смогу быть с вами на этой неделе. Уезжаю в Неаполь. Но мы можем встретиться в субботу днем на этом же теннисном корте или вечером за игрой в покер. Эвелин пишет, что вы сильный игрок.

— Извините, но в субботу я уеду в Порто-Эрколе.

— Вот как? В отель «Пеликано»?

— Да, я уже заказал там номер.

— Для только что приехавшего в Италию вы весьма быстро и хорошо освоились тут.

— Это по советам моего друга, который все и вся знает, — улыбнулся я.

Лоример поглядел на часы и поднялся.

— Мне пора. Подвезти вас?

— Нет, благодарю. Пройдусь пешком.

— Неплохо задумано, — кивнул он. — Хотел бы я

прогуляться с вами, но мои палачи поджидают меня. Arrivederci¹, дружище.

По-американски быстро и живо он зашагал к своей машине. Статуи фонтана маячили над ним. И он уехал, чтобы сесть за свой письменный стол, где бумаги переворошили за время его отсутствия.

Лениво допив кофе, я расплатился и неторопливо побрел по улицам к себе в отель, убеждаясь в том, что Рим, каким его видит пешеход, совсем другой, несравненно лучше, чем кажется из окна автомобиля. Замечание Лоримера о том, что Италия прекрасная, но достойная сожаления страна безрассудных людей, представлялось мне лишь отчасти верным.

Вскоре я оказался на узкой оживленной улице — виа дель Бабуино, где было несколько художественных выставок. Следуя наставлениям Фабиана, я стал осматривать витрины. В одном из окон была выставлена большая, написанная маслом картина, изображавшая улицу маленького американского городка. Виднелась знакомая аптека-закусочная, где торгуют лекарствами, косметикой, журналами, мороженым, кофе и еще Бог знает чем, парикмахерская, здание местного банка в псевдоколониальном стиле, обитая дранкой контора местной газеты — и все это в предвечернем холодном тумане где-то посреди раскинувшейся прерии. Все было передано реалистически, жизненность картины еще усиливалась дотошным изображением каждой мельчайшей детали, что создавало впечатление странного фанатичного пристрастия, одновременно любовного и неистового. Художник, чьи картины тут выставлялись, был, судя по имени, не американец или, может, полуамериканец. Его звали Анжело Квин.

Из любопытства я зашел на выставку. Там никого не было, кроме хозяина помещения, старика лет за шестьдесят, седого, с редкими растрепанными волосами, и сидевшего в углу молодого человека, небритого, неряшливо одетого, который читал, не отрываясь, какой-то журнал по искусству.

На других вывешенных картинах также изображались американские провинциальные городки, старые обветшавшие уголки, где там и сям на открытом всем ветрам холме стоял источенный непогодой жилой дом фермера

¹ До свидания (*итал.*).

или тянулись давно заржавевшие рельсы железнодорожной колеи с замерзшими лужами, выглядевшей так, словно последний поезд прошел по ней сто лет назад.

Ни на одной из картин не было таблички с указанием, что она продана. Хозяин не сопровождал меня, когда я осматривал полотна, и не сделал попытки заговорить со мной. Лишь встретив мой взгляд, он печально улыбнулся, показав ряд вставных зубов. Молодой человек в углу был целиком погружен в чтение. Когда я вышел от них, у меня не было уверенности, способен ли я правильно судить, хороши или плохи картины, но они так непосредственно напоминали мне о том, что я не мог и не хотел бы забыть.

Медленно пробираясь по суматошным улицам, я был озадачен тем впечатлением, которое произвела на меня эта выставка. Это было схоже с проникновением в огромный, часто загадочный смысл книги, который мучительно открывался мне, когда в тридцать лет я начал серьезно и увлеченно читать.

Уже недалеко от отеля я случайно наткнулся на ателье портного, о котором мне говорил Фабиан. Зайдя туда, я провел чрезвычайно занятный час, выбирая материи на костюмы и беседуя о фасонах с портным, который прилично объяснялся по-английски. Заказал я сразу пять костюмов. Вот уж ахнет Фабиан, когда встречу с ним.

На другой день я побывал на нескольких выставках, прежде чем снова зашел взглянуть на картины Анжело Квина. Мне хотелось узнать, какое впечатление производят на меня другие образцы современной живописи. Они совсем не тронули меня. Мои глаза безразлично скользили по натуралистическим, сюрреалистическим и абстрактным картинам.

Вернувшись на выставку Квина, я потихоньку переходил от одной картины к другой, внимательно вглядываясь в них, чтобы проверить свое вчерашнее впечатление.

Впечатление было даже сильнее. По-прежнему тут находились лишь старик и молодой человек с журналом, словно прошедшие сутки они неподвижно провели на своих местах. Если они и узнали меня, то не подали виду. Как-то внезапно я решил, что если могу покупать

себе костюмы, то могу купить и понравившуюся мне картину.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к старику, который автоматически улыбнулся мне. — Меня интересует картина, выставленная у вас в окне. И, возможно, также и эта, — указал я на полотно, около которого стоял. На нем была изображена заброшенная железнодорожная колея. — Сколько они могут стоить?

— Пятьсот тысяч лир, — быстро и уверенно произнес старик.

— Пятьсот тысяч? Гм! — Цена звучала ошеломляюще. Я все время путался в переводе итальянских денег на другую валюту. — А сколько это будет в долларах? — поинтересовался я. (Тоже мне турист, усмехнулся я в душе.)

— Около восьмисот долларов, — уныло ответил старик. — А при сегодняшнем совсем смехотворном курсе обмена и того меньше.

За каждый заказанный костюм я уплатил по двести пятьдесят долларов, но разве они принесут мне столько радости, сколько покупка первой в жизни картины?

— Вы возьмете чек швейцарского банка?

— Конечно, — ответил старик. — Выписывайте его на имя Пьетро Бонелли. Выставка закроется через две недели. Мы доставим вам картину, если пожелаете.

— Нет, я захвачу ее с собой. — Мне хотелось поскорее обладать своим сокровищем.

— Тогда надо внести задаток.

Мы договорились о задатке в двадцать тысяч лир (больше у меня не было при себе), я сообщил свое имя и выписал чек. Все это время молодой человек сидел в углу, не поднимая головы, уткнувшись в свой журнал.

— Желаете познакомиться с художником? — под конец спросил старик.

— Если это удобно.

— Вполне. Анжело! — воскликнул старик. — Мистер Граймс, собиратель ваших работ, хочет познакомиться с вами.

Молодой человек оторвался от журнала, взглянул на меня и улыбнулся. Улыбка делала его еще моложе, особенно выделялись тогда его прекрасные белые зубы и блестящие темные глаза с грустным, как у итальянского ребенка, взором. Поднявшись, он сказал:

— Пойдемте, мистер Граймс, в кафе и побеседуем, отметив это событие.

Когда мы выходили, старик прикрепил первую табличку «продано» на картине, выставленной в окне.

Анжело привел меня в кафе на углу, где мы заказали кофе.

— Вы американец, не так ли? — спросил я.

— Слоеный пирожок.

— И давно уже здесь?

— Около пяти лет.

— Значит, выставленные картины созданы более пяти лет назад?

Он рассмеялся:

— Нет, они все новые. Созданы памятью и воображением. Я рисовал их от чувства одиночества и тоски. И мне как будто удалось передать в них подлинное дуновение, вы не находите?

— Я бы согласился с этим.

— А когда вернусь в Америку, буду рисовать Италию. Подобно многим художникам, и у меня своя теория. Она заключается в том, что надо уйти из дома, чтобы издали понять, каков твой дом. Вы думаете, что я чокнутый?

— Нет. Во всяком случае, судя по вашим работам.

— Они вам нравятся?

— Очень.

— Это хорошо. — Он улыбнулся. — Анжело Квин дал простор своим чувствам. Я помешан на родной земле. Держитесь за эти картины. Рано или поздно они будут стоить целое состояние. Вот увидите.

— Я собираюсь оставить их у себя, — сказал я. — И вовсе не из-за денег.

— Спасибо, — он прихлебнул кофе из чашечки. — Даже только ради такого кофе стоило пожить в Италии.

— Почему вас зовут Анжело?

— Моя мать итальянка. Отец привез ее в Америку. Отец был провинциальный журналист, часто менял работу, и они мотались по всяким захолустным городишкам. Вот я и изобразил места, где жила наша семья. А вы и в самом деле собираете картины? Или Бонелли просто так ляпнул?

— Нет, — ответил я. — Откровенно говоря, я впервые в жизни приобрел картину.

— Боже всемогущий! — воскликнул Квин. — Так вы

только что лишились девственности. Что же, вкус у вас хороший, хотя мне, должно быть, не стоило так говорить. Я закажу вам еще кофе. Вы принесли мне удачу.

На следующий день я принес Бонелли чек и потом добрых полчаса любовался на купленные мной картины. Бонелли пообещал, что картины дождутся моего возвращения, даже если я опоздаю к закрытию выставки.

Во всяком творчестве должно быть жизненное устремление, думал я, уезжая в пятницу из Рима в Порто-Эрколе. И я решил, что первое посещение вечно-го города было успешным, по-настоящему обогатив меня.

Глава двадцать вторая

В отеле «Пеликано» было свободно, мне отвели светлую просторную комнату, из окон открывался чудесный вид на море. Попросив девушку в конторе позвонить домой Квадрочелли, я узнал, что его ожидают завтра утром. На всякий случай я предупредил, что все время буду в отеле.

На следующее утро, после игры в теннис с пожилыми англичанами, я сидел на террасе, когда появилась девушка из конторы вместе с небольшого роста смуглым мужчиной, на котором были поношенные плисовые штаны и темно-синий матросский свитер. Это оказался *dottore* Квадрочелли.

Я поднялся, мы пожали друг другу руки. Его рука была по-рабочему твердая и шершавая. Загорелый, крепко сбитый, он походил на крестьянина, черноволосого, черноглазого, веселого и жизнерадостного. У глаз была частая сетка морщинок, словно большую часть своей жизни он постоянно смеялся. На вид ему было лет сорок пять.

— Приветствую вас, мой дорогой друг, — оживленно заговорил он. — Садитесь, садитесь. Радуйтесь прекрасному утру. Как вам нравится этот великолепный вид на море? — Он спросил таким тоном, будто и скалистое побережье полуострова Арджентарио, и освещенное солнцем море, и видневшийся вдали остров

Джаннутри были его личными владениями. — Могу ли я предложить выпить? — спросил он, когда мы оба уселись.

— Нет, благодарю. Еще рано, с утра не пью.

— О, замечательно, — воскликнул он. — Вы подаете мне хороший пример. — Говорил он по-английски быстро и почти без акцента, а так как мысли в его голове, как видно, набегали одна на другую, то и слова произносились торопливой скороговоркой. — А как поживает очаровательный Майлс Фабиан? Очень жаль, что он не смог приехать с вами. Моя жена в отчаянии. Она безнадежно влюблена в него. И три мои дочки тоже, — весело рассмеялся он. Рот у него был маленький, губы сложены бантиком, почти совсем как у девочки, но смеялся он по-мужски громко и раскатисто. — Ах, его жизнь, должно быть, полна любовных историй! И к тому же он все еще не женат. Мудро, очень мудро. Наш друг Майлс Фабиан дальновиден, как философ. Вы согласны?

— Я его еще мало знаю. Мы лишь недавно познакомились...

— Годы только на пользу ему. Сравните его с остальными бедными смертными, — снова рассмеялся он. — А вы приехали один?

Я кивнул. Квадрочелли скорчил печальную гримасу.

— Жаль вас. В таком чудном месте... — Он широко раскинул руки, как бы прославляя все вокруг. — Вы что, не женаты?

Я подтвердил, что не женат.

— Вот я познакомлю вас с моими дочками. Одна — писаная красавица. Поверьте, даже если это говорит отец, который души в ней не чает. Две другие — с характером. Но, как говорится, каждая душа по-своему хороша. И я отношусь к ним одинаково. Знаете, когда Майлс говорил со мной по телефону из Гштаада, он очень хорошо отзывался о вас. Называл вас своим лучшим компаньоном. Говорил, что вы умны и честны. Качества, которые в наши дни не так часто встретишь в человеке. То же самое я бы сказал и о самом Майлсе.

Я не считал нужным умирить пыл своего нового знакомого, заметив, что он очень щедр в своих суждениях обо мне.

— Как же вы познакомились с Майлсом? — продолжал свои расспросы Квадрочелли.

— Летели вместе на самолете из Нью-Йорка, — коротко объяснил я, стремясь избавиться от дальнейших расспросов.

— И судьба вас случайно столкнула? — щелкнул пальцами Квадрочелли.

Вернее сказать — одарила, подумал я, вспомнив лампу, которую разбил о голову Фабиана.

— Что-то вроде этого, — кивнул я.

— Товарищества, подобно бракам, тоже заключаются на небесах. По их воле, — глубокомысленно изрек Квадрочелли. — Скажите, мистер Граймс, вы разбираетесь в вине?

— Нисколько. До приезда в Европу я вообще едва ли когда пил вино. Предпочитал пиво.

— Ну, это уж не столь важно. У Майлса вкус за нас троих. То был особенный день, когда Майлс почтил мое вино, заявив, что собирается продавать его и на бутылках поставить мое имя. И если американец станет требовать: «Подайте-ка мне бутылку кьянти Квадрочелли», — не скрою, мне это будет приятно. Человек я не тщеславный, но все же и не без этого. Заверяю вас, что мое вино натуральное. Без всяких примесей, не крепленое. Ах, чего только не делают с вином у нас в Италии... Добавляют и бычью кровь, и всякие химикалии. Я стыжусь за свою страну. Что с вином, то и с нашей политикой. Вконец испорченная. Обесцененная, как наша лира. Мы же будем смотреть всем прямо в лицо, никого не обманывая. И разбогатеем на моем вине. Здорово разбогатеем, мой дорогой друг. После завтрака я покажу вам сделанные мной подсчеты. Завтракать прошу со мной и моей женой.

— Благодарю, — поклонился я.

— Мое вино, — не унимался Квадрочелли, — это то небольшое, что наше идиотское правительство не в силах испортить. В Милане у меня печатное дело. Вы и представить себе не можете, как трудно сейчас сводить концы с концами. Налоги, забастовки, бюрократизм. Да еще взрывы бомб. — Лицо у него помрачнело. — *Dolce Italia*¹. На моем предприятии в Милане мне приходится держать круглосуточную вооруженную охрану. Для некоторых из своих друзей-социалистов я по себестоимости печатаю безвредные брошюры, и мне посто-

¹ Милая Италия (*итал.*).

янно угрожают за это. Не верьте, мистер Граймс, когда вам говорят, что Муссолини нет. В 1928 году мой отец бежал в Англию. Единственное утешение, что благодаря этому я выучился вашему прекрасному языку. Но не буду удивлен, если и мне придется бежать. От правых, от левых — от всего. — Он нетерпеливо махнул рукой, как если бы осуждал себя за излишне откровенный пессимизм. — Ах, не принимайте слишком всерьез все, что я говорю. Я бросаюсь из одной крайности в другую. Мы — южане, и все в нашей семье сразу и плачут, и смеются, — и он раскатисто рассмеялся, демонстрируя одну из особенностей их семьи. — Однако мы встретились, чтобы поговорить о вине, а не о нашей сумасшедшей политике. Вино вечно. И ни политикам, ни бандитам не заглушить выращивание винограда. И его брожение в чанах идет себе без всяких забастовок. Вы и Майлс выбрали у нас самый основательный бизнес. И не слишком рискованный. Майлс сказал мне по телефону, что кто-то умер.

Я уже смекнул, что надо держать ухо востро, поскольку мистер Квадрочелли имел склонность внезапно переходить на совершенно другую тему.

— Один наш общий друг, — ответил я.

— Надеюсь, это было не слишком тяжело?

— Не слишком, — сказал я.

— Увы, — вздохнул он. — Все мы смертны.

Он обхватил себя руками, словно желая удостовериться, что все на месте.

— Давайте поговорим о более приятных вещах. Вам уже приходилось бывать в Италии?

— Нет, — ответил я, решив не упоминать о поездке во Флоренцию, когда я охотился за Фабианом.

— Тогда я буду вашим гидом. Наша страна удивительна, полна сюрпризов. Некоторые из них даже приятные. — Он засмеялся, для него, видимо, было обычным радоваться собственным шуткам. Мне начал нравиться этот человек, его живость, крепкое здоровье и несколько избыточная откровенность. — Мы уже больше не великая страна, а наследники былого величия. Убогие сторожа того, что понемногу распадается от времени. Я отвезу вас в мой дом под Флоренцией. Посмотрите своими глазами мои виноградники, попробуйте на месте ваше будущее вино. А оперу вы любите?

— Никогда не бывал.

— Поведу вас в театр Ла Скала в Милане. Придете в восторг. Как долго вы пробудете в Италии?

— Зависит от Майлса.

— Только не спешите уезжать, умоляю вас. Я не хочу, чтобы наши отношения сводились к сугубо деловым, — сказал он с серьезным видом. — Я понимаю, что это звучит глупо, но для качества вина было бы лучше, чтобы между нами были не только деловые связи. Вы хорошо переносите море?

— Не знаю. Я выходил только в озеро на весельных лодках.

— У меня есть небольшая прогулочная яхта длиной в двадцать пять футов. Мы отправимся на остров Джаннотри. — Квадрочелли ткнул пальцем в направлении туманного пятнышка на горизонте. — Он сохранился в первозданной красе. В наши дни это такая редкость. Жаль только, что купаться холодновато. А вода — чистая, как сапфир. Устроим пикничок и позагораем на песке. Вот увидите, вас придется силком тащить оттуда. На всю жизнь запомните. А где вы живете в Америке?

— В Вермонте, — чуть поколебавшись, ответил я. — Но я часто переезжаю.

— Вермонт, — он содрогнулся. — Никак не возьму в толк, почему люди живут в такой холодрыге, если их к тому никто не принуждает. Как Майлс, например. Когда-нибудь он непременно сломает себе шею, гоняя на лыжах, как сумасшедший. Кстати, я миллион раз говорил ему, что нечего жить среди снегов да ходить на лыжах. Рядом с моим домом продается прекрасная вилла и по сходной цене. С его знанием языка он мог бы жить у нас, как король, прежде чем все провалится в тартарары... У него ведь неплохой капиталец... — Квадрочелли испытующе поглядел на меня, прищурив глаза. — Верно?

— Не знаю. Как я уже говорил, мы недавно познакомились.

— О, вы весьма сдержанный человек.

— Более или менее.

— Могу ли я спросить, мистер Граймс... — последовал нетерпеливый жест. — Как ваше имя?

— Дуглас.

— А меня зовут Джулиано. Будем называть друг друга

просто по имени. Так скажите, Дуглас, какой у вас бизнес?

— Главным образом помещение капитала, — немного замаявшись, ответил я.

— Не буду назойливым, — Квадрочелли вытянул руки, как бы отводя дальнейшие вопросы. — Вы друг Майлса, и этого для меня вполне достаточно. А теперь время уже завтракать, — сказал он, поднимаясь. — Макароны и свежая рыба. Пища простая, но с того самого дня, как я живу со своей дорогой половиной, у меня никогда еще не болел живот. Полнеете, говорят мне доктора, но я же не собираюсь стать кинозвездой, — снова рассмеялся он.

Я тоже поднялся, взял его под руку, и мы направились к выходу. Неожиданно дверь отворилась, и на пороге в лучах яркого итальянского солнца показалась Эвелин Коутс.

— Мне звонил Лоример и сказал, что вы здесь, — объяснила она. — Надеюсь, не помешаю вам.

— Конечно, нет.

Быть может, потому, что наша встреча теперь произошла весной у Средиземного моря, или потому, что Эвелин была в отпуске, или наконец просто далеко от Вашингтона, но она казалась совсем другой женщиной. Резкость и властность, которые меня раздражали в ней при первом знакомстве, словно исчезли без следа. Лежа с ней в постели, я не заметил прежнего охватывавшего ее отчаянного поиска того, чего никогда не найдешь. Чувствовалось сейчас в ней какое-то внутреннее, затаенное напряжение или ожидание. Мы провели вместе несколько часов, грелись на солнце, держались за руки, о чем-то несвязно говорили, весело смеялись и дурачились, забавляясь попытками объясняться по-итальянски с официантом или фотографированием друг друга в разных позах.

Когда Эвелин приехала, Квадрочелли тут же оставил нас одних, сказав, что мне, конечно, надо о многом переговорить со своей прелестной американской подругой.

— Встретиться сможем и завтра, — добавил он. — Моя жена все поймет. И дочки тоже, — раскатисто рассмеялся он, покидая нас.

Однако в этот же день Квадрочелли со множеством извинений сообщил, что вечером вылетает в Милан, так как на предприятии у него нелады, которые можно назвать саботажем. Вернется он при первой же возможности.

После обеда Квадрочелли позвонил мне как раз в ту минуту, когда, насладившись любовью, мы с Эвелин расслабленно лежали в постели в моей уютной комнате с видом на море. Я посочувствовал Квадрочелли в связи с его неприятностями, но в глубине души вовсе не сожалел, что лишен его общества, поскольку мог теперь уделить все свободное время прелестной Эвелин.

Туристский сезон еще не наступил, потому в «Пеликано» было почти совсем пусто, и мы жили, словно владельцы роскошного загородного дома с приветливой и услужливой прислугой, где все было для нас. Раздевшись, мы часами лежали рядышком, загорая на теплом весеннем солнце. Мне показалось, что тело Эвелин стало более нежным и округлым. Прежде оно было крепким и упругим, как у женщины, которая следит за собой, за своим весом и формами, с помощью усердных гимнастических упражнений и дорогостоящего ежедневного массажа. Мы говорили о многом и разном, но никогда о Вашингтоне или о ее работе. Я не спрашивал ее, надолго ли она приехала, и она не заговаривала об этом.

Про свою беседу с Лоримером я решил ей не говорить.

То были чудесные дни, беззаботные и сладострастные, ничем не тревожимые — ни часами, ни календарем, в прекрасной стране, языка которой мы не знали и печали которой не заботили нас. Мы не читали газет, не слушали радио и не строили никаких планов на будущее. Несколько раз звонил Фабиан из Нью-Йорка, говорил, что все идет гладко, что мы день ото дня богатеем, но все же есть некоторые трудности, которые не объяснишь по телефону, и потому он задерживается дольше, чем ожидалось. Квадрочелли перед отлетом в Милан прислал мне расчеты по сделке с вином, которые, не читая, я тут же срочной почтой отправил Фабиану. Фабиан нашел эти расчеты превосходными и просил передать Квадрочелли, что его условия сделки вполне приемлемы.

— Кстати, — спросил я, — как прошли похороны Слоуна?

— Очень хорошо, — ответил Фабиан. — И вот еще, чуть не забыл. Как вы просили, я позвонил вашему брату, и он навестил меня в Нью-Йорке. Уверял, что дело, на которое вы дали ему деньги, становится весьма многообещающим.

Так прошла неделя, и все в ней было хорошо.

Мы поехали в Рим за заказанными пятью костюмами, остановились там в отеле и как заправские туристы бродили по улицам, завтракали на Пьяцца Навона, где пили вино Фраскати, побывали в Ватикане, осмотрели Форум, Музей Боргезе, слушали «Тоску».

Во время одной из прогулок по Риму я привел Эвелин на ту выставку, где в окне стояла купленная мной картина, о чем я ей не сказал. Мне хотелось сначала узнать ее мнение об этой картине как человека, более разбирающегося в живописи. Она нашла, что картина хороша, бесспорно хороша, но мы не смогли зайти и осмотреть всю выставку, так как она была закрыта на обеденный перерыв. Я подумал, что это к лучшему. Другие картины могли ей не понравиться, а Бонелли стал бы наверняка благодарить меня за чек, и я оказался бы в неловком положении. Мне же после проведенных с Эвелин дней стало хотеться, чтобы она всегда была обо мне высокого мнения. О чем бы ни шла речь.

На другой день у Эвелин было назначено свидание с ее другом из американского посольства, а я поехал за двумя купленными мной картинами. На этот раз у старика Бонелли был более радостный вид, что, очевидно, объяснялось тем, что еще на трех полотнах появились таблички с указанием «продано». Он даже напевал себе под нос какую-то арию из «Тоски». Я спросил о Квине, которого не было на выставке.

— Со времени встречи с вами, — объяснил старик, — Анжело день и ночь работает у себя дома. Он был очень подавлен тем, что более года его работы висели здесь на стенах и никто ими не интересовался. Как молодой художник он приходил в отчаяние, не получая хотя бы небольшой поддержки.

— Это бывает не только у художников, — заметил я.

— Конечно, — согласился старик. — Отчаяние охватывает не одних лишь художников. Я сам иногда спра-

шиваю себя, не зря ли я прожил свою жизнь. Даже в Америке... — пожал он плечами, не договорив до конца.

— Да, даже, в Америке, — кивнул я.

Эвелин еще не было, и я поставил обе картины рядышком на камине с запиской: «Дорогой Эвелин на память». Потом я вышел, прогулялся по виа Венето, зашел в кафе и уселся на террасе за чашкой кофе, глаза на гуляющих. Мне хотелось, чтобы, пока меня нет, Эвелин увидела мой подарок.

Когда я вернулся, Эвелин, облокотясь на подушки, полулежала на постели, пристально глядя на картины. На глазах у нее блеснули слезы. Не говоря ни слова, она притянула меня к себе и поцеловала.

Немного погодя она неожиданно сказала:

— Распутная я девка.

— Ах, успокойся, пожалуйста.

Она отстранилась от меня и села на постели.

— Вот сейчас и скажу, почему приехала к тебе.

— И хорошо сделала. Давай не будем говорить об этом.

— Я беременна, — выпалила она. — И от тебя. В ту нашу первую ночь у меня не оказалось таблеток. Ты не обязан верить мне, если не хочешь.

— А я верю.

— Уж готова была сделать аборт, когда позвонил Лоример и сообщил о встрече с тобой. Прежде я всегда заявляла, что не желаю иметь детей. А тут меня осенило, и я поняла, что просто дурачу себя. И еще многое поняла. Ушла из министерства. Хватит с меня чиновничьей службы. Я губила себя в Вашингтоне... И намерена сделать вот такое безжалостное, я бы даже сказала — жестокое, предложение юриста...

— А именно?

— Чтоб мы поженились.

— Ну, это не очень-то жестокое предложение.

— После рождения ребенка мы сможем развестись. Но я не хочу иметь незаконнорожденного. Сперва я не хотела тебе говорить. Но после этой чудесной недели... Она все изменила. — Эвелин беспомощно развела руками. — Ты был таким милым. А картины меня вконец добились. Ладно, ничего, сама справлюсь.

Я глубоко вздохнул.

— У меня предложение получше. Почему бы нам не пожениться, завести ребенка и не разводиться? — Сказав это, я тут же поймал себя на том, что зря ляпнул это. Надо мной еще витали тени моего недавнего прошлого, которые надо было как-то развеять, прежде чем на ком-нибудь жениться. Но я почувствовал облегчение, услышав ее ответ.

— Не торопись. Во-первых, я могла солгать.

— О чем?

— О том, например, кто отец ребенка.

— Для чего это тебе?

— Ну, знаешь, женщины все могут.

— Но ты же не солгала?

— Нет.

— Твоего слова мне вполне достаточно.

— Даже если и так, — покачала она головой, — все равно незачем спешить. Я не хочу потом сидеть дома и раскаиваться. Или годами недовольно глядеть друг на друга? Пылкие, благородные порывы надо приберечь для иных случаев. А тут нужно время, чтоб хорошенько обдумать. Нам обоим. Убедиться, что мы уверены в том, что делаем. Дадим себе на размышление, скажем, пару недель.

— Но ты же сказала... — ее неожиданные возражения вызвали с моей стороны и вовсе неразумную настойчивость, — что приехала ради...

— Все помню, ничего не забыла. Но это, как говорят в Вашингтоне, уже не актуально. Сейчас там очень модно это словечко.

— А почему не актуально?

— Потому что я изменилась. Ты был для меня чужим, просто нужным для замужества человеком. А теперь ты больше не чужой.

— А кто же?

— Скажу в другой раз, — улыбнулась она. Потом встала, потянулась и сказала: — Пойдем выпьем. Нам обоим не помешает.

— Ты помнишь, что рассказывал мне в первый вечер в Вашингтоне? — спросила Эвелин.

Мы шли по виа Кондотти, празднично поглядывая по сторонам. Со времени нашего последнего объяснения мы больше не упоминали о женитьбе, словно и речи об

этом не было. Или, вернее, как если бы между нами ничто не изменилось. Мы стали более ласковы, даже нежны друг с другом, но в нашей близости проскальзывала грусть.

— Так о чем я говорил тогда? — переспросил я.

— О том, что ты простой провинциальный парень из очень богатой семьи.

— И ты поверила?

— Нет.

— Что ж, возможно, ты была права.

— Не забывай, — улыбнулась она, — что я вышколенный юрист. Кстати, чем же ты все-таки занимаешься? Как твоей будущей жене мне положено знать об этом, не правда ли?

— Не волнуйся, сейчас у меня достаточно средств, чтобы содержать тебя. — Продолжая изображать из себя этакое богача, я понимал, что это глупо и неубедительно, но ничего иного пока придумать не мог.

— Я не забочусь о том, чтобы кто-нибудь кормил меня. У меня есть и свои деньги, и я всегда заработаю себе на жизнь. Адвокаты в Америке не голодают.

— Почему в Америке? Чем плохо жить в Европе?

Эвелин отрицательно покачала головой.

— Европа не для меня. Люблю приехать сюда на отдых, но жить постоянно — нет уж, уволь. — Она зорко взглянула на меня. — Есть причины, по которым не можешь вернуться обратно?

— Вовсе нет.

Она замедлила шаг и остановилась.

— Ты лжешь, — отрубил она.

— Быть может, — пожал я плечами. Человек, вышедший из магазина кожгалантереи, задел меня и пробормотал: «Scusi»¹.

— Это надо считать хорошим началом семейной жизни?

— Я не задаю тебе никаких вопросов.

— Можешь спрашивать.

— Нет особой охоты.

— У меня прекрасный домик у залива в Сэг-Харборе, — сказала она. — Родители оставили мне его. И я люблю там жить. Будет там и адвокатская практика, и приличный заработок. А разве твои дела вынуждают тебя жить здесь?

¹ Извините (итал.).

— Возможно.

— Если бы я заявила, что после свадьбы мы будем жить только у меня, ты бы согласился?

— Ты этого требуешь?

— Да, — сказала она тем безапелляционным тоном, которым обычно разговаривала в Вашингтоне. Очевидно, она не собиралась быть послушной женой.

Я промолчал, и мы пошли дальше.

— Ты ничего не ответишь мне? — спросила она, когда мы прошли несколько шагов.

— Не сейчас.

— А когда же?

— Может, сегодня вечером. А может, через неделю, через месяц...

Она принуждала меня к возвращению в Америку, и потому я обозлился на нее. Картины Анжело Квина расстроили мне сердце. С того дня, как я впервые увидел на его полотнах суровые и меланхоличные уголки моей страны, я понял, что уже и прежде подсознательно боролся с той мыслью, что в какой-то день вернусь обратно на родину. Некоторые люди, как я обнаружил, становились отщепенцами, находя в этом удовлетворение. Но я не принадлежал к их числу. Черт побери, подумал я, ведь я же никогда не усвою другого языка, никогда не буду думать на нем. Нет для меня другого языка, кроме родного.

Возможно, то была случайность, что я попал на выставку картин, которые произвели на меня такое сильное впечатление, но и без этого, а также независимо от желания Эвелин я теперь окончательно осознал, что должен в конце концов вернуться на родину. Фабиан, конечно, не одобрит меня. Я заранее представлял себе его возражения: «Боже мой, да вы же быстро получите пулю в лоб!» Однако я не собирался жить по указке Фабиана.

— Я вовсе не отказываюсь вернуться в Америку, — после долгой паузы сказал я. — И даже поселиться в твоём доме в Сэг-Харборе, если тебе так хочется. Но условия должны быть равными. Если по некоторым причинам я не хочу объяснить, почему пока предпочитаю находиться за границей, и никогда, может, этого не объясню, согласишься ты выйти за меня замуж?

— Не люблю на веру принимать людей, — ответила она. — Даже и тебя. И вообще не отличаюсь большой доверчивостью.

— Повторяю свой вопрос.

— Сейчас на него не отвечу, — вызывающе рассмеялась она.

— А когда?

— Может, сегодня вечером. А может, через неделю, через месяц...

Дальше мы шли молча. При переходе улицы нас едва не задавил «мерседес», который пытался проскочить на красный свет. И вдруг я почувствовал, что сыт Римом по горло.

— Кстати, — спросила Эвелин, — кто такая Пэт?

— Откуда тебе известно про Пэт?

— Я знаю, что у тебя есть знакомая девушка по имени Пэт.

— А почему ты думаешь, что Пэт — это девушка? Это мужское имя. — Застигнутый врасплох, я пытался выиграть время, чтобы выкрутиться. Я никогда не упоминал Пэт в разговорах с Эвелин.

— В твоих устах оно так не звучало, — не отставала Эвелин.

— А когда я называл его?

— Дважды. Сегодня ночью, во сне. Ты обращался явно не к мужчине.

— А-аа, — протянул я.

— Вот именно. Так кто она?

— Одна девушка, с которой я знаком. Был знаком, — поправился я.

— Похоже, вы были знакомы очень близко.

— В самом деле?

— Еще как.

— Ну и что?

— Ты был влюблен в нее?

— Пожалуй, да. Какое-то время.

— Когда вы виделись в последний раз?

— Три года назад.

— Тем не менее ты по-прежнему зовешь ее во сне.

— Извини, — просто сказал я.

— Ты ее до сих пор любишь?

Я задумался. Потом ответил:

— Не знаю.

— Может, тебе надо встретиться с ней и разобраться в своих чувствах?

— Да, — сказал я.

Глава двадцать третья

На обратном пути в Порто-Эрколе мы почти все время молчали, занятые своими мыслями. Эвелин, откинувшись в угол машины, сидела с серьезным, сосредоточенным лицом, руки ее неподвижно лежали на коленях.

Пэт, в удаленном от нас на тысячи миль, занесенном снегом Вермонте, незримо пролегла между нами темной тенью, омрачавшей ясное, по-итальянски солнечное утро. Я сказал Эвелин, что должен повидаться с Пэт.

— Чем быстрее, тем лучше, — ответила Эвелин.

Я решил, что позвоню Фабиану и скажу, что лечу в Нью-Йорк.

По приезде мне сказали, что со вчерашнего вечера нас разыскивает Квадрочелли, я попросил соединить меня с ним.

Первое, о чем он с ходу спросил, наслаждался ли я Римом.

— Более или менее, — протянул я.

— О, вы быстро становитесь пресыщенным, — рассмеялся он, как обычно, веселый и оживленный, ничем не походивший на владельца предприятия, пострадавшего от забастовки и саботажа. — Прекрасное утро, — продолжал он. — Хорошо бы покататься по морю. Сегодня оно тихое и нежное. Съездим на остров Джаннутри. Ну как?

Я спросил стоявшую рядом со мной Эвелин и, получив ее согласие, крикнул в трубку:

— Охотно поедем.

— Вот и прекрасно. Жена приготовит нам еду с собой. Она-то не поедет с нами. Презирует яхты — ей подавай корабли. И, к сожалению, дочки подражают ей. Потому мне всегда приходится искать попутчиков. Вы знаете, где яхт-клуб?

— Да, знаю.

— Сможете быть там через час?

— Как вам угодно.

— Значит, договорились. Захватите с собой свитеры.

На море прохладно.

— Кста́ти, ущерб на вашем предприятии большой?

— Для Италии обычный, — опять рассмеялся он.

Прогулка по морю к видневшемуся вддали острову

привлекала меня. Не так сама поездка, как то, что мы с Эвелин не будем сидеть с глазу на глаз. Я решил пригласить Квадрочелли с женой пообедать с нами, чтобы уж заполнить весь день.

Эвелин пошла переодеться, а я заказал Нью-Йорк. В ожидании вызова просматривал утреннюю римскую газету «Дейли Америкен» и в разделе новостей прочитал, что Дэвид Лоример переводится в Вашингтон и в его честь устраивается прощальный банкет. Газету я тут же отбросил в сторону, чтобы Эвелин не увидела ее.

— Боже мой, приятель, да вы что? — послышался в трубке голос Фабиана в ответ на мое приветствие. — Да вы знаете, который сейчас час?

— Около двенадцати дня.

— Это в Италии, а здесь шесть утра, — жалобно произнес Фабиан. — Какой воспитанный человек станет будить в такую рань своего друга?

— Простите, но мне хотелось поскорей сообщить вам хорошие новости.

— Какие такие новости? — подозрительно спросил Фабиан.

— Я возвращаюсь в Штаты.

— Что же в этом хорошего?

— Расскажу при встрече. Сугубо личное дело. Скажите, а где мне оставить нашу машину?

— Что за спешка? Почему не подождать моего приезда, чтобы мы спокойно все обсудили?

— Не могу ждать. Все уже взвешено и решено.

— Не может ждать, — вздохнул Фабиан на другом конце провода. — Ладно, Бог с вами. Сможете заехать в Париж? Тогда попросите консьержа отеля на площади Атене, чтобы он сделал мне одолжение и поставил машину к себе в гараж. У меня будут дела в Париже, и я загляну к ним.

Он мог бы выбрать место поближе и поудобней для меня. Такой уж человек был Фабиан, дела у него были повсюду: в Риме, Милане, Ницце, Брюсселе, Женеве, Хельсинки. Но он нарочно выбрал неудобный, не по пути город, чтоб наказать меня. А я был не в настроении спорить с ним.

— Ладно, — согласился я. — В Париже так в Париже.

— Вы разбили мне весь день, понимаете это?

— Впереди у вас еще много светлых дней, — отшутился я.

Приехав в порт и поставив на стоянке машину, я огляделся по сторонам и заметил Квадрочелли. Он стоял на палубе своей небольшой яхты, свертывая кольцом веревку, которой была пришвартована лодка. Большинство других лодок еще стояли на причале, укрытые на зиму брезентом; на пристани не было ни души.

«Плыви, плыви в безбрежном море», — напевала Эвелин, когда мы шагали к пристани. До этого по дороге она потребовала остановиться у аптеки и зашла туда купить драмамин, средство против морской болезни. Как видно, она с опаской относилась к морским прогулкам.

— А ты не утопишь меня, как тот, в «Американской трагедии», забыла, как его зовут, который отправил на дно Шелли Винтерс, когда узнал, что она беременна?

— Его звали Монтгомери Клифт, — сказал я. — Но я ничем не похожу на него, как, впрочем, и ты на Шелли Винтерс. Кстати, это вовсе не «Американская трагедия», а фильм под названием «Место под солнцем».

— Я пошутила, — мило улыбнулась Эвелин.

Во всяком случае, это был хороший признак того, что она не собирается и дальше дуться на меня. Предстояла долгая поездка во Францию, и было бы тягостно, если бы она забилась в угол машины и отчужденно молчала, как это было сегодня утром по дороге из Рима. После телефонного разговора с Фабианом я сообщил ей, что отправляюсь на машине в Париж, и спросил, поедет ли она со мной. Эвелин осведомилась, хочу ли я этого, и, получив утвердительный ответ, тут же согласилась.

Завидев нас, когда мы подходили к пристани, Квадрочелли, проворно выпрыгнул из лодки и поторопился навстречу нам. У него был вид бравого моряка в широких брюках и матросском свитере.

— Проходите на борт, проходите, — пригласил Квадрочелли, склонившись, чтобы поцеловать руку Эвелин, и затем обменялся со мной сердечным рукопожатием.

— Все готово. В полном порядке. На море, взгляните, тишь и гладь, как на озере. А какое оно лазурное, как на хорошей рекламе. Корзинка с едой на борту. Холодные цыплята, крутые яйца, сыр, фрукты, вино. Словом, рассчитано на хороший аппетит.

Мы были шагах в двадцати от яхты, когда она взорвалась. Мы бросились наземь, и взлетевшие в воздух обломки закружились над нами. Потом все стихло. Квадрочелли медленно приподнялся и поглядел на яхту.

Корму оторвало, и лодка уплывала от пристани, расколовшись надвое.

— Ты не ранена? — спросил я Эвелин.

— Нет, ничего, — слабым голосом ответила она. — А ты как?

— В порядке, — сказал я, поднимаясь и протягивая ей руку.

Квадрочелли, не отрываясь, глядел на лодку.

— Фашисты, — шептал он. — Проклятые фашисты.

Народ уже сбегался на пристань и окружил нас плотным кольцом. Все шумно галдели, засыпая нас вопросами. Квадрочелли не обращал на них никакого внимания.

— Отвезите меня домой, пожалуйста, — попросил он меня. — Я сейчас в таком состоянии, что не могу сесть за руль.

В машине он начал дрожать мелкой дрожью. Неистойвой, неумемной. Загорелое лицо его посерело.

— Они могли убить и вас, — стуча зубами, проговорил он. — Если бы вы пришли всего на две минуты раньше. Простите меня. Простите всех нас. Dolce Italia. Рай для туристов, — горько усмехнулся он.

Потом мы вернулись к себе в отель. И больше не говорили о том, что произошло. И так все было понятно.

— Я бы сказала, что пора уезжать отсюда. Ты не находишь? — спросила Эвелин.

— Вполне согласен с тобой, — ответил я.

Уложив свои вещи и расплатившись, мы уже через двадцать минут вышли из отеля и покатались на север.

Нигде не останавливаясь, кроме автозаправки, около полуночи мы пересекли итальянскую границу и приехали в Монте-Карло. Эвелин настояла на том, что сходит посмотреть казино и сыграет в рулетку. У меня же не было настроения ни играть, ни даже смотреть на игру, и я зашел посидеть в баре. Примерно через час Эвелин появилась довольная и улыбающаяся. Она выиграла пятьсот франков и по этому случаю расплатилась за меня в баре. Кто бы, в конце концов, ни женился на ней, он бы взял в жены женщину с крепкими нервами.

Во взятой напрокат машине с шофером Эвелин поехала проводить меня в парижский аэропорт Орли. (Наш «ягуар» был пристроен в гараже, где стоял до прибытия Фабиана.) Сама она еще на несколько дней осталась в

Париже, так как, по ее словам, было бы просто позорно мимоходом проскочить такой город. Во время нашей поездки через Францию Эвелин была весела и беспечна. Мы ехали не торопясь, часто останавливаясь для осмотра достопримечательностей или чтобы хорошо и вкусно поесть, как это нам удалось в окрестностях Лиона и в Аваллоне. Эвелин сфотографировала меня перед монастырем в Бонэ, где мы осмотрели винные подвалы, и во внутреннем дворе замка Фонтенбло. Последний день путешествия провели в Барбизоне под Парижем, где остановились в чудесной старинной гостинице. В ней мы великолепно пообедали. За обедом я во всем признался Эвелин. Откуда у меня деньги, как я выследил Фабиана и какую мы с ним заключили сделку. Рассказал все, ничего не утаив. Она слушала спокойно, не перебивая. Когда я остановился, окончив свой рассказ, она засмеялась.

— Теперь я понимаю, — все еще смеясь, сказала Эвелин, — почему ты хочешь жениться на мне, как-никак я адвокат. — Она наклонилась и поцеловала меня. — Не терзайся, милый. Я и сама не прочь взять при удобном случае то, что плохо лежит.

В эту ночь мы спали, крепко обнявшись. Ничего больше не говоря друг другу, мы оба поняли, что завершается одна глава нашей жизни и начинается другая.

Мы подъехали к аэропорту Орли, но Эвелин не захотела выйти из машины.

— Прости, дорогой, но я не люблю прощаний в аэропортах и на вокзалах, — сказала она.

Я нежно поцеловал ее, она матерински потрепала меня по щеке.

У меня в глазах стояли слезы; ее глаза были сухи, но блестели ярче обычного. Загорелая, посвежевшая, она выглядела красавицей.

— Позвоню тебе, — сказал я, вылезая из машины.

— Обязательно позвони. У тебя же есть мой телефон в Сэг-Харборе.

Наклонившись в машину, я еще раз поцеловал ее.

— Ну, пока, — ласково попрощалась она.

Я последовал за носильщиком, который понес мой багаж на посадку. На этот раз я лично убедился в том, что багажные квитанции точно соответствуют ярлыкам на моих чемоданах.

Уже в самолете я ощутил недомогание, а к тому времени, когда самолет приземлился в бостонском аэропорту «Логан», из моего носа лило и я без конца чихал и сморкался. Должно быть, таможенник сжалился, увидев мое состояние, и не стал досматривать мой багаж. Так что платить пошлину за пять костюмов, купленных в Риме, мне не пришлось. Я воспринял это как добрый знак в компенсацию простуде. Таксист отвез меня в отель «Риц-Карлтон», где я заказал номер на солнечной стороне. Что-то, а наставления Фабиана — непременно останавливаться в лучшем отеле города — я усвоил твердо. Позвонил портье, сказал, что мне нужна Библия, и вскоре мальчишка посыльный принес мне дешевое издание в мягкой обложке. Следующие три дня я не вылезал из постели, пил чай с горячим ромом, поглощал аспирин, потел и дрожал, читал выдержки из книги Иова и посматривал телевизор. По телевизору неизменно показывали такое, что я начал понемногу сожалеть, что вернулся в Америку.

На четвертый день я почувствовал себя здоровым. Выписавшись из отеля и расплатившись наличными, я взял напрокат машину. День для езды выдался на редкость неподходящий: промозглый, ветреный, небо заволокло тяжелыми тучами. Но я уже торопился. Чем бы все ни кончилось, я хотел ускорить развязку.

Я гнал машину. Отвлекаться было не на что: пейзаж по обеим сторонам дороги выглядел уныло. Бесконечной чередой тянулись мокрые поля, голые деревья и фермерские дома и постройки. Когда я остановился на заправочной станции, низко над головой пролетел самолет, невидимый из-за нависших туч. Ревел он так громко, словно начинался воздушный налет. Сколько раз я бывало, пересекал эту часть страны, сидя за штурвалом в кабине самолета... Я невольно потрогал в кармане серебряный доллар.

В Берлингтон добрался, когда мои часы показывали почти три, и, не мешкая, отправился в школу. Остановив машину напротив школьного здания, я выключил мотор и стал ждать. Вскоре прозвенел звонок, и нестройная орда детишек высыпала наружу. Наконец вышла и Пэт. На ней было меховое пальто, а голову она укутала теплым шарфом. Пэт была близорукой, и я знал, что она не разглядит ни машину, ни тем более меня за рулем. Я уже собрался было открыть дверцу и вылезти,

как заметил, что ее остановил один из школьников, высокий плотный парень в клетчатой куртке. Они начали разговаривать прямо на улице, стоя на ветру, который безжалостно трепал полы пальто и концы шарфа на голове Пэт. Боковое стекло стало запотевать, и я опустил его, чтобы лучше видеть.

Я досыта налюбовался на Пэт, поскольку ни она, ни школьник явно не торопились. Поразмыслив над увиденным, я пришел к следующему заключению: передо мной была женщина, довольно милая и приятная, которая несколько лет спустя приобретет типичный облик строгой учительницы и с которой мне не захочется делиться радостями или печалью. В моем сердце оставалась лишь полуистлевшая память о давних светлых днях, смешанная с чувством горечи и утраты.

Я решительно повернул ключ в замке зажигания и запустил двигатель. Увлеченная разговором с мальчиком, Пэт даже не заметила машину, когда я медленно проехал мимо. Взглянув напоследок в зеркальце, я увидел, что две фигурки по-прежнему стоят рядышком, потерявшись среди безлюдной серой улицы.

Подъехав к аптеке, я позвонил в Сэг-Харбор.

— Любовь, любовь! — брезгливо морщась, восклицал Фабиан, когда спустя несколько дней я сидел в гостинной роскошных апартаментов, которые он занимал в нью-йоркском отеле Сент-Риджис. Как обычно, а это было везде, где он жил хотя бы один день, повсюду были разбросаны газеты на нескольких языках. Мы были одни, так как Лили вернулась в Англию. А с Эвелин я сговорился по телефону, что завтра приеду к ней в Сэг-Харбор.

— Я-то думал, что вы, во всяком случае, уже прошли через это, — горячился он. — А вы, оказывается, все еще совсем «зеленый». Пока у вас все мило и чудесно, но попомните мои слова...

Я молчал, не ввязываясь в спор. Пусть выговорится.

— Подумать только — жить в Сэг-Харборе, — возмущался Фабиан, шагая взад и вперед по комнате. Сквозь толстые стены и тяжелые занавеси сюда еле доносился неумолчный рокот уличного движения по Пятой авеню. — Всего в двух часах езды от Нью-Йорка. Так и знайте, что получите пулю в лоб за присвоенные деньги. Когда-нибудь зимой вы бывали в Сэг-Харборе? Что будете там делать, когда схлынет ваша любовь?

— Чем-нибудь займусь. Может, стану читать книги, а вам предоставлю работать за двоих.

Фабиан сердито фыркнул, и я невольно улыбнулся.

— Как бы то ни было, — продолжал я, — мне безопаснее жить в Америке в окружении миллионов других американцев, чем в Европе. Вы же видели, что среди европейцев я, как меченый атом, так и бросаюсь в глаза.

— Но я надеялся, что сумею научить вас, как приспособиться к иной среде.

— И за сто лет не выйдет, — горячо возразил я. — Сами прекрасно понимаете.

— Не такой уж вы безнадежный. За то короткое время, что мы были вместе, уже видны некоторые изменения. Кстати, я вижу, что вы приделались у моего портного. — На мне и впрямь был один из костюмов, купленных в Риме.

— Да, — подтвердил я. — Вам нравится?

— Вы весьма похвально изменились в лучшую сторону с тех пор, как мы познакомились. Вы, кажется, и подстриглись в Риме, не так ли?

— От вас, наверное, ничего не укроется, — покачал головой я. — Эх, Майлс, Майлс...

— Мне даже страшно представить себе, на кого вы станете похожи, живя в Сэг-Харборе.

— Послушать вас, так можно подумать, что я буду жить в каком-то диком краю. А ведь Сэг-Харбор — это часть Лонг-Айленда, одного из роскошных мест в США.

— Насколько я могу судить, — сказал Фабиан, все еще расхаживая по комнате, — в США нет и в помине роскошных мест, как вы изволили выразиться.

— Позвольте, как это нет? — возразил я. — Помните, вы сами родом из Лоуэлла, штат Массачусетс.

— Ну да, а вы из Скрантона, штат Пенсильвания, — ответил Фабиан. — И нам обоим нужно как можно быстрее позабыть об этом как о досадном недоразумении. Вернее, двух недоразумениях. Ну что ж, женитьба так женитьба. Допустим, с этим я смирюсь. Но вы, похоже, мечтаете о сыне. С этим я тоже готов смириться, хотя это и против моих принципов. Кстати, вы присматривались к нынешним детишкам в Америке?

— Да. По-моему, они вполне сносные.

— Нет, эта женщина положительно околдовала вас. Хм, адвокат в юбке, — фыркнул он. — Боже, если бы

я знал, то ни за что не оставил бы вас одного. Послушайте, а она до встречи с вами бывала в Европе?

— Да, приезжала.

— Так почему бы вам не сделать ей такое предложение. Вы поженитесь. Ладно. Но поживете год в Европе. Американки любят жить в Старом Свете. Там мужчины пристают к ним до семидесяти лет, особенно во Франции и Италии. Пусть она посоветуется обо всем с Лили, а потом решает. Хотите, я сам поговорю с ней?

— Вы можете говорить с ней о чем угодно, но только не об этом. Во всяком случае, это не только ее желание. Я тоже не желаю жить в Европе.

— Значит, хотите прозябать в Сэг-Харборе, — мелодраматично простонал Фабиан. — Но почему?

— Множество всяких причин. Большинство из них даже не связано с ней. — Мне не хотелось рассказывать о картинах Анжело Квина и о том, каким они послужили толчком для меня.

— По крайней мере, вы познакомите меня с ней? — обидчиво спросил Фабиан.

— Если вы ни в чем не станете убеждать ее.

— У вас же превосходный компаньон, приятель. Ладно, умываю руки. Когда вы представите меня?

— Поеду к ней завтра утром.

— Надеюсь, не очень рано. У меня в десять часов деловая встреча. Одно деликатное дельце. Потом за обедом все объясню. Останетесь довольны.

— Не сомневаюсь, — кивнул я.

Позднее, к вечеру, когда в небольшом французском ресторане на Ист-Сайде мы ели жареного утенка с оливками и пили настоящее бургундское вино, Фабиан, перегнувшись через стол, поведал о делах, которые он за это время провернул. Оказалось, что и я, и он стали значительно богаче с того дня, когда в женевском аэропорту я провожал взглядом самолет, уносивший моего компаньона и гроб с телом Слоуна.

Было около шести часов вечера, когда мы подъезжали к дому Эвелин. Над тихой сельской местностью уже сгустились приморские сумерки. По дороге Фабиан остановился в Саутхэмптоне и снял номер в небольшом отеле. Мне пришлось терпеливо сидеть и ждать, пока мой неуемный компаньон примет ванну, переоденется и

дважды переговорит по телефону с Европой. Между прочим, я сказал ему, что Эвелин приготовила ему гостевую комнату, на что Фабиан ответил:

— Спасибо, дружок, но это не для меня. Мне не слишком улыбается всю ночь не спать из-за звуков любовных утех за соседней стенкой. Особенно, если я знаком с участниками игры.

Я вспомнил, что говорила мне за завтраком Бренда Моррисси в вашингтонской квартирке Эвелин, и не стал убеждать Фабиана. Едва мы остановились у дома, как зажегся фонарь над входной дверью. Наше появление не было, таким образом, неожиданностью для хозяйки.

Мягкий свет фонаря приветливо озарил широкую лужайку перед домом, который стоял на отвесном берегу над морем. По краю лужайки виднелись заросли молодых карликовых дубков и согнутая ветрами чахлая сосна, стоявшая на самой границе участка. Других домов поблизости не было.

Сам дом был маленький, серый, потрепанный непогодами, с крутой крышей и слуховыми окнами. И я невольно спросил себя — ужели здесь мне суждено жить и умереть?

Фабиан настоял, что возьмет с собой две бутылки шампанского, хотя я и уверял его, что в этом нет нужды, так как Эвелин любит выпить и у нее все найдется. Он не помог мне нести чемоданы, а взял лишь свои две бутылки, считая это единственной ношей, которая приличествует человеку его положения.

Потом он стоял и рассматривал дом, словно готовился к схватке с врагом.

— Маловат домишко, вы не находите? — небрежно спросил он.

— Не нахожу, — в тон ему ответил я. — Ведь я не разделяю ваших представлений о величии.

— А жаль, — подчеркнул он, нервно подкрутив усы. Почему это он нервничает?

— Что ж, пошли, — пригласил я.

— Может, сперва лучше войти вам одному, — сказал Фабиан, не трогаясь с места. — Я подожду, пока вы встретитесь. Вам, наверно, нужно сказать что-нибудь друг другу наедине.

— Ваша предупредительность делает вам честь, но в данном случае она излишняя. Я уже обо всем переговорил с ней по телефону.

— Вы ясно сознаете, на что идете?

— Совершенно ясно, — ответил я и, твердо взяв его под руку, повел к дому по посыпанной гравием дорожке.

Не могу сказать, что этот вечер в доме Эвелин прошел вполне удачно. Дом был очаровательно и со вкусом обставлен, хотя и недорогой мебелью; однако маловат, как заметил Фабиан. Обе купленные мной в Риме картины висели на стене, господствуя надо всем в комнате. Эвелин была одета буднично, в черных брюках и свитере, как бы подчеркивая, что не устраивает особого приема для первого из моих друзей, с которым знакомится. Она поблагодарила за шампанское, но сказала, что не в настроении пить его, и пошла на кухню, чтобы приготовить нам коктейли.

— Пусть шампанское останется до свадьбы, — решила она.

— Ну, тогда его будет неизмеримо больше, дорогая Эвелин, — сказал Фабиан.

— Даже если и так, — решительно возразила Эвелин, уходя на кухню.

Фабиан задумчиво поглядел на меня, как если бы хотел сказать что-то важное, потом вздохнул и молча опустился в большое кожаное кресло. Когда Эвелин вернулась с кувшином и стаканами, Фабиан беспокойно покручивал свои усы, ему было явно не по себе, но он поспешил притворно обрадоваться выпивке.

Эвелин помогла мне отнести чемоданы в спальню. Она была не из тех американок, которые считают, что конституция даровала им право не таскать ничего тяжелее сумочки с косметичкой и чековой книжкой. И была гораздо сильнее, чем выглядела. Спальня оказалась просторной; вместе с примыкающей к ней ванной она тянулась вдоль всего дома. В спальне стояла огромная двухспальная кровать, туалетный столик, книжные шкафы и два плетеных кресла-качалки в алькове. Очень уютная обстановка. Да и лампы, подметил я, стояли так, чтобы было удобнее читать.

— Ну как, будешь ты счастлив здесь? — тихонько спросила меня Эвелин. В ее вопросе слышалась некоторая не свойственная ей тревога.

— О да, — ответил я и, обняв, поцеловал ее.

— А твоему другу, кажется, совсем не нравится у меня? — прошептала она.

— Неважно, — как можно уверенней возразил я. — Как бы там ни было, не он, а я женюсь на тебе.

— Будем надеяться, — с сомнением сказала Эвелин. — Он честолюбив. В нем есть многое от вашингтонских политиков. Сжимает губы, когда злится. Он служил в армии?

— Да.

— Должно быть, полковник. Напоминает мне полковника, который очень огорчен тем, что война закончилась. Держу пари, что он полковник. Не знаешь?

— Нет, никогда не спрашивал.

— Но мне показалось, что вы очень близки с ним.

— Да, так и есть.

— И ты никогда не пытался выяснить, какое у него звание?

— Нет.

— Странная у вас дружба, — заключила она, высвобождаясь из моих объятий.

Фабиан стоял у камина и рассматривал висевшую над ним картину Анжело Квина, изображавшую главную улицу маленького американского городка.

Когда мы вернулись в комнату, Фабиан ни словом не обмолвился о картине, которую с таким вниманием разглядывал.

— Что касается остального, — с преувеличенной сердечностью обратился он к нам, — то позвольте, дорогие детки, пригласить вас на подходящий случаю обед с моллюсками, крабами и прочими дарами моря. Тут недалеко, в Саутхэмптоне, есть ресторанчик...

— Нам незачем куда-то ездить, — перебила Эвелин. — У нас в Сэг-Харборе ресторан, где подают таких омаров, которых вы никогда не едали.

Фабиан поджал губы, но вежливо поклонился:

— Как вам будет угодно, дорогая Эвелин.

Она вышла за пальто, и мы остались вдвоем.

— Мне она и впрямь понравилась, но кто знает, что у нее на уме. Бедный Дуглас!

— Вот уж вовсе некого и нечего жалеть, — отрезал я.

Фабиан пожал плечами, погладил усы и повернулся к картине над камином.

— Откуда она у нее? — спросил он.

— Я купил в Риме и подарил ей.

— Вы? — несколько удивился он. — Любопытно. А где нашли ее?

— У Бонелли, на виа...

— А, знаю. Знаю его галерею — перебил он меня. — Старик с прыгающей вставной челюстью. Если случится быть в Риме, загляну к нему.

Эвелин вошла с пальто на руке, и Фабиан быстро подскочил к ней, чтобы помочь надеть. Мне это показалось добрым знаком.

Омары, как и говорила Эвелин, оказались отменно хороши. Фабиан заказал одну, затем вторую бутылку вина, и напряженность наших отношений ослабела. Он стал хвалить мое умение ходить на лыжах, советовал Эвелин учиться у меня, мимоходом рассказал о нашей с ним жизни в Париже, Гштааде, припомнил пару анекдотов о Квадрочелли, а мы описали ему случай со взрывом яхты. Словом, беседа за столом была живой и непосредственной, в ней, конечно, не упоминались ни Лили, ни Юнис. Заметно было, что Фабиан и так и сяк старался завоевать расположение Эвелин.

— Скажите, Майлс, — обратилась к нему Эвелин, когда мы уже пили кофе, — вы на войне были в чине полковника? Спрашивала об этом у Дугласа, но он не знает.

— Боже упаси, — рассмеялся Фабиан. — Всего лишь младшим лейтенантом.

— А я была уверена, что вы по меньшей мере полковник.

— Почему?

— У вас такой начальственный вид.

— Его я научился напускать на себя, чтобы скрывать недостаток самоуверенности.

Когда мы вышли из ресторана, над заливом, застилая его, клубился туман. Садясь в подъехавшее такси, Фабиан сказал:

— Мы прекрасно провели время. Надеюсь, и дальше у нас будет так же. Пожелайте мне доброй ночи и поцелуйте на прощание, дорогая Эвелин.

— О, конечно, — воскликнула она и поцеловала его в щеку.

Потом мы с Эвелин стояли и смотрели вслед такси, его красные огоньки расплывались и таяли в тумане.

Долго мы не виделись с Фабианом. Не был он и на нашей свадьбе, так как находился тогда в Лондоне. Но со знакомой стюардессой рейсового самолета прислал нам в подарок великолепный серебряный кофейник эпохи короля Георга. А когда у нас родился сын, мы получили от него из Цюриха, где он в это время оказался, пять старинных золотых наполеондоров.

Глава двадцать четвертая

Меня разбудил стук молотка. Часы на тумбочке у постели показывали без девяти минут семь. Я потянулся и зевнул. В новом крыле нашего дома работал плотник Джонсон, любивший при каждом удобном случае повторять, что он честно работает и ему не зря платят деньги.

Эвелин пошевелилась рядом со мной, но не проснулась. Она чуть слышно дышала, одеяло наполовину сползло, и мне хотелось обнять и прижать ее к себе, но по утрам она бывала раздражительна и капризна, а кроме того, вчера, приехав из конторы, допоздна разбиралась с делами клиентов.

Я поднялся с постели и раздвинул занавеси, чтобы взглянуть, каков денек. Было прекрасное летнее утро, и солнце уже пригревало. Надев плавки, махровый купальный халат и захватив полотенце, я босиком вышел из комнаты, поздравляя себя в душе с тем, что у меня хватило здравого смысла, чтобы жениться на женщине, у которой дом на берегу моря.

Спустившись вниз, я заглянул в комнату для гостей, ставшую теперь детской. Молодая девушка, нянчившая ребенка, что-то готовила на кухне. Сын лежал в детской кроватке с боковыми сетками и чмокал от удовольствия после утренней бутылочки молока. Я наклонился над

ним. Он был розовый, очень серьезный и совершенно беззащитный. Не был похож ни на меня, ни на Эвелин, а выглядел, как все маленькие дети. Стоя у кровати сына, я не пытался разобраться в своих чувствах, но, уходя от него, широко улыбался.

Затем я отодвинул засов на входной двери, который сразу же поставил, когда переехал в этот дом. Эвелин уверяла, что в этом нет необходимости, что ни ее родители, ни она сама не имели никогда никаких беспокоев от непрошенных гостей. Но я каждую ночь перед тем, как лечь спать, закрывал теперь входную дверь на засов.

Лужайка перед домом была мокрой от росы, приятно холодившей мои босые ноги. Я поздоровался с плотником, который вставлял оконную раму. Тот церемонно ответил мне. Он был человек чопорный и придерживался строгих правил поведения. Остальные рабочие приходили на работу к восьми часам утра, а Джонсон предпочитал, как он объяснил мне, работать один с раннего утра, когда никто не мешает. Эвелин, которая знала его еще с детских лет, уверяла меня, что он по своему пуританскому складу не выносит лежебок и рад случаю рано будить их.

Пристройка к дому была почти закончена. Мы собирались поместить там детскую и библиотеку, где Эвелин могла бы заниматься. До сих пор ей приходилось работать в нашей столовой. В городе у нее была адвокатская контора, но там ее часто отрывали телефонные звонки. Секретарша и писмоводитель помогали в работе, но все же она не могла управиться с девяти до шести часов дня. Просто поразительно, сколько судебных тяжб возникало в этом, казалось бы, спокойном уголке.

Обогнув дом, я спустился к берегу моря. Залив раскинулся передо мной, спокойный, поблескивающий в лучах утреннего солнца. Сбросив с себя халат, я глубоко вдохнул и прыгнул в воду. Стояли первые дни июля, и вода по утрам была еще очень холодна. Проплыв метров тридцать, я повернул обратно, ощущая, как горит и трепещет каждая частица моего тела.

На берегу я снял плавки и вытерся докрасна. В этот час пляж был безлюден, так что моя нагота никого не могла шокировать.

Потом дома, готовя себе на кухне завтрак, я включил радио, чтобы послушать утренние новости. В

Вашингтоне предполагали, что президента Никсона заставят уйти в отставку. Сидя за кухонным столом, я пил апельсиновый сок, не торопясь ел яичницу с грудинкой и гренки с кофе и раздумывал о том, какой чудесный вкус у завтрака, который сам себе готовишь солнечным утром.

За год с небольшим, что мы были женаты, я ощутил в себе склонность к домашним делам. И часто, особенно когда Эвелин приходила домой усталая с работы, готовил ужин для нас обоих. Но я заставил ее поклясться, что ни одна душа на свете, и прежде всего Фабиан, никогда не узнает об этом.

В последние три недели Фабиан обретался недалеко от нас, в Истхэмптоне, помогая мне создавать там наше предприятие.

Дело в том, что в начале года Фабиан побывал в Риме, разыскал Анжело Квина и подписал с ним договор на все его картины, которые тот написал или напишет. Такой же договор он заключил и с другим художником, чьи литографии купил в Цюрихе. Затем Фабиан неожиданно приехал к нам в Сэг-Харбор с предложением, которое показалось мне просто нелепым, но, к моему удивлению, было поддержано Эвелин. Заключалось оно в том, чтобы открыть выставку картин в окрестностях Истхэмптона, поручив мне руководство.

— Вы все равно сейчас ничего не делаете, — сказал Фабиан, — так почему бы вам не заняться этим? А я всегда помогу, если понадобится. Многому вам придется подучиться, но вы доказали свой художественный вкус, открыв художника Квина.

— Я купил для подарка две его картины, но вовсе не собираюсь стать знатоком живописи.

— Скажите, Дуглас, втягивал ли я вас в убыточные дела? — настаивал Фабиан.

— Нет, этого еще не бывало, — признал я.

Среди всех его успешных спекуляций золотом, сахаром, вином, канадским цинком и свинцом было приобретение земельного участка в Гштааде (к Рождеству там закончат постройку коттеджей, и все квартиры уже заранее сданы внаем), а также финансирование съемок порнофильма «Спящий принц», который семь месяцев делал полные сборы в Нью-Йорке, Чикаго, Далласе и Лос-Анджелесе, сопровождаемый проклятиями в церковных изданиях. Наши имена, к счастью, никак не были

связаны с этой кинокартиной, за исключением чеков, которые нам ежемесячно выписывали. Они поступали прямо в Цюрих, и мои банковские счета (открытый и закрытый) становились с каждым днем все более и более внушительными.

— Нет, — повторил я, — жаловаться на вас не приходится.

— Ведь этот район по-своему богат, — продолжал Фабиан. — В нем деньги, картошка и художники. Вы сможете устраивать тут пять выставок в год из одних произведений местных художников и не исчерпаете всех возможностей. Люди здесь интересуются искусством, и у них есть средства, чтобы покупать. Обстановка такая же, как, скажем, на модном курорте. Тут можно продать картину за двойную цену против Нью-Йорка, где она будет висеть и пылиться. Это, конечно, не значит, что мы ограничимся лишь одним этим местом. Начнем пока скромно, чтоб увидеть, как пойдет. А потом разведем возможности, скажем, Палм-Бич, Хьюстона, Беверли-Хиллз и даже Нью-Йорка... Вы не против того, чтобы провести месяц-другой в Палм-Бич? — спросил Фабиан у Эвелин.

— Нет, несколько, — ответила она.

— Более того, Дуглас, значительную часть ваших доходов будут отнимать налоговые ищейки. Вы же мечтали жить в Штатах, так извольте платить налоги. Зато станете спокойно спать по ночам — все будут знать законные источники ваших заработков. И будете иметь официальный повод для путешествий по Европе. Вы же теперь признанный первооткрыватель талантов. А будучи в Европе, сможете наведываться в банки и снимать со своих счетов кое-какие деньжата. Но, главное, вы сможете наконец сделать кое-что и для меня.

— Наконец, — подчеркнул я.

— Я вовсе не рассчитываю на благодарность, — обиженно поправился Фабиан. — Просто люди должны вести себя по-человечески.

— Слушай внимательно, — погрозила мне Эвелин. — Майлс говорит дельные вещи.

— Спасибо, моя милая, — любезно поклонился Фабиан. Потом вновь обратился ко мне: — Вы не станете возражать против взаимовыгодного проекта, который мне очень дорог?

— Нет, конечно.

— Тогда позвольте развить мою мысль. Вы меня знаете. Вы достаточно походили со мной по музеям и выставочным залам, чтобы убедиться, что я кое-что понимаю в искусстве. И в художниках. И вовсе не в смысле стоимости работ. Я люблю художников. Я бы сам мечтал стать художником. Но, увы, не всякому дано... Но я бы мог больше общаться с ними, помогать им, открывать новые имена...

Возможно, он был даже не полностью искренен и немного преувеличивал. Когда Фабиан так увлеклся, он сам переставал отличать правду от вымысла.

— Анжело Квин, — прекрасный художник, спору нет, — продолжал Фабиан, — но, возможно, в один прекрасный день какой-то юноша принесет мне свои работы и я смогу воскликнуть: «Вот то, чего я ждал всю жизнь! Теперь могу все бросить и заниматься только вами».

— Хорошо, — сказал я. Откровенно говоря, я с самого начала знал, что ему удастся меня убедить. — Я согласен. Как всегда, впрочем. Остаток своих дней я посвящу строительству музея Майлса Фабиана. Где бы вам больше понравилось? Как насчет Сен-Поль де Ванса?

— А что? Почему бы и нет? — серьезно произнес Фабиан.

Словом, не откладывая в долгий ящик, мы арендовали в окрестностях Истхэмптона сарай, покрасили его, почистили, обставили и прибили вывеску: «Картинная галерея у Южной развилки». Я отказался поставить свое имя на вывеске, то ли из скромности, то ли из боязни насмешек.

В девять часов утра Фабиан ожидал меня в нашей галерее, где за прошедшие четыре дня мы уже развесили на стенах тридцать картин Анжело Квина. Приглашительные билеты на открытие выставки были разосланы две недели назад. Массу своих друзей и знакомых, которые проводили лето в Хэмптоне, Фабиан обещал вволю угостить шампанским на открытии. Мы предусмотрительно пригласили двух полисменов, чтобы наблюдали за порядком на стоянке автомашин.

Я допивал вторую чашку кофе, когда зазвонил телефон.

— Дуг, — послышался в трубке мужской голос, — это я, Генри.

— Кто?

— Твой брат Генри. Ты что, не узнаешь?

Более года назад брат был у меня на свадьбе, и с тех пор я не видел его. В двух письмах он сообщал мне, что наш бизнес выглядит довольно многообещающим, что, по-моему, лишь означало его недалекий провал.

— Ну, как ты? — спросил я его.

— Прекрасно, прекрасно, — торопливо произнес он. — Мне надо сегодня встретиться с тобой.

— У меня сегодня ужасно забитый день. Не можешь ли ты...

— Это нельзя откладывать. Послушай, я в Нью-Йорке. Всего два часа езды тебе.

— Пойми, что никак не могу, Хэнк.

— Ладно, тогда я приеду к тебе.

— Но я же действительно по горло занят...

— Но обедать ты же будешь? — обидчиво прокричал он. — Боже мой, за два года не может один час уделить своему брату! Я приеду к двенадцати часам. Где тебя найти?

Я назвал ресторан в Истхэмптоне и объяснил, как проехать к нему. Положив трубку, я с досадой вздохнул и пошел одеваться.

Эвелин только что встала с постели, я поцеловал ее, пожелав доброго утра. Против обыкновения она не была с утра в плохом настроении.

— Ты пахнешь морем, — шепнула она, прижавшись ко мне. Я ласково шлепнул ее, сказав, что сегодня очень занят, но позже позвоню ей.

По дороге в Истхэмптон я решил, что дам брату, если он попросит, самое большее еще десять тысяч. И ни цента больше.

Фабриан ходил взад и вперед по выставке, немного поправляя висевшие на стенах картины, хотя, на мой взгляд, они висели совершенно ровно. Девушка, которую мы наняли на лето, расставляла бокалы на длинном столе в конце сарая. На двух картинах Квина, взятых у меня из гостиной, Фабриан прикрепил таблички с указанием, что они проданы.

— Надо сломать лед, — объяснил он. — Картины никто не любит покупать первым. В каждом деле свои фигли-мигли, мой мальчик.

— Уж и не знаю, что бы я делал без вас.

— Послушайте, я еще кое о чем подумываю, — ска-

зал он знакомым мне тоном, обозначавшим, что он уже что-то придумал.

— О чем же? — спросил я.

— Мы продешевили, — решительно заявил Фабиан.

До этого два дня мы сидели и обсуждали цены на картины. И в конце концов решили за большие картины, написанные маслом, просить по полторы тысячи, а за каждую из тех, что поменьше, — от восьмисот до тысячи долларов.

— Мне кажется, что об этом мы уже достаточно говорили, — заметил я.

— Да, говорили. Но мы слишком скромны. Народ подумает, что мы сами не очень-то уверены в ценности этих картин.

— Что же вы предлагаете?

— Две тысячи за большие и от тысячи двухсот до полутора тысяч за те, что поменьше. Доверьтесь моему чутью, Дуглас, — важно произнес он, — и мы сделаем нашего молодого художника известным. Жаль, что он не смог приехать. Следовало бы его модно подстричь, побрить, приодеть, и он бы выглядел весьма привлекательно. Особенно при продаже картин любительницам живописи.

Я не стал возражать, но заявил, что буду прятаться в туалете, чтобы у меня не спрашивали цены.

— Больше дерзости, мой мальчик, — поучительно сказал Фабиан. — Надо прокладывать успех нашей выставке. Вчера я встретился в одной компании с художественным критиком из «Нью-Йорк Таймс». Он в конце недели приезжает на отдых неподалеку отсюда. Обещал заглянуть к нам сегодня.

Замыслы Фабиана будоражили меня, и я чувствовал себя все более взвинченным. О выставке Анжело Квина в Риме упомянула лишь одна незначительная итальянская газета. Выставку, правда, похвалили, но мимоходом, в двух строчках.

— Надеюсь, вы знаете, что делаете, — сказал я. — Потому что я в этом совершенный профан.

— Публику надо ошеломлять, — воскликнул Фабиан. — Посмотрите вокруг себя. Этот старый сарай теперь прямо-таки засверкал.

Все эти дни я так долго и пристально разглядывал развешанные на стенах картины, что они уже не производили на меня впечатления. Если б только было воз-

можно, я бы спрятался в каком-нибудь укромном уголке на этом прославленном острове и просидел бы на берегу Атлантики, пока не кончилась эта кутерьма с выставкой.

Фабиан прошел в маленькую заднюю комнату, которую мы отделили перегородкой, устроив там контору, и принес оттуда бутылку шампанского. По его указанию в числе прочего был куплен и холодильник как необходимая часть обстановки галереи. «Он окупит себя в первую же неделю», — уверял Фабиан, когда холодильник привезли и поставили в конторе.

Я следил за тем, как привычно и уверенно открыл он шампанское и разлил в бокалы, не обойдя и нанятую нами девушку.

— За нашего художника и за нашу выставку, — провозгласил он, поднимая свой бокал.

Мы выпили. Я попытался представить себе количество шампанского, выпитого мной со времени встречи с Фабианом, и невольно покачал головой.

— Кстати, ведь чуть не забыл, Дуглас, — сказал он, снова наполняя свой бокал. — Еще одно из наших капиталовложений будет здесь сегодня.

— Какое капиталовложение?

— Вчера в нашей теплой компании была выдающаяся гостья, — вспомнив об этом, Фабиан фыркнул от смеха. — Надеюсь, вы помните Присциллу Дин?

— (), только ее не хватало! — воскликнул я.

Поток осуждений и бранных слов, обрушившийся на наш порнофильм, был в основном направлен по адресу исполнительницы главной роли. Однако это не помешало тому, что ее фотографии — голый и в весьма рискованных позах — появились в двух наиболее популярных журналах. Узнав Присциллу на улице, толпы людей следовали за ней. Ее освистала публика в телетеатре, когда она показалась на сцене, чтобы выступить по телевидению. Все это, конечно, значительно увеличило выручку от демонстрации фильма, но я сомневался, что ее появление на выставке поможет упрочить ценность картин нашего художника Анжело Квина.

— Уж не пригласили ли вы ее на сегодня? — недовольно спросил я.

— Разумеется, — холодно кивнул Фабиан. — С ее появлением о нашей выставке сообщат во всех газетах. Не огорчайтесь, милый друг. Я отвел ее в сторону и договорился, что наши связи с ней по-прежнему оста-

ются в тайне. Она покаялась в этом жизнью своей матери. Дора, — обратился он к нанятой нами девушке, — вы поняли, что то, о чем мы сейчас говорили, нельзя ни в коем случае нигде разглашать.

— Да, конечно, мистер Фабиан, — озадаченно ответила девушка. — Но, откровенно говоря, я ничего не поняла. Кто такая Присцилла Дин?

— Падшая женщина, — сказал Фабиан. — И я рад за вас, что вы не знаете ни грязных фильмов, ни журналов.

Мы допили бутылку без каких-либо тостов.

Брат ожидал меня, когда с небольшим опозданием, вскоре после двенадцати, я вошел в ресторан. Он был не один, рядом с ним сидела очень хорошенькая молодая женщина с длинными рыжеватыми волосами. Генри поднялся из-за стола, и мы пожали друг другу руки. Он теперь не носил очков, его зубы были приведены в порядок, он загорел, хорошо выглядел, немного располнел. И даже покрасил волосы, так что мог сойти за мужчину лет тридцати.

— Познакомься с моей невестой, ее зовут Мадлен, — представил он сидевшую рядом женщину.

— Я очень хотела познакомиться с вами, — сказала Мадлен, когда я сел за стол. У нее был приятный грудной голос, большие серые глаза, отливавшие синевой. Она не походила на женщину, которая могла бы связать судьбу с никчемным человеком.

— Надо бы что-нибудь выпить, — предложил я.

— На нас не рассчитывай. Я не пью, — с некоторым вызовом, как бы побуждая меня на расспросы, отказался брат.

— И я никогда не пью, — сказала Мадлен.

— Что ж, тогда не будем, — согласился я.

— Будем ли мы вообще что-нибудь заказывать? Боюсь, у нас мало времени, — заметил брат.

— Не буду вам мешать, — сказала Мадлен, поднявшись из-за стола. — Обедайте без меня. Я знаю, что вам надо о многом переговорить. А я пойду пройду по этому милому городку.

— Смотри не заблудись, — напутствовал ее Генри.

— Постараюсь, — рассмеялась она.

Брат с напряженным лицом, не отрываясь, глядел ей

вслед, когда она шла к выходу. У нее были стройные ножки, хорошая фигурка, легкая походка. И он даже затаил дыхание, словно забыл обо всем на свете.

— Дорогой праведник, что сие значит? — обратился я к брату.

— Ну как она, ничего?

— Очаровательна, — заверил я, и вовсе не из желания польстить ему или ей. — А теперь выкладывай все.

— Я получаю развод.

— Давно пора.

— Да, давно бы надо.

— Где же твои очки?

Генри рассмеялся.

— Ношу контактные линзы, — объяснил он. — Спасибо твоему другу Фабиану. Он убедил меня и направил к знакомому врачу. Когда увидишь его, передай ему мой горячий привет.

— Можешь сам лицезреть его здесь. Я только что расстался с ним.

— Мне нужно к четверем вернуться обратно в Нью-Йорк.

— Что ты делаешь в Нью-Йорке? — поинтересовался я, ибо не мог и представить себе, что брат уедет из своего Скрантона.

— Я теперь живу там, — ответил брат. — У Мадлен квартира, а наш бизнес сейчас в Оранжеберге, в получасе езды от города.

Официант принес два стакана воды. Генри заказал коктейль с креветками и бифштекс. Про себя я отметил, что аппетит у него тоже улучшился.

— Приятно, Хэнк, что ты приехал повидаться со мной, но почему такая спешка? Почему именно сегодня?

— Юристы хотят сегодня же покончить с заключением договора. Мы выработывали его три месяца, и теперь, когда все учтено, они не хотят откладывать, чтобы другая сторона не выдвинула каких-либо новых условий. Ты знаешь, как настырны юристы.

— Нет, не знаю. А что за договор?

— Я не хотел докучать тебе, пока все окончательно не определится. И, надеюсь, ты не будешь возражать...

— Не буду, если ты толком объяснишь с самого начала.

— Я же сообщал тебе, что дело выглядит многообещающим.

— Да, — кивнул я, вспомнив, что его «многообещающее» я воспринимал как «ничего не значащее», а то и вовсе «неудачное».

— А оно оказалось много лучше. Во много раз лучше, чем можно было ожидать. И мы почти сразу начали расширять предприятие. Сейчас у нас в мастерской более ста рабочих. Наши акции еще невысоки на бирже, но уже растут. В настоящее время мы получили предложения от полудюжины компаний, которые хотят купить наше дело. И самое значительное — от «Нортерн Индастрис». Это огромный концерн. Ты, наверное, слышал о нем.

— Нет, никогда не слышал.

Брат с укором поглядел на меня, как школьный учитель глядит на ученика, не выучившего урок.

— Как бы то ни было, уж поверь мне, что это огромный концерн, — наставительно повторил он. — И они готовы хоть сегодня подписать с нами договор и уплатить полмиллиона долларов. Ну как, дошло до тебя?

— Вполне, — кивнул я.

— Более того, мы, то есть я и двое молодых инженеров, которые предложили идею, сохраняем контроль и управление делами в течение пяти лет. Жалованье нам увеличивается втрое, и, кроме того, за нами остается определенное количество акций. Ты, конечно, вместе со мной участвуешь в деле.

Официант принес заказанный бифштекс, и Генри с волчьей жадностью набросился на него, поедая вместе с жареной картошкой и булкой, обильно намазанной маслом.

— Теперь подсчитай, Дуг, — говорил он с набитым ртом. — Ты дал двадцать пять тысяч. Наша доля тридцать три процента от полумиллиона, что составляет сто шестьдесят шесть тысяч долларов, из коих две трети твои.

— Я и сам знаю арифметику, — перебил я.

— И это — не считая выплаты по акциям, — заметил Генри, продолжая жевать. Не то от горячей еды, не то от больших цифр, которые он называл, лицо его покраснело и заблестело от пота. — Даже при нынешней инфляции это все же подходящие деньжата.

— Кругленькая сумма, — кивнул я.

— Обещал я тебе, что ты не пожалеешь, не так ли? — сказал он.

— Совершенно верно.

— И мне больше не приходится считать чужие деньги, — с жаром проговорил он и, окончив есть, отложил в сторону нож и вилку. Потом с серьезным видом поглядел на меня. Сквозь контактные линзы глаза его казались глубокими и чистыми. Маленькие красные пятна у носа исчезли. — Ты спас меня от гибели, Дуг, — негромко сказал он. — И я никогда не смогу полностью отблагодарить тебя.

— И не пытайся.

— А у тебя все в порядке? В жизни и во всем?

— Лучше и быть не может, — заверил я.

— Выглядишь ты замечательно, братишка. Правда.

— Спасибо, ты тоже.

— Ну так что? — Он неловко поежился. — Решай: да или нет?

— Конечно, да, — быстро ответил я.

Он радостно улыбнулся и снова взялся за нож и вилку. Прикончив бифштекс, тут же заказал на десерт черничный пирог.

— С таким аппетитом тебе неплохо бы заняться спортом, Хэнк, — посоветовал я.

— Я вновь увлекся теннисом.

— Приезжай как-нибудь сюда, поиграем вместе, — предложил я. — Здесь на острове сотни кортов.

— Прекрасно. С удовольствием пообщаюсь с твоей женой.

— Буду рад, — искренне сказал я и вдруг начал громко смеяться.

— Чему ты смеешься? — как-то подозрительно спросил брат.

— После твоего звонка, когда я ехал сюда, то по дороге решил, что на крайний случай дам тебе еще десять тысяч. И ни цента больше.

В первый момент Генри как будто обиделся, но затем тоже стал смеяться. Мы еще продолжали хохотать, когда в дверях показалась Мадлен и подошла к нашему столу.

— Что это с вами? — спросила она.

— Семейные дела, — ответил я.

— Что ж, Генри мне потом расскажет. Ты ведь все мне рассказываешь, Генри, не так ли?

— Да, все и всегда, — сказал брат и с любовью поднес ее руку к губам. Прежде он никогда столь открыто не

ыказывал свои чувства. Я видел, что многое в нем изменилось, он стал совсем другим человеком. Если кража ста тысяч у мертвого старика могла помочь так измениться Генри, то разве в какой-то мере это не снимало с меня вину за само преступление?

Когда я проводил их к машине, Мадлен дала мне адрес своей нью-йоркской квартиры. Однако мы и не подозревали, как скоро нам придется увидеться.

Выставка, уверял Фабиан, открылась с большим успехом. Одно время на стоянке скопилось более шестидесяти машин. Было полно народу, люди приходили и уходили. Много внимания уделялось шампанскому, а уж заодно и картинам. Что касается отзывов о них, то мне приходилось слышать и восторженные.

— Пока счет в нашу пользу, — прошептал мне Фабиан, когда мы улучили момент и встретились в баре.

Я не заметил в толпе критика из «Нью-Йорк Таймс», но Фабиан сказал, что он здесь и выражение его лица весьма благожелательное. К восьми часам вечера наша Дора прикрепила таблички «продано» на четырех больших картинах, писанных маслом, и на шести поменьше.

— Блестяще, — ликуя, бросил Фабиан. — Многие обещали снова прийти. Как жаль, что нет Лили. Она обожает выставки. — Язык у него немного заплетался, он весь день ничего не ел и все носился с бокалом в руке. До этого я никогда не видел его пьяным и не думал, что он может перебрать.

Эвелин выглядела на выставке несколько ошеломленной. Среди гостей было довольно много актеров театра и кино, несколько известных писателей, которых она никогда прежде не встречала, но узнавала по фотографиям. В Вашингтоне знакомые ей сенаторы и дипломаты не производили на нее большого впечатления. Тут же был совершенно иной мир, и она от стеснения почти терялась, беседуя с писателем, чьими книгами восхищалась, или с актрисой, чья игра на сцене пленяла ее. Мне показалась очень милой эта черта в ней.

— Твой друг Майлс, — сказала она, с изумлением качая головой, — знает как будто всех.

— Ты еще не видела и половины тех, кого он знает.

Эвелин собралась рано уехать домой, потому что обещала отпустить няньку.

— Поздравляю, дорогой, — сказала она, когда я провожал ее к машине. — Все получилось чудесно. — Она поцеловала меня, предупредив, что будет ждать моего возвращения.

После духоты переполненного людьми помещения было приятно постоять в вечерних сумерках, подышать чистым прохладным воздухом. Вскоре я увидел, как подкатил большой «линкольн-континенталь» и из него вышла Присцилла Дин с двумя элегантными молодыми людьми. Они были в смокингах, а Присцилла в длинном черном платье с наброшенной на обнаженные плечи ярко-красной пелериной. Она не заметила меня, а мне уж и вовсе не хотелось попасться ей на глаза, и я незаметно прошмыгнул следом за ними на выставку.

При появлении Присциллы взоры многих присутствующих обратились на нее. Это длилось несколько мгновений, после чего быстро возобновился обычный гул многоголосой толпы.

Фабиан сам проводил Присциллу в бар, причем я не заметил, чтобы она попутно взглянула хотя бы на одну из картин. К тому времени, когда многие разъехались — это было после десяти вечера, — она все еще торчала в баре. И была пьяна, очень пьяна. Когда на выставке осталось всего человек десять, оба молодых человека стали уговаривать ее уехать.

— Нас ведь ждут, дорогая Присси, — уговаривал один из них. — Мы уже опаздываем. Пойдемте. Ну, пожалуйста.

— К чертям собачьим, — буркнула она.

— Что ж, тогда мы уедем, — пригрозил другой.

— Катитесь, — махнула рукой Присцилла, прислонившись к стойке бара. Ее пелерина соскользнула на пол, открыв красивые покатые плечи. — Плевала я на вас, дерьмо этакое. Сегодня я — любительница живописи. Ну вас, зануды. Мой старый друг по Парижу отвезет меня. Верно, Майлс?

— Конечно, дорогая, — поморщился Фабиан.

— Он правда, староват, но еще о-ля-ля. Постарается. Très bien. Это по-французски, зануды.

На выставке уже никого не было. Дора глядела на Присциллу широко открытыми глазами, даже слегка приоткрыв рот. Нанимаясь, она говорила, что ищет спокойную чистую работу, которая даст ей возможность подготовиться к экзаменам.

— Не вертитесь вокруг меня, — вдруг обрушилась Присцилла на молодых людей. — Терпеть не могу этого.

Оба молодых человека недоуменно переглянулись и пожали плечами. Попрощавшись с нами, они ушли.

Фабиан поднял с пола пелерину и набросил ее на плечи Присциллы. Он нетвердо стоял на ногах, немного пошатывался, но старался держаться прямо.

— Время уже бай-бай, дорогая детка, — забормотал он. — Я в таком состоянии, что не смогу вести машину, но Дуглас потихоньку доведет вас.

— Твое состояние, старый козел, — хрипло рассмеялась Присцилла. — Оно мне хорошо известно. Ну-ка поди ко мне и поцелуй, папочка, — протянула она к нему руки.

— Ладно, в машине, — пообещал Фабиан.

— Не тронусь с места, пока не поцелуешь, — крикнула Присцилла, уцепившись за стойку бара.

Смущенно оглянувшись на Дору, которая отвернулась к стене, Фабиан наклонился и поцеловал Присциллу.

— Знаю, что мог бы и покрепче, — сказала она, вытерев губы ладонью и размазав помаду. — В чем дело? Нет, что ли, практики? Может, следует вернуться во Францию, — усмехнулась она, но послушно направилась к выходу.

— Дора, — напоследок распорядился Фабиан, — выключите свет, закройте все двери. Уборку оставим на завтра.

— Хорошо, мистер Фабиан, — растерянно прошептала Дора, по-прежнему неподвижно стоя у стены.

Присцилла настояла на том, что сядет в машине между нами на переднем сиденье. Ее платье было облито шампанским, и от нее неприятно разило перегаром. Прежде чем запустить двигатель, я опустил стекло со своей стороны.

— Куда вас везти, дорогая? — спросил Фабиан.

— В Спрингс.

— Как туда ехать? По какой дороге?

— Какого черта, откуда я знаю? Поезжайте, а там найдем дорогу.

— Как зовут тех, к кому вы едете? Мы будем искать их дом, — не унимался Фабиан, словно полисмен, пытающийся расспросить заблудившегося на берегу ребен-

ка. — Вы же должны знать фамилии людей, к которым едете.

— Конечно, знаю. Леви, Коен, Макмаен. Что-то вроде этого. Да мне-то все равно. Одна шушера. — Она наклонилась и включила радио. В машине загрохотала музыка из фильма «Мост через реку Квай». — Ну, чистюля, — сердито обратилась она ко мне, — заводите этот драндулет. Надеюсь, знаете, где Спрингс.

— Поехали, — кивнул Фабиан.

Мы тронулись и через некоторое время миновали дорожный столб с надписью «Добро пожаловать в Спрингс». Однако я быстро убедился, что только чудом мы сумеем найти тот дом, который Присцилла решила осчастливить своим присутствием. Я замедлял ход у каждой развилки, на каждом перекрестке, потом почти у каждого дома, но Присцилла лишь отрицательно качала головой.

Сколько бы мы ни заработали на «Спящем принце», подумал я, все это не стоило такого позора.

— Мы зря теряем время, — наконец заявила она. — У меня другая идея. Поедем в Куог к двум моим подругам. Они живут на берегу. По крайней мере, посмотрите Атлантику, ладно? — И, не дождавшись ответа, продолжала: — Девочки просто фантастические. И выделяют такие штучки! Вам они понравятся. Давайте в Куог и как следует позабавимся там.

До него больше часа езды, устало проговорил Фабиан.

— Ну и что ж такого? Повеселимся немного, — настаивала Присцилла.

— У нас был очень трудный день, — пожаловался Фабиан.

— А у кого легкий? Поехали в Куог.

— Может, отложим на завтрашний вечер? — предложил Фабиан.

— Вот зануды, — рассердилась Присцилла.

Мы поехали лесом по узкой проселочной дороге, которой я не знал и даже не предполагал, куда она нас приведет. Я уже был близок к тому, чтобы при первой возможности свернуть на Истхэмптон, поместить Присциллу в местный отель и, если понадобится, силой высадить ее из машины, когда в свете фар заметил автомобиль, стоявший поперек дороги. Его капот был

поднят, и двое копошились в моторе. Я остановился и крикнул им, чтобы они объяснили, куда ведет эта дорога.

Внезапно я скорее понял, чем увидел, что на меня направлено дуло пистолета.

Двое медленно подошли к нашей машине. Я не мог в темноте разглядеть их лица, но различил, что на них кожаные куртки и рыбацкие кепки с длинным козырьком.

Перегнувшись через Присциллу, которая, очевидно, оцепенела от страха, я прошептал Фабиану:

— Они с оружием.

— Совершенно верно, дружок, — сказал парень с пистолетом. — Оружие наготове. А теперь слушай внимательно. Оставь на месте ключ от зажигания, потому что мы берем взаймы вашу машину. И вылезай быстро и без шума. И старина пусть вылезает с той стороны. Тоже быстро и без шума. Девочка остается в машине. Мы и ее берем взаймы.

Стало слышно, как шумно задышала Присцилла, неподвижно замерев на своем месте. Когда я открыл дверцу и вышел, парень с пистолетом отступил на шаг. Другой подошел к той стороне, где вылез Фабиан, и сказал ему, чтобы он встал рядом со мной. Фабиан подошел ко мне. Он был взволнован и тяжело дышал.

И тут вдруг Присцилла начала вопить. Таких громких и пронзительных воплей я еще никогда в жизни не слышал.

— Заткни глотку этой суке! — крикнул парень с пистолетом своему соучастнику.

Присцилла продолжала вопить, откинувшись всем телом назад и отбиваясь от парня, который пытался схватить ее за ноги.

— Скажите на милость! — досадливо воскликнул парень с пистолетом. Он придвинулся немного к машине, собираясь помочь справиться с Присциллой. Его пистолет при этом слегка отклонился в сторону, и Фабиан тут же стремительно бросился на него. Раздался оглушительный выстрел. Я услышал, как захрипел Фабиан, и тоже прыгнул на парня и схватил его за руку, стремясь вырвать пистолет. Тяжесть наших двух тел была слишком велика для него, и он упал на спину, выронив пистолет. Я схватил пистолет как раз в тот момент, когда второй парень показался в свете фар, спеша на подмогу. Не мешкая, я выстрелил в него, он сразу же

повернулся и убежал в лес. Тот, кого мы свалили на землю, быстро пополз на четвереньках. Я выстрелил и в этого, но он прыжками скрылся в темноте. Присцилла все еще истошно вопила.

Фабиан, скорчившись, лежал на земле, прижав обе руки к груди. Он тяжело и прерывисто дышал.

— Отвезите меня в больницу, голубчик, — с трудом выговаривая слова, попросил он. — И поскорей. И, Бога ради, пусть Присцилла перестанет вопить.

Как можно осторожней я поднял Фабиана, чтобы положить его на заднее сиденье машины, и тут заметил огни приближавшегося к нам автомобиля.

— Погодите, к нам кто-то едет, — прошептал я Фабиану и, взяв в руки пистолет, приготовился к встрече.

На переднем сиденье Присцилла теперь уже не вопила, а истерически рыдала, колотясь головой о приборную доску.

Когда автомобиль подъехал поближе, я разглядел, что это полицейская машина, и тут же бросил пистолет наземь. Едва машина остановилась, как из нее выпрыгнули два полисмена с револьверами в руках.

— Что случилось? — крикнул тот, что бежал впереди.

— Напали бандиты. Их двое. Они где-то тут в лесу. Моего друга ранили, — торопливо объяснял я. — И мы собираемся везти его в больницу.

— Чье это оружие? — спросил полисмен, подняв пистолет, лежавший у моих ног.

— Их оружие.

Один из полисменов помог мне уложить Фабиана в нашей машине, а другой занялся осмотром той машины, что стояла посреди дороги с поднятым капотом.

— Та самая, — сказал он, подойдя к нам. — Та, что мы ищем. Ее украли прошлой ночью в Монтоке.

Они с любопытством поглядели на Присциллу, которая все еще колотилась в истерическом припадке, но ничего не сказали.

— Следуйте за нами, — предложил один из них. — Проедем прямо к больнице.

Мы помчались за ними по темной дороге. По пути нам повстречалась сначала одна, а потом и другая полицейские машины, спешившие к месту происшествия. Их, очевидно, вызвали по радио на поиски бандитов ехавшие впереди нас полисмены.

Операция длилась три часа. Фабиан потерял сознание еще до того, как мы приехали в больницу. Бегло осмотрев Присциллу, молодой врач велел уложить ее в постель и дать сильное успокаивающее средство.

Я сидел в приемном покое, пытаюсь отвечать на вопросы полисменов, как выглядели напавшие на нас бандиты, в какой последовательности и как развивались все события, почему мы оказались в такой поздний час на этой дороге, что за женщина была с нами, ранил ли я кого-нибудь из бандитов, когда стрелял в них.

Трудно было собраться с мыслями и изложить все по порядку. Я находился в состоянии если не растерянности, то подавленности и какого-то оцепенения. Вовсе не легко было объяснить им, что за птица Присцилла Дин и почему она не знала, куда ей ехать ночевать. Полисмены были неизменно вежливы со мной, как будто не подозрительны, но они снова и снова продолжали задавать одни и те же вопросы, несколько видоизменяя их, словно то, о чем я рассказывал, не могло произойти так, как я излагал. Домой я позвонил сразу же после того, как Фабиана увезли в операционную, сообщил о несчастном случае с ним, просил Эвелин не беспокоиться, пообещав, что все подробности расскажу по приезду.

Уже после полуночи молодой полисмен, переговорив по телефону, подошел ко мне и сказал, что обоих парней задержали.

— Вы не попали ни в одного из них, — не сдержав улыбки, сообщил он.

Мне следовало утром явиться в полицейский участок для опознания задержанных. Должна явиться также и женщина, которая была с вами, добавил он.

Когда Фабиана вывезли из операционной, лицо у него было кроткое и спокойное. Хирург в халате и с марлевой повязкой, болтавшейся у горла, выглядел хмурым и озабоченным, стаскивая с рук резиновые перчатки.

— Больной в неважном состоянии, — сказал он мне. — Яснее станет в ближайшие сутки.

— В ближайшие сутки, — машинально повторил я.

— Это ваш близкий друг?

— Да, очень близкий.

— Откуда у него такой длинный шрам на груди и животе?

— Шрам? Я никогда не видел. — Я помогал готовить. — Никогда не видел его раздетым.

— Похоже на шрапнель, — произнес хирург. — Должно быть, ранило на войне.

А ведь доктору всего года тридцать два — тридцать три, прикинул я. Что он может знать о войне? А вслух сказал:

— Да, он воевал. Но никогда не говорил, что был ранен.

— Теперь вы знаете, — сухо сказал молодой хирург. — Спокойной ночи.

Едва я вышел из больницы, как перед моими глазами блеснула вспышка, так что я невольно вздрогнул. То был лишь первый фотограф, снявший меня. То ли будет завтра, дружок, подумал я, когда вместе с дражайшей Присциллой Дин ты войдешь в полицейский участок.

Домой я ехал медленно, дорога смутно расплывалась передо мной. Эвелин ждала меня. Мы уселись на кухне, выпили по стаканчику виски, и я рассказал ей все от начала до конца. Когда я окончил, она, закусив губу, пробормотала: «Отвратная женщина. Я бы задушила ее своими руками».

Глава двадцать пятая

Наутро описание происшествия с моей фотографией появилось в газетах Лонг-Айленда. И уж, конечно, с фотографиями Присциллы. Перед тем как отправиться в полицейский участок, я позвонил в больницу, и мне сообщили, что Фабиан провел ночь спокойно, и разрешили попозже ненадолго навестить его.

Присцилла в сопровождении полицейского прибыла в участок немного раньше меня. Должно быть, более десятка фотографов дежурили перед участком, ожидая нашего появления. Мы опознали обоих задержанных, хотя мне было непонятно, как их могла опознать Присцилла, истерически метавшаяся внутри машины. Оба они сознались во всем, так что их опознание было, по существу, чисто формальным.

Днем они казались совсем безвредными. Обоим было лет по восемнадцать, не больше. Тощие, довольно плюгавые, они испуганно кривили губы, когда полицейские

обращались к ним с вопросами. «Шпана зеленая», — презрительно назвал их один из полисменов. Трудно было представить себе, что всего несколько часов тому назад они тяжело ранили человека, пытались убить меня, а я в свою очередь пытался убить их.

Когда я вышел из участка, фотографы все норовили снять меня вместе с Присциллой, но я ускорил шаг и быстро удалился от нее. Я уж по горло был сыт ею, и меня прямо-таки тошнило от ее присутствия.

В больнице я зашел сперва к хирургу, который был настроен оптимистически.

— Большой перенес операцию намного лучше, чем я ожидал, — заверил он. — Думаю, что выкарабкается.

На аккуратно застеленной кровати Фабиан лежал на спине с трубками и датчиками на руках и на груди. Комната была залита солнцем, через открытое окно доносился запах только что скошенной травы. Когда я подошел к кровати, он слабо улыбнулся и, немного приподняв руку, приветствовал меня.

— Сейчас говорил с врачом, — сказал я, пододвинув стул к его постели и усаживаясь. — Он считает, что вы, безусловно, поправитесь.

— Рад это слышать, — прошептал Фабиан. — Уж больно глупо умирать, спасая честь Присциллы Дин, — чуть усмехнулся он. — Нам следовало свести ее с теми двумя парнями. — И, хрипло рассмеявшись, добавил: — Они бы быстро сговорились между собой.

— Скажите, Майлс, с чего это вы вдруг бросились на пистолет?

Он слегка качнул головой на подушке:

— Кто его знает... Какой-то толчок? Порыв? Осторожность была приглушена выпивкой. А может, от старой закваски моего штата Массачусетс...

— Послушайте, дружище, — спросил я, — откуда у вас шрам на груди и животе? Врач интересовался.

— Память об одной стычке, — уклончиво ответил Фабиан. — Сейчас не хочется говорить об этом. У меня к вам просьба. Позвоните Лили и попросите ее, чтобы она, если возможно, приехала на несколько дней.

— Сегодня же позвоню.

— Спасибо, вы настоящий друг. — Майлс вздохнул. —

А хороший был вечер. Такие милые люди. Пошлите телеграмму Квину — поздравьте от моего имени.

— Эвелин уже послала, — сказал я.

— Какая она заботливая. Вчера она была на редкость прелестна... И еще попрошу. Откройте ящик стола, достаньте оттуда авторучку, бумагу и дайте мне.

Я подал ему, что он просил. Фабиан, чуть повернувшись на бок, начал медленно, с трудом писать. Потом вручил мне написанное.

— Мало ли что может случиться, Дуглас, а потому я... — Он остановился, видно, ему было трудно подобрать слова. — Это записка в цюрихский банк. Там у меня личный счет, кроме нашего объединенного. Должен признаться, что время от времени я... я отсасывал себе некоторые суммы денег. Проще говоря, Дуглас, обманывал вас. Эта записка возвратит вам все.

— О, Бог с вами.

— С самого начала я предупреждал вас, что хорошего во мне мало.

Я нежно погладил его по голове.

— Это всего лишь деньги, дорогой друг, — сказал я. — А мы все же стоим большего.

На глазах у него показались слезы.

— Всего лишь деньги, — повторил он и вдруг засмеялся. — Я подумал сейчас, что если бы меня не подстрелили, то все бы, наверное, решили, что вся эта история — рекламный трюк для Присциллы.

Вошла медсестра и укоризненно взглянула на меня, давая знать, что пора уходить.

— Не оставляйте выставку, — напутствовал меня вдогонку Фабиан, когда я уже выходил из комнаты.

На следующий день из Лондона прилетела Лили. Я встретил ее в аэропорту Кеннеди и повез в больницу. Она была по-дорожному изящно одета, я узнал то коричневое пальто, которое запомнил по первой встрече во Флоренции. Мы быстро помчались по широкой автостраде, Лили была сдержанна и спокойна, но курила сигарету за сигаретой. Я передал ей слова врача о том, что Фабиан, похоже, поправится. В ответ она просто молча кивнула.

Когда мы миновали Риверхед, я заговорил:

— Хирург сказал, что на груди у Майлса огромный

шрам, который тянется до живота. Говорит, похоже на ранение шрапнелью. Вы что-нибудь знаете об этом? Я спросил Майлса, но он умолчал.

— Да, я тоже видела шрам, — сказала Лили. — В первую же ночь, которую мы провели вместе. Фабиан очень стыдился его. Он ведь так заботится о своем теле. Поэтому он никогда не плавает и вечно ходит в рубашке с галстуком. Я его особенно не расспрашивала, но однажды он сам рассказал. Он был летчиком-истребителем... Впрочем, вы, должно быть, это знаете?

— Нет.

Лили затянулась сигаретой и улыбнулась.

— Просто удивительно, по какому принципу он решает, кому что говорить, мой милый Майлс. Так вот, он был летчик-истребитель. И, должно быть, настоящий ас. От знакомых американцев я узнала, что он награжден почти всеми мыслимыми медалями. — Она чуть усмехнулась. — Зимой сорок четвертого их отправили во Францию. Операция, по его словам, была просто убийственная, да еще в штормовую погоду. Как бы то ни было, его и его лучшего друга сбили над Па-де-Кале. Друг погиб. Майлс попал в плен к немцам. Его пытали. Вот откуда шрам. Когда союзники взяли госпиталь, где он находился, Фабиан весил всего сотню фунтов. Можете себе представить?

Она молча докурила сигарету. Потом сказала:

— Теперь вы, наверно, понимаете, почему он вел такой образ жизни?

— Частично, — ответил я.

Некоторое время мы ехали молча. Потом Лили спросила:

— У вас как будто были дела с ним, не так ли?

— Да, были.

— Вы помните, что я предупреждала вас относительно его денежных расчетов?

— Помню.

— И он обманывал вас?

— Немного.

Она рассмеялась сдавленным смехом.

— Меня тоже обманывал. Дорогой старый друг Майлс. Его не назовешь честным человеком, но он всегда был праздничным. И дарил радость другим. Я, конечно, не берусь судить, но, быть может, это важнее всего. —

Она закурила новую сигарету. — Горько подумать, что его не будет с нами.

— Будем все же надеяться.

— Ничего другого не остается.

Потом мы ехали молча, пока не остановились у здания больницы.

— Мне хотелось бы побыть с ним вдвоем, — сказала Лили, выходя из машины.

— Конечно, — согласился я. — Я завезу ваши вещи в отель. Затем буду у себя дома, если понадобится.

Поцеловав ее в щеку, я смотрел ей вслед. Неторопливо и уверенно вошла она в больницу в своем нарядном коричневом пальто.

Уже темнело, когда я подъехал к дому. Перед ним стоял какой-то незнакомый мне автомобиль. Опять репортеры, с отвращением подумал я, шагая по дорожке к дому. Машины Эвелин не было, и я догадался, что это нянька впустила кого-то в дом. Отперев своим ключом входную дверь, я увидел мужчину, сидевшего в гостиной и читавшего газету.

Когда я вошел, он поднялся.

— Мистер Граймс? — вопросительно обратился он.

— Да.

— Я позволил себе войти к вам и дожждаться вашего прихода, — вежливо сказал он. Это был худощавый, предупредительный на вид человек с рыжеватыми волосами. На нем был хорошо сшитый темно-серый летний костюм и белая рубашка с черным галстуком. На репортера он совсем не походил.

— Моя фамилия Вэнс, — представился он. — Я адвокат и прибыл по поручению своего клиента. Получить обратно сто тысяч долларов.

Я подошел к серванту, достал бутылку виски и налил себе.

— Хотите шотландского? — спросил я.

— Нет, благодарю.

Со стаканчиком виски я сел в кресло. Вэнс продолжал стоять. Опрятный, невысокий, совсем не угрожающего вида мужчина.

— Меня давно интересовало, когда же вы наконец придете.

— Это отняло некоторое время, — пояснил он. Голос у него был сухой, негромкий, поучительный. И почти сразу же становилось скучно слушать его. — Найти вас

было нелегко. К счастью, — он потряс газетой, — вы вдруг засияли здесь героем.

— Это только так кажется. В нашем грешном мире ничто не сияет.

— Совершенно верно, — сказал он. Потом внимательно оглядел комнату. Из детской в это время слышался плач ребенка. — Прекрасное место у вас. Восхитительный вид.

— Да, — промычал я, чувствуя себя очень усталым.

— Мой клиент поручил известить вас, что вам дается три дня на возврат денег. Ему бы не хотелось быть вынужденным прибегнуть к чрезвычайным мерам.

Я молча кивнул. Даже это стоило мне большого усилия.

— Остановился я в отеле «Блэкстоун». Хотя, быть может, вы предпочитаете, чтоб я ожидал вас в «Святом Августине»? — деланно улыбнулся он.

— Приду по указанному вами адресу.

— Деньги верните в тех же купюрах, как вы их взяли. Стодолларовыми билетами.

Я снова кивнул.

— Полагаю, вы выполните все, что от вас требуется. А теперь мне пора ехать.

В дверях он остановился.

— Вы не спросили, кого я представляю, но я все равно не смог бы ответить. Могу лишь указать, что ваша смелая, так сказать, проделка оказалась бесполезной. Понятно, вам жаль возвращать деньги, но, быть может, вас утешит то обстоятельство, что вы тогда спасли ряд значительных лиц... Весьма значительных, — подчеркнул он, — от очень больших неприятностей.

В девять часов вечера этого же дня я поднимался в лифте дома по Восточной Пятьдесят второй улице Нью-Йорка. У себя я оставил записку, что по срочному делу на один-два дня выехал в Нью-Йорк. Я не стал звонить в контору Эвелин, так как хотел избежать всяких распросов.

Брата Генри я застал дома как раз в тот момент, когда он с Мадлен собирался идти в кино. Они были обеспокоены моим неожиданным приходом.

— Мне бы хотелось переговорить с тобой наедине, Хэнк, — сказал я.

Но брат отрицательно покачал головой:

— От Мадлен у меня нет никаких секретов. Говори при ней.

— Ладно, — согласился я. — Короче говоря, мне нужны, Хэнк, сто тысяч в стодолларовых билетах. У меня нет времени ждать, пока их переведут с моего счета в Европе. А при себе я таких денег не имею. В моем распоряжении только три дня. Сможешь ты сделать это для меня?

Мы все стояли посреди комнаты. Генри вдруг опустился на стул. Привычным еще с детства жестом потер рукой глаза.

— Как-нибудь сделаю, конечно, — пробормотал он.

Все было улажено за два дня.

Из вестибюля «Блэкстоуна» я позвонил в номер Вэнса. Он был у себя. С увесистым чемоданчиком я поднялся к нему. Подождал, пока он тщательно пересчитал деньги.

— Все в порядке, — сказал Вэнс. — Благодарю вас.

— Чемоданчик можете оставить себе, — сказал я, направляясь к выходу.

— Очень любезно с вашей стороны, — отозвался Вэнс, провожая меня к дверям.

Я очень быстро гнал машину. Нужно было попасть в больницу к тому часу, пока еще пропускали. Днем я позвонил Лили, и она сказала, что Фабиан провел ночь спокойно. Я хотел сообщить ему, что, как он и предвидел, пришли за деньгами, и я отдал их.

Когда вошел в больницу, медсестра в регистратуре сразу же окликнула меня.

— Вы опоздали, — сказала она. — Мистер Фабиан скончался сегодня в четыре часа дня. Мы пытались разыскать вас...

— Да, это было трудно, — сказал я. Меня удивило, как спокойно звучал мой голос. — А леди Эббот здесь?

Медсестра покачала головой.

— Миссис Эббот, наверно, уже нет в городе. — В силу обычного у американцев подозрительного отношения к титулам сестра не назвала ее «леди». — Она заявила, что ей больше нечего здесь делать. И она хочет успеть на вечерний самолет в Лондон.

— Что ж, весьма благоразумно с ее стороны. Завтра утром я заеду, чтобы договориться о похоронах.

Торопиться теперь было ни к чему, и я медленно свернул на Истхэмптон, так как домой мне сейчас не хотелось возвращаться.

Я подъехал к арендованному нами сараю со свежей вывеской «Картинная галерея у Южной развилки». В нем было темно. Вспомнились последние слова Фабиана, которые он вдогонку сказал мне: «Не оставляйте выставку».

Вынув из кармана связку ключей, я отпер дверь. И сел на скамью посреди темного сарая, думая о бойком, не вполне честном, лукавом человеке, который умер сегодня. Слезы показались у меня на глазах.

Потом поднялся и включил свет. Стоя посреди выставки, я оглядывал развешанные по стенам картины, в которых отразилась жизнь американца, скитавшегося по захолустным уголкам своей страны.

Содержание

ВЕЧЕР В ВИЗАНТИИ

перевод К. Чугунова

5

НОЧНОЙ ПОРТЪЕ

перевод Г. Льва и А. Санина

299

*Двумя романами,
входящими в настоящую книгу,
«Северо-Запад»
начинает издание
целого ряда сочинений
замечательного
американского писателя
ИРВИНА ШОУ*

*Среди произведений,
которые в скором времени
будут предложены читателям,
знаменитый роман-эпопея Шоу
«БОГАЧ, БЕДНЯК»
и почти неизвестные романы
«ВЗВИХРЕННЫЙ ВОЗДУХ»
и
«ДОПУСТИМЫЕ ПОТЕРИ»*

*Литературно-художественное
издание*

Ирвин Шоу

ВЕЧЕР В ВИЗАНТИИ

Перевод с английского

Ответственный редактор *Дмитрий Мильков*

Художник *Юлия Царева*

Художественный редактор *Сергей Алексеев*

Технический редактор *Татьяна Раткевич*

Корректоры: *Виктория Листова,*

Елена Серпокрылова

Верстка *Светланы Широкой*

Подписано к печати с оригинала-макета 26.02.93

Формат издания 84 × 108 ¹/₁₂ Гарнитура Таймс

Печать высокая. Усл. печ. л. 31,9

Тираж 200 000 экз. Изд. № 130. Заказ 3-1268

Издательство «Северо-Запад»

191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 18

Главное предприятие республиканского
производственного объединения «Полиграфкнига»,
252057, Киев-57, ул. Довженко, 3

Отжившие свой век динозавры, вялые и бессильные, в спортивных рубашках от Салки и Кардена, они сидели друг против друга за столиками в просторных залах, вознесенных над изменчивым морем, и сдавали, и брали карты, как это делали в славные времена в сыром от дождя лесу на Западном побережье.

Время от времени звонили телефоны, и из Осло, Дели, Парижа, Нью-Йорка доносились энергичные, почти тельные голоса; игроки бросали трубки и резко отдавали распоряжения, которые в другое время имели бы смысл и, несомненно, были бы выполнены.

Среди них были честные люди и жулики, сводники и сплетники, а также люди порядочные. Там были красивые женщины и прелестные девушки, интересные мужчины и мужчины со свиным рылом. Непрестанно щелкали фотоаппараты, и все притворялись, будто не замечают, что их фотографируют.

Но здесь, на террасе, в весенней Франции, вся жизнь человечества на две недели сводилась к перфорированным лентам, пропускаемым через кинопроекторы со скоростью девяносто футов в минуту; и надежды и отчаяние, красоту и смерть — все это возили по городу в плоских круглых блестящих жестяных коробках.

